

William Golding

УИЛЬЯМ ГОЛДИНГ

СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ
ШПИЛЬ
ПИРАМИДА

Свободное падение. Шпиль. Пирамида (сборник)

Уильям Голдинг

Аннотация
Уильям Голдинг. Свободное падение. Шпиль. Пирамида. Сборник
Свободное падение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Шпиль
Глава первая
Глава вторая

Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая
Пирамида
I
II
III

Аннотация

«Свободное падение».

От невинности – к мудрости.

От чистоты детства – к печальной зрелости и старости.

Такова судьба человека вообще – и человека, каким видит его – и заставляет нас увидеть – Голдинг в этом не самом обычном из своих романов.

«Шпиль». Герой романа, настоятель Джослин, пребывает во власти навязчивой идеи о собственном предназначении: воздвигнуть 400-футовую башню со шпилем над церковью. Коллеги и строители пытаются отговорить святого отца, понимая, что затея изначально обречена на провал, но Вера не признает доводов рассудка…

«Пирамида». Балансирующая на грани фантасмагории и реализма хроника провинциального городка, в котором жизнь подчинена жестоким иерархическим законам, одиночество стало обыденной нормой существования, а любовь, дружба и понимание – непостижимыми иллюзиями…

Уильям Голдинг
Свободное падение. Шпиль. Пирамида
Сборник

William Golding
Free fall. The spire. The pyramid
© William Golding, 1959, 1964, 1967
© Перевод. Е. Суриц, 2016
© Перевод. В. Хинкис, наследники, 2016
Школа перевода В. Баканова, 2016
© Издание на русском языке AST Publishers, 2017

Свободное падение

1

Я ходил по книжным развалам, где некогда пурпурные, а ныне выцветшие тома с загнутыми уголками страниц вспыхивали белой осанной. Я видел людей, увенчанных двойной короной, с посохом и бичом в руках — символами славы и власти. Я понял, как звездой становится шрам, я на себе ощутил упавшую искорку, чудотворную и исполненную Святого Духа. И со мной шагало мое прошлое: в ногу, заглядывая мне за плечо серыми ликами. Я живу на Парадайз-Хилл, «отрадном холме», в десяти минутах от станции, в тридцати секундах от лавок и местного паба. И все же я — распаленный дилетант, истерзанный иррациональным и бессвязным, пребывающий в неистовом поиске и уже вынесший приговор самому себе.

Когда я потерял мою свободу? Ведь некогда я был свободен. Обладал правом выбора. Причинно-следственная механика есть статистическая вероятность, и все же мы порой действуем ниже или за гранью этого порога. Свободную волю нельзя обсуждать, ее можно лишь познать на личном опыте, подобно цвету или вкусу картош-

ки. Помнится мне один такой случай. Я, совсем еще малышом, сидел на каменном бордюре пруда с фонтаном в центре парка. Ярко сияло солнце, склоны пестрели красными и синими цветами, зеленела лужайка. Невинность и безгрешность, лишь плеск и брызги фонтана в центре. Я выкупался, утолил жажду и теперь сидел на прогретом каменном краешке, безмятежно размышляя над следующим своим занятием. От меня по всему парку разбегались дорожки из галечника, и в какую-то секунду я оказался всецело захвачен новым знанием. Любая из этих дорожек была мне доступна. И все они манили одинаково. По одной из них я и припустился вскачь, предвкушая радость от вкуса картошки. Я был свободен. Сделал выбор.

Как я утратил мою свободу? Надо вернуться и рассказать всю историю заново. История эта любопытна, но не внешними событиями, а скорее тем, как ее вижу я, единственный повествователь. Ибо время не выложить в ряд, как дорожку из кирпичей. Эта прямая линия от первого младенческого всхлипа до последнего вздоха — мертвая абстракция. У времени два состояния. Одно из них столь же естественно присуще нашему восприятию, как вода для скумбрии. Второе

состояние — память, чувство бренной суетности мира, где один день кажется ближе другого, потому что он более важен; а вон то событие зеркально отражает вот это, а те три происшествия вообще обособились своей исключительностью и не укладываются в прямую линию. Тот день в парке я ставлю первым в моей повести, и не оттого, что я был малюткой, чуть ли не младенцем, а потому что свобода стала для меня более ценной, коль скоро мне все реже и реже удается вкусить картофеля.

Все системы я развесил по стене под стать ненужным шляпам. Не годятся ни формой, ни размером. Каждая из них заимствована, сшита по чужим лекалам; одни безынтересны, другие потрясают красотой. Но я прожил достаточно долго и могу требовать фасон, который подошел бы ко всему, что мне известно. И где мне его взять? Тогда зачем я все это пишу? Может, это и есть тот «фасон», который я ищу. Вон в середине висит марксистская шляпа; хоть когда-нибудь я думал, что она прослужит мне до конца жизни? А чем плоха христианская скуфейка, которую я почти не надевал? Рационалистическая шляпа Ника прикрывала от дождя, казалась несокрушимой панцирной броней, тусклой и благопристойной

на вид. Сейчас она выглядит мелкой и довольно глупой; котелок как котелок, очень формальный, очень законченный, очень невежественный. Имеется и школьная кепка. Я просто повесил ее на гвоздик, понятия не имея о тех шляпах, которые доведется вешать с ней по соседству, когда приключилась та вещь — я имею в виду самостоятельно принятое решение, — за которую пришлось заплатить свободой.

Да сдались мне эти шляпы… Ведь я — художник. Могу надеть любую, какая глянется. Вы, должно быть, слышали обо мне: Сэмюэль Маунтджой, висит в «Тейте»[1]. Мне простителен любой колпак. Даже людоедский. Хочется, однако, носить шляпу не на потребу публике. Хочется понять. Серые физиономии заглядывают мне через плечо. Ничем не отвадишь, не изгонишь этих бесов. Одного лишь моего искусства не достаточно. К черту искусство. Ярость — как, впрочем, и половое влечение — вытаскивает меня из глубокого колодца, а людям мои картины нравятся больше, чем мне самому; в отличие от меня они считают их значительными. В глубине души я — скучная

[1] Примечания: 1

Лондонская галерея Тейт, крупнейшее в мире собрание английского искусства XVI–XX вв. Названа по имени основателя — промышленника Генри Тейта. — *Здесь и далее примеч. пер.*

псина. Предпочитаю быть скорее добропорядочным, нежели умным.

Так зачем я взялся это излагать? Отчего не брожу кругами по лужайке, перетряхивая воспоминания, пока они не обретут смысл, распутав и наново сплетя гибкие пряди времени? Я мог бы соединить одно событие с другим, а мог бы и вовсе через них перемахнуть. Надо бы отыскать систему для нынешних моих кругов на траве, а назавтра ее поменять. Но вот размышлять кругами на этой лужайке уже не достаточно. Начнем с того, что она напоминает прямоугольник холста, область ограниченную, с какой бы изобретательностью ты ни накладывал мазки. Есть предел вместимости для человеческого ума, однако осмысление требует размаха, который способен охватить все запомненное время, после чего надобно сделать паузу. Пожалуй, если я стану излагать эту повесть так, какой она видится мне, удастся возвращаться назад и выбирать. Жизнь ни с чем не сравнить, ибо она вмещает все, к тому же слишком тонка и пышна для осмысления без подмоги. Живопись же подобна конкретной позе, отобранной из числа многих прочих.

Есть еще одна причина. Все мы немы и слепы, хотя должны бы видеть и говорить. Я не про

заросшую щетиной физиономию Сэмми Маунтджоя, чьи припухлые губы размыкаются, дабы рука смогла извлечь чинарик; я говорю не про гладкие влажные мускулы позади затупившихся зубов и не про пищевод, легкие, сердце — все то, что можно увидеть и потрогать, если поработать над ним скальпелем в анатомичке. Я имею в виду безымянный, бездонный и невидимый мрак, который сидит в самой его сердцевине, вечно бодрствующий, вечно не совпадающий с тем, за что его принимают, вечно размышляющий о непостижимом и чувствующий неизъяснимое, — мрак, который безнадежно надеется понять и быть понятым. Наша неприкаянность ничего общего не имеет с одиночеством изгоя или тюремной камеры; это одиночество темной твари, что видит посредством отражения, словно речь идет о наблюдении за атомным реактором, осязает посредством дистанционного управления и слышит лишь те слова, которые передают ей на иностранном языке. Общение — вот наша страсть и источник безысходности.

Ну и с кем общаться?

С тобой?

Мой мрак выпускает клещи-манипуляторы и неуклюже тычет ими в пишущую машинку.

Твой мрак выпускает твои собственные клещи и хватает книжку. Между нами насчитывается два десятка режимов обмена, фильтрации и трансляции. Сколь экстравагантным было бы совпадение, если бы точное качество, полупрозрачная сладость ее щеки, живой изгиб кости между бровью и челкой сумели бы выдержать передачу! Как можешь ты разделить со мной весь тот ужас, что я испытывал в темнице, когда я способен его лишь вспомнить, но не воссоздать даже для самого себя? Нет. Это не для тебя. А может, как раз и для тебя, но только отчасти. Раз уж ты там не был.

И вообще, кто ты такой? Один из узкого круга посвященных, с гранками на руках? Я что, твое служебное задание? А я тебя не раздражаю, превращая одну бессвязную галиматью в другую? Может статься, ты наткнулся на эту книжку у какого-то букиниста, лет эдак через полсотни, и ты живешь в другом «сегодня». Свет исчезнувшей звезды сияет нам миллионы лет — по крайней мере, так говорят и, наверное, не врут. Какая именно вселенная подойдет для того, чтобы наша темная сердцевина сохранила в ней свое равновесие?

Однако ж надежда есть. Я мог бы передать хотя бы кусочек, и это, понятное дело, куда лучше пол-

нейшей слепоты и бессловесности; а еще я могу подыскать себе нечто вроде шляпы. Наша ошибка в том, что мы путаем собственную ограниченность с пределами возможного и запихиваем целую вселенную в ту или иную рациональную шляпу. Но я, пожалуй, смогу отыскать намеки на рисунок, который вместит меня, пусть даже его края и терялись бы в неведении. Что же касается общения, то, как говорится, все понять — значит все простить. Хотя кто, кроме обиженного, способен простить обиду? И к тому же каким образом, если этот телефонный коммутатор не работает?

Вина за кое-какие картинки лежит не на мне. Я вполне способен вспомнить себя ребенком. Но даже соверши я убийство в ту пору, ответственным за него я бы себя уже не считал. Здесь тоже есть некий порог, за которым наши поступки становятся деяниями других. И все же я там был. Чтобы понять, надо, наверное, включить и картинки тех, ранних дней. Может статься, заново перечитав свою повесть с начала и до конца, я увижу связь между маленьким мальчиком, чистым как родниковая вода, и тем мужчиной, который похож на застойный пруд. Каким-то образом из одного получилось другое.

Отца своего я не знал, да и матушка, как мне

думается, тоже его никогда не знала. Не могу, конечно, быть полностью уверен, но все ж я склонен полагать, что она его не знала — во всяком случае, в социальном отношении, если только мы не вычленим это слово из всех полезных смыслов. Половина моей родословной до того туманна и непроницаема, что я редко утруждаюсь беспокоиться на этот счет. Я существую. Вот эти пожелтевшие от табака пальцы, что нерешительно зависли над пишущей машинкой, эта тяжесть в кресле удостоверяют мне встречу двух людей, одним из которых была моя мать. Интересно, что думал обо мне второй из них? И что за даты я отмечаю? В 1917-м были победы и поражения, была революция. На фоне таких событий одним мелким ублюдком больше или меньше… А тот-то, другой, был ли он солдатом, которого потом разметало на куски? Или, может, он выжил и ходит, развивается, забывает? А что, он вполне мог бы гордиться мною и моей цветущей репутацией — если б знал. Не исключено, что я с ним даже пересекался, лицом к непроницаемому лицу. Но без узнавания. Я буду знать о нем столь же мало, сколько знает ветер, переворачивающий страницы книги на садовой ограде, невежественный ветер, способный расшифровать цепочки

черных заклепок с таким же успехом, с которым мы, люди, умеем читать лица совершеннейших незнакомцев.

И все ж меня завели. Я тикаю. Существую. Я замер в восемнадцати дюймах над черными заклепками, которые ты читаешь; я занимаю твое место, я заперт в костяной коробке и пытаюсь приклепать самого себя к белой бумаге. Нас соединяют эти заклепки, но, невзирая на всю страстность, мы не разделяем между собой ничего, кроме чувства разобщенности. Так зачем мне думать об отце? Чем он важен?

Зато мать — совсем другое дело. Был у нее какой-то секрет, ведомый, пожалуй, лишь коровам или кошке на ковре, некое качество, делавшее ее независимой от чужих суждений. Она довольствовалась простым контактом. В этом была ее жизнь. Мои успехи ее ничуть не впечатляли. Полное безразличие. В моем альбоме картинок она закончена и окончательна, как точка в конце фразы.

В досужую минуту, когда на меня вдруг накатывало, я расспрашивал ее об отце, хотя в этом любопытстве не было крайней нужды. Пожалуй, если бы я настоял, она была бы поточней в своих рассказах, но зачем мне это надо? Жизненного

пространства вокруг ее передника вполне хватало. Были мальчишки, знавшие своих отцов, так же как и мальчишки, носившие башмаки изо дня в день. Были сверкающие игрушки, машины, места, где люди ели изящно, да только эти картинки на моей стене столь же от меня далеки, как и Марс. Настоящий отец стал бы немыслимой прибавкой. Так что свои расспросы я приберегал к раннему вечеру, пока не открылось наше «Светило», или же к ночи, когда матушка была уже в приятном подпитии. С таким же равнодушием я мог бы попросить ее рассказать сказку, да и верил в нее не больше.

— Мам, а кем был мой отец?

Из-за нашего обоюдного безразличия к тривиальному физическому факту ответы разнились в зависимости от того, что ей грезилось в данную минуту. На них влияло «Светило» и мерцающие истории в «Ригле». Я-то понимал, что все это чистой воды мечты, а потому принимал их, коль скоро сам предавался фантазиям. Заклеймить их словом «вранье» можно лишь при ледяном отношении к правде, хотя пару раз остатки порядочности все же заставили мать отречься от своих заявлений чуть ли не в следующий миг. В результате отец порой был военным, обаятель-

ным человеком, офицером — хотя, подозреваю я, к моему зачатию она уже не была парой офицеру и джентльмену. Как-то вечером, по возвращении из «Ригла», где крутили кинохронику авианалета на группу линкоров у берегов Америки, она заявила, что отец служил в Королевских ВВС. А еще позднее… что за дата тогда отмечалась? С гарцующими скакунами, плюмажами на кирасах и ревущими толпами? Словом, в тот день он превратился аж в принца Уэльского.

Я до того обалдел от этой новости — хотя, разумеется, ничуточки в нее не поверил, — что у меня на сетчатке надолго остался след от красного сияния за каминной решеткой. Да мы оба в это не поверили, однако сверкающий вымысел валялся посреди грязного пола и был благодарно принят, раз уж сам я не был способен на столь грандиозное изобретение. Правда, едва выпалив слова, мать чуть не взяла их обратно: уж чересчур колоссальной получилась выдумка, а может, мечта была слишком сокровенной, чтобы делить ее с другими. Она отвела глаза, на вспыхнувшем лице зарделась серая пергаментная кожа. Мать шмыгнула носом, почесала между бровей, уронила пару слезинок, охотно набежавших после джин-тоника, и сказала, обращаясь к камельку,

где не помешало бы развести огонь пожарче:

— Ты же знаешь, я записная врунья…

Ага. Знать-то я знал и даже не корил за это, но все равно огорчился. Такое чувство, что Рождество минуло и не осталось праздничной мишуры. Стало ясно, что нам следует вернуться к привычному, хоть и вымышленному маминому кавалеру. Принц Уэльский, офицер, летчик… между прочим, шлюхи любят выдавать себя за пасторских дочерей, так что, несмотря на весь куртуазный лоск, церковь вышла победительницей.

— Так кем был мой отец, мам?

— Сколько раз повторяла: священником.

В целом я тоже придерживался этой версии. Между нами не было ничего, кроме разобщенности, но ее все равно следует признать, так что за чужим лицом я видел тоску, дьявола, отчаяние, перекошенные и безысходные образы, которые ежечасно подлаживались под новое убеждение, пока не превращались в таких же уродцев, как и спеленатые ступни китаянок. В горькие минуты я мнил себя опосредованно причастным к добрым делам. Мне нравилось думать, что за отцом не числится проступков, совершенных под каким-то предлогом или по нравственному рав-

нодушию. Из чувства собственного достоинства я бы предпочел, чтобы он отчаянно сражался с плотскими позывами. Военные испокон веков любят и затем бросают женщин, а вот богослужители — и просто воздерживающиеся, и давшие обет безбрачия — все эти пресвитеры, духовники, церковные старосты и приходские священники… Должно быть, я — застарелая боль, некогда вроде бы прощенная, а ныне вспыхнувшая пурпуром. Вот взорвусь где-нибудь в пастырском домике, а то и на хозяйственном дворе, лопну как забытый гнойник. Эти люди, как и я, не чужды греху. Да, в этом что-то есть.

Итак, священник. Интересно, какой церкви? Пару дней назад я шел по переулку, мимо всяких там часовен, мимо молельни, свернул за угол возле старого храма и внушительного дома слуги божьего. К какой же конфессии приписать мой вымысел? К государственной, англиканской? А не был ли мой отец сначала джентльменом и лишь впоследствии принял сан? Так сказать, дилетант-любитель вроде меня. Даже монахи ходят в ладно скроенных рясах, из-под которых выглядывают штаны. Смахивают на друидов с

Браун-Уилли[2], или как там называется это место, куда они прикатывают в машинах и темных очках. А может, сделать отца католиком? Вот уж действительно, профессиональная церковь, хотя бы ты и ненавидел ее по самые печенки. Если сын-ублюдок коснется рукава одного из них, то затронет ли при этом сердце? Ну а если взять нонконформистов с их безотрадной ортодоксальностью, всех этих новоиспеченных схизматиков со скрижалями, переносными алтарями, скиниями и капищами — тут мы с матерью заодно: никакого интереса. Да с таким же успехом отец мог быть масоном. Или «сохатым»[3].

— Мам, кем был мой отец?

Я лгу. Обманываю и себя и вас. Их мир — мой мир, мир греха и искупления, показушности и твердой веры, мир любви в грязной луже. Вы изо дня в день торгуете самой кровью моей жизни. Я один из вас, затравленный человек… Затравленный чем или кем? Вот он, мой глас вопиющий: ходил я среди вас в коконе интеллектуальной свободы, а вы никогда и не пытались прельстить

---

[2] Примечания: 2

Холм в графстве Корнуолл.

[3] Примечания: 3

То есть членом «Благотворительного и покровительствующего ордена лосей».

меня сбросить его, ибо век нынешний сам вас совратил, и вы поверили в игру по правилам, в непритворство, в то, что не каждому дано быть святым. Вы уступили свободу тем, кто ею и воспользоваться-то не может, дали самоцвету заплыть коростой из грязи и пыли. Я изъясняюсь на вашем же герметическом наречии, на коем не говорят другие люди. Я ваш брат в обоих смыслах, и коль скоро свобода — мое проклятие, я швыряю в вас мерзостью, расковыриваю болячку, которая никак не прорвется и никого не убьет.

— Мам, кем был мой отец?

Пусть он так и не узнает. Мне и самому ведомо теплое содрогание, а в сравнении с медленным ростом, что идет следом, я не так уж и много размышляю о физическом отцовстве. Дети — не собственность, которой мы владеем. Мой отец был не человеком, а ничтожным червячком вроде головастика, невидимым невооруженным глазом. Ни головы, ни сердца. Такой же целеустремленный и бездушный, как управляемый снаряд.

Никакой профессии у матери не было, как, впрочем, и у меня. Как говорится, яблочко от яблони и т. д. Мы с ней любители по призванию. Ни деловой сметливостью, ни желанием делать

карьеру и добиваться успеха она не обладала. Однако и аморальной ее тоже не назовешь, потому что это предполагает наличие некой этической нормы, от которой она могла бы отклониться. Была ли она выше нравственности, ниже ее или стояла как-то сбоку? Сегодня ее приписали бы к умственно неполноценным и организовали ненужную ей опеку. А в ту пору ее называли бы придурковатой — если б только она не облачалась в панцирь непробиваемого равнодушия. Мать ставила небольшие, но жизненно важные для нас суммы на лошадей в «Светиле», выпивала и ходила в кино. Работу брала без разбору, какая попадется. Подменяла поденщиц, собирала — на пару со мной — хмель, стирала, подметала и с грехом пополам натирала полы во всех присутственных местах, что располагались неподалеку от нашего переулка. Интимных связей не поддерживала, раз уж это предполагает асептический половой контакт, безлюбовное, безрадостное облагораживание удовольствия с помощью резинового колпачка из ванной комнаты, который предохраняет от зачатия. Она не предавалась любви, этой страстной попытке подтвердить, что разделяющая двоих стена разрушена. Такими вещами она не занималась. Потому как в

противном случае все бы мне выложила заплетающимся языком, бессвязными монологами, подолгу замолкая, коль уж деваться нам было некуда. Нет. Она была просто живым существом. Наслаждалась стопочкой, как титькой кормилицы, уйдя в себя, разражаясь смехом или вздыхая. Случайные соития были для нее, пожалуй, тем же, что для настоящего художника его полотна, — данностью, и не более того. Без подтекста. Встречи на задворках, в полях, на штабелях, у воротных столбов или стен. Как и большинство таких актов в истории человечества, они были приземленными и ничего не выигрывали от психологии, романтики или религии.

Мать была громоздкой. Еще юницей она наверняка обладала пышными формами, но аппетит и ребенок превратили ее поистине в слониху. Судя по всему, некогда она была привлекательна, потому что глаза, утонувшие в буром и одутловатом как плюшка лице, и поныне оставались крупными и кроткими. В них читалось сияние, которым в молодости она должна была светиться от маковки до пят. Есть женщины, не умеющие отказывать, так вот мать превосходила этих простушек, иначе как объяснить, что она сумела заполнить собой туннель в прошлое? Несколько

последних месяцев я все пытался поймать ее двумя пригоршнями глины… да нет же, я имею в виду ее образ, а если точнее, мое ощущение ее громоздкости и неподдельности, ее способности в буквальном смысле застить глаза. За ее спиной нет ничего, ничего. Она — теплый мрак между мной и холодным светом. Она-то и есть конец туннеля.

У меня что-то с головой. Дайте-ка я ухвачу всю картинку, пока ее видно. Мать расплылась, какой я ее и помню; она заполняет комнату и дом, ее непомерное чрево набухает; уверенность во всем и безразличие ко всему поддерживают ее прочней иного трона. Она выше вопросов и сомнений, она и не хорошая и не плохая; не добра и не зла. Маячит в проходе, который я проложил во времени.

Она запугивает, но не страшна.

Она нерадива, но не калечит и не помыкает.

Она груба, но не от злобы или жестокости.

Она — человек зрелый, но без потуг на снисходительное покровительство.

Она тепла без собственнической одержимости.

А самое главное — она на своем месте.

Конечно, вспомнить ее я могу только в глине, в прозаической земле, почве, я не могу набросать

глянцевые краски на туго натянутый холст или обрисовать мать словами, что на десять тысяч лет моложе ее тьмы и тепла. Как можно описать эпоху, мир, вселенную? Если уж объяснять, так только те вещи, которые ее окружали, оставив лакуну посредине, где молча пребывает мать. Я выуживаю из памяти лоскут, серый и пожелтевший. С одного угла обтрепавшийся — или, как я сейчас думаю, подгнивший — до бахромы, влажной бахромы. Остальное закреплено где-то на матери, и вот я, вцепившись пальцами над головой, семеню следом, порой оступаюсь, а порой меня нетерпеливо одергивает громадная ладонь, без единого слова падающая сверху. Мне вроде бы помнится, как я ищу тот уголок ее фартука и с наслаждением обретаю его вновь.

Должно быть, тогда мы жили в Гнилом переулке, потому как отдельные направления уже были четко размечены, под стать румбам компа`са. Нужник был устроен на истертых кирпичах поверх канавы и являл собой длинное деревянное сиденье за дощатой дверью. Над головой кто-то вроде бы обитал, но был ли это всамделишный постоялец? Пожалуй, в ту пору мы были чуточку зажиточней, а может, джин стоил дешевле, как и сигареты. Комод заменял нам платяной шкаф, а

в печке было полно маленьких чугунных полок, дверок и разных выдвигаемых штучек. Мать никогда ими не пользовалась и обходилась малой варочной конфоркой посредине, которая накрывалась чугунным кружком. Коврик у нас тоже был, и стул, и небольшой сосновый стол, и одна кровать. Я спал ближе к двери, а когда с другого конца ложилась мать, я съезжал, как с горки. Дома на нашей улице были одинаковы, за единственным исключением, и через весь мощенный кирпичом переулок проходила сточная канава. Тот мир был полон детей всевозможных размеров; одни мальчишки на меня наступали, другие угощали сладостями; когда я уползал слишком далеко, девочки подхватывали меня на руки и относили обратно. Грязи, наверное, было по уши. У меня отличное, тренированное цветовое зрение — так вот, эти человеческие лица всплывают в моей памяти не бело-розовыми сполохами, а серо-бурыми пятнами. Лицо матери, ее шея, руки — все, доступное взгляду, тоже было серо-бурым. Передник, который я столь отчетливо различаю внутренним зрением, выглядит сейчас до невозможности грязным. А самого себя я не вижу. Не было зеркала, до которого я мог добраться, а если оно и было, то успело исчезнуть к тому момен-

ту, когда я достиг сознательного возраста. Да и чем матери было любоваться в зеркале? Помню развевающееся стираное белье на проволоке, помню мыльную пену, какие-то бесформенные кляксы на стене — грязь, наверное, — но, как и мать, я нейтральная точка наблюдения, разрыв посредине. Я ползал и кувыркался в узком мирке Гнилого переулка, пустой, как мыльный пузырь, но окруженный радугой красок и лихорадочным биением жизни. Мы, дети, ходили полуголодные и полуодетые. Первый день в школе я провел босиком. Мы были шумными, визгливыми, плаксивыми зверенышами. И все же то время мне помнится в сияющем блеске и теплоте рождественского праздника. Я ничего не имею против грязи. Фаянс и хром, лосьоны, дезодоранты, весь комплекс чистоплотности — сиречь, мыла в широком смысле, — вся эта гигиена для меня непостижима и, как я считаю, не свойственна человеку. Перед лицом Вселенной, этого бесплатного дара, человек есть величина постоянная. В каком-то смысле мы, выйдя из нашей крохотной трущобы и отмывшись, вместе с грязью утратили счастье и уверенность в жизни.

От той трущобы во мне остались картинки двух сортов. На более ранних я все вижу изнутри

дома, потому как помню время, когда иного мира для меня не существовало. Кирпичная мостовая с канавой между шеренгами домишек, вереница дворов с отхожими местами в каждом. С одного края, слева от нас, торчали деревянные ворота; на другом конце имелся проход на непосещаемую улицу. В том конце стояло старое замысловатое здание, чья задняя дверь выходила на переулок: паб «Светило». Вот где помещалось средоточие взрослой жизни; здесь крайний дом в шеренге перекинулся аркой над проходом и соединился с пабом, обретя тем самым возвышенное и выгодное положение. Когда я в достаточной мере повзрослел, чтобы обращать внимание на такие вещи, то вместе с остальными обитателями нашего переулка стал поглядывать вверх, на добрую леди, что занимала там две комнаты. Она была накрепко сцементирована с пабом, обслуживала народец почище и держала занавески на окнах. Пустись я в более подробное изложение нашей географии, дабы представить общую картину, я погрешил бы против собственной памяти, коль скоро весь мой первый мир был просто переулком с деревянными воротами на одном конце и прямоугольным, но запретным выходом на главную дорогу. Дождь и солнечный свет лились

на нас между развевающихся или вяло обвисших рубашек. Были шесты с планками и массой простейших приспособлений для развешивания стираного белья повыше, там, где гуляет ветер. Были кошки и, как мне кажется, толпы народу. Помню нашу соседку, миссис Донован, женщину увядшую и высохшую, особенно на фоне моей матери. Помню крикливость их голосов, привычный надрыв глоток и набыченные головы, когда леди ссорились. Помню конец одной такой перепалки: обе мадам медленно, бочком расходились в стороны, что в данном случае означало обоюдно проигрышную ситуацию, и обменивались односложными восклицаниями, полными неясной угрозы, негодования и презрения.

— Ну!

— Ага!

— Да!

— А-а!..

Это запало в память, потому что по непонятной причине мать не выиграла поединок с ходу: ведь обычно так оно и было. Сморщенная миссис Донован со своими тремя дочерями и кучей бед во всех смыслах уступала матери в весе. Был один случай, когда мать одержала победу поистине апокалиптических пропорций. Ее голос словно

отражался от небес медно-трубным ревом. Эта сцена достойна воспроизведения.

Итак, напротив каждого домишки, что выходили на мостовую со сточной канавой, располагалось по квадратной выгородке, обнесенной кирпичными заборчиками высотой фута три. Слева от входного проема имелось по водоразборной колонке, а за ней, то есть с обратной стороны кирпичей, стояла будка, закрывавшаяся дощатой дверью с зарешеченным окошечком. Если поднять деревянную задвижку и открыть дверь, то ты оказывался напротив деревянного ящика шириной во всю заднюю стенку и с круглой, выщербленной по краям дыркой посредине. На ящике обычно валялся клочок газеты; порой на влажном полу можно было найти и целый скомканный лист. От будки к будке тянулся ручей с темной, вяло текущей жижей. Закрыв дверь и опустив задвижку (для чего требовалось дернуть за бечевку, болтавшуюся изнутри), ты уже мог наслаждаться уединением, доступным даже в Гнилом переулке. Если ты через решетку замечал, что кто-то из домашних подошел к выгородке и протягивает руку к задвижке, то полагалось — не шевелясь и без упоминания имен или стереотипных выражений — выкрикнуть

нечто нечленораздельное, и тогда рука отдергивалась. Потому что и у нас были свои нормы общежития. Мы продвинулись вперед со времен Эдема, но при условии, что претендент на место в нужнике пришел из твоего дома. Если же, напротив, в твой сортир рвался ошивающийся на улице бездельник, ты имел право разразиться самыми смачными словечками в раблезианском духе, предложить новые сочетания из непростых реалий нашей жизни и включить в них этого чужака, пока изо всех дверей не раздавался гогот, которому вторила приплясывающая у канавы мелюзга.

Встречались, впрочем, и исключения. В двадцатые до нас добрался прогресс и ко всему прочему добавил модерновый предрассудок, так что мы твердо уверовали в смывные унитазы. Временами Гнилой переулок страдал не только насморком.

Думаю, та история приключилась апрельским деньком. Какой другой месяц способен был подарить мне столько голубого и белого, столько солнца и ветра? Белье на веревках вытянулось плашмя и дрожало, торопливо неслись резко очерченные, драные облака, мыльная пена в канаве брызгалась солнцем, сияли истертые,

омытые дождем кирпичи. Дул ветер — из тех, что приносят взрослым мигрень, а детям — лихорадочное возбуждение. День воплей и борцовских поединков, день пламенеющий и невыносимый без драм и приключений. Воздух набряк ожиданием.

Я играл со спичечным коробком в канаве. Я был таким крохой, что предпочитал сидеть на корточках, но ветер — буйный даже в переулке — все норовил пихнуть меня в бок, так что добрую половину времени мне приходилось сидеть в мыльной воде. Сточная решетка забилась, кирпичи скрылись под лужей, из которой получился удобный океан. Увы, моя замечательная, апокалиптическая память сохранила лишь одиночный кадр, а не протяженную киноленту. Мэгги, дочка миссис Донован, пахнувшая так сладко и щеголявшая округлыми шелковистыми коленками, резко отдернулась от входа в наш кирпичный квадрат. Отступила она до того быстро и размашисто, что каблуком угодила в мой океан. Память запечатлела ее в тот момент, когда она отворачивалась, вскинув руки в защитном жесте. Лица не помню, потому как ее зачарованный взгляд был обращен в другую сторону. Бедняжка миссис Донован, милое сморщенное создание,

выглядывает из своего нужника с выражением несправедливо застигнутой жертвы, готовой все объяснить, дали бы время, хотя сама знает, что в этот момент истины ей не достанется и секунды. А из нашего отхожего места, нашего родного, частнособственнического сортира, наделенного теплым и персональным сиденьем, выбирается моя мать.

Вернее сказать, вылетает, потому как дверь шваркнула о кирпичную стену с такой силой, что слетела задвижка. Мать взирает на Мэгги в хитрой позе: лицо развернуто к плечу, одна ступня перед другой (раз уж выкарабкиваться из узкой будки она способна только боком), ноги напружены, спина сгорблена; словом, облик грозный до жути. Юбки поддернуты и комом сбились у талии, в своих багровых лапах мать сжимает широченные серые подштанники, застрявшие в районе колен. Я вижу ее голос: иззубренный и бронзово-алый, он впивается в воздух и зависает под небесами, покоряя и ужасая, — воистину героическое деяние.

— Ах ты драная кошелка! Тащи свой триппер к своим ублюдкам!

Нет, не припомню я иной столь же грандиозной сцены в нашем Гнилом переулке. Даже когда два

жирафоподобных фараона сцапали близнецов Фреда и Джо, которые ловко промышляли железным ломом на том конце у деревянных ворот, драма выродилась в полное поражение. У всех на глазах один констебль неспешно направился в глубь переулка, и народ принялся бормотать: «А че это он?». Потом Джо с Фредом выскочили из своего дома и почесали к воротам, но, понятное дело, там их поджидал второй полицейский. Вот в него-то они и угодили: парочка мелких мужичков, по одному в каждую руку. К поджидавшему полицейскому фургону их провели по всему переулку, в браслетах, меж двух темно-синих столпов, увенчанных серебряными шипами. Мы ворчали, орали, издавали рулады, которые, выражаясь деликатно, напоминали треск рвущейся материи и в Гнилом переулке заменяли освистывание. Фред и Джо выглядели бледно, но с гонором. Фараоны приходили, забирали, уходили; неотвратимые как рождение и смерть: три ситуации, в которых Гнилой переулок соглашался на безоговорочную капитуляцию. Появлялся ли на свет лишний рот, «черный ворон» или длинные похоронные дроги, означавшие конец пути, разницы не было. В переулок залезало нечто вроде руки, заграбастывало что ей вздумается, и никто не мог ее остановить.

Мы были мирком внутри мира, а я стал мужчиной, еще не успев достичь интеллектуальной революции в мышлении, позволявшей осознать, что обитаем-то мы в трущобах. И пусть весь наш переулок был ярдов сорок длиной, а кругом зеленели поля, мы были трущобой. При этом слове большинство людей воображает себе многомильное месиво из грязи и дерьма лондонского Ист-Энда или наскоро сколоченные халупы и жердяные пристройки Черной страны[4]. Но мы ведь жили в самом сердце сада английского, светившегося изумрудным хмелем. Хотя по одну руку тянулись кирпичные особняки, школы, пакгаузы, лавки и церкви, по другую сторону раскинулись пряные долины, куда я шел за матерью собирать липкие, чешуйчатые хмелевые шишечки. Впрочем, эта картинка вырывает меня из нашего дома, а хотелось бы пока побыть в нем. Верну-ка я назад почтовые открытки с пляшущими, озаренными пламенем человечками и заползу обратно под крышку. Впрочем, там и впрямь были костры, реки пива, песни, цыгане и забегаловка, тайком устроенная в куще деревьев и носившая тростниковую кровлю под стать

[4] Примечания: 4

Бывший центр тяжелой промышленности Англии (каменный уголь, руда, черная металлургия) к северо-западу от Бирмингема.

соломенному канотье, надвинутому на глаза. Возвращаться же приходилось в трущобы. У нас тоже была забегаловка. Жили одной кучей. А нынче я очутился средь стылого мира, вдали от жгучего стыда перед лицом небес, и с изумлением вижу, что немало людей готовы пойти невесть на что, лишь бы сбиться в кучу. Может статься, в ту пору я не заблуждался, и у нас действительно имелось что-то стоящее. Мы были постулатом о человеке, образом жизни, данностью.

Средоточием нашей жизни был паб. Облупленная коричневая дверь с двумя окошками матового стекла почти не закрывалась. Круглая, неровно истертая латунная ручка сияла от постоянных прикосновений. Имелись, надо думать, всяческие правила и время суток, когда торговать спиртным запрещалось, но я их что-то не припомню. Дверь я видел чуть ли не с уровня тротуара, и она до сих пор мне кажется великанской. Внутри был устроен кирпичный пол, стояли скамьи с высокими спинками, а в углу, возле стойки, — два табурета. Уютное местечко, теплое, шумливое, загадочное пристанище взрослых. Позднее я заглядывал туда, когда срочно требовалось найти мать, и никто и никогда не говорил мне, что мое присутствие возбраняется.

А впервые туда я попал из-за нашего постояльца.

Жил он прямо у нас над головой, пользовался нашей печкой, колонкой и нужником. Сдается мне, что он был той самой трагедией, про которую социологи и экономисты настрочили так много книг в девятнадцатом и двадцатом столетиях. Воссоздать его в уме не так уж и сложно. Начнем с того, что при разглядывании с высоты моего тогдашнего роста — от горшка два вершка — он выглядел коротышкой. Эдакий окурок из ремесленника, потому как был он опрятненький и в каком-то смысле с достоинством. Водопроводчик? Плотник? Но при этом очень старый, его даже было трудно вообразить как-то иначе. Скелетик, который не разваливался только оттого, что был обтянут кожей и синим лоснящимся костюмом из саржи. Носил коричневый шарф, чьи концы подтыкал под пиджачные борта… а вот башмаков я не помню — наверное, потому, что вечно глазел на него снизу вверх. У него были интересные руки: все в узлах, венах и бурых пятнах старческой пигментации. Он никогда не снимал мягкую фетровую шляпу — даже когда сидел у окна наверху, семенил по тротуару, крался в уборную или просиживал у стойки в «Светиле». А усы его были и вовсе примечательными: они

смотрели вниз, а своей белизной и мягкостью напоминали лебяжий пух. Усы закрывали ему весь рот — словом, красота да и только. Но еще удивительнее была его манера дышать, шумно и по-птичьи быстро: вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох, без остановки, тик-тик-тик, хрупкие часики, вечно куда-то спешащие, боящиеся упустить время, потратить его на нечто иное. Над усами и под нависшими бровями его востроносого лица таращились глазки, озабоченные и испуганные. Мне всегда казалось, что он видит что-то недоступное другим, нечто крайне захватывающее и тревожащее. Тик-тик-тик, с утра до вечера, круглыми сутками. Народ не обращал внимания. Меня это не беспокоило, мать тоже, да и был он нашим постояльцем, держащимся за окурок собственной жизни. Укладываясь на ночь и вставая утром, я через дощатый сосновый потолок слышал, как он там тикает. На вопросы он отвечал словно спринтер, только что отмахавший милю за четыре минуты; он отдувался и отфыркивался, панически заглатывая воздух, будто в третий раз подряд выныривал, вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох. Как-то раз, когда он сидел и смотрел сквозь печку, я подкатил к нему с вопросом. Любопытство заело. Он мне и выдал

свой одышливый, наработанный ответ — едва не поперхнувшись словами, поспешно ловя ртом воздух, как иной человек подхватывает оброненную чашку в дюйме от пола.

— У меня… фр-р, уф-ф, тик-тик-тик… в груди… тик-тик-тик… бородавка. — «Фр-ф», «уф-ф» и очередной отчаянный рывок за воздухом к концу фразы.

В жизни не видел, как он ест; хотя, если призадуматься, он наверняка чем-то питался. Но как? На это не было времени. Сколько суток должно пройти, чтобы организм выработал весь жир и все мясо, полный запас топлива? И как долго душа сможет саму себя поддерживать за шнурки, сосредоточившись лишь в глазах? Тик-тик-тик, и хотя он заглядывал в «Светило», как и все прочие, он не мог много пить, и вот почему обвислая поросль, закрывавшая ему рот, так походила на лебяжий пух. Сдается мне сейчас, что у нашего постояльца был рак; с кислой усмешкой замечаю за собой желание тут же встроить эту скороспелую конъектуру в некую упорядоченную схему вещей. Впрочем, на ум приходит, что все схемы раз за разом разваливались, что жизнь случайна и что зло ненаказуемо. Отчего должен я связывать того мужчину, того ребенка с вот этой нынешней

головой, сердцем и руками? При желании я мог бы вызвать в памяти формальное преступление тогдашнего периода, потому что я как-то раз стибрил двухпенсовик у этого старика, купил лакрицы, к которой до сих пор питаю слабость, — и не воздалось мне ничегошеньки. Но то были дни ужасающей и безответственной невинности. Видно, тянет меня на литературщину, коли я слепил свой рассказ, дабы показать, как на мертвые глаза моего духовного зрения легли эти два пенса, раз уж я от них избавился. А зачем тогда я пишу? До сих пор надеюсь на схему? Чего я ищу?

Наша кровать на первом этаже помещалась рядом с комодом — только протяни руку, и на краю стоял будильник: древний, круглый, на трех куцых ножках, с чашечкой звонка, смахивавшей на зонтик. Он разбивал материн сон, когда ей было нужно засветло отправляться на поденку; мои сонные уши ставили галочку и спали дальше. Если ночь выпадала долгая и глухая, мать сама не обращала на звон внимания или со стоном накрывалась с головой. Тогда часы будили меня. Всю ночь они тик-такали, сдерживая подспудное, упрятанное внутрь безумие, а потом взрывались напруженностью. Зонтик превращался в голову, будильник принимался отчаянно колотить по

собственному черепу, трясясь и подскакивая на всех трех ножках, пока сам комод не начинал сочувственно дребезжать в унисон этой припадочной истерике. Вот тогда я тормошил мать и ощущал себя деловитым и благонравным, пока она вздымалась из мрака словно левиафан. Однако если я вдруг просыпался среди ночи или же не мог заснуть, тик-таканье часов всегда было на месте, хотя и разнилось под стать моему настроению. Иногда, вернее, чаще всего, оно было дружелюбным и безмятежным, но когда на меня накатывали редкие кошмары, от них страдал и будильник. Время тогда теряло жалость, все гнало и гнало неумолимо к точке беснования и взрыва.

Однажды около полуночи я проснулся как от толчка, застигнутый опасностью и беззащитный: часы остановились. Мне стало страшно; пришлось искать мать. Я испытывал тот же позыв, что ощущаю и сейчас, перед этим листком бумаги, позыв неосознанный и глубинный. Я выпал из кровати и с плачем пополз на улицу, вдоль и поперек сточной канавы, к задней двери паба. За остекленными филенками ни огонька. Пивная ослепла. Я поцарапался в дверь, дотянулся до латунной ручки и, повиснув на ней, навалился

на дверь.

— Мам! Мам!

Латунь в руке провернулась, я как на качелях влетел внутрь. Приземлился на корточки, и там были люди-тени, воззрившиеся на меня сверху вниз, тени, слегка ворочавшиеся в тусклом свете очага. Мать сидела лицом к двери, занимая почти всю скамью, и стеклянная стопка была погребена в ее ладони. Зал протяженный как день. Сейчас-то я знаю, что там сидело с горстку соседей, выпивавших после закрытия, но тогда они показались квинтэссенцией таинства взрослой жизни, вписанной в одну смутную картину.

— Мам, часы остановились!

Я не сумел передать невозможность моего неприкаянного возвращения в немую темноту; я всецело зависел от их понимания и доброй воли. Они высились башнями и что-то бормотали. Словом, компания распалась без особого удовольствия, но все же шумно, так что пару-тройку минут переулок еще дрожал от эха бодрящих голосов. Мать шиканьем погнала меня через канаву и включила нашу голую лампочку. Взяла будильник в одну руку — он утонул в ее ладони почти столь же охотно, как и стеклянная стопка, — и подержала возле уха. Затем грохнула

часами о комод и обернулась ко мне с занесенной карающей десницей.

И замерла.

Медленно возвела очи горѐ, на потолок, где в нескольких футах над моей головой лежал наш постоялец, и стала слушать; слушать в такой тишине, что сейчас я понял свою непостижимую ошибку, ибо теперь-то до меня отчетливо доносилось тик-таканье будильника, спешащего к истерическому припадку, — хрупкий торопыжка, до банальности назойливый, тик-тик-тик…

Был ли у нашего постояльца страховой полис на похороны? Помнится, забирать его приехала солидная машина, вот и получается, что его мертвое тело значило для Гнилого переулка больше, чем живое. У нас на смерть смотрели как на ритуал и зрелище, как на время скорби и радости. Отчего же я так и не увидел его тела? Обманул меня наш переулок или же здесь была какая-то тайна? Как правило, мертвецы пользовались бо̀льшим пиететом, нежели новорожденные. Их обмывали, распрямляли, приводили в порядок; им отдавали почести, как спеленатым и нафаршированным специями фараонам. О смерти в Гнилом переулке не получается думать без эпитета «царственная». В ретроспективе, которая развешивает события

согласно их символическим цветам, Гнилой переулок предстает по случаю смерти обряженным в черное, фиолетовое и багряное; он разбухает от предвкушения выпивки и скорби.

Но отчего же я так и не увидел ничьего мертвого тела? Уж не оттого ли, что взрослым людям-теням из уютной пивной была ведома некая теория о моем кошмарном знании? Что я слишком много знал? У меня имелась особая причина считать себя обманутым. Мне сказали, что у него под шляпой был пух той же лебяжьей белизны; в моем воображении это превратилось в драгоценную вещь, изысканную, как шапочка, достойная увенчивать голову Девы-Лебедь. А про лебяжий пух под шляпой я узнал от Иви. Она-то видела тело в ящике. И даже его потрогала — потому что мать заставила. У нас считалось, что после этого ребенок уже никогда не будет пугаться мертвецов. Вот Иви его и потрогала, ткнув правым указательным пальцем ему в нос. «Вот этим пальцем», — показала она. Я пригляделся, пришел в благоговейный трепет и преисполнился восхищением перед Иви. Но сам так никогда его не увидел и не потрогал. Смерть прокатила мимо в высокой черной машине с морозно-узорчатыми стеклами. В тот день, как и всегда, я стоял на

тротуаре, в сторонке, понимая далеко не все из происходящего. Зато Иви постоянно находилась в сердце событий. Она была на год-два постарше и вовсю мной помыкала. Разве мог я ревновать к Иви, которая знала так много? И пусть он был нашим собственным постояльцем и пользовался нашим нужником, а вовсе не сортиром матери Иви, я не мог злиться на нее за прикосновение к востроносой смерти. Иви тоже была царственна. К тому же имела на это право. Я же имел право считать себя неполноценным, и так и поступал — потому как мне не достался белый пух, а лишь морозно-узорчатое стекло, медленно катившее по переулку. Желая узнать касание смерти, я вообразил, будто сам бросаю вызов самому жуткому и омерзительному одиночеству. Увы, было слишком поздно. Если нагнуться до коленок, то это время само возникнет перед глазами. Дверной порог вырастет до размеров алтаря, я смогу облокотиться на вывеску, что стоит в витрине лавки, а вот сточную канаву придется преодолевать могучим прыжком с разбега. И тогда прозрачность, имя которой «я», поплывет сквозь жизнь подобно мыльному пузырю, пустотелому, лишенному чувства вины и всего прочего, кроме рефлекторных и неосознанных чувств; щедрый, алчный,

жестокий, невинный пузырь. Мать и Иви были моими привратными башнями-близнецами. А жизнь выткалась так, что я оказался недостоин пуховой шевелюры нашего постояльца, этой печати лебяжьей белизны конечного знания.

Да и была ли у него эта шевелюра? Раздумывая над пустым пузырем с высоты коленок, я впервые вижу, что просто поверил Иви на слово. А ведь она была вруньей. Или нет? Фантазеркой она была, вот что. Ростом выше меня, смуглая и тощая, гладковолосая шатенка с короткой круглой стрижкой. Носила коричневые рейтузы, которые морщинились гармошкой под коленями. У нее была куча широченных и ярких лент для волос; я ими восторгался и с безнадежным идиотизмом вожделел. Какой толк от ленточек и бантов, если их не на что повязать? И какой толк от этого символа без королевского достоинства и властности матери и Иви? Когда она, потряхивая головой, принималась разглагольствовать о мире и о том, какими должны быть люди, ее розовый бант колыхался вместе со свешивающимися набок волосами, полный величия и недоступный.

Все же я пребывал в ее руках и был этим доволен. Потому что теперь я был приготовишкой, а ей полагалось меня сопровождать в школу. По

утрам я первым выбегал к канаве и ждал, пока она не покажется из своей двери. Она появлялась — и мир заполнялся солнечным светом. Она звала, и я мчался в ее коллекцию. Она умывала меня под водоразборной колонкой, брала за руку и, не умолкая ни на миг, вела мимо «Светила», мимо окна дамы с кожистым зеленым растеньицем, а оттуда на улицу. До школы надо было добираться ярдов триста или чуть больше по прямой, свернуть за угол, пересечь главную улицу и пройти еще по тротуару. Мы то и дело останавливались, глазея на все подряд; объяснения Иви были куда интереснее школы. Ярче всего мне запомнилась лавка древностей. На скошенном подоконнике витрины, чуть ли не вровень с моим носом, шла надпись громадными золотыми буквами, надо полагать, название фирмы. В памяти осталась только одна позолоченная «W». Верно, потому, что я как раз добрался до этой буквы в букваре.

В той лавке имелись любопытные вычурные подсвечники. Стояли они на золоченом столике, и каждый увенчивался коническим колпачком, как наш будильник — зонтиком. Иви пояснила, что колпачок надо перевернуть, налить в него топленого воску, и тогда он будет гореть вечно. Это она видела в доме своей кузины в Америке

— даже не в доме, а во дворце. Всю дорогу к школе она разливалась соловьем про этот дом, так что когда меня усадили за лист бумаги и дали цветных карандашей, я нарисовал ее дом, то есть дом ее кузины, с громадным низом, колоссальным верхом и колпачками, где пылало золотое пламя.

В ворохе всяческой мелочи на витрине отыскалась ложечка с черенком длиннее обычного. Иви рассказала, что одному дяденьке из этой ложечки дали отраву — по ошибке, думали, лекарство. Ложечку он тут же прикусил — и давай метаться на кровати. Тут-то они и поняли, что влили в него яду, а не монастырского бальзаму, но было уже поздно. Тащат они эту ложечку, тащат у него изо рта, а все без толку. Тогда трое навалились сверху, еще трое ка-ак взялись тянуть, а черенок только удлиняется да удлиняется… и тут Иви припустила по тротуару, коленки ширк-ширк друг о друга, каблуки в стороны; она дергалась, хихикала и сама пугалась своей выдумки, а я несся за ней вслед, выкрикивая: «Иви! Иви!».

В сумрачной глубине магазинчика высились рыцарские латы, полный набор. Иви уверяла, что внутри стоит ее дядя. Вздор, конечно. Доспехи просматривались насквозь по неплотным сты-

кам. Но я никогда сомневался насчет дяди, ибо вера моя была безупречна. Просто решил, что он — необычное создание, весь в дырках, видать, оттого, что дядя был герцогом. Иви объяснила, что он стоит там, поджидая, когда можно будет ее вызволить. А все потому, что ее выкрали те самые люди, с которыми она сейчас живет, а в действительности она самая что ни на есть принцесса, так что в один прекрасный день он выйдет наружу и увезет ее в своем экипаже с морозно-узорчатыми стеклами… Я сразу понял, что это за машина. Все будут ликовать, уверяла Иви, но я-то знал, что буду стоять в сторонке на тротуаре, а бант Иви исчезнет точно так же, как исчезла белая шевелюра из лебяжьего пуха.

Должно быть, Иви следила за моими вскинутыми, доверчивыми глазами: не мелькнет ли в них искра сомнения, потому что вскоре ее рассказы обрели собственные крылья. Теперь я знал, что удостоился чести видеть распростертую предо мной душу, оказался посвящен в один из местных секретов Полишинеля. Но моя невинная доверчивость была условием, на котором зиждились эти откровения, так что я ничего из них не извлек. Иногда, призналась мне Иви, она становилась мальчишкой. Это она сообщила, взяв с меня

клятву молчания, которую я теперь впервые нарушаю. Превращение, сказала она, происходит внезапно, оно болезненное и полное. Без малейшего предупреждения — раз — и готово! После чего Иви ничего не оставалось делать, кроме как справлять малую нужду стоя, — да-да, объясняла она, хочешь не хочешь, а деваться некуда. Приходилось облегчаться точно так, как это делал я. Мало того, после превращения она могла пускать струю выше, чем любой другой мальчишка в нашем переулке, понимаешь, да? Это-то я понимал и трепетал от потрясения. Мысль о том, что Иви отказывается от царственности и красоты своей юбки и натягивает заурядные штаны, стрижет накоротко гладкие волосы, забывает про банты… Ох! Я страстно взмолился: «Не надо, не надо превращаться в мальчишку!». «Так а что ж я могу поделать?» — рассудительно отвечала она. Тогда я с робостью ухватился за единственное утешение: «А можно мне самому превратиться в девочку, носить юбки и ленточку в волосах?». Ну уж нет, сказала она. Такие вещи происходят только с ней. Вновь я оказался в сторонке.

Я обожал Иви. Был убит горем и ужасом. Она же пестовала и лелеяла этот мой ужас как дань реальному положению дел. Когда это случится

в следующий раз, пообещала она, я тебе покажу. Но это означало, что она сгинет из моей жизни, потому что я понимал, что никакой мальчишка уже не возьмет меня за руку, чтобы отвести в школу. Разве сумел бы я в целости и сохранности пройти мимо ее дяди и длинной ложки? Я умолял ее не превращаться — зная при этом, что мы бессильны перед лицом столь жуткой вещи, хотя и сохранил веру в то, что уж Иви-то сумеет управиться с нашим миром, даже если это не по зубам всем прочим людям. Я ревниво следил за проявлением симптомов. Если она уходила с игровой площадки в девчачью уборную, я стоял и терзался сомнениями: а что, если она отправилась проверить, как там у нее? Я вертелся под ногами, досаждал и наконец ей осточертел. Каким-то неясным мне образом она сама отдалилась. Вот и пришлось мне ходить в школу без присмотра, пересекать улицу, чтобы держаться подальше от дяди и ложечки, нырять в ворота иного мира.

Это был мой первый разрыв с Гнилым переулком, потому что рассказы Иви связывали его со школой, хотя сам я не ощутил никакого перехода. Однако сейчас Гнилой переулок угодил в географический контекст и перестал был моей ойкуменой. И все же, когда я в научно-популяр-

ных журналах натыкаюсь на план раскопок чьих-то жилищ и читаю сухой реферат о гипотетической, реконструированной жизни, я задаюсь вопросом: а как будет выглядеть Гнилой переулок под лопатой археолога лет эдак через две тысячи после того, как в него угодила «Фау-2»? Фундаменты расскажут о планировке зданий и распорядке местной жизни. Они наврут нахальнее, чем Иви, хотя и скучнее. Ибо Гнилой переулок рычал и согревал, был незамысловатым и сложным, неповторимым и до странности счастливым мирком в себе. Он подарил мне две родственные и добрые души, за что я до сих пор ему благодарен: за мать, стоящую на пути мрака прошлого, и за Иви, за трепет от знакомства с ней и мое доверие к этой девочке. Мать по всем статьям была чуть ли не потаскухой, а Иви — прирожденной лгуньей. Ну и пусть; мне хватало лишь того, что они рядом. Я настолько живо помню наши отношения, что меня тянет родить афоризм: возлюбите без корысти, и да минут вас скорби. И тут в памяти всплывает, что случилось дальше.

Итак, я выбрался из-под тени Иви и стал обитателем двух сочлененных миров. Нравились оба. Подготовительный класс, где учительницы склонялись над нами как деревца, был местом

для игр и открытий. Появились новые занятия, обнаружился высокий звонкий ящик, из которого одно из деревцев извлекало чарующую музыку. Под конец молитв, пока мы еще стояли шеренгами, музыка менялась, превращалась в марши. Нынче, заслышав уличный духовой оркестр, я нарочно сбиваю ногу, отвергая постыдность столь примитивной реакции, но в те дни я печатал шаг и надувал грудь. Я умел шагать в ногу.

Минни не умела ходить строем, да этого никто от нее и не требовал. Грузноватая была девочка. Ее конечности торчали по углам квадратного туловища, а крупное и довольно старческое личико вечно клонилось к плечу. Ходила она, нескладно выбрасывая руки и ноги. Сидели мы с ней на одной парте, и вот почему я обращал на нее внимание больше других. Если Минни хотелось взять цветной карандашик, это у нее получалось где-то с третьей попытки: пока одна рука тянулась к нему как-то сбоку, вторая взлетала в воздух как бы из сочувствия. Добравшись до цели, Минни резкими, судорожными движениями скребла по столу, пока карандаш не попадал ей в ладонь. Временами заточенный грифель оказывался сверху, и тогда Минни начинала корябать по бумаге тупым кончиком.

Как правило, в такие минуты над нами нависало деревце и переворачивало карандаш, а однажды все карандаши, лежавшие с ее стороны парты, оказались заточенными с обоих концов, так что жизнь упростилась. Не могу сказать, нравилась мне Минни или нет. Она была явлением, которое полагалось принимать, как и все прочее. Даже ее немногословная и косноязычная речь казалась естественной: да, Минни так разговаривает, и точка. Жизнь просто явила свою перманентность и неизбежность в данной конкретной форме, не более того. Развешанные по стенам картинки со зверушками и людьми в странной одежде, глина для лепки, деревянные счеты, книжки, банка на подоконнике с веткой липких каштановых почек — все это вкупе с Джонни Спрэггом, Филипом Арнольдом, Минни и Мейвис составляло неизменную данность.

Пришло время, когда мы почувствовали, что деревца раскачиваются под сильным ветром. Намечалась некая инспекция, и деревца прошелестели новость: дескать, грядет к нам дерево повыше, чтобы выяснить, счастливы ли мы, хорошо ли себя ведем и учимся. В школе вывернули наизнанку все шкафчики, пришпилили особенно удачные рисунки. Мои красовались на самом

видном месте, и это, пожалуй, одна из причин, почему я столь живо помню то событие.

Как-то утром на молитве появилась незнакомая дама, а мы к тому дню уже успели дойти до известной взвинченности. Мы прочитали молитвы, довольно дрожащими голосками пропели псалом и принялись ждать маршевую музыку, под которую полагалось идти в класс. Однако порядок вещей переменился. Покамест мы стояли в шеренгах, незнакомая дама вышла вперед и, пригнувшись, начала по очереди спрашивать наши имена. Держалась она ласково и шутила, на что деревца отзывались смехом. Наконец, она добралась до Минни, а та была уже донельзя красной.

Дама наклонилась к Минни и спросила имя.

Нет ответа.

Одно из деревцев поспешило на помощь:

— Меня зовут М-м?…

Ласковая дама поняла. И тоже взялась помогать:

— Мэгги? Марджори? Миллисент?

Сама идея, что Минни могут звать как-то иначе, показалась такой глупостью, что мы захихикали.

— Мэй? Мэри?

— Маргарет? Мейбл?

Минни уделала пол и башмачки ласковой дамы. Она заревела белугой и напустила такую лужу, что ласковой даме пришлось отскочить в сторону. Забренчал звонкий ящик, мы сделали «напра-ВО! на месте шагом — МАРШ!» и гуськом потянулись в класс. Но уже без Минни. И на какое-то время остались без деревьев. Сколько ж было впечатлений и восторгов! Еще бы: наш первый скандал. Минни раскрыла свою суть. Все те странности, что мы принимали как должное и само собой разумеющееся, слились воедино, и теперь мы знали: она — чужак. Это нас тут же облагородило и возвысило. Минни — животное у нас в ногах, а мы занимаем высшую ступень. Позднее тем же утром одно из деревьев увело Минни домой, а мы стояли и глядели, как они идут сквозь ворота рука в руке. Больше мы ее не видели.

2

Генерал покинул свой особняк у дороги. Сторожка до сих пор на месте, вылезает на широкий тротуар из высокой ограды, окружающей акры кустарников и садов. Дом отошел в руки службы здравоохранения, и я не могу претендовать на изрядный общественный престиж тем, что живу практически по соседству. Трущобы уже не те, что раньше; а может, нынче их вовсе нет. От Гнилого переулка остались лишь пыльные контуры фундаментов среди битого кирпича и мусора. Люди, обитавшие в нем и в других подобных муравейниках, сейчас живут в новом благоустроенном поселке, что взбирается по противоположному склону долины. У них есть деньги, машины, телики. Да, некоторые до сих пор спят вчетвером в одной комнате, но зато на чистом постельном белье. Там, где сохранились дряхлые, грязные домишки — что в городе, что на окраине, — стропила выкрашены красным или синим. Кондитерская с двумя витринами бутылочного стекла сделана желтой и оттенена колером под цвет утиного яйца. Сейчас в ней все устроено, как полагается, а живущая там мечта-

тельная пара выкидывает горшки в сарай. Город не стоит на голове, потому что ее больше нет. Мы превратились в амебу, готовую — а может, и не готовую — эволюционировать. Даже аэродром, что лежит на соседнем холме, нынче смолк. Земля пропахана на три дюйма и засеяна пшеницей, порой достигающей аж фута в высоту, как раз на программу госдотаций. Зимние дожди смывают плодородный слой с меловой подстилки, и тогда холм напоминает белесый череп с облезлой кожей. Меня одного тошнит или мы все изнываем?

Некогда аэродром был Меккой для детворы. Мы с Джонни Спрэггом залезали на край летного поля по откосу; из-за крутизны склона это можно было сделать только боком, цепляясь руками, чтобы перевести дух. Наверху имелась заросшая травой канава, часть одного из реликтов, что приглаженной вязью покрывают меловые холмы по всему побережью. Вдоль дальнего края тянулась проволочная ограда, и там мы лежали бок о бок среди скабиозы, желтого первоцвета и пурпурного чертополоха, разглядывали всяческую ползучую и крылатую мелочь в высокой траве и ждали, пока над нами не прогудит самолет. По этой части Джонни был докой. Он обладал способностью, присущей многим мальчишкам, кроме

меня: порами кожи впитывать сложнейшие технические знания. Нет, у него не было доступа к подходящим публикациям, однако он умел определить любой самолет в поле зрения. Чуть ли не сам научился летать, еще не успев толком освоить чтение. Он понимал, как самолеты висят в воздухе, чутьем и любовью ухватывал концепции сбалансированных невидимых сил, которые держат их на нужном месте. Смуглый, предприимчивый и веселый крепыш, он был всецело ими поглощен. Если самолеты находились высоко, а не просто выписывали круги и садились, Джонни любил следить за ними, улегшись на спину. Мне думается, это давало ему ощущение, что он тоже витает там, наверху. Мое теперешнее, взрослое сопереживание подсказывает: ему, должно быть, казалось, что он покидает недвижную твердь и делит с самолетами ясную, вольную бездну из света и воздуха.

— Это старенький «де хэвиленд». В одном из таких летали в этот… как там его…

— Он сейчас в облако угодит.

— Да ну, слишком низко. А вон давешний «мотылек».

Джонни был экспертом. Он ведал вещи, которые и поныне меня изумляют. Как-то раз мы

следили за самолетиком, который висел в полумиле над городом в нашей долине, и тут Джонни вдруг завопил:

— Глянь, глянь! Он же в штопор входит!

Я скептически фыркнул, и Джонни ткнул меня в бок:

— Смотри, говорю!

Самолетик клюнул носом, сверкнул серебряной рыбкой — и как пошел вертеться, искрясь отблесками: раз! раз! раз! Затем он перестал крутиться, задрал нос и степенно проплыл над нами, а парой секунд позже донеслась и секвенция звуков мотора, вторивших каждому его маневру.

— Это «авро-эйвиан», они больше трех витков за раз делать не умеют.

— Почему?

— Не смогут выйти.

Однако по большей части мы наблюдали за взлетающими и садящимися самолетами. Если пройти вдоль канавы и свернуть дальше, на косогор, обдуваемый господствующими ветрами со стороны городишки, то открывался отличный вид сбоку на летное поле. Самолеты зачаровывали Джонни, а вылезавшие из кокпитов фигурки были для него богами. Я и сам в какой-то мере заразился его страстью и тоже кое-что усвоил.

Я знал, что при посадке самолет должен коснуться земли обоими колесами одновременно. Очень любопытное зрелище, потому что порой боги ошибались, и тогда самолетик «козлил», приземляясь дважды на пятидесяти ярдах. Эти случаи наполняли меня восторгом, а вот Джонни сильно расстраивался. Создавалось впечатление, что всякий раз, когда самолетик терпел аварию, скажем, деформировался подкос шасси, падали шансы, что Джонни выучится летать, когда подрастет. Так что в наши обязанности входило определение типов самолетов и наблюдение за тем, как их выводят из ангаров, обслуживают и пускают в полет. Насколько мне помнится, из полудюжины машин, стоящих на поле, как минимум одна была все время на ремонте. Особого интереса я не испытывал, но послушно следил за происходящим, потому что привязался к Джонни почти столь же сильно, как в свое время к Иви. Джонни был цельной натурой. Если выпадала нелетная погода, мы под дождем и ветром носились по меловым холмам, и Джонни почти все время держал руки в стороны — как два крыла.

Как-то раз на холм и влезать-то не было смысла, потому что мы едва различали его макушку. Но Джонни сказал: вперед — и мы пошли. Кажется,

случилось это в пасхальные каникулы. До обеда погода еще держалась — ветреная, но вполне ясная, зато потом всю долину залил дождливый туман. Ветер подталкивал в спину, понукая лезть вверх, а дождь находил нас, где бы мы ни прятались. Стоило повернуть лицо и приоткрыть рот, как щеки раздувало ветром. Конусный ветроуказатель на вершине не просто гудел, а ревел, да и выглядел обкорнанным, потому что свободный конец обтрепался донельзя. Мы оба считали, что его следовало бы снять, но что делать: он так и продолжал хлестать на ветру под пение оттяжек гнувшейся под дождем мачты. Джонни полез через проволочную ограду.

Я нерешительно помедлил.

— Может, не надо?

— Дава-ай!

Видимости на летном поле было с полсотни ярдов. Я бежал вслед за Джонни в содрогающейся траве — и знал, чего он хочет. Мы поспорили об отметинах, которые делает самолет при посадке, и хотели увидеть их воочию; вернее говоря, этого хотел Джонни. Смотреть приходилось в оба, потому что это было священное и запретное место и дети здесь не приветствовались. Порядочно удалившись от проволоки, мы приближались

к полосе, где садились самолеты, как Джонни вдруг замер.

— Ложись!

Сквозь пелену дождя просвечивал силуэт какого-то мужчины. В нашу сторону он не смотрел. У его ног стояла квадратная канистра, в руке он держал палку, а из-под дождевика выпирал какой-то комок.

— Джонни, нам лучше вернуться.

— Я посмотреть хочу.

Мужчина что-то крикнул, и откуда-то сверху, из тумана, донесся отклик. На аэродроме было полно народу.

— Джонни, пошли домой…

— Обойдем его с фланга.

Мы опасливо отступили в дождь с туманом и побежали в подветренную сторону. Но и тут стоял очередной человек с канистрой. Мы залегли, промокшие до нитки, и Джонни задумчиво прикусил кулак.

— Надо же, оцепление устроили…

— Они нас ищут?

— Нет.

Мы обошли последнего часового и очутились между полосой и ангаром. Эта игра мне уже наскучила, я проголодался, промок и порядком

струхнул. А вот Джонни хотел ждать дальше.

— Будем держаться в стороне, они нас и не приметят.

Возле ангара звякнул и задребезжал колокол, знакомый мне и в то же время — в этих обстоятельствах — незнакомый.

— Что это?

Джонни, вытирая нос тыльной стороной ладони:

— Скорапомощь.

Ветер поутих, но воздух набряк темнотой. Низкая облачность несла с собой сумерки.

Джонни встрепенулся:

— Слышишь?

Едва заметный мужчина возле канистры тоже, должно быть, что-то услышал, так как замахал рукой. Над нами, окутанный туманным саваном как привидение, появился «де хэвиленд», чей допотопный профиль ускользал от глаз. Со стороны ангара донесся шум заводимого мотора санитарной кареты, кто-то принялся зычно командовать. Человек возле канистры стал поспешно макать палку в канистру. Ветер накрыл его черным дымом с наветренной стороны, где мерцала какая-то искорка. Ком тряпья на конце палки неожиданно занялся пламенем, а по соседству одна за другой

вспыхивали новые искорки; их набралась целая шеренга. Вновь прогудел «де хэвиленд».

Туман к тому времени настолько сгустился, что от мужчины с факелом осталось лишь расплывчатое пятно света. Судя по звуку мотора, самолет закладывал вираж, гудел то ближе, то дальше — и вдруг вынырнул совсем рядом, темной кляксой прополз над нами и ангаром. Мотор взрыкнул как-то особенно громко, раздался хруст и треск лопающегося дерева, а потом и глухой, тяжелый удар, словно громыхнула пушка. Стройная шеренга огней в тумане развалилась, торопливо потянулась мимо нас.

Джонни сложил ладони рупором и зашептал, словно кто-то мог подслушать:

— Давай-ка мимо ангара — и мотаем отсюда.

Молчаливые и перепуганные, мы на рысях махнули к подветренной стенке ангара. Его неосвещенный торец был окутан дымом, в мокром воздухе чем-то пахло, а с противоположной стороны полыхало, билось пламя пожара. Едва мы свернули за торец и припустили к дороге, как невесть откуда возник человек. Высокий, без головного убора, вымазанный черным. Он заорал:

— А ну кыш отсюда! Еще раз замечу, спущу на вас полицию!

С тех пор Джонни какое-то время опасался подходить к аэродрому.

На другом холме, где нынче живу я, стоял генеральский особняк. Хозяин был из рода Плэнков, стрелял крупную дичь, а его жена открывала благотворительные базары. Семейство владело пивоварней у канала; где начиналась газовая станция, а где пивоварня — с ходу и не скажешь. Но все равно канал был просто неотразим: грязный, подернутый радужной пленкой, живший своей жизнью благодаря трубам, откуда постоянно хлестала горячая вода. Иногда под заляпанной мазутом стенкой причаливали баржи, и мы однажды ухитрились забраться на борт, где и притаились под брезентом. Впрочем, нас оттуда все-таки погнали, и вот как вышло, что в тот день мы впервые сделали вылазку на улицы другого холма. Бежать пришлось всю дорогу, потому что баржой командовал настоящий великан, не любивший детей. Этот подвиг нас изрядно вдохновил, и мы, по инерции восторга, влипли в очередное приключение. К позднему вечеру мы наконец добрались до ограды генеральского сада. Отдышавшись, Джонни пустился в пляс на тротуаре. Никому нас не поймать. Мы самые быстроногие. Это не под силу даже генералу.

— Генералу?! Да ты спятил! И не смей!

Но Джонни еще как смел.

Вообще-то, его похвальба не была столь уж дерзновенной. Забраться в генеральский сад попросту не вышло бы из-за очень высокой, сплошной ограды; к тому же репутация хозяина — охотника на львов — дала ход слухам, что по его уединенным акрам рыщут дикие звери; а мы верили этим слухам, чтобы сделать жизнь увлекательнее.

Да, Джонни еще как смел. Мало того, твердо зная, что ограда неприступна, он взялся отыскать способ проникнуть внутрь. Словом, мы пошлепали по улице, восторгаясь собственным нахальством и выглядывая в стене несуществующий лаз. Миновали сторожку, добрались до угла, свернули вдоль ограды на юго-восток, затем обследовали тыльную сторону. Повсюду сплошной кирпич, из-за которого выглядывали кроны деревьев. И тут мы разом замерли, не говоря ни слова. Да и что тут скажешь? Ярдов тридцать кладки обрушились, завалились внутрь, на деревья; темнеющая брешь напоминала всосанную нижнюю губу. Кто-то о ней уже знал, потому что кромка была загорожена проволочной сеткой, но целеустремленных верхолазов этим не остановишь.

Наступила моя очередь веселиться.

— Ну, Джонни, кто там хвастался?

— С тобой на пару.

— Я ничего такого не говорил!

Мы едва различали друг друга под сенью деревьев. Я двинулся следом, пробираясь рядышком со стенкой, где кустарники и ползучие побеги росли плотными и, по всей видимости, никем не посещаемыми дебрями.

Здесь пахло львами. Я сказал об этом Джонни, так что некоторое время мы оба стояли, затаив дыхание и слушая собственные сердца, пока не раздался какой-то новый звук. Был он похуже любого льва. Мы обернулись и напротив проема увидели — его; вернее, его куполовидный шлем и верхнюю половину темной униформы, потому как сам полицейский стоял нагнувшись и разглядывал потревоженную сетку. Решение мы приняли молча. Беззвучные, как кролики под забором, мы крадучись полезли вперед, подальше от фараона и навстречу львам.

Настоящие джунгли, а обнесенный оградой участок был целой страной. Наконец мы вышли к изрытому колеями пятачку, где шеренгами стояли какие-то стеклянные ящички, и там увидели мужчину, возившегося в дверях сарая. Пришлось

быстренько удирать назад в кусты.

Залаяла собака.

Мы переглянулись в тусклом свете. Приключение принимало новый, крутой оборот.

Джонни буркнул:

— Ну, Сэм, как будем выбираться?

Через пару секунд мы уже вовсю попрекали друг друга и заливались слезами. Фараоны, работники, собаки — мы были окружены.

Перед нами расстилалась широкая лужайка, упиравшаяся на том конце в задний фасад особняка. Кое-где в окнах горел свет. Под окнами явно пролегала терраса, потому что вдоль карнизов с ритуальной торжественностью перемещалась некая темная фигура с подносом в руках. Уж не знаю почему, но такая сановитость нагнала на нас больше страху, чем мысль о львах.

— Как мы будем выбираться? Я домой хочу!

— Тс-с! Иди за мной, Сэм.

Мы тихонько обогнули лужайку с края. Высокие окна заливали траву длинными полосами света, и, чтобы не угодить в них, всякий раз приходилось нырять в кусты. Понемногу возвращалась бодрость духа. Ни львы, ни полицейские нас не заметили. Обнаружив темный закуток возле белой статуи, мы там и залегли.

Неспешно стихали людские голоса, и вместе с ними угасала наша нервная дрожь, так что львы оказались позабыты. Заблестел высокий фронтон особняка, полная луна выплыла над крышей, и сад тут же преобразился. Прудок возле дома замигал серебряным глазом; статные, осанистые кипарисы повернули матовый, словно подернутый инеем бок к ночному светилу. Я взглянул на Джонни: на его отчетливо видимом лице расплылось благодушие. Ничто нам не угрожало и не могло угрожать. Мы поднялись с земли и стали молча бродить по саду. Порой оказывались по грудь в темноте, порой утопали в ней с головой и затем выныривали, облитые лунным сиянием. Задумчивые статуи белели среди черных хвойных глубин, углы и закоулки сада бахвалились деревьями в цвету: редкость, которую в этом месяце нигде больше не увидеть. По правую руку от нас шла дорожка с каменной балюстрадой и цепочкой каменных ваз, окутанных резными каменными цветами. Здесь куда лучше, чем в парке, потому что опасно и запретно; да, лучше, чем парк, потому что тут есть луна и тишина; лучше, чем волшебный особняк, освещенные окна и бродившая под ними фигурка. Здесь мы как бы нашли себе дом.

Из особняка донесся взрыв смеха; завыла собака. Я вновь машинально брякнул:

— Хочу домой.

Чем объяснить ту защищенность, которую мы испытывали в этом необычном месте, в чем был его секрет? Нынче, пустив в ход воображение, я вижу нас со стороны: наивные оборвыши; на мне лишь рубашка да штаны, Джонни одет едва ли лучше, и вот мы бродим по саду замечательного особняка. Но я никогда не видел нас вчуже. В моем сознании, стало быть, мы остаемся двумя крупицами восприятия, блуждающими по раю. Я могу только догадываться о нашей невинности, но испытывать ее не в состоянии. Если я и чувствую расположенность к оборванцам, то лишь в отношении двух незнакомых людей. Мы медленно продвигались к деревьям, где обвалилась ограда. Наверное, мы заранее прониклись верой, что фараон успел уйти и нам ничто не воспрепятствует. Разок набрели на белую дорожку и поскользнулись на ней, слишком поздно поняв, что она покрыта свежим, еще не застывшим бетоном. Впрочем, ничего другого в саду мы не нарушили — ничего с собой не взяли, да и почти ничего не трогали. Мы были глазами.

Прежде чем вновь закопаться в подлесок, я

обернулся. Этот миг хорошо запомнился. Мы находились в верхней части сада, откуда открывался вид на весь участок. Луна расцвела в своем заповедном, сапфировом свете. Сад же был черно-белым. Между нами и лужайкой стояло одинокое дерево: самое недвижное из всех, росшее лишь в те часы, когда на него не падали людские взоры. Громадный ствол, четкие ярусы ветвей, по которым, как мазутная пленка на воде, расплывались черные листья. Распластанные ветви слоями рассекали мятую фольгу пространства, объятого спокойствием слоновой кости. Позднее я научился называть это дерево кедром и шагать мимо, но в ту минуту это было для меня библейским откровением.

— Сэмми! Он свалил.

Джонни отогнул проволочную сетку и высунул свою героическую голову. На дороге ни души. Мы вновь стали маленькими дикарями и, юркнув наружу, выпали на тротуар. Ограду починят, да и дерево в саду вырастет — но уже без нас.

Сейчас я знаю, чего ищу, и почему эти кадры отнюдь не случайны. Я оттого их привожу, что они кажутся важными. К прямому сюжету моего рассказа они мало чего добавляют. Если б нас поймали, как оно со мной впоследствии и случи-

лось, и за ухо отволокли к генералу, он, пожалуй, запустил бы в ход механизм, который изменил бы мою жизнь или жизнь Джонни. Но описанные мною кадры важны вовсе не этим: они значимы фактом самого своего существования. Я — их сумма, таскаю с собой этот груз памяти. Человек — тварь не сиюминутная, его нельзя считать просто физическим телом, отзывающимся на нужды текущего мгновения. Он — невероятный сверток из всевозможных воспоминаний, чувств, окаменелостей и коралловых наростов. Я не тот мужчина, что некогда был глазеющим на дерево мальчишкой. Я — мужчина, который помнит себя таким мальчишкой. Вот она, разница между временем, разложенным в бесконечный ряд мертвых кирпичиков, и временем, заново переснятым и прокрученным на фотопленке воспоминаний. К тому же есть нечто еще более простое. Я могу любить того ребенка в саду, на аэродроме, в Гнилом переулке, маленького сорвиголову-школяра, потому что он — не я. Он сам по себе. Если б его умертвили, я не стал бы испытывать чувство вины или хотя бы ответственность. Но что ж тогда я ищу? Я ищу начало этой ответственности, начало мрака, точку моего отсчета.

Филип Арнольд составлял третью сторону

нашего мужского треугольника. Как мне его описать? Мы окончили приготовительный класс, перешли в мужскую школу, начальную, пронизанную ветром и асфальтированную. Я был упрям, физически крепок, закален, полон бодрости духа. Между кадрами Сэмми Маунтджоя с Иви и Сэма Маунтджоя в компании Джонни и Филипа лежит пропасть. Первый был ребенком, второй — мальчишкой, а вот градации исчезли. Два разных человека. Филип был со стороны, из квартала особняков. Бледный паренек, физическое воплощение предельного труса, с характером, который в наших глазах смахивал на размокший спичечный коробок, и все же ни генерал, ни бог на аэродроме, ни Джонни Спрэгг, ни Иви, ни даже мать не изменили мою жизнь так, как это сделал Филип.

Мы считали его размазней; любое насилие вгоняло Филипа в ступор, что и превращало его в отличную мишень: если у тебя чесались кулаки, он был всегда под рукой. Этих его свойств было достаточно, чтобы походя намять ему шею или дать пинка, а вот нечто более изощренное требовало тщательной подготовки, так что Филип нашел простой способ самоизбавления. Начать хотя бы с того, что он умел очень быстро бегать,

а за перепуганным Филипом вообще никто не мог угнаться. Понятное дело, иногда мы загоняли его в угол, однако он изобрел тактику и на этот случай: сжимался в комок, даже не думая отбиваться. Может, тут проявлялся скорее инстинкт, нежели изобретательный ум, но этот прием срабатывал очень эффективно. Если ты не встречаешь сопротивления, то не можешь вдруг слиться заодно со своей жертвой; напротив, спустя какое-то время тебя брала скука. Филип съеживался как кролик под ястребом. Ни дать ни взять, кролик. Ну а затем, покамест он молча дергался под ударами, игра утрачивала всю свою прелесть. Вместо суетливой дичи ты видел мешок, невыразительный и неинтересный. Сам того не зная, Филип был философом с политической жилкой и умел добиваться желаемой цели. Он подставлял другую щеку, и мы отваливали в поисках более пикантной дичи.

Меня тревожит, что вы примете Филипа за простодушного недотепу. Пожалуй, он и впрямь напоминает главного героя из тех книжек, что одна за другой появлялись в двадцатые годы. Эти герои не годились для подвижных игр, были несчастными, непонятыми — мало того, трагическими — душами в школе, пока не достигали

восемнадцати-девятнадцати лет и публиковали сногсшибательный томик стихов или посвящали себя оформлению интерьеров. О, нет-нет. Мы, конечно, вели себя по-хулигански, однако и Филип не был простачком. Он любил драки, когда доставалось кому-то другому. Если мы с Джонни устраивали потасовку, Филипп вихрем мчался на шум и аж приплясывал, хлопая в ладоши. Когда на спортплощадке мы устраивали кучу малу, наш бледноликий, пугливый Филип бегал кругами, заходя то с одной, то с другой стороны, и, подхихикивая, бил ногой по самым нежным местам в пределах досягаемости. Ему нравилось делать больно, а катастрофы и вовсе доводили до оргазма. По пути к главной улице имелся один опасный перекресток, так в гололедицу Филип проводил там все свободное время, надеясь поглазеть на какую-нибудь аварию. Если вам встретится пара-тройка юнцов, без дела околачивающихся на перекрестке — где угодно, хоть за городом, — то знайте, что как минимум один из них именно этого и дожидается. Мы азартная нация.

Филип не был — и не является — типажом. Весьма любопытная и сложная личность. Мы держали его за слюнтяя, достойного лишь пре-

зрения, но на деле он был куда опаснее любого из нас. Я был вожаком, и Джонни был вожаком. Каждый сколотил себе банду, и между нами вечно висел вопрос решающей битвы. С грустным удивлением я вспоминаю этих двух варварских главарей, до того невинных и простодушных, что они списали Филипа со счетов как мокрицу. Филип — яркий пример естественного отбора. Он как цепень в кишках был приспособлен к выживанию в этом современном мире. Я был вожаком, и вожаком был Джонни. Филип взвесил все аргументы и выбрал меня. Я думал, что нашел себе оруженосца, а он оказался моим Макиавелли. С бесконечным тщанием и истерической одержимостью самосохранением, Филип стал моей тенью. Обитая рядом с наиболее отчаянными из всей шатии-братии, он чувствовал себя защищенным. Поскольку он был так близок, я не мог устроить на него облаву, и мои охотничьи рефлексы уже не срабатывали на Филипа. Робкий, жестокий, взыскующий и в то же время страшащийся компании, быстроногий слабак, хитрый, сложный, никогда не бывший ребенком — он стал моим бременем, моим кривым зеркалом, моим льстецом. Тем, чем я, пожалуй, был в свое время для Иви. Он внимал и прикидывался,

что верит. Фантазировать, как Иви, я не умел, мои рассказы выпячивали, а не замещали собой жизнь. Тайные общества, экспедиции, сыщики, Секстон Блейк («взревев, громадный грузовик прыгнул вперед»)… он делал вид, что всему верит, и вился вокруг меня вьюном. Кулаки и слава принадлежали мне — и я же был его шутом и глиной. Пусть он и не умел драться, зато ведал одну вещь, о которой мы ничего не знали. Филип разбирался в людях.

Мы все увлекались сбором вкладных картинок из сигаретных пачек. Обычное дело. У меня не было отца, источника материала для коллекции, а мать курила жуткую дешевку, которая распространялась благодаря не рекламе, а нищете покупателей. Никто бы не стал довольствоваться этой дрянью, если б мог позволить себе нечто получше. Единственное и весьма ограниченное чувство ущербности, которое я испытывал в Гнилом переулке, связано именно с этим обстоятельством: не в том смысле, что у меня не было отца, а просто недоставало картинок. То же самое я бы чувствовал, если бы моя семья была полноценной, но родители не курили. Вот и приходилось клянчить у прохожих:

— Мистер, у вас не найдется сигаретных кар-

тинок?

Нравились мне эти картинки, а в особенности — уж не знаю почему — я предпочитал серию с египетскими царями. Как было б хорошо, думал я, если бы у всех людей были их строгие, гордые лики. А может, я слишком усложняю, вперяя в прошлое свой взрослый взгляд? Уверен я лишь в одном: мне нравились цари Египта, они дарили удовольствие. Все прочее — безусловное истолкование взрослого человека. Этими картинками я очень дорожил. Выклянчивал их, выменивал, дрался за них, сочетая тем самым дело и потеху. Увы, вскоре никто из ребят потолковее не решался вступать со мной в схватку за картинки, потому как я всегда одерживал верх.

Филип соболезновал, тыкал меня носом в мою нищету, лишний раз указывая на мучительность стоящего передо мной выбора: или потерять надежду на пополнение коллекции царей, или выменять их на что-то иное и тем самым навечно расстаться с моей первой серией. Я по привычке дал Филипу затрещину — пусть не наглеет, — но сам знал, что он прав. Египетские цари были мне недоступны.

И тогда Филип сделал второй шаг. Кое-кто из малышей тоже владел картинками, которые

были им совершенно ни к чему. Видеть, как они мусолят египетских царей, не зная им цены… Стыдобища!

Помню красноречивую паузу Филипа, помню, как пронзило меня чувство одиночества и вороватой затаенности. Я оборвал всю его промежуточную цепочку:

— Ну и как их заполучить?

Филип тут же подстроился. Я взял быка за рога, а он встал на мою позицию без дальнейших рассуждений. В таких делах он был гибким как резина. Все что нам надо — он так и сказал: «нам», это я отчетливо помню, — так это устроить засаду в каком-нибудь глухом местечке. А потом забрать картинки поценнее, раз уж они им ни к чему. Итак, требовалось подыскать глухое местечко. У туалета, до или после занятий — но только не на перемене, объяснял Филип. В это время там толпа. Сам он встанет посредине спортплощадки и подаст сигнал, ежели рядом объявится кто-то из учителей. Что касается сокровища (ибо с этого момента картинки объявлялись сокровищем, а мы — пиратами), оно подлежит дележке. Я могу оставить себе всех царей Египта, а он заберет остальное.

Это предприятие принесло мне одного еги-

петского царя, а Филипу — штук двадцать всевозможных картинок. Замысел оказался короткоживущим и малопривлекательным. Я сидел в вонючем сарае, праздно разглядывая надписи, оставленные нашими более грамотными представителями и особенно заметные оттого, что их тщательно соскребывали. Сидел и ждал в пропахшей креозотом тишине под звуки автоматически наполнявшихся и опорожнявшихся туалетных бачков — денно и нощно, независимо от наличия или отсутствия клиентуры. Стоило появиться мелковозрастной жертве, как я без стеснения выкручивал ей руки, а вот отбирать картинки было неприятно. К тому же Филип просчитался, хотя я уверен, что урок пошел ему на пользу. Дело с самого начала оказалось отнюдь не столь простым, как мы думали. Старшеклассники быстро раскусили, что к чему, и захотели войти в долю, так что мне пришлось драться чаще, но без призового фонда; к тому же кое-кто из них вообще возражал против всего мероприятия. Затем поток мелюзги вовсе иссяк, а еще через пару деньков я очутился пред очами директора. Один из малюток, видите ли, отпросился с урока справить нужду, но сделал это за кирпичной стенкой котельной. Еще один элегантно обмочился прямо

в классе, разревелся и сквозь сопли объяснил, что боится отпрашиваться из-за «большого мальчика». Устоявшийся процесс их обучения был немедленно прерван. Вскоре у кабинета директора выросла очередь из малышей, дававших свидетельские показания. Все тыкали пальцем в сторону Сэмми Маунтджоя.

Школа была гуманная и просвещенная. Зачем наказывать мальчика, если его можно заставить осознать вину? Директор старательно объяснил жестокость и бесчестность моих поступков. Он не спрашивал, делал я это или нет, ибо не хотел давать мне шанс соврать. Обрисовал связь между моей страстью к царям Египта и масштабом захлестнувшего меня искушения. О роли Филипа он не догадывался и ничего нового не узнал.

— Потому что тебе нравятся эти картинки, да, Сэмми? Только отнимать их никак не годится. Попробуй их нарисовать. И надо бы вернуть все, что сможешь. Постой-ка… вот, возьми эти.

И он дал мне трех египетских царей. Думаю, ему пришлось изрядно помучиться, чтобы их найти. Директор был славным, заботливым и старательным человеком, который и на милю не приблизился к пониманию детей, вверенных его попечению. Он оставил розги в углу, а мою вину

— на моих плечах.

Вот она, искомая точка отсчета?
Нет.
Не здесь.

Но это еще не самое главное, чем удружил мне Филип. Следующим номером шел шедевр одержимости. И хотя его можно считать неумелой демонстрацией, небрежной ученической поделкой, он показал мне Филипа не просто абрисом, а в трех измерениях. Подобно ледяной макушке, которая торчит над водой и свидетельствует о великой пучине. Филип всегда был схож с айсбергом. Он до сих пор бледен, до сих пор погружен в себя, едва различим и опасен для мореплавателей. После истории с сигаретными картинками он какое-то время меня сторонился. Я же стал еще активнее нарываться на драки и не думаю, что более яростное желание подчинять и делать больно доступно для осознания лишь умудренным взрослым. Своим звездным часом я обязан Джонни. Из-за какого-то невразумительного и необузданного гнева на нечто и вовсе неопределенное я набросился на единственный предмет, который, как я отлично знал, не дрогнув примет бой: лицо Джонни. Но когда я заехал ему в нос,

он оступился и раскроил себе голову об угол школьного здания. Его мать пошла к директору — Джонни, кстати, изо всех старался меня убедить, что он тут ни при чем, — и на меня вновь свалились неприятности. До сих пор помню чувство вызова и одиночества: человек против общества — вот что я тогда испытывал. В первый, но не в последний раз меня стали избегать. Директор полагал, что соответствующий срок в Ковентри[5] продемонстрировал бы мне ценность социальных контактов и убедил бы отныне не пользоваться людьми взамен подвесной груши.

В этот-то период ко мне вновь пристроился Филип. Он заверил меня в своей дружбе, и мы быстро спелись, потому что других приятелей я растерял. Джонни всегда уважал начальство. Если директор приказывал заткнуть рот, Джонни сидел тихо как мышь. Он любил приключения, но почитал власть. Филип же испытывал к начальству скорее не пиетет, а настороженность. Вот и подкатил ко мне вновь. Не исключено, что среди учителей он даже прослыл преданным другом и тем самым поднял свои акции. Кто знает? Я уж точно был ему признателен.

---

[5] Примечания: 5
Здесь: колония для малолетних преступников.

Умозрительно воссоздавая и оценивая наши отношения в те памятные недели, я прихожу в замешательство. Неужто он и впрямь был прожженным интриганом в столь нежном возрасте? Да возможно ли, что уже в ту пору Филип был таким трусливым, опасным и искушенным?

Когда я прочно к нему приклеился, Филип свернул разговор на религию. Эта тема была для меня не поднятой целиной. Если б я окрестился прямо сейчас, то это было бы крещением с оговоркой. Я проскочил сквозь эту сеть. Но Филип был англиканцем, причем (что совсем уж нехарактерно для тех дней) его родители блюли свою веру строго и преданно. Я лично познакомился с этой невероятной ситуацией с чужих слов, да и мало чего в ней понял. В школе у нас были заведены молитвы и псалмопения, но из них я запомнил только марш, под который мы шагали в классные комнаты, и еще тот случай, когда Минни показала нам разницу между человеком и животным. Раза два к нам заглядывал пастор, однако ничего не случилось. Мне нравилось слушать из Библии — и это чистая правда. Я все принимал в пределах границ читаемого урока. Если б в ту пору какая-то конфессия удосужилась сделать нужное усилие, я бы свалился им в руки как спелая груша.

Но Филип даже в том свежем возрасте начал объективно приглядываться к своим родителям и сделал определенные выводы. Отважиться на решительный шаг он не посмел, однако замер на самом краю, рассудив, что все это глупости. Хотя и не совсем. Загвоздка была в викарии. Филипу приходилось посещать какие-то занятия — вроде бы насчет подготовки к конфирмации[6]. А может, он был еще слишком юн? Собственно, пастор, чудаковатый, одинокий старик, не имел к этому никакого отношения. Поговаривали, что он пишет некую книгу, а жил он во внушительном доме при церкви, на пару с почти столь же дряхлой экономкой.

Чем на тот момент была для нас религия? Для меня ничем, а для Филипа — источником раздражения и досады. Лучше всех, пожалуй, устроился Джонни Спрэгг благодаря своему бездумному соглашательству и непотревоженности ума. Он знал, чего ждать от мисс Мейси, принимавшей жесткие меры к тому, чтобы мы усвоили все нам положенное. Да уж, мы знали свое место: запуганные до полусмерти и прибитые молниями, стоило только на секундочку отвлечься. Она

[6] Примечания: 6

Первое причастие юношей и девушек в англиканской церкви, обычно в возрасте 13–16 лет.

была справедлива, но свирепа. Тощая, седовласая женщина, мисс Мейси все держала под полным контролем. Как-то раз, после обеда в погожий денек, когда за окном синело небо с громадами белых облаков, читала она нам урок. Раз уж мы не осмеливались делать ничего другого, глаза класса были прикованы к мисс Мейси — у всех, кроме Джонни. Он поддался своей главенствующей страсти. Среди облаков показался «мотылек» и принялся выписывать «горки», петли, спирали, вовсю нанизывая высокие небеса над Кентом. С ним был и Джонни. Он летел. Я понимал, что сейчас произойдет, и украдкой даже попытался его предостеречь, но мой шепот утонул в свисте ветра в расчалках и мерном рыке мотора. Мы знали, что мисс Мейси засекла нарушителя, потому что в атмосфере повисло еще больше благоговейного ужаса. Она продолжала говорить как ни в чем не бывало. Джонни вошел в штопор.

Мисс Мейси закончила изложение.

— Итак, дети, вы не забыли, отчего я рассказала вам эти три притчи? О чем они нам говорят? Филип Арнольд? Можешь ответить?

— Да, мисс.

— Дженни?

— Да, мисс.

— Сэмми Маунтджой? Сюзан? Маргарет? Роналд Уэйкс?

— Мисс. Мисс. Мисс. Мисс.

А Джонни заходил в пике на мертвую петлю. Он сидел и копил под своим стулом ту мощь, что вознесет его в небо. В летчицком шлемофоне, уверенный в себе, тонко чувствующий руль направления и штурвал, обдуваемый могучим ветром и запахом машинного масла, вездесущим, как жареная рыба с картошкой. Джонни медленно взял штурвал на себя, титаническая длань взметнула его ввысь, и он перевернулся вверх ногами на вершине петли, покамест никчемная черная земля с легкостью тени неслась куда-то вбок.

— Джонни Спрэгг!

Аварийная посадка.

— Марш сюда.

Джонни с громыханием вылез из-за парты платить по счетам. Полеты — дело недешевое: три фунта на двухместнике и по тридцать шиллингов в одиночку за каждый час.

— Так почему я рассказала вам эти три притчи?

Джонни держал руки за спиной, уронив подбородок на грудь.

— На меня смотри, когда я к тебе обращаюсь!

Подбородок чуток приподнялся.

— Почему я рассказала вам эти три притчи?

Мы еле разобрали его ответное бормотание. «Мотылек» убрался прочь.

— Незнаюмисс…

Мисс Мейси хлещет Джонни по обеим щекам, меняя руки. За каждым словом — пощечина.

— Бог…

Бац!

— …есть…

Бац!

— …любовь!

Бац! Бац! Бац!

Мы знали, чего ждать от мисс Мейси.

Итак, религия пусть и бессистемно, но вошла в наши индивидуальные жизни. Думаю, мы с Джонни смирились с ней как с неизбежной составляющей загадочного порядка вещей, всецело нам неподвластного. Правда, мы еще не сталкивались с викарием Филипа…

Он был бледным, напористым, искренним и святым. Пастор самоустранился от сонмища страхов и разочарований, впав в чудачества, так что за приходскими делами все больше и больше приглядывал отец Ансельм. Народ развесив

уши внимал его захватывающим и пугающим проповедям. Свои рассуждения он приспосабливал к уровню аудитории. И словил Филипа. Проскользнул сквозь выставленное им охранение и принялся угрожать его знанию людей, его себялюбию. Он вытаскивал свою паству к главному алтарю и ронял ее на колени, даже не впадая в присущий валлийцам ораторский раж. Отец Ансельм оперировал конкретикой. Например, демонстрировал потир. Рассказывал про «Куин Мэри» или еще какой-нибудь грандиозный инженерный проект, над которым в тот момент шла работа. Вещал о богатстве. Вытягивал вперед серебряную чашу. У кого-нибудь найдется шестипенсовик, дети? Серебряный шестипенсовик?

И наклонял чашу. Внемлите, дети: вот о чем думают цари египетские. Потир-то вызолочен чистым золотом.

Филип был пронзен до самых пят. Ага, стало быть, в этом что-то есть. Они истолковали суть данного вопроса с тем же утилитарным пиететом, который задействовали во всех прочих делах. Позолотили его. В даровитом, извращенном уме Филипа религия отряхнулась от лжи и ответов в духе «Вы спрашиваете, откуда берутся дети? Их находят в капусте», став величественной силой.

Но викарию этого было мало. Оглушив Филипа потиром, он прикончил его алтарем.

Вы, дети, этого не видите, но там живет Сила, сотворившая Вселенную и служащая вам опорой. К счастью, вы не можете ее видеть, как не дано было видеть и Моисею, хоть он об этом и просил. Если б пелена спала с ваших глаз, вас бы разнесло в клочки. Так вознесем же молитву, смиренно преклонив колена.

А теперь ступайте, голубчики. Захватите с собой мысль об этой Силе — возвышающей, утешающей, любящей и карающей, об оке недремлющем и опекающем без устали.

Филип ушел на прободенных ногах. Он не сумел объяснить мне, в чем дело, но теперь-то я знаю. Если все это правда, если это не очередная порция лапши, по-отечески навешиваемой на уши, то на какое будущее мог рассчитывать Филип? К чему тогда его интриги и дипломатия? А расчетливое манипулирование людьми? Что, если и впрямь существует иная шкала ценностей, на которой цель не оправдывает средства? Филип не умел это выразить, однако мог передать свое настоятельное, отчаянное желание узнать. Для меня золото всегда было символом, а не металлом. Я с восторгом выковыривал его из школы — смирна

и чистое золото, златой телец — ах, как жаль, что его стерли в прах! — золотое руно, Златовласка, Златовласка, распусти свои… золотое яблоко, о, золотое яблоко!.. Их свет заливал мое духовное око, и я ничегошеньки не видел в Филиповом потире, кроме новой порции мифов и легенд. Однако сейчас я был изолирован и пребывал в Ковентри. По этой-то причине Филип вновь ко мне пристроился. Орудуя своей окаянной проницательностью, он взвесил и обмерил мое одиночество, мою озлобленность и вызывающую самонадеянность. Уже тогда он умел выбрать для дела верный момент и правильного человека.

Ибо как можно апробировать истинность заявлений отца Ансельма? Разумеется, здесь годился единственный метод: тот самый, что придуман для неосвещенных домов. Я бы звонил в дверь и убегал. Филип же занимал бы наблюдательную позицию и по результирующему отклику выносил суждение, есть ли кто в доме. Но перед этим меня нужно было довести до кондиции посредством моего одиночества и крайностей характера. Для начала он заработал себе мою благодарность. И мы пошли с ним вдоль канала. На перемене, пока дежурный учитель глядел в сторону, Филип завел разговор. Ведь он мой

единственный друг. А остальные… да на черта они сдались, правда, Сэмми? Ну. Я как Большой Хью[7], мне на всех плевать. Даже на директора. Вон его окошко. Хочешь, расшибу?

— Заливаешь?

— Сказал расшибу, значит, расшибу.

— Серьезно?

Да я б и полицмейстеру окошко вынес, ясно?

Тут-то Филип и подверстал церковь к разговору. Стояла осень, темнело. Самое время для отчаянного дельца.

Нет, окна бить не надо, сказал Филип, и стал меня вываживать своими «ой, да ладно!», «кишка тонка» и прочее, а я заводился все сильнее, пока он меня не подсек. Еще сумерки не претворились во мрак, как я… «Да, Сэмми, я знаю, ты можешь вздуть любого из нашей школы, но вот такое… не-ет, тут у тебя пороху не хватит… да ладно, Сэмми, забудь, все равно тебе слабо`…». И все это подхихикивая, ужасаясь и хлопая в ладошки от предвкушения обещанной катастрофы.

— Да запросто! Расстегну ширинку и уделаю его вдоль и поперек.

Хи-хи-хи, шлеп, бр-рр, аж сердце выпрыгивает.

---

[7] Примечания: 7

См.: *Уайльд О.* Настоящий друг.

И вот через «слабо` — не слабо`» на осенней улице меня наконец-то подписали на осквернение главного алтаря. О улица, хладная в купоросном дыме и медном лязге! Да славится твой бурый пакгаузный профиль с газовым заводом под предвечными небесами! Да славится громаднейший лабаз из всех, притулившийся к кущам и оссуарию, подальше от сверкающего канала!

Пританцовывая и прихлопывая, Филип продвигался в авангарде, а я шел следом в сети ловца человеков. Не могу сказать, что меня знобило, хотя зубы так и норовили клацнуть, если я забывал стискивать челюсти. Пришлось окликнуть Филипа, чтобы он минутку обождал под мостом через канал, где я возмутил водную гладь концентрическими разбегающимися кругами со взбитой пеной. Филип тем временем сбегал вперед и вернулся — ни дать ни взять, щенок на прогулке с хозяином. По дороге я обнаружил, что у меня какие-то нелады с кишками, так что очередную остановку я сделал в темном переулке. Но Филип по-прежнему приплясывал вокруг меня, сверкая белыми коленками в полумраке. Слабо`, слабо` тебе, Сэмми…

Мы пришли к каменной ограде кладбища, угрюмым тисам и крытому входу, через который

заносят гробы. Я вновь тормознул и попользовался стенкой, которую до меня орошали собаки, затем Филип лязгнул задвижкой, и мы вошли. Он перемещался на цыпочках, я брел за ним, и перед глазами у меня тьма разворачивала свои странные формы. Нас окружали высокие камни, а когда Филип поднял засов в разверстом зеве притвора, раздался такой звук, словно дверь вела в средневековый замок. Я крадучись скользнул в кромешную тьму, нащупывая Филипа вытянутой вперед рукой — но и сейчас мы не были внутри. Там имелась вторая дверь с мягкой обивкой, и когда Филип ее толкнул, она с нами заговорила:

— Бах.

Все же я двинулся дальше, Филип меня впустил. Что и как делать, я не знал, и отпущенная дверь опять бросила нам в спину:

— Бабах.

Церковь тянулась на мили; сначала появилось чувство, будто я попал в мир из полого камня, сплошных теней, намеков на глянцевые прямоугольники — неясных, как остаточное изображение на сетчатке, — непредсказуемых и пугающих фигур у самого носа. Я превратился в ничтожество со звенящими зубами, дергающейся кожей и волосами, растущими из самовольно

расплодившихся мурашек. Филипа проняло не меньше моего. Но, видно, очень уж его заело. Я различал лишь его руки, физиономию и коленки. Физиономия маячила рядом. У нас состоялся яростный и сумасбродный спор в тени внутренней двери у притвора, где на столе высилась горка требников — нам по плечо.

— Я же говорю, слишком темно! Не вижу ни черта!

— Ага! Испугался! Только и умеешь языком чесать.

— Так не видно ж ни зги…

Мы даже попихались: неуклюже, потому что из-за его непредсказуемой женской силы я как-то ослаб. А потом непроглядная тьма рассосалась. Возникли расстояния. Я пушечным ядром врезался в нечто деревянное с зелеными огоньками, которые завертелись вокруг меня, затем разглядел дорожку и скорее догадался, чем понял, что по ней-то и надо идти. По ногам мне сквозило горячим воздухом из металлических решеток в полу. В конце дорожки к небу тянулось скопище тускло-глянцевых прямоугольников, а под ними виднелась махина. Возле алтаря — горящая свеча с дерганым пламенем, словно ее держал маньяк. От тишины звенело в ушах: высокой, кошмарной

нотой. Вот ступеньки, чтобы подняться, а вот гладь ткани с белой полосой. Шлепая по лужам горячего воздуха из напольных решеток, я бегом вернулся к Филипу. Мы опять поругались и сцепились. Меня обуял благоговейный трепет от этого места; даже мою речь — и ту приструнило.

— Фил, я уже три раза успел… как ты не понимаешь? Не смогу я больше!

Филип поносил меня из темноты, поносил вяло, подло и искусно — по-братски.

— Ну ладно. Обдать не выйдет, зато могу плюнуть.

Я вернулся обратно сквозь горячий воздух, и латунный орел не удостоил меня вниманием. Хотя наступил вечер, было скорее светло, чем темно: достаточно, чтобы разглядеть высокие загородки резного дуба по обеим сторонам, напрестольный покров, черно-серый узор в каменной кладке пола. Я встал поближе к нижней ступени — насколько осмелился, — но во рту тоже пересохло, и я, сам того не желая, был за это благодарен. Отчаянно и законопослушно я ухватился за надежду на очередную осечку.

Наклонившись вперед под круженье зеленых огоньков, я орально испражнился — громко, чтобы и Филипу было слышно:

— Тьфу, тьфу, тьфу!

По правую руку взорвалась Вселенная. В правом ухе взревело. Ракеты, водопады огней, огненные колеса — и я уже шарил по камню. Сверху меня залил яркий свет циклопьего глаза.

— Ах ты, бесенок!

Я машинально попытался взгромоздить свое тело на ноги, но они разъезжались, и я вновь рухнул пред гневным оком. Сквозь пение и рев был слышен только один естественный звук.

Бах. Бабах.

Меня повлекло по каменному полу, а глаз танцевал снопом света на резном дереве, книгах и блестящей ткани. Сторож держал меня цепко и, затащив в ризницу, включил свет. Хоть меня и взяли с поличным, я не сумел блеснуть ни дерзостью, ни стоицизмом Черной Руки, когда его разоблачил Секстон Блейк на пару с Тинкером. Пол и потолок не могли меж собой договориться, где верх, а где низ. Сторож в буквальном смысле загнал меня в угол, а когда разжал пальцы, я бескостным мешком осел по стеночке. Жизнь резко перестраивалась. С одной стороны моей головы ее было больше, чем с другой, и она не предвещала ничего хорошего. Небо, полное отдаленного шума, в котором с беспредельной скоростью

мчались звезды, влезало в меня справа. Бесконечность, мрак и космос вторглись на мой островок. Что же касается остатков моей нормальности, они осмотрели светильник, деревянный ларь, белые ризы на вешалке и латунный крест, кинули взгляд сквозь арку и увидели, что сейчас там светло. Сей мир ужаса и громовержения оказался всего лишь церковью, где шла подготовка к вечерней службе. На сторожа я не смотрел и не помню, каким было его лицо в ту минуту; я видел лишь черные брюки да сверкающие башмаки — ибо я в любую секунду мог свалиться с пола и расшибиться о потолок возле одинокой электролампочки. В арке возникла какая-то бледная дама с целым ворохом цветов, и сторож пустился в многословные объяснения, именуя ее «мадам». Предметом их беседы был я, к этому времени уже сидевший на низком табурете и изучавший даму одной половиной головы, потому что с противоположной стороны, через пробитую в моем черепе дырку, я инспектировал Вселенную. Сторож сказал, что я, дескать, «один из них». И что же ему прикажете делать? Надобна помощь, ведь вон до чего дошло, а храм теперь придется запирать. Бледная дама, свысока оглядев меня через континенты и океаны, ответила, что решать

должен пастор. Тогда сторож отворил еще одну дверь и по щебенке повел меня сквозь темноту, приговаривая, что по мне розги плачут и, будь его воля, он бы мне всыпал, — ох уж эти мальчишки! Сущие бесенята, и с каждым днем все гаже, как весь этот мир, и куда он только катится, пес его знает, и никто этого не знает… Щебенка была зыбучей, как свежая пашня, а ноги мои потеряли всю прыть, так что я помалкивал и просто старался не упасть. Затем выяснилось, что сторож держит меня за руку, а вовсе не за ухо, а вскоре даже наклонился ближе, ухватив под локоть и за пояс. И болтал без передыху. Мы подошли к еще одной двери, и нам ее открыла очередная бледная дама, но уже без цветов, а сторож все не унимался. Мы поднялись по каким-то ступенькам, пересекли лестничную площадку и оказались перед внушительной дверью. Ведущей в сортир, потому что я слышал, как кто-то там тужится:

— О-ох! А-ах!

Сторож постучался, за дверью скрипнули половицы.

— Да входите же, входите! Что у вас?

По ковру без конца и края мы прошли в темную комнату. Посредине стоял приходской священник. До того высокий, что казалось, он макушкой

врастал в сводчатые тени. Со странным безразличием и бесстрашием я оглядел все, что было мне доступно. Ближе всего, как раз напротив моей физиономии, располагались пасторские брюки со стрелочкой до колен, выше которых штанины пузырились и лоснились как черное стекло. Вновь два человека принялись надо мной спорить в выражениях, скользивших мимо моего внимания, ничего для меня не значивших и позабытых. Зато беспокоило и озадачивало нечто совершенно иное: меня все время заваливало набок. Даже хотелось встать на колени, но не из-за пастора, а потому что, если сжаться в комок, я, пожалуй, наконец перестал бы задаваться абсурдным вопросом: «А где здесь верх?». Понятно было одно: пастор отказывался что-то такое делать, а сторож его уговаривал.

Потом священник громко и, как мне сейчас кажется, с ноткой отчаяния промолвил:

— Ну хорошо, Дженнер. Так и быть. Если мне никуда не деться от посягательств…

Мы остались с ним наедине. Он отошел к потухшему камину, уселся в кресло, как в материнское лоно.

— Подойди.

Осторожно переступая по ковру, я добрался до

подлокотника и встал рядом. Пастор подался вперед, наклонившись чуть ли не до своего черного колена, и окинул меня изучающим взглядом с макушки до пят, затем с пят до макушки и, наконец, остановился на моем лице.

Медленно и рассеянно он проговорил:

— Тебе бы умываться почаще, вышел бы прелестный ребенок.

Тут пастор стиснул подлокотники и вжался в кресло, словно почуял могильный холод. Увидев, что он хочет держаться от меня подальше, я стыдливо потупился от девчоночьего слова «прелестный» и моей грязи. Мы погрузились в долгое молчание, а я вдруг обратил внимание, что его узкие туфли повернуты носками внутрь. По правую руку от меня все так же ревела нафаршированная звездами Вселенная.

— Кто подбил тебя на эту мерзость?

Филип, конечно.

— Ты еще маленький и не мог сам до такого додуматься.

Бедняга. Я мельком глянул вверх, взвесил сложность объяснений, увидел, что это мне не вытянуть, и сдался.

— Назови имя этого человека, и я тебя отпущу.

Да не было никакого человека. А лишь Филип

Арнольд и Сэмми Маунтджой.

— Почему ты это сделал?

Почему, почему… Да потому.

— Но ты же должен знать!

Ну конечно, я знал. Перед глазами так и стояла карта всей операции, что довела меня до этого рубежа, — о, я видел ее в мельчайших деталях. А деяние свое совершил потому, что Филип, побеседовав с еще одним священнослужителем, возомнил, будто в церкви содержится больше щекочущих нервы приключений, нежели в синематографе; потому что я был изгоем и не мог не делать больно из дерзости; потому что парнишка, врезавший Джонни Спрэггу так, что его мать помчалась жаловаться директору, был обязан поддерживать собственное реноме; и наконец, потому, что вконец иссяк, успев троекратно справить нужду под напев звезд. Я много чего знал… Знал, что мне полагалось бы учинить жуткий, по-взрослому въедливый допрос. Знал, что никогда не стану таким высоким и величавым, как он. Знал, что он никогда не был ребенком, что мы с ним разнородные создания, пребывающие в своем предписанном и неизменном месте. Знал, что вопросы будут точны, но бессмысленны, потому как их задают из чуждого мне мира, и на них не

получится ответить. Они будут справедливыми, высокопарными и невозможными, эти вопросы из-за высокой ограды. Я по наитию знал: задавать такие вопросы — все равно что вычерпать воду ситом или ущипнуть тень; подобная интуиция — одна из горчайших бед детства.

— Ну так кто же тебя подучил?

Ибо так заведено, что, когда рассеиваются чары, призрачные враги, пираты и разбойники с большой дороги, воры, ковбои, славные люди и люди дурные, ты остаешься один на один с жестокой реальностью: с голосом взрослого человека в четырех всамделишных стенах. Вот где стражи порядка и сотрудники службы пробации, учителя и родители ломают цельность нашего простодушия. Герой низвергнут, скулит и беззащитен — пустое место, да и только.

Сколько бы я продержался? Сумел бы выдюжить, как Тинкер? Ему частенько грозили той или иной формой изощренного уничтожения, если он не расколется. Но я в тот момент был избавлен от подозрения в собственной несостоятельности, потому что внезапно потянуло домой, захотелось прилечь. А потом даже дорога домой показалась непосильной. Вселенная забуривалась мне в голову, мимо проплыл Млечный Путь,

зеленые огоньки певучих звезд расплылись и заполонили все и вся.

Мои воспоминания об этом моменте сбивчивы, как горная дорога в туманную пору. Я вернулся домой на своих двоих? Неужто сумел? А если меня несли, то чьи руки? Все ж до Гнилого переулка я добрался и точно помню, что на следующий день, как обычно, даже был в школе. Но, пожалуй, не в себе. Словно долго-предолго стоял под изморосью и уже готовился распустить нюни — да только никакого дождя не было. Зато правая сторона головы казалась теплой, а в ухе стреляло. Сколько суток? Часов? В общем, сидел я в классе, а день, скорее всего, уже клонился к вечеру, потому что горели обе голые лампочки на длинных шнурах. Я устал от пальбы в правом ухе, устал от школы — словом, от всего устал и хотел лишь одного: лечь. Сижу, пялюсь на бумагу перед глазами и понятия не имею, что писать. В классе стояло шушуканье, и я как-то подсознательно понял, что всеобщее возбуждение и благоговейный страх адресованы именно мне. Мальчишку в соседнем ряду, чуть левее и впереди, подергали за полу пиджака, и он обернулся. Шушуканье усилилось, так что даже учитель вскинул голову. Тут Джонни Спрэгг, что сидел справа от меня, поднял руку:

— Извините, сэр! Сэмми плачет.

Мама и миссис Донован разбирались в ушных болях. Имелся целый ритуал. Некоторое время я был предметом интереса всех женщин в нашем переулке. Они собрались в кружок и, разглядывая меня, качали головами. С толикой удивления я сейчас сообразил, что мы ни разу так и не воспользовались верхней комнатой после смерти жильца. Может, мать надеялась найти нового постояльца, а может, ее безразличие к голой, пустующей комнате было предвестником окончательного упадка. Мы жили и спали внизу, словно над головой по-прежнему тикало и шипело чужое дыхание, просачиваясь сквозь побеленные доски. В общем, мое больное ухо пришлось держать рядом с печкой, да я и не возражал; здесь было вполне уютно. Мать развела жаркий огонь в средней дырке. Дама, растившая зеленый кожистый цветок, пожаловала с ведерком угля и советами. Мне дали проглотить горькие белые пилюли — аспирин, наверное, однако Вселенная продолжала забуриваться, неся с собой боль. Предметы разбухали. Я пытался скрыться от боли, но она гналась за мной по пятам. Мать и миссис Донован посовещались с цветочной дамой и решили меня проутюжить. Миссис Донован притащила утюг —

я так понимаю, своего у нас не было? — черный, с бурым лоскутом вокруг ручки. Всамделишный чугунный утюг, в глубоких оспинах ржавчины, блестящий лишь с нижней, гладильной стороны. Цветочная дама приложила мне к виску тряпочку, а мать тем временем нагрела на печке утюг. Сняв его с огня, она поплевала на блестящий металл, и я увидел танец исчезающих слюнных бусинок. Присев рядышком, мать через тряпицу проутюжила мне полголовы, а цветочная дама держала меня за руку. Пока я прилежно впитывал тепло и надеялся на освобождение от боли, дверь отворилась, и к нам с поклоном вошел высоченный пастор. Мать отставила утюг, сняла тряпку и поднялась. Боль дала в голову так, что я заерзал, устроился на одном боку, затем перевернулся на другой, а потом и вовсе улегся ничком — и при всяком повороте я видел стоявшего в дверях верзилу-священника с отвисшей челюстью. Люди в комнате наверняка ходили и разговаривали, хотя этого я не помню. Глядя в прошлое, я вижу их застывшими как кромлехи. Тут боль принялась всерьез колотить в дверь моего сугубо личного, неприкосновенного ядра, я заорал и заметался. Пастор исчез, а потом из бездн огня и океанов мрака под дикими зелеными звездами в комнате

возник здоровенный детина, который на меня набросился, скрутил, стиснул мне руки, подмял под себя и при этом повторял как заведенный:

— Один махонький укольчик, и все.

У меня за правым ухом есть сейчас серповидный шрам и морщинистая складка. Они такие старые, что кажутся естественными и вполне уместными. Приобрел я их в тот же день, или по крайней мере ночь. В ту пору не имелось ни пенициллина, ни прочих чудо-снадобий для подавления инфекций. При малейшем подозрении на гнойный мастоидит врачи тут же хватались за ланцет. Очнулся я в новом месте, новом мире. Я лежал над тазиком, до того измученный рвотой и слабостью, что не замечал ничего, кроме этой лоханки, окружающей белизны и коричневого глянцевого пола. Боль поутихла, стала тупой и пульсирующей, как в школе, где я разрыдался, однако на сей раз плакать не было сил. Я лежал в лекарственном дурмане, жалкий, в чалме из марли, ваты и бинтов. В какой-то из дней меня навестила мать. В первый и последний раз я увидел в ней не просто широкую, заслоняющую мрак фигуру, а человека. Порой одурманенный взор способен выхватить крупицу здравого смысла, не доступную во вменяемом состоянии. Исстра-

давшийся, я видел мать глазами постороннего: тучное, грузное создание, испещренное пятнами и запачканное. Нависшие космы над бурым лбом; квадратное, отечное лицо с бычком в уголке рта. Теперь я вижу ее мясистые руки с перетяжками, смуглую кожу в красно-синих разводах, вижу пальцы, вцепившиеся в хозяйственную сумку на коленях. Сидела она как всегда: величаво-безразлично, хотя аэростат уже истекал газом. О каком гостинце могла идти речь, если эта женщина вынуждена заимствовать даже утюг? И все же она пораскинула умом и кое-что раздобыла. На тумбочку в изголовье кровати мать положила стопку довольно замусоленных картинок — милых моему сердцу египетских царей.

3

Вновь я задаюсь вопросом: «Ну, здесь?», и мое я отвечает: «Нет, не здесь». Этот мальчик близок мне не больше, чем любой иной ребенок. Он просто доступнее. Как же он выглядел? Не помню. Да и знал ли раньше? Он до сих пор витает пузырьком, полным то счастья, то боли, которые я разучился испытывать. В моем сознании эти чувства представлены цветом; они столь же чужды моим ощущениям, как и сам этот ребенок. Его неполноценность и комплекс вины ко мне не относятся. Найдется и свой сорняк, проросший на почве моей жизни. Только корней никак не могу отыскать. Сколько ни пытаюсь, а не получается извлечь хоть что-то собственное.

Госпитальная палата оказалась неплохим местом, когда перестала болеть голова. Не обошлось без осложнений, я шел на поправку по ухабам. Целую вечность провалялся в больнице, так что теперь вполне могу переключиться с Гнилого переулка на мир этой палаты, совершить эдакий межпланетный перелет. И тут и там я пребываю в безвременье. Почти не помню ни врачей, ни нянечек, ни даже других детей. Выживание в по-

добном состоянии — дело наверняка случайное, иначе как объяснить, что я не помню соседей справа и слева? Зато напротив лежала девочка-малышка. Крошечная, черненькая, кудрявая как барашек, с круглым, лаково отсвечивающим, смеющимся личиком. Никто не мог понять, на каком наречии она лопотала. Так, а вот сейчас я вспомнил, что у нее была не больничная койка, как у детей постарше, а детская кроватка на полозьях, потому что, встав в изножье, эта негритяночка могла раскачиваться вверх-вниз, держась за верхнюю перекладину. Болтала она не переставая. Смялась и пела, лепетала какую-то бессмыслицу любому человеку в пределах досягаемости: врачам, санитаркам, посетителям, старшей медсестре, детям — счастливая и неугомонная. Ничего она не боялась, не ведала печалей, и не было человека, который бы ее не полюбил. Из вереницы кирпичиков я делаю вывод, что она появилась в палате, полежала под скорбным листом, выздоровела и удалилась. Но стоит мне подумать о той палате, она всегда там: крохотная фигурка с черными как вакса ручонками и черной блестящей мордашкой, раскачивающаяся и смешливая, в белой ночной рубашонке.

Помню я и старшую медсестру, потому что со мной она возилась больше, чем с другими больными. Она была высокая и сухощавая. Пожалуй, даже отличалась особенной, суровой красотой. Носила темно-синее форменное платье и ослепительно белый чепец с крылышками. Отвороты ее рукавов были жесткими, блестящими, узкими в запястье раструбами. Когда она появлялась в палате, мир переставал вертеться. Обычным нянечкам мы давали жизни, но вот старшей медсестре — никогда. Ее окружал кокон благоговения. Не исключаю, что здесь сыграла свою роль почтительность младшего медперсонала, но лично мне кажется, что внушаемый ею трепет был столь же естественным, как и материнская ласка.

Я ей обязан.

Кто-то из нянечек сказал мне, что моя мать слегла и потому не может меня навещать. Это известие я принял без раздумий, из-за того что был всецело увлечен безграничным миром палаты. Уж не знаю почему, но моя тумбочка всегда ломилась от гостинцев, как и у других детей, а посетители считались чуть ли не коммунальной собственностью. Вот я и делил их со всеми остальными. Тогда все было устроено иначе, сплошное

изобилие и порядок. Но однажды пришла старшая медсестра и присела ко мне на кровать, вместо того чтобы встать рядом. Она сказала, что моя мама умерла — попала в рай и теперь счастлива. А затем протянула мне вещицу, о которой я мечтал, даже не веря, что хоть когда-нибудь смогу стать ее обладателем: кляссер и несколько конвертов со всяческими марками. В конвертах были устроены окошечки, через которые были видны разноцветные квадратики. А еще имелся пакетик с карманчиками-клеммташами из кальки, одна сторона матовая, другая поблескивала клеем. Велев мне открыть пакет, она показала, как вставлять марку в клеммташ и отыскивать нужную страну. Должно быть, она просидела со мной немало времени, потому что я помню, что с великим прилежанием заполнил кляссер кучей марок. Насчет скорби ничего доложить не могу. Даже цвета не вижу. Помню лишь один глубокий, насквозь пронзивший меня всхлип, из-за которого я расплескал горькую жидкость в стаканчике, принесенном старшей медсестрой, так что пришлось послать нянечку за новой порцией. Потом я задремал над своим альбомом, а когда проснулся, в палате ничего не изменилось, разве что к жизни добавился очередной факт, с которым

— как мне сейчас кажется — я успел смириться, испив из бездонного колодезя смиренномудрия.

Совсем без посетителей меня тоже не оставили. Наведался высоченный пастырь; беспомощно моргая, постоял возле моей койки. Вручил мне пирог, испеченный его экономкой, засим шаркающей походкой удалился восвояси, возведя очи к потолку и налетев на дверной косяк. Приходил и церковный сторож. Ерзая на краешке стула возле койки, он все пытался завести разговор, но ему так давно не приходилось иметь дело с детьми — если не считать изгнания их из храма, если они уж очень шумели, — что он не знал, как к этому подступиться. При дневном свете он оказался помятым человечишкой в черных одеяниях своей профессии и с черным котелком. Сидеть с покрытой головой в палате ему, видно, было неловко, так что котелок он снял, положил на койку, затем переложил на тумбочку, затем снова взял в руки, будто был уверен, что рано или поздно отыщет-таки местечко, где черная шляпа и в больнице найдет приличествующее ей место. Он привык к ритуалам, даже, наверное, к точной науке символов. У него был высокий лоб с залысинами, брови отсутствовали, а усы очень походили на те, что носил наш постоялец, и отли-

чались только цветом. Остатки растительности на голове были черными жиденькими прядями зачесаны поперек лысой макушки. Я стеснялся его смущения и озабоченности. Говорил он со мной как со взрослым, так что постигнуть смысл его запутанного рассказа мне не удалось. Что он имел в виду — непонятно; изредка я улавливал что-то знакомое, однако почти всякий раз неверно это истолковывал. На нас ополчилась одна клика, сказал он, и я тут же вообразил себе тайное общество. В храме стали появляться какие-то горлопаны: устроятся в задних рядах и давай выкрикивать, прямо во время службы. Факт сам по себе прискорбный, однако они зашли еще дальше. Кое-кто — не хотелось бы называть имен, потому что прямых улик нет, а в суде требуют приводить доказательства под присягой, — так вот, кое-кто повадился глухими ночами лазать в храм и портить там убранство, срывать занавеси — а все оттого, что они решили, будто высокая церковь слишком уж вознеслась[8]. Мне вспомнилась охапка прямоугольников, парящих в

[8] Примечания: 8

«Высокая церковь» — направление в англиканской церкви, тяготеющее к католицизму, придает большое значение обрядности, авторитету духовенства и т. д., в то время как «низкая церковь», напротив, сторонится ритуальности, а «широкая церковь» выступает за расширенное толкование церковных догматов.

головокружительной вышине над алтарем, и я подумал, что понял, о чем идет речь. Тут сторож сказал, дескать, пастор всегда принадлежал к высоким, а в последние годы и того паче; отец Ансельм — сиречь наш викарий — оказался личностью столь же высокого склада, если не сказать больше… И вообще, заявил сторож, он бы нисколечко не удивился, если б в один прекрасный день…

Здесь он осекся, давая мне возможность предаться досужим размышлениям о том, до каких эмпиреев может дотянуться человек и что случится, когда дальше расти будет некуда. Потому что если б викарий был столь же высок, как и пастор, то, встав посреди ковровой дорожки, он бы головой погрузился во мрак. Сторож все болтал, но я перестал его слушать. Повествования про ниши для книг и дароносиц, рассказы про ризы, образы, убранство и кадильщиков пролетали мимо моих ушей. Зато мой мысленный взор был занят созерцанием полутемного храма, битком набитого долговязым клиром.

Тут я сообразил, что сторож говорит уже о другом — о том, как услышал нашу с Филипом возню в церкви. По привычке он включал свет в самый последний момент; если, скажем, леди Кросби

дожидалась исповеди, он тоже не зажигал освещение, пока она не уйдет. Так распорядился отец Ансельм. Да и по вечерам он почти никогда не включал свет, потому как не знал другого способа подловить тех негодяев. А когда заслышал нас, то решил убедиться наверняка. Вооружился фонариком и выскользнул из ризницы, а оттуда — шмыг на хоры. А когда увидел, что это всего лишь какой-то шкодник, страшно разозлился.

Гм, любопытно. Какой милый человек, в подробностях изложил мне, как было дело: по стеночке через хоры, потом подкрался на цыпочках… Неплохо сработано; ловили меня по всем правилам.

Сторож переложил котелок с койки на тумбочку. Его речь убыстрилась. Конечно, я, должно быть, намаялся со своим ухом, но ведь он не знал, — понимаешь, да? — опять же эти мерзавцы…

Он умолк. Сидел весь красный. С землистым оттенком. Вытянул правую руку.

— Да если б я знал, что такое случится, я б себе лучше руку оттяпал. Прости, сынок, я даже передать не могу…

Прощение — радость почище геометрии. С тех пор я это понял, воспринял как крупицу естество-

знания жизни. Это воистину целительный акт, вспышка света. Прощение неподдельно и точно, как эстетическое наслаждение; оно не мягкотело или дрябло, а, напротив, кристально чисто и крепко. Это знак и печать взрослости под стать деянию того человека, который с распростертыми руками собрал все копья собственным телом[9]. Однако святая простота не умеет распознавать вред, и вот отчего правы жуткие народные поговорки. Наивный простак не может простить обиду, потому что он ее даже не видит. И это я тоже считаю крупицей естествознания. Природа нашей Вселенной такова, что сильный и кристально чистый поступок взрослого человека залечивает рану и разглаживает рубец — хотя и не в дне сегодняшнем, а в грядущем. Рана, которая могла продолжать кровоточить и гноиться, превращается в здоровую плоть, а самого акта исцеления вроде как и не было. Да, но как святая простота может в этом разобраться?

Так что же втолковывал мне церковный сторож? Неужто просил прощения за всю эту эпопею,

---

[9] Примечания: 9

Швейцарский рыцарь Арнольд фон Винкельрид в битве при Земпахе (1386) своим телом пробил брешь в строю австрийских копейщиков, и, как гласит легенда, благодаря этому подвигу Швейцария обрела независимость от Габсбургов.

начиная с момента, когда мы с Филипом состряпали свой план? Но ведь он не знал всей правды… по крайней мере, я на это рассчитывал. Может, он сожалел о том, что мальчишки — бесенята и что их наглый и лютый мир сокрушит высокие стены авторитетов и власти? Зримая мне правда в том и состояла, что мир взрослых врезал мне по заслугам, за сознательно совершенное дерзкое и безнравственное деяние. Скорее из туманных образов, а не силой мысли я вывел, насколько взвешенной и точно отмеренной была обрушенная на меня кара. Алтарь я оплевал отнюдь не вдоль и поперек: слюны не хватило. Но я-то собирался на него помочиться. Мой ум съежился от страха за последствия, которые могли меня ждать, если б я не успел троекратно облегчиться на пути к храму. Взрослых за такое вешают, а шкодники отделываются розгами. Мой трезвый и благодарный взгляд отметил точную параллель между деянием и воздаянием. И чего мне тут прощать?

Сторож так и продолжал сидеть с вытянутой рукой. Я ее внимательно осмотрел, взглянул ему в лицо и решил подождать.

Наконец он вздохнул, забрал свой котелок с тумбочки и поднялся. Кашлянул, прочищая

глотку.

— Что ж…

Повертел шляпу в руках, пососал ус, похлопал глазами. А засим удалился спорым шагом, неслышно ступая своими профессиональными башмаками с толстой мягкой подошвой по центру больничного коридора, а оттуда в двустворчатую дверь.

Бабах.

Так, а когда же я обнаружил, что высокий пастор был отныне моим опекуном? Препарировать его мотивы не получится, потому что я его так и не понял. Может, он раскрыл Библию и, ткнув пальцем, тем самым определил мою участь? Или я задел в нем какую-то струнку сильнее, чем могу себе представить? Приложил свою руку сторож? Или я был его искуплением, расплатой не за тот одиночный удар, а за бесчисленное множество окаменевших треволнений и несостоятельностей, старых грехов и упущений, которые зачерствели неподатливой черной глыбой? А не был ли я запретным плодом, упавшим в руки, но покамест не пожранным? Как бы то ни было, но результат вряд ли принес ему массу добра, не наделил безмятежным покоем. Другие люди понимали пастора не больше, чем я. Они вечно

посмеивались за его спиной — а могли бы в лицо, не пестуй он столь старательно свое одиночество и затворничество. Он даже фамилию носил нелепую: Штокчем. Мальчишки из церковного хора находили очень забавным давать друг другу советы: «Скажи, что к чему». Эх, вот бы мне сейчас окинуть взором его путь подобно собственному… Не думаю, что он был таким же толстокожим, как я. Его, должно быть, протыкало насквозь.

Словом, пастор навещал меня довольно часто и торчал в палате, пытаясь завести разговор, разузнать, что` я такое. Он не присаживался, хмурил кустистые седые брови и взводил очи горе`. Он и жестикулировал-то словно в корчах, как если б единственным источником жеста могла быть только внезапная боль. И до того долговязый, что можно было проследить за распространением движения: вот он клонится вбок, вытягивает руку и заканчивает тем, что непроизвольно сжимает ее в кулак. Нравится ли мне школа? Да, нравится. Хорошо-о… (Наклон, рука, кулак.) Сказка про белого бычка; с ним разговаривать — все равно что в ночном кошмаре кататься на жирафе. Да (застенчиво), мне нравится рисовать. Да, немножечко умею плавать. Да, мне бы хотелось учиться в классической школе, потом, когда

подрасту. «Да», «да», «да»… согласие — согласием, но никакого общения. А в храме я бывал? Нет… то есть… А хотел бы? Да…

— Что ж (балансировка: наклон, рука, кулак)… до свидания, милое дитя, до скорого свидания…

Вот так мир больничной палаты шел к своему концу.

Я, как и все, искал вразумительную картину жизни и мира, однако ж не могу покончить с бытописанием палаты, не сделав мое последнее слово о ней своего рода свидетельским показанием взрослого человека. Ее стены держались на заботливом, истом людском сострадании. Я был его объектом, и это я знаю. Нащелкивая негативы киноленты своих воспоминаний, исследуя хаос, я должен иметь в виду, что такие места столь же реальны, как и сам Бельзен[10]. Они тоже существуют, они — составная часть этой загадки, этой жизни. Стены как стены, люди как люди, но в памяти они сияют.

Ну вот, стало быть, и все, что я могу припомнить про кроху Сэмюэля. Он не шествовал в облаке славы. Он носил панцирь, непробиваемый для духовного начала и красоты. Это был ребенок-кре-

---

[10] Примечания: 10
Концлагерь Берген-Бельзен (Нижняя Саксония).

мень, отдававший больше, чем получал. Все же я сам себя облапошу, если откажусь признать, что весь тот период вплоть до гнойного мастоидита и конца мира-палаты был особенным. Дайте-ка я вновь нащелкаю кадров. Воображая себе рай, раскрашенный метафорическими цветами, где чисто белый свет расходится эдаким каскадом, радужным веером похлеще павлиньего, я вижу, что один из этих колеров ложится на меня. Я не ведал чувства вины, сам того не зная; был счастлив, сам того не ведая. Пожалуй, человеку не дано увидеть всю охапку этих цветов, потому что в противном случае они должны озарять либо прошлое, либо кого-то еще. А может, сознание и чувство вины, которое есть отсутствие счастья, всегда ходят парой, и подлинный рай — это буддистская нирвана.

Бобина подошла к концу. В ее кадрах не найти первопричины заразы. Смрад сегодняшности и серые лики, заглядывающие мне через плечо, не имеют ничего общего с малюткой Сэмюэлем. Я выношу ему оправдательный приговор. Он — чужой человек в чужой стране, и мой доступ к нему объективен и призрачен. Почему его жестокость и порочность заканчиваются здесь, островками-кадриками? Почему присущие ему

ложь и чувственность, бездушие и себялюбие его же и оправдали? А ведь так оно и есть. И рубец разгладился. Зловоние — то ли неотвратимое, то ли предпочтенное — нахлынуло позже. Я — не он. Я — человек, который по собственному усмотрению отправляется в театр теней и судит там незнакомца. Я ищу точку, где начался чудовищный мир моего сегодняшнего «я», а того паренька в больничной палате я признаю невиновным.

Здесь?

Нет, не здесь.

4

Свободу я утратил еще до того, как остановил свой велик на красный свет. В продымленном лабиринте Южного Лондона висел мост над паутиной железнодорожных путей, и там появилось новшество: светофоры. Эти штуки регулировали движение на север и юг, вдоль рельсов, отфильтровывая его из потока тех капель, что пытались просочиться вокруг Лондона, то бишь на восток и запад. Вещь была до того новомодная, что любой начинающий художник вроде меня не мог на это спокойно глядеть, не думая про тушь и размывку: чертим пером контур неожиданного предмета в форме боксерской груши, а размывкой передаем клубы дыма, отсветы и хлопья пены в осеннем небе.

Увы. Я не был всецело свободен. Не до конца. Ибо сей район Лондона носил на себе клеймо Беатрис. Она видела этот задушенный сажей и рельефный от грязи мост; грузное переползание автобусов по его горбу было наверняка ей знакомо. Тут она и жила в своей комнатке, на одной из улочек, заставленных скучными желтовато-серыми домами. Название улицы я знал:

Скводрон-стрит; знал и то, что при виде ее имени на металлической табличке или почтовом ящике у меня вновь защемит сердце, колени лишатся силы, а дыхание пресечется. Я остановил велик на съезде мостового пролета, дожидаясь зеленого сигнала и езды под уклон с поворотом налево, — а свобода уже осталась за моей спиной. Не вставая с седла, поджидая, наблюдая за красным огнем, я позволил себе предаться беспокойному удовольствию, мысленно запечатлеть ее в позе пешехода, решительно и неудержимо шагнувшего вперед.

Меж домов и клубов дыма, где-то в четверти мили отсюда, проглянул силуэт внушительной церкви, и чувства, которые я считал выжженными, вдруг шевельнулись во мне, как лопнувшие семена. Вставь концовку, и все эти переживания вымрут. Но я концовок не вставлял. Сидя в седле, я ощущал все истоки моей неумеренной и дикой ревности; я ревновал Беатрис к тому, что она женщина, — поди разберись! — что у нее могут быть любовники и дети, что кожа у нее гладкая, а сама она кротка и мила, что ее волосы распускаются как бутон, что она ходит в шелках, душится и пудрится; я ревновал к беглости ее французского, благоприобретенного за пару недель, проведенных с друзьями в Париже, куда мне путь был

заказан; я с необъяснимой, сектантской лютостью ревновал к ее респектабельной набожности и предполагаемому чувству сопричастности: предельная и законченная ревность к людям, которые могут овладеть ее расположенностью, вторгнуться в мысли и сокровенные таинства ее тела, куда мне вовек не вернуться… Я принялся обшаривать взглядом мужчин на тротуаре, этих обезличенных и привилегированных обитателей земли, по которой ступали ноги Беатрис. Да любой из них мог быть Им: мужем или сыном ее квартирной хозяйки. Сын хозяйки!..

А красный сигнал по-прежнему приказывал стоять. Я наконец обратил внимание, что на дорогах возникли заторы, и, стало быть, светофоры могли поломаться. Нас задержали — считай, обобрали. Еще оставалось время повернуть и вновь удалиться. Несколько дней, и чувства сами себя изживут. Но даже перед лицом этой открывшейся возможности я знал, что мне не вернуться. Мое тело само собой слезло на тротуар, перетащило туда велосипед и покатило его на красный свет.

Выше голову. На тебе дешевенький, но все ж чистый костюм; волосы подстрижены и причесаны; рыльце не блещет красотой, однако чисто выбрито и слегка отдает мужественным арома-

том из рекламы. Башмаки — и те вычищены.

— И угораздило ж меня втюриться!

Тут я обнаружил, что преодолел с полсотни ярдов, по-прежнему толкая велосипед по тротуару, хотя здесь дорога была свободна. Футах в десяти над головой маячил громадный рекламный щит, где румянились щечки над тарелкой бобов. Сердце стучало быстро и громко, но не оттого, что я увидел ее или хотя бы подумал о ней. Нет, просто, шагая по тротуару, я наконец осознал свое истинное положение. Я пропал. Угодил в силок. Вновь затолкать велосипед на мост не получится; никаких физических препятствий на пути, зато вперед гнал лишь ничтожный шанс встретить Беатрис. Я даже вскрикнул, не в силах сдержать все те чувства, что проклюнулись из своих семенных коробочек. Опять я в западне. Сам себя изловил.

Ибо вернуться — значит… что? Все былое, да еще с довеском: ведь я увидел ее тротуары и людей, изобрел сына квартирной хозяйки — словом, кончил много хуже, чем начинал. Возвращение должно завершиться. Где? Может, в Австралии, а то и в Южной Африке… Но, так или иначе, конец будет один. Какой-нибудь субчик спросит меня мимоходом:

— Вы, случаем, не знавали такую Беатрис Айфор?

А я, с ноющим сердцем и до боли бесстрастной физиономией:

— Немножко. Учились вместе…

— Она…

Что она? Стала членом парламента. Была канонизирована католической церковью. Состоит в комиссии по раздаче пеньковых галстуков.

— …вышла замуж за одного типа…

«За типа». А могла бы и за принца Уэльского. Была бы королевой. Господи боже, до чего я докатился… Королева Беатрис, чей секрет раскрыт и постигнут, но не мною…

Я обращался к бобам.

— Да неужто всем достается такая любовь? Чтоб в ней было столько отчаяния? Тогда это не любовь, а сущее безумство.

А я не хотел ненавидеть Беатрис. Часть моего существа могла бы упасть на колени и взмолиться, как перед матерью или Иви: только будь и будь со мной, для меня и только меня… ничего я не хотел, кроме как предаваться обожанию…

Возьми себя в руки. Ты знаешь, чего хочешь. Уже решил. Так что двигай вперед и доведи дело до конца, шажок за шажком.

Они уже выходили из своего педагогического училища, я их видел: белокурых и бесцветных, хихикающих и прыскающих со смеху в стайках, рассыпающих звонкие «пока!», «до встречи!», машущих на прощание — всех этих девиц-молодиц, свободных птиц, пышных плюшек, долговязых горбушек, веселых, языкастых, квелых и очкастых… А я сидел в луже — то есть в канаве — со своим великом и хотел, чтобы их всех перебили, передрали, разбомбили или каким-то иным образом стерли с лица земли, потому что задача требовала подгадать в самый правильный момент. С другой стороны, она могла вообще не выйти… могла бы… слушайте, а какого черта они делают в своих девчачьих педучилищах в половине пятого осенним вечером? Толпа потихоньку расходилась. Если она первой меня заметит, пока я пугалом торчу в канаве и как пить дать ее жду, тогда все, пиши пропало. Встреча должна быть случайной; пусть она меня увидит едущим на велике. Я оттолкнулся и медленно-премедленно покатил, балансируя как эквилибрист, смутно надеясь, что вот-вот случится перелом, что она не выйдет и что мое своенравное сердце вновь сможет угомониться… велик мой вихляется, сердечко трепыхается… так, это она, в компании

с двумя подружками, сворачивает и меня не замечает… Но я слишком часто репетировал этот номер в постели, чтобы позволить моему сердцу и отекшим рукам подвести хозяина. Весь процесс был механическим, плодом страшно сосредоточенной мысли и многократных повторений. Я ехал с залихватски-небрежным видом, одна рука в кармане, другая на бедре, — гляньте-ка, без рук могу! — раскачиваясь туда-сюда. Миновал ее, вздрогнул, оглянулся, вцепился в руль и юзом затормозил у тротуара, нахально ее разглядывая и ухмыляясь от крайнего удивления…

— Ого! Да это ж никак Беатрис Айфор!

Все три разом остановились. Мой отрепетированный лепет не оставлял ей шансов ускользнуть, не показавшись при этом невежливой; девицы, дай им бог здоровья, явно состояли в одной масонской ложе со «случайными» встречами, потому что почти сразу двинулись дальше, хихикая и делая нам ручкой.

— …да просто катил мимо… вот уж не думал не гадал… так это и есть ваше педучилище? А я сколько раз здесь ездил, теперь, видно, еще чаще придется… Ну да, из-за занятий. На велосипеде мне больше нравится, туда-обратно, туда-обратно… Да ну их, эти автобусы. Терпеть их не

могу… Занятия-то? По литографии… А ты сейчас домой?… Ничего-ничего, я и пешком могу. Помочь? Я про ранец… Ну как тебе здесь, нравится? Трудная учеба?… А вид у тебя просто цветущий… о да. Знаешь что, я как раз собирался перехватить чашечку чаю на остаток пути… как ты смот… о-о! Но ты просто обязана! Такая встреча, в кои-то веки! Месяцы!.. Да хотя бы в «Лайонз». А велосипед могу здесь оставить…

И был круглый столик на трех чугунных ножках, со столешницей из искусственного мрамора. И она сидела напротив, выхваченная из всех жизненных лабиринтов, для меня одного, на много-много минут. Благодаря моему колоссальному труду и тончайшему расчету. За эти минуты предстояло многое достичь, выявить и решить, предпринять определенные шаги; ее требовалось подвести — какая ирония! — чуть ближе к полнейшей утрате свободы. Я слышал свой голос, бормочущий домашние заготовки и вносящий предложения, слишком общий характер которых препятствовал отказу; строил искусные допущения, складывавшиеся в принятие обязательств; я слышал свой голос, закрепляющий это обновленное знакомство и дипломатически продвигающийся вперед пядь за пядью; я следил за

ее неописуемым ни красками, ни словами лицом — и мучился желанием сказать: ты самое загадочное и прекрасное создание на свете, я хочу и тебя, и твой алтарь, и твоих друзей, и твои думы, и твой мир. Я до того спятил от ревности, что готов убить воздух за то, что он тебя касается. Помоги мне. Я сошел с ума. Сжалься. Я хочу быть тобой.

Пронырливый, беспринципный, нелепый голос продолжал бормотать.

Когда она направилась к выходу, я пошел рядом, треща без умолку, излагая куртуазные, занимательные — чего уж там, заранее просчитанные истории, — приятный молодой человек в кадре взамен прежнего Сэмми, такого непредсказуемого, нахального и неизъяснимо порочного. Когда она остановилась на тротуаре, выразительно намекая на расставание, я сумел это принять, несмотря на круговерчение небес. Я позволил ей уйти на леске не толще паутинки, и пусть она не заглотила мотыля, он по крайней мере никуда не делся и продолжал танцевать над водой; и она, она тоже никуда не делась, не взмахнула хвостиком, не исчезла в водорослях или камнях. Я проводил ее взглядом и вернулся к велику с чувством выполненного долга: встреча с Беатрис в уединенности толпы состоялась, связь вос-

становлена. По пути домой мое сердце таяло от восторга, благорасположенности и признательности. Ибо все было хорошо. Ей девятнадцать, и мне девятнадцать; мужчина и женщина; мы поженимся — хотя этого она еще не знала и не должна была знать, не то забьется под водоросли и камни. Мало того: я был умиротворен. Потому что нынешний вечер она проведет над учебниками. Ничто ее не коснется. До завтрашнего дня, а там кто знает, чем она заполнит свой следующий вечер. Танцами? Синематографом? С кем? Но эта ревность была уже завтрашней, и на двадцать четыре часа я за Беатрис был спокоен. Я окружил ее благодарностью и любовью, которые несли с собой отчетливое чувство блаженства, непорочного и расточительного. Нищеброда легко привести в восторг даже самой малостью. Снова, как в школе, я жаждал не помыкать, а оберегать.

Итак, я вываживал ее на тонюсенькой лесочке, не видя того, что всякое дополнительное вервие опутывает меня канатным тросом. Конечно, на следующий же день я вернулся туда вопреки здравому смыслу, гонимый отчаянным позывом двигаться дальше, подхлестнуть ход вещей; а ее не было, не пришла она. И я провел ночь страданий, а назавтра уже с полудня околачивался на

прежнем месте.

— Приветик, Беатрис! Похоже, мы и впрямь будем частенько встречаться!

Ей надо бежать, сказала она, на вечер кое-что запланировано. Я расстался с ней на тротуаре у «Лайонза», непосещенного рая, и дико страдал от бесконечных вариантов этого «кое-что». Теперь у меня была пропасть времени задуматься над вопросом о привязанности. Я начал смутно догадываться, что леску надо закреплять с обоих концов, иначе она ничего не сдержит.

Курьезная задачка.

— Приветик, Беатрис! Вот мы и снова встретились!

Мои планы начали разваливаться еще за мраморным столиком.

— Ну как, развеялась вчерашним вечером?

— Да, спасибо.

И тут, подстегиваемый нестерпимым, маниакальным побуждением знать, с колотящимся сердцем, с ладонями, вспотевшими от мольбы и гнева:

— А что же вы делали?

Помнится, на ней был костюм: серый, вроде бы из безворсовой фланели, в вертикальную зеленую и белую полоску. Поддетая блузка оставляла

открытыми горло и ключицы. Пара мелкоплетеных цепочек золотым ручейком стекала по атласной коже и пряталась в сокровищнице. Что там таилось в глубине, между Гесперидами? Крестик? Медальон с вложенным локоном? Аквамарин, покачивающийся и поблескивающий в ложбинке — тайное и недоступное совершенство?

— Так что вы там устроили?

Контраст между строгим, приталенным костюмом с типично мужскими лацканами и мягким телом, которое он облегал… Неужели ты не понимаешь, что делаешь со мной? Но на виду были и перемены: слабый румянец на скулах и пристальный взгляд из-под длинных ресниц. Воздух между нами вдруг наполнился осознанием, пониманием на низеньком, как приступочка, уровне. Без слов, слова тут не требовались. Она знала, и я знал, однако не сумел сдержать в себе роковое слово. Оно дрожало у меня в голове, рвалось наружу как чих и вылетело с бешенством, презрением и болью.

— Танцульки?

Румянец перешел в багрянец. Приподнялся округлый подбородок. Леска натянулась и лопнула.

— Ну знаешь…

Она поднялась со стула, собрала учебники.

— Уже поздно. Мне пора.

— Беатрис!

Мне пришлось припустить рысцой, чтобы догнать ее на тротуаре. Прилип рядом, идя бочком.

— Извини. Просто… просто я ненавижу танцы… ненавижу! А когда подумал, что ты…

Шаг пресекся, нас развернуло вполоборота друг к другу.

— Значит, все-таки танцевала?

В парадное вели три ступеньки с выгнутыми чугунными перилами, нисходящими по обеим сторонам. Никто из нас не обладал нужным запасом слов. Она хотела сказать, что у меня нет никаких прав требовать отчета — если, конечно, ее интуиция не подвела и я именно этого добиваюсь. Я же хотел кричать: да посмотри же, я весь горю! У меня из головы, чресл и сердца рвется пламя! Она хотела сказать: даже если я, наполовину бессознательно, увидела в тебе мужчину — хотя ты совершенно несносен и лишь в последнее время слегка реабилитировался своим поведением, — как бы я ни старалась придерживаться обычных функций моего женского существования, допустив тебя до этой границы,

правила игры должны быть соблюдены, а ты их нарушил и оскорбил мое достоинство.

Так мы и стояли: она на нижней ступеньке, я — держась за перила, с красным галстуком через правое плечо, куда его занесло моим буйным порывом.

— Беатрис! И все-таки?...

У нее были такие ясные глаза... Безмятежные, серые, честные — потому что ей никогда не предлагали плату за бесчестие. Я заглянул в них, ощутил беспощадную и отчужденную чистоту. Она довлела сама себе. Ничто и никогда не возмущало эти воды. Простри я к ней длань — доведенный до отчаяния и взмолившийся, косноязыкий и кипящий в океане зеленой юности, гонимый его приливами и отливами, — она лишь осмотрела бы ее, уставилась на меня и принялась недоуменно поджидать, чего мне надо.

— ...все-таки танцевала?

Негодование и надменность, хотя и в уменьшенном масштабе, потому что леска, как ни крути, была толщиной с волосок, и принимать это оскорбление близко к сердцу — значит подразумевать, что я и впрямь посягнул на ее независимость.

— Может быть.

И с чу`дной грацией нырнула в дом.

Насколько велик жар сердечного чувства? И где взять тот индикатор, который бы показывал: вот, столько-то градусов? Я прокладывал обратную дорогу сквозь Южный Лондон, силясь выплыть из собственных раздумий. Я говорил себе: не надо преувеличивать; ты даже не совершеннолетний; будут вещи и похуже. Однажды ты сам скажешь: и я считал, что был влюблен? Еще в те далекие годы? Он был влюблен. Ромео был влюблен. Лир умер от разбитого сердца. Но где инструмент для сравнения? Докуда на длинной шкале добрался Сэмми? Ибо сейчас мои запястья, щиколотки и шею обвивали грубые веревки. Они протянулись по улицам, легли у ее ног: на, возьми их в руку, если хочешь. Что за пытка ехать прочь, волоча за собой многомильные канаты, и знать, что она не захотела… Может, она сама была привязана, в другом направлении? Но в это я не верил. При моем лихорадочном жаре процессы развивались быстро. Я был специалистом-психологом узкого профиля. Видел ее глаза, прочел в них безмятежность. Что за болван требовал знать, где она провела вечер, хотя при этом сам понимал, до чего тонкой была эта нить в самом начале? Никакого риска не имелось. Ее сердце осталось

незатронутым, и единственной угрозой был неисповедимый господин случай, при столкновении с которым она могла вдруг полыхнуть. Я вошел в свою комнату, похлопывая кулаком по ладони.

Утешением была партийная работа. Председательствовал Роберт Олсоп, и атмосфера была насыщена дымом и значительностью. Остальные стояли, сидели или вовсе лежали, исполнившись возбуждения и презрения. Все архичертовски скверно, товарищи. Но не опускайте руки: уж кто-кто, а мы знаем свою цель. Сэмми, вы следующий. Попрошу тишины, товарищи, слово товарищу Маунтджою.

Товарищ Маунтджой сделал очень краткий доклад. Если на то пошло, он так и не добился никаких отчетов от Молодежной коммунистической лиги. Пришлось схалтурить. Дым — дымом, а термины — терминами, но весь мой напор и энтузиазм падали как в вату, так что когда я подобрался к нескладному заключению, мне влепили выговор и прописали занятия самокритикой. Вот с тех пор я ею и занимаюсь. Дело давнее, но я помню свою первую резолюцию, а именно: тем же вечером написать Беатрис и быть честным. И вторую резолюцию тоже помню: ни за что не приводить сюда Беатрис, потому что сначала ей

пришлось бы переспать с товарищем Олсопом. Он был женат, однако ж супруга его не понимала, как если б он был не прогрессивным, а буржуазным школьным учителем; впрочем, до войны оставалась от силы пара недель, и кругом царили распад, развал и всеобщее остервенение, так что никто не заметил, что марксизма здесь не было и в помине, а просто разыгрывался древнейший обряд из всех. Тем не менее это как бы сообщало нашим женщинам (которые посмазливее) своего рода новое качество и, если можно так выразиться, подавляло их сопротивление.

Слово взял товарищ Уимбери, еще один учитель. Очень высокая и расплывчатая личность. Вспоминая, как нами руководили Олсоп и Уимбери, я, увы, далеко не сразу понял, до чего нелепо выглядела эта пара, ни дать ни взять комедийный дуэт из фарса. У Олсопа была громадная лысая голова и изуродованная физиономия с мокрым развратным ртом-закорючкой. За столом он казался широкоплечим и импозантным, но потом обнаруживалось, что он не сидит, а стоит. В жизни не видел столь коротеньких ножек. Олсоп не садился на стулья: он прислонялся к ним седалищем. Уимбери, напротив, обладал крохотным туловищем, и когда сидел рядом с Ол-

сопом, его узенький подбородок и заячье личико едва виднелись над столешницей. Но стоило ему встать, как ноги-ходули толкали игрушечное тулово чуть ли не до потолка. В тот вечер он проводил с нами политзанятие и сыпал цитатами и аббревиатурами, доказывая, что войны не будет. Все это заговор капиталистов, направленный на… э-э… Забыл. Итак, глубокомысленно кивая, мы внимали лекции. Мы видели всю закулисную сторону. Знали, что через несколько лет весь мир станет коммунистическим и что правда за нами. Я попытался забыться, утонуть в журчании слов, но меня держали канаты.

В ту же ночь я написал Беатрис письмо. Рождественская открытка научила меня, что общаться можно лишь словами, а посему письмо получилось длинное. Жаль, что я не могу сейчас его прочесть. Я умолял ее читать внимательно — не зная, до чего избитым было такое начало в подобных письмах, не зная, что той же ночью тысячи молодых людей в Лондоне припадали с точно такими же письмами к точно таким же алтарям. Я объяснил насчет школы, пресловутого афродизиака. Вернулся к первому дню, когда сидел рядом с Филипом и пытался ее нарисовать. Изложил, что видел или считал, что увидел. Сказал ей, что

я — беспомощная жертва, что моя гордыня не позволила объяснить это толком, но она — мое солнце и луна, что без нее я умру, что не рассчитываю на многое… пусть только согласится на несколько более особенные отношения, которые перевели бы меня в разряд повыше в сравнении с теми ее знакомыми, которых она мимоходом удостаивает своим благословенным вниманием. Потому что я, может статься, все-таки буду ей небезразличен — писал я в своей буржуазной листовке, — ведь может такое быть? Ибо я влюбился в тебя с того самого первого дня и навечно…

Два часа ночи, осенняя изморось, обложной лондонский туман. Я тайком выскользнул из дому, потому что семье, в которой я жил, полагалось доносить о моих перемещениях властям. И покатил сквозь ночь, не осмеливаясь объезжать посты. Сначала меня остановил один полицейский и записал имя и адрес, затем — двое. К третьему разу я настолько утомился, что честно признался истукану в синем мундире, что просто влюблен, и он махнул мне рукой и пожелал удачи. Наконец, я добрался до ее двери, просунул письмо и услышал, как оно упало. Трясясь на велосипеде и покачивая головой, я повторял себе: по крайней мере, ты поступил честно и, если

честно, понятия не имеешь, что делать дальше.

Как они реагируют про себя, эти мягкие создания на дьявольских копытцах? Где та шкала, что отмечает градус их чувств? Насчет секса у меня все уже устроилось. Об этом позаботилась партячейка в лице Шейлы, чернявой и вульгарной. Мы наспех дарили друг другу мелкие удовольствия, словно пускали по кругу пакет ирисок. И даже считали это — абсурд! — декларацией независимости, которая провозглашалась старательным подражанием Олсопу. Это была свобода. Ну а другие, самодостаточные и закрытые, не тронутые девушки: что они чувствуют и думают? Может, они такие же мыльные пузырьки, как Сэмми из Гнилого переулка, уязвимые, но еще не пораненные? Да она наверняка уже в курсе! Но как это произошло? Спору нет, весь этот физический процесс выглядит мерзко и непристойно — уж я-то знаю, — тогда какой она видит любовь? Как некую абстракцию, где человеческого не больше, чем в пляске неоновой рекламы на Пиккадилли? Или любовь тотчас подразумевает белую фату, семейный очаг? Из года в год она раздевалась и одевалась, лелеяла свое нежное тело. И ни разу у нее не учащались пульс и дыхание при мысли: он влюблен, он хочет сделать

со мной… это? Возможно, что при нынешней всеобщей просвещенности девственность уже потеряла свою неприкосновенную кастовость и девушки жаждут пуститься в плавание. В конце концов, речь идет о социальной условности. Она принадлежала к низшим слоям среднего класса, где инстинкт и обычай требовали хранить в целости то, что у тебя есть. В те времена великого могущества и стабильности это был целый класс, простонародный и скаредный. Не могу сказать, какой переполох я вызвал в ее голубятне. Не мог и не могу, ни тогда, ни сейчас; ничего о ней не знал и не знаю. Но письмо она прочла.

На этот раз я не стал делать вид, будто еду мимо. Я сидел на велике, придерживая руль одной рукой и опираясь ногой о тротуар. Они наконец гурьбой вывалились из двустворчатых дверей, и вместе с ними вышла она. Благословенные подружки уже были в курсе дела, потому что демонстративно зашагали прочь, даже не хихикая. Я посмотрел ей в глаза, сгорая со стыда за свою исповедь.

— Ты прочитала мое письмо?

Эти слова не вогнали ее в краску. Храня полнейшее молчание, мы зашли в «Лайонз» и присели к столику.

— Так как?

Тут она слегла зарделась и заговорила мягко и ласково, словно обращалась к калеке:

— Сэмми, я не знаю что тебе ответить.

— Там все без утайки, как есть. Ты (разводя руки в стороны) меня одолела. Я разбит в пух и прах.

— То есть?

— Это нечто вроде соперничества.

Но и сейчас в ее глазах я видел лишь пустоту непонимания.

— Ладно, забудь. Если не можешь понять, то… Слушай, хоть немного доброжелательности, а? Дай мне шанс… неужто я такое чучело? Ну да, не красавец, знаю, но ведь… (глубокий вздох)… но ведь… ты же знаешь, что я чувствую.

Молчание.

— А?

— Твои занятия. Они когда-нибудь кончатся. И ты перестанешь ездить этой дорогой.

— Занятия? Ты о чем?… А! Литография-то? Да нет, я имел в виду… если б мы… скажем, прогулялись бы за город, а ты могла бы даже… да я вообще безобидный, честное слово.

— Твоя учеба!

— Догадалась, значит? Я бросаю школу. Есть вещи поважнее.

— Сэмми!

Вот когда начали наполняться два безмятежных озерца. В них появились интерес, благоговение и толика задумчивости. Что ей пришло в голову в эту минуту? «Значит, это правда, он влюблен и пошел для меня на жертву? В конце концов, я того стою. Во мне что-то есть. Я нисколько не хуже других. Я — человек?».

— Так ты поедешь? Скажи, что поедешь, Беатрис!

Она была похвально добродетельна на всех уровнях. Да, она поедет, но я должен дать слово, — нет-нет, не в обмен, иначе это был бы торг — дать слово, что не брошу учебу. Думаю, она начинала видеть в себе некое средоточие власти, источник благотворного влияния, однако ее заинтересованность в моем будущем наполнила меня таким восторгом, что я не стал это препарировать.

Нет, не в воскресенье. В субботу. Воскресенье служит не для поездок, сказала она, слегка даже удивившись, что кто-то осмеливается посягать на такой день. Так я повстречался с моим первым и, если на то пошло, единственным соперником. Сейчас, как и тогда, меня изумляет, что, во-первых, я столь дико разозлился на этого незримого противника, а во-вторых, так и не нашел ни од-

ного конкурента из плоти и крови. Ведь она была такой милой, неповторимой, прекрасной… а может, я выдумал ее красоту? Да если б все молодые люди напоминали меня, ей бы проходу не было. Неужели больше никто не обладал этим неутолимым желанием знать, стать другим человеком, понимать? Неужели подле нее не было иного сосуда со смесью из обожествления, ревности и набухшей мускусной плоти, кроме моего? Да и были ли они, эти другие? Всем ли ведомо, что значит снискать благосклонность и пережить при этом бурю восторга и признательности — и бешеной ярости, что это одолжение пришлось выклянчивать?

Мы бродили по меловым холмам в серую погоду, и я тряс перед ней своими талантами, сам себя удивляя. Описав тот подспудный позыв, что толкал меня к живописи, я преисполнился чувства собственной гениальности. Но ей я подавал это как недуг, который стоит на пути к респектабельной, зажиточной жизни. По крайней мере, так мне представляется, коль скоро тут сплошные домыслы. Я сам не понимаю свою жизнь — и это часть ее реалий. Мало того, Беатрис не облегчала мне задачу, потому что почти все время отмалчивалась. Я знаю лишь одно: видимо,

мне удалось-таки изобразить перед ней картину мятущейся души, внушающей трепет и жалость. Хотя истина была куда менее масштабной, рана не столь трагичной и, как ни парадоксально, не столь легко излечимой.

— Ну как? Что скажешь?

Молчание; лицо в профиль. Мы спускались с гребня, чтобы нырнуть в сырую чащу. Остановились на опушке, я взял Беатрис за руку. С плеч свалились лохмотья самоуважения. Волков бояться — в лес не ходить.

— Но ты меня хоть чуточку жалеешь?

Она не отняла руку. Я касался ее впервые в жизни. Ветер подхватил и унес коротенькое «может быть».

Ее голова повернулась, лицо оказалось в нескольких дюймах от моего. Я наклонился и нежно, целомудренно поцеловал ее в губы.

Мы, должно быть, еще погуляли, и я наверняка что-то болтал, но те слова сгинули. Помню лишь собственное изумление.

Хотя… Да-да, в памяти еще осталась суть моего открытия. Тем немым приглашением я был возведен в ранг «ее парня». Этот статус давал мне две привилегии. Первое: я мог располагать ее временем, а она не проводила бы его с други-

ми мужчинами. Второе: я получал — в особых случаях, а также при расставании по вечерам — право на столь же сугубо целомудренный поцелуй. Я почти уверен, что в тот момент Беатрис рассматривала свой поступок в качестве профилактической меры. Кавалеры считались порядочными молодыми людьми, и, стало быть — так, наверное, рассуждала Беатрис, — если Сэмми будет ее кавалером, он тоже превратится в человека порядочного. Обычного. Ах, что за славная девушка!

Коммунизмом я не делился. Это не устроило бы моего соперника. Судя по всему, он был таким же ревнивцем, как и я, полагая, что грязью играть — руки марать. Но, по правде говоря, если бы не Ник со своим социализмом, я бы в жизни не сунулся в политику. Вместе с остальными я орал и согласно кивал — пусть и шел с ними оттого, что у них была хоть какая-то цель. Кабы не племянник мисс Прингл, нынче высоко поднявшийся среди чернорубашечников, я бы и сам стал одним из них. То время, однако, было особенным. Несмотря на все заверения Уимбери, убеждавшего и себя, и нас, что войны не будет, мы не питали иллюзий на этот счет. Окружавший нас мир сползал к темной арке, за которой лежала бушующая стихия,

где нет места нравственным устоям, семьям и личным обязательствам. В воздухе пахло закатом Европы в нордическом духе. Пожалуй, вот почему мы были готовы переспать с кем ни попадя: никакой ответственности. Это распространялось, правда, только на тех, кто переживал такую же безумную лихорадку. Беатрис была из другого круга. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

Был у нас один пролетарий. В остальном ячейка состояла из учителей, парочки священников, нескольких библиотекарей, одного химика, разномастных студентов вроде меня — и нашего самородка Дая Риса. Дай трудился на газовой станции, то ли углебойцем в кочегарке, то ли еще кем-то. Полагаю, что он хотел подняться по социальной лестнице, а наша ячейка казалась ему благородным собранием. Проявлял он себя вовсе не так, как предписывали учебники. Впрочем, наша армия состояла сплошь из генералитета. Дай послушно выполнял все поручения и даже не пытался понять, зачем это нужно. А потом он взбунтовался и получил выговор. Уимбери, Олсоп и иже с ними были «коммунистами в себе». Делать что-то публично для партии могли лишь студенты вроде меня, ну и, разумеется, наш пролетарий Дай. На него навалили столько всего,

что на одном из собраний он разразился целой тирадой: «Ты, товарищ, греешь свой жирный зад неделями напролет, а я каждый вечер должен переться на холод продавать ваш поганый „Уоркер“!»

Вот ему и влепили выговор, и мне тоже влепили, потому что я, ни у кого не спросясь, в тот вечер привел на собрание Филипа. Мне хотелось придержать его рядом и поболтать про Беатрис и Джонни. А то он бы просто уехал и затерялся в центре Лондона. Больше всего меня поразило выражение встревоженной одержимости на бледной физиономии Филипа. Можно подумать, он влюбился… и о моем душевном состоянии говорит хотя бы то, что я вообразил, будто он тоже решил забросить свою карьеру, чтобы подгрести к Беатрис. Но Филип понаблюдал за физиономиями и подгреб к Даю. Когда собрание закончилось, он настоял, чтобы мы втроем сходили пропустить по кружечке. Даю, который отнесся к нему с огромным уважением, Филип устроил форменный допрос. А так как Дай был до мозга костей пропитан мещанством и своим поведением никак не соответствовал голубой мечте о светлом будущем, на вопросы Филипа взялся отвечать я. Мне захорошело, и с полной убежденностью и

учащенным сердцебиением я подкатил к Филипу. Он, однако, вел себя уклончиво и был чем-то озабочен. Кстати, и к Даю он обращался властным тоном, оснований для которого я еще не видел. Наконец, он его попросту прогнал.

— Еще полпинты, Дай, и марш домой. Мне надо кое-что обсудить с мистером Маунтджоем.

Когда мы остались наедине, он взял мне еще выпивки, но сам добавлять не стал.

— Так что получается, Сэмми, ты знаешь свою цель?

Спасайся кто может, мчись сломя голову к черной арке.

— Можно подумать, это хоть кто-то знает.

— А этот… как его… Уимбери. Он знает? Сколько ему лет, кстати?

— Без понятия.

— Учительствует?

— Естественно.

— И чего ему надо?

Я прикончил пиво и заказал еще.

— Он работает на революцию.

Филип проводил взглядом мою кружку.

— А еще?

Я, должно быть, надолго призадумался, потому что Филип продолжил:

— Я к чему клоню… Он же обычный учитель? В государственной школе?

— Ну.

— Коммунистов в школьные директора не назначают.

— Да чего ты привязался? Чего ты все копаешь?

— Послушай-ка, Сэмми. Что он с этого имеет? Куда метит?

— Ну знаешь!

Куда может метить товарищ Уимбери?

— Филип, ты что, не въезжаешь? Мы ж не для себя стараемся. Мы…

— Узрели свет.

— Да хотя бы.

— Как и чернорубашечники. А теперь послушай… эй, утихомирься!

— Фашистская погань!

— Мне просто хочется разобраться. На их сходках я тоже был. Эй, Сэмми, не напрягайся. Я… как вы там выражаетесь… безыдейный.

— Да ты просто буржуй-обыватель, отсюда твои беды.

Выпивка меня подогрела, придала достоинства и убежденности в собственной правоте. Я приступил к сбивчивому и вымученному изложению

доктрины. Филип не спускал с меня глаз ни на секунду. Наконец он поправил галстук и пригладил волосы.

— Сэмми… Когда начнется война…

— Какая еще война?

— А та самая, которая через неделю.

— Не будет никакой войны.

— С чего ты взял?

— Ты же слышал Уимбери.

Филип зашелся смехом. Я еще ни разу не видел его столь неподдельно веселым. Наконец он вытер уголки глаз и вновь серьезно взглянул мне в лицо.

— Сэмми, у меня к тебе просьба.

— Хочешь, чтобы я написал твой портрет?

— Держи меня в курсе. Нет, не только насчет политики. «Уоркер» я умею читать не хуже тебя. Просто мне хочется знать, как идут дела в вашей партячейке. Пульс, атмосфера. Тот, второй… с лысиной…

— Олсоп?

— Он-то что с этого имеет?

Я-то знал, что с этого имеет Олсоп, но говорить не собирался. В конце концов, любовь была свободной, а личная жизнь человека никого не касается, кроме него самого.

— Я почем знаю? Он старше меня.

— Ты вообще мало что знаешь, да, Сэмми?

— Хватит болтать, лучше выпей.

— И уважаешь старших.

— К бесу этих старших.

Пиво в ту пору подавалось холодным; после первых двух кружек ты соловел, но с третьей за спиной вырастали золотые крылья. Я прищурился на Филипа:

— А ты сам-то куда метишь, а, Филип? Заявился сюда… чернорубашечники ему, коммунисты…

Он же смотрел на меня сквозь пивной туман с клинической беспристрастностью и отрешенностью, постукивая белым пальцем по своим лошадиным зубам.

— Слыхал про Диогена?

— Да уж куда нам…

— Он ходил с фонарем. Все искал честного человека.

— Ты что, специально хамишь? Я — честный. И товарищи мои тоже… Фашисты поганые.

Филип подался вперед и уставился мне в лицо.

— Больше всего на свете Дая интересует выпивка. А тебя, Сэмми, что больше всего интересует?

Я буркнул ответ.

Филип наваливался и орал чуть ли не в ухо:

— Что-что? Какая еще Беатриче?

— Ты сам-то чего хочешь?

Пьяный глаз порой столь же зорок, как и взгляд марафетчика. Только самое существенное. Филип был залит ярким светом. А я — переживающий свои собственные сомнения, свою алогичную и хромую судьбу, которую сейчас более или менее вздернуло на ноги горькое пиво, — я смог увидеть, отчего не пьет Филип. Бледный и веснушчатый, недобравший в каждой линии тела по милости вселенской скаредности, Филип берег себя. Что имею, то храню. Вот почему костлявые ладони, лицо по дешевке и скошенный — словно на него не хватило материала — лоб были ограждены от жертвования, были лишены природной щедрости самой же природой, были натянутыми и осведомленными.

Давайте-ка я опишу его таким, каким видел в тот миг: одет лучше меня, чище и опрятней — белая рубашка, неброский галстук на центральном плане. Он сидел ровно, не горбился; хребет как стержень. Руки на коленях, ноги вместе. Волосы… Странноватой, неопределенной фактуры: растут во все стороны, но до того тонкие и некрепкие, что скорее напоминают изношенный половичок, облепивший голову. И настолько бес-

цветные, что линию поросли на скошенном лбу определяли крупные, светлые веснушки. Глаза водянисто-голубые и до странности обнаженные в электрическом свете — потому что у Филипа не было ни бровей, ни ресниц. Пардон, мадам, но за такую цену мы их не поставляем. Чисто утилитарная модель. Нос прилеплен щедрой рукой, но при этом какой-то оплывший, а силы сфинктерных мышц вокруг ротового отверстия хватало лишь на то, чтобы его запирать. Ну а как насчет мужчины, что жил внутри? Как насчет того мальчика? С ним я устраивал махинации по добыче вкладных картинок, боролся в темном храме… а он меня надувал и валтузил. Я принял его дружбу, когда отчаянно нуждался в друге.

Ну а мужчина?

Он умел улыбаться. Именно это сейчас и демонстрировал сосредоточенной конвульсией своего ротового жома.

— Чего хочешь ты, Филип?

— Я тебе уже сказал.

Он поднялся и стал натягивать дождевик. Я хотел было предложить ему проводить меня до дому, потому как начинал сомневаться, что сумею попасть туда сам, однако он упредил мой непрозвучавший намек:

— Не утруждайся, до метро я и так доберусь. Я спешу. Вот конверт с моим адресом. Не забудь: время от времени сообщай, как идут дела в вашей ячейке. Какое настроение у людей.

— Да на кой черт тебе это надо?

Филип оттянул на себя дверь.

— На кой черт? Я… я инспектирую политическую кухню.

— «Честный человек…». И ни одного не отыскал.

— Конечно, нет.

— А если отыщешь?

Филип замер в дверях. На улице — тьма в глянцевых метках дождя. Он вернул мне взгляд из глубины своих сырых глаз, из очень далекого далека.

— Буду очень разочарован.

* * *

Я скрывал от Беатрис свою тягу к выпивке, потому что забегаловка была для нее столь же проклятым заведением, как и англиканская церковь, — разве что ступенькой ниже. В ее родном поселке, милях в трех от Гнилого переулка, все выпивохи принадлежали к англиканам, а мужчины в мелкорубчатом поплине — к нон-

конформистам. Англиканская церковь занимала верх и низ, нонконформисты находились посредине и были классом, с мрачным упрямством следившим за тем, чтобы не вляпаться в грязь. Я много чего утаивал от Беатрис. Самого себя я вижу затравленным, замотанным, взъерошенным, в нечищеных башмаках, расстегнутой серой рубашке, в синей куртке с отвислыми и набитыми как переметные сумы карманами. Я быстро зарастал и перед свиданиями с Беатрис брился. Спасибо партии за красный галстук: хоть одна деталь моего гардероба была решена. Что же касается рук, то они по запястья были в желтых пятнах от табака. Не было во мне ни солнечной простоты Джонни, ни присущего Филипу умения ориентироваться — и все же я для чего-то существовал. Был для чего-то предназначен. Когда я делал, что мне велели, когда послушно работал карандашом и красками, меня удостаивали умеренных похвал. Из меня, пожалуй, вышел бы неплохой учитель, знаток всяких мелочей и заведенного порядка вещей. Поставьте задачу, и я найду для нее бесхитростное, по-академически надежное решение. И все ж порой я испытывал связь со своим сокровенным колодезем и затем срывался с привязи. Все мое естество пронизыва-

ло чувство страстной уверенности. Не так, а эдак! В такие минуты я переворачивал мир кажущихся проявлений с ног на голову, забирался в глубину, беспощадно разрушал и воссоздавал заново — но не ради живописи или Искусства с большой буквы, а ради вот этого, текущего, предельно конкретного творения. Если бы я, подобно Филипу, с Диогеном порыскал на собственной кухне в поисках честного человека, то нашел бы его, и он оказался бы мною. Искусство — в какой-то степени общение, но лишь частично. Все остальное — открытие. Я всегда был созданием, живущим открытиями.

Я говорю об этом не в собственное оправдание… или как? Нельзя же иметь две морали: одну для художников, а вторую для все прочих. И те и другие заблуждаются. Если кто-то возьмется меня судить, пусть сделает это, считая меня бакалейщиком из нонконформистов. Пусть я и написал несколько стоящих полотен — шмякнул людей носом об иной взгляд на мир, — я все же не сбывал им сахар и не приносил молоко к их порогам ранним утром. Я к чему клоню? Мне, наверное, хочется объяснить, кем я был в молодости, — объяснить самому себе. Да и где взять иную аудиторию? И здесь, и на холстах я — от-

крыватель, а не повествователь. И все это время, раздираемый то обидой, то признательностью, я тянулся к Беатрис, напоминая зачаленную лодку, влекомую волной. Разве можно винить эту лодку, если она наконец сорвется со швартова и поплывет по течению? Сей молодой человек — затягивавшийся сигаретами поначалу для удовольствия, затем для одурения, а потом и вовсе не извлекавший из них ничего, так что курение превращалось в чисто механический жест; пивший поначалу ради фосфорического свечения и неподдельности стены или притолоки, затем ради побега из мира абсурда в мир апокалипсиса; полностью отдавшийся партии, потому что там знали, куда катится этот мир… сей молодой человек, дикий и невежественный, просящий и отвергающий помощь, горделивый, любящий, пылкий и одержимый… да разве могу я осуждать его за совершенные поступки, коль скоро в ту пору он был напрочь лишен представления или надежды на свободу?

Но Беатрис надеялась на свое благотворное влияние. Мы вновь прогулялись. Писали друг другу записочки. Я притерся к ее лексике, узнавал о ней все меньше и меньше. Она встала у дерева, я обнял ее и весь дрожал, но Беатрис этого не

замечала. Я твердо решил исправиться, взойти на высший уровень и раз и навсегда покончить со своими беспрестанными поисками. Нагнулся ближе и прижался щекой к щеке. Проследил за ее взглядом.

— Беатрис…

— М-мм?

— А что ты чувствуешь?

Вопрос здравый, вытекающий из моего восхищения Иви и матерью, из подростковых фантазий и болезненной одержимости все открывать и всему лепить ярлыки. Здравый — и невозможный.

— Да так…

На что это похоже: занимать центр чьей-то вселенной, быть мягкой, прекрасноликой и нежной, от природы опрятной и чистой, желанной до помрачения рассудка, жить под этой гривой волос, за этими неописуемыми глазищами, ощущать колыхание этих прикрытых близнецов с ложбинкой и стремительным падением к крошечной талии, быть ранимой и неуязвимой? Каково это: принимать ванну, ходить в уборную, шагать по тротуару не размашисто и на высоких каблуках? Что ты чувствуешь, зная, что твое тело источает легкий аромат, от которого лопается мое сердце и блуждает рассудок?

— Нет-нет, расскажи.

И ты умеешь все это ощущать до последней цифры после запятой? Знаешь и чувствуешь незаполненность собственного лона? А как это: бояться мышей? Быть осмотрительной и безмятежной, опекаемой и миролюбивой? Какими ты видишь мужчин? Всегда одетыми, в пиджаках и брюках, кастрированными как гипсовые модели на уроке рисования?

Беатрис чуть шевельнулась, словно собралась отойти от дерева. Мы стояли, прислонившись к стволу, она к тому же прильнула к моему плечу, а я обнимал ее за талию. Отпускать ее я не собирался.

Но самое главное — даже главнее мускусных сокровищ твоего белого тела, столь близкого и недоступного, — итак, самое главное: в чем твоя тайна? Я не могу задать тебе этот вопрос, потому что едва-едва способен его сформулировать. Но раз свобода воли познается лишь на деле, как и вкус картофеля; раз мне все же довелось узреть в твоем лице и вокруг него нечто неподвластное моему карандашу и памяти; раз я не в состоянии показать твой образ, хотя бы отдаленно напоминающий живую Беатрис, — Христа ради, допусти до своей тайны. Я капитулировал пред тобою.

Плыву по течению. Даже если ты сама не знаешь, что ты такое, хотя бы прими меня.

— Беатрис, а где ты живешь?

Она вдруг снова попыталась отодвинуться.

— Стой. Нет, глупышка, я не адрес спрашиваю. Внутри. Мы касаемся висками. Ты там живешь? Между нами расстояние не больше дюйма. Я вот живу возле затылка, прямо там, внутри… скорее у затылка, чем у лба. А ты как? Ты живешь… вот здесь, да? Если я положу пальцы тебе сзади на шею и подвину их вверх, я правильно попаду? Еще выше?

Она отпрянула.

— Да ты… Перестань! Сэмми!

Как далеко ты простираешься? Ты — черная центральная клякса, неспособная исследовать самое себя? Или ты обитаешь в ином режиме, не в мыслях, растягиваясь в безмятежности и определенности?

Но верх одержал мускус.

— Сэмми?

— Я же сказал, что люблю тебя. Господи боже, разве ты не понимаешь, что это значит? Я хочу тебя, я хочу тебя всю, не одни лишь холодные поцелуи и прогулки… я хочу быть с тобою, и в тебе, и на тебе, вокруг тебя… я хочу слияния и

тождественности… О боже! Беатрис, Беатрис, я люблю тебя!.. Я хочу быть тобой!

Это был миг, когда она могла бы убежать, убежать достаточно далеко, чтобы написать мне письмо и затем шарахаться. Если на то пошло, это был ее последний шанс — да только она этого не знала. К тому же не исключено, что даже ее кожа-оболочка испытывала тепло и телесное возбуждение от пребывания в моих крепких руках.

— Скажи, что любишь меня, или я сойду с ума!

— Сэмми… опомнись… Ведь заметят же…

— Да провались они! Смотри на меня.

— Я думала…

— Что мы друзья? Вранье.

— Я думала…

— Ошибаешься. Мы не друзья, нам никогда не стать друзьями. Ты что, не чувствуешь? Мы гораздо больше… должны быть больше. Целуй меня!

— Не хочу. Сэмми, послушай… да прекрати ты! Дай подумать.

— А ты не думай. Чувствуй. Что, не получается?

— Не знаю.

— Выходи за меня.

— Нам нельзя. Мы еще студенты… у нас и денег-то нет.

— Тогда скажи, что выйдешь за меня. Когда-нибудь. Когда можно будет. Ну, говори!

— Сюда идут.

— Если ты не выйдешь за меня замуж, я… я…

— Увидят же!

— Я тебя убью.

По тропинке к нам приближались мужчина и женщина, держась за руки, частично решив свои вопросы. Нас они старательно не заметили, а затем исчезли из виду.

— Итак?

По голым ветвям защелкал дождь. Убийство — убийством, а дождь — дождем. Мы двинулись дальше; я держался чуть позади ее плеча.

— Так что ты решила?

Ее лицо пунцовело, было мокрым и блестящим. В волосах висели гроздья бисеринок и бриллиантов.

— Сэмми, нам бы прибавить шагу… Если пропустим автобус, следующего ждать и ждать…

Я вцепился ей в запястье и развернул кругом.

— Я не шучу.

Ее глаза и сейчас были ясными, безмятежными. Хотя и блестели ярче, о, куда ярче, то ли мятежной непокорностью, то ли триумфом.

— Ты сказал, что я тебе не безразлична.

— Господи боже!

Я оглядел ее хрупкое тело, ощущая под пальцами тонкокостный череп, округлую и беззащитную шею.

— Мы не сможем пожениться еще очень долго.

— Беатрис!

Она чуточку придвинулась и взглянула мне в лицо яркими, довольными глазами. Подставила губы для бесконечного поцелуя.

— Значит, все-таки выйдешь? Скажи «да»!

Она усмехнулась и обронила ближайшее к согласию слово из всех ей известных:

— Может быть.

5

Ибо это «может быть» — примета всей нашей эпохи. Мы ни в чем не были уверены. Не Беатрис, а мне следовало произнести «может быть». Чем громче я вопил вслед за партией, тем чаще внутренний голос советовал мне не вести себя по-дурацки, что никому не дано быть уверенным в чем бы то ни было. Жизнь брела по колено в тенях, спотыкалась, была относительной. Так что Беатрисино «может быть» я мог счесть за «да».

Молодой человек, не уверенный ни в чем, кроме соли и пряностей секса; уверенный, что если в жизни и есть некая положительная ценность, то она-то и заключена в сем неоспоримом удовольствии. Хочешь — бойся его, проклинай, возвеличивай, но никто не может отрицать, что удовольствие все же присутствует. Что же касается Искусства… разве не утверждалось, что юность, в чье распоряжение предоставлены ресурсы всего человеческого знания, нуждается лишь во времени, чтобы познать все? Разве не утверждалось в толстых и нечитаемых учебниках, что корень искусства — это секс? Разве может быть иначе, когда столь много умных людей так говорили и,

что куда важнее, так себя вели? Следовательно, щекотное наслаждение, «маленькая смерть», разделенная с другим человеком или понесенная от своей же руки, не является ни относительной, ни греховной, но, напротив, служит алтарем того храма, что нам достался — каким бы халтурным он ни был. Однако при этом подспудной, глубоко запрятанной оценкой жизненного опыта как такового начинает досаждать вопрос: если на этом все, то не слишком ли жалкое вознаграждение мы получаем за свое рождение, за стыд и досады взросления? И все же сейчас я выводил Беатрис на эту сексуальную орбиту. Даже она должна узнать, что брак и половой акт суть вещи не разобщенные. При мысли об этом слабели колени, а жаркое дыхание ставило подножку моим легким.

— Сэмми! Нет!

Потому что имелся, разумеется, лишь один ответ на это «может быть», и я попытался войти в клинч — но она не желала отзываться. И тогда (помню это отчетливо) меня пробил озноб, словно любовь, секс и страсть были недугом. Дрожь — а скорее даже зыбь — шла устойчивыми волнами с головы до пят, как если бы у меня нажали какую-то кнопку. В зимнем солнечном

свете, среди дождевой капели и ржавой листвы, я стоял и гармонично колыхался, явно не собираясь останавливаться, и грусть простерлась из меня, не ведающая собственного хотения, ибо потребность в идоле была частью моей натуры, а в учебниках вы этого не найдете, да и в поведении избранных мною людей тоже, так что, сам того не ведая, я выкинул грусть на свалку. А посему она не имела смысла, истекала из буркал смехотворной, трясущейся твари, недостойной звания мужчины и человека, и несть удивления, что Беатрис перепугалась. Оно и понятно: покажите мне хотя бы одну книгу, где благосклонно принятый поклонник трясется и заливается слезами. Ее лучшее «я» или здравомыслие забрали бы обратно то слепящее «может быть», однако я вовремя отвернулся и предпринял сенсационные усилия для овладения собственными эмоциями. Это был прием избитый и посему не пугающий. Озноб прошел, и мною внезапно завладело осознание начала конца длинного пути. Наступит такой день, о да, день яви, когда я отнюдь не в фантазиях доберусь до ее нежного тельца. Она станет моей, избавив от опасений, сомнений и ревности.

Я вновь обернулся к ней и принялся болтать от

невыносимого возбуждения. Словом, я вел ее по тропинке, треща как сорока и заливаясь смехом, она же была объята молчанием и изумлением. Нынче-то я вижу, до чего огорошивающим казалось ей мое поведение, однако ж в тот миг оно представлялось мне вполне естественным. Все дело в неустойчивости, которая, как я сейчас подозреваю, должна была кончиться безумием, да и Беатрис, пожалуй, чувствовала то же самое. Зато мне чудилось, что застарелые рубцы рассасываются. Ненависть охотника была проглочена благодарностью. Клейма, выжженные во мне перекаленным чувством, залечивались и отваливались коростой, я раскрывался, млея от блаженного покоя в сердечной глубине, поверх которой выплясывал исступленный до невидимости восторг.

Мне и на секунду не приходит в голову, что в ту пору она меня любила. Если на то пошло, я и сам задавался вопросом: сколь многим людям ведома полнейшая одержимость и зависимость? Она же была скорее влекома обычаями и прецедентом. Теперь она обручена, а я, наверное, требовался на роль мрачноватого дополнения к педучилищной жизни; дополнения, которое она могла принять с большей легкостью, коль скоро ощущала при-

носимую мне пользу. Если ей в голову и залетала мысль о браке, то речь шла о далеком-предалеком будущем после окончания учебы, так сказать, в конце бобины, эдакое золотое сияние перед финальными титрами. Зато мои мысли и намерения были ясны и точны.

Сегодня я лишь удивляюсь собственной стеснительности и невежеству. После всех нафантазированных мною постельных страстей я едва осмелился на поцелуй, да и поползновения делал уж очень робкие. Понятное дело, она их отбила, но они послужили для перевода стрелки на главный вопрос и невозможность многолетнего ожидания.

— Девушки относятся к этому по-другому.

— Зато я не девушка!

Вот уж действительно попал в точку. Отроду не испытывал столь отъявленной гетеросексуальности. Но она была девушкой, чьи эмоции и физические отклики укрыты как у монашки. Она сама была спрятана. Все то время, пока я стучал, а затем и барабанил в дверь, она сидела запершись изнутри. Мы продолжали видеться, целоваться, планировать свадьбу через сколько-то там лет… Я купил ей колечко, и она почувствовала себя большой и зрелой. Мне дозволялось легонько касаться

ее левой груди при условии, что ладонь остается с внешней стороны ее одежды. За этой гранью Беатрис обретала изрядную решительность. Я так и не сумел проследить всю цепочку тех умопостроений, которые руководили ее реакциями. А может, их вовсе не было, умопостроений-то? А имелись лишь реакции? «Лучше вступить в брак, нежели разжигаться». Как я был согласен с апостолом Павлом! Но мы не могли пожениться. Так что я целовал холодный краешек ее губ, держал ладонь на ее левом соске и пылал как скирда.

Я снял меблированную комнату, съехав из-под присмотра, который был возложен на мою бывшую квартирную хозяйку. Если бы не Беатрис, эта комната казалась бы мрачной и холодной, но я-то планировал использовать ее для совращения.

Никаких примеров выполнения этой задачи у меня не было, если не считать подсмотренных в кино прецедентов, но я находился не в том положении, чтобы им следовать. Не мог окружить Беатрис роскошью, под руками не имелось цыгана-скрипача для наигрывания трепетных нот в ее ушко. А эта комната с ее кушеткой, слишком узкой для двоих, если только их не склеивать или накладывать друг на друга, с ее коричневой панельной обшивкой и розовым абажуром

никак мне не пособляла. Вангоговские подсолнухи, конечно же, вещица прославленная… в какой лондонской спальне их нет? Увы, ничто не притягивало Беатрис, кроме нашей нищеты. Дешевле сидеть на кушетке, чем в кофейне; мало того, это дешевле и загородных прогулок, раз уж из смога можно вырваться только на автобусе или в вагоне. Так что когда я наконец заманил ее к себе, она — вот уж не исключаю такую вероятность! — вполне могла счесть это жестом похвальной бережливости.

Короче, она стала ко мне ходить — и приносить с собой колоссальные, пустынные площади молчания. Данное обстоятельство настолько не соответствовало моим лихорадочным фантазиям, что я поначалу не испытывал к ней никакого влечения. Ее присутствие доводило меня до исступления, но все ж я не мог перешагнуть эту пропасть. Она сидела на кушетке, уперев локти в колени, зажав подбородок меж обеих ладоней, и безмятежно смотрела в пустоту. Время от времени я присаживался перед ней на корточки и перехватывал ее взгляд.

— Ты о чем думаешь-то?

Она бледно улыбалась и покачивала головой. Если я продолжал сидеть, она выпрямлялась и

вновь устремляла взгляд мимо меня. Внешне это напоминало скуку, хотя на деле было странной и не распробованной удовлетворенностью процессом жизни. Она пребывала в душевном покое. За ней стояла религия со всеми ее гарантиями, а что же касается прочего, то она просто получала удовольствие от сидения в своем хорошеньком теле. Никто не сказал ей, что это — грех, что невозмутимое и эгоистичное наслаждение собственным хрупким теплом и гладкостью безнравственно; о нет, ей внушали, что здесь, напротив, заключена добродетель и респектабельность. Сейчас-то я вижу, что ее монастырская непорочность была лишь послушным исполнением завета держаться подальше от глубокой и грязной лужи, где обитают остальные. Я в том числе. Сидел в этой луже и ей семафорил, а она меня жалела. Впрочем, меры уже были приняты, разве не так? Она собиралась выйти за меня замуж, ведь как раз этого хотят славные мальчики: парочка исчезает в золотой дымке, а всяческие глупости заглаживаются.

— Ты о чем думаешь?

— Да так…

— Про нас с тобой?

— Может быть.

За окном темнела длинная зимняя улица. В

небе загоралась реклама — квадрат из красных слов в желтой виньетке; на целую милю вспыхивала цепочка уличных фонарей, желтоватых и дрожащих как спросонок. У меня считанные минуты.

— Так о чем ты думаешь?

Наставало время, она поднималась на ноги, разрешала мне осторожное объятие, после чего грациозно удалялась — женственная и нетронутая.

Интересно, о чем она думала? Она непрозрачна, по сей день ставит меня в тупик. Даже если ей нравилось быть самой собою — бесхитростно и простодушно под стать молодой кошечке перед камельком, — наверняка к ней имелся доступ… пусть не для меня, так хотя бы для какой-нибудь подруги? Сумели бы достучаться до нее собственные дети? Если прожить с ней целую жизнь, появится ли прозрачность, в толще которой затем проступят сложные очертания души?

И все же она привыкла к моей комнате… то есть к нашей комнате, как я стал ее именовать. Я усердно рыл подходы, едва различимые или логичные. Атаковал нашу физическую застенчивость, прятал лицо в ее волосах и умолял — не осознавая, пожалуй, комизм узкой кушетки, — умолял пе-

респать со мною. Конечно, она не соглашалась, и я разыгрывал иную карту. Пускай немедленно выходит за меня замуж. Хотя бы тайком.

Опять от ворот поворот. Чего ей надо? Чего она хотела? Помочь мне обрести постоянство, и все? Может, она и замуж за меня не собиралась?

— Венчаемся! Сию минуту!

— Но нам же нельзя…

— Почему?

У нас нет денег. Ей не разрешалось вступать в брак, она подписала какое-то обязательство. Это было бы бесчестно…

Бедняжка вверяла себя моим рукам.

— Тогда залезай ко мне в кровать.

— Нет.

— Да. Почему нет?

— Нельзя. Это было бы…

— Что? Прикажешь изнывать, оттого что ты… ну почему я обязан ждать?!.. Ты же знаешь, что такое мужчина… из-за какого-то идиотского обязательства стать кислой школьной училкой? И всего-то?!

— Сэмми, я тебя прошу…

— А я тебя люблю.

— Пусти!

— Да как же ты не понимаешь? Я люблю тебя.

Ты любишь меня. Да тебе бы с восторгом кинуться в мои объятия, а мне в твои… отдать всю твою красоту, разделить ее… да что ж ты меня никак не подпускаешь! Ты что, меня не любишь? А я-то думал, что любишь!

— Так оно и есть.

— Отчетливей.

— Я тебя люблю…

И все равно она не соглашалась. Мы просиживали на краю узкой кушетки, устраивая нелепые баталии; глупость чистейшей воды. Со временем пропадало даже желание, а мы сидели бок о бок, я вдруг ударялся в разглагольствования насчет выставки или полотна, над которым в тот момент работал. А порой возвращался к разговору (если монолог можно назвать разговором), который сам же прервал с четверть часа назад.

Беатрис принадлежала моему единственному конкуренту. И, стало быть, не имела права распоряжаться собственным телом. Так она считала и поступала сообразно. И мы пока что не могли пожениться. Время от времени она приходила ко мне в комнату, и мы сидели рядком на краешке постели. Ну зачем она это делала, а? Ощутила во рту солоноватый привкус любопытства и решила подойти к запретному порогу восторга насколько

хватало смелости? Или что?

— Я рехнусь.

У нее было поразительно подвижное тело, податливое в любом месте, где б ты его ни коснулся, но когда я бросил эту непотребную ремарку, ее тело застыло в моих руках.

— Сэмми, никогда больше не говори таких вещей!

— Я рехнусь, вот увидишь.

— Не смей!

В ту пору сумасшествие не было столь модным, как нынче. Мало кто решался бодренько объявить о собственной психической неуравновешенности или шизоидности. Пожалуй, в этом отношении, как и во многих других, я обогнал эпоху. Там, где сегодняшняя девица была бы исполнена сочувствия, тогдашняя Беатрис перепугалась. Дала мне нужный рычаг.

— Я, кажется, уже начинаю слегка… того…

Стоит человеку потерять свободу, конца краю нет спирали жестокости. Я должен, должен, должен. Говорят, грешников в аду заставляют терзать безвинных смертных хворями. Но теперь-то я знаю, что жизнь, пожалуй, куда страшнее этой простодушной средневековой концепции, к тому же ошибочной. Нас вынуждают здесь и

сейчас мучить друг друга. Мы на собственных глазах превращаемся в автоматы; испытываем лишь ужас, наблюдая как наши же руки, ставшие чужими, вздымают орудия страсти над теми, кого мы любим. Утратившие свободу беспомощно наблюдают, как сами же проделывают это средь бела дня, пока уже и не разберешь, кто кого мучает… Одержимость влекла меня к Беатрис.

Но, как водится, стоило бы ей превозмочь свой страх, мы от занятий любовью прикипели бы друг к другу и солнечное будущее не имело бы конца.

Мое безумие отзывалось Вагнером. Темными ночами гнало меня вышагивать средь меловых холмов. Не хватало только альмавивы.

Однажды я через привратника передал записку. Мистер Маунтджой желает переговорить с мисс Айфор.

— Сэмми!

Стрелки показывали без четверти восемь утра.

— Я не мог не прийти. Просто должен был тебя увидеть и убедиться, что ты всамделишная.

— Ты как сюда попал в такое время?

— Я хотел тебя увидеть.

— Но как ты…

— Я хотел… Что значит как? Да я бродил всю ночь, лишь бы не спятить!

— Но…

— Беатрис, ты мой рассудок. Я должен был прийти и увидеть тебя. Вот сейчас все в порядке.

— Сэмми, ты опоздаешь, тебе пора уходить. С тобой все хорошо?

Раскаяние до того навязчивое, чуть ли не до слез. Что` по большому счету есть безумие? Может ли псих-симулянт заявить о своем здравомыслии?

Слезливый маньяк.

— Мне пришлось. Не знаю почему. Просто должен был.

— Послушай, Сэмми… здесь мне нельзя… давай я провожу тебя до автобуса. Пошли. Ты знаешь, какой номер? Тебе надо немедленно лечь.

— Ты не бросишь меня?

— Да что ты… родной мой!

— Значит, как только сможешь… в ту же секундочку…

— Обещаю.

Верхний ярус автобуса часть пути провел среди ветвей. Меня трясло и качало уже не понарошку. Я бормотал словно пьяный.

— Не понимаю. Не знаю ни черта. Меня несет. Я должен. Должен. Жизнь слишком велика. Мог бы надрать себе задницу или убить. Да что мне, всю

жизнь пресмыкаться как таракану? Порскать, ползать? Я бы мог уехать. Разве нет? Ведь могу же? За море, где ждут меня крашеные стены, да, мог бы. Я связан тем, что должен.

В груди натягиваются мышцы, на запястьях вздуваются жилы, сердце стучит все чаще и чаще, пока багровые пятна не пожирают самый воздух, и тогда ты осознаешь, что следовало бы вновь начать дышать; даже если маниакальная страсть есть вещь безжалостная, человек не должен позволять ей завладеть и физическими рефлексами, о нет, он может страдать и эмоционально, обрекая себя на кислородное голодание… ну вот, пришло мне в голову, я своим дыханием сдул это бремя с плеч.

Она явилась ко мне уступчивой и в то же время не терпящей возражений, ибо категорически настаивала на регулярном приеме пищи и так далее. Была очень мила. Посопротивлялась для виду. Играла роль моего рассудка. Я был готов к любым последствиям, хотя сам же с придыханием заверял ее, что все обойдется без последствий. А затем Беатрис — моя четырехлетняя лихорадка — послушно откинулась навзничь, закрыла глазки и отважно положила на лоб сжатый кулачок, словно готовилась к уколу против тифа.

Ну-ну. И что Сэмми?

Последствий не могло и быть, потому как не имелось причины.

Чего конкретно он добивался? Ну отчего именно в наиболее триумфальный или как минимум приятный момент во всей его карьере зрелище униженной, покладистой и перепуганной жертвы возбуждало меньше, чем самое скучное из его фантазийных изобретений; мало того, привело к обвисанию и полнейшей невозможности? Не-а, промолвил его организм, это все не то. Я стремился не к этому, алкал иного… Насколько прав был я, считая себя сексуально озабоченным маньяком, в то время как потенция, наличие которой (если верить всей бездне литературы) предполагается как бы автоматически, в миг падения девичьих штанишек на меня не распространилась? Тогда я решил, что нам не обойтись без той или иной формы сотрудничества. Хоть она и собралась строить из себя мученицу, я не мог стать ее палачом. Если ее и полагалось испугать, я собственной плотью доказал, что стыжусь сего испуга. Вся ситуация отнюдь не укладывалась в общепринятую схему, когда мужчина либо полный импотент, либо героически — есть! будет исполнено! — боеспособен. Имелись и градации. Но ни я, ни Беатрис

не были готовы их принять. С другой стороны, мои чувства к ней несомненно отдавали одержимостью, если не сказать патологией. Разве они не должны были стать порукой успеху? Однако из-за моего самоозвученного эпикриза безумства и ее собственных религиозных табу она была не в состоянии размышлять о сем моменте, сем добрачном деянии, не ощущая при этом привкуса грехопадения в сочетании со страхом, любовью и, стало быть, драматизмом. Самих себя мы подсознательно перекладывали на музыку. Движение, которым она развела колени в стороны, было, так сказать, оперно-героическим и возвышенно-устрашающим. Я не смог ей аккомпанировать. Мой инструмент фальшивил.

Конечно, потом представились и другие оказии. Я был недостаточно мудр и не знал, что половая связь не способна нас сплотить. Так что вместо того чтобы покончить с этой игрой раз и навсегда — к тому же на кону стояла моя собственная оценка личной мужской силы, — я уперся. Мы договорились, что она должна подчиниться так называемым любовным ласкам, которые (как известно всем искушенным женщинам) в конце концов дадут правильный результат. На руках у меня была моя теплая, непостижимая Беатрис,

переживающая своего рода триумф печали и сострадания; она плакала и не желала уходить, тут ничего не поделаешь, таково наказание за излишнюю торопливость. Свою тайну она унесла в педучилище и там мирилась с физиономиями, которые могли ведь и догадаться, после чего вернулась, сходила в церковь, где сделала свои дела… и вновь очутилась в моей постели. Я был преисполнен любви, благодарности и восторга, но так и не приблизился к ней, ничем не смог с ней поделиться. Она так и осталась жертвой, вздернутой хотя бы и на дыбе наслаждений. Но здесь не было ничегошеньки, чем бы мы могли поделиться друг с другом, ибо Беатрис была не способна к акту соития полов. Так и не поняла, чем мы с ней занимались и чего ради.

— Неужели ты ничего не чувствуешь?

— Не знаю. Может быть.

Ее молчание становилось продолжительней. Она уже не была хозяйкой положения. Вместо испытующего разглядывания ее лица в поисках подсказок и размышлений о том, что таится внутри, я обнаружил, что сам стал предметом наблюдений. После наших односторонних занятий любовью я бродил по комнате из угла в угол, говоря себе, что если это все, на единение и

взаимопроникновение рассчитывать не приходится. Она тихо лежала на узкой кушетке, следя за мной глазами: туда-сюда, туда-сюда, пока мне не наскучивало маяться от стенки к стенке. Несчастной я бы ее не назвал. И если впоследствии я вспоминаю и изображаю Беатрис под собой, то это относится не только к ее эротическому образу. Она притиралась к предназначенному месту в жизни. Начинала смотреть снизу вверх, принадлежать, зависеть, цепляться, быть по сути дела существом подчиненным, какой бы глянец ни навело венчание. Инстинктивно становилась тем, что, как ей мнилось, и выражает собой мужняя жена. Ее вклад — после героического самопожертвования — оказался отрицательным. Утрата непорочности покрывает все счета.

Я любил ее и был признателен. Когда ты юн, не верится, что человеческие сношения и впрямь так бессмысленны, как оно и кажется со стороны. Тебе вечно чудится, что завтра наступит откровение. Но на деле наш взаимный апокалипсис уже состоялся. Больше познавать было нечего.

Порой, пребывая в одиночестве, я задумывался о будущем. Что готовит нам жизнь? Я, конечно, буду писать свои картины, а Беатрис все время будет рядом, заваривать чай. Она народит детей

и, наверное, станет замечательной матерью. В отчаянии я принимался думать — нет, не о том как ее покинуть, а как самого себя заставить сблизиться с тем чудесным человеком, который, конечно же, спрятан где-то в ее теле. Раз уж столь божественная оболочка не может служить храминой лишь самой себе, она обязана вмещать еще кое-что…

— Я хочу тебя написать, написать твое тело. Обнаженным. Как сейчас: разнеженным и отдавшимся.

— Нет. Ни за что.

— А вот и да. Просто лежи. Гардину вот только отдернем…

— Ты что! Сэмми!

— Да ничего они не увидят через дорогу. Так, не шевелись.

— Я тебя прошу!

— Послушай, ты же сама сказала, что Венера Рокби[11] изумительна!

Она отвернулась. Ей вновь делали укол против тифа.

— Лицо рисовать не буду. Хочу только тело.

---

[11] Примечания: 11

Картина Веласкеса «Венера с зеркалом», ныне выставленная в Лондонской национальной галерее, до этого находилась в Рокби-холле (графство Йоркшир).

Нет. Позу не меняй. Просто лежи.

Беатрис просто лежала, и я приступил.

Когда набросок был завершен, я снова занялся с ней любовью. Вернее сказать, повторил работу карандаша, закончил им начатое. Любовный акт подтвердил, что она не способна соучаствовать. Плотская любовь перетекала в эксплуатацию. Сейчас я понимаю, что Беатрис не могла наслаждаться нашими постельными отношениями или хотя бы приветствовать их, коль скоро ее так воспитали. Все эти брошюрки и случайные разговоры, весь этот поверхностный хлам были бессильны против мертвого груза ее новоиспеченного сектантства. Все воспитание Беатрис гарантировало асексуальность.

Мужчине трудно разобраться в женщине. И все же, если он объят страстью, каким образом может он проникнуть сквозь ее покорную недвижность? Вправду ли она ничего не испытывает, кроме своего рода невинной похотливости? И ничем не может поделиться?

— О чем ты думаешь?…

Ее тело было вечным источником восхищения. Что в движении, что в статике — она являла собой законченность в цвете и формах. И при этом отсутствовала.

— Так о чем ты думаешь?..

И все ж с того мига, когда она позволила мне забрать ее девственность, между нами что-то сместилось. Ее безоблачное «неприсутствие» клонилось в мою сторону, наваливалось на меня, прилипало. Теперь — словно так и было задумано изначально — она мне покорялась. Следила за мной щенячьими глазами, вкладывала шлейку мне в руку.

— О чем бы нам поговорить?

Я начинал злиться. Попробовал спровоцировать хоть какой-то отклик. Но у нас не получалось даже поссориться. Вечная разница уровней. Стоило ей уловить жесткую нотку в моем голосе, как она тут же — цоп! — и вжималась в меня мордочкой.

Я пытался объяснить:

— Я стараюсь узнать тебя ближе. Как-никак, мы решили всю жизнь провести вместе… ну так где же ты? Что ты такое? Что значит быть тобой?

У нее принимались дрожать руки, полусогнутые в локтях руки, до того хрупкие, что, казалось, умели лишь получать… а ее груди и лицо упирались в меня, прятались.

Нетерпение и гнев. Допрос продолжался, строгий и неумолимый, как урок катехизиса.

— Так ты, выходит, не человек? Совсем-совсем не человек, что ли?

И она, прильнув ко мне, дрожа от запястий до колышущейся светловолосой гривы, шептала:

— Может быть…

А вот сейчас я сообразил, что в ту пору мы никогда не смотрели друг другу в лицо. Она помнится белым торсом с волосяной вуалью на темени… либо обнимает меня за бедра, смотрит преданными глазищами, положив подбородок мне на живот. Ей нравилось смотреть снизу вверх. Она нашла свою башню и вцепилась в нее. Стала моим плющом.

Встречались и дни удовлетворенности — наверное. Мне нельзя забывать, что всякий «прошлый раз» был не любовью, а «страстным увлечением». И так продолжалось почти два года, пока нас не подхватила война: сначала зыбью, а потом и большой волной. Когда не могли видеться, переписывались. Я источал остроумие и напыщенность, она — простодушие и бессодержательность. Вот собралась купить платье. Сэмми, как ты думаешь, мне пойдет зеленое?… У нас такой миленький санинструктор… И хорошо бы купить небольшой домик… А когда мы поженимся, я начну сама себя обшивать… На некоторых письмах в

верхнем левом углу стоял крестик, означавший, что в ближайшие недели нам не грозит заиметь детей, хотя к тому моменту риск и без того был невелик. С учебой у нее не ладилось, поджидали неприятности, но ей было уже все равно — кроме занятий по санинструктажу! Такой славненький преподаватель… К последней жестокой попытке достучаться до нее я подошел не то чтобы осознанно, а меня скорее прибило ветром.

Здесь нужно повнимательней. Сколько намеренной жестокости проявил я? И до какой степени была повинна она? Она ни единого жеста не сделала в мою сторону, пока я не взревел над ней подобно шквалу. Демонстрировала предельную пассивность. А затем случилась та длинная история с моими терзаниями, моим адом — столь же подлинным, как и все прочее в жизни… или я его сам создал? Собственными руками? Если не изменяет память, самолично подсветил ей лицо? Так или нет? Я увидел ее на приступочке в кабинете живописи с мостом на заднем плане, но она меня не заметила. А теперь нам предстоял спуск, неотвратимый и мне неподконтрольный. То, что с моей стороны было страстной и благоговейной любовью, предтечей триумфального единения, слияния, проникновения в тайну, моим возвыше-

нием до ее загадочного и святого, превратилось в отчаянно неуклюжую и жестокосердную попытку спровоцировать в ней хоть какую-то реакцию. Шажок за шажком мы спускались по тропинке сексуального порабощения, пока намеченная мною взаиморазделенность чувств не обернулась надругательством.

Но даже здесь, в клоаке моей памяти, нет ничего определенного. Как эта благопристойная девушка, эта неисписанная скрижаль допустила такие надругательства над собой? Что она о них думала? Да и думала ли вообще? Насколько я мог судить, они всего-то и делали, что укрепляли в ней чувство собачьей преданности и защищенности. Они суть воспоминания о моей собственной неудаче, моем падении — не ее. Подростковые фантазии, ныне реализованные только наполовину, да и то лишь с моей стороны, оказались угрюмыми, скучными и злыми. Они зацементировали реальность физического существования и разрушили любые иные возможности; к тому же физическую жизнь сделали не просто реальной в кубе, но и презренной. А под наслоениями, в глубине, гнездилась тоска смертная от беспомощности и утраты.

Вот и получилось, что прогресс в любострастии

заставлял ее крепче держаться за мои чресла. Я не мог изобразить ее лицо — в отличие от тела. Да, я рисовал ее как тело, и мои полотна великолепны, ужасны, чудовищны в своем повествовании о ярости и покорности. Они-то и принесли мне первые деньги (если, конечно, не считать портрет мэра); одна из них и вовсе выставлена, так что я могу туда приходить и видеть то время, мою комнату — нашу то есть — и пытаться понять без извинений или жалости. Вот висит законченное совершенство ее усладостной, ложбиночной плоти. Свет из окна высекает золото из волос, рассыпает его по грудям, животу и бедрам. Дело было как раз по окончании последнего и особенно унизительного этапа пользования ею, так что из презрения к самому себе я добавил электролампочек, как в «Гернике», чтобы ухватить, передать ужас — а ужаса-то и не было. Положено, ан нету. Электрический свет, которому предписывается жечь подобно проституции или иной общественной язве, производит впечатление неуместности. Зато из окна сыплется золото. Наличествуют: собачья верность, глазищи и покорность. Я взираю на полотно и вспоминаю, как выглядело спрятанное лицо, как после моего очередного «подвига» и презрения к самому себе

она лежала и глядела в окно с таким видом, будто сподобилась благодати.

6

То были великие дни для компартии Англии. Звание коммуниста придавало ощущение некоего благородства, мученичества и целеустремленности. Я начинал прятаться от Беатрис в галдеже улиц и залах собраний. В ратуше намечался митинг, на котором один из членов местного совета должен был изложить свои мотивы для вступления в партийные ряды. Так решили наверху. Он был бизнесменом, а посему его полуподпольный статус не позволял надеяться на более выгодную должность, то есть где-нибудь на государственной службе. Так отчего бы не сыграть на своих убеждениях? Дело было осенью, промозглой осенью затемнений и «странной войны»[12]. «Почему я вступил в компартию?» — гласили плакаты и афишные тумбы, так что зал был набит битком. Впрочем, по-настоящему высказаться советнику не дали: одни фракционные овации заглушали другие, валились стулья, клубился плотный синий дым; звучали возгласы ободрения, выкрики,

[12] Примечания: 12

По май 1940 г. Великобритания де-юре находилась в состоянии войны с Германией, но де-факто не принимала участия в боевых действиях.

свист… Кто-то устроил потасовку в глубине зала, летала бумага, звенели разбитые стекла. Я как раз смотрел на советника, открывавшего и закрывавшего рот как в немом кино, и на моих глазах ему в правую бровь угодила бутылка, сбив бедолагу под стол зеленого сукна. Я двинулся ему на помощь, но в этот момент кто-то выключил свет, раздалась трель полицейского свистка. Мы — то есть я с его дочерью — стащили обмякшее тело с подиума, нырнули в боковой выход, оттуда в его машину, покамест один из полисменов прикрывал отход, раз уж речь шла все-таки о советнике. В темноте по-прежнему бесновались, и сквозь этот рев я услышал первые слова, адресованные мне из невидимых девичьих губ:

— Заметил того поганца, что швырнул пузырем?

До этого я ни разу не видел Тэффи, но когда мои глаза привыкли к мраку, я едва им поверил. Смуглая и заводная, с лицом, которое вечно кажется накрашенным, даже в бане, — этакая чернобровка с крупным алым ртом. Красивей ее я не встречал: изящный профиль, мягкие щечки и пара ямочек, разительно контрастировавших с тенорным голосом и уличной речью. Она промокала отцовскую бровь клочком носового платка

и цедила раз за разом:

— Да я б эту суку опущенную сама удавила!

Мы доставили советника в больницу и принялись ждать. Наконец, наступил такой момент, когда мы взглянули друг на друга, оказались лицом к лицу — и нам обоим сразу стало ясно множество вещей. Потом мы отвезли его домой, и я вновь стал ждать внизу, в прихожей, пока Тэффи укладывала отца в постель. Она спустилась и молча встала — потому что можно было только смотреть, а словам тут места не было. Она накинула шарф (думаю, отцовский), и из дому мы вышли вместе. Направились в какой-то паб со светомаскировкой и уселись, держась за руки и еле соображая из-за непреодолимого чувства взаимообретения. Целовались прямо на людях, без стыда или напускного вызова, и хотя кругом сидел народ — только руку протяни, — мы с ней были наедине. У каждого из нас имелись важные обязательства на стороне, и все ж без тени сомнения мы понимали, что не должны упустить друг друга. Не помню, насколько подробно мы это обсуждали или хотя бы делились чувствами. Той же ночью она пришла в мою спартанскую обитель, и мы занимались любовью, необузданной и взаимной. В конце концов, мы были коммуни-

стами, наша личная жизнь касалась только нас. Мир разлетался на куски в затянувшемся взрыве. Никто из нас не рассчитывал на долгую жизнь. А потом она вернулась домой, оставив меня размышлять о ее следующем визите и о Беатрис. Что прикажете с ней делать? Вот что конкретно мог я сделать? Отказаться от Тэффи? Надо полагать, именно такой ответ дал бы философствующий доброхот-нравоучитель. Так что мне теперь, жить до конца своих дней с Беатрис, ежеминутно зная, что я люблю Тэффи?

В конечном итоге я не предпринял ничего. Просто следил за тем, чтобы они не встречались. Бедняжка Беатрис мне наскучила. Былое волшебство, привычный нервный подъем притупились или вовсе перегорели. Я уже не хотел ее постигать, уже не считал, что в ней содержится какая-то тайна. Она вызывала у меня жалость и раздражение. Я пробовал это скрывать, надеясь, что время подскажет, но, как выяснилось, для этого я был недостаточно толстокожим. Беатрис заметила, поняла, что я охладевал, отстранялся. Цеплялась она за меня крепче, чем раньше; ее лицо и соски плотнее вдавливались мне в живот. Наверное, если б я нашел в себе смелость взглянуть ей в глаза, то смог бы увидеть весь тот ужас и страх,

которые так и не попали на мои картины, но я не встречался с ней взглядом, ибо стыдился. Беатрис льнула ко мне в слезах и смятении — молчком.

Она была воплощением образа обманутой женщины, попранной и беспомощной невинности. За давностью лет я чувствую в себе достаточно цинизма или отчужденности, чтобы подвергнуть сомнению угол наклона ее подбородка. Прием из оперного арсенала? Не думаю, что она обладала эмоциональными ресурсами. Она была искренней. Беспомощной и перепуганной. В цепляющихся руках читалась жалкая толика силы, словно она физически хваталась за то, что ускользало от нее эмоционально. К тому времени я вполне ознакомился с ее слезами и, если б был достаточно брутальным, мог бы даже счесть, что поквитался с ней за свои неразделенные постельные метания в студенческую пору; сейчас я видел водицу горя, густомедовой росой обметавшую ее ресницы или сбегавшую по щеке, вычерчивая перевернутый восклицательный знак из текста на испанском. В промежутках между ее появлениями в моей комнате или когда учебный план не позволял ей меня видеть, Беатрис вырывала по давно перевернутому листку из моего дневника, сиречь писала мне письма. С обстоятельными,

дотошными расспросами. Что происходит? В чем она повинна? Что ей делать? Неужели я ее разлюбил?

Как-то раз я по проселочной дороге вышел к шоссе и наконец увидел, отчего поднялся шум: кошка угодила под машину, да так, что потеряла жизней пять из своего девятикратного запаса. Злосчастная, жуткая тварь ползла прочь и визгом призывала собственную смерть. Я бежал, заткнув пальцами уши, пока не выкинул корчащееся создание из головы и смог вновь разыгрывать в уме пьеску «А что если, или Когда же улыбнется счастье?». А все потому, что, как уже я говорил, в этой ограниченной вселенной, где нет ни единой детерминанты, кроме моего собственного существования, заботиться и волноваться надо лишь о покое и услаждении вот этого султана. Отсюда получаем, что все заключено в обнаженном нерве моего одноглазика, гомункула, рога-распялки; это и есть смысл моей охоты на Беатрис. В ее курьезном и полузабытом образе на приступочке с палладианским мостом на заднем плане я сейчас не вижу ничего, кроме свидетельства силы самообмана, на который способен разум. Не было никакого света в ее лице. И если хорошенько присмотреться, из-под кожи проступали изъяны,

а за уголками глаз лежало по треугольничку темноты, вещающей о долгих ночах. В ее власти было лишь обвинять, угрожать скелетом в чулане, а в нашей ограниченной вселенной на этом легко поставить крест.

Так что мы с Тэффи продолжали вести себя по-своему. По моим низким меркам, она была гранд-дамой. Привередой — пока наконец не вспоминала, что мы все же застрельщики, авангард пролетариата. У нее водились и кое-какие средства; на содержание мужа или любовника недостаточно, но помочь она могла. Словом, я съехал с квартиры, сменил адрес, не предупредив хозяйку и не расплатившись; да и куда бы я сунул деньги в этом разбомбленном подвале, закутке из разбитого бетона с покосившейся кирпичной кладкой, уже вовсю прораставшей цветами? Впрочем, через пару дней я все же тайком просочился обратно, чтобы очистить почтовый ящик, забрать письмо Беатрис, которое она мне написала, потеряв мой след. Письмо было полно укоризны — нерешительной, мягкой, пугливой. Я повидался с Тэффи, и на какое-то время между нами возникло отчуждение. Тэффи что-то заподозрила и надулась. У нас состоялся один из тех бесконечных рациональных разговоров о взаи-

моотношениях мужчины и женщины. Ни к чему ревновать, лучше с пониманием отнестись к удовольствиям, получаемым от третьего человека. Нет ничего постоянного, все кругом относительно. Секс — личное дело каждого. Это вопрос физиологии, к тому же контрацептивы устранили необходимость ортодоксальной семейной жизни. А потом мы вдруг кинулись обниматься, словно узрели друг в друге единственную прочную опору во время землетрясения. Я бормотал ей в затылок:

— Выходи за меня, Тэффи, выходи, бога ради…

И Тэффи шмыгала носом у меня под подбородком, сыпала хриплыми проклятиями, терлась лицом о мою фуфайку.

— Вздумай только мигнуть какой-нибудь шалаве, я твои кишки на ремень пущу!

Я покинул свое временное пристанище в ИМКА, и на деньги Тэффи мы переехали в съемную мастерскую. Спохватившись, расписались в мэрии, хотя сама церемония не имела для нас никакого значения, разве только позволяла теперь без помех устроиться в новом месте. Беатрис передала мне письмо через Ника Шейлса, который в ту пору еще учительствовал, и я долго не решался вскрыть конверт. Ник добавил кое-что от себя.

Его обиженная записка извещала, что в поисках меня Беатрис обегала всех общих знакомых. Я мысленно увидел, как она обивает пороги, пунцовая от позора и все же вынужденная настаивать:

— Вы не знаете, где можно найти Сэмми Маунтджоя? Кажется, я потеряла его адрес…

Я открыл письмо, и первые строки оказались мольбой о прощении, но читать дальше я не стал, потому что один вид первой страницы зарезал меня без ножа. В левом верхнем углу она начертила крестик. Мы были вне опасности.

Имеется еще одно воспоминание о ней, воспоминание о сне столь ярком, что он занял место в моем повествовании. Я вижу себя со спины, таю, удаляясь по пригородной, бесконечно длинной дороге, уставленной злыми, некрашеными, но до отвращения респектабельными домами. За мной бежит Беатрис, кричит пронзительным птичьим криком. На это жуткое место спускается вечер, окутывает ее тенями. А из подвалов и сточных канав поднимается вода, так что ее ноги увязают и хлюпают, хотя сам я в лужи почему-то не попадаю. Вода поднимается вокруг нее, все время поднимается.

А мы с Тэффи устроились в четырех стенах и механически выпали из партии как раз к нача-

лу бомбардировок и моей солдатской службы. Покопались в историях наших жизней; моя была подредактирована, да и ее, пожалуй, тоже. Вышли на тот экстраординарный уровень чувства защищенности, когда уже перестаешь ожидать правду, зная, что это попросту невозможно, и вместо этого заранее протягиваешь индульгенционный карт-бланш. Образ Беатрис затушевался в моем сознании подобно партии. Я рассказал о ней Тэффи, и крестик сделал свое дело. Она-то ждала ребенка.

Что еще мог я сделать, кроме как сбежать от Беатрис? Не в том смысле, что именно полагалось мне сделать или как мог бы поступить кто-то другой на моем месте. Я к тому клоню, что человеку, каким я себя описал и каким себя вижу затылочным глазом, только и оставалось что бежать. Не мог я прикончить визжащую кошку. Утратил власть над личным выбором. Поступился собственной свободой. Я не повинен в рефлекторной и беспомощной реакции моей внутренней природы. Чем я был, тем и стал. Юноша, вздернувший ее на дыбе, во всех частностях отличается от ребенка, которого вели мимо герцога в лавке древностей. Где прошел водораздел? Какой у него был выбор?

В те дни довелось увидеть Джонни — увидеть на законченный, четко определимый миг, который остается в моем уме мерой нашей с ним несхожести. Как-то после обеда, за городом, я уходил от самого себя, приближаясь к вершине Каунтерсхилл, где дорога делает прыжок. Вот Джонни и выпрыгнул в мою сторону на своем мотоциклете, да так, что мне самому пришлось сигануть вбок. Думаю, он делал на том склоне под сотню миль в час и, достигнув гребня, показался мне висящим в воздухе, летящим мимо. Память рисует его на фоне неба, в шести дюймах от грунта. Левая рука на руле. Он откинут назад, а голова в шлеме до отказа повернута вправо. Девушка притулилась к его плечу, обнимает Джонни правой рукой, а ее грива плещется по ветру. Правая рука Джонни поддерживает девичий затылок, они целуются — на этой скорости, вслепую вылетая на вершину холма, не заботясь о том, что было и что будет… раз уж впереди, может статься, ничего и нет.

Я приветствовал разорение и крах, навлекаемые войной, говорил «добро пожаловать» смертям и ужасу. Пускай рушится мир. Там, где я жил, в умах царила анархия, и анархия царила во всем мире: два состояния, до того схожих, что одно вполне могло породить другое. Искрошен-

ные жилища, беженцы, трупы и пытки: примите их как схему мира, и поведение отдельного человека окажется достаточно безобидной хворью. К чему утруждаться смертоубийством в частном порядке, когда можно стрелять в людей публично и столь же публично принимать за это поздравления? Зачем волноваться за одну-единственную растерзанную девчонку, когда таких, как она, тысячами рвут в клочья? Несть мира нечестивым, зато война с ее расточительностью, похотью и безответственностью отлично годится в суррогаты. Я маловато воспользовался разрушениями, потому что уже и так был достаточно известен как баталист.

Винтовка не для Сэмми. Вместо этого он стал ангелом-регистратором человеческих деяний.

— Выходит, здесь?

— Нет. Не здесь.

7

Тогда где? В чем-то я мудр, необычайно проницателен, а посему должен бы по идее ответить на свой же вопрос. По крайней мере могу сказать, когда приобрел или получил сию способность. Об этом позаботился доктор Гальде. На воле я бы никогда не приобрел ни единой способности. Получается, что потеря свободы и была взысканной ценой, необходимой предпосылкой для нового способа познавать? Но ведь результат моей беспомощности, откуда и появился этот новый способ, привел также к безысходному отчаянию Беатрис и здоровым удовольствиям Тэффи. Не могу сам себя убедить, что мои умственные способности настолько важны, что служат оправданием порожденного ими добра или зла. Впрочем, в руках доктора Гальде превращение моей интуиции в ясновидение было прямым и неизбежным следствием. У меня сохранилась сверхчеткая картинка того помещения, в котором он начал этот процесс. Гестапо хлесткими движениями срывало покровы со вчерашнего и обнажало серые лики.

Помещение было неподдельным, утилитарным

и скучным.

В нем главенствовал колоссальный письменный стол, занимавший треть площади пола. Стол был старинным, полированным, на бульбовидных ножках концертного рояля. С каждого торца на нем громоздились кипы бумаг, оставляя центр под комендантский блокнот. На хозяина кабинета мы смотрели лицом к лицу, хотя сам он при этом сидел, а мы стояли. Позади него размещались картотечные шкафы, чьи ящички были промаркированы бумажками с аккуратной готической вязью. За креслом коменданта, над его головой, висело крупноформатное фото фюрера. Кабинет как кабинет, пресный и неуютный. Судя по осевшей пыли, кое-какие документарные груды лежали на столе с давних пор.

Вход строевым шагом, поворот направо, рапорт:

— Капитан Маунтджой, сэр.

На сей раз в кресле сидел отнюдь не комендант и даже не его тучный заместитель. Этот человек был в штатском, в темной пиджачной паре. Откинувшись на спинку кресла, он держал руки на подлокотниках, сложив пальцы шпилем. Слева и сзади стоял заместитель коменданта с тремя солдатами. И еще двое неизвестных в гестапов-

ской форме. Полный аншлаг, хотя смотреть я мог лишь точно перед собой, на человека напротив. Не знаю, суждение ли это задним числом, но он мне сразу понравился, расположил к себе; я был готов общаться с ним не меньше, чем с Ральфом и Нобби. Испытывал я и страх, сердце начинало выпрыгивать из груди. В ту пору мы еще не знали наверняка, что такое гестапо, но слухи успели дойти, так что мы кое о чем догадывались. К тому же он был в партикулярном костюме — слишком высокий чин, чтобы носить униформу, если не хочется.

— Доброе утро, капитан Маунтджой. А может, лучше «мистер»? Или даже Сэмюэль или Сэмми? Не желаете ли присесть?

Он обернулся, выдал какую-то немецкую скороговорку солдату слева от меня, и тот придвинул мне металлический стул с матерчатым сиденьем. Мужчина подался вперед.

— Меня зовут Гальде. Доктор Гальде. Давайте познакомимся поближе.

Он умел и улыбаться: не леденящей, а искренней и дружелюбной улыбкой, над которой танцевали голубые глаза, а кожа подтягивалась к скулам. Только сейчас я сообразил, до чего отменным был его английский. Комендант обращался к

нам по большей части через переводчика или же бросал короткие сентенции на смеси немецкого и английского. А вот доктор Гальде изъяснялся на английском лучше, чем я. Я-то пользовался неотесанным, безграмотным языком масс, а его речь носила ту же печать аскетичного совершенства, что и лицо. Его дикция обладала прозрачностью, характерной для ясного и логического ума. Я же произносил слова смазанно, глотая звуки, — голосом человека, который ни разу не брал свой разум под уздцы, никогда не думал, никогда не был хоть в чем-то уверен. И все же у него был чужой, космополитичный голос отторгнутой идеи, голос, который было бы правильнее передать цепочкой математических символов, а не напечатанными словами. И хотя его «п» и «б» различались четко, они звучали излишне резко, на какую-то крошечную долю. В носу, что ли, у него щипало?

— Так лучше?

Доктор… Доктор чего? Сама форма его головы была утонченно-изысканной. Поначалу она казалась округлой, потому что глаз в первую очередь притягивался блестящей лысиной на макушке, прикрытой черными прядями, но стоило опустить взгляд, как ты начинал понимать, что

слово «округлая» здесь не годится, раз уж и лицо и голова вписывались в овал, широкий наверху и суженный у подбородка. Он был весьма лобастым — именно здесь овал был шире всего, — с редеющими волосами. Нос длинный, глазные впадины неглубокие. Что же касается собственно глаз, то они были до ошеломления синими. Как васильки.

Доктор философии?

Но сильнее всего поражала не изящность линий черепа, а тугость натянутой на него плоти. Общее состояние этой телесной ткани может много чего поведать. Если она обтягивается лишь из-за болезни, следы страданий невозможно сокрыть. Глаза становятся тусклыми, под ними набухают мешки. Однако эта кожа была здоровой, бледной и как минимум сочетающейся с дермой лба. Будь она еще тоньше, череп проступил бы наружу. Морщины совсем не обязательно были вызваны страданиями; скорее это результат мыслительной работы и добродушия. А с учетом изящных ладоней и почти прозрачных пальцев ответом был аскетизм. Этот человек обладал телом святого.

Доктор психологии?

Психологии!

И здесь я вдруг вспомнил, что от стула следовало отказаться. Дескать, спасибо, постою. Так поступил бы герой Бьюкена. Я, однако, был загипнотизирован этим лицом, уверенной и превосходной английской речью, и уже сидел на стуле, слегка шатавшемся на неровных половицах. С ходу почувствовал себя уязвимым, закатанным в груду плоти, с дубиной против жалящей рапиры. Стул вновь покачнулся, и я услышал собственный голос, высокий и до абсурда светский.

— Спасибо.

— Сигарету?

Надо было отвергнуть, отмахнуться, но тут я увидел свои пальцы, пожелтевшие по средние фаланги.

— Спасибо.

Доктор Гальде протянул руку за правую стопку бумаг, извлек серебряный портсигар и щелкнул крышкой. Я подался вперед и, копаясь в портсигаре, увидел, что находилось за бумажной кипой. Уж как Нобби с Ральфом старались, чтобы не было архаических улыбок седьмого века, но эти головы из папье-маше с париками и намалеванными физиономиями балаганных шутов не обманули бы и ребенка. Лучше б меня попросили

или хотя бы остановились на париках, а одеяла подтянули бы повыше.

Доктор Гальде протягивал серебряную зажигалку с неподвижным язычком пламени. Я сунул в него сигарету на полдюйма и затянулся, пуская дымные клубы.

Беззаботно.

Доктор Гальде зашелся смехом, так что кожа на щеках собралась в аккуратные колбаски под глазами. Он по-прежнему оставался бледен, хотя снизу колбаски и окрасились легчайшим намеком на розовое. Глаза скакали, зубы сияли. В уголках глаз наметились «гусиные лапки». Обернувшись, он включил в круг своего веселья и заместителя коменданта. Вернул взгляд на меня, вновь сложил пальцы вместе, сосредоточился. Он был дюйма на два повыше и посему взирал свысока, но по-дружески, как бы забавляясь.

— Мы с вами, мистер Маунтджой, люди незаурядные. Вам бы следовало сейчас находиться в своей мастерской, куда я искренне желаю вам вернуться.

Эти космополитичные слова несли с собой ощущение жутковатой зрелости, как если б следующее высказывание могло дать все ответы. Он смотрел мне в глаза, приглашая подняться

над вульгарной перепалкой, перейти в более возвышенную плоскость, где культурные люди способны договариваться. Я немедленно ужаснулся, что проявлю нецивилизованность и еще множество менее определимых свойств.

Сигарета вдруг заплясала у меня в пальцах.

— Никак обожглись, мистер Маунтджой? Нет? Замечательно.

Он протягивал фарфоровую пепельницу с видом на Рейн. Я осторожно принял ее и поставил рядом с собой на столешницу.

— Вы даром теряете время. Я не знаю, как им удалось бежать или хотя бы куда.

Секунду он молча меня разглядывал. Рассудительно кивнул.

— Очень может быть.

Со скрежетом подвинув стул назад, я оперся о края сиденья обеими руками, готовясь встать. Сам тому не веря, я начинал заигрывать с идеей, что допрос окончен.

— Что ж, в таком случае…

Я уже приподнимался, но тяжелая рука опустилась мне на левое плечо и придавила. Я узнал цвет ткани обшлага, но физическое прикосновение того существа, которого следовало бояться, меня, наоборот, разозлило, и я даже почувствовал,

как шея набухла кровью. Впрочем, доктор Гальде хмурился куда-то мне за плечо и обеими руками делал утихомиривающие жесты, повернув ладони вниз. Тяжесть оставила мою ключицу. Доктор Гальде извлек белое облако батиста и педантично высморкался. Стало быть, он и впрямь мучился насморком, в его носу действительно щипало, и его английский был на самом деле безупречен.

Сложив и убрав платок, он улыбнулся.

— Очень может быть. Но мы обязаны удостовериться.

Мои руки были слишком крупными и неуклюжими. Я распихал их по карманам кителя, однако впечатление вышло неестественное. Тогда я их вынул и просунул в карманы брюк. Фразы я произносил чисто механически, заученно и, проговаривая слова, сам понимал, что в них нет ничего, кроме нервного рефлекса.

— Я офицер и военнопленный. Я требую, чтобы со мной обращались в соответствии с Женевской конвенцией.

Доктор Гальде издал звук — то ли полусмешок, то ли вздох. Его улыбка была грустной и укоризненной, словно перед ним сидел ребенок, допустивший ошибку в классном задании.

— Ну конечно. Разумеется.

К нему обратился заместитель коменданта; состоялся неожиданно быстрый обмен репликами. Заместитель смотрел то на меня, то на доктора и о чем-то яростно спорил. Однако верх одержал Гальде. Заместитель щелкнул каблуками, выпалил какую-то фразу и, забрав солдат, покинул кабинет. Я остался с Гальде и гестаповцами.

Доктор обернулся ко мне:

— Нам все про вас известно.

Я моментально ответил:

— Это ложь.

Он искренне и с сожалением рассмеялся.

— Как я вижу, наша беседа так и будет прыгать с одного уровня на другой. Конечно, знать все о вас мы не можем, как и о любом другом человеке. Мы и о себе-то не все знаем. Вы к этому клоните?

Я отмолчался.

— Но видите ли, мистер Маунтджой, я имел в виду нечто на гораздо низшем уровне, где действуют определенные силы и возможны определенные умозаключения. К примеру, мы знаем, что аскезу — особенно вынужденную — вы принимаете в штыки. Я же, с другой стороны… ну, понимаете? И так далее.

— Так что же?

— Вы были коммунистом. Как и я — в свое

время. Ошибочно адресованное великодушие молодости.

— Не понимаю, о чем вы.

— Я буду с вами откровенен, хотя и не могу сказать того же самого о вас. Война безнравственна по самой своей сути. Согласны?

— Может, и так.

— Здесь годится только «за» или «против». Мне мой выбор дался с огромным трудом, но все же я его сделал. Не исключено, что это был последний выбор в моей жизни. Согласитесь с текущей международной безнравственностью, мистер Маунтджой, и человеку станут доступны любые неприятности. Мы-то с вами знаем, до чего доводит морализирование в военную пору. В конце концов, мы побывали коммунистами. Цель оправдывает средства.

Я примял окурок о пепельницу.

— Я-то здесь при чем?

Он описал круг портсигаром и выставил его вновь.

— Для нас с вами реальность ограничена этой комнатой. Мы посвятили себя своего рода социальной машине. Я управляю моей машиной и полностью властен над вами. Это, мистер Маунтджой, унижает и вас и меня, но таково

положение дел.

— Что вы ко мне привязались? Говорю вам: я ничего не знаю!

Зажав сигарету пальцами, я неловко копался в спичечном коробке. Доктор Гальде издал восклицание и протянул зажигалку.

— О, прошу вас!

Обеими руками я сунул сигарету в пламя и впился в белый сосок. В поле зрения маячили силуэты двоих мужчин, стоявших по команде «вольно», но я не видел их лица, не мог видеть чье бы то ни было лицо, кроме озабоченной академической физиономии позади зажигалки. Гальде опустил зажигалку, сложил руки на блокноте и подался вперед.

— О, если б вы только могли взглянуть на эту ситуацию моими глазами! Вы бы захотели, так захотели, я бы даже сказал, страстно возжелали… — Он стиснул ладони. — Поверьте мне, мистер Маунтджой, я… Мистер Маунтджой. Четыре дня назад из другого лагеря бежало более полусотни офицеров.

— И вы хотите, чтобы… чтобы я…

— Погодите. Они… э-э… словом, до сих пор на свободе, на воле, еще не возвращены в лагерь…

— Браво!

— В любую минуту может состояться такой же побег из этого лагеря. Двое офицеров — ваши друзья, мистер Маунтджой, — это уже проделали. По нашим сведениям, моральное состояние контингента таково, что массовый побег маловероятен, однако не исключен. Этого не должно произойти… О, если б вы только знали, насколько важно этого не допустить!

— Ничем не могу помочь. Где пленный, там и побег.

— Сэмми… прощу прощения… мистер Маунтджой, вы прекрасно усвоили вбитые рефлексы! Неужели я обманулся на ваш счет? Вы и в самом деле лишь оболваненный британский солдат на службе монарха?

Он вздохнул, откинулся назад.

— Почему вы назвали меня Сэмми?

Он улыбнулся, и зима в его физиономии сменилась весной.

— Я вас изучал. Ставил себя на ваше место. Беспардонная дерзость, конечно, но война есть война.

— Вот уж не знал, что я такая важная птица.

Он прекратил улыбаться, потянулся вниз и, порывшись в портфеле, извлек какие-то документы.

— Вот, мистер Маунтджой, как много вы для нас значите.

Он бросил на блокнот две небольшие папки. Грязновато-желтые, потрепанные. Я раскрыл их и обследовал параграфы непостижимого готического шрифта, неразборчивые инициалы и имена, круглые печати. С одной фотографии на меня смотрел Нобби, с другой — Ральф, застывший с нарочито глупым и тупым выражением лица.

— Стало быть, поймали…

Доктор Гальде не ответил, и что-то в его молчании — некая натянутость, наверное — заставило меня быстро вскинуть глаза и переделать утверждение в вопрос:

— Значит, поймали?

И опять-таки доктор Гальде отмолчался. Затем он извлек облако белого батиста и в очередной раз высморкался.

— С прискорбием вынужден сообщить, что ваши друзья мертвы. Застрелены при попытке к бегству.

Я долго смотрел на тусклые снимки, но они ничего не означали. Я попытался расшевелить себя, мысленно и как бы на пробу сказав: их грудные клетки растерзаны пригоршнями свинца,

каждый из них дошел до предела… оба неутомимых игрока в крикет увидели и осознали, что игра кончена. Они были моими друзьями, и их знакомые тела сейчас гниют.

И ты все равно ничего не чувствуешь?

Может быть.

Гальде тихо молвил:

— Теперь понимаете, мистер Маунтджой? Жизненно необходимо, чтобы больше никто не оказался по ту сторону проволоки… это необходимо ради них самих, ради нас, ради человечности, ради грядущей…

— Сволочи.

— Ну конечно. Само собой. И так далее.

— Говорю вам: я ничего не знаю.

— В таком случае, когда мне поручают или, если угодно, я сам беру на себя задачу предотвратить повторение аналогичного инцидента… куда еще прикажете смотреть? На кого? Из всех содержащихся в этом лагере кто еще обладает столь подходящей репутацией? Кто еще говорил о живописи и красках, о литографии? Да и потом… — Он пристально глядел на меня своими огромными васильковыми глазами. — Кто из всех этих людей способен к благоразумию? Уж не следует ли мне в качестве рычага выбрать

майора Уитлоу-Браунрригга, этого несгибаемого джентльмена, и гнуть его, пока не сломается, или выбрать более податливый материал?

— Говорю вам…

— Крайне важно, чтобы я мог провести облаву быстро, внезапно и знал наверняка, что и где я найду. Прошу, пожалуйста, выслушайте до конца. Я должен разбить печатный станок, изъять инструменты, униформу, гражданскую одежду, я обязан вдребезги разнести рацию, сразу выйти на подкоп и засыпать его…

— Но ведь я…

— Дослушайте, пожалуйста, до конца. Я выбрал вас не только оттого, что вы, безусловно, входите в организацию, но и оттого, что вы — художник, а посему объективны и стоите особняком от своих собратьев; вы — человек, который понимает, когда предательство не является предательством и когда надо ломать правила, нарушать клятву, служить высшей правде…

— В последний раз повторяю: я ничего не знаю!

Он развел руками, опустив их на стол ладонями кверху.

— Вы считаете, это благоразумно, мистер Маунтджой? Примите в учет все те признаки, что

указывают в противоположном направлении: ваши разнообразные навыки, ваша дружба с этими двумя офицерами… даже ваше бывшее членство в партии, известной своими подпольными повадками… О, поверьте, я испытываю глубочайшее уважение к вам и крайнюю неприязнь к собственной работе. Кроме того, я понимаю вас… насколько вообще можно понимать другого человека.

— Это невозможно. Я сам себя не понимаю.

— Но я объективен, коль скоро, обладая возможностями изрядно вам досадить, так сказать, влезть вам под кожу, я ведь могу и оставить вас в покое, еще до того как начнется боль…

— Боль?

— И, стало быть, я знаю — объективно, наверняка, до безмятежности, — что на том или ином уровне нашего — увы, злосчастного знакомства вы начнете… как бы это выразиться…

— Колоться я не буду. Потому что ничего не знаю.

— …«колоться». Ага. Вот правильное слово. Итак, вы, мистер Маунтджой, рано или поздно начнете колоться.

— Не знаю я ничего. Ничего!

— Погодите. Давайте-ка я для начала сделаю для

вас нечто весьма ценное. Я разъясню вам вашу же суть. Никто — ни любимая женщина, ни отец, ни школьный учитель — на это не способны. Они все скованы условностями и добротой. Лишь при теперешних обстоятельствах, так сказать, в электропечи, один человек может обдать другого человека расплавленной, слепящей правдой.

— Ну и?

— Какой эмбрион, если б у него имелся выбор, решился бы претерпеть муки рождения, чтобы достичь вашего повседневного самосознания? В вас нет ничего здорового, мистер Маунтджой. Вы ни во что не верите… во всяком случае, настолько, чтобы принимать страдания или радоваться. Ничто и никогда не стучало вам в дверь, чтобы захватить полностью. Вы захвачены самим собою. Умозрительные идеи, даже идея верности родной стране, вам не идут. Вы сидите в пыльном вокзале на невесть какой ветке и ждете невесть какого поезда. Изо дня в день, из часа в час вы судорожно дергаетесь между полюсами веры — я имею в виду веру в материальные вещи и веру в то, что мир сотворен и поддерживается неким высшим существом. Лишь вещи, которых вы не можете избежать: ожог секса или боли, уклонение от одного мучительного повторения и продление

другого — вот что ваше повседневное самосознание принимает за жизнь, хотя и не желает этого признавать. О да, вам в определенной степени доступна дружба и любовь, но нет ничего, что отличало бы вас от муравьев или воробьев.

— Тогда со мной лучше не иметь никакого дела.

— Так вы еще не оценили трагикомизм нашего положения? Если бы то, что я вам рассказал, мистер Маунтджой, было полной картиной, мне бы следовало просто нацелить на вас пистолет и дать десять секунд на размышление. Однако в вас есть некая загадка, которая неясна нам обоим. Таким образом, даже если я практически уверен, что вы начнете колоться — если есть в чем, — я обязан сделать следующий шаг и причинить больше страданий из-за пропасти, лежащей между «почти» и «несомненно». О да, я возненавижу самого себя, но разве вам от этого будет легче?

— Неужели вы не видите, что я не выношу угроз?

— Вот почему я обязан предпринять все шаги, как если бы я ничего о вас не знал. Я сделаю вид, будто вас невозможно подкупить или запугать. Я ничего вам не предложу, кроме шанса спасти человеческие жизни. Расскажите все, что вам

известно об организации побега, и вы вернетесь к своему прежнему положению, не больше и не меньше. Вас переведут в другой лагерь, ничуть не более и не менее комфортабельный. Источник наших сведений останется в тайне.

— Отчего бы вам не поговорить со старшим по званию?

Синие васильки.

— Кто может положиться на старшего по званию?

— Почему вы не хотите мне верить?

— А какой разумный человек поверил бы вам, мистер Маунтджой?

— Какой тогда смысл требовать от меня правды?

Грустная, ироничная, здравомыслящая физиономия. Руки в стороны.

— Я обязан продолжать, мистер Маунтджой, даже если так оно и есть. Вы же понимаете? О, я согласен, мы оба в сточной канаве, по самое горло.

— Ну вот!

— Чего вы больше всего хотите? Вернуться домой? Это можно организовать… психотический припадок… месяц-другой в симпатичном изоляторе, несколько бумажек на подпись — и все: вы

дома, мистер Маунтджой. Убедительно прошу.

— Голова идет кругом…

Мои же ладони скользили по моему лицу. Текло что-то маслянистое.

— А если мысль о доме не кажется столь уж привлекательной… как насчет развлечься, пока суд да дело? Я пытаюсь облечь слова в как можно более деликатную форму, насколько это по силам человеку, не приученному с рождения оперировать всем богатством вашего языка… но вы разве порой не испытываете нехватку общения с тем или иным полом? Ресурсы Европы в вашем распоряжении; как я слышал, они… э-э…

Его голос зазвучал откуда-то издалека. Я распахнул глаза и увидел, что держусь за край столешницы; увидел, что там, где скользили мои пальцы, оставались мокрые следы. Один махонький укольчик, и все. В горле набухало нечто вроде плаксивой ярости.

— Что вы за идиот?! Неужели ж вы думаете, что я бы не сказал, если б знал?! Говорю ведь: не знаю я ничего — ничего!

Его лицо было белым, лоснящимся от испарины, полным сочувствия.

— Бедняга. Как все это гадко, да, Сэмми? Можно мне вас так называть? Конечно, ресурсы Европы

вас совершенно не интересуют. Простите меня… Деньги? Нет. Пожалуй, нет. Что ж. Я поставил вас на крыле храма и показал весь мир. И вы от него отказались.

— Я не отказывался. Неужели вы не понимаете, вы… вы… Да не знаю я ничего…

— Вы сказали следовать за вами[13]. А может, вы и впрямь ничего не знаете. Сэмми, вы герой или нет?

— Я не герой. Отпустите меня.

— Уж поверьте, я бы с радостью… Но если кто-то еще совершит побег, их расстреляют. Я не могу рисковать, ни в коей мере. Использовать все пути, Сэмми, все возможности.

— Меня сейчас стошнит.

Он умолк. Меня качнуло назад, словно я сидел в зубоврачебном кресле, чей металл и ткань никак не могли обрести равновесия на неровном полу. Фюрер в своей чудовищной мощи разъехался в стороны, затем сложился вновь, как на ладони гипнотизера.

---

[13] Примечания: 13

Доктор Гальде предпочел Луку, 4:8, а не Матфея, 4:10, причем это разночтение характерно для большинства европейских переводов Библии, не только для английского. В церковнославянском тексте Христос в обоих случаях говорит — буквально и дословно: «Иди за мною, сатана». В современном русском синодальном переводе ответ тоже одинаков, но звучит так: «Отойди от Меня, сатана».

— Отпустите меня. Неужели не понятно? Они мне не доверяли. Нобби и Ральф… может, они и подкинули монетку, но даже если нет, все равно не нашлось бы стимула включить меня в уравнение… сейчас-то я знаю, чего они от меня хотели, но все равно постоянно сомневались. «Ему верить нельзя. Он настучит. Странный тип, с вывертом… чего-то в середке не хватает…»

— Сэмми. Сэмми! Вы меня слышите? Сэмми, очнитесь!

Я возвратился из хаоса; меня беспощадно собрали по частям из тех не к ночи будь помянутых мест. Впервые я познакомился с паузой, в которой охотно остался бы навечно. Не смотреть, не знать и не предугадывать, не чувствовать, а лишь сознавать, что ты есть: вот лучшее состояние из всех, если не считать полнейшего забытья. Внутри себя я не стоял, не сидел и не лежал — просто висел в пустоте.

— Итак, Сэмми?

Васильки подергали за рукав моей памяти. Я открыл глаза, и он вновь оказался напротив. Я обратился к его пониманию из глубины наших нагих душ.

— Неужели вы не знаете никакой жалости?

— Такова карма двух наших народов, коим

суждено мучить друг друга.

Положив ладони на край столешницы, я старательно подбирал слова:

— Разве это вам не очевидно? Вы меня знаете. Будьте благоразумны. Вы и впрямь считаете, что я принадлежу к людям, которые способны хоть что-то утаить перед лицом угрозы?

Ответил он не сразу, и чем дольше тянулось молчание, тем яснее я осознавал неизбежное. Я даже отвел от него взгляд, раз уж сейчас не мог повлиять на события. Фюрер был на месте; обе просвечивающие картинки окончательно слились в одну. Гипсовый багет вокруг фотографии был казенного темно-желтого цвета и нуждался в замене. Один из гестаповцев стоял по команде «вольно», и, переведя на него взгляд, я увидел, как он рукой прикрыл зевок. Бесконечный спор на заморском наречии не позволял ему вернуться к серому кофе и липкой булке. Доктор Гальде подождал, пока мои глаза вновь остановились на его лице.

— Вы же знаете, Сэмми, что я обязан знать наверняка.

— Я же говорил: ничего не знаю!

— Подумайте.

— Не буду я думать. Не могу.

— Подумайте.

— Какой смысл? Ну прошу вас!

— Подумайте.

И нахлынуло: мое положение, идущая война, плен, солдаты, запертые в…

— Не могу…

…солдаты на нарах, гниющие, с просветленными лицами снующие в дверях церкви, непостижимые как пчелы, вьющиеся у травянистого склона…

— Да говорю же: не могу я!

…солдаты свихнувшиеся, грудью кидающиеся на проволоку, исступленно бегущие под колыбельную пулеметов…

— Говорю вам…

Солдаты. Люди.

Потому как я, конечно же, кое-что знал. Уже более года. Не знал лишь требуемого критерия отбора сведений. Хотя в любой момент мог бы заявить, что в нашей многосотенной массе имелось, пожалуй, человек двадцать пять, которые вполне могли решиться на побег. Да только эта информация не требовалась. То, что мы знаем, — отнюдь не то, что мы видим или познаем, а то, что мы осознаем. День за днем складывалась совокупность крошечных примет, и вот сейчас она

предстала предо мной цельной картиной. Я был экспертом. Кто еще жил в окружении этих лиц, с таким профессионализмом приглядываясь к ним наметанным глазом, вбирая знания о них через самые поры? Кто еще обладал этим недоуменным интересом к человеку, этой фотографической способностью схватывать, этой встревоженной верой в царей Египта?

— Говорю вам…

Я мог бы с легкостью ему заявить: дескать, не знаю, когда и где устраивает свои сходки эта организация или как она функционирует, — но изловите эту двадцатку своим бреднем, и не будет никаких побегов.

— Ну так, Сэмми? Что вы хотите сказать?

И он, конечно же, прав. Я был человеком незаурядным. Одновременно и больше и меньше, чем подавляющая масса. Эту войну я рассматривал как мерзкую и свирепую игру детей, которые, сделав один ошибочный выбор — или целую их серию, — сейчас беспомощно терзали друг друга, потому что злоупотребление свободой стоило им их собственной свободы. Все было относительным, и ничего — абсолютным. И кто в таком случае лучше всего знает, как правильнее поступить? Я, пристыженный величием человеческого

лица, или доктор Гальде за письменном столом хозяина, на троне судии, — Гальде-человек и вместе с тем сверхчеловек?

Он по-прежнему был на месте, хотя мне вновь пришлось сосредоточиться, чтобы отвести взгляд от карты Европы и сцепившихся армий. Глаза его уже не плясали, а смотрели пристально. Я понял, что он затаил дыхание, потому как с легким всхлипом перевел дух, чтобы произнести:

— Итак?

— Не знаю.

— Колитесь.

— Да сколько можно!

— Сэмми. Кто вы — личность исключительная или же привязанная к малозначащим правилам? Не демонстрируете ничего более похвального, кроме школьного кодекса чести, возбраняющего выдавать напроказничавших товарищей? Эта организация украдет конфеты, Сэмми, но их пожива отравлена…

— Все, мне надоело. Я требую, чтобы вы послали за старшим по званию…

На оба плеча легли руки, и Гальде вновь сделал свой умиротворяющий жест.

— А вот теперь я буду с вами откровенен. Даже дам кое-какие козыри. Мне не нравится делать

больно, я ненавижу свою работу и все, что с ней связано. Но какими правами обладаете вы? В целом на наших заключенных распространяются права, однако при необходимости их меняют и ломают. Вы слишком умны, чтобы этого не знать. Мы можем отправить вас из этой комнаты в другой лагерь. А по дороге вы вполне можете угодить под налет ваших же Королевских ВВС. Но прямо сейчас ваша смерть не выгодна. Нам нужна информация, Сэмми, не трупы. Вы видели дверь слева от вас, потому что вошли через нее. Справа есть еще одна. Нет, оборачиваться не надо. Выбирайте, Сэмми. Какая из этих дверей станет для вас выходом?

Конечно, я мог бы пуститься на самообман, мог бы возвести целый фасад из якобы известных мне сведений, но он обрушился бы при обстреле фактами… В глазах начало пощипывать.

— Я ничего не знаю!

— Видите ли, Сэмми, история никогда не сумеет распутать клубок обстоятельств между вами и мной. Кто из нас прав? Оба? Либо ни тот ни другой? Задача неразрешима, даже если бы кто-то и понял наши сомнения, скороспелые суждения, наше восприятие правды как бесконечного возвращения к отправной точке, кочующему

островку посреди хаоса…

Должно быть, я сорвался на крик, потому что по нёбу хлестнул мой же голос:

— Послушайте! Вы хотите правду. Ладно, вот вам правда. Я понятия не имею, что мне известно, а что нет!

Лепнина его лица проступала отчетливей из-за лоснящихся от испарины складок.

— Вы говорите правду, Сэмми, или я должен восхищаться вами как глупец и завистник? Да, Сэмми. Я восхищен, коль скоро смею вам не верить. Ваш выход дает фору моему.

— Вы ничего не можете мне сделать. Я — военнопленный!

Его физиономия сияла. Глаза — как пара голубых самоцветов. Блики на лбу сверкали все ярче, сливаясь вместе, превращаясь в звезду; она покатилась по длинной линии носа и шмякнулась на блокнот.

— Я сам себе омерзителен, Сэмми, и восхищен вами. Если потребуется, я вас убью.

Бывает, что сердце колотится так, что каждый удар напоминает стук палки о бетон. А есть и звук глухой, словно доносящийся из сырого тумана многопозволительной жизни заядлого курильщика, этакой путаницы в дыхании, сражающемся

с мокротой и вот этим центром — вот он, здесь, — словно мешки с мокрыми овощами швыряют на дощатый пол и сотрясают все здание, рискуя его обрушить. Был еще и зной, заливавший уши, так что подбородок тянулся вверх, а распахнутый рот глотал жесткую пустоту.

Проплыл Гальде.

— Идите!

Странное послушание охватило мои руки, вцепившиеся в края сиденья, помогающие подняться на ноги. Не хотелось видеть новую дверь, и поэтому я обернулся на Гальде, но он отказывался встречаться взглядом и, подобно мне, глотал пустоту. Так что в этом жутком трансе послушания я наконец развернулся к обычной деревянной двери, а за ней оказался коридор из бетона с дорожкой из кокосовой мочалки посредине. Круговерть сознания все пыталась достучаться изнутри: «Вот она! Та самая минута!», — но разум отказывался это принимать. И вот почему мои ступни послушно вставали одна перед другой, тело не подавало признаков мятежа, и лишь изумление да обреченность царили в голове. Да еще дрожащая, трепещущая плоть чувствовала, что творится нечто эпохальное. Глаза продолжали жить своей жизнью, драгоценными трофеями

представили мне пятна на полу — и одно из них походило на человеческий мозг. А вот еще одно: длинный след на выскобленном бетоне, напоминавший трещину в потолке спальни — сырье, из которого воображение слепило столько лиц.

Галстук. Ремень. Шнурки.

Я стоял распояской, лишенный и ремня, и подтяжек, с единственной осознанной мыслью, что брюки приходится поддерживать обеими руками. Сзади на глаза набросили мягкую непрозрачную материю, и это показалось темой для протеста, потому что как в отсутствие света человек может видеть и подготовить себя к приближающимся шагам последнего ужаса? Ведь на него могут напасть внезапно; он не в состоянии спрогнозировать будущее или понять, когда надо отдать свой драгоценный кусочек информации — если, конечно, этот кусочек у него имеется, и к тому же впрямь драгоценный…

Но я продолжал идти, подталкиваемый сзади без особой грубости. Открылась очередная дверь, потому что я услышал скрип ручки. Чужие ладони пихнули в спину и нажали на плечи. Я упал на колени со склоненной головой, инстинктивно выбросив руки. Колени упирались в холодный бетон, позади лязгнула дверь. Повернулся ключ,

и шаги удалились.

8

Откуда во мне взялся такой страх темноты?

Некогда я обладал зрением, которое было частью невинности. Давным-давно, на самом краю памяти — или еще ранее, потому что этот эпизод находится за границей времен, — я увидел маленькую тварь дюйма четыре высотой, бумажно-белую, менявшую форму и петушком вышагивавшую по козырьку распахнутого окна. Позднее, когда я видел ее первым, время еще имелось, но мне никто ничего не сказал, никто не знал, что` мы способны увидеть и с какой легкостью можем утратить эту способность.

Вмешался церковный сторож и одной затрещиной распахнул меня. Впервые я очутился в открытом море, где мог утонуть, был беззащитен против нападения с любой стороны. На мне были штаны и майка, серая сорочка с галстуком, гольфы до колен, на резинках, с подвернутой горловиной. Я носил полуботинки, курточку, а затем добавилось ярко-синее кепи. Отец Штокчем одел меня с головы до пят и швырнул в новую жизнь. Он распорядился, чтобы за мной приглядывала его экономка, и этот приказ был исполнен. Меня

забрали из палаты, отвели в громадный пасторский дом, где миссис Паско тут же заставила принять ванну, словно недели, проведенные в больнице, не смыли с меня Гнилой переулок. Но хотя я и привык к ванне за время лечения, у пастора все было иначе. Миссис Паско сопроводила меня по коридору, затем мы поднялись на пару ступенек. Внутри ванной комнаты она научила меня новым вещам. Там был такой спичечный коробок на бечевке, привязанный к… к чему? За что я принял это сооружение? За дядьку в медных латах? А пожалуй, такое сочетание вышло бы вполне уместным, коль скоро высота ванной комнаты превосходила ее длину; там имелось узкое застекленное оконце, смотревшее в никуда, и еще одинокая голая лампочка. Но водогрейный котел, сей медный идол, подавлял все кругом, даже огромную ванну на четырех разлапистых тигровых ножках; он господствовал и надо мной, тупо уставившись поверх моей головы двумя темными кавернами с устрашающими трубами. Миссис Паско пустила воду, чиркнула спичкой, и идол взревел, запылал. Уже позднее, читая о великане Талосе, я представлял его голос именно таким, и пламя он изрыгал точно такое же, и сделан был из такой же меди. Но в тот первый

раз я настолько перепугался, что миссис Паско оставалась рядом, пока наполнялась ванна, а электрическая лампочка приобрела себе нимб из пара, который перевернутым горбом выпучивался с потолка, пока желтые стены потели от жары. Когда воды набралось достаточно — хотя и меньше, чем мне бы хотелось: ведь в утробе мы погружены с головой, — экономка выключила газ и воду, показала мне дверной засов и покинула меня. Я заперся, сложил свои новые вещи на стуле и поспешил в ванну, одним глазом косясь на Талоса. Присев на корточки в воду, я коченел от холода и изучал длинный желтый потек на белом кафеле в такой дали от себя.

Загремела, затряслась дверь. Отец Штокчем подал негромкий голос с той стороны:

— Сэм. Сэм.

Ничего я не ответил перед лицом идола, в том незащищенном месте.

— Сэм! Ты зачем заперся?

Не успел я отозваться, как услышал его удаляющиеся по коридору шаги.

— Миссис Паско!

Она что-то сказала, и где-то с минуту-другую доносилось их бормотание.

— Но ребенку может сделаться дурно!

Ответа я не расслышал, зато отец Штокчем отрывисто воскликнул:

— Никогда — никогда! — он не должен запирать дверь ванной!

Я сидел на корточках, по бедра в горячей воде, и дрожал от холода, покамест спор — если он имел место — затихал на лестнице. Где-то хлопнула дверь. После той помывки, когда я оделся и прокрался вниз, к своему изумлению я обнаружил, что миссис Паско преспокойно сидит в кухне и штопает пасторские носки. Мы с ней поужинали, и она прогнала меня спать. В моем распоряжении было два источника света. Один исходил от лампочки в середине потолка, а второй прятался под розовым абажуром на прикроватном столике. Миссис Паско, однако, уложив меня в постель, перед уходом выкрутила лампочку из ночника.

— Она тебе не нужна, Сэм. Маленькие мальчики ложатся в кровать, чтобы спать.

Постояв надо мной с мгновение, она шагнула к выходу.

— Спокойной ночи, Сэм.

Погасила верхний свет и закрыла дверь.

То было мое первое знакомство с неопределенно-расплывчатым, иррациональным страхом, который нападает на некоторых детей. Поначалу

они не в состоянии отыскать его причину, а когда наконец преуспевают в этом, он становится еще более невыносимым. Трепеща, я съежился в той кровати, сперва принял позу нерожденного плода, хотя затем чуток раскрылся, потому как должен был дышать. Я никогда не испытывал подобного одиночества в Гнилом переулке: ведь латунная ручка на задней двери паба всегда стояла на своем месте; а в палате нам, бесенятам, имя было легион… но вот здесь, в сем совершенно непостижимом окружении, среди странных, властных людей — в эту секунду церковные часы отбили звук, сотрясший до основания весь пасторский дом, — так вот, здесь я впервые окончательно и безнадежно оказался один на один с темнотой и вихрем невежества. Страх проявлялся судорогами, каждая из которых с ходу могла бы уложить меня в обморок, кабы я знал о таком убежище; а когда я отважился глотнуть воздуха, скомканные простыни позволили мне бросить взгляд на мерцающее окно, и оттуда заглянула грозная голова церковной башни. Во мне, однако, оставалось, должно быть, что-то от принца, которого эксплуатировал Филип, ибо в тот же миг и не сходя с места я решил, что раздобуду себе свет любой ценой. И я вылез из кровати в белое пламя

опасности, которое горело и не давало света. Я поставил стул под одинокую лампочку в середине комнаты, потому что запланировал переместить эту лампочку в ночник возле кровати, а утром вернуть ее на место. Но когда ты незащищен в постели, то беспомощен и вне ее и до мозга костей служишь забавой для той темной штуки, что поджидает тебя, когда ты стоишь на стуле посреди комнаты. А я как раз стоял на стуле посреди комнаты, и у меня дергалась спина. Я тянулся вверх, уже цеплялся за лампочку, когда обе мои ладони плеснули вишнево-красным, и между ними в меня полыхнула молния. Я грохнулся со стула, метнулся в кровать стремительным броском в трехстопном дактилическом ритме — трах! перескок! — и там свернулся в клубок, подтянув колени к подбородку, а простыню до ушей.

В дверном проеме стоял отец Штокчем с рукой на выключателе. От его колен и глаз на меня исходил свет, а раскачивающаяся лампочка небольшими кругами месила все тени в комнате. Некоторое время мы разглядывали друг друга сквозь это мельтешение. Затем он отвел взор и принялся что-то искать глазами в воздухе над моей кроватью.

— Ты звал, Сэм?

Я молча помотал головой. Он отошел от двери, следя уже за мной и удерживая отведенную назад правую руку на выключателе, после чего отпустил его отчетливо осознанным движением подобно пловцу, который отрывает ноги от песка, понимая, что с этого момента дна уже не достать. Он углубился в комнату, где находился я. Сначала прошел к стулу и осмотрел мои облачения, ощупав материю пальцами, а затем взглянул вниз и мимо меня.

— Сэм, нельзя играть со светом. Если будешь трогать лампочку, мне придется ее убрать.

И вновь я ничего не сказал. Он подошел к постели и очень медленно уселся бочком возле изножья. Сидеть он мог в любом месте, не касаясь меня. Так далеко я не простирался. Пастырь принялся выбивать дробь по стеганому покрывалу, внимательно следя за собственными пальцами, словно они были заняты очень сложным и ответственным делом. Дробь выходила неторопливой. Наконец он прекратил барабанить. Его пальцы настолько меня захватили, что, взглянув вверх, я вздрогнул, увидев, что он искоса следит за мной с приоткрытым ртом. Стоило мне посмотреть вверх, как он тут же опустил глаза и вновь начал барабанить — гораздо быстрее.

Он кашлянул и заговорил:

— Ты помолился на ночь?

Не успел я ответить, как он поспешно продолжил. В своей торопливой речи он объяснил, до какой степени важно молиться перед сном, чтобы оградить себя от гадких мыслей, которые одолевают всех людей, какими бы добрыми и старательными они ни были, а посему надо молиться: по утрам, днем и на ночь, чтобы можно было отложить эти мысли и спокойно уснуть.

Знаю ли я, как полагается молиться? Нет? Что ж, он меня научит — но не сегодня. Сегодня он сам помолится за нас обоих. Мне не нужно вылезать из постели. Он молился не сходя с места, переплетя костлявые пальцы, качая руками и головой вверх-вниз, так что черные кляксы его глазниц меняли форму. Молился он долго — так мне показалось, — порой изрекая обрывки предложений на английском, а порой на каком-то ином языке. Затем он остановился и опустил руки по бокам, уложив ладони на стежки покрывала. Обе его кляксы, еще подвижные из-за лампочки, продолжавшей описывать все более тугую спираль, следили за мной непроницаемым взглядом. Над каждой нависали путаные космы седых и черных волос, как если бы юность

и старость противоборствовали в этом теле, не ведая надежды на компромисс; низковатый лоб и переносица острого носа отливали глянцем. А затем, пока я наблюдал за пастором, не опуская натянутую до рта простыню, вся нижняя часть его лица сократилась, расширилась и приподнялась. Под кляксами появилась более светлая кожа. Отец Штокчем улыбался мне, двигая натянутую плоть своего лица, перемещая мускулы щек, демонстрируя складки, морщины, бугры и зубы. Я слышал его дыхание, быстрое и неглубокое — и в какой-то момент он вскинул голову странным подергиванием шеи, точь-в-точь как в самый первый вечер, словно его пробил озноб от повеявшего могильного холода. Наконец он придвинулся дюймов на шесть ближе. Сейчас в его кляксах я мог видеть глаза. Они внимательно в меня всматривались.

— Сэм, я полагаю, твоя матушка целовала тебя на ночь?

Я тупо помотал головой. Вновь воцарились длительное молчание и неподвижность, лишь по полу умирающими кругами бродили тени, и не было никакого звука, кроме дыхания.

Он вдруг судорожно соскочил с кровати. Размашистой походкой приблизился к окну, затем

к двери. Обернулся, удерживая руку на выключателе, и мне показалось, что он раза в два превосходит обычного человека по росту.

— Сэм, если я еще раз подловлю тебя за подачей сигналов, то лишу и этого света.

Он щелкнул выключателем и хлопнул за собой дверью. Я вновь нырнул под простыню, отгораживаясь от церковной башни, заглядывавшей через окно своими черными, утаивающими пятнами. Сейчас к страху перед темнотой добавилась и тайна.

И все же, начни я искать точку изменения, здесь я ее не обнаружу; я по-прежнему был ребенком из Гнилого переулка, и если и был лишен свободы, то оттого, что ее отняли физически, а не ментально. Ибо отец Штокчем более не повторял свою попытку сближения, если ее можно так назвать. Вместо этого он обволок меня загадочными намеками на сигналы, якобы подаваемые его безымянным врагам. Он страдал прогрессирующей манией преследования, и мир видел его все реже и реже. Он следил за мной издали: не общаюсь ли я с этими злодеями; а может статься, он окутал меня фантазиями потому, что так можно было скрыть истинные мотивы от самого себя. На некоем малопостижимом уровне отец

Штокчем притворялся умалишенным, чтобы избежать ответственности за собственные пугающие желания и позывы, а посему в каком-то смысле был человеком полностью здравым… хотя можно ли назвать человека нормальным, если он симулирует безумие? Такова неразрешимая проблема всеобщей относительности, коль скоро отец Штокчем и Сэмюэль Маунтджой являются очередным примером бесконечных регрессионных зависимостей. И вот почему ни пастор, ни я не могли проанализировать его мотивы, когда он остановил меня на щебеночной дорожке возле бокового входа в дом.

— Сэм, если посреди ночи кто-нибудь появится у тебя в окне и примется что-то такое про меня рассказывать, немедленно беги ко мне.

— Сэр.

За этим последовал долгий-предолгий шарящий взгляд по саду, затем по фасаду церкви и вверх, над моей головой — напоминая, как ни удивительно, движения гусеницы из «Алисы», — после чего отец Штокчем вскинул сложенные в лодочку ладони к левому плечу и добавил, глядя мимо моей левой щеки:

— Я бы мог такого тебе порассказать!.. Они готовы на все, Сэм, на все…

Ага, подумал я, вот и пример долговязого клира, упомянутого церковным сторожем; прямо передо мной, на щебенке, средь белого дня стоял один из их представителей: колыхающийся, взвинчивающий себя, раскидывающий руки в стороны, тяжело дышащий и улыбчивый.

— Что ж, вернемся к работе, Сэм? Пора обратно в кабинет…

Он двинулся прочь и тут же остановился, оглядываясь на дверь.

— Но ты не забудешь, Сэм? Чуть что не так… что угодно среди ночи…

Он ушел и оставил меня отнюдь не во власти страха. Пытливая интуиция детства ощутила его фальшь, но мне было все равно. Он ничего не добавил к ужасу мрака, ужасу беспредметному и бессмысленному, который приходится выносить всю ночь напролет, ночь за ночью. Помнится, он еще разок-другой попытался прикрыть тот первый страстный порыв в мою сторону, намекая на некие тайны, так что сейчас я могу сложить их в единую картину.

Его мания — или притворство, не важно — по сути дела сводилась к тому, что кто-то якобы хотел опорочить его репутацию. Эти люди, как мне думается, обвиняли его, старались публично

навесить все те деяния, которые он совершал в своих фантазиях. Имелась сложная система сигнальных огней, благодаря которым каждый из них мог за ним следить и знать, чем он занимается. За всем этим стояли русские большевики, которых — с легкой руки «Панча» — в ту пору еще называли «больши». В свою манию отец Штокчем вкладывал все особенности существования, каким его видел, — точно так же, как это делала Иви. Единственное отличие: Иви все мне рассказывала, в то время как отец Штокчем делал лишь намеки. Я ему не верил, потому что в свое время знавал Иви. Однажды — не помню, когда и где — до меня дошло, что дядя Иви не живет внутри рыцарских лат, потому что герцогу такое поведение не к лицу. Я знал, что Иви пичкает меня выдумками (пусть и детское, но куда более точное описание половины наших разговоров), так что теперь я понимал, что выдумками пробавляется и отец Штокчем.

Я знал, что не будут мигать никакие огни, что никто не станет обмениваться сообщениями или подскакивать ко мне, нашептывая обвинения против моего опекуна. Я знал, что в этой игре существуют определенные правила. В основе, разумеется, лежали мамины выдумки по поводу

моего происхождения и ее «кавалера». По мере того как я переходил от одного человека к другому, выдумка меняла свой характер, по существу оставаясь одной и той же с точки зрения ее связи с рассказчиком. Каждый пытался смягчить жестокие кулачные удары повседневного существования, пока они не превращались в ласковое поглаживание. И он, и я на различных кризисных этапах нашей жизни разыгрывали безумие или делали вид, что вот-вот свихнемся. Он по крайней мере кончил тем, что сам себя в этом убедил.

Я бы лицемерил, прикидываясь, что не уверен, какие именно пугающие желания одолевали моего опекуна. Все же здесь требуется большая осторожность, дабы не создалось ложного впечатления, ибо он ни разу не подошел ко мне ближе, чем я рассказал, да и к другим людям, насколько я знаю, тоже — хотя и балансировал на самом краю. А его лоснящиеся колени и путаные выдумки насчет преследования объяснялись свирепой битвой, из года в год бушевавшей в его кабинете, откуда до меня порой доносились пасторские стенания. Ничего смехотворного в этом не было, ни в то время, ни в моей памяти. Он не был способен на прямолинейный подход к ребенку из-за вросших и разлагающихся вожделений,

отравлявших его существо. Перед ним, должно быть, разворачивались картины просветленных и безупречных академий, где юность и жизненный опыт могли прогуливаться рука об руку и предаваться любви. Но на лоне сей лишенной виноградных лоз и оливковых кущ природы эта идея оборачивалась лишь утаиваемой скверной. Пожалуй, он мог бы расцеловать меня и радушно поприветствовать, если б это пошло ему же на пользу. Ибо что в этом порочного? Отчего бы ему не испытывать желания гладить, ласкать и лобызать зачаровывающую теплоту и округлость детства, с которой не сравнится и шелковистость пергамента? Зачем пребывать ему в иссохшей и линяющей морщинистой коже, в этом теле, что с каждым днем теряло привлекательность и подвижность? Отчего бы ему не мучиться жаждой перед фонтаном, который столь сверхъестественным образом омолаживался из поколения в поколение? Ну а если он и питал более варварские устремления… что ж, они были достаточно общим местом в этом мире и навредили меньше, нежели догмы или политические абсолюты. В таком случае ныне я мог бы ободриться, заявив: «В чем-то я был полезен такому человеку, дал ему утешение».

Чем больше я размышлял над его поступком — моим усыновлением то бишь, — тем отчетливей видел, так сказать, полуторное ему объяснение. Во-первых, он, наверное, сказал себе (и сам в это поверил), что с моим появлением надо смириться, что необходимо искупить постыдный прием, оказанный мне подле алтаря, что это лучше, чем мельничный жернов, если только ты не соблазнил одного из малых сих и так далее[14]. Это-то истолкование я и называю половинчатым. Зато цельное объяснение выглядит более гадким, если ты имеешь общепринятый взгляд на вещи… ну а если нет, то здесь мы имеем дело с героизмом. Я напоминал полную бутылку джина, которую кающийся сапожник выставил на свой верстак, чтобы дьявол всегда был на виду. Пастор, надо полагать, считал, что надлежащее познание ребенка — если угодно, обретение сына — позволит изгнать его личного демона, но он, увы, не владел искусством такого познания. Мы оставались чужаками друг для друга, а его чудачества стали, пожалуй, еще более выпуклыми. Размашистым шагом он бродил по улицам, тряся головой, под-

[14] Примечания: 14

См.: «А кто соблазнит одного из малых сих… тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской» (Матф. 18:6).

гибая колени, размахивая руками, а порой вдруг разражался стоном, идущим из самого ядра сей ужасной битвы:

— Господи! За что мне такое?

Иногда, уже начав очередное стенание, он распознавал знакомое лицо и, понизив голос, превращал его в инструмент светской вежливости:

— Господи… как вы поживаете?

И содрогаясь удалялся, бормоча себе под нос. По мере старения он забирал все выше и выше в попытке отрешиться от самого себя и, как мне кажется, наконец очутился на самом верху, где и обнаружил, что упустил всю сладость жизни, ничего не обретя взамен: всеми покинутый, дряхлый, выжатый, безразличный старик. Не могу сказать, что мы причинили друг другу много боли, но и добра понаделали мало. Он меня кормил, одевал, устроил в домашний класс, где все уроки вела одна и та же учительница, а затем отправил и в местную классическую школу. Это он вполне мог себе позволить, и я не впадаю в заблуждение, принимая его подписи на чеках за проявление благотворительности. По сути дела, он поднял меня из кипучего убожества и блаженства Гнилого переулка до роскоши, когда на одного человека

выпадает целая комната, а то и две.

Но где здесь место страху перед темнотой? Пасторская обитель пугала больше, чем он сам, была полна неожиданных уровней, чуланов и подсобок, с просторнейшими комнатами на одном этаже, в то время как два других были заполнены тенями, проемами и потайными уголками. Религиозные полотна повсюду, причем мне больше нравились картины попошлее, нежели те работы, что носили в себе эстетические достоинства. Моя любимая мадонна была до ужаса слащавой, прямо-таки обдавала меня ушатами могущества и любви. Ее краски были яркими, как у товаров, что навалены в универмаге «Вулворт», затмевая другую даму, которая неправдоподобно парит с младенцем в Рафаэлевом воздухе. Сам по себе дом был холодным — и не только из-за отсутствия атмосферы любви. По идее в нем было устроено центральное отопление посредством некоего агрегата из газовых труб в подвале, словно речь шла о машинном отделении на судне. По словам миссис Паско, однако, во включенном виде этот пресловутый агрегат «жрал деньги»; весьма красноречивое выражение, которое в сочетании с сумрачным домом и пасторскими чудачествами давало мне много пищи для размышлений. Как

бы то ни было — жрало ли оборудование деньги или нет, — что несколько клубов тепловатого воздуха могли противопоставить всем этим извилистым лестницам и коридорам, не доходящим до пола дверям, слуховым окнам и чердакам, где тепло изливалось снизу вверх сквозь покоробленные доски? Прежде чем отправиться наверх, в кровать, я сидел в огромной гостиной, грея руки у моей мадонны и слушая неторопливое постукивание картины о бурую панельную обшивку, хотя все двери и окна были закрыты. В этом доме мне доставалось мало тепла, которое можно было бы взять с собой в постель. А постель означала темноту, а темнота — беспредметный и иррациональный ужас. Ну вот, я вновь побывал на этих страницах, чтобы понять, отчего меня страшит темнота, но ответа так и не нахожу. Некогда я не боялся темноты, а потом стал бояться.

9

Когда шаги затихли, я не знал, как реагировать или что чувствовать. Мои представления о пытках были расплывчатыми и слишком общими. Где-то на задворках сознания маячила скамья, деревянная «кобыла» с тисками и желобчатой поверхностью, однако за ней стоял Ник Шейлс и демонстрировал относительность впечатлений органов чувств. Поэтому я призадумался, с какой стороны моего замешательства была эта скамья и где именно пребывали мои мучители. Все, что я испытывал или предполагал, было обусловлено близостью крайней опасности. Я не знал, каких еще провозвестников пыток мне ждать. Не знал, услышу ли я от них хоть слово или же им поручалось заниматься только истязанием истерзанной плоти. Я стоял на коленях в густом мраке, придерживая брюки обеими руками, дрожа и ловя чужое дыхание — которому надо было налетать порывистыми вихрями, чтобы прорваться сквозь разнузданный дуэт моих легких и сердца. Кроме того, сама по себе композиция жизненного опыта носила дезорганизующий и непредсказуемый характер. От кого мог я услышать, к примеру,

что темнота перед моими зашоренными глазами будет напоминать стену и что мне придется постоянно задирать подбородок, чтобы заглянуть поверх нее? И брюки свои я придерживал не ради приличия, а в качестве защиты. Мой организм — пусть и обсыпанный мурашками — опасался не за современный интеллект или солидное, общественно значимое лицо. Его интересовало только одно: защитить мои гениталии, наши гениталии, всю расу. Наконец, объятый мятежом дыхания и пульса, по-прежнему удерживая брюки одной рукой, я вскинул вторую и сорвал мягкую повязку.

И ничего не случилось. Темнота осталась со мной. Она не только таилась в складках материи, но и окутывала меня, липла к глазным яблокам. Я вновь приподнял подбородок, чтобы заглянуть за стену, которая росла вместе со мной. В голове плескалась мешанина, своего рода питательная жижа из всех тюремных историй — потайные подземные темницы с люками, двигающиеся стены, праздность. И тут у меня вздыбились волосы: я вдруг вспомнил про крыс.

Если потребуется, я вас убью.

— Кто здесь?

Голос прилипал ко рту, как тьма — к глазам. Правой рукой я загреб воздух, опустил ее вниз

и ощутил то ли гладкий камень, то ли бетон. Внезапно меня охватил панический страх за спину, я поспешно, на четвереньках развернулся кругом, затем проделал это еще раз. Сейчас я уже не помнил, где дверь, и разразился проклятиями, испытав первый укол изобретательности Гальде. Он хотел, чтобы я самолично полз к пыткам и обману; он замыслил поиграть со мной — не ради ужесточения мук, а лишь для окончательной демонстрации того, что в его силах вызвать во мне любую потребную реакцию… Я позволил брюкам съехать вниз, пока сам опасливо полз назад на четвереньках. От напряжения и скованности позы заныла шея, вспышки сверхъестественного света застили поле зрения. Я в ярости напомнил себе, что смотреть и так не на что, и, опустив голову к руке, расслабил шею, чтобы убрать и боль, и эти вспышки. Пальцы отыскали цокольную часть стены, и я тут же усомнился, что это и впрямь стена; был готов согласиться с этой концепцией, но в то же время считал себя слишком умным, чтобы угодить в силок допущений, а посему принялся выщупывать препятствие вверх, дюйм за дюймом. Но, как выяснилось, Гальде оказался умнее, неминуемо умнее, коль скоро я и приподнимался, и приседал на корточках, и вставал на

ноги, а затем и вовсе вытягивался на цыпочках, взметнув одну руку над собой — но неподатливость стены упорно сопровождала меня, глумясь над отказом считать себя пойманным; она уходила выше моих пределов досягаемости, туда, где мог иметься потолок — а мог и не иметься, что зависит от корней невычисляемого уравнения из догадок и вероятностей, из меня и Гальде. Я присел на корточки, прильнул к земле и, шаря перед собой, пополз вправо, где нашел угол, а затем и что-то деревянное. Все это время я старался удержать в голове новую схему, но так, чтобы она не вытеснила прежнюю, гипотетическую и инстинктивную, со скамьей и судией. И все же новая схема оказалась настолько рудиментарной, что в ней нашлось по крайней мере место для моей спины. Здесь имелся угол, образованный бетонной стеной и деревом дверной створки. Я до того обрадовался, что хоть что-то оберегает меня со спины, что позабыл про брюки и съежился, свернулся калачиком, силясь втиснуть хребет в прямой угол. Поджал колени к подбородку и крест-накрест заслонил лицо руками. Так я был защищен. Нападение — не важно откуда — застанет меня за хрупким бастионом плоти.

Ничего не видящие глаза вскоре устают от

пустоты. Изобретают свои собственные формы, плывущие под веками. Но сомкнутые вежды незащищены. И что же делать? Они распахнулись помимо моей воли, и вновь тьма легла на студенистые комки. Пересохли разверстые уста.

Ища себе компанию, я принялся ощупывать лицо. Укололся щетиной в местах, где следовало бы пройтись бритвой. Почувствовал две складки вдоль носа, скулы под кожей и мясом.

Я забормотал:

— Сделай что-нибудь. Сиди сиднем или шевелись. Будь непредсказуем. Проползи вдоль стены… или ты как раз этого хочешь? Хочешь, чтобы я свалился на колья? Тогда не двигайся. Не буду двигаться, останусь в обороне.

Подтягиваясь и отталкиваясь коленями, покачиваясь как старатель, промывающий золотоносный шлих, я принялся выкарабкиваться из угла вправо. Я вообразил себе уходящий вдаль коридор, и эта картинка обладала определенностью, а посему успокаивала — но тут мне пришло в голову, что в дальнем конце лежит нечто извращенное, готовое впиться в визжащее тело, так что, отдалившись едва ли на ярд от угла, я затосковал по его защите и суетливым насекомым метнулся обратно.

— Не двигайся — совсем.

Я начал заново: опять вправо, вдоль стены, ярд, пять футов, раз за разом подтягивая тело — и тут холодная стена ударила меня в правое плечо и лоб, выбив круговерть белых искр. Я пополз назад, уже зная, что возвращаюсь к прямому углу подле деревянной двери. На умозрительной схеме формировался поперечный бетонный коридор с пятном, напоминающим физиономию.

— Так.

На получетвереньках и по-пластунски. Брюки съехали к лодыжкам, и я позволил себе обрести достаточную независимость от стены, чтобы подтянуть их на место. А затем — уже на коленях, а не на получетвереньках — бочком двинулся вдоль этой же стены, после чего пополз вдоль примыкающей.

Опять стена.

В голове взметнулся вихрь: да это ж лабиринт, в котором я без путеводной нити и с вечно сползающими штанами обречен на вечное пресмыкание! Впрочем, штаны умеют падать только к ногам. Я попытался в уме подсчитать, сколько надобно стен, чтобы раздеть меня догола. Я лежал в моем прямом углу с закрытыми глазами, выслушивая разнообразные высказывания, взятые из беседы

с Гальде, и наблюдая за амебовидными формами, плывущими в моей крови.

— Спекся, — хрипло выдавил я.

Я? Я? Слишком много этих «я», но что еще имеется в этом мутном, непроницаемом космосе? Что еще? Деревянная дверь и стены? Одна стена, две, три — сколько еще? Я вообразил себе стену причудливой формы с проемом, ведущим в коридор. В каменный мешок со множеством закоулков и «кобылой»? А кто может поручиться, что пол здесь ровный? Что, если вот этот бетон подо мною покатый? Поначалу с небольшим уклоном, но затем превращается в гладкий раструб наподобие ловушки муравьиного льва — но не из детской энциклопедии, а со стальными челюстями, где зубья как у бороны? Я вполз в угол и сложился перочинным ножиком, прикрывая собственное мясо над недержащимися штанами. Не на публику. Сольная партия; гляньте-ка, без глаз могу. Не на публику: некому наблюдать, как угроза мрака превращает мужчину в студень.

Стены.

Эта стена, и та, и вон та, и деревянная дверь…

А потом я сообразил что к чему, и это еще надо было подтвердить, раз уж я не имел права упустить это понимание, пока лично не вложу

кончик перста в доказательство. Я проворно пополз на коленках вдоль стен, упираясь в бетон руками, выщупывая его, — и вот так, по четырем стеночкам описал круг, вернувшись к прежней деревянной двери, назад к прежнему углу.

Я вскарабкался на ноги, штаны съехали, руки распластались по дереву.

— Выпустите! Выпустите меня!

Но затем пронзила мысль о нацистах за дверью, нахлынуло чувство, что поджидают жуткие ступени, множество ступеней к чему-то окончательно безысходному, несущему нечто более страшное, куда более страшное, нежели неразделенный мрак. Тут же оценив последствия, я придушил свой крик, пока он не привлек их внимание, и вместо этого прошептал, уткнувшись в дерево:

— Гады фашистские!

Но и эта дерзость внушала страх. Есть же микрофоны, которые ловят шепот с расстояния в полмили. Истирая голые колени о бетон, путаясь в сложившихся гармошкой штанах, я уперся лицом в дверь. Ощущение разгрома немедленно перешло в физическую плоскость, а посему любое движение требовало слишком больших усилий. Шевельнуть хотя бы мускулом — значит заняться

непосильной для человека задачей. Единственно возможный образ жизни: лежать клубком, пусть каждое мышечное волоконце остается как есть.

Не коридор. Камера. Стало быть, камера, с бетонными стенами и полом, с деревянной дверью. Пожалуй, страшнее всего была «деревянистость» этой двери, ощущение того, что для реализации их власти вовсе не требовалась сталь; чтобы держать меня здесь, хватало лишь волевого усилия Гальде. Как знать, может, тут и замо`к — фикция, а дверь готова распахнуться, стоит только пихнуть… но что толку? Старого узника дразнили, дурачили этой уловкой… человека, потерявшего двадцать лет жизни в ту бесхитростную эпоху, когда открытая дверь была синонимом выхода. Христианин и Верный, толкнувшие дверь[15], стали беглецами, как только нашли выход из своего положения. А вот нацисты подставили зеркало моей духовной дилемме, согласно которой проблема заключается вовсе не в отпирании двери, а в силе воли, потребной для переступания через порог, ибо снаружи имелся лишь Гальде, — не благородное падение с зубчатой башни, но заточение в пыли за колючей проволокой: тюрьма

---

[15] Примечания: 15
См.: *Беньян Д.* Путешествие пилигрима.

внутри тюрьмы. И вот это-то — отчетливо видимый мною, убедительно продемонстрированный силлогизм, — этот взгляд на жизнь гнилой сыпью изъел мою волю, волю человека, и не знал предела своему распространению. Словом, обнаружив, что очутился в каземате, я лежал на бетоне и тупо созерцал панораму моего сокрушительного разгрома.

А затем передо мной во весь рост встала арифметика намерений Гальде. Я принимал за финал то, что было лишь первой ступенью. Для надлежащего изображения его просвещенности и гениальности подошел бы целый лестничный пролет, ибо впереди имелось еще множество ступенек. На какой из них человек наконец расстанется со своей крохой информации? Если она у него есть?

Потому что — и тут мышцы мои исполнились силой нервной судороги — откуда человек может знать, что ему хоть что-то известно? Если ему не говорили, где спрятана рация, он все равно мог проложить обратный маршрут новостей сквозь месяцы, пока все они не начнут указывать на одну и ту же троицу, хотя кроме этих умозрительных маршрутов у него ничего и не было… так вот, этот человек что-нибудь знал? Насколько верна

догадка? И какой толк от эксперта?

Я принялся нашептывать бетонному полу, словно Мидас в тростниках[16]:

— В одном из бараков есть два человека… номера не помню, а имен не знаю… могу показать их на построении… но что из того? Они будут все отрицать, да и вообще, может статься, невиновны. Если они такие же, как я, то ничего и не знают, но если я прав и им известно, где держат рацию, как вы думаете: добела раскаленные крючья вырвут из них это место? Ведь у них будет что защищать, некая простенькая правда, некая определенность, ради которой идут на смерть. Они могут сказать «нет» ровно постольку, поскольку могут сказать и «да». Но что могу сказать я, не имеющий знания, определенности, воли? Да я скорее покажу вам на людей, подобных мне, не сто`ящих внимания, на серых, злополучных, беспомощных, по которым катит эпоха, несущая для них лишь обесценивание и пыль…

Но не было ответа. Ничто общалось с ничем.

Насколько велика камера? Я зашевелился, ломая гранит моей же неподвижности, осторожно вытянулся вдоль моей личной стены, но

---

[16] Примечания: 16

Строго говоря, о том, что у Мидаса ослиные уши, шептал его брадобрей.

не успели ноги полностью выпрямиться, как ступни уперлись в бетон другой стены, а затем, ползком развернувшись, где-то градусов, думаю, на девяносто, пока тело не оказалось лежащим вдоль двери, я опять-таки нашел стену. Ага, камера, оказывается, для меня слишком мала: не вытянешься.

«А чего ты ждал? Меблированную комнату?»

Разумеется, я мог бы улечься наискосок, и тогда мои ступни оказались бы в необследованном дальнем углу, а голова оставалась бы в углу знакомом. Но кто может заснуть, когда из всех точек контакта есть лишь одноуровневый пол? Что за сновидения и призраки явятся незащищенному со спины, лишенному кокона постельного белья человеку? И если на то пошло, кто осмелится вытянуть ноги поперек открытого пространства узилища, через его центр, не заботясь о том, куда могут угодить ступни? Гальде — хитрая бестия, знает свое ремесло. Да они все хитрецы; по части изобретательности ума их и не сравнить с гниющим заключенным, подставленным под капель часов из клепсидры жизни. Центр был тайной… или даже ее ключом. Конечно, они спецы в психологии страданий, отмеряют каждому наиболее пользительное и потребное в его случае

снадобье.

Ну и конечно, они могут быть даже умнее, чем тебе кажется. Отчего бы им не сидеть развалясь в креслах, поджидая, пока ты сам шагнешь на следующую ступень? Чего ради им полагаться на случай, предоставляя тебе шанс ненароком наткнуться на то, что таится посредине? Гальде проштудировал Сэмюэля Маунтджоя, знал, что Маунтджой будет держаться стены, будет строить догадки о том, что лежит в центре; знал, что на протяжении всех истязаний он будет гадать, размышлять, домысливать, и под конец — вынуждаемый тем же абсурдным позывом, что заставляет перешагивать через швы в брусчатке или маниакально стучать по дереву, дабы не накликать беду, — под конец его заставят… он будет визжать, но его заставят, да он сам себя заставит… вот-вот, сам же себя и заставит, до беспомощности послушный, лишенный воли, бесплодный, уязвленный, зараженный, пресыщенный собственной натурой, прободенный… деваться ему некуда: протянет руку…

Они знали, что ты начнешь копаться. Знали, что не сумеешь держать марку британца, что упадешь духом. Что сочтешь это заточение «не невозможным» и полезешь дальше, а может, про-

сто усядешься, навалившись спиной на дверь… Уж они-то знали, что к открытию сего ограничения свободы ты от себя добавишь новую пытку, страдание из-за центра — и посему сделаешь как надо. А как надо? Или ты ничего туда не положишь? Пускай, дескать, все обернется фарсом? Не-ет, еще как положишь.

Заполнишь этот центр самой полезной в твоем случае вещью: суммой всех кошмаров.

Прими обретенное и остановись на этом. Забейся в свой угол, подожми колени к подбородку, накрой глаза рукой, чтобы отвадить эту вещь, доступную взору, но никогда не появляющуюся. Центр моего каземата — тайна на расстоянии вершка. Ее ощутимо скрывает неосязаемый мрак. Будь благоразумен. Оставь середину в покое.

Мрак был полон образов. Они кишели и самовоспроизводились. Надвигались, надвигались и плыли перед лицом первобытного хаоса. Бетон утратил внешний облик, потому что был доступен лишь осязанию и превратился в холодное прикосновение. А древесина двери, напротив, была теплой и мягкой, хотя и не по-женски: она лишь не несла с собой холода и боли. Мрак был полон образов.

Уж не выдержаны ли размеры этого карцера с

точным прицелом, чтобы невозможность вытянуться мало-помалу превысила предел бремени для слабого человека?

Я обтер лицо ладонями, тараща изумленные слепотой глаза. Итак, первая ступень была отсутствием света; свет отняли у художника. Он ведь художник, должно быть, сказали они и с улыбкой переглянулись. Был бы музыкантом, мы б забили ему уши ватой. Забьем ватой ему глаза. Это первая ступень. Потом он обнаружит, насколько мала его камера, и это будет второй ступенью. А когда его допечет невозможность полностью вытянуться, сказали они, он уляжется по диагонали и найдет, что мы ему там приуготовили: то самое, чего он сам ожидает найти. Робкое, болезненное и впечатлительное создание, он будет жаться к стенке, пока, наконец, не выдержит и расскажет нам все, что знает, или вытянет ноги по диагонали…

— Я понятия не имею, что мне известно, а что нет!

А вот теперь меня окружает не просто беспредметный мрак: центр камеры бурлит предположениями. Колодец. Разве ты не чувствуешь покатость пола? Только пошевелись, и покатишься прямиком в середину, в колодец, к муравьиному

льву на дне. Когда измотаешься вконец своими же догадками, ты заснешь и покатишься…

Нам нужна информация, не трупы.

Нам нужно, чтобы ты шарил перед собой, дюйм за дюймом, линия за линией[17], выщупывая бетон голой рукой. Нам нужно, чтобы ты отыскал странный полумесяц, жесткий, начищенный, надраенный по краям, а в середине шероховатый. Нужно, чтобы ты протянул руку по склону и, растопырив пальцы, нашел подошву башмака. И тогда — что ты сделаешь? Опасливо потянешь на себя и обнаружишь, что подошва неподатлива? Волосы в слепой темноте у тебя встанут дыбом? И ты без дальнейших усилий заключишь, что это трупное окоченение, что там лежит тело, свернувшееся клубком как замороженный утробный плод? Как долго ты будешь ждать? Может быть, сразу протянешь руку и потрогаешь заготовленный нами сюрприз, скорчившийся на расстоянии едва ли восемнадцати дюймов от тебя? У него усы из лебяжьего пуха. Ты ведь так и не потрогал его острый нос. Вот и сделай это сейчас. Все те

[17] Примечания: 17

Здесь: неметрическая едини измерения, в Великобритании составляет 1/12 дюйма. До 1918 г. существовала и в России, но равнялась 1/10 дюйма (к примеру, отсюда же берет свое начало знаменитая «трехлинейка»: винтовка калибра «три линии», то есть 7,62 мм).

темные аллеи мучительных испытаний были не нужны. Главная проверка здесь.

Нам нужно, чтобы ты шагнул на третью ступень. Мы знаем, что так оно и случится, потому что мы всегда правы. Мы разгромили целый мир. Вывесили в ряд измочаленные тела Абиссинии, Испании, Норвегии, Польши, Чехословакии, Франции, Голландии, Бельгии. Ты за кого нас принимаешь? На стене, за нашей спиной, висит фотография нашего фюрера. Мы — мастера своего дела. Мы тебя не пытаем. Ты это делаешь сам. У тебя нет надобности делать третий шаг к середине, но к этому побуждает твоя же натура. Мы знаем: ты это сделаешь.

Тьма кувыркалась и громыхала. Я потерял дверь.

Они не должны этого знать. Найди дверь снова. Не обращай внимания на зеленое бушующее море, на распахнутый рот, на вздыбившуюся шевелюру, на глаза, откуда по щекам струится влага. И вот, после лихорадочного обшаривания по стеночке, я вновь в своем углу, в знакомом углу, прижимаюсь к древесине. Тот кусочек в середине — фута три в поперечнике, а то и меньше. Стало быть, нет там места для лежачего трупа; этот труп должен стоять, балансируя на окоченевших

ногах. Они его специально так поставили, для меня. Если я его коснусь, он завалится вперед.

Я выскочил из бури. Я нес чушь, чушь, чушь самому себе, толком не помня, что это за чушь. Срывающимся голосом закаркал вслух:

— Если они и поставили там труп, это не наш постоялец, потому что он умер, его похоронили в Англии лет тридцать назад. Тридцать. Похоронили в Англии. За ним прислали огромный катафалк с резными, морозно-узорчатыми стеклами. Там и закопали. Это не его труп…

И тогда я отнял лицо от стены и воскликнул в великом гневе:

— Да при чем тут трупы?

Верх вверху, а низ — внизу. А там, где бетон, — там с каждой секундой становится тверже, это низ. Не забудь, что где, не то укачает.

Делай что хочешь, но только не третий шаг.

Они свое дело знают туго. Подставили тебе грабли. Или ты сделаешь третий шаг и поплатишься за него, или же не сделаешь — но тогда будешь мучиться на собственной дыбе, силясь не думать, в чем она состоит, эта третья ступень. Они — более чем мастера.

Квадрат со стороной менее трех футов. М-да, не так уж много. Прямо-таки маловато. И ничего

там, конечно, стоять не может. Что бы ни находилось в центре, эта штука должна быть маленькой. Свернувшейся в клубок.

Змея.

Я стоял, вжавшись спиной в стену, стараясь не дышать. Тело само вздернуло меня на ноги, одним рывком. На нем такая пропасть волос: и на ногах, и на животе, на груди — и каждый волосок жил своей жизнью, каждый унаследовал сто тысяч лет ненависти и страха перед вещами, которые ползают, пресмыкаются. Я глотнул воздуха и прислушался сквозь шум работающих механизмов моего тела, силясь уловить шипение или сухой треск, тягучий шорох скребущих чешуек, хотя в зоосаде эти твари не издавали ни звука, а лишь расползались как сочащийся мазут. В пустыне они исчезают, оставляя за собой едва приметную борозду и струйки песка. Они же могут двигаться на меня, на тепло моего тела, на пульсацию крови в шейных жилах. Они владеют мудростью, и если одну из них положили в центр, попробуй скажи, где она окажется в следующий миг.

У коленей был свой рефлекторный страх; обмякшее тело утратило все чувство гравитации, мешком повалилось в угол. Я лежал скорчившись, вновь прикрыв лицо руками. Слепо смотрел в

точку, где могла быть эта тварь. Конечно, у него вряд ли имелась наготове змея или, скажем, тарантул, а если и имелась, вряд ли он оставил ее в каменном мешке, ледяном как гроб. Ничто здесь не жило, кроме меня. То, что лежит на третьей ступени, не может быть живым — и не может быть трупом, раз уж трупы не стоят на ногах.

Вновь я пустился ползать вдоль стен. Сам себе бросал вызов, — а ну-ка, что там, вот в этом углу! — но глаза держал зажмуренными, чтобы слезились поменьше; чтобы я мог вообразить за ними дневной свет.

Четыре угла, все пустые.

Я встал на колени в своем углу и пробормотал:

— Ну? И что теперь?

Скорей бы уж найти, пока в голову не взбредет нечто пострашнее, нечто доселе невообразимое.

И опять я пополз вдоль стены, на сей раз превратив свои восемнадцать дюймов в двадцать четыре. Итак, в центре есть пространство размером с крупную книгу. Может, так оно и было: меня ждала книга с ответами на все вопросы…

Я осмелился вытянуть пальцы из угла. Они принялись покрывать неизведанный путь, линия за линией, немея от холода и пощипывая. Пространство, могущее быть книгой, потихоньку

сокращалось.

Пальцы продвинулись по бетону еще на одну линию.

Изменилось ощущение в самых кончиках. Сейчас они работали как-то иначе. Или нет. Это бетон менялся, переставал быть прежним, становился глаже.

Гладкий. Мокрый. Жидкий.

Рука самостоятельно отдернулась, словно там кольцом лежала змея; отпрянула помимо моей воли — рука, выдрессированная миллионолетними трагедиями.

Резью пронзило глаз, куда угодил ноготь: один глубинный физиологический рефлекс вытеснил другой.

Образумься. Ты что, расплакался, оказавшись в центре, или просто смахнул со щек слезы напряжения?

Вперед поползла вторая рука, отыскала жидкость, даже потерла крошечный участок бетона, выяснила, что эта жидкость маслянистa.

Кислота?

— С тобой еще ничего не случилось. Образумься. Истязания, на которые он намекал, и не начинались. Хотя ступени восхождения столь же реальны, как ступени ратуши, тебе еще не

нужно по ним карабкаться. Даже если в центре разлили яд, у меня нет нужды его слизывать. Им требуется информация, а не трупы. Это вовсе не кислота, потому что кончики пальцев до сих пор гладкие и прохладные, они не горят, не пошли волдырями. И это не щелок, раз уж нет боли: ведь щелок, как и кислота, разъедает. Просто что-то холодное, ледяное как воздух, как вот этот бетон, на котором шуршит, поскрипывая, ткань моих брюк. С тобой еще ничего не случилось. Смотри не поддайся на их уловки, не продешеви.

А я что, чем-то торгую? Что это за информация, которой я то ли обладаю, то ли нет? Что мог я сообщить? Что это за козырь, моя последняя игровая фишка, последняя крошечная ценность, единственный тормозной башмак между мной и падением по скользкому, бесконечно длинному скату из хитрости, от истязания к истязанию? Он говорил, что это для моего же блага, нашего всеобщего блага… вот что промолвило последнее человеческое лицо, тонко вылепленное, о, до чего же тонко вылепленное на тонких, ломких костях.

Теперь во мне нарастало убеждение, что я даже при всем желании не смог бы ничего вспомнить. Голову словно заливало слоем бетона поверх

позабытой вещи, той самой, о которой хотелось сказать. Но когда такая бетонная стяжка образуется у тебя в уме, с ней не совладает никакой внутренний перфоратор.

— Минуточку. Дайте-ка припомнить…

Дело в том, что подобные вещи всплывают в памяти, лишь когда забываешь, что хотел их вспомнить, — и тогда надо быстро обернуться, пока бетон не застыл; но ведь Гальде возьмется за отбойный молоток, в них он разбирается. И все же никакая боль не взломает этот бетон; выбуривай сколько угодно, да только не подколупнешься…

— Говорю вам, я забыл… я бы вспомнил, если б умел! Дайте же время…

Но не будет и мгновения пощады. Сейчас я знал, что и впрямь позабыл, и никогда уже не вспомню. Лестница боли протянется от этой каменной подушки до неведомой высоты, мне придется карабкаться. Пусть отбойный молоток дико выплясывает на нервах, на моем мясе, брызгается кровью. Как тебя звать? Мюриэл Миллисент Молли? Мэри Мэйбл Маргарет? Минни Марсия Макака?

Масло, кислота, щелок. Ни то, ни другое, ни третье.

Нет.

Скула терлась о дерево, и сквозь вату рвался пронзительный, истеричный вопль.

— Говорю же: не получается вспомнить! О, если б только я смог… что ж вы меня никак в покое не оставите? Дайте время, и не только подумать, но чтоб еще можно было прилечь под небом без лестницы или без боли, и тогда бетон соскользнет, и вся информация хлынет наружу, если она есть… и мы сможем начать по справедливости…

И была картина жатвы давно обещанной, жатвы под одной звездой и луной. Свет тяжело лежал на колосьях пшеницы, и он шествовал сквозь этот свет, опираясь на посох, — человек, коему суждено было вскоре тоже быть собранным в житницу, медленно брел к покою. И была девушка в голубом, лежала откинувшись, с тихой рекой за плечом, в пору, когда неторопливо близилась сиеста и всеобщая трапеза…

Я вновь поднимался на ноги, шаркал в опростанных штанах вдоль стены, лицом к преграде, выщупывая ее руками. Стена была на месте, куда бы я ни повернул. Я опять потянулся вверх насколько возможно, однако потолка так и не достиг — лишь тяжкий мрак, душащий как пуховая перина.

Масло. Кислота. Щелок.

Нет.

Тело осело, и правая рука полезла в сторону, касаясь гладкости. Пальцы шажками скользили по ней, пощипывая крохи неизвестного пространства.

Уж он-то знал, что будет клёв, ведь он — хозяин.

Нечто, еще не знавшее прикосновения чувствительных подушечек пальцев, дотронулось, улеглось у ногтя среднего, слабого перста. Да-да, что-то дотронулось до моего ногтя на треть выше его обгрызенной кромки, что-то холодное, скользкое. К счастью, пальцы шевелились в темноте, исследуя и высылая свои донесения, идущие от чувствительных подушечек.

Оно было холодным. Мягким. Осклизлым. Как громадный мертвый слизняк — мертвый, потому что там, где мягкость поддавалась под испытующим нажимом, вмятины не восполнялись.

Теперь я мог видеть все, кроме того «слизняка», потому что мрака почти не осталось. Свет изливался потоком, звучали крики и вопли, зримые как осязаемые формы с протяженными, глянцевыми и дрожащими изгибами. А вот форма вещи на полу была сообщена мне посредством одинокого, взятого в полон перста, который никак не

мог оторваться от нее и передавал в мою голову фосфоресцирующий контур, странный, изменчиво-зыбкий силуэт, истончавшийся в осклизлый хвостик на холодном мокром мешке. Но это нельзя назвать законченным телом ни животного, ни человека. Сейчас я знал, отчего эта форма не относилась к животному миру, знал, что` представляет собой эта сырость. Я слишком много знал. В свое время надо было ткнуть в его острый нос и облечься броней. Вот, стало быть, в чем их уловка: они затеяли вдребезги разбить все человеческие табу, прорваться насквозь, ошеломить зрелищем до того жутким, предупреждением настолько недвусмысленным, что третий шаг поставил бы на ступень дикого ужаса, возносящегося над всем прочим. Вот, они выложили здесь фрагмент человеческой плоти, бросили его в лужу хладной крови. И лился, кружился свет, и кровь, выкачиваемая сердцем, тоже была видна подобно солнечной короне и состояла из шума, осязания и света.

Все пожрала тьма.

Когда я вновь пришел в себя — стенающий, мучимый тошнотой, скорчившийся клубком, — болезненное знание не дало мне передышки. Едва успев припомнить, кто я такой, я тут же

понял, где нахожусь и что за вещь лежит там, во мраке… от какого растерзанного тела ее оторвали? И как давно — поспешно вопросил мой разум самое себя — как давно она там лежит? А ведь они все-таки просчитались, раз уж холод этого застенка, этой мертвецкой в чем-то служил мне защитой. Хорошо, пусть так, но теперь мой нос учуял в воздухе — и попытался отвергнуть — кое-какие составляющие помимо зловония карцера. Или… или они все же и впрямь непогрешимы, ex cathedra[18] занимаясь вопросами веры и нравственности, как сейчас, и, получается, даже скорость разложения была ими аккуратно просчитана. Я оценил виртуозность придуманной ими пытки и горестно поаплодировал ей, ибо иначе как пыткой это не назовешь. Третья ступень, рассуждали они, невыносима, становится невыносимой, и все же он должен ее вынести, потому как ступень четвертая еще хуже. Ты думаешь, утес ненависти, на котором ты сейчас скорчился, — твоя высшая точка? Да это не что иное, как всего лишь промежуточный карниз на

[18] Примечания: 18
Здесь: с непререкаемым авторитетом (*лат.*).

нашем Эвересте. Базовый лагерь[19]. А ну, карабкайся. Давай-давай.

Я принялся нащупывать потолок, и в этот-то миг проявилась четвертая ступень. В том, что некогда было моей головой, кружился вихрь, убыстряясь с каждым мигом — и в его центре вынырнула повесть, запомненная до мелочей и ярко зримая, — повесть о крохотной тюремной камере и потолке, который медленно опускался под бременем этого мира. Я царапал высокую стену, но потолок был по-прежнему вне досягаемости — но где, я сказать не мог. Знал только, что с него свисали раздавленные комки, зловонные как холодная мерзость в центре; и вот-вот я был должен услышать шум съезжающего вниз потолка, призванного сделать невыносимо крохотным то, что и так уже было ничтожным, — безжалостный и неумолимый поршень. Задыхаясь, обливаясь потом, бормоча, я съежился в моем смердящем углу.

— Зачем ты сам себя истязаешь? Зачем делаешь за них их же работу? До сих пор ничто не косну-

[19] Примечания: 19

Лингвистическое скерцо: словосочетание base camp (дословно «базовый лагерь») относится не только к альпинизму. Именно так звучит английский перевод немецкого Stammlager, сокращенно Stalag — а это и есть шталаг, то есть лагерь для военнопленных.

лось тебя физически…

Так ведь он, конечно, знал. Его изящная, интеллектуальная голова была отлично для этого приспособлена. Что мог я противопоставить человеку, преподающему в германском университете? Мои ощущения? Мою отъявленную чувственность? Расползающееся сознание? Разум и здравый смысл говорили мне, что нет никакого подвешенного, измочаленного трупа, от которого могут отваливаться новые куски; и все же я верил в этот труп, раз уж этого желал Гальде.

Я зашелся воплем:

— Помогите! Помогите мне!

Тут мне надо быть предельно точным. Эти записи многому меня научили, и прежде всего тому, что никто не способен рассказать всю правду; да и слова ложатся у меня не так складно, как краски. И все же моя жизнь остается сосредоточенной вокруг тех нескольких минут, что я провел в паническом одиночестве средь мрака. Мой вопль о помощи был писком потрясенной ужасом крысы, безнадежным звуком, наивным глашатаем учиняемого зверства. Ничего иного мой вопль не означал; он был инстинктивным и свидетельствовал: вот плоть, природой сотворенная для мук и ныне их принимающая. Я вопил не

в надежде на чуткое ухо, а в признание наглухо запертой двери, тьмы и слепого неба.

Сей крик сам по себе изменил вопящее создание. Надеется ли крыса на помощь? Когда инстинктивным криком заходится человек, он пускается на поиски места, где можно обрести избавление; и вот это создание — вопящее, барахтающееся в зловонии, в океане кошмаров, с опаляющим дыханием и галопирующим сердцем, — это захлебывающееся создание всматривается прыгающими, нефизическими глазами в каждую точку, каждую стену, каждый угол внутреннего мира.

— Помогите же!

Но не отыскать избавления ни в бетоне темницы, ни в осклизлой жиже, ни в хрупком, утонченном и сочувствующем лице Гальде, ни в этих облеченных в униформу силуэтах. Нет ни напильника для тюремных решеток, ни веревочной лестницы, ни чучела, чтобы оставить его на нарах заместо себя… Здесь вопившая тварь столкнулась с абсолютом беспомощности; она заметалась с яростью и злостью пойманной змеи, бьющейся о стекло и прутья. В физическом мире не было ни помощи, ни надежды на слабость, которую можно бы атаковать и превозмочь. Пру-

тья из стали служили арматурой окружающему бетону. Не было отсюда выхода… и эта змея, эта крыса вновь ударила, чтобы вырваться прочь, из мига текущего во время минувшее. Изо всех сил ударила назад, в прошлое, с отчаянием сиюминутной нужды узрела, что прошлое несет в себе бальзам лишь для более умиротворенной минуты — и посему обернулась и прыгнула разжатой пружиной, ударила в грядущее. А грядущее было лестницей от ужаса к ужасу, длящимся и развивающимся экспериментом, чья неизбежность была предрешена пресловутым событием, которое невежество вполне может счесть за взятку. Вопящая тварь ринулась вперед, на лестницу, ибо не было у нее иного пути; она понеслась вперед с визгом, словно в топку, понеслась по невообразимым ступеням, сулившим любые испытания, и даже более того: по ступеням слишком обжигающим, чтобы можно было обрести прибежище в безумии, — по ступеням, разрушающим центр. Визжащая тварь оставила все живое позади и оказалась у точки входа, где смерть так же липнет к глазам, как и мрак.

И выбила эту дверь.

10

Поэтому, выпуская меня из тьмы, комендант опоздал, да и предоставил мне лагерную свободу, когда я, пожалуй, в ней уже не нуждался. Я бродил между бараками: человек воскрешенный, но не комендантским попечением. На бараки я смотрел глазами постороннего, ничего не питал ни к ним, ни к темпоральной последовательности суток, которую они, бараки, собою олицетворяли. Они сияли невинным светом их собственной сотворенной натуры. Я отлично их понимал, эти хлипкие дощатые коробки, ныне и вовсе прозрачные, позволяющие разглядывать себя в пределах квоты верховной царской власти. Я вздымал свои руки, и тоже их разглядывал, и до ошеломления удивлялся невыносимому богатству этих объектов владения: ведь каждая из них была отлита для меня из десятка тысяч счастливых судеб. Колоссальные слезинки кап-капали с моего лица в пыль; и эта пыль была вселенной ярчайших и фантастических кристаллов, этих чудес, мгновенно укрепляемых самим фактом их существования. Я глядел поверх бараков и «колючки», вскидывал мертвые глаза, ничего

не желая, все принимая и раздавая сотворенное. Побросал фантики привычек и слов. Эти толпящиеся формы, простирающиеся в воздух и тучные недра, эти подвиги дальнего космоса и земных глубин пылали с поверхности и устрашали по праву их собственной природы, хотя лишь днем раньше я бы ошибочно принял их за деревья. А за ними лежали горы — не просто ясно-прозрачные насквозь, подобно багряному стеклу, но и живые. Они пели и ликовали сопричащаясь. Но не только они изливались песнопениями. Все связано друг с другом, и любое отношение бывает диссонансным или гармоничным. Власть силы тяжести и пространственных измерений, движение Земли, Солнца и невидимых светил — вот что творило этот звук, могущий быть названным музыкой, и я ее слышал.

А вот теперь приблизилось нечто, в чем исповедаться труднее, чем даже в жестокости. Приключилось это в момент, когда первейший из моих сотоварищей покинул наш барак и перемещался по дорожке в мою сторону. Он был созданием великой славы, на которое ушло выделенное щедрой рукой тело, — лейтенант, чей восхитительный ум плавал в своем собственном океане, покамест топливо суетного мира проса-

чивалось вниз, трансмутируя в его чреве. Я узрел его приближение, и самое лицезрение этого чуда творения вкупе с уже не хамелеонствующими деревьями, горными отрогами, вот этой пылью и музыкой похитило с моих уст молчаливый вопль. Сей вопль разнесся вдоль четвертого измерения, обретающегося под прямыми углами к остальным трем координатным осям. Он был направлен в точку, о существовании которой я не догадывался, а попросту позабыл; но стоило обрести эту точку, как она навсегда оставалась на месте, иногда доступная, иногда закрытая… короче, вселенские дела текли своим ходом, чуждым мне и неисповедимым.

Итак, это внушающее благоговение и развитое создание скомпоновало свою плоть таким образом, что из его ротового отверстия исторгся зримый звук.

— Вы слышали?

Но затем он заприметил влагу на моем лице и был смущен зрелищем слезоточащего британца.

— Простите, Сэмми. Будь они прокляты, эти сволочи, убийцы…

Он отвернулся, потому что с легкостью мог расплакаться сам. Но меня окружала вселенная, подобная треснувшему ларцу с самоцветами,

да к тому же я был мертв, сознавая, до чего мало все это значит. И он удалился, полагая меня свихнувшимся, не постигая мою истинно цельную и светозарную вменяемость. Я возвратился в мое четвертое измерение и обнаружил, что по нему течет любовь, пока сердце — я имею в виду сердце физическое, — этот насос (хотя бы и презюмируемый) вырабатывает любовь с непринужденностью, аки пчела, мед несуща. В тот момент это показалось мне единственным достойным занятием; а пока я был в это погружен, скорость оборотов так разогналась, так разгорячилась, что искорка, яркость, мигнула в укромном, невидимом — и легла на физическое сердце ради всего мира, как если б поэзия и впрямь не ошибалась, принимая сердце не просто за образчик хитроумного механизма. Стоя между постигнутыми мною бараками, среди самоцветов и музыки, я был удостоен визита этой искорки, чудотворной и исполненной Святого Духа, и сей огонь преобразил меня раз и навсегда.

Как может человек слушать и говорить одновременно? Надо было научиться стольким вещам, внести столько корректив, что жизнь в неволе стала вдруг крайне насыщенной и счастливой. Сейчас мир менял полюса. То, что некогда

считалось важным, облетало шелухой. Что было смехотворным, стало здравым смыслом. Что несло в себе уродливость разочарования и скверны, теперь предстало предо мной занимательной, зеркально-обращенной красотой — красотой, которую можно видеть лишь краешком глаза, которая зачастую проявляется лишь в тот миг, когда о ней вспоминают. Все эти вещи, разумеется, поддавались двоякому истолкованию; их можно было рационально объяснить или же просто принять в качестве некоей данности, присущей природе космоса. И между людьми, подписавшимися на один из этих взглядов, диспут не мог иметь места по определению. Это-то я понимал, поскольку лично испытал эти взгляды на различных этапах моей жизни. Мне представлялось вполне естественным, что сия новая перцепция, добавленная моим мертвым глазам, выразится посредством моего ремесла, портретной живописи. Вот почему эти тайные, контрабандные эскизы изможденных, небритых царей Египта во всей их славе суть слава моей правой руки и, надо полагать, таковыми и останутся. Мои наброски преображенного лагеря, узилища, которое уже перестало было неволей, вышли, как мне кажется, не очень-то удачно, но все же обладают

определенными достоинствами. Парочка из них рассматривает это место сквозь око невинности или смерти, видит пыль, и дерево, и бетон, и проволоку, как если б они были сотворены за миг до того. Но вот мир чудотворения я изобразить не мог — ни тогда, ни сейчас.

Ибо по мере того как текло время и я привыкал к ритму молчания, я начинал познавать этот новый мир. Быть его частью — не просто предмет желаний, но необходимость. А посему вот эта штука — вот она, здесь, — мертвая, таращащаяся вовне штука обязана приспособить свою натуру, чтобы соответствовать. Так какова же была природа этого нового внешнего мира и натура мертвой штуки внутри?

Постепенно я начинал понимать, что все это чудо формировало порядок вещей и что этот порядок опирался на столпы. Однако когда я наконец понял, из какой субстанции сделаны эти столпы, то прямо-таки оторопел. Ведь мы ее вышвырнули, сочли за пустяк. Гениальность нашей политической прозорливости и глубина нашего научного знания позволили нам обойтись без нее. Она не улавливалась в лабораторной пробирке, когда мы проводили наш незамысловатый качественный анализ. Она не приносила ассиг-

нований, ее не предлагали в качестве средства от войны, а при необходимости просто имели в виду как побочный продукт классовой системы, точь-в-точь как процесс получения анилиновых красителей при перегонке каменноугольного дегтя — открытый чуть ли не случайно. Эта субстанция была своего рода насущной и роковой нравственностью, не отношением человека к отдаленным поколениям или даже к социальной системе, нет, но отношением индивидуума к индивидууму. Некогда сочтенная бесполезной, теперь эта субстанция выглядела той кузницей, где все меняется, где вся изменчивость, вся ценность, вся жизнь выковывается, обретая форму добра и зла. И если поменять метафору, эта живая нравственность была если не золотом, то хотя бы серебром нового мира.

Теперь глаза Сэмми наконец-то повернулись туда, куда их направлял Гальде. Умереть в выгоночном питомнике, сиречь карцере, достаточно легко, и видеть мир невинными или мертвыми глазами тоже не так уж сложно, если тебе известен секрет. Но когда глаза Сэмми обратились внутрь, на меня, с той же самой обнаженной и мертвой объективностью, увиденное ими было не то чтобы прекрасным, но грозным. Умирание,

в конце концов, не было закончено и на одну десятую — ибо разве не должна завершенная смерть убраться с дороги сияющего, поющего космоса и дать ему сиять и петь? А здесь была точка, единственная точка, которая и представляла собой мое собственное внутреннее тождество, без формы или размера, но лишь местоположение. И все же это местоположение было чудесным, как и все прочее, поскольку оно постоянно манкировало законом сохранения энергии, так сказать, правилом номер один, и создавало формы, которые разбегались от нее по радиусам сферы. Эти формы можно уподобить самым что ни на есть ненавистным субстанциям, которые только известны человеку, или, пожалуй, самым ненавистным и презренным тварям, непрерывно порождаемым, незамедлительно излучаемым и пропадающим из виду; такова была человеческая природа, которая, как я выяснил, населяла центр моего самосознания. Свет, озаривший эту точку и этих тварей, пришел из заново постигнутого мира во всей его славе. В противном случае я мог бы оказаться человеком, вполне добрососедски уживающимся со своей собственной натурой.

Однако сейчас сосуществование с такой вещью было попросту невыносимым. Ни один

из возможных поступков Гальде и вполовину не казался столь жутким, как ведомое мне. Это общее место? Я недооценил неприкосновенность частной жизни царей? Они тоже устроят аналогичную демонстрацию? В ту пору я так не считал, да и сейчас так не думаю. Одного из них, Джонни Спрэгга, я знал лично и понимал, что у него имелось то, чего недоставало мне, а именно природной доброты и щедрости, так что даже его грехи сходили за шалости, потому что все это время корень вопроса находился в нем самом. А я либо вовсе уродился на свет без этой природной щедрости, либо где-то ее утратил. Мальчуган, семенивший за Иви, не имел ко мне никакого отношения, а вот молодой человек на велосипеде, поджидавший, когда светофор переключится с красного сигнала… мы с ним обитали сам-друг, под одной кожей. Несли взаимную ответственность. Так что, когда я оглянулся на прошлое и память наткнулась на Беатрис, красота ее простодушия хлестнула как пощечина. Эта негативная индивидуальность, этот вакуум, который я в конечном итоге вывел из ее молчания, теперь оказался заполненным. Подобно тому как вещество живой клетки, сияя, вплывает в фокус с поворотом винта на тубусе микроскопа, так и я

сейчас разглядел то существо, которое однажды воссияло из лица Беатрис. Она была незатейливой, любящей, щедрой и скромной: качества, не имеющие никакой политической значимости и, как правило, не приносящие сколь-нибудь существенных благ своему владельцу. Они просто сияют — точно так же, как сияет в памяти детская больничная палата. И все же, вспоминая себя и Беатрис, я не могу отыскать тот момент, когда я был волен поступать как вздумается. Во всей этой прискорбной истории насчет соблазнения я так и не припомнил ни одного случая, когда — будучи тем, кем я был, — я смог бы поступить иначе.

О, этот континент, именуемый человеком, — полуострова, мысы, глубокие бухты, джунгли и степи, пустыни, озера, горы и холмы! Как мне избавиться от этого царства, как сбыть его с рук?

Если б я вслед за Ником Шейлсом мог заявить, что слово «свобода» — это благое намерение, замещающее собой иллюзию, то сумел бы, наверное, принять тоскливую обузу всех этих полумертвых дней, не стал бы возражать. А если б я вместе с Ровеной Прингл воскликнул: только веруй! — то не погрузился бы я в некую успокоительную систему воздаяний и наказаний, прибылей и убытков? Но мне ведом вкус картошки, и я не просто ве-

рю: я вижу. Эх, если б только я мог принимать грязь за грязь, людей за цифирь и со скучным безразличием подводить усредненный результат прожитого дня! Если б только я мог принять этот мир без доказательств!

Где-то, когда-то я сделал свободный выбор и утратил мою свободу. Вплоть до момента, когда церковный сторож сверзил меня с ног, я не потерял ничего — а может, этот удар был подобен смерти и оплачивал все счета… Итак, между этим мигом и тем юношей, молодым человеком на велике, имелась целая эпоха, иная школа. Стало быть, там, где-то там? В том прошлом, среди цветов и запаха раздевалок, среди тетрадок и диких эмоций, воздаяний и наказаний, среди ощущения, что такая жизнь будет длиться вечно?…

11

Наше учебное заведение обслуживало оба пола. В школе велось совместное обучение — формально, хотя лично я не могу привести пример иного учреждения со столь же жестким разграничением. Впрочем, нас разграничиваться никто не заставлял. Мы сделали это самостоятельно в первый же день. В первые же часы, объятые испугом и трепетом, мы разделились инстинктивно: девочки по левую руку, мальчики — по правую. Вот тогда-то и была проведена линия, никогда более не преступаемая по всеобщему негласному уговору. Никто из мальчишек, даже я, помнивший царственное величие бантов Иви, не смог бы сидеть с девочками. Поступи я так, небеса бы раскололись и обрушились на наши головы. Мы изо всех сил делали вид, что ходим в мужскую школу; мы понимали, что принципы обучения в нашей крохотной провинциальной классической школе диктовались не теоретической педагогикой, но экономикой. Нас устроили по дешевке, и за одно лишь это полагалось быть благодарным. Так что стычки между нашими противоборствующими группировками, кипевшие у ручья на

краю спортплощадки, распространялись только на мальчишек. Мой аномальный статус в пасторском доме лишал почвы под ногами, делал как бы безродным, и вот почему я вздумал скомпенсировать это обстоятельство хвастовством: влекомый поверхностными представлениями о форме нашей социальной пирамиды, я заявил, что прихожусь пастору сыном… ну, как бы сыном, — и от меня отвернулись. Осеняемый этой-то непопулярностью, я и вошел в пубертатный возраст, когда горит кожа, а пух становится тяжелей свинца и колет как иголки. Всюду я был неприкаянным. Имелась постель, но она была с довеском из иррационального страха перед призраками и ужасами, так что в этот период я обнаружил, как именно следует съеживаться калачиком и из собственного тела извлекать утешение, которое не мог дать мне мир. Постепенно я научился устраивать короткое замыкание собственного внутреннего тока и этим довольствоваться, истекая зарядом как батарейка, разряжающаяся одной ослепительной вспышкой.

Под каким же зодиакальным знаком развивался тогда Сэмми? Их было два. Сейчас они грозно маячат в моей памяти: Дева и Водолей. Образуют собой арку, но не триумфальную, а пораженче-

скую; они мои щитодержатели, и если кто-то меня сделал (я имею в виду, не во плоти), то это они, мои духовные родители.

Она преподавала Священное Писание и кое-какие иные предметы. Один год была нашей классной руководительницей; старая дева с рыжеватыми волосами и начатками рыжеватых усов и бороды, она, мисс Ровена Прингл, ненавидевшая меня частично оттого, что я был зловредным, и частично оттого, что зловредной была она сама, а еще потому, что неровно дышала к отцу Штокчему, который, вместо того чтобы жениться на ней, усыновил меня и вообще потихоньку выживал из ума. Строила из себя рафинированную леди со всеми предписанными ужимками. Само зрелище мисс Прингл, внезапно обнаружившей чернильное пятнышко на пальце — кисть подпрыгивает, трясется, пальчики колотятся друг о дружку под стать щупальцам лилейно-белого осьминожка, — давало понять, до какой истеричности доходят истинные леди в своей заботе о чистоте. Она бежала всего нечистого — не грязного, но нечистого, — и ее религиозные наставления следовали той же колеей. Ее облачения, как правило, были выдержаны в коричневых тонах. В дождливую погоду она

прибывала в школу под коричневым, аккуратно подпоясанным макинтошем, в галошах и перчатках, а сверху была защищена коричневым зонтом с фестонами и шелковыми кисточками. Скрывалась в женской учительской, засим появлялась в классе, с брезгливой осторожностью пробиралась к своему высокому столу — изысканно-опрятная и глянцево-чистенькая как каштановый орех. Носила пенсне в золотой оправе и на изящной золотой цепочке из почти невидимых звеньев, которая стекала к кружевным оборкам на груди и крепилась там золотой же булавочкой-крохотулечкой. Возле булавки водянисто-золотым отливом поигрывал граненый топаз. Шевелюра у нее была рыжеватая, лицо веснушчатое, чуточку одутловатое, и на нем обычно была нацеплена улыбка профессиональной благожелательности, столь же продуманная и показная, как и весь ее гардероб.

Мисс Прингл никогда никого не трогала. Добротный, увесистый тумак, подаренный мне церковным сторожем, не входил в ее репертуар. Прикосновение к человеческой плоти было для нее актом профанации. Лилейные пальчики, с золотым колечком на правой руке, были сугубо приватными и изолированными. Она правила

не любовью, но страхом. Ее оружием была не палка, а нечто совершенно иное, утонченное и жестокое, несправедливое и лютое: коротенькие, насмешливо-ироничные замечания, от которых хихикали другие дети и горела твоя кожа. Она была непревзойденной мастерицей по части психологии толпы и искусства ее заводить. Умела подхлестнуть наши смешки в самый правильный момент, затем подождать, вновь подхлестнуть, словно раскачивала маятник — шлеп-пауза, шлеп-пауза, — пока жертва не начинала захлебываться под шквалом осмеяния, жадно ловила ртом воздух, корчась в исхлестанной плоти… висела на крючьях. И все это время мисс Прингл улыбалась своей профессиональной улыбкой, а золотая цепочка ее пенсне мерцала и переливалась, ибо в конце-то концов блажен тот, кто практикует собственные религиозные отправления и получает за них плату.

А напрасно она меня так ненавидела: ведь я был с ней, еще невинный, коль скоро не успел совершить ни одного по-настоящему доброго или злого дела, не питавший дурных помыслов и веривший, что сам виноват, когда она заставляла меня страдать. Я осуждаю ее с высоты прожитых мною лет. Исхлестанное дитя, коим я был в ее

руках, не понимало, что истина бесполезна и пагубна, когда исходит лишь из уст.

Ибо я был с ней. Мне все эти притчи о праведниках и грешниках, все эти повествования, где есть только две градации — добро и зло, — казались точкой коловращения жизни, сутью всего дела. При Азенкуре была одержана грандиозная победа, зато Иаков положил себе в изголовье камень — я-то знал, до чего это жестко и неудобно, — и увидел во сне золотую лестницу, чей верх касался неба. Уатт изобрел паровую машину, зато с Моисеем говорил голос из куста, который горел, но не сгорал. Да. Я был с ней.

И вот в этом-то она была незаурядным учителем. Излагала библейские притчи в ярких подробностях, которыми порой отличаются люди, умственно или сексуально не состоявшиеся. Минули годы, прежде чем я перестал видеть Ветхий Завет лишь ее глазами. Минули годы, прежде чем я сумел понять, как именно удалось ей достичь, казалось бы, недостижимого: она последовала примеру Боудлера[20], но при этом ясно донесла до нас нравственный подтекст.

---

[20] Примечания: 20

В 1818 г. профессор Т. Боудлер опубликовал издание пьес Шекспира, в котором были опущены «слова и выражения, которые нельзя произносить вслух при детях».

Первой и с искренним вопросом взметалась всегда моя рука; мои карты Святой земли были самыми подробными; мои иллюстрации к громам и молниям над горою Синайскою были самыми красочными. И все втуне. Всякий раз мой вопрос оказывался настолько неумелой, «кукольной» подачей, что мисс Прингл гасила его со смаком и ничуть не менее красочно, чем мои «молниеносные» рисунки; что же касается моих карт, то возвращались чуть ли не нарочно испорченными, все в красных чернилах отметок и замечаний, которые она наносила словно боевую обстановку.

Я ворошу воспоминания об этих отношениях, силясь наконец разобраться. Может, она знала, что я умудрился без слюны оплевать алтарь? Испытывала ко мне гадливость, словно речь шла о благоустройстве трущобного квартала? Негодовала, что я проживаю в пастырском доме? А что если она интуитивно разгадала, в чем заключается суть своеобычности отца Штокчема и вменила вину за этот недуг мне? Наши темпераменты были попросту несовместны: сложное создание — увлеченная и обманутая в своих надеждах старая дева и мальчишка-сорвиголова (хотя уже в меньшей степени), незамысловатый и, как

ни странно, до сих пор невинный. Чего такого я натворил, что мне было суждено постоянно оставаться ее мишенью? Да, но могу ли я, положа руку на сердце, в кои-то веки провозгласить себя безвинной жертвой? Здесь есть что-нибудь, в чем повинен не я? Безусловно, она не всегда пребывала в состоянии столь упорядоченного самоконтроля. Не была неуязвимой. Подобно всем женщинам, но с меньшим стоицизмом, нежели большинство, она носила в себе Евино проклятие. С течением времени мы обнаружили, что у нее имелись такие дни, когда учительствование напрочь превосходило ее возможности. Она сидела за своим высоким столом, раскачиваясь взад-вперед, смежив веки, мотая головой и воздыхая. И вот тогда — ибо сила ее жестокости и дисциплины была такова, что мы не осмеливались ни сочувствовать, ни злоупотреблять этим, — мы сидели весь урок тихо как мыши, пока не раздастся благословенный звонок. А вернувшись к ней где-то через день-два, чуть ли не с облегчением обнаруживали, что она вновь держит себя в руках, улыбчивая и опасная.

Я вижу ее своим фатальным оком, я перекидываю мост через пропасть. Ее рот как калитка: хлоп-хлоп. Электрическое освещение включили?

О, если б я мог слышать, а не только видеть!

Позади нее на классной доске треугольник, неуместный и не относящийся к делу. Кружевные оборки светло-коричневые, закрывают шею наполовину. Если ткнуть локтем вбок, то я заеду Джонни Спрэггу под ребра. Филип впереди и справа от меня. Но это не тот урок, чтобы отвлекаться: сегодня тема важная и, может статься, дух захватывающая. Моисей.

Меня очень интересует Моисей. Он важнее, чем состав воды. Я не прочь, чтобы мне рассказали о воде, когда мы попадем на урок мистера Шейлса, однако Моисей куда важнее. Я хочу знать о нем все поелику возможно. Эту историю я слышу еще с начальной школы, она встречалась там и сям, пока казни египетские и всякое такое не проели мне плешь. Но вот они — скажем, мисс Мейси, драчливая мисс Мейси — останавливались как раз там, где хотелось узнать поточнее. Повесть о Моисее превращается в рассказ о сынах Израилевых, этом докучливом народце, который так и норовит сотворить что-то непотребное. Может, мисс Прингл — признаю ее мастерство — не допустит ту же ошибку?… Если только это ошибка. Может, заполнит для меня эти лакуны. Я знаю, что в Библии содержится много законов, установ-

ление которых приписывается Моисею, но они тоже не относятся к делу. Что это была за скала, в расселине которой он был поставлен и покрыт рукою Господа, доколе не прошла слава Его? Об этой стороне его жизни следовало бы иметь столь же полный отчет, как и о ее начале. Может — думаю я, пока класс усаживается, — может, мисс Прингл, знающая так много, посвятит нас в сию тайну? И вот тогда это будет настоящим шагом вверх, шагом вперед; и я окажусь достаточно взрослым, чтобы она приподняла завесу над этой стороной его жизни…

Ибо что-что, а приподнимать завесы мисс Прингл умела. Она рассказала нам, отчего завеса в храме разодралась надвое при распятии; рассказала прямо и недвусмысленно, отчего эта завеса разодралась не поперек или в клочья, а именно сверху донизу. Это приносило глубокое удовлетворение, а порой она то же самое проделывала с Моисеем. К тому времени, когда она с нами покончила, мы поняли взаимоотношения между пересказчиком Аароном и провидцем Моисеем. И все же она смешивала эту прочувствованную экзегезу с материей бесполезной и даже огорчительной. Я сидел за партой и гадал: ну почему, обладая способностью говорить с нами

столь проникновенно, она сюда же подмешивала такие дешевые и глупые вещи, как, например, сообщения о том, что Красное море иногда расступается — обмеляется — под действием ветра; а ежели змею гладить, она цепенеет и становится жесткой как омар, и то же самое происходит с курами на меловой черте… и вот, стало быть, швыряние жезлов оземь отнюдь не было самым обыкновенным и очаровательным чудом, а имело — если расстараться и мыслить задом наперед — рациональное объяснение.

Пришел-таки Моисей к горе, хотя бы и к Хориву.

Хлопанье калитки, блеск очковых стекол, водянистый отлив топаза…

Я ее не слышу.

И я такой из-за тебя. В чем-то ты была мудра, но жестока. Отчего я тебя не слышу? Ты вытворяла со мной эти вещи, ты произносила слова, которые исчезли. Не в том смысле, что они воспарили в воздух и там смолкли; нет, они утонули во мне, стали мною, они настолько близки ко мне, что я их не слышу. Ты их произносила и шла дальше, была озабочена своими делами. Разве ты не будешь их держаться? Мир в самом деле таков, каковым он кажется обращенному вовне оку:

местом, где дозволено что угодно, если это может сойти с рук?

Хлопанье, блеск.

Ей были доступны три пути. Могла объяснить, что в пустынях встречается кустарник, способный гореть очень долго и даже воспламеняться на солнце.

Нет.

Хлоп-хлоп.

Могла сказать нам, что Моисей видел это духовным зрением. Не было никакого куста перед обращенным вовне оком; и стоит только поглубже поразмыслить над этим кустом — куст вполне подходит, раз уж здесь годится любое иное слово, — так вот, стоит только поглубже над этим поразмыслить, и ты увидишь, что он разрастается, заполняет собой все пространство и существование, занимается огнем, чьи цвета подобны радуге.

Хлоп…

— Вы все, конечно же, не раз слышали это место из Библии, так что я задам вам несколько вопросов. В конце концов, за прошедший год вы все должны были немножечко поумнеть. Итак, гора Хорив. Что увидел Моисей на горе Хорив?

— Куст, мисс, горящий куст, и Ангел Господень

воззвал из куста, и… и…

— Хорошо, хватит. Да. А кто-нибудь сидел в том кусте?

— Мисс! Мисс! Мисс!

— Уилмот?… Да. А Моисей с ним еще встречался?

— Мисс! Мисс!

— Дженнифер?… Да. На горе Синай. Ясно ли он видел?

— Мисс!

— Ну конечно же, нет. Даже Моисею пришлось довольствоваться словами «Аз есмь сущий».

— Мисс! Мисс!

— В чем дело, Маунтджой?

— Простите, пожалуйста, но он узнал больше!

— О-о?

Тут я понял, в каких дураках оказался; я понял, что если было невозможно объясняться с отцом Штокчемом, то в случае мисс Прингл это было попросту опасно. Как смог бы я выразиться… конечно, вы тоже это знаете, я лишь напоминаю вам, а может, вы только делаете вид с таким расчетом, чтобы кто-нибудь из нас вам польстил, дав нечто большее, чем тупое согласие… но я опоздал.

Мисс Прингл осветила класс торжествующей

улыбкой и пригласила всех разделить удовольствие расправы над сим пленником.

— Дети, Маунтджой собрался рассказать нам нечто новенькое.

Как она и ожидала, по классу пробежала легкая рябь, и тут же, не давая ей затихнуть, взялась за дело:

— Ну конечно, Маунтджой знает Библию получше нас. В конце концов, он живет совсем рядом с храмом.

Маятник пошел раскачиваться.

— Тише, дети, слово мистеру Маунтджою. Сейчас он объяснит нам Библию.

Я сам видел, до чего покраснел мой нос.

— Итак, Маунтджой? Ты разве не хочешь предъявить нам… м-м… высоконаучные результаты своих академических исследований?

— Это было потом, мисс, опосля того как он…

— После, Маунтджой! Не опосля, а после! Уверена, что и пастор желает, чтобы ты как можно быстрее выучился говорить правильно. Итак?

— Он… этсамое… он хотел увидеть, мисс, но это было б чересчур… для него…

— Кто хотел увидеть, Маунтджой?

— Моисей, мисс, Моисей…

По мне хлестнуло всеобщим хохотом. Мисс

Прингл терпеливо сносила вопли «мисс Моисей!», «мисс Моисей!», не дав им, впрочем, перейти грань между весельем и разнузданностью.

— Это было после, мисс…

— После?

— Ему было б слишком много. И его, значит, поставили в трещину скалы, и он увидел… этсамое… что у него сзади… просто там так написано, мисс, и я, значит, хотел у вас спро…

— Что… что ты сейчас сказал?!

Меня затопило потрясенной, ошарашенной тишиной.

— Ну, там написано, что он уви…

— Ты когда это прочел?

— А когда вы нам задали… эти… наизусть которые…

— Урок был по Новому Завету. Ты зачем полез в Ветхий?

— А я закончил, мисс, вот и подумал, что…

— Ах, закончил? Почему не сказал? Тебе не пришло в голову уведомить меня и спросить разрешение на эту… это…

Топаз трясся и сверкал.

— Что ж, Маунтджой, ты, стало быть, закончил с заповедями блаженства. Перечисляй.

Я стоял ослепленный и оглушенный, а в голове

зрела картинка, что происходящее все больше напоминает поездку не по той ветке, колоссальное недоразумение.

— Да я же просто хотел узнать поточнее, мисс… вот как вы нам рассказывали насчет завеси и всякое такое…

— Заповеди!

Чернота пытки сделалась красной. А у меня ни одного слова на языке.

— Перечисляй заповеди, Маунтджой. «Блаженны…».

Неужели ты не понимаешь? Ведь я на твоей стороне. Я знаю, что открытия для тебя важнее, нежели глупые правдоподобия объяснений. Я знаю, что эта книга полна чудес и значимости. Я не таков, как сидящий слева от меня Джонни, который без раздумий принимает написанное, и я не похож на Филипа, сидящего впереди, который смотрит на тебя и подыскивает способ, как половчее тобой воспользоваться. Мой восторг — твой восторг.

Мисс Прингл перенесла руку вперед, задействуя иной ружейный прием, другой регистр органа: vox humana[21]. Мы порой слышали этот голос,

---

[21] Примечания: 21
Глас человеческий (*лат.*).

ее уязвленный голос, голос Рахили, плачущей по своим детям, — непременную прелюдию к зверству.

— …думала, вам можно доверять. И действительно, большинству из вас я могу доверять. Но есть один мальчик, которому доверять нельзя. Он пользуется уроком… причем уроком отнюдь не ординарным…

— Но ведь… Мисс, пожалуйста!..

Мисс Прингл загнала меня в нужную ей позицию. Если я не понимал всю чудовищность допущенной мною хулы, если до сих пор знался с невинностью и верил, что где-то в схеме вещей найдется местечко и для меня, мисс Прингл, тем не менее, чувствовала себя способной расшатать мою почву и посвятила себя этой задаче.

— Выйди сюда и стань перед классом.

Странное послушание охватило мои руки, вцепившиеся в края сиденья, помогающие подняться на ноги. Ступни послушно засеменили в темноту. Одним-единственным предложением она намекнула на столь многое… Интонацией, дрожью топаза подняла этот случай выше смеха, так что остальной части класса пришлось перестроиться на серьезный лад. Мисс Прингл в совершенстве владела умением произвести эффект, а посему

знала, что не должна забегать вперед своей аудитории. Она дала им время подладиться, до того долго и испытующе глядя мне в лицо, что у меня запылали щеки, — и тогда их молчание стало наполняться возбуждением.

— Так вот для чего, по-твоему, предназначена Библия… О нет, Маунтджой, и не вздумай отпираться. Ты что же, думаешь, я совсем не знаю, что ты такое? Нам всем известно, откуда ты взялся, Маунтджой, но мы были готовы согласиться, что с этим тебе просто не повезло.

Ее коричневые, глянцевые как каштаны, кожаные туфельки отступили на шажок.

— Но ты притащил с собой эту скверну. На тебя, Маунтджой, были потрачены деньги. Тебе дали великий шанс. А ты, вместо того чтобы извлечь из этого пользу и проникнуться благодарностью, ты тратишь свое время, с мерзким хихиканьем роясь в Библии, выискивая в ней всякие… всякие…

Она умолкла, и тишина сделалась еще более мертвой. Все знали, чего мальчишки выискивают в Библии, потому что этим занималось большинство. И вот почему, наверное, мое преступление («Но в чем же оно состоит?» — гадал я), мое преступление им тоже казалось чудовищным. Тогда я думал, моя беда-де в том, что я не умею толком

объяснять. Питал смутное чувство, что если б только я смог подобрать правильные слова, мисс Прингл все бы поняла и дело тотчас бы уладилось. Но сейчас я знаю, что она не приняла бы даже самое продуманное, досконально точное объяснение. Она бы с неистовой ловкостью сделала финт и вновь свалила вину на меня. Хитрая она была, проницательная, одержимая и лютая.

— Смотри на меня. Я сказала «смотри на меня»!

— Мисс…

— А что в ответ… что в ответ?! Ты нагло, — иного слова не подберешь! — нагло швырнул мне в лицо свою скверну.

Обе ее белые руки были вздернуты вверх и в стороны. Пальцы тряслись, отчаянно отряхивая друг дружку, словно им вовек не очиститься. Бурно колыхался каскад кружев. Теперь класс понял, что предстоит экзекуция по всей форме, публичная и затянутая.

Мисс Прингл перешла к следующей ступени. Справедливость должна не просто восторжествовать: она должна быть наглядной. Требовались доказательства проступка более существенные, нежели мой злополучный промах в теологии. Для этого годился один верный способ. Большин-

ство учителей в той школе не до такой степени пеклись о нас, чтобы быть жестокими. Они даже признавали за нами право на отдельное существование, и это признание приняло приятную форму. Нас заставляли держать тетрадки чистенькими и опрятными, но имелись также тетради и черновые, которые — по негласному, необъявленному соглашению — носили сугубо личный характер. До тех пор пока ты не осквернял их слишком уж открыто и не изводил слишком уж расточительно, они полностью принадлежали тебе, как ученому — его научный труд.

Убедила ли она саму себя? Поверила ли к этому моменту, что я регулярно копаюсь в Библии в поисках непристойностей? Неужели ей было невдомек, что мы с ней два сапога пара — искренний метафизический мальчик и страдающая старая дева, — а может, она это знала и извлекала добавочное наслаждение от ненависти к своему собственному образу? В самом деле полагала, что найдет непристойности в моей черновой тетради? Или просто хотела воспользоваться любым формальным нарушением, ежели оно отыщется?

— Дай сюда свой черновик.

Я вернулся к парте тише воды, ниже травы. От молчания зудело в ушах, а Джонни отводил

глаза. Один чулок съехал у меня до щиколотки. До правой щиколотки. Черновик был без обложки. Первые четыре листа изрядно помяты, затем бумага разглаживалась и становилась чище. Раз первая страница выполняла сейчас обязанности обложки, почти весь мой рисунок на ней стерся.

— Фу!

Мисс Прингл не благоволила моему приношению.

— Я к этому и прикасаться не буду, Маунтджой. Положи на мой стол. Так. Переворачивай страницы. Ну? Что-что ты сказал?

— Мисс…

Я принялся листать страницы на глазах затаившего дыхание класса.

Арифметика и лошадь, тянущая каток через городскую крикетную площадку. Несколько французских глаголов с ошибками — неоднократными. Телега на весах возле ратуши. Столбец одинаковых строчек, заданных в наказание: «Нельзя передавать записки в классе». «Нельзя…». Старенький «де хэвиленд» огибает облачную башню. Ответы на контрольную по грамматике. Арифметика. Латынь. Чьи-то профили. Пейзаж — скорее даже не зарисованный, а взятый на заметку, после чего детально проработанный в

символах моей собственной нотации. Ибо каким образом способен карандаш передать странную притягательность белой дороги, вьющейся по склону мелового холма в нескольких милях от тебя? На среднем плане — путаница из деревьев и бугров, которая влекла к себе глаз, и где мог потеряться заплутавший зритель. Эта был не просто эскиз, но работа, выполненная со всей тщательностью. И настолько личная, что я поспешил перелистнуть дальше.

— Постой! Назад.

Мисс Прингл перевела взгляд на пейзаж, затем вновь на меня.

— Ты почему так заторопился переворачивать эту страницу, Маунтджой? Хочешь что-то от меня спрятать?

Тишина.

Мисс Прингл проинспектировала пейзаж дюйм за дюймом. Я чуть ли не осязал возбуждение одноклассников, сейчас преобразившихся в бладхаундов, кровяных гончих, взявших след и жарко дышащих мне в шею.

Мисс Прингл выдвинула белый палец и, подпихивая торец черновика, заставила его повернуться так, что мои бугры, волнисто-изрезанные холмы и дремучий лес встали отвесно. Рука ее

стиснулась в кулак и отдернулась как ужаленная ударом хлыста. Она втянула воздух сквозь зубы, заговорила, и голос ее был глубок от благоговения и страстного гнева, от возмущения и признания меня виновным.

— Так вот оно что!

Она обратилась к классу:

— Дети, у меня был садик, полный прелестных цветов. Я с радостью трудилась в моем садике, потому что цветы были столь яркими и прелестными. Но я не знала, что там есть сорняки, слизняки, улитки и гнусные, мерзкие, ползучие гады…

Тут она переключилась на меня и зазубренной кромкой беспощадного голоса неожиданно полоснула по моей душе:

— Уж я позабочусь, чтобы об этом узнал твой пастырь, Маунтджой. А сейчас марш к директору!

Я торчал под дверью со своим черновиком, покамест мисс Прингл общалась с директором в его кабинете. Голоса были слышны; беседа продлилась недолго. Она выскочила и пронеслась мимо, а потом директор строгим голосом приказал мне войти.

— Дай сюда тетрадь.

Он был сердит, сомневаться тут нечего. Наверное, она излагала ему и так понятное: у нас тут-де совместное обучение, и такого рода вещи надо давить в зародыше. Думаю, он уже примирился с тем, что речь идет об исключении.

Директор перелистал всю тетрадь, помедлил, затем просмотрел ее повторно. Когда он заговорил вновь, его голос утратил прежнюю суровость, или, вернее, изменился, как если бы требовалось сохранить для виду некоторую резкость.

— Что ж, Маунтджой… И какая именно страница так возмутила мисс Прингл?

Да, пожалуй, все сразу. События сбили меня с толку, и я не знал, что ответить.

Он еще раз перелистал тетрадку. В голосе прорезались раздраженные нотки:

— Ну вот что, Маунтджой. Я спрашиваю: какая страница? Уж не вырвал ли ты ее, пока стоял за дверью?

Я помотал головой. Директор внимательно осмотрел прошивку тетради, убедился, что все листы на месте. Затем вновь взглянул на меня:

— Итак?

Ко мне вернулся дар речи:

— Сэр, вот она…

Директор склонился над тетрадкой, рассматри-

вая мой пейзаж. Было видно, что его внимание привлек запутанный центр. Взгляд пополз дальше, сверля бумагу среди холмов и деревьев. Наконец, он оторвался от этого занятия, озадаченно наморщил лоб, мельком глянул на меня, вновь перевел глаза на бумагу. И вдруг повторил то, что уже делала мисс Прингл: перевернул тетрадку так, что мои восхитительно округлые холмы оказались отвесными, а из них торчал причудливо-вихрастый клочок растительности.

Мы попали в пространство, которое сейчас я бы назвал хаосом. В чем была загвоздка, я не понимал и ничего не испытывал, кроме боли и изумления. Но и он, взрослый человек, директор, понимал не больше моего. Словно сделал шаг, а почва возьми да провались. Тут его что-то озарило, и знание немедленно развернуло перед ним целый ряд неразрешимых проблем. Но он был мудр, а посему сделал самое правильное в таких обстоятельствах, а именно ничего. Он позволил мне понаблюдать за своим лицом, на котором проявилось столь многое. Я увидел результаты его прозрения, хотя и не мог их разделить. Увидел ошеломленную догадку, невозможность с ней справиться и даже позыв к неудержимому хохоту.

Затем он шагнул к окну и некоторое время смотрел наружу.

— Ты ведь понимаешь, Маунтджой, что мы дали тебе черновую тетрадь вовсе не для того, чтобы ты в ней рисовал?

— Сэр…

— Мисс Прингл недовольна, что ты уделяешь так много времени своему карандашу.

С этим не поспоришь. Я ждал.

— Эти листочки…

Он обернулся и раскрыл тетрадь, чтобы что-то мне показать, но вдруг отвлекся на нечто новое. Речь шла о странице, на которой я нарисовал целую кучу людских фигурок. Кое-какие из них устояли и мне не поддались, но вот парочку-другую я изобразил неоднократно, сначала в деталях, затем упрощая, пока конечный результат, истекавший страстным посылом из карандаша, не подарил мне глубокого удовлетворения. Директор задрал очки на лоб и поднес тетрадь ближе.

— Да это же юный Спрэгг!

В этот момент хаос прорвался из моих глаз. Он был мокрым, теплым и неудержимым.

— Это что еще за новости!

Я охлопал карманы в поисках носового платка, но, понятное дело, его не было. Пришлось

воспользоваться моей яркой школьной кепкой. Когда я вновь прозрел, директор щипал себя за ус и выглядел потерянным. Вновь отправился подышать в окно. Мало-помалу я высох.

— Ну вот так-то лучше. Продолжай рисовать, только не слишком увлекайся. А тетрадку я, пожалуй, оставлю у себя. Да, и постарайся…

Он надолго умолк.

— Постарайся усвоить, что мисс Прингл с глубокой заботой относится к вам всем. Подумай о том, как ей угодить. Договорились?

— Сэр.

— И передай мисс Прингл, что я… хотел бы поговорить с ней на перемене. Хорошо?

— Сэр.

— А сейчас тебе бы лучше… хотя нет. Ступай. Иди прямо в класс. Я скажу, чтобы тебе выдали новую черновую тетрадь.

Я вернулся в класс с чумазым лицом и передал послание директора. Мисс Прингл не обратила на меня внимания, если не считать одного властного жеста выставленным пальцем. Так, понятно. За время моего отсутствия она приказала передвинуть мою парту. Сейчас мое место было возле стены, впереди всего класса, где я уже не смогу заражать других своим присутствием. Я опустился

на скамью и очутился в одиночестве, подставляя затылок волнам общественного порицания. С той поры я сделался к ним равнодушен и просидел на этом месте до конца четверти. В одиночестве познакомился со Стюартами. В одиночестве последовал за мисс Прингл из Гефсиманского сада.

Нынче я много чего понял про мисс Прингл. Священник у алтаря вполне мог бы взять себе в жены привлекательную и благочестивую женщину, но вместо этого предпочел укрыться в цитадели своего дома, поселив у себя ребенка из трущоб — ребенка, чью родительницу вряд ли можно считать человеком. Теперь понятно, до какой степени я досаждал: сначала своим присутствием, затем невинностью и, наконец, талантом. Но как могла она распять ребенка? Заявить ему, что отныне он должен сидеть отдельно, ибо не пригоден для общения, — и после этого, голосом, исполненным скорби за человеческую жестокость и порочность, излагать историю другого распятия? Сейчас я понимаю ее ненависть, но отнюдь не ее способность фамильярничать с небесами.

Но в тот первый день неведения и хаоса мы еще были заняты Моисеем. По моей душе прошлись бороной, так что Моисей интересовал меня уже

не так сильно.

— И вот, как свидетельство присутствия Господнего, увидел Моисей, что куст горит, но не сгорает.

Над головой грянул колокол, вещая об избавлении. Мы гурьбой поспешили на выход. Не зная, чего ждать после моей крестной казни, я направился в кабинет естествознания.

Там нас уже поджидал мистер Шейлс, Ник Шейлс, Дьявол Ник. Ему не терпелось начать. Свет исходил от его громадной лысой головы и толстых очковых стекол. Он вытер классную доску полой своей мантии, и вокруг него повис столб белой пыли. На лабораторном столе стояла какая-то склянка с гнутыми трубками, а сам он опирался костяшками пальцев о столешницу, наблюдая за тем, как мы карабкаемся по ступенькам между рядами скамеек лекционного амфитеатра.

Я не знаю лучшего учителя, чем Ник. У него не было какой-то особенной методики или преподавательского блеска; он просто владел картиной природы и страстным желанием ее передать. И кроме того, он уважительно обращался с детьми. Не в смысле признания детских прав на словах: эта мысль вообще не приходила ему в голову.

Дети были для него просто людьми, и он уделял каждому из них серьезное внимание, не отличимое от учтивости. Поддерживал дисциплину просто тем, что не видел необходимости ее насаждать. Вот и сейчас, нетерпеливо нас поджидая, он подготовил разбор некоего удивительного факта, всепоглощающей реальности, которая никогда не устает изумлять…

— Вам лучше вести конспект, потому что мы с вами попробуем это опровергнуть. Готовы? Итак, приступим. «Материя несотворима и неуничтожима».

Мы послушно строчили в тетрадках. Ник начал лекцию, призывая нас найти ситуацию, когда материя либо уничтожалась, либо создавалась.

— В морской раковине…

— Когда горит свечка…

— Во время еды…

— Когда вылупляется цыпленок…

Мы с готовностью приводили свои примеры. Мудро кивая, он разбивал их один за другим.

И при этом никто из нас не вспомнил про мисс Прингл и ее уроки, читанные буквально за соседней дверью. А ведь могли бы, наверное, хором проорать, что горящий да не сгорающий куст очень даже нарушает схему рациональной

вселенной Ника, которую он перед нами разворачивал. Но про мисс Прингл никто и словом не обмолвился. Выйдя из одной двери и войдя в другую, мы пересекли порог разных вселенных. Безо всяких усилий удерживали их в головах, поскольку — по само`й человеческой природе — ни одна из них не была реальна. Обе системы обладали внутренней непротиворечивостью… но не подсказал ли нам некий глубинный инстинкт, что вселенная вовсе не так уж готова подчиняться? Не он ли помешал нам обосноваться в любой из них? При всей образности, с которой мисс Прингл описывала свой мир, он существовал не здесь, а там.

Но и мир Ника не существовал в реальности. Он не был всеобъемлющ; всякий крохотный экспериментальный результат не умножался многократно, не заполнял собой вселенную. Если Ник сам проделывал такое умножение, мы наблюдали за ним с восхищением. Скажем, в качестве демонстрации законов тяготения он мог нарисовать нам картину светил, летящих своими путями, и тогда не наука, но поэзия заполняла его и нас. Его умозаключения на цыпочках тянулись к грандиозному звездно-арифметическому балу, но ни он, ни мы не глядели на небосвод. Минуло

время целого поколения, прежде чем я узрел разницу между воображаемой концепцией и раскинувшимся над головой полотном. Ник же полагал, что глаголет о вещах реальных.

Под стеклянным колпаком горела свечка. Вода поднималась и заполняла пространство, доселе занятое кислородом. Свечка погасла, но перед этим озарила вселенную, до того упорядоченную и разумно устроенную, что волей-неволей хотелось кричать: вот оно, решение всех вопросов! Если они и есть, то обязаны содержать в себе собственные ответы. В рациональной вселенной нет места неразрешимым вопросам.

Вера человека есть функция его сущности, а сущность эта частично обусловлена тем, что с этим человеком происходило. И все же тут и там, в этой мешанине побуждений, возникает явственный вкус картофеля, элемента столь редкостного, что в сравнении с ним урановый изотоп встречается в изобилии. Наверняка и Ник ведал этот вкус, коль скоро он был человек бескорыстный. Сын нищих родителей, едва не надорвавшийся, пробивая себе дорогу. Знание, таким образом, было для него самой большой ценностью. У него не имелось денег на лабораторное оборудование, так что все приходилось сооружать самому из

жести, гнутого стекла и эбонита. Его зеркальный гальванометр — воистину чудо хрупкости и чувствительности; а однажды он специально для нас воспроизвел северное сияние, редчайшей бабочкой затрепетавшее в стеклянной трубке. Ник не ставил задачи сделать из нас технарей: он хотел, чтобы мы поняли окружающий мир. В его космосе не было места для духа; и в результате этот космос на нем отыгрался. Он дал Нику любовь к людям, бескорыстность, доброту и чувство справедливости, которые влекли к нему всех и каждого, и в то же время позволил Нику проповедовать доктрину до ужаса рациональной вселенной, которую дети едва ли замечали. С наступлением перемены он не мог удалиться в учительскую из-за толпы школьников, обступавших его запачканную мантию, сыпавших вопросами, наблюдавших или — вопреки всякой логике и здравому смыслу — хотевших просто быть рядом. Он терпеливо давал разъяснения, в отдельных случаях откровенно признавался, что у него нет ответа, к любому стоявшему перед ним созданию относился на равных. Как и я, Ник вышел из трущоб, но только за счет собственного ума и воли. Никто его не вытаскивал, он вытащил себя сам, и его низкорослость была наследием

жизни впроголодь и многолетнего изнурительного труда. Он был социалистом, став им сгоряча, но его социализм напоминал скорее натурфилософию: логичную, ненавязчивую и до изумления элегантную. Он видел новую землю, не ту, где бы у него появилось больше денег и меньше работы, а ту, на которой мы, дети, могли бы ходить в столь же замечательные школы, как Итон. Он хотел, чтобы все богатство земли досталось нам и всем людям. Нынче, когда Британская империя распалась, при встрече с жителями той или иной жаркой страны, с триумфом заявляющих о том, что освободились самостоятельно, я порой вспоминаю Ника: шестьдесят лет тому назад он дал бы им независимость в ущерб себе. И при этом он ничем не владел; не пил, не курил и не обзавелся машиной. Вечно ходил в стареньком костюме из синей саржи и в черной мантии, изъеденной кислотой так, что напоминала сеть. Он отрицал, что за творением стоит дух, ибо сложнее всего обозреть то, что находится прямо перед глазами.

Эти двое, Ник Шейлс и Ровена Прингл, с годами вырастают за моей спиной все выше и выше. Ответственность возложена на меня, но то, каким я стал, частично зависело и от них; они как вмешивались в мои дела, так и вмешиваются.

Я не в состоянии понять сам себя, не разобравшись в них. Поскольку я глубоко размышлял над ними обоими, сейчас я уяснил о них кое-кто, о чем ранее и не догадывался. Я всегда знал, что мисс Прингл ненавидит Ника Шейлса; а нынче, раз уж мы с ней так схожи, я понял причину. Она ненавидела его потому, что быть добрым не составляло для него никакого труда. Эту многоуважаемую школьную училку с чистенькими пальчиками ели поедом ее собственные тайные желания и страсти. Какие бы плотины она ни возводила там и сям, неуправляемый и желчный поток ее природы прорывался наружу. Могла ли она от отчаяния и отвращения к самой себе не истязать самое себя всякий раз, когда истязала меня? А как, должно быть, она корчилась при виде Ника-рационалиста, за которым шествуют дети, словно он святой! Никто ее не любил, если не считать вереницы унылых девочек-подлиз, никчемных приспешниц. Пожалуй, она отчасти понимала, насколько зыбкой была ее случайно сбереженная девственность; может, иногда в сером свете до первого птичьего крика она видела себя в зеркале и знала, что не способна измениться. Но вот для Ника — рационалиста и атеиста — не существовало ничего невозможного.

На том уроке я нуждался в нем, но не как в учителе. Думаю, он заметил мое зареванное лицо, и это привело к обычной для него ошибке — проявлять сочувствие по неверно понятой причине. Видимо, он решил, будто мне в голову ударил контраст между моим статусом в пасторском доме и моей всем известной и почти что хвастливой незаконнорожденностью. Вот он и придержал меня после урока, якобы за тем, чтобы помочь убрать с лабораторного стола.

Но я ничего ему не рассказал. Был не в состоянии объяснить произошедшее. Тогда Ник взялся говорить сам. Он вновь вытер доску грязной мантией и сунул свои записи в стол.

— Нет ли у тебя новых рисунков, юный Маунтджой? Можно взглянуть?

— Сэр.

— Знаешь, что мне в них нравится? Очень удачно сходство.

— Да, сэр.

— Я про лица. Интересно, как тебе удается их рисовать? Я понимаю, что пейзаж вполне может потребовать какой-то доработки, но вот лица обязаны напоминать людей. А не лучше ли делать просто фотографии?

— Может, и так, сэр.

— Ну и за чем же дело стало?

— У меня нет фотоаппарата, сэр.

— М-да, конечно…

Мы закончили наводить порядок. Ник повернулся и уселся на свой высокий стул; я встал рядышком, опершись рукой на лабораторный стол. Ник не говорил ни слова, но в его молчании читалось благодушное одобрение и меня самого, и всех моих повадок. Он снял очки, протер их, водрузил на место и посмотрел в окно. Над горизонтом разворачивались щедрые ворохи туч, вот он и стал мне о них рассказывать. Эти напоминающие наковальни облака называются грозовым фронтом, там копится энергия. На сей раз он ради меня отошел от частностей к общему. Погода, надвигающаяся из Арктики, превращалась в великолепный, растянутый во времени балет исполинов. Когда он закончил, мы были с ним бок о бок, размышляющие об этом сообща, два равных друг другу человека.

— И откуда в людях такая жестокость? Откуда они берут на это время, в нашем-то мире? Войны, преследования, эксплуатация… Ведь я к чему клоню, Сэмми? Ведь столько всего надо увидеть… если угодно, мне — изучить, а тебе — нарисовать. Если все это отнять… скажем, у миллионера, он

отдаст все свои деньги, лишь бы хоть краешком глаза еще разок увидеть небо или море…

Я смеялся и кивал, потому что нам обоим это было донельзя ясно, а вот до других это почему-то не доходило.

— …помнится, когда я впервые узнал, что радиус-вектор летящей планеты покрывает одинаковые площади за одинаковые промежутки времени… мне показалось, что после этого армии должны перестать сражаться… в смысле… я, кстати, был примерно в твоем возрасте… в общем, они должны были понять, до чего нелепо тратить на это время…

— И они перестали? В самом деле?

— Кто?

— Армии.

Мало-помалу начинала сказываться разница между взрослым и ребенком.

— Нет. Не перестали. Боюсь, что нет. Когда делаешь такие вещи, то превращаешься в некое подобие животного. Сэмми, вселенная поразительно точна. Нельзя получить булочку, не отдав грошик. Принцип сохранения энергии действует как в физической, так и в ментальной сфере.

— Но, сэр…

— Что?

Ко мне пришло понимание. Его закон обрел размах. Я увидел, что он работает всегда и повсеместно. Зыбкой волной нахлынуло облегчение. Горящий куст еще сопротивлялся, и я тут же понял, в каком противоречии мы живем. Этот миг был для меня настолько важен, что я обязан рассмотреть его в деталях. На крошечную секунду оба мира сосуществовали бок о бок. Тот мир, где в силу моей природы обитал я — мир чудес, — усиленно тянул к себе. Отказаться от пылающего куста, воды из скалы, брения из плюновения — значит отказаться от частички себя самого: темной, устремленной вовнутрь и плодоносящей частички. Однако ж из того куста таращилась на меня одутловатая, веснушчатая физиономия мисс Прингл. А вот другой мир, холодный и рациональный, был родным домом дружескому лицу Ника Шейлса. Не думаю, чтобы здесь имелся шанс сделать выбор, обусловленный целесообразностью. Полагаю, что мой детский ум взвешивал между доброй и злой феями. Мисс Прингл опорочила свои же наставления. Она не сумела убедить — но не тем, что говорила, а тем, кем она была. Ник же убедил меня взять сторону его естественнонаучной вселенной тем, кем он был, а не тем, что говорил. Я на мгновение

завис между двумя вселенскими картинками, а затем волна окатила горящий куст, и я бросился к своему другу. В этот-то момент дверь за мной и захлопнулась. Я шваркнул ею о косяк — в лицо Моисею с Иеговой. И вновь постучаться в эту дверь довелось лишь в фашистском лагере, где я теснился к ней, наполовину рехнувшись от ужаса и отчаяния.

Здесь?

Нет, не здесь.

12

И все же будущее не целиком лежало в двух парах этих рук, потому как разлитому в нашей крови вину еще предстояло проявиться прыщиками и фантазиями о постели, в которой не спят, и в смешках, похабных смешках, изустных преданиях мелких городишек и поселков. Встречались такие словечки, которые цедили разве что ради вызова скабрезного смеха. Имелось и чувство ущербности, потому что Он — я то есть — не мог взять в толк причину всего этого гоготания; ему хотелось быть в курсе, знать дело с изнанки вместе с ее грязью; он алкал чувства социальной защищенности от принадлежности к племени, к тем, кто знает и ведает. Ну и, разумеется, здесь к месту, как отлично сидящая перчатка, пришлась бездушная Никова вселенная причинно-следственных связей. Я был смышленей Ника. Понимал, что если человек превыше всего, если он сам себе творец, то добро и зло побеждают большинством голосов. Нет поведения доброго или порочного: деяние либо обнаружат, либо оно сойдет тебе с рук. Вот отчего Он, покончив со своей увлеченностью Моисеем, пытался понять,

отчего два дня подряд вишни столь смехотворны, а иногда напоминают о молчаливой деревенской девушке Селине. Вот откуда взялся Он, слушающий Джонни и впервые принимающий участие в обсуждении злободневных сальностей. Внимающий мистеру Кэри на уроке истории и раньше всех разражающийся хохотом на ввернутое учителем крепкое словцо (за это ему, правда, влепили выводить полсотни строк о правилах поведения, но оно того стоило). Вписавшийся в струю, знаток и изобретатель грязи, ведущий скандалист в теплом, скабрезно хихикающем мире, родном доме.

Смотрящийся в зеркало.

Самого себя я считал крайне уродливым созданием. Глядящая на меня физиономия была всегда угрюмой и затененной. Черные волосы, жесткие черные брови — не пышные, а колючие как щетина. Черты лица выходят мрачными, когда я пытаюсь их изобразить и понять, что я на самом деле такое. Лопоухий, со скошенным лбом и подбородком. Сам себя ощущаю человекообразной и крепкой на вид тварью; не дамским угодником, но самцом.

А ведь мне хотелось быть девчонкой. Там, в мире иллюзий, где всегда существовали их юбки

и гривы, мягкие лица и опрятные животики. Но сейчас, когда вино разлито, сюда добавился и аромат тальковой пудры, и колыхание груди, и мерцание брошек в витринах «Вулворта», и округлые и шелковистые колени, и темная патока их киношных ртов, разверстых как раны. Я хотел быть одной из них и думал, что это желание уникально подобно самоудовлетворению и крайне постыдно. Как же я ошибался… Тяга к рукоблудию универсальна. Наш пол до конца не определен. Мне хотелось не столько оказаться «одной из них», сколько получить от этого удовольствие. А когда механика полового влечения прояснилась, я слишком хорошо осознал, к чему тянусь. Девичьи лица в моей тетрадке теснили все остальное. Соки бежали по жилкам. Амбивалентные и незрелые юнцы и юницы, мы провели три года в одном и том же помещении, безучастные друг к другу как анемоны на мокром камне. Нас будоражил прилив. Запах носился в воздухе, стекал с губ кинокрасоток. Мы поглядывали на противоположную половину класса, выискивая среди этих живых и реальных созданий намеки на те свойства, что заставили сойти лавину фильмов.

Ну а если б мисс Прингл обладала добротой и

притягательностью Ника? Молитва и созерцание остудили бы лихорадочный жар? Красота святости одержала бы верх над дешевыми духами и мерцающими, выдуманными лицами? Взялся бы я изображать все девять ангельских чинов?

Филип вообще не умел рисовать. На таких уроках он присаживался рядом, и по негласному уговору я быстренько выполнял его задание, после чего брался за мое собственное. Мисс Кертис, обучавшая нас старая дева, была женщиной благоразумной. Предпочитала не будить лиха, хотя и понимала, что творится кругом. То утро, что пришло сейчас мне на память, было ничуть не более примечательным, чем наша учительница, и все же именно она приободрила меня и этим расположила к себе. Мы рассаживались кружком, и в его центре ставили конус или шар на постаменте, порой моделью служил стул, порой скрипка, а иногда и всамделишная натурщица.

Так вот, в то утро нам позировала девушка, которую я немножко знал. Обычно она сидела с противоположной стороны класса, возле задней стены. Тихая как мышка. Я решил, что не буду ее рисовать, а вместо этого набросаю-ка лучше человечков, осаждающих средневековый замок. Но Филип ткнул меня в бок. Я взглянул на девуш-

ку и парочкой линий с растушевкой изобразил ее на бумаге. После чего вернулся к штурмовым лестницам.

Мисс Кертис взялась прохаживаться между партами. Я спустя рукава принялся набрасывать эту натурщицу. За моим решением не работать над предложенной моделью стояло, пожалуй, что-то необычное. Кто знает, может, я видел ее другими глазами или припомнил будущее? Пытался увильнуть от уготованной мне судьбы?

— Филип Арнольд? Ого!

Мисс Кертис стояла у нас за спиной, и мы синхронно обернулись.

— Да ведь это просто замечательно!

Она подалась вперед, взяла лист и скорым шагом направилась к доске. Все мальчики и девочки откинулись на спинки стульев и взглянули вверх. Натурщица покашливала и смущенно ерзала, пока мисс Кертис подробно разбирала рисунок. Филип сиял, а я досадливо грыз карандаш. Снова подошла мисс Кертис.

— Достаточно, Арнольд. Теперь просто подпиши.

Филип ухмыльнулся и черкнул свое имя. Мисс Кертис обратила на меня сияющий взгляд; на ее щеках играли ямочки.

— Если бы это было твоей работой, Маунтджой, я, пожалуй, сказала бы, что со временем из тебя выйдет настоящий художник.

Она отошла с легкой улыбкой, а я в изумлении уставился на осиротевший портрет. Вот так номер! В своей небрежности я до того удачно поместил девушку на бумагу, что результат побил все мои прежние трудолюбивые корпения. Линия бежала весело, свободно, властно. Каким-то маленьким чудом делала дополнительные намеки, так что глаза зрителя сами воссоздавали девичьи руки, хотя мой карандаш над ними и не работал. В стремительном вольном беге линия сотворила ее лицо, истончилась и оборвалась там, куда был открыт доступ лишь воображению, но не карандашу. Ошеломленный, возгордившийся, я перевел взгляд на оригинал.

Позади девушки, на стене, были вывешены яркие, цветастые репродукции — танцовщицы Дега, кое-что из итальянской архитектуры в стиле рококо, палладианский мост, — но своим присутствием она заняла их место и утихомирила крикливость. Яйцеклетка и сперматозоид постановили: да будет женщина, и этот знак отличия наполнил ее до мозга костей. Один из ее пальцев, оказавшийся на пути солнечных лучей,

просвечивал насквозь — как, наверное, и вся ладонь. Мне была доступна хрупкость ее скелета, височные впадинки напоминали изнанку цветочного лепестка. Я видел — давайте-ка я буду точен там, где точность невозможна, — итак, я видел в этом лице нечто неподвластное словам или карандашу. Скажу вот что: в моих глазах она была прекрасна. Ее лицо вобрало в себя и выражало всю сумму невинности без малейшей примеси глуповатости, вкрадчивость женственности, лишенной болезненной эротики. И еще я скажу, что, пока эта девушка там сидела, уронив руки на колени, залитая светом из высокого окна, она была самодостаточна, покорна и сладостно нежна. А теперь знайте, что ничто из сказанного даже близко не подходило к описанию сидевшей перед нами натурщицы. Лишь я один, обращаясь сейчас, через пропасть целого поколения, к призраку Ника Шейлса и дряхлому силуэту Ровены Прингл, могу заявить: в ее лице, вокруг свободной линии ее бровей я видел метафорическое сияние, которое, тем не менее, казалось мне объективным явлением, реальностью. С каждым новым мигом она вызывала все большее изумление, превращалась в вопрос, в выраставшую на моем пути гору. Еще до окончания того первого урока

я вполне мог сказать себе, что она всего лишь девушка со светлыми волосами и довольно милым выражением лица, но даже тогда я понимал, что все намного сложнее.

Насколько велико чувство? Где начинается и заканчивается боль? Мы живем как кривая вывезет, сталкиваясь с ситуацией, в которой приходится исполнять уже начатый танец. Я и раньше говорил, что наши решения продиктованы не логикой, но эмоциями. Мы обладаем разумом и при этом иррациональны. Сейчас-то легко пускаться в мудрствования на ее счет. Если я узрел тот горний свет, отчего же он не стал противовесом рационализму Ника? Но моя натурщица была из плоти и крови. Ее звали Беатрис Айфор, а помимо неземного выражения лица и нимба святости она обладала еще и коленками, иной раз обтянутыми шелком, и юными бутонами, вздымавшими ее блузку при каждом вздохе. Она принадлежала к числу тех редкостных девушек, которые никогда не бывают гадкими утятами, а, напротив, вечно отличаются грациозностью и большей уравновешенностью в сравнении со своими сестрицами. Они становятся ослепительным противоречием. Их неприкосновенные, безмятежные лики суть ангелы благовещения, и все же в их походке

проглядывает та самая канатоходческая манера держаться, которую отец Штокчем назвал бы Нечистыми Помыслами. Она была застенчиво-скромной без нарочитости. Напоминала всех прочих своих товарок тем, что сама была девушкой, но я видел в ней нечто уникальное, хотя в чем это выражалось, объяснить не могу. Чего-то в ней было гораздо больше… Она была неприкосновенной и недоступной. Происходила из семьи респектабельных торговцев, а теперь, когда уже рушился известный барьер, отграничивающий средний класс, когда течения сортировали нас на типажи, группы и временные парочки, она так и оставалась отсутствующей и невозмутимой. Никто бы не дождался от нее хихиканья или дружеской подначки. Ее глазищи, светло-серые и прозрачные, смотрели из-под длинных ресниц в никуда, на что-то невидимое, подвешенное в воздухе. Теперь я страстно покрывал листы ее профилями, однако сходство упорно ускользало. Мне так и не удалось воспроизвести ту вдохновленную легкость, что пришла благодаря удаче и безразличию. Все же мой шедевр лежал перед глазами, и Филип Арнольд уже накорябал свое имя в правом нижнем углу. Мисс Кертис нашла возможным позабавиться этой ситуацией. Когда

сей похищенный, или, если угодно, добровольно подаренный, портрет занял горделивое место на призовом конкурсе, она вылезла вон из кожи, расточая похвалы. Я достаточно долго негодовал, но затем мисс Кертис как бы невзначай обмолвилась мне, что там, откуда взялся этот рисунок, есть еще много чего другого. Но к моему ужасу и беспрерывному разочарованию, я никак не мог переложить суть Беатрис на бумагу, сколько бы ни тщился изучить эту девушку. Она была приятно удивлена портретом и подарила Филипу намек на улыбку, пронзивший мое сердце. И мне настала крышка. Ее нельзя было обойти, от нее некуда деться. Я оказался во власти маниакального влечения. Не знаю как, но я был обязан вновь изобразить ее со всем блеском — и это требовало серьезного изучения. Увы, от серьезного изучения объекта я лишь ослеп. Беатрис была пугающе важна, но когда дверь за ней захлопнулась, я не смог вспомнить ее лицо. Я не уловил ту особенность ее бытия, что придавала ей неповторимость. Я ее попросту не помнил. Оставалось лишь страдать. А потом, когда она появилась снова, мое спотыкающееся сердце увидело красоту, которая столь же юна, как и заря мира. Мой фантазийный мир был щедр на мечты.

Я хотел спасти ее от чего-то насильственного. Она блуждала по лесу, а я ее отыскал. Мы спали в дупле, она лежала в моих объятиях, такая близкая, уткнувшаяся лицом мне в плечо. А вокруг ее райских бровей струился свет.

Так, а теперь взглянем-ка, был ли возможен иной результат. К кому мог бы я заявиться с подобными излияниями? Ник с ходу отмел бы в сторону этот свет. Мисс Прингл добилась бы моего исключения из школы, опасаясь за своих квелых ябедниц. Рассказать Штокчему? Так ведь к этому моменту все в нем поблекло, включая колени. А раз ситуация по необходимости оставалась неизъяснимой, страдание было неизбежным и при этом бессмысленным. Беатрис-то ведь не замечала никакого света в моем лице. Приливы моей страсти и обожествления бились о ее отвернувшуюся щеку, и она никогда не оглядывалась. Я не мог сказать ей «я тебя люблю» или «а ты знаешь, у тебя лицо светится?». В отчаянной попытке вступить хоть в какой-нибудь контакт я стал паясничать и кривляться. Словно со стороны слышал свои глупые и грубые остроты и при этом был готов лобызать ей ноги.

Вот тогда-то она наконец меня заметила, лишь для того, чтобы подчеркнуто оставлять без вни-

мания, и я провалился в геенну. Щенячья любовь не хуже и не крепче любви взрослого, но она ничуть и не слабее. Она всегда безнадежна, раз уж мы приходим к ней с подветренной стороны экономики. Сколько лет было Джульетте?

Беатрис жила в нескольких милях от города и в школу приезжала на автобусе. Этот участок ландшафта приобрел существенное значение; любой факт о нем представлялся мне насущным. С ободранной кожей и новым знанием жизни я накручивал спирали вокруг ее поселка и вновь в испуге отступал. Что за тайны прятались за ее белым штакетником, я сказать не мог, однако ощущал их присутствие. Внутри и вокруг меня шла эмоциональная жизнь, странная как динозавры. Я ревновал Беатрис не только из боязни, что кто-то ее отобьет, но и потому, что она была девушкой. Ревновал ее саму к ее же существованию. А наиболее жуткое и отчетливо переживаемое чувство говорило: ну убьешь ты ее, так она от этого только силы наберет. Раньше меня пройдет сквозь врата и узнает то, чего я не знал. Жизненный прибой потемнел, повеяло штормом. Седой, разваливающийся человек в пастырском доме думал лишь про свою монографию о пелагиан-

стве[22]. Теперь, когда я приближался к нему, он уже не вздрагивал от повеявшего холода могилы, потому как стоял на ее краю. Что нас с ним связывало? А прочие взрослые в моем окружении — отчужденные и величественные, как истуканы с острова Пасхи, — мог ли я рассказать им о моем аде и впустить их внутрь? Да я и сегодня едва ли могу говорить о нем самому себе.

И вот в этом выгоночном питомнике я попытался принять решения насчет мира. Днем и ночью меня преследовал ужас, повседневно и повсеместно поминаемый непечатным словом. Внутри меня находился колодезь, откуда временами выплескивала потребность и неизбежность в самовыражении. Сейчас я умел с ходу, стремительной линией изобразить любое человеческое лицо — кроме одного, которое не удавалось вспомнить, — и сходство чуть ли не прыгало в глаза. Я даже решился обходным путем пообщаться с Беатрис. Подготовил для нее рождественскую открытку, которую рисовал с безнадежной заботливостью отчаяния, прораба-

[22] Примечания: 22

Учение британского монаха Пелагия (ок. 360 г. — после 418 г.), распространившееся в Средиземноморье и признанное ересью еще в V в. Отрицало наследуемую силу первородного греха, принцип благодати и детерминированности поведения, утверждая, что спасение человека зависит от его собственных нравственно-аскетических усилий.

тывая крошечные детали, после чего вновь рвал на клочки и упрощал с таким страстным напряжением сил, что махом проскочил сквозь всю историю изобразительного искусства, сам того не понимая. Багрянец и краснота превращались в летучие формы, в которых с громадным трудом выживало сине-белое нечто: бывшая, ныне расквашенная звезда. Черный, иззубренный зигзаг по центру моей картинки был профилем Беатрис, некогда выписанным с буквалистской, мертвой точностью, а теперь признавшим собственную символическую сущность. Позади сей варварской трещины в обыденности неописуемой мешанины схлестывались лавины красок. На что же я рассчитывал? Думал, что два материка способны общаться между собой на таком уровне? Неужели я не понимал, что напору моего прибоя не под силу всколыхнуть ее тихую заводь? Лучше б я набросал пару слов на бумаге: «Помоги мне!». И все ж после этих мучений я отослал ей свою открытку, не подписавшись, — странное, причудливое, исполненное гордыни противоречие! Ну и, разумеется, никакого отклика не воспоследовало.

Половое влечение, изрекаешь ты; а теперь, сказав это, где же мы очутились? Совершенство космоса мисс Прингл вышло ущербным из-за ее

собственной стервозности. Приземленность вселенной Ника была озарена его любовью к людям. Зов пола властно толкал меня сделать выбор и узнать. Однако ж я выбрал не материалистическое мировоззрение, а Ника. По этой-то причине истина представляется недостижимой. Я знаю собственную непоследовательность, потому как внутри забрезжила вера в рациональное, для которой у меня не было оснований ни в логике, ни в раздумчивом созерцании. Стены нашего дома образуют люди, а не философские системы.

Из алогично перенятой системы Ника я, однако, сделал вполне логичные выводы. Нет ни духа, ни абсолюта. Стало быть, вопрос о том, кто прав и кто нет, решается парламентарным путем, типа запрета на азартные игры или продажу спиртного после половины одиннадцатого вечера. Но с какой стати сидящий возле своего колодезя Сэмюэль Маунтджой должен следовать решению большинства? Отчего бы ему не дать добру свое собственное определение? Ник и не подозревал, что его этические взгляды перешли к нему от отца, сапожника-праведника. Из натурфилософии можно вывести лишь безнравственность, но отнюдь не нравственность. Запасы оптимизма и доброты, накопленные девятнадцатым

столетием, иссякли, не успев меня достичь. Я трансформировал непорочный, бумажный мир Ника. Мой мир был аморальной, дикарской ловушкой, куда безнадежно загнали человека, которому оставалось довольствоваться лишь тем, что есть и покуда можно. Но коль скоро я пишу все это для того, чтобы себя понять, а не ради самооправдания, надо присовокупить и те осложнения, из-за которых моя повесть вновь превращается в гиль. В ту самую секунду, когда я было решил, что добро и зло — понятия чисто номинальные и относительные, я почувствовал, увидел красоту святости и ощутил во рту вкус зла, подобный блевотине.

В год возмужания нам был преподан урок половой жизни, и поскольку в него были вовлечены те, кем мы отчасти восхищались, я вообразил, что теперь все понял. Мисс Мэннинг учила нас французскому. Ей было лет двадцать пять; флегматичная сдобная женщина с копной смоляных волос и ярко-пунцовым ртом. Учить-то она нас учила, но так, словно при этом думала о чем-то отвлеченном. Порой она по-кошачьи потягивалась и медленно улыбалась, как если бы находила и нас, и классную комнату, собственно обучение милыми, но в то же время смехотворными. Созда-

валось впечатление, что в каком-то ином месте она могла бы преподать нечто действительно сто`ящее, и я не сомневаюсь, что так оно и было. Нас, мальчишек, приятно будоражил клиновидный вырез между синими отворотами ее жакета и округлые шелковые колени, потому что то была эпоха коленок, и имела место известная конкуренция за стратегически расставленные парты, а мисс Мэннинг, как я понимаю, об этом не могла не догадываться. Она никогда не возмущалась, но и особой помощи тоже не оказывала. Словно все время говорила себе: ах, уж эти несчастные, ломкие девочки и не теряющие надежды прыщавые сорванцы! Потерпите, ребятки: вот-вот отомкнутся двери, и вы покинете этот питомник. Да и в самом деле, мисс Мэннинг была слишком привлекательной особой, чтобы вкладывать душу в работу.

Привлекательной ее находил и мистер Кэри. Мы считали, что все его существование было обусловлено двумя причинами — регби и латынью, однако сейчас убедились, что он делил с нами общий образ. Если во время проводимой им тренировки возле боковой линии появлялась мисс Мэннинг, его, как и нас, тут же охватывало стремление показать верх молодцеватости. О, с

каким пылом мы кидались в драку за мяч! И до чего парящим, легким и нисколечко не вдохновленным присутствием мисс Мэннинг становился наш бег, когда мы устремлялись к центру поля, занимая места перед вводом мяча в игру! Но и мистер Кэри брался за нас всерьез, а заодно демонстрировал свой коронный номер, швыряя мяч настоящей торпедой, проскакивавшей мимо форвардов до зачетного поля и способной принести сразу три очка. А вообще-то столь бурная деятельность мистера Кэри несколько озадачивала, раз уж у него имелась жена с младенцем. Мужчина он был мясистый, светловолосый, краснолицый и потливый… а может, все дело в регби, хотя моя память утверждает, что он и впрямь постоянно потел. Раньше он преподавал в небольшой частной школе, а его латинский значительно уступал навыкам в регби. Получить место ему, несомненно, было бы нелегко, кабы не одно обстоятельство: наша школа только что переключилась с футбола на регби, так что с нами ему серьезно повезло. Мисс Мэннинг, однако же, зачастила к нашей площадке, тщательно следя при этом, чтобы не перемазать туфельки. Ах, с какими смешками и заботой помогал ей мистер Кэри обойти особенно пачкотный клочок поля!

Игра при этом останавливалась, а он вился вокруг мисс Мэннинг, хохоча во все горло и изрыгая тучи пара в ноябрьский воздух. Демонстрировал ей мужественное великолепие цветов своего клуба, а она отзывалась ему томной улыбкой.

Смотрителем в нашей школе подвизался отставной солдат-пропойца, гонявший нас с газона, покамест мы были маленькими, и ведший с нами беседы «за жизнь», после того как нас обметало прыщами. Как раз неподалеку от школы имелась пивная, и когда он возвращался после обеденного перерыва, первыми о его приближении, словно королевские герольды, возвещали спиртные пары. Он разглаживал седые армейские усы и принимался рассказывать о бое с вражеской конницей, который он принял с дистанции в две тысячи ярдов; демонстрировал шрам, полученный во время службы на северо-западном рубеже. Чем больше он потреблял пива, тем воинственней становился. Этот подъем боевого духа шел параллельно приросту раздражительности. Обычно он возражал против мазей и губной помады, а прилично набравшись, объявлял противоестественными короткие юбки в парламенте. Круглые, вихрастые, «мальчуковые» дамские стрижки — хотя, по-видимому, отнюдь

не наголо бритые черепа — искушали Провидение и являли собой одну из причин разложения нынешней армии. Он был приверженцем штыка, мистера Болдуина[23] и в целом подхода «нечего тут миндальничать».

В то время, ноябрьское время с его короткими деньками, промозглостью и слякотью, его мучило беспокойство. Что-то такое не шло с ума. Косноязыкий от пива, изливающий желчь в наши увлеченные лица сквозь усатый рот, желтушные глаза и фыркающие, испещренные венозными прожилками ноздри, он давал понять, что если б позволили ему сказать хоть слово, наши матери перевели бы нас в местечко почище. Есть такие вещи, о которых молокососам знать еще не пристало. Так что нечего лезть с расспросами, Маунтджой. Ясно?

Его до того распирало желание проговориться, что мы сами завелись и в лихорадочном возбуждении пустились строить домыслы и предположения. Так просто ему не отделаться. Наши крылышки коснулись этого меда и увяз-

[23] Примечания: 23

Стэнли Болдуин (1867–1947) — премьер-министр Великобритании, консерватор правого толка. Проводил политику подавления рабочего движения, разрыв дипотношений с СССР (1927), попустительства экспансии фашистской Германии.

ли. Мистер Кэри и мисс Мэннинг были нашими Адамом и Евой, сексом во плоти. Это волнение носило чисто мужской характер, утаивалось от наших незрелых девчонок, было знанием, колдовским блеском, жизнью. В большую перемену учителя дежурили, присматривая за учениками: мужчина за мальчиками, женщина за девочками — но кто же усторожит самих сторожей? И разве удивительно, что наш Бенджи, проверявший школьную котельную или что-то в этом духе, наткнулся на них, сам оставшись незамеченным? Но в том-то и дело, что сейчас у него на руках оказалась этическая проблема. Что делать? Поставить в известность начальство? Вот что не давало ему спать и толкало к выпивке. В чем состоял его долг? Сказать или не сказать?

Похоже, имелся лишь один способ вкатить сизифов камень этого кризиса на гору. «Да! — заорали мы, побуждаемые добродетелью даже более сильной, нежели у нашего смотрителя, — ну конечно, рассказать!». В конце концов, только этого не хватало, кричали мы, упиваясь собственной добродетелью и возбуждением. Мисс Мэннинг! Сдобная, сочная мисс Мэннинг! И мистер Кэри, распалившийся и краснорожий!

Когда Бенджи наконец-то решился, пятеро из

нас прокрались вслед за ним. Затаились в пустынном коридоре, а он постучал в дверь кабинета и вошел. Прошло минут десять, ожидание затягивалось, но у нас не хватало смелости притаиться под дверью и подслушать. Но вот она распахнулась, показался Бенджи; пятясь задом, с кепкой в руках, он продолжал разглагольствовать. Тут вышел и директор, пытавшийся его урезонить. Но Бенджи громогласно кипел от негодования:

— Да я сто раз готов это повторить! По мне, будь они хоть женаты, все равно хуже не придумаешь!

И тут директор нас заметил. Думаю, он отлично понимал, отчего мы сюда заявились и чем именно интересуемся. Я по крайней мере ожидал, что он на нас наорет, однако ж директор промолчал. Просто стоял с понурым видом, словно потерял какую-то вещицу. О, наш директор был далеко не дурак. Он знал, когда про скандальную весть можно забыть, а когда она успела облететь слишком много ушей.

Все оставшиеся дни мистер Кэри и мисс Мэннинг были для нас наиболее любимыми и достойными восхищения преподавателями. Не просто учителями: они достигли статуса настоящих взрослых — тех, кто грешит. Сделались нашими

кинозвездами. Сидя у ног мисс Мэннинг, мы внимали ей самозабвенно, как если б она заботилась о нас настолько, что была готова поведать все тайны жизни. Что бы она ни сказала, мы бы все приняли на веру, и в этом кроется очередное противоречие. На ее последнем уроке мы следили за ней затаив дыхание, лишь бы увидеть наконец хоть какой-то признак, след пережитого опыта. Но копна смоляных волос, клиновидный вырез, медленная томная улыбка и широкий пунцовый рот оставались прежними. Шелковые колени ничуть не изменились. Один раз она помассировала свою ногу, начиная с колена, ведя рукой сверху вниз, вытянув голень и оттянув носок, пропуская шелковую змейку сквозь полусомкнутую ладонь, пока не стало казаться, что она способна до такой степени обузить свою ножку, что сможет продеть ее сквозь колечко. Тут урок подошел к концу, мы встали, и она отпустила нас фразой, звучащей странно в устах человека, которому предстоит исчезнуть навсегда:

— Eh bien, mes amis, au revoir![24]

Итак, они ушли — и тот и другая, — и учительский штат вновь стал серым и тусклым. Мир

---

[24] Примечания: 24
Что ж, друзья мои, до свидания! (*фр.*)

на несколько дней сделался невыносимым для мисс Прингл: голова запрокидывается, звучат горестные вздохи, однако, когда я решил было воспользоваться ее якобы рассеянностью, она обдала меня яростью, словно языком пламени из паяльной лампы. Ник же отреагировал иначе. Подвел меня в первый и последний раз в своей жизни. Я набрался смелости и задал ему осторожный вопрос насчет секса и так далее, понукаемый собственными фантазиями, размышлениями о мисс Мэннинг и Беатрис, желанием сделаться девочкой и опасениями, что этим я сам себя гублю.

Ник резко меня оборвал. Затем заговорил, багровея лицом и не отводя глаз от кипевшей в колбе воды:

— Я верю лишь в то, что могу пощупать, увидеть, взвесить и обмерить. Но если бы человека изобрел сам дьявол, даже он не смог бы сыграть с ним более грязную, мерзкую и позорную шутку, наделив половой жизнью!

Вот оно что. «Будь они хоть женаты, все равно хуже не придумаешь!» И хотя я заработал очки среди своих приятелей, заявив, что Бенджи ошибся, надо было сказать «…лучше не придумаешь», я все-таки взял падшего ангела на заметку. В моем чрезмерно восприимчивом уме секс рядился в

роскошные цвета, сияющие и зловещие. И тем самым я угодил в искрящуюся сеть подобно тутовым шелкопрядам, когда они в кишащем рое бьют друг дружку гибкими тельцами и извергают розовый мускус соития. О мускус, постыдный и пьянящий, стань моим благом. Окропи Беатрис, которая ничего об этом не знает, ничего об этом не думает; замкнутую и невозмутимую Беатрис, отделенную многими годами от будущего и полуневозможного соития, да еще с другим мужчиной. И если человек всего лишь животное, то мускус должен стать моим благом, раз уж он есть образцовое мерило для всех животных. Тот самец воистину велик, кто держит самое большое стадо для себя одного. Не надо говорить нам, что мы — высшие животные, и после этого ожидать от нас одну лишь пылкую преданность молодняку, стадный инстинкт, наивно рассудив, что жеребец-производитель не станет воинственно лягаться. Что же касается светового нимба по-над бровью, свечения нескончаемого утра в лоне Авраамовом, так это все иллюзия, побочный эффект. Не обращай внимания. Забудь, если сможешь.

Вот так я продвинулся в мир парней, где обитали Меркуцио, Валентин и Клавдио, и счел

вменяемый мне грех за повод изобрести преступление, соразмерное с наказанием. Я виновен, следовательно, буду грешить. А ежели не смогу подыскать гениальные преступления, то хотя бы навру, что приложил к ним руку. Вина предшествует преступлению и способна толкнуть на него. Мои притязания на порок были байроническими, и Беатрис делала вид, что ничего не замечает.

А затем пришло время мне уходить. Беатрис решила поступать в педагогический колледж в Южном Лондоне, где из нее сделали бы учительницу. Я же нацелился на художественное училище. Четко сформированного желания преуспеть я не испытывал. Попугайничал броскими партийными фразами, потому что в тогдашнем обществе человек питал иллюзию перманентной свободы, антитезы свободе монастырской. На прощание мы получили свою порцию напутствий. Отчего-то построив фразу на церковный лад, Ник сказал мне: «А если длань твоя найдет себе занятие, яви всю силу мышцы своей».

Почти то же самое сказал и директор, хотя на это ушло больше времени:

— Готов в путь-дорогу, Сэм?

— Да, сэр.

— Пришел за словами мудрости?

— Я уже попрощался со всеми остальными.

— Совет — штука опасная; а вдруг ты его запомнишь?

— Сэр?

— Присядь-ка на минуту, мальчуган, и не ерзай. Вот так. Покуришь?

— Я…

— Взгляни на свои пальцы и не выдумывай. А пепел вон в ту урну.

Внезапный, необъяснимый порыв.

— Хотел бы за все поблагодарить вас, сэр.

Он отмахнулся сигаретой.

— Что же мне тебе сказать? От Гнилого переулка ты уйдешь далеко.

— Спасибо отцу Штокчему.

— В какой-то мере.

Он вдруг обернулся ко мне всем корпусом.

— Сэм. Мне нужна твоя помощь. Я хочу… понять, чего ты ищешь. О, ну конечно, я все знаю насчет партии, это продлится годик-другой. Но для тебя лично… ты ведь художник, прирожденный художник, хотя один бог ведает, отчего или как так вышло. Столь явно одаренных я еще не встречал. И все же эти портреты… разве они тебе не важны?

— Пожалуй, нет, сэр.

— Но ведь… неужели для тебя нет ничего важного? Нет-нет, постой! Оставим партию в стороне. Здесь и толковать не о чем. Я, Сэмми, придерживаюсь умеренных взглядов. Но вот лично для тебя… И впрямь нет ничего важного?

— Не знаю.

— У тебя талант, и ты даже не задумался, важен ли он? Послушай-ка… Нам ведь не надо больше притворяться, верно? Ты настолько выделяешься своим исключительным талантом, как если бы родился шестипалым. Мы с тобой это прекрасно понимаем. И я тебе вовсе не льщу. Ты бесчестен, себялюбив и… и так далее. Согласен?

— Сэр.

— И тебе не важен твой талант?

— Нет, сэр.

— И ты не испытываешь счастья?

— Нет, сэр.

— Вот уже несколько лет, я не ошибся?

— Нет, сэр.

— Счастье не для тебя. Попомни мои слова. Пусть другие ищут свое счастье. Это экзерсис для пятипалых.

Он поднял правую ладонь и пошевелил пальцами.

— Значит, сами по себе твои портреты не важны. А может, они — инструмент для достижения некой цели? Нет. Диктатуру пролетариата забудь. Итак, что это за цель?

— Не знаю, сэр.

— Но ведь тебе хотелось бы прославиться, разбогатеть?

Наступила моя очередь поразмышлять:

— Да, сэр. Это было бы неплохо.

Он вдруг издал спазматический смешок.

— Другими словами, тебе на все плевать. И я еще должен давать тебе советы. Нет уж. Прощай.

Он отобрал мой недокуренный бычок и пожал руку. Но не успел я прикрыть за собой дверь, как в нем очнулся неисправимый директор и вернул меня с порога:

— Я тебе вот что скажу… Может статься, это тебе пригодится. На мой взгляд, тут чистая правда, причем могучая и, стало быть, опасная. Если ты всерьез чего-то захочешь, то всегда сможешь этого добиться, но лишь в обмен на соответствующую жертву. Не важно какую. Но учти: ты получишь не вполне то, на что рассчитывал; а рано или поздно о принесенной жертве начинают сожалеть.

Я ушел оттуда и из школы в разгар лета. Каза-

лось, что предо мной распахнулся мир, хотя на деле я одну опеку менял на другую. Не возвращаясь в пасторский дом, я покинул город и направился к меловым холмам, где, прилепившись к подножию косогора, вдоль реки раскинулся лес. Охваченный внезапным возбуждением, я полез в гущу папоротника, словно где-то там таилась разгадка.

Даже дикие голуби, и те взялись помогать, раз за разом напевая танцевальный мотивчик. «Знали б вы Сьюзи» неслось из их зеленых пентхаусов, и весь лес, папоротники, мухи и не внесенные в каталоги мошки, зайцы-барабанщики, бабочки, коричневые, синие и белые… все они сладострастно бормотали: мускус — величайшее благо величайшего сонмища. Просветы между стволами, заполненные пурпурно-синим набрякшим небом, превратились в причудливые, чуть ли не в дюйм толщиной фрагменты витражного стекла, до которых было рукой подать. Вайи рослого папоротника щекотали мне горло, стебли хватали за бедра. Из всего живого сыпалась пудра, пряность, от которой загустел самый воздух на моем пути. В цокольном этаже леса, среди наносов сухой листвы и трескучих ветвей, я увидел в знойном воздухе то, что считал для себя важным,

а именно белое, нетронутое взглядом тело Беатрис Айфор, ее покорность, мое на веки вечные попечительство о ней… а за ту боль, что она мне причиняла, — ее предельное унижение по эту сторону гробовой доски.

Должно быть, в тот вечер за меня разыгралось нешуточное сражение. Всему свое время, и я наконец понял, что настал и мой день. Ибо у меня отобрали пряности лесного лога, я взмок до липкости, пробираясь к запруде, где круглый год дрожат под водой голыши и дергаются, подныривают, кружат заякоренные кувшинки. И чтоб не оставить места сомнениям, я сейчас вижу, что ангел при райских вратах держал свой меч между мной и пряностями. Он дунул, подобно своему хозяину, на воду под запрудой, и мне почудилось, что вода меня ждет. Я сорвал покровы, нырнул и всей кожей, с головы до пят, ощутил плотное и гладкое вместилище всех моих сокровищ. Сейчас я ведал бремя и образ мужчины, его накал, его многоликую тьму. Я узнал, что способен стрелять глазами, держаться непоколебимо, изливать собственное семя из основания крепкого хребта. Облачившись и остыв, сдержанный как приснодева, я покинул ниспосланные провидением воды и взошел на холм. И там уже были звезды,

крупные глянцевые светила, воткнутые по очереди как канцелярские кнопки. Я сидел между землей и небом, между скитом и улицей. Воды исцелили меня, и во рту чувствовался вкус картошки.

Что для тебя важно?

— Беатрис Айфор.

Она думает, что ты уже растлен. Ты ей неприятен.

— Если я всерьез чего-то захочу, то всегда смогу этого добиться, но лишь в обмен на соответствующую жертву.

И чем именно ты пожертвуешь?

— Всем.

Здесь?

13

— Мистер Маунтджой? По договоренности? Минуточку, сейчас узнаю.

Слева вздыбился оскаленный, взбешенный лев с налитыми кровью глазами. Еще левее вокруг обрубка полированной ветви обвился питон. Но где же самое главное, где козел? Я порыскал взглядом, пока регистраторша говорила по телефону. Ага, вот он, африканский, с рогами из кошмарного сна и пожелтевшими от похоти глазными белками. Мне пришло в голову, что я лишен не просто крыши над головой, но и самой почвы под ногами. В этом доме производили окончательный расчет. Здесь прошлое не выстраивалось вереницей айсбергов, севших на отмель у некоего персонального берега. Это угрюмый дом воздаяния по факту. Зайди в сторожку, где привратниками служат набитые чучела льва, питона и козла. Обозри свой собственный эксперимент.

— Мистер Маунтджой, доктор Энтикотт пока занят, но просит вас пройти к его кабинету. Дорогу знаете?

— Боюсь, мне еще ни разу… словом, нет.

Регистраторша показала на схеме. «Ну что вы, рада была помочь...» Знающая, по-деловитому предупредительная, безразличная. Привыкшая иметь дело с бьющей через край радостью и болью.

Сам участок практически не изменился. Кедр выжил, и каждая из ветвей достигала уровня воды, отмечая его плавающими листьями. Да и сам особняк в основном остался прежним, разве только чуть скукожился. И там, вытянувшись от моих ступней вдоль тыльной стороны, пролегала терраса, где церемонно вышагивал тогдашний человек. Мы с Джонни прятались, должно быть, вон за теми запущенными кустами. Впрочем, повсюду, как грибы, успели расползтись новые постройки, низенькие и утилитарные. Широкую лужайку прорезали бетонные дорожки, истертые и в трещинах, хотя их укладывали уже после нашего непрошеного визита. В плену я пробыл так долго, что нынче на территории английского госпиталя, да еще в какой-то сотне ярдов от моего собственного дома, я не решился сойти с дорожки, а посему выписывал зигзаги по всей лужайке, покорно следуя бетону. Сад содержался не хуже любого общественного, а дышалось здесь так, словно ты очутился на вершине холма. И

тем не менее на всем — и на особняке, и на саде — лежала печать казенщины, серости лагеря для военнопленных. Под деревьями рука об руку прогуливались две дамы. Посреди лужайки неказистой статуей торчала одинокая фигура ко всему равнодушной женщины, для которой остановилось время, когда она уперла руки в боки.

Кабинет Кеннета оказался пуст, если не считать оливковых картотечных шкафов, бумаг, ручки, пресс-папье, чернил и кушетки для доверительных бесед. Добротный, просторный кабинет, деловой и приятный, если бы он находился в каком-то другом месте.

Он вошел за моей спиной.

— Привет.

— А, вот ты где.

Но это был иной Кеннет: не тот шумный говорун с вечеринок, чудесный рассказчик и симпатизировавший мне обожатель Тэффи. В нем от Кеннета было столько же, сколько во мне от Сэмми, вальяжничающего в свободных брюках и свитере. Здесь мы встречались официально, в костюмах и сдержанно.

— Присаживайся…

Мы посмотрели друг на друга через стол, и я заговорил первым:

— Наверное, это… за рамками правил?

— С чего ты взял?

— Я ведь не родственник.

— Да ведь и у нас тут не гарем.

— Так я могу ее повидать?

— Разумеется. Если она не против.

— Отлично.

— Тэффи будет попозже?

— Она не придет.

— Но она же говорила…

— А зачем ей приходить?

— Так ведь… она же сказала… хочу, мол, повидать мисс…

— Быть не может!

— Да, она говорила, что мисс как там бишь ее — ваша общая подруга…

— Так и сказала?

— Ну конечно!

— Сегодня вечером она занята своим винным мероприятием. Ты ведь тоже заглянешь?

На его лицо набежало разочарование. Он покрутил в руке карандаш и швырнул его на блокнот.

— Что ж…

Стало быть, Тэффи пустилась на дипломатическую уловку. Куда проще, если б мы оба были знакомы с Беатрис. Протянутая рука помощи.

— Пожалуй, она могла бы навестить мисс Айфор позже.

Кеннет скорректировал выражение лица.

— Конечно, конечно.

Выходит, эти лечебницы вовсе не обязательно служат парниками гуманизма и понимания ближнего твоего. Здесь можно пройти целую практику и ничему не научиться.

Кеннет подскочил, распахнул шкаф и достал оттуда пачку бумаг. Перелистал их, придавая лицу выражение, на его взгляд, уместное для медика: сосредоточенность и чувство ответственности. Впрочем, победила молодость, и нацепленная маска оказалась немаркированной. Он бы сошел за моего сына.

— Что ж, когда я смогу ее увидеть, Кеннет?

Он дернулся.

— Да хоть сейчас.

Приуныл слегка. «Выходит, он и впрямь заявился повидаться с ней, а не со мной, а Тэффи с ним не пришла, я ей неинтересен…»

— Итак?

Он резко поднялся.

— Пошли, раз такое дело.

Я встал и пристроился следом. Ноги вели себя послушно, зато голова обдумывала странные

вещи и тяготела к мятежу. Мелькнула мысль, что следовало бы устроить паузу и собраться с силами. Умыть руки. Направить размышление вверх по реке времен, лечь на курс к моменту последней нашей встречи. Но фарватер извилист, а Кеннет влюблен в Тэффи, и этот комплекс полуостровом выдается в океан причин и следствий, имя которому Беатрис и я.

— Сюда.

Получается, она в главном корпусе, то бишь в генеральском особняке, доме блаженных счастливчиков.

— Через ту дверь.

Вот, вспомнил. Это случилось тем утром, когда я, пробродив всю ночь, пришел к педучилищу, тем утром, когда я впервые сделал вид, будто вот-вот рехнусь. Я помню, что она сказала. «Сэмми, никогда больше не говори таких вещей».

Но ярче всего запомнился ее ужас.

— Минутку.

Кеннет остановился и завел разговор с медсестрой. Сделал он это, чтобы произвести на меня впечатление подобострастными «да, доктор Энтикотт», «нет, доктор Энтикотт». Я не так уж знаменит, Сэмми, но цену себе знаю.

Разве ты не видишь, что я по горло во льду на

своем отрадном холме?

— Вот мы и пришли, мистер Маунтджой. Пожалуй, мне лучше войти первым.

Тон формальный: работа есть работа.

Палата просторная, наверное, бывшая гостиная с нависшим лепным потолком, размеченным тусклыми полосками пыли, — напоминает рисунок притиранием по рельефной бронзе или древесной коре. Три высоких окна слева от нас слишком громадны для частого мытья, так что хоть они и пропускали свет, он был разбавлен. Ни картин, ни драпировки, пусть даже светло-зеленые стены и вопиют о них. Да и вообще маловато тканей. Кое-где расставлены громоздкие круглые столы, кресла, а у дальней стены приткнулась парочка диванов.

Там и сям, столь же случайным образом, как и мебель, разбросаны женщины. Одна держала клубок пряжи. Другая застыла у среднего окна, противоестественной неподвижностью напоминая статую на лужайке. Медсестра отлично знала все закоулки этого аквариума. Лавируя между столами, она по диагонали проплыла вперед и вправо, в самый темный угол.

— Мисс Айфор.

Нет.

— Мисс Айфор! К вам пришли.

Кто-то сидел в кресле перед диванчиком. Смотрела она на стену справа, уронив руки на колени. Как натурщица. Жидкие желтоватые волосы подстрижены под мальчика, открывая взгляду форму черепа, прямую вертикаль. Я вспомнил, как порой, погрузив ладонь в густую гриву, поддерживал этот затылок; а сейчас, в свете дня, мне предстала стриженая истина. Высокий лоб был параллелен затылочной вертикали, так что голова занимала совсем мало места — теперь, когда исчезло главное украшение, я видел это отчетливо.

Кто-то из женщин начал издавать звуки. Раз за разом, одно и то же, как плач камышевки на болоте.

— Хай-ип! Хай-ип! Хай-ип!

Никто не шелохнулся. Беатрис сидела, уставившись в стену, разглядывая пустоту. Лицо скрыто тенью тела, но казенная стена отражала немножко света, позволяя различить кое-что из лепнины черт. Лицевые кости уже не проглядываются. Плоть спрятала их под одутловатыми валиками… а может, это сами кости так оплыли? Суставы пальцев распухли, отекло и туловище под зеленым платьем, оставив прежним лишь рост.

Странным зудом отозвались мои руки. Они словно набухали. Палата слегка дрожала, как если бы под ней проходил туннель подземки.

Я разлепил губы:

— Беатрис!

Она никак не отреагировала. Медсестра ловко вынырнула из-за моего правого плеча и пригнулась.

— Мисс Айфор! Дорогуша, к вам посетитель!

— Беатрис!

— Мисс Айфор!

— Хай-ип! Хай-ип! Хай-ип!

Какое-то движение, легкий клевок всем корпусом. Беатрис оборачивалась. Судорожными толчками подобно фигурке на часах кафедрального собора. В туннеле мчался экспресс. Рывок за рывком Беатрис развернулась на девяносто градусов. Спиной ко мне.

Кеннет тронул меня за руку.

— Пожалуй…

Но медсестра знала что к чему в этом аквариуме.

— Мисс Айфор? Вам разве не хочется поговорить с вашим гостем? Ну-ка, потихонечку…

Она обняла сидящее тело за плечи и подхватила под локоть.

— Вот так, дорогуша!

Спазм, рывок, толчок.

— Хай-ип! Хай-ип! Хай-ип!

Тело повернулось анфас. Могильные ямы глазных впадин тряслись словно старческие руки.

— Ну что же вы, милочка, поздоровайтесь! Мисс Айфор?

— Беатрис!

Она начала подниматься, не разнимая судорожно сжатых рук. Рот открыт, дрожащие глаза смотрят на меня сквозь мои слезы и пот.

— Вот и умничка!

Беатрис обмочила себе подол, ноги, тапочки и мои башмаки. Брызги во все стороны, лужа разливанная.

— Ах, мисс Айфор, дорогуша, какое безобразие… ах, как нехорошо!

Кто-то держал меня за локоть и плечо, разворачивал в сторону.

— Мне кажется…

Кто-то вел меня, помогая преодолеть акры голого пола. Носились и рыдали болотные птицы.

— Ниже голову!

Я до сих пор чувствовал ее запах на собственных башмаках и штанинах. В затылок давила

рука, не позволяя разогнуться. Ниже, ниже, еще ниже, прямо в этот смрад.

— Ну как, теперь получше?

Слова отказывались формироваться. Я видел их образы, слышал их молчание, но не мог вытолкнуть их языком.

— Еще чуть-чуть, и станет легче.

Причина и следствие. Закон следования. Статистическая вероятность. Нравственный закон. Грех и раскаяние. Все это правда. Оба мира сосуществуют бок о бок. И сливаются во мне. Нам приходится держать ответ в обоих мирах сразу. Лицом в зловонии.

— Ну вот.

Затылок освободился. Теперь две руки, по одной на каждом плече, потянули меня назад. Я влился в кресло.

— Чуток посиди спокойно.

Мысли разбежались прочь по длинным коридорам, вернулись, изобразили Кеннета за письменным столом и открыли мне глаза. Так и есть, вот он. Дарит мне профессиональную улыбку ободрения.

— Тут пока не привыкнешь, и впрямь не по себе.

Я заставил свой рот взяться за работу.

— Пожалуй.

Сейчас я уже возвращался в собственное тело и слышал шарлатанскую болтовню Кеннета. Впрочем, он мне нужен за кое-каким делом. Я пошарил в карманах и нашел сигарету.

— Можно?

— Да, конечно. Так вот, как я уже говорил…

— Надежда есть?

Он наконец-то смолк.

— В смысле, ты можешь ее вылечить?

Очередная порция терминов. Шаманизм.

— Кеннет, послушай. Ее можно вылечить?

— На текущем этапе наших знаний…

— Можно ли ее вылечить?

— Нет.

От башмаков поднимался запах нечищеных яслей. Мейси, Миллисент, Мэри?

— Кеннет. Я хочу знать.

— Да?

— Что именно привело ее…

— А!

Он сцепил пальцы и откинулся на спинку кресла.

— Во-первых, ты должен помнить, что нормальность есть состояние, определяемое достаточно произвольно…

— Слушай, мы говорим о ее жизни! Так отчего она сошла с ума?

Кеннет досадливо фыркнул.

— А ты разве не знаешь? Может, ни от чего.

— То есть… она стала бы… такой… в любом случае?…

Нахмурившись, он взглянул мне в лицо.

— С чего ты взял «в любом случае»?

— Да ради всего свя… Послушай-ка. Может, что-то все-таки случилось, и вот она…

Он озадаченно похлопал глазами, порылся в папках со скоросшивателями, нашел нужную, откинул крышку, присмотрелся, полистал страницы, принялся бурчать:

— Так, наследственность. Ага. Понятно. Болезни. Школа. Педагогическое училище. Обручена с…

Он замер на полуслове. Я ударил кулаком по столу и рявкнул:

— Дальше, дальше читай!

Его лицо будто окатило кровью. Он захлопнул папку, отказываясь встречаться со мною взглядом. Тихо проговорил, обращаясь к углу комнаты:

— Ну конечно. Вот оно что…

— Читай давай! Все читай.

Но он продолжал бормотать:

— Господи боже… Какой же я идиот. Надо ж было… и что теперь делать?

— Послушай…

Он резко, напористо развернулся в мою сторону.

— Ты зачем это сделал, а? Откуда ж я мог знать, черт побери? А я-то думал, что делаю одолжение вам обоим…

— Ей одолжения уже ни к чему.

— Я не в том смысле. Я мог бы… скажем…

— Я должен был ее повидать.

Он яростно зашипел:

— Никто не должен узнать, никто! Ты меня слышишь? У меня же могут отобрать…

— Рай.

И тут он плюнул в меня словами:

— Ты всегда был мне омерзителен… а теперь еще это… и чтоб таким, как ты, доставались женщины вроде Тэффи…

Он умолк и уселся по ту сторону письменного стола. Заговорил расчетливым тоном:

— Да чтоб тебе провалиться вместе со своими картинами. Ты же всех используешь. Эту женщину. Тэффи. А теперь вот и меня.

— Да. Я сам во всем виноват.

Его голос забежал повыше:

— А что, нет, что ли?!

— Тебе расписку дать?

— Правильно, гни свое. Думаешь: возьму вину на себя, и делу конец? Расцелуемся и будем друзьями? Вытворяй что хочешь, а потом просто покайся?

— Нет. Я так не считаю. К великому сожалению.

Молчание.

Кеннет с усилием потер лоб тыльной стороной ладони. Кинул взгляд на папку.

— Кто вообще ответит тебе наверняка? Может, все и впрямь из-за тебя. Вот именно. Может, ты причинил ей такую боль, что она взяла и спятила. Да, пожалуй, так и есть. Она, знаешь ли, здесь с той самой поры.

— Семь лет!

— Со дня основания. Твоя Беатрис — наш старожил.

— Семь лет.

— Как вы расстались, так с тех пор она у нас. И, на наш взгляд, непрерывно пребывает в состоянии гипертрофированного беспокойства.

— С тех самых пор…

— Надеюсь, ты рад этой новости.

— Ты всерьез думаешь, что месть мне поможет тебе с Тэффи?

— Чудненько. Наконец-то можем потолковать начистоту. Ну да. Я ее люблю.

— Я знаю. Она мне говорила. Прими наши соболезнования.

— Да плевал я на твои соболезнования. И ее тоже.

— Дело твое.

— И плевал я на эту больничку и жизнь в целом.

— Понимаешь, я сам ее спросил. А так бы она тебя не выдала.

Кеннет визгливо хохотнул.

— Ну конечно, жена у тебя что надо, такая не подведет. Прикроет тыл, подопрет где требуется… чтобы ты переехал очередную горсть сосунков.

— Ничего подобного, и ты сам это знаешь. Нет у меня таких наклонностей.

— Но свое-то ты получил?

— Хорошо, пусть так… Мне тут сон приснился. Это ведь не по твоей части — или как? Хочешь, подшей к прочим бумажкам, в стопочку доказательств. Итак, после того как мистер Икс бросил мисс Игрек, ему приснился сон. Она бредет за ним, спотыкаясь, а ее все больше и больше затаплива-

ет водой. Ты вот упомянул гипертрофированное беспокойство. Закон причин и следствий вновь не подвел. Ник был прав, и мисс Прингл была права…

— Ты о чем лепечешь?

— О том, что я ее толкнул. Ничего не исправить, не поменять. Святая простота не умеет прощать.

Я криво усмехнулся и в ту же секунду вдруг испытал прилив расположенности к Кеннету.

— Ну ладно. Хорошо. За чем пришел, то и получил. И спасибо тебе.

— За что?

— Ну-у… за то, что верен Гиппократу.

— Это я-то?

Неожиданно у меня в глазах поднялась Беатрис, оплывшая, вся в зеленом, натянутая и дрожащая. Ладонью я накрыл обоих.

— За то, что сказал мне правду.

Кеннет нервно прошелся до шкафа и обратно, затем уселся в кресло.

— Сэмми, послушай. С этого момента я буду встречаться с вами гораздо реже.

— Жаль это слышать.

— Да господи боже!

— Нет, я серьезно. Такое впечатление, что люди и шага ступить не могут, не поубивав друг друга.

— Короче, слушай, как я вижу всю эту историю. А там уж ты сам разберешься. Итак, вполне вероятно, что толчком послужил именно ты. А может, ей это было на роду написано. Может даже, это случилось бы на год раньше, кабы ты не занял ее мысли. Может, ты подарил ей целый год душевного здоровья и… всего прочего, что она от тебя видела. А может быть и так, что ты лишил ее счастья на всю жизнь. Ну вот, теперь ты не хуже любого специалиста знаешь, какие у нее шансы.

— Спасибо.

— С ума сойти. Тебе бы глотку перерезать…

— Да, пожалуй.

— Хотя нет, не выйдет у меня. Стой. Погоди. Мне надо с тобой поговорить. Сэм, послушай. Я люблю Тэффи. Ты это знаешь.

— Знаю, но верится с трудом.

— И еще я сказал, что ненавижу тебя. Но это не так. Как бы мне это объяснить, все так запутано… короче, я имею в виду вашу совместную жизнь, ваш быт. Мне бы хотелось принять в этом участие. В каком-то смысле я влюблен в вас обоих.

— Для меня это чересчур заумно.

Я взгромоздил себя на ноги и, перекосив рот, состроил в сторону Кеннета нечто вроде улыбчивой гримасы.

— Что ж…

— Сэмми.

Я обернулся на пороге.

— Сэмми. Что мне делать?

Я скорректировал выражение лица под моего визави. Бесполезно говорить, что человек — целый материк, пустой труд заявлять, что каждый разум вмещает в себя целый мир, потому что каждый разум охватывает дюжину миров.

— Слишком уж много истолкований. Все перепутано. Слушай-ка… Ты ничем нас не задел. Все пройдет. Никакие твои нынешние переживания не будут пялиться тебе через плечо или бить ногой в зубы.

Он свирепо расхохотался.

— И на том спасибо!

И тогда я шагнул за порог, кивнув в знак согласия.

14

Я заготовил две речи, по одной для каждого из моих родителей не во плоти. Пора отправиться к Нику Шейлсу и воздать ему добром. Излагал бы я ласково.

«Свой рационализм ты выбрал не разумом. Этот выбор ты сделал потому, что они показали тебе не того создателя. О да, я все знаю об их красивых, но пустых словах. Она — Ровена Прингл — лицемерила, а я-то знаю, чего стоит неискренность. Творец, которого они мимически изобразили для тебя в твоих викторианских трущобах, был старцем, тотемом иудеев-завоевателей, тотемом наших праотцев, покорителей и неторопливых поработителей половины мира. Я видел этот тотем на одном немецком фотоснимке. Он стоит навытяжку возле пушки. К жерлу привязан индус; еще миг — и тотем иудеев разнесет эту мятежную собаку в клочья за ее дерзость. Тотем обут в кованые сапоги, на голове — тропический шлем; он невежественен, лицемерен, великолепен и жесток. Как и все мое поколение, ты отверг его. Но ты был невинен, добр и невинен подобно Джонни Спрэггу, которого разметало на куски в

пяти милях над его родным графством Кент. Вы могли бы жить с ним в одном мире. Тебя не поймали в страшную сеть, в которой нас, виновных, вынуждают терзать друг друга…»

Но Ник лежал в больнице, умирая от утомленного сердца. Даже в ту пору мне казалось, что он недополучил свое, меньше всего желая окончить дни на госпитальной койке в мелком городишке. В тот вечер я увидел его издали, с противоположного конца палаты. Обложенный подушками, он рукой подпирал свою громадную голову. Свет от горевшей за его спиной лампочки стлался по лобастому черепу, укрывал снежной пеленой подобно прожитым годам. Лицо под навесом обметанных белизной бровей выглядело изможденным. Я вдруг увидел в нем воплощение томящегося ума — и пришел в благоговение. Масштаб и уровень того, что происходило с ним на пороге смерти, порождало во мне ощущение собственной ничтожности. Я удалился, унеся с собой так и невысказанный стих.

А для нее моя речь намечалась простой.

«Мы были с тобой схожи, вот и все. Тебя заставили меня мучить. Где-то ты утратила свою свободу, а после этого была вынуждена проделать со мной все эти вещи. Понимаешь? И не

исключено, что в результате Беатрис очутилась в психушке; таково следствие нашего совместного труда, моего труда, труда всего мира. Разве ты не понимаешь, что друг друга нас заставляют пытать наши же несовершенства? Ну конечно, понимаешь! Безгрешные и нечестивцы обитают в одном и том же мире: Филип Арнольд стал членом кабинета министров, и жизнь для него легка как дуновение. Но мы-то и не те и не другие. Мы — виновные. Падшие. Мы пресмыкаемся на четвереньках. Рыдаем и рвем друг дружку на куски.

И вот почему я вернулся — раз уж мы оба взрослые и живем сразу в обоих мирах, — чтобы обеими руками протянуть прощение. Где-то надо оборвать жуткую траекторию падения. Ты это сделала, и я целиком тебя прощаю; швыряй в меня свои дротики. А твою роль в нашем повествовании я постараюсь изъять — насколько смогу».

Однако прощение нельзя только даровать: его приходится и принимать.

Нынче она жила в нескольких милях от школы, в поселке, крошечном поселке с камышовыми крышами и чугунными оградами. Завидев меня на том конце садовой дорожки, издала радостный возглас:

— Маунтджой!

А затем она сняла садовую перчатку и протянула мне белую ладонь; тут-то заготовленная речь и все, что я знал, вылетели у меня из головы. Потому что есть такие люди, которые загоняют нас в ступор словно цыплят, уложенных клювами к меловой черте. Я сразу понял, что ничего не следует говорить, но все равно оказался не подготовлен ко взглядам и суждениям мисс Прингл; да и наши картины прошлого не совпадали. Наша с Филипом слава были оправданием и утешением учительства. Ей нравилось воображать, что ее забота обо мне — Сэмми; можно ли называть вас Сэмми? и я пробурчал «конечно», ну конечно, раз уж мой клюв лежал на меловой черте, — так вот, ей нравилось воображать, что ее забота обо мне в какой-то небольшой, крошечной (возле гипсовой купальни для птиц сидел гипсовый кролик), хотя бы и вот в такусенькой мере, но все же несла ответственность за те прекрасные вещи, что я сумел дать миру.

Словом, через десять секунд мне хотелось только одного: унести ноги. По телу ползали мурашки. Она до сих пор была существом, обладавшим чудовищной силой, и ее нынешняя похвала столь же кошмарна, как и былая ко мне ненависть, и я

понял, что нам нечего сказать друг другу. Потому что эта женщина одержала победу неожиданного сорта: полностью ввела в заблуждение самое себя и жила теперь в одном-единственном мире.

Сутками напролет поезда катят по рельсам. Затмения предсказуемы. Пенициллин излечивает воспаление легких, атом расщепляется как положено. Сутками напролет, из года в год, ясные как день истолкования отодвигают границы тайны, обнажая реальность удобопрактичную, понятную и отстраненную. Скальпель и микроскоп подводят, к разгадке поведения приближает осциллограф. Выходит, великолепный балет исполинов самодостаточен, он и не нуждается в музыке, которую я слышал в минуты безумия. Никова вселенная реальна.

Сутками напролет действие взвешивается на весах и получает оценку: не как благоприятное, удачливое или опрометчивое, но как «добро» или «зло». Ибо этот-то принцип, который мы должны именовать духом, пронизывает своим дыханием всю вселенную, ее не касаясь; а касается он лишь темных вещей, содержится в одиночном заключении, касается, судит, выносит приговор и движется дальше.

Ее мир был реален, оба мира реальны. Моста

нет.

Яркая полоса превратилась в треугольник света, обмахнувший неожиданно проявившийся бетонный пол.

— Heraus![25]

Поднявшись с колен, придерживая спадающие брюки, я неуверенно зашагал к судье. Но он исчез.

На место вернулся комендант.

— Капитан Маунтджой. Произошло недоразумение. Прошу извинить.

Меня развернул какой-то звук. Сейчас я видел коридор насквозь, и пятно в форме человеческого мозга видел, и ту камеру, в которой получил то, что получил. Туда убирали ведра, нагромождая их друг на друга, швыряли мокрые половые тряпки. Стало понятно, что одну такую тряпку они забыли, а может, намеренно оставили, когда освобождали место для меня. Она и сейчас мокрой кляксой лежала по центру пола. А затем один из солдат отсек из виду и ведра, и тряпки самой банальной дверью самой банальной подсобки.

— Капитан Маунтджой. Вы слышали?

— Слышал.

---

[25] Примечания: 25
Выходи! (нем.)

Комендант небрежным жестом указал мне на дверь, ведущую обратно в лагерь. И произнес непостижимые слова, над которыми я буду ломать голову, как над загадкой сфинкса:

— Герр доктор не разбирается в людях.

Шпиль

Посвящается Джуди

Глава первая

Он смеялся, вздернув подбородок и покачивая головой. Бог Отец озарял его сиянием славы, и солнечные лучи устремлялись сквозь витраж вслед его движениям, животворя осиянные лики Авраама, Исаака и снова Бога Отца. От смеха у него выступили слезы, и перед глазами множились радужные круги, спицы, арки.

Вздернув подбородок и сощурясь, он крепко, в обеих руках, держал перед собой макет шпиля — о радость…

— Полжизни ждал я этого дня!

Перед ним, по другую сторону столика с макетом собора, стоял канцеллярий, его бледное старческое лицо было в тени.

— Не знаю, что вам сказать, милорд настоятель, право, не знаю.

Он не сводил глаз со шпиля, который Джослин так крепко держал в обеих руках. Голос его, тонкий, словно писк летучей мыши, терялся в просторной, высокой зале капитула.

— Ведь если представить себе, что эта деревянная поделка… сколько в ней длины?

— Восемнадцать дюймов, милорд канцелля-

рий.

— Восемнадцать дюймов. Да. Именно. А в действительности, сколько мне известно, это будет сооружение из дерева, камня и металла…

— В четыреста футов высотой.

Канцеллярий, прижимая руки к груди, вышел на солнце и огляделся вокруг, словно искал что-то. Потом он взглянул на потолок. Джослин смотрел на него, повернув голову, исполненный любви.

— Я знаю. Фундамент. Но будем уповать на Бога.

Канцеллярий наконец нашел то, что искал, — он вспомнил:

— Ах да…

И старчески хлопотливо зашаркал по каменному полу к двери. Он вышел, а в воздухе осталась весть.

— Ну конечно. Утреня.

Не двигаясь с места, Джослин послал ему вслед стрелу своей любви. «Здесь мой дом, мой кров, моя семья. Вот сейчас он выйдет из ризницы последним и повернет налево, как всегда; а потом спохватится и повернет направо, к капелле Пресвятой Девы!» Джослин снова засмеялся и вздернул подбородок в блаженном ликовании.

«Я знаю их всех, знаю, что они делают сейчас, и что уже сделали, и что будут делать. За все эти годы, пока я шел своим путем, собор стал моей плотью».

Он оборвал смех и вытер глаза. Потом снова взял белый шпиль и незыблемо утвердил его в квадратном отверстии, прорезанном в старом макете собора.

— Вот так.

Макет был подобен человеку, лежащему на спине. Неф — его сомкнутые ноги, трансепты по обе стороны — раскинутые руки, хор — туловище, а капелла Пресвятой Девы, где отныне будут совершаться богослужения, — голова. И вот теперь вознесся, устремился, воздвигся, извергся из самого сердца храма его венец и величие — новый шпиль. «Они не знают, — подумал он, — не могут знать, пока я не поведаю им о своем видении!» Он снова засмеялся от радости и вышел из залы капитула на широкий, залитый солнцем двор, очерченный аркадами. «Но я должен помнить, что шпиль — это не все! Я должен, сколько достанет сил, продолжать каждодневные свои труды».

Он обошел аркады, раздвигая занавеси, и остановился у боковой двери. Медленно, бесшумно откинул щеколду. Входя, он склонил голову и

сказал, как всегда, в сердце своем: «Поднимите, врата, верхи ваши!». Но, войдя, он сразу понял, что его предосторожность была излишней, потому что в соборе уже стоял нестройный шум. Утреню служили в отдалении, звуки были такие крошечные, ничтожные, что казалось, их можно собрать в горсть, и тем не менее они доносились сюда через весь собор, из капеллы Пресвятой Девы, сквозь дощатую стенку, обитую холстом. Другие звуки, более близкие, хотя они, отдаваясь эхом, и слились в сплошной гул, говорили о том, что здесь люди долбят землю и камень. Эти люди переговаривались, распоряжались, покрикивали, волокли по каменному полу бревна, катили и роняли тяжести, небрежно швыряли их, дотащив до места, и все это породило бы крикливую разноголосицу, как на ярмарке, если бы эхо не подхватывало звуки снова и снова, заставляя их кружить по собору, настигать самих себя и тонкоголосое пение хора и звучать бесконечно, на одной ноте. Все это было так непривычно, что он поспешно прошел в главный неф и преклонил колени пред невидимым отсюда престолом; потом поднялся с колен и стал смотреть.

Мгновение он моргал. Такого яркого солнца ему еще не доводилось здесь видеть. Всего ося-

заемей в нефе была не дощатая, обитая холстом стенка, которая делила собор надвое, не два ряда арок, не часовни и не расписные надгробия меж ними. Осязаемей всего был свет. Он врывался в южные окна, высекая из стекол каскады цветных искр, и устремлял свои лучи правильным строем справа налево, к основанию опор по другую сторону нефа. И повсюду пыль придавала ветвям и стволам света подлинную объемность. Он снова моргнул и увидел, как совсем рядом пылинки то кружатся одна вокруг другой, то разом взмывают вверх, как мотыльки под дыханием ветра. Он видел, как в отдалении они плавали облаками, завивались спиралью или на миг повисали недвижно, и тогда самые дальние ветки и стволы становились цветом, только цветом — медовой желтизною, исполосовавшей тело собора. Там, где окна южного трансепта освещали средокрестие с высоты ста пятидесяти футов, мед сгущался в колонну, и она высилась, прямая, как Авелев столп, над людьми, которые ломали и выворачивали каменные плиты пола.

Он покачал головой в печальном изумлении перед осязаемым солнечным светом. «Если б не этот Авелев столп, — подумал он, — я принял бы косую стену света за настоящую и решил бы,

что мой каменный корабль сел на мель и накренился». И его губы дрогнули в улыбке: подумать только, человеческий ум повсюду открывает законы и вместе с тем обманывается легко, как младенец. «Теперь, когда на боковых алтарях не горят свечи, если стоять лицом к дощатой перегородке в дальнем конце нефа, может показаться, что это языческий храм, а вон те двое с ломами, что работают посредине, в солнечной пыли (когда они выворачивают каменную плиту и бросают ее, раздается грохот, как в каменоломне, и будит эхо), — жрецы, свершающие какой-то неведомый обряд… Господи, прости.

Вот уже полтораста лет мы непрестанно ткем в этих стенах великолепный узор хвалы Господу. Все останется, как было, только узор будет еще богаче, великолепнее, обретет наконец совершенство. А сейчас я встану на молитву».

Но он понимал, что еще повременит с молитвой, даже в сей день радости. Он громко смеялся от радости и знал, почему повременит, — знал всегдашний устав дня, знал, кто сейчас на охоте, кто произносит проповедь, кто кого замещает, знал, как надежны каменный корабль и его команда.

И словно эта мысль возвестила о начале ко-

роткой интермедии, он услышал, как стукнула щеколда и боковая дверь со скрипом отворилась. «Сейчас, как и всякий день, я увижу свою дочь во Христе».

И в самом деле, едва он вспомнил о ней, она быстро вошла, словно спеша на его зов, а он уже ждал, готовясь благословить ее, как благословлял всегда. Но жена Пэнголла, заслонясь ладонью от пыли, свернула налево. На миг мелькнуло ее узкое нежное лицо, и она, вместо того чтобы пересечь собор, пошла по северному нефу; ему оставалось лишь мысленно послать благословение ей вслед. Он провожал ее взглядом, слегка разочарованным и полным любви, а она, проходя мимо темных алтарей, откинула капюшон, под которым был белый платок, и из-под серого плаща на миг мелькнуло зеленое платье. «Вот женщина до мозга костей, — подумал он, исполненный любви к ней. — Отсюда ее безрассудное детское любопытство. Впрочем, это забота Пэнголла или отца Ансельма». И он увидел, как она, словно осознав свое безрассудство, быстро обошла яму, прикрываясь рукой от пыли, пересекла неф и захлопнула за собой дверь Пэнголлова царства. Он рассудительно кивнул.

— Пожалуй, кое-что у нас теперь все-таки пе-

ременится.

Когда дверь захлопнулась, стало почти тихо; а потом в тишине раздались новые негромкие звуки: «тук, тук, тук». Он повернул голову влево — там, на цоколе колонны, сидел немой в кожаном фартуке, зажав большой камень между коленями.

«Тук, тук, тук».

— А знаешь, Гилберт, он, кажется, велел тебе ваять с меня, потому что я подолгу стою на месте!

Немой поспешно вскочил. Джослин улыбнулся ему.

— Можно подумать, что от меня здесь меньше всех проку, как по-твоему?

Немой улыбнулся преданной, собачьей улыбкой и замычал пустым ртом. Джослин радостно засмеялся в ответ и кивнул, словно их связывала какая-то тайна.

— Спроси эти четыре опоры на средокрестии, есть ли от них прок!

Немой засмеялся и кивнул.

— Скоро я встану на молитву. Можешь пойти со мной, будешь сидеть смирно и работать. Но захвати подстилку, чтобы не насорить, а то Пэнголл выметет тебя из капеллы Пресвятой Девы, как сухой листок. Не надо сердить Пэнголла.

Тут раздался новый шум. Джослин сразу забыл про немого, повернул голову, прислушался. «Нет, — сказал он себе, — не может быть, им не успеть так быстро!» И он поспешил в южный неф, откуда можно было через средокрестие заглянуть в северный трансепт. Возле часовни Пиверела он остановился. И прошептал, исполненный радости, которая была слишком глубока, чтобы выносить ее из храма:

— Нет, это правда. После стольких лет неустанных трудов. Слава Господу.

Ибо совершалось невероятное. «Ведь я проходил здесь столько лет изо дня в день, — подумал он. — И всегда то, что снаружи, было отделено от того, что внутри, так же четко, так же вечно и непреложно, как вчерашний день от сегодняшнего. Внутри — гладкий расписной камень, снаружи — грубые, обросшие лишайником стены. Вчера, да нет, сегодня, только что между ними была неодолимая преграда. А теперь там сквозит воздух. Разобщенные части соприкоснулись, и я, как в замочную скважину, вижу угол дома канцелляция, где, быть может, сейчас ждет Айво.

Мужайся. Слава Господу. Это начало свершения. Одно дело — велеть вырыть яму меж опорами, словно могилу для какого-нибудь именитого

горожанина. А это совсем иное. Теперь я поднял руку на самое тело своего храма. Как хирург, я поднес нож к животу, бесчувственному от макового отвара...»

Он пытался представить себе это, и негромкие звуки утрени казались ему слабым дыханием бесчувственного тела, распростертого на спине.

По другую сторону часовни раздались молодые голоса.

— Что ни говори, он обуян гордыней!

— И погрязает в невежестве.

— Знаешь, он возомнил себя святым! Это он-то — святой!

Но, увидев в полумраке настоятеля, оба дьякона упали на колени.

Он смотрел на них сверху вниз и любил их в своей радости.

— Вот как, дети мои! Что же это? Вы злословите? Сплетничаете? Клевещете?

Потупившись, они молчали.

— Кто же этот несчастный? Вы бы лучше помолились за него. Ну-ка, ну-ка.

Он обеими руками ухватил их за кудрявые волосы и ласково обратил к себе сначала одно бледное лицо, потом другое.

— Попросите канцеллярия наложить на вас

епитимью. Воспримите епитимью как должное, дети мои, и она даст вам великую радость.

Он отвернулся и хотел пройти дальше по нефу, но ему снова помешали. У временной дверцы, которая была сделана в дощатой перегородке и вела из южной галереи к средокрестию, стоял Пэнголл; он увидел Джослина, отпустил своих помощников и заковылял к нему с метлой на весу, прихрамывая, слегка волоча левую ногу.

— Преподобный отец…

— Мне сейчас некогда, Пэнголл.

— Сделайте милость!

Джослин покачал головой и хотел обойти его, но Пэнголл протянул загрубелую руку, словно в своей дерзости готов был коснуться рясы настоятеля. Джослин остановился и, опустив глаза, быстро проговорил:

— Ну, что тебе? Опять все то же?

— Они…

— До них тебе нет дела. Пойми это раз и навсегда.

Но Пэнголл не отступал, пристально глядя на Джослина из-под копны темных волос. Его бурая одежда была в пыли, пыль покрывала перевязанные крест-накрест икры и стоптанную обувь. Сердитое лицо тоже было в пыли. И голос у него

был хриплый от пыли и злости.

— Позавчера они убили человека.

— Я знаю. Но послушай, сын мой…

Пэнголл покачал головой так торжественно и убежденно, что Джослин умолк, потупившись и приоткрыв рот. Пэнголл поставил метлу на пол и оперся на нее. Он обвел взглядом каменные плиты, потом посмотрел настоятелю в лицо.

— Когда-нибудь они убьют и меня.

Теперь они оба молчали, а шум работы не затихал, и ему вторило звонкое эхо. Пылинки плясали между ними в солнечном свете. И Джослин вдруг вспомнил о своей радости. Он положил обе руки на кожаные плечи Пэнголла и крепко сжал их.

— Не убьют. Никто тебя не убьет.

— Ну, так выживут отсюда.

— Никто не причинит тебе вреда. Истинно говорю тебе.

Пэнголл яростно сжал метлу. Он выпрямился. Губы его кривились.

— Преподобный отец, зачем вы это сделали?

Джослин смиренно снял руки с его плеч и сложил их на груди.

— Ты знаешь это не хуже меня, сын мой. Дабы приумножить славу храма сего.

Пэнголл ощерился:

— И для этого надо его разрушить?

— Остановись, пока ты не сказал лишнего.

Но Пэнголл не отступался, и в словах его прозвучал вызов:

— Вы когда-нибудь оставались здесь на ночь, преподобный отец?

Он ответил ласково, как ребенку:

— Много раз. И это ты тоже знаешь не хуже меня, сын мой.

— Когда падает снег и ложится тяжестью на свинцовую крышу, когда листья забивают водостоки…

— Пэнголл!

— Мой прапрадед был среди тех, кто строил этот собор. В жаркие дни он ходил вон там, над сводом, так же, как теперь хожу я. А зачем?

— Успокойся, Пэнголл, успокойся.

— Зачем? Зачем?

— Ну, я слушаю.

— Как-то он увидел, что одно дубовое стропило занялось. По счастью, он прихватил с собой тесло. За водою ему было не поспеть: загорелась бы крыша, и свинец потек бы рекой. Он стал рубить стропило. Вырубил такую дыру, что влез бы ребенок, а угли унес голыми руками, и ладони у него поджарились, как свинина на вертеле. Вы

это знали?

— Нет.

— А я знаю. Мы знаем. Все это… — Он ткнул метлой в груду хлама и пыли. — Взломанный пол, яма… позвольте, я сведу вас на крышу.

— У меня есть другие дела, и у тебя тоже.

— Мне надо с вами поговорить…

— Но разве ты не говоришь со мной?

Пэнголл отступил на шаг. Он взглянул на опоры и высокие сверкающие окна, словно они могли ему что-то подсказать.

— Преподобный отец. На крыше… у самой двери над лестницей в юго-западной башенке лежит наготове тесло, наточенное и смазанное, чтоб не ржавело.

— Это хорошо. Ты предусмотрителен.

Пэнголл взмахнул свободной рукой.

— Пустяки. Для этого мы и существуем. Мы подметали, вытирали пыль, штукатурили стены, тесали камень, иногда резали стекло, и мы молчали…

— Все вы верно служили храму. Я тоже делаю все, что в моих силах.

— Мой отец и дед… И тем более я, потому что я последний.

— Она праведная женщина и верная жена, сын

мой. Надейся и уповай на Господа.

— Они играют моей жизнью себе на забаву. Но им и этого мало. Это еще не все… Пойдемте, я вам покажу мой дом.

— Я его видел.

— Нет, вы поглядите, что с ним сделали за эти недели. Пойдемте, пойдемте же. — И Пэнголл, маня его одной рукой, а другой волоча за собой метлу, торопливо захромал в южный трансепт. — Это был наш дом. А что теперь с нами станется? Глядите!

Он указал через низкую дверку на двор, лежавший меж крытыми аркадами и стеной собора. Чтобы выглянуть, Джослину пришлось нагнуть голову, покрытую скуфьей. Он стоял у двери рядом с Пэнголлом и, увидев, что творится во дворе, изумился. Весь двор был завален грудами обтесанных камней. Они громоздились меж контрфорсами до самых окон. Все свободное от камня пространство было занято бревнами — оставалась лишь узенькая дорожка. Слева от двери, у стены, стоял верстак под тростниковым навесом. Там были сложены стекла и свинцовые пластины, и двое подручных главного мастера работали: «треньк, треньк».

— Видите, отец мой? Я еле пробираюсь к соб-

ственной двери!

Джослин боком протиснулся вслед за ним меж кучами.

— Вот все, что они мне оставили. И когда это кончится, отец мой?

Свободное место перед домиком было не более часовни, а у самой его стены растеклись вонючие лужи. Джослин с любопытством посмотрел на домик, потому что никогда еще не бывал подле него так близко. Прежде, обходя храм, он лишь бросал через дверь благосклонный взгляд во двор, и этого было достаточно; что ни говори, а двор и домик, хоть и принадлежали собору, были царством Пэнголла. Каждое утро тень домика ложилась на юго-восточное окно, подобно памятнику, выросшему вопреки воле строителя. А теперь сам домик был перед глазами Джослина, и снова то, что снаружи, соприкасалось с тем, что внутри. Домик прилепился к углу собора, словно выступ под карнизом старинного дома, где бесчисленные поколения ласточек и воробьев оставили свои следы и скелеты гнезд. Он притаился, смиренный и в то же время дерзостный; он был построен здесь без разрешения, и его молчаливо терпели, будто не замечая, потому что семья, которая жила в нем, была незаменима. Он

закрывал контрфорс и половину окна. На стены его пошли каменные плиты, такие же серые и древние, как сам собор. В одном месте нелепо торчал надоконный желоб, хотя окна не было. С камнем соседствовали старые брусья, некогда обитые дранкой и оштукатуренные. А кое-где виднелись плоские тисненые кирпичи, гораздо древнее домика, да и собора, попавшие сюда из давно заброшенной гавани, на берег которой вот уже тысячу лет не ступала нога римлянина. Один скат кровли был из настоящего свинца, другой — из аспидных плиток, точно таких же, какими крыта кухня у викариальных певчих. Потом шла полоса тростника, но он стал таким трухлявым, что съежился и пророс травой. Одно окно было нарочно подогнано под квадрат великолепного цветного стекла; другое было узкое, забранное роговыми пластинками вместо стекол. За какие-нибудь полтора столетия это нелепое строение приобрело почтенный и дряхлый облик. Домик весь съежился, как тростник на крыше, его чужеродные части словно бы притерлись друг к другу, обрели вечный покой.

Джослин посмотрел на домик, покосился на кучи камней и бревен, обступившие его со всех сторон, — одна дерзость теснила другую.

— Вижу.

Едва он сказал это, в домике раздалось нежное пение. Гуди вышла из двери, увидела его, оборвала свою песенку, улыбнулась, посмотрела на него искоса и опростала деревянное ведро у стены собора. Она ушла в дом, и оттуда снова послышалось ее пение.

— Так вот, Пэнголл. Сейчас я отвечу тебе. Мы с тобой старые друзья, несмотря на разницу в положении, поэтому давай смотреть на вещи разумно. Они будут строить — тут и говорить не о чем. Скажи мне лучше, что тревожит тебя на самом деле.

Пэнголл поспешно отвернулся и поглядел на мастеровых, которые, насвистывая, резали стекло. Джослин наклонился к нему.

— Ты тревожишься за жену? Они работают слишком близко от нее?

— Нет, не в том дело.

Джослин подумал и понимающе кивнул. Потом продолжал мягко:

— Они смотрят на нее, как мужчины иной раз смотрят на улице вслед женщинам? Отпускают шуточки? Говорят непристойности?

— Нет.

— Так что же?

В лице Пэнголла не было злобы. Только растерянность и мольба.

— Уж если хотите знать, я скажу. Зачем они привязались ко мне? Один я здесь, что ли? Зачем они потешаются надо мной?

— Надо терпеть.

— Каждую минуту… Что бы я ни делал. Хохочут, орут. А стоит мне оглянуться…

— Сын мой, ты слишком обидчив. Надо смириться.

Пэнголл поднял к нему лицо.

— Но до каких же пор?

— Это тяжкое испытание для всех нас. Я знаю. Оно продлится два года.

Пэнголл со стоном закрыл глаза.

— Два года!

Джослин положил руку ему на плечо.

— Подумай сам, сын мой. Камни и бревна постепенно поднимутся вверх. У тебя под носом не вечно будут бить стекло. Возведут шпиль, и наш храм станет еще прекрасней.

— Я не увижу этого, преподобный отец.

— Но почему, скажи мне ради…

Он замолчал, подавляя в себе внезапную досаду, но, когда он взглянул сторожу в глаза, досада столь же внезапно вспыхнула вновь. Он читал

мысли Пэнголла так ясно, словно они были написаны у него на лбу: *«Потому что под собором нет фундамента и Джослиново безумство рухнет, прежде чем на верхушке утвердят крест»*. Он сжал зубы.

— Ты не лучше остальных. И не похож на своего прапрадеда. У тебя нет веры.

Но Пэнголл смотрел в землю. Он приблизился, наступая на тень Джослина. Его грязные, бурые, цвета навоза волосы были на шесть дюймов ниже лица настоятеля и почти касались его рясы. Джослин, охваченный досадой, уловил чуть слышный хриплый шепот:

— Как мне это вынести? Я все время опасаюсь, отовсюду жду подвоха. Мне стыдно перед собственной женой. Все это копится вот здесь, внутри, и с каждым днем, с каждым часом…

Что-то отрывисто стукнуло по башмаку Джослина; он взглянул, увидел влажную звездочку с тонкими лучиками и крошечные капли воды, которые скатывались в грязь по смазанной жиром коже. Он нетерпеливо вздохнул, не зная, что сказать. Но солнце, игравшее на камне, увлекло его взгляд вверх, в пустоту над средокрестием, где каменные зубцы ожидали главного мастера и его подручных. Он вспомнил о рабочих, которые

взламывали пол меж опорами, и радостное волнение вернулось, заглушая досаду.

— Я же сказал, надо терпеть! А я поговорю с мастером, обещаю тебе.

Он потрепал сторожа по кожаному плечу и быстро ушел, боком протискиваясь меж грудами дерева и камня. Мастеровые у верстака стояли к нему спиной. Он нырнул в дверку и помедлил немного в трансепте, жмурясь в пыльном сиянии. Он увидел, что каменные плиты уже сложены сбоку, у опор, и оба землекопа стоят по щиколотку ниже пола. Сквозь пролом в стене позади них было видно далеко, и он заметил среди могил, под тростниковым навесом, кучу бревен. Он стоял, сморщив в улыбке нос и вскинув голову, а через неф к нему спешил священник — отец Адам с письмом в руке; Джослин отмахнулся от него:

— Потом, любезный. Сейчас я должен встать на молитву.

Окрыленный своей радостью, он с улыбкой быстро прошел по галерее между хором и ризницей. Служба кончилась, и там не было никого, кроме двух викариальных певчих, которые разговаривали, стоя у внутренней двери. Посреди капеллы Пресвятой Девы для него уже поставили скамеечку с пюпитром. Он склонился пред алта-

рем, потом встал на колени. Слышно было, как где-то совсем рядом немой принялся осторожно постукивать и скрести по камню. Но ему не пришлось отгонять от себя эти негромкие звуки, потому что радость была его молитвою, изливавшейся из самого сердца.

«Что еще могу я сделать в этот величайший из дней, когда мое видение начало наконец воплощаться в камень, как не вознести благодарение Богу?

А посему, вкупе с ангелами и архангелами…»

Радость, как солнце, озарила его слова. И они воспылали.

Его колени безошибочно отмеряли время. Он всегда чувствовал, сколько простоял коленопреклоненный. Сейчас, когда вместо тупой боли наступила онемелость, он знал, что минуло более часа. Он пришел в себя, и, пока огни медленно плыли перед его закрытыми глазами, он почувствовал, как боль снова вливается в его икры, колени, бедра. «Моя молитва никогда еще не была столь простой, поэтому она и длилась так долго».

И вдруг Джослин почувствовал, что он не один. Нет, он никого не увидел и не услышал. Это было лишь ощущение, как ощущают тепло огня за спиной, — сильное и в то же время нежное неве-

домое присутствие было таким близким, что, казалось, проникло в самый его хребет.

Джослин склонил голову в ужасе, едва дыша. Он не противился. «Я здесь, — словно бы вещал неведомый, — не двигайся, мы здесь и пребудем вместе вовеки».

И тогда он осмелился подумать, чувствуя тепло за спиной:

«Это мой ангел-хранитель.

Я творю волю Твою, и Ты послал вестника Твоего, дабы утешить меня. Как некогда в пустыне.

Двумя крылами закрывал он лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал».

Радость, огонь, радость.

«Господи, благодарю Тебя, что Ты дал мне сохранить смирение!»

И он снова увидел ряды окон. Житие святого все так же сверкало на них синим, красным и зеленым, но искры и брызги солнца падали теперь по-иному. Он опомнился, глядя на знакомое окно поверх сплетенных пальцев, — ангел покинул его.

«Тук. Тук. Тук».

«Скр-р-р».

«Ты исполнил славою избранников Твоих, подобно солнцу в окне».

Джослин оперся о пюпитр и не без труда разогнул онемевшие ноги. Ковыляя, он сделал несколько шагов и наконец выпрямился. Он оправил на себе рясу, вспомнил про стук и скрежет, повернул голову и увидел немого, который сидел у стены, приоткрыв рот. На полу возле его ног была разостлана ветошь, и он усердно скреб большой камень. Когда тень Джослина упала на него, он вскочил. Это был рослый юноша, он легко держал тяжелый камень двумя руками, прижимая к животу. Радость, утешение, мир, которые принес ангел, осенили и лицо юноши, как все вокруг; Джослин смотрел на него и чувствовал, как на собственном его лице морщины стягиваются в улыбку. Да, этот юноша тоже был высок ростом; ему не приходилось поднимать голову, чтобы заглянуть настоятелю в глаза. В радости, дарованной ангелом, Джослин оглядывал юношу, и все улыбался, и был исполнен любви к нему, к его смуглому лицу и шее, к широкой груди, где из-под кожаной куртки выбился кустик черных волос, к кудрявой голове, к черным глазам под черными бровями, к смуглым рукам и пятнам пота под мышками, к обмотанным крест-накрест ногам в грубых башмаках, побелевших от пыли.

— Кажется, сегодня я дал тебе довольно вре-

мени!

Немой юноша горячо кивал, и из горла его вырывалось мычание. Джослин все улыбался, глядя в его преданные, собачьи глаза. «Он последует за мной всюду. Если б он был главным мастером! Быть может, когда-нибудь…»

— Покажи-ка, сын мой.

Юноша перехватил камень снизу и, повернув его боком, поднял к груди.

Джослин вскинул голову и засмеялся:

— Ну нет, нет! У меня не такой длинный нос! Даже вполовину не такой длинный.

Он взглянул снова и замолчал. Нос как орлиный клюв. Рот широко раскрыт, щеки морщинистые, под скулами глубокие впадины, глаза ввалились; он коснулся угла своего рта, провел пальцами по смеженным складкам плоти. Потом трижды открыл рот, чувствуя, как губы растягиваются, и трижды закрыл его, щелкая зубами.

— Нет, нет, сын мой. И волосы у меня не такие густые!

Немой вытянул свободную руку, быстро согнул ее и повел ладонью в воздухе, подражая полету ласточки.

— Птица? Какая птица? Может быть, орел? Или Святой Дух?

Рука повторила движение.

— А, понимаю! Ты хочешь передать ощущение полета!

Лицо немого расплылось в улыбке, он едва не уронил камень, но вовремя подхватил его, и над этим камнем слились воедино их души, подобно единению с ангелом, радость…

Теперь оба молча смотрели на камень.

Беспредельная скорость полета ангелов, запечатленная в неподвижности, волосы разметаны, реют, подхваченные веянием духа, рот раскрыт, но не дождевая вода изольется из него, а осанна и аллилуйя.

Джослин вдруг поднял голову и улыбнулся с сожалением.

— А ты не мог бы воплотить мое смирение, изваять ангела?

Мычание, покачивание головы, собачьи, преданные глаза.

— Значит, вот каким я, обращенный в камень, вознесусь на высоту двухсот футов, с четырех сторон башни, и пребуду там с раскрытым ртом, вещающим денно и нощно, вплоть до Судного дня? Поверни-ка лицо ко мне.

Немой повернул камень и послушно держал его перед Джослином. Они долго стояли молча,

не шевелясь, и Джослин разглядывал острые торчащие скулы, раскрытый рот, раздутые ноздри, которые, словно два крыла, рвались унести в вышину длинный нос и широко отверстые слепые глаза.

«Воистину так. В миг видения телесные очи слепы».

— Откуда ты знаешь все это?

Но немой ответил ему безмолвным, как камень, взглядом. Джослин коротко рассмеялся, похлопал его по смуглой щеке, ущипнул.

— Наверно, твои руки знают, сын мой. В них заключена мудрость. Потому Всевышний и сковал твой язык.

Мычание в горле.

— Ну, ступай. А завтра можешь снова ваять с меня.

Джослин пошел было прочь, но вдруг остановился.

— Отец Адам!

Он поспешил через капеллу Пресвятой Девы к священнику, стоявшему в тени, под самыми окнами.

— Все это время вы ждали?

Тщедушный священник терпеливо стоял, держа в руках письмо, как поднос. Его блеклый голос

задрожал в воздухе:

— Я не смел ослушаться, милорд.

— Простите, отец, я виноват перед вами.

Но не успел он произнести это, как другая забота уже вытеснила раскаяние из его головы. Он повернулся и пошел к северной галерее, слыша за спиной стук подбитых гвоздями сандалий.

— Отец Адам. Вы ничего… вы ничего не видели у меня за спиной, когда я стоял, преклонив колена?

Мышиный голос пискнул:

— Нет, милорд.

— А если и видели, я повелеваю вам хранить молчание.

В галерее он остановился. Над головой простирались солнечные ветви и стволы, но священники стояли в тени, у стенки, отделявшей хор от широкой кольцевой галереи. Джослин слышал, как у опор дробили камень, видел пыль, которая плясала даже здесь, за дощатой перегородкой, разве только помедленней. Пляска пылинок увлекла его взгляд вверх, к высокому своду, и он отступил на шаг, чтобы лучше видеть. И тут он почувствовал, что его кованый каблук наступил на мягкие пальцы.

— Отец Адам!

Но священник молчал и не шевелился. Он по-прежнему держал письмо, и лицо его даже не дрогнуло. «Может быть, это потому, — подумал Джослин, — что у него вовсе и нет лица. Он как деревянная кукла, и вместо лица у него гладкая чурка». Джослин со смехом сказал, глядя на его лысину, окруженную каемкой жидких волос:

— Простите, отец Адам. О вас так легко забываешь. — И добавил, смеясь от радости и любви: — Я буду звать вас отец Безликий.

Священник по-прежнему молчал.

— Ну ладно. Давайте это противное письмо.

В другом конце храма собирался хор, готовясь к следующему богослужению. Он услышал, как запели псалом. Процессия двинулась; сначала ясней всего звучали детские голоса, потом они притихли, уступив первенство низким голосам викариальных певчих. Но вот притихли и они, из капеллы Пресвятой Девы взмыл одинокий голос: «А-а-а-а» — и, подхваченный эхом, закружился под огромным сводом, настигая сам себя.

— Скажите, отец… Ведь все знают, что по мирским законам она приходится мне теткой?

— Да, милорд.

— Надо всегда быть милосердным — даже к ней, какова бы она ни была теперь… или прежде.

Снова молчание. «Двумя крылами закрывал он ноги свои. Ангел Твой — моя опора. Теперь я могу вынести все».

— Что же говорят люди?

— Но ведь это просто пьяная болтовня, милорд.

— Я хочу знать.

— Люди говорят, что без ее денег вам никогда не построить шпиля.

— Это правда. Что еще?

— Говорят, что даже тот, у кого грехи как багрянец, за деньги будет похоронен у самого престола.

— Так говорят?

Священник все держал письмо в руках, как белый поднос. От письма еще исходил тонкий аромат, забивался в ноздри, словно в галерее, тускло освещенной с севера, вопреки естеству повеяло дыханием весны. И Джослин, несмотря на начало великого свершения и на ангела, снова почувствовал досаду.

— Оно смердит!

Одинокий голос в капелле Пресвятой Девы смолк.

— Читайте вслух!

— «Моему племяннику и…»

— Громче.

(А в капелле Пресвятой Девы опять зазвучал голос, перекрывая эхо: «Верую во единого Бога…»)

— «…духовному отцу Джослину, настоятелю собора Девы Марии».

(А в часовне молодые и старые голоса слились: «…творца небу и земли…»)

— «Это письмо писано по моей просьбе магистром Годфри, поскольку ты, среди своих пастырских трудов и хлопот о шпиле, не читал, как я полагаю, те письма, которые он написал для меня за эти три года. Итак, дорогой племянник, я снова спрашиваю тебя все о том же. Неужели ты не найдешь времени мне ответить? Когда дело касалось денег, все было иначе, тогда ты отвечал не мешкая. Будем говорить начистоту. И ты, и все люди знают, какую жизнь я прожила, и всего лучше это известно мне самой. Но ведь все кончилось с его смертью, которую я назвала бы убийством, мученической кончиной. С тех пор я несу покаяние перед Творцом, который, надеюсь, продлит дни недостойной рабы своей, полные тяжких испытаний во искупление грехов».

(«…при Понтийском Пилате и страдавша…»)

— «Я знаю, ты молчишь, потому что осуждаешь мою сделку с царем земным. Но разве не велит Писание отдавать кесарю кесарево? Я исполняла

это в меру сил своих. Я должна бы покоиться в Винчестере, среди королей, он обещал это, но мне отказано, хотя недалеко то время, когда я смогу лежать только с мертвыми королями».

(«…судить живых и мертвых».)

— «Магистр Годфри хотел вычеркнуть эту фразу, но я воспротивилась. Неужели в твоем соборе все останки столь уж безгрешны? Ты, верно, думаешь, что у меня нет надежды попасть в рай, но я уповаю на лучшее. По южную сторону от хора есть — или, во всяком случае, был до тебя — уголок, который освещает солнце, между каким-то стародавним епископом и часовней Настоятеля. Надеюсь, меня будет видно от престола, и Бог благосклонней тебя взглянет на прегрешения, в которых мне до сих пор так трудно раскаяться до конца».

(«…исповедую единое крещение во оставление грехов…»)

— «В чем дело? Тебе нужны еще деньги? Ты хочешь возвести два шпиля вместо одного? Знай же, что я намерена разделить свое состояние — он и в этом был щедр, как и во всем прочем, — между тобой и бедняками, оставив лишь, сколько нужно, на свое погребение, заупокойные службы и еще вклад во спасение души твоей матери, с

которой мы были очень дружны…»

Он дотянулся и скомкал письмо в руках священника.

— Мы прекрасно обойдемся без женщин, отец Безликий. А вы как думаете?

— Милорд, о них сказано: «Лукавы и коварны». («Аминь».)

— А ответ, милорд?

Но Джослин теперь вспоминал о начале свершения, об ангеле и о невидимых очертаниях шпиля, которые уже сейчас открывались глазу посвященного над собором в солнечном небе.

— Ответ? — переспросил он со смехом. — Но зачем же менять решение? Ответа не будет.

Глава вторая

Он вышел из галереи через деревянную дверцу и мгновение постоял, моргая от яркого света. Через пролом в северном трансепте мог бы проехать целый фургон, и солдаты из армии главного мастера обтесывали края. Пыль стала гуще прежнего, она клубилась как желтый дым, и он закашлялся до слез. Двое землекопов углубились в землю уже по пояс, и пыль над ними висела так густо, что Джослину показалось, будто их лица искажены чудовищной гримасой, но потом он разглядел, что они просто завязали себе рты тряпками; на тряпках запеклась корка пыли и пота. Возле ямы дожидался подручный; он поднял наполненный землей лоток и пошел через северный трансепт, а его место занял другой. Миновав густую завесу пыли, подручный с лотком на плече натужно запел. При первых же словах Джослин поспешно зажал уши и, глотая пыль, хотел было усовестить певца, но тот словно не заметил его и, распевая, вышел через пролом в стене. Джослин быстро вошел в неф и огляделся. Он поискал возле опор, но не нашел никого. Тогда он решительно свернул в южный трансепт,

потом распахнул тяжелую дверь аркады, рывком поднял занавесь. Но в скриптории священнослужителя не оказалось; только дьякон сличал две рукописи, уткнувшись носом в страницы.

— Где ризничий?

Юноша вскочил, подхватив книгу.

— Милорд, он прошел здесь…

Джослин отдернул следующую занавесь, но в учебной галерее тоже никого. Скамьи стоят вкривь и вкось, одна опрокинута. Он подошел к парапету, оперся обеими руками о каменную плиту, на которой были вырезаны клетки и валялись костяные шашки, и выглянул наружу. Ризничий сидел на скамье, вынесенной из школы. Он дремал на солнце, опершись спиной о колонну и сложив руки на коленях.

— Отец Ансельм!

Весенняя муха ударилась в нос отца Ансельма и метнулась прочь. Он приоткрыл затуманенные глаза и снова опустил веки.

— Милорд ризничий!

Джослин поспешно отдернул еще одну занавесь, вышел во двор, остановился перед отцом Ансельмом и, подавляя раздражение, сказал спокойно как ни в чем не бывало:

— В соборе пусто. Там никто не сторожит.

Хотя казалось, будто отец Ансельм дремлет, он едва заметно дрожал. Он открыл глаза, но не смотрел на Джослина.

— Там пыль, милорд. Вы же знаете, какая у меня слабая грудь.

— Но вам незачем сидеть там самому. Отдайте распоряжение.

Ансельм сдержанно кашлянул: кха, кха.

— Как же мне требовать от других то, чего я не могу сделать сам? Дня через два пыли станет поменьше. Так сказал главный мастер.

— А пока, стало быть, пускай себе распевают любую мерзость?

Как ни старался Джослин сдержаться, он повысил голос, его правая рука сжалась в кулак. Он заставил себя сразу же разжать кулак — будто случайно согнул и разогнул пальцы. Но ризничий заметил его движение, хотя смотрел в этот миг на большой кедр. Он по-прежнему дрожал, но голос у него был спокойный.

— Если вспомнить, милорд настоятель, сколь много теперь у нас против устава творят, то песня, прошу прощения, какой бы мирской она ни была, право, кажется мне невинной. Ведь у нас двенадцать алтарей в боковых нефах. Из-за этой… этой нашей новой затеи там не горит ни

одной свечи. И кроме того — еще раз прошу прощения, — поскольку эти чужие люди, собранные неизвестно откуда, по всякому поводу готовы на злодеяние, я полагаю, лучше уж пускай поют.

Джослин открыл было рот, но так и закрыл, не сказав ни слова. Он вспомнил мучительные колебания капитула, а ризничий уже отвернулся от кедра и смотрел теперь прямо на него, склонив голову набок.

— Право, милорд настоятель. Пусть себе поют день-другой, а там хоть пыль осядет.

Джослин перевел дух.

— Но ведь капитул решил!..

— Кое-что было оставлено на мое усмотрение.

— Они оскверняют храм!

Ризничий окаменел, как колонна у него за спиной, и уже не дрожал.

— Но они хотя бы не разрушают его.

Джослин вскрикнул:

— На что это вы намекаете?

Ризничий развел руками, и они замерли в воздухе.

— Я? Ни на что, милорд.

Он осторожно опустил руки и сжал их на коленях.

— Прошу вас, поймите мои слова правильно.

Неудивительно, что эти невежественные люди оскверняют воздух своими словами, так же как оскверняют его пылью и вонью. Но они не разрушают воздух. И не разрушают самый храм.

— А я разрушаю?!

Но ризничий был настороже.

— Разве я говорю о вас, милорд?

— С тех пор как вы перед капитулом высказались против шпиля…

Негодование комом стало в горле, и он замолчал. Ансельм едва заметно улыбнулся.

— Увы, то была прискорбная слабость веры, милорд. Дело решено, и теперь я понимаю, что мы все должны служить ему, не щадя живота.

«Служить, не щадя живота» — ведь это слова из его речи, и негодование, комом стоявшее в горле Джослина, прорвалось злобой.

— Воистину прискорбная слабость веры!

Ризничий улыбался спокойно и даже ласково.

— Не каждый чувствует себя Божьим избранником, милорд.

— Неужели вы думаете, что я, при всей вашей осторожности, не слышу в этих словах обвинения?

— Я сказал только то, что сказал.

— И не соблаговолили встать.

Какие-то ничтожные причины, сплетаясь, приводили Джослина в ярость. Когда он заговорил снова, голос его то и дело пресекался.

— Мне кажется, устав основателя храма еще не утратил силы.

Ризничий не пошевелился. Только бледное лицо как будто слегка порозовело. Потом он подобрал под себя ноги и медленно встал.

— Милорд…

— За рабочими до сих пор никто не присматривает.

Ризничий промолчал. Он сжал руки, едва заметно наклонил голову и пошел к двери. Джослин порывисто протянул руку ему вслед:

— Ансельм!

Ризничий остановился, повернулся к нему и ждал.

— Ансельм, я не хотел… Из старых друзей у меня никого не осталось, кроме вас. До чего мы дошли!

Ответа не было.

— Вы же знаете, я не хотел вас обидеть. Простите меня.

На порозовевшем лице не мелькнуло и тени улыбки.

— Да, пожалуйста.

— Ведь у вас под началом больше десятка людей. Пошлите хоть того мальчика, что сейчас в скриптории. Златоуст может и подождать. Он ждет уже так давно!

Но к ризничему вернулось спокойствие, и он покачал головой:

— Сегодня я никого не стану просить об этом. Там пыльно.

Они помолчали.

«Как же мне быть? Что ж, пустое огорчение, оно скоро пройдет. Но это урок на будущее».

— Ваше распоряжение не отменяется, милорд?

Джослин круто повернулся и поднял голову. Он увидел крытую галерею со стрельчатыми арками, контрфорсы и высокие окна южной стены; глаза его скользнули вверх вдоль угла между этой стеной и трансептом, где была квадратная плоская крыша над средокрестием. Солнце заливало стену, не нагревая ее; каменные утесы тянулись к небу, чисто вымытому ночным дождем. Оно было безоблачно, но предвещало ветер. Джослин созерцал стройные, ему одному видимые линии, которые сами собой вырисовывались над зубцами, в вышине, там, где кружила птица, и сливались воедино на высоте четырехсот футов.

«Да будет так! Любой ценой».

Он снова повернулся к ризничему и успел заметить на его лице сочувствие и в то же время злорадство. «Я твой друг, — говорила его улыбка, — твой духовник и, кроме того, друг». И еще она говорила (а ответить было нельзя): «Незримая громада там, в вышине, — это Джослиново безумство, которое рухнет и погребет под собою весь собор».

— Я жду, милорд.

Джослин сказал спокойно:

— Нет. Ступайте.

Ризничий сжал руки и склонил голову. Это было безропотное повиновение, и даже нечто большее, потому что нить, связывавшая их, перетерлась. У двери трансепта ризничий замешкался, и в том, как он тихонько поднял щеколду и осторожно, с едва слышным скрипом отворил дверь, был неуловимый упрек, какая-то дерзость — и перетертая нить лопнула. «Что ж, — подумал Джослин, — значит, конец». И он вспомнил, какой крепкой и длинной была эта нить, этот канат, связывавший их сердца, и его сердце сжалось. И он знал, что, когда пройдет негодование, он будет тосковать, вспоминая монастырь у моря, сверкающую воду, солнце.

«Это назревало уже давно.

Я не знал, какую цену мне придется уплатить за тебя, высота в четыреста футов. Я думал, ты будешь стоить только денег. Но все равно, любой ценой…»

Он вернулся в собор и, очутившись в трансепте, совершенно забыл про Ансельма, потому что в воздухе стало меньше пыли, а та, что еще оставалась, понемногу оседала. Землекопы сняли свои намордники, пыль над ними уже не стояла столбом. Видны были только их головы да взлетавшие вверх лопаты. Опускаясь, лопаты не звенели о щебень, а с легким шорохом врезались во что-то мягкое, и подручный тащил лоток с черной землей. Но Джослина интересовал не подручный и не землекопы: по ту сторону ямы стоял Роджер Каменщик и пристально всматривался вниз. На миг он поднял глаза к опорам, скользнул по Джослину невидящим взглядом и снова уставился вниз. Это не могло удивить Джослина, потому что взгляд у главного мастера часто был невидящий, и когда он смотрел на что-нибудь, то ничего другого словно не замечал, не слышал и не чувствовал. В такие минуты его взгляд как будто схватывал и обтесывал то, на что был устремлен, или вбирал это в себя целиком. Но теперь он смотрел не так. Он пристально вглядывался вниз,

и его смуглое лицо выражало попросту удивление и недоверие. Синий капюшон был откинут и лежал складками вокруг толстой шеи, и Роджер поглаживал свою коротко остриженную круглую голову, словно хотел убедиться, что она на месте.

Джослин остановился у ямы и спросил мастера:

— Ну как, Роджер? Ты убедился?

Мастер не ответил и даже не взглянул на него. Он стоял подбоченясь, широко расставив толстые ноги и чуть наклонив вперед крепкое тело в коричневой блузе. Он сказал вниз, в яму:

— Попробуй щупом.

Один из землекопов выпрямился и утер рукой потное лицо. Другой нырнул вниз, и оттуда послышался скрежет. Мастер быстро встал на колени и, ухватившись за край плиты, еще больше подался вперед.

— Есть что-нибудь?

— Ничего, мастер. Вот, глядите!

Появилась голова землекопа и его руки. Он держал железный прут, прихватив большим пальцем одной руки прощупанную глубину, а другой придерживая сверкающее острие. Мастер не спеша смерил прут взглядом от пальца до пальца. Он взглянул сквозь Джослина, сложив

губы, словно собирался свистнуть, но не издал ни звука. Джослин понял, что на него нарочно не обращают внимания, и оглядел неф. В дальнем конце он увидел благородную седую голову Ансельма, который сидел у самой двери, повинуясь букве его приказа, но в таком месте, где он ничего не слышал и почти ничего не видел. И Джослин снова с горечью подумал, что он совсем не такой, каким казался, хоть этому и трудно поверить. «Что ж, если не хочет бросить свое ребячество, пусть сидит там, покуда не прирастет к камню! Я не скажу ни слова».

Он опять повернулся к мастеру, и на сей раз его заметили.

— Ну как, Роджер, сын мой?

Мастер выпрямился, смахнул пыль с колен, отряхнул руки. Землекопы возобновили работу, лопаты зашуршали.

— Вы поняли, что это значит, преподобный отец?

— Лишь то, что легенды правы. Но ведь легенды всегда правы.

— Вы, священники, выбираете себе легенды по вкусу.

«Вы, священники!»

«Надо быть осторожным, не то он рассердит-

ся, — подумал Джослин. — Пока он повинуется мне, пусть болтает что угодно».

— Согласись, сын мой, ведь я говорил тебе, что этот храм — чудо, а ты не верил. Теперь ты видишь своими глазами.

— Что?

— Чудо. Ты видишь фундамент, или, вернее, видишь, что фундамента нет.

Мастер презрительно и насмешливо фыркнул.

— Фундамент есть. Но он едва выдерживает собор. Взгляните вниз, по стенке, — видите, как это сделано? Вон до тех пор щебень, ниже что-то еще, а дальше — только жидкая грязь. Они настлали бревна, а сверху насыпали щебень. Но этого мало. Наверняка есть твердый грунт, и он должен лежать у самой поверхности. Должен, или же я ничего не смыслю в своем ремесле. Наверное, здесь была отмель, намытая рекой. А эта жижа скопилась просто случайно.

Джослин торжествующе засмеялся. Он вздернул подбородок.

— Вот то-то: мастерство не дает тебе уверенности, сын мой! Ты говоришь, они настлали бревна. Так почему же не поверить, что собор плавает на этом настиле? Проще верить в чудо.

Мастер молча дождался, пока он кончит сме-

яться.

— Отойдемте-ка в сторонку и поговорим без помех. Вот сюда. Пускай, если вам угодно, собор плавает. Дело не в слове. Положим, это так…

— Именно так, Роджер. Мы всегда знали это. Теперь ты убедился, что мне можно верить. Эта яма совсем не нужна.

— Я копаю, чтоб убедить своих людей.

— Твою армию? А я-то считал тебя военачальником.

— Бывает, армия ведет начальника.

— Плох такой начальник, Роджер.

— Послушайте меня. Фундамент, или настил, если хотите, едва выдерживает собор. Больше ему не выдержать, разве только самую малость. И теперь мои люди это знают.

Джослин старался соблюсти торжественность, но в его голосе невольно прозвучала снисходительная насмешка:

— Ведь эта яма и для меня, правда, Роджер? Вы роете яму настоятелю?

Но Роджер Каменщик не улыбнулся. Он по-бычьи смотрел на Джослина из-под густых бровей.

— Как это понимать?

— Пускай настоятель убедится, что построить шпиль невозможно. Этим летом нет работы ни в

Винчестере, ни в Чичестере, ни в Лейкоке, ни в Крайстчерче, нигде не строят аббатств, монастырей или соборов. И новый король не закладывает замков. Здесь, подумал ты, мы переждем лето, а настоятелю Джослину покажем, какой он дурак. Так можно сохранить армию, пока не подвернется что-нибудь другое, потому что без армии ты — ничто.

Теперь мастер слегка улыбнулся.

— Скоро я найду твердый грунт, преподобный отец, и тогда мы подумаем еще. А если нет…

— Если нет, ты согласишься построить невысокую башню, робко, с опаской и все время поглядывая, не начал ли собор оседать. Ты слишком надеешься на свою хитрость! Ведь строительство башни можно прекратить когда угодно, правда, Роджер? А тем временем твоя армия перезимует здесь и совершит еще не одно убийство.

— Эта драка стоила мне лучшего каменотеса.

— И все ради какой-то жалкой башни. Ну нет, Роджер!

— Я ищу твердый грунт. Это и есть настоящий фундамент.

Но Джослин качал головой и улыбался.

— Ты увидишь, как я подвигну тебя ввысь силою своей воли. Ибо это воля Божия.

Мастер перестал улыбаться. Он сказал сердито:

— Если б они хотели построить шпиль, то заложили бы для него фундамент!

— Они хотели.

Роджер Каменщик сразу заинтересовался:

— А план?

— Какой план?

— Всего собора… Вы его видели? Сохранился он у вас?

Джослин покачал головой.

— Нет никаких планов, сын мой. Тем людям не нужны были картинки, нарисованные на пергаменте или нацарапанные на доске. Но я знаю: они собирались построить шпиль.

Мастер почесал в затылке, кивнул.

— Пойдемте со мной, преподобный отец, осмотрим опорные столбы.

— Я и без того их знаю. Не забывай, волею Божией этот собор — мой дом.

— Нет, вы взгляните на них моими глазами.

По углам средокрестия было четыре опоры. Каждая поднималась кверху, словно густая купа деревьев, кроны которых поддерживали свод. Вверху, на высоте ста двадцати футов, было сумрачно, и глаз не мог проследить сплетение ветвей вокруг деревянного щита, которым была

прикрыта отдушина посередине. Мастер подошел к юго-западной опоре и хлопнул ладонью по одному из стволов. Камень был гладкий, и пыль не держалась на нем; рука встретила свое искаженное отражение.

— Они кажутся вам толстыми и прочными, отец мой?

— Беспредельно.

— Но приглядитесь, как они тонки в сравнении с собственной длиной!

— В этом их красота.

— На них опирается только свод. Они никогда не были рассчитаны на тяжесть, много бо`льшую своего веса.

Джослин вздернул подбородок:

— И все же они достаточно прочны.

Теперь мастер улыбался так же двусмысленно, как ризничий.

— Преподобный отец, а как вы стали бы строить такую опору?

Джослин подошел к опоре и пристально вгляделся в нее. Каждая колонна была толще человека. Он провел пальцами по камню.

— Видишь? Тут проходят поперечные щели или швы. Как они у вас называются? Стыки? Наверное, обтесанные камни клали один на другой,

как дети складывают кубики.

Улыбка мастера становилась все мрачней.

— Вы называете этих людей праведниками, преподобный отец, что ж, возможно, они были честные. Но можно было сделать и по-другому.

Мимо опор, хромая, прошел Пэнголл. Следом за ним, передразнивая его, крался подручный. Он точно так же ковылял бочком, точно так же держал голову, и даже взгляд у него был такой же свирепый. Пэнголл резко обернулся, подручный остановился как вкопанный и грубо захохотал. Пэнголл, что-то бормоча, ушел в свое царство.

— А теперь вот что, Роджер. Этот человек…

— Пэнголл?

— Он верный слуга. Вели своим людям оставить его в покое.

Мастер молчал.

— Роджер!

— Он дурак. Почему он не понимает шуток?

— Шутка или не шутка, а пора это прекратить.

Мастер равнодушно взглянул на дверь в Пэнголлово царство и промолчал.

— Роджер… Зачем непременно издеваться над ним?

Мастер быстро взглянул на Джослина. Где-то глубоко внутри оба ощутили толчок, словно

колесо вдруг попало в колею; и Джослин почувствовал, как на губах у него трепещут слова, и он мог бы их вымолвить, если б не эти темные глаза, которые так прямо смотрят в его глаза. Словно что-то вот-вот должно было случиться.

— Роджер!

Из капеллы Пресвятой Девы шла по галерее кучка прихожан, и впереди всех — Рэчел, без умолку треща языком. И слова, трепетавшие на губах Джослина, замерли.

— Зачем это?

Роджер Каменщик уже снова отвернулся к яме.

— Чтобы отвести беду. Есть у нас такая примета.

А Рэчел, покинув остальных, быстро шла к ним по каменному полу, она размахивала руками и быстро разевала рот, а потом они услышали ее голос:

— Им-то и не снилось, что ихний фундамент раскопают прежде Судного дня, а ведь тоже небось подрядились сделать все по совести, и вот теперь мой муж… — Она кивала и вся тряслась от рвения и не просто придерживала подол, а задирала его так, что открывались неуклюжие ноги. — Ведь ты знал, что там щебень и березовый настил, правда, Роджер? Он всегда все знает,

милорд… — «Милорд!» Как будто она не женщина, а каноник и имеет право голоса в капитуле! Она словно говорила всем телом, вытаращив черные глаза, совсем не такие, какие должны быть у добропорядочной, скромной англичанки («не такие, как у застенчивой Гуди Пэнголл, моей возлюбленной дочери во Христе»), будто смыслила что-то в строительном деле и смела прекословить мужчине! Эта Рэчел, темноволосая, темноглазая, напористая, неуемно болтливая, могла в случае надобности послужить самым убедительным доводом в пользу безбрачия… — Простите, милорд, но скажу вам, я в этих делах кое-что смыслю, и, помнится, старый мастер, который выучил Роджера, говорил: «Дитя, — это он меня так называл, потому что Роджер был тогда у него в подмастерьях, — дитя, шпиль должен уходить вниз на столько же, на сколько вверх». Или нет, кажется, наоборот: «вверх на столько же, на сколько вниз». Понимаете, он что хотел сказать… — Она склонила голову набок, загадочно улыбнулась и ткнула пальцем чуть ли не в самое лицо Джослину. — Он хотел сказать, что тяжесть снизу должна быть такая же, как сверху. И ежели строить на четыреста футов в высоту, так и в глубину надо на четыреста футов. Правильно,

Роджер? А, Роджер?

Она трещала без умолку, намолчавшись за время молебна, что было для нее тяжким испытанием, и теперь ее смуглое лицо и все тело сотрясались от потока слов, как труба, из которой хлещет вода. Они все-таки казались странной четой — Роджер Каменщик и Рэчел. Они были не только неразлучны, но и схожи внешне — скорее брат и сестра, чем муж и жена: оба темноволосые, крепкие, красногубые. Они жили особой жизнью, словно бы на острове. Роджер ни разу не поднял на нее руку, частые ссоры у них были подобны вспышкам, которые сразу же задувал ветер, и все снова становилось как прежде. Они вращались один вокруг другого, и со стороны это казалось невероятным. Никто не понимал, как они ладят, хотя, если присмотреться, оказывалось, что у них были свои хитрости в совместной жизни. Например, Роджер Каменщик иной раз вел себя с Рэчел так, что она выглядела смешной, вот как сейчас. Словно не замечая ее, он только повысил голос, чтобы его можно было слышать и понимать. Самого Роджера все это ничуть не раздражало, зато раздражало постороннего, особенно когда этот посторонний облечен высоким духовным саном.

— …и не так просто, как вы думаете.

Но лицо Рэчел дергалось, и она снова заглушила слова мастера. Джослин сам повысил голос, вступая в дурацкую игру и в то же время сердясь:

— Мы говорили о Пэнголле!

— Она такая миленькая, жаль, что у нее нет детей, но ведь и у меня тоже нет, ничего не поделаешь, милорд, приходится нести свой крест!

— ...я возведу его ввысь, сколько смогу.

— ...нет, сколько дерзнешь.

И вдруг Джослин без помех услышал свой голос. Рэчел отвернулась. Поток ее болтовни теперь поглощала яма.

— Что толку в малых дерзаниях, Роджер? Мои дерзания вознеслись высоко.

— Куда же это?

— На четыреста футов ввысь!

— Стало быть, я вас не убедил.

Джослин улыбнулся и кивнул многозначительно.

— Начинайте строить. Больше мне ничего не нужно.

Они обменялись взглядом, каждый с уверенностью в своей правоте, молча чувствуя, что они ни о чем не договорились и что это лишь краткое перемирие. «Я погоню его вверх — камень за камнем, — думал Джослин. — Ведь ему не бы-

ло видения. Он слеп. Пускай воображает, будто может прекратить постройку башни, когда вздумает…» Но тут Рэчел повернулась к ним, и они услышали, что в яме ужас как темно и землекопы устали, лошадь и то можно загнать, а тем более смирную, пора кончать работу.

Джослин отвернулся, злясь на себя, и на эту глупую женщину, и на ее мужа, который умеет не обращать на нее внимания, а совладать с ней не умеет. С удивлением он увидел, что солнце уже светит в западные окна, и сразу голод дал о себе знать. Это тоже его рассердило, и совсем слабым утешением было слышать, как мастер обругал Рэчел:

— Дура набитая!

Джослин знал, что это пустые слова, даже не упрек, а скорее всего — просто так, чтобы отвести беду, и что через пять минут они снова будут вращаться один вокруг другого, хохотать, или прогуливаться рука об руку у всех на глазах, или шептаться о чем-то своем. Но в общем-то она праведница: из всех слухов и любовных историй на Новой улице, где поселились строители, ни одна сплетня не коснулась Рэчел или мастера. Джослин оглядел неф, залитый солнечным светом, и снова почувствовал досаду. «День начался

радостью и великими событиями, — подумал он. — Было начало, и был мой ангел. Но радость понемногу угасла, словно ангел был послан не только укрепить и утешить меня, но и предупредить». Он увидел вдали отца Ансельма, который величественно восседал у западной двери, высоко и неподвижно держа голову в ореоле седых волос, и к его досаде примешалась скорбь. Он вздернул подбородок и, обращаясь к патриархам, вещавшим с цветных оконных стекол, сказал:

— Пускай сердится, если ему угодно.

У него за спиной, в трансепте, раздался смех и замер в проломе. Значит, Рэчел ушла; он обернулся и увидел, что мастер разговаривает с землекопами. Он хотел было вернуться и еще настаивать, убеждать, но раздумал. «Напрасно я сам пошел к нему, — подумал он. — Надо было призвать его к себе и выговорить ему за драку у ворот. А что, если мэр потребует суда? И я не сказал даже половины того, что хотел. А все эта женщина, с ее наглым подергивающимся лицом и бесконечной болтовней. Есть женщины, чье невежество крепче ворот и засовов. Надо было и ей выговорить за нескромность, пусть знает свое место. В другой раз, когда встречу ее одну, поговорю с нею терпеливо, объясню, как она

должна себя вести.

Господи, какими орудиями приходится пользоваться!»

Он услышал в нефе стук подкованных сандалий и подумал, что этот человек похож на деревянную куклу. Он обернулся. Отец Адам шел обычным своим шагом, не спеша, но и не медля, как будто никогда ничего другого не делал, только ходил вот так изо дня в день, приносил, уносил, ожидал распоряжений — безжизненный, равнодушный и покорный. Он стоял перед настоятелем, сложив руки на груди, как игрушка, сделанная ребенком, который даже не пытался вырезать лицо, а руки и волосы нарисовал чернилами. Он снова явился с каким-то делом и теперь задерживал Джослина, который с самого утра ничего не ел.

— Неужели вы не можете подождать, отец Адам?

Отец Безликий…

Отец Безликий проскрипел своим ничтожным голосом:

— Я думал, вы пожелаете прочесть письмо немедля, милорд.

Джослин вздохнул и сказал устало, досадливо, с таким ощущением, будто из него выжали всю радость:

— Ну что ж, давайте сюда.

Джослин повернулся и подставил письмо лучам заходящего солнца. Он читал, и лицо его прояснялось, досаду сменило удовлетворение, потом восторг.

— Вы хорошо сделали, что сразу принесли его мне!

Он преклонил колени, перекрестился и возблагодарил Бога. Но волна радости уже нахлынула снова, подняла его с колен, понесла к мастеру, который разговаривал у ямы со своим подручным Джеаном. Когда Джослин подошел, мастер прервал разговор с Джеаном и сказал:

— Твердого грунта все нет. Если вода в реке будет так прибывать, копать глубже нельзя, придется ждать не одну неделю. А может, и не один месяц.

Джослин постучал пальцем по письму:

— Вот тебе ответ, сын мой.

— Что это?

— Милорд епископ не забыл нас. Даже сейчас, пребывая в Риме у Святого Престола, он помнит о своей далекой пастве.

Мастер сказал нетерпеливо:

— Вы что, не хотите понять меня? Говорю вам, из денег шпиль не построишь. Сделайте его из

золота, и он только глубже уйдет в землю.

Джослин со смехом покачал головой.

— А теперь послушай меня, и ты увидишь, что тебе не о чем беспокоиться. Не деньги посылает епископ. В конце концов, что такое деньги? Он посылает нечто гораздо более, бесконечно более ценное… — Волна чувств захлестнула Джослина, взметнула его голос высоко. Он положил руку на плечи мастера, и это было почти объятием. — Мы замуруем его в самый верхний камень шпиля, и он пробудет там до конца дней. Милорд епископ посылает нам святыню. Гвоздь с креста Господня.

Он убрал руку с плеч мастера, который стоял с непроницаемым лицом, и взглянул вдоль залитого солнцем нефа. Увидев седую голову отца Ансельма, он вдруг подумал, что без исцеляющего бальзама жизнь была бы непереносима. И он быстро пошел, почти побежал к старику через весь неф, размахивая письмом.

— Отец Ансельм!

На этот раз Ансельм встал перед ним. Он встал медленно, безропотно снося свое мученичество, и не закашлялся, дабы соблюсти достоинство, а лишь глухо, едва слышно кашлянул три раза. Лицо у него было холодное и непроницаемое.

— Отец Ансельм. Дружба — бесценное сокровище.

Все то же непроницаемое лицо.

Джослин, окрыляемый радостью, не отступал:

— А мы что с ней сделали?

— Вы ждете от меня ответа, милорд, или же это вопрос риторический?

Джослин со всех сторон обволакивал его любовью.

— Хотите прочесть это письмо?

— Вы приказываете мне, милорд?

Джослин громко рассмеялся:

— Ансельм! Ансельм!

Старик упрямо отвергал его любовь, отворачивался, глядя на дощатую стенку, и покашливал негромко, но явственно, сухо: кха, кха, кха.

— Если письмо касается капитула, милорд, мы, без сомнения, узнаем его содержание в должное время.

— Ансельм, я хочу сделать вам подарок. Я освобождаю вас от этой обязанности. Мне следовало знать, что с вашим слабым здоровьем и при таком упорном нежелании… В конце концов, я больше всех занимаюсь этим делом. Я беру все на себя. Вы один можете меня понять, вы, мой духовник, пастырь моей души.

— Позвольте мне спросить, милорд. Значит, я не должен буду ни сторожить в соборе, ни надзирать за сторожами?

— Вот именно.

Выражение лица Ансельма не изменилось, его благородный профиль в ореоле седых волос был обращен к востоку. Он стоял, величественный, царственный, спокойный. И тяжело обронил:

— А грамота?

Тяжелые слова. То не были жемчуга или самоцветы, которые подобает рассыпать святому. То были булыжники. И Джослин не мог даже обидеться, не находил, за что ухватиться, потому что, хотя слова и были дерзкими, они были верны и отвечали уставу: *«Коль скоро один из четырех высших священнослужителей о чем-либо договаривается с другим, да будет оный договор писан в грамоте»*. Устав был словно начертан перед ними в воздухе, и Ансельм покончил дело, приведя оттуда слова:

– *«Во изменение же писаного да будет тоже дана грамота с приложением малой костяной печати в присутствии обоих священнослужителей»*.

— Да, я знаю.

Ансельм снова заговорил холодно и спокойно.

Он уже не кашлял.

— Это все, милорд?

— Да, все.

Он стоял, глядя назад через левое плечо, и слышал, как удаляются шаги ризничего. «Надо забыть о нем, — подумал он. — Я обманулся. У него благородный вид, но из уст его падают только камни».

Он посмотрел на письмо епископа. «Мы словно на весах, — подумал он. — Чем выше поднимает меня радость, тем ниже падает Ансельм. Гвоздь и мой ангел. Канцеллярий, мастер и его жена…»

Вдруг он почувствовал, как немилосердно подрезаны крылья его радости, и злоба снова вспыхнула в нем. Пропади они все пропадом, но работа должна продолжаться! Он прошел под западным окном, прижимая письмо к груди, вздернув подбородок, и пробормотал в ярости:

— Теперь уж я сменю духовника!

Вечером, когда он преклонил колени, чтобы помолиться на сон грядущий, ангел снова явился и стоял у него за спиной, утешая его и овевая теплом.

Глава третья

На другое утро, проснувшись чуть свет, он услышал шум дождя, сразу вспомнил слова мастера и среди прочего помолился о хорошей погоде. Однако дождь лил три дня, а потом дал лишь полдня передышки, но облака висели низко, и воздух был сырой — хозяйки сушили белье у очагов, где оно не столько сохло, сколько чернело от сажи; потом ветер снова принес дождь, который не унимался целую неделю. Когда настоятель выходил из своего дома и, закутавшись в плащ, торопился к собору, облака висели над самой крышей, так что даже зубцов не было видно. А сам собор, этот священный фолиант, высеченный из камня, уже не возглашал славу, а лишь бормотал скучную проповедь. Он весь был скользкий, вода струилась по мху, лишайнику и растресканным камням. Когда дождь уныло моросил, время тянулось так же уныло, медленно, тоскливо. А когда начинался ливень, тысяча каменных голов словно оживала, и тогда вспоминалось, что те, с кого они изваяны, давно гниют на погостах подле собора или у приходских церквей. Из разинутых ртов извергалась вода, словно то была новая, неслыханная еще

адская мука, и эта вода вливалась в потоки, которые струились по стеклам, свинцу, каменному кружеву, по контрфорсам, башенкам, зубцам и подзорам, а потом с журчанием и бульканьем стекали в канаву у подножия стены. Когда налетал ветер, он не разгонял туч, а только вслепую бил по воздуху, с каждым ударом словно опрокидывая на землю ушат воды, и, когда он хлестал сзади, даже сам настоятель пошатывался, а при встречном порыве втягивал голову в плечи, будто над ним занесли кулак, и плащ трепыхался у него за спиной, как крылья. Когда ветер стихал, облака опускались ниже, и Джослину не видны были даже верхние окна; из-за сплошной завесы дождя он уже не чувствовал величия храма. Теперь ему приходилось довольствоваться тем, что было доступно взору, — углом какого-нибудь мокрого камня, где каждая мелочь казалась огромной и было множество изъянов, словно на коже, когда рассматриваешь ее слишком близко. В углах на северной стороне собора — но теперь не стало солнца, по которому можно было определить, где север, а где юг, — гнездился застарелый запах мочи. Река, выйдя из берегов, затопила дорогу и, не побоявшись стражи у городских ворот, ворвалась на грязные улицы. Мужчины, женщины и

дети сидели, съежившись, у очагов, и под каждой крышей витал дым от сырых поленьев или торфа. Только в трактирах было людно.

Землекопы уже не работали у опор. Однажды Джослин, стоя подле главного мастера, следил, как тот опускает в яму свечу на веревке, и вдруг увидел, что на дне сверкнула вода. Из ямы несло смрадом, и Джослин отступил. Но мастер не обращал внимания на смрад. Он стоял, мрачно уставившись на свечу. Джослин забеспокоился, всполошился. Заглядывая Роджеру Каменщику в лицо, он спросил:

— Сын мой, что ты думаешь делать?

Роджер проворчал:

— Дел тут по горло.

Он стал подниматься по скрытой в стене винтовой лестнице; вскоре Джослин услышал его медленные шаги с высоты ста двадцати футов.

С тех пор как на Джослина впервые повеяло вонью из ямы, многое для него переменилось. Теперь он замечал, как этот омерзительный запах примешивается по всему собору к запаху ладана и сгоревшего воска: видно, вода незаметно просочилась в могилы сильных мира сего по обе стороны хора и под арками главного нефа. И оказалось, замечал это не он один. Живые, которые

сделали презрение к жизни своим ремеслом, сочли это напоминание слишком бесцеремонным и отправляли службы с неподобающим отвращением на лицах. Проходя из капеллы Пресвятой Девы к опорам — в эти дни тут было темно, — он настойчиво повторял себе: «Здесь, где теперь смрадная яма, много лет назад мне было явлено то, что я узрел, и я пал на лицо свое. Нужно всегда помнить об этом».

Теперь мастер и несколько рабочих трудились под самой крышей. Они взломали свод, и, когда в соборе было хоть немного света, вверху виднелись стропила. Люди исчезали на внутренних лестницах и снова появлялись в трифории, крошечные, как мухи, а другие тем временем возводили леса у юго-восточной опоры. Они поднимали подмости все выше, словно ткали паутину, и в конце концов опора стала похожа на елку с обрубленными ветвями. Теперь работа уже не так мешала богослужениям, потому что строители были уже на крыше. Смрадную тишину нефа нарушали только редкие удары молота где-то под крышей. А потом под взломанным сводом повисли канаты, они медленно колыхались, словно собор, по стенам которого снаружи и внутри теперь проступила сырость, пророс каким-то

гигантским мхом. Канаты были приготовлены для бревен, которые рабочие станут понемногу подтаскивать сюда через пролом в трансепте, но они были похожи на мох, и запах еще усиливал впечатление. В темноте и сырости даже сам Джослин лишь мучительным усилием воли заставлял себя помнить, какое важное дело здесь совершается; и когда один из мастеровых сорвался и упал с высоты, рассекая отчаянным криком воздух от свода до пола, такой плотный, что крик, казалось, застыл, как бы вытесанный в этом плотном воздухе безжалостной рукой, Джослин не удивился, что никакое чудо не спасло человека от каменной плиты, неумолимо ждавшей его внизу. На собрании капитула отец Ансельм не сказал ничего, но негодование в его глазах было красноречивей слов, и Джослин понял, что и эта смерть записана в счет, который когда-нибудь будет ему предъявлен. Не темная ночь окутывала собор, а полдень, серый и потому кощунственно безнадежный. Мальчишки из хора истерически хохотали, когда канцеллярий, который ковылял вслед за ними из ризницы, поворачивал налево, как привык делать вот уже полжизни, вместо того чтобы пойти направо, в капеллу Пресвятой Девы. Несмотря на этот смех и хихиканье,

богослужения продолжались и все шло своим чередом; но людей словно давила какая-то незримая тяжесть. Члены капитула брюзжали; ученики певческой школы поскучнели, капризничали, кашляли; мальчики ссорились, сами не зная из-за чего. Младшие плакали без всякой причины. У старших подолгу стояли перед глазами ночные кошмары: безносые скелеты, которые всплывали под плитами пола и прижимали плоские лица к тяжелым камням. Неудивительно, что дети рады были посмеяться над канцеллярием. Но однажды, повернув налево, он не остановился, и тогда за ним пошли двое певчих. Они отыскали его в полутьме у дощатой перегородки, он шарил по ней, словно хотел пройти к престолу; они вывели его на свет и увидели, как сильно дрожит его правая рука и какое бессмысленное у него лицо. Дряхлого канцеллярия отвели домой, и пожилых священников начал терзать новый страх перед старческим безумием. В смрадной полутьме днем и ночью совершались богослужения, и свечи ничего не освещали, лишь туманные нимбы вокруг них мерцали в сыром воздухе, и плыли кверху голоса в страхе перед старостью и смертью, в страхе перед глухими исполинскими стенами, в страхе перед темнотой и беспредельностью, в

которой нет надежды.

— Господи, услышь моление мое!

А потом пополз слух, что в городе началась чума. И лица, взиравшие на свет алтаря, который знаменовал присутствие Святого Духа, — напряженные, безмолвные лица с горящими глазами — множились, толпа росла. Джослин никогда не подходил к этой толпе, потому что у него был ангел, который время от времени утешал, согревал и укреплял его. Но как хороший военачальник, он видел, что людям нужна поддержка: ведь даже ему стало казаться, что мастеровые, эти орудия, которыми приходилось пользоваться, теперь без толку лазают по стенам, как обезьяны. Чтобы ободрить их, он велел вынести макет со шпилем на середину храма и поставить у северо-западной опоры. Макет стоял на столике, и казалось, он один был чистым во всем соборе, но стоило притронуться к нему, и палец становился мокрым.

Так прошло Рождество. Да возликует небо и возрадуется земля пред Господом, ибо Он грядет.

Так и считалось, что Он грядет, но облака по-прежнему висели над собором, и, если мелкий дождь ненадолго переставал, люди недоверчиво поднимали головы и ощупывали свои лица. Однажды, когда дождь стих, но в сырой пещере

нефа стояло особенно сильное зловоние, Джослин пришел к макету, дабы самому ободриться. Он с трудом вытащил шпиль из гнезда, потому что дерево разбухло, и держал его благоговейно, как святыню. Он нежно гладил его, покачивал в руках, смотрел на него, как мать на дитя. Макет шпиля был восемнадцати дюймов, нижняя половина, сделанная в виде четверика, была прорезана высокими окошечками и оканчивалась целым лесом стройных башенок, над которыми поднималось острие, тонкое, без единого украшения, с крохотным крестиком на конце. Крестик был меньше наперсного. Джослин стоял у опоры и все покачивал шпиль, все твердил себе, что теперь вода непременно пойдет на убыль. Ведь вот уже целую неделю нет дождя. Март выдался безветренный, но хмурый, и все же можно было надеяться, что отсыревшее солнце пробьется сквозь тучи и высушит рыхлую грязь на полях. Поглаживая шпиль, он услышал, как Джеан ругается у пролома в трансепте. Он закрыл глаза и подумал: «Мы выдержали! Отныне да будет все по-иному!» И он словно увидел закрытыми глазами, как теплые, сухие дни набирают силу, устремляются к свету. На крыше раздались удары молота, и шпиль, который он держал в руках,

вдруг привел его в волнение; он вспомнил стройные линии, сходившиеся в воздухе над собором, и задохнулся от восторга. Он ожил. Вздернув подбородок, он открыл глаза и рот, готовый вознести благодарение Богу.

И замер, не вымолвив ни слова.

Из Пэнголлова царства появилась Гуди Пэнголл. Она сделала три быстрых шага вперед. Потом остановилась и отступила на шаг. И снова пошла, уже медленней, пошла на середину собора, но смотрела она не туда. Она смотрела в сторону. Одной рукой она стягивала ворот плаща, другую с корзиной подняла к груди. Она смотрела в сторону, словно обходя быка или жеребца. Ноги влекли ее подальше от опасного места, она едва не задевала плечом стену, но уйти не могла. Глаза чернели, словно два пятна, на бледном, осунувшемся за долгую зиму лице, рот приоткрылся, она выглядела бы глупо, но такое нежное существо не может выглядеть глупо, и к тому же этот неприкрытый страх… Джослин проследил за ее взглядом; и тут время понеслось вскачь или, может быть, вовсе остановилось. И поэтому Джослин ничуть не удивился, когда понял, что знает, на кого она смотрит, хотя еще и не видел мастера.

Роджер Каменщик стоял одной ногой на стремянке, под лесами, окружавшими опору. Он спустился вниз и смотрел на Гуди. Вот он повернулся. Вот пошел по каменным плитам, а она двигалась все медленней, прижимаясь к стене. Она отступала, отступала, повернув к нему голову. Но он словно пригвоздил ее к месту и что-то серьезно говорил ей, опустив глаза, а она все смотрела на него, приоткрыв рот и качая головой.

Джослин как будто прозрел. Он все понял, все теперь знал. Знал, что это не первая их встреча. Знал, как они страдают и мучаются. Знал — и это было подобно откровению во время молитвы, — что самый воздух вокруг них стал иным. Некий шатер скрывал их от людей, и оба они боялись этого, но были бессильны. Они разговаривали серьезно и тихо, и хотя Гуди все время качала головой, она не уходила, не могла уйти, затворенная вместе с ним в незримом шатре. Она была в плаще, с корзинкой, собралась на рынок, и ей не о чем было говорить с мужчиной, а тем более с Роджером, но в таком случае ей довольно было покачать головой, она могла бы вовсе не обратить внимания на этого сильного человека в кожаных штанах, коричневой блузе и синем капюшоне, даже останавливаться было незачем

— прошла бы мимо него, отвернувшись, ведь он же не схватил ее. Но она стояла, обратив к нему лицо, и ее черные немигающие глаза и ее губы твердили: «Нет». И вдруг она рванулась, будто в самом деле хотела разорвать висевшую в воздухе преграду, но тщетно, потому что незримый шатер, откуда им не было выхода, только растянулся и не выпустил ее. Она осталась внутри, и так будет всегда, она всегда будет внутри, как сейчас, хотя она и бежит прочь по южному нефу, и лицо ее, только что бледное, пылает. А Роджер Каменщик смотрел ей вслед, и казалось, ничто на свете не существовало для него, ничто и никто, кроме нее одной, и он был бессилен перед этим и невыносимо страдал. Когда за Гуди захлопнулась дверь, он повернулся спиной к Джослину и, как лунатик, пошел к лесам.

И тогда в Джослине словно из какой-то ямы поднялась злоба. Перед глазами возникло ее лицо, которое изо дня в день склонялось перед ним, когда она подходила под благословение, он услышал, как она беззаботно распевала в Пэнголловом царстве. Он вздернул подбородок, и из темной глубины, где бушевали возмущение и боль, вырвалось одно только слово:

— Нет!

Мир, пробуждавшийся к новой жизни, вдруг стал мерзок Джослину, словно его окатило грязью, он едва не задохнулся и, увидя перед собой пролом в трансепте, бросился туда, где брезжил дневной свет. Его настигли насмешливые возгласы мастеровых, и, хотя жгучее чувство терзало его, он понял, какой прекрасный повод для пьяных шуток будет у них теперь: сам настоятель выскочил из пролома в стене, обеими руками неся перед собой свое безумство. Он бросился назад, под своды. Но по северному нефу двигалась небольшая процессия; впереди шла Рэчел, бережно держа бесценную ношу; он заученно благословил и поздравил ее, но жена коннетабля поспешно отобрала у нее ребенка и с важностью направилась к капелле Пресвятой Девы, где была купель. А Рэчел осталась, что-то удержало ее на месте, и, хотя перед его невидящими глазами стояли Роджер и Гуди Пэнголл, он постепенно понял, почему она осталась. Он никогда не поверил бы, что женщина, даже оскорбленная (глаза ее вылезли из орбит, черные пряди волос разметались по щекам), может сказать такую мерзость. На этот раз его сковал не поток слов, а самый их смысл. Рэчел — лицо ее дергалось, дрожало, как оконное стекло во время грозы, — объясняла ему, почему

у нее нет ребенка, хоть она и молит об этом Бога. Когда они с Роджером в первый год были вместе, она в самую неподходящую минуту засмеялась, никак не могла удержаться, но она не бесплодна, как некоторые думали и даже говорили, нет, избави Боже! Просто она не могла удержаться от смеха, и он тоже не мог удержаться…

Джослин стоял, удивленный, не веря своим ушам, а она исчезла наконец в северном нефе, торопясь поспеть на крещение. Он стоял у лесов, и его ожгла мысль, что таковы все женщины: девять тысяч девятьсот девяносто девять раз они бывают скромны, хоть и болтливы, и в десятитысячный изрыгнут столь чудовищное непотребство, так грубо обнажат самое сокровенное, словно само взбесившееся чрево обрело язык. И из всех женщин в мире это сделала именно она — невероятная, невозможная и все же существующая Рэчел… принуждена была сделать, потому что не совладала со своим болтливым нутром, в неподобающем месте, в неподобающую минуту, перед самым неподобающим человеком. Она сорвала покровы с жизни, обнажив такие глубины, где царят ужас и смешная нелепость — красно-желтый шут размахивает в страшном застенке своей палкой, на которой подвешен

свиной пузырь.

И он со злобой сказал деревянному шпилю, который держал в руках:

— Наглая и бесстыдная женщина!

Шут ударил его в пах свиным пузырем, а он засмеялся дребезжащим смехом, от которого по телу прошла судорога. И громко воскликнул:

— Грязь! Грязь!

Он открыл глаза и услышал, как его слова гулко отдались под сводом. И увидел Пэнголла — он стоял со своей метлой, застывший, изумленный, у двери в дощатой перегородке. Невольно пытаясь вложить в свои слова хоть какой-нибудь смысл и скрыть их истинное значение, Джослин воскликнул снова:

— В соборе полно грязи! Они все загадили!

Но из северного трансепта вышли старый каменотес Мел и главный помощник Роджера Джеан. Джеан хохотал, словно не замечая Джослина:

— Разве это жена? Да она просто сторожиха при нем!

У Джослина кровь еще шумела в висках, он попытался заговорить с Пэнголлом как ни в чем не бывало, но почувствовал, что задыхается, словно бегом пробежал через весь собор.

— Как твои дела, сын мой?

Но Пэнголл глядел на него враждебно, озлобленный какими-то своими неудачами или стычкой с мастеровыми.

— Какие там дела…

Джослин уже овладел собой и сказал почти спокойно:

— Я говорил с главным мастером. Ну как, ты помирился с ними?

— Я? Какое там!.. Вы правду сказали, преподобный отец. Они все загадили.

— Но тебя оставили в покое?

Пэнголл сказал угрюмо:

— Они никогда не оставят меня в покое. Я для них заместо шута.

«Чтоб отвести беду». Губы Джослина сами собой повторили эти слова, как ноги сами собой идут по привычному пути.

— Ничего не поделаешь. Все мы должны их терпеть.

Пэнголл, который пошел было прочь, обернулся:

— А почему вы не обратились к нам, отец? Я и мои помощники…

— Вам этого не сделать.

Пэнголл открыл было рот, но смолчал. Он стоял, не двигаясь, и пристально смотрел на

Джослина; угол его рта кривился, и, если бы не его преданность и благочестие, это можно было бы принять за усмешку; а в воздухе между ними носились невысказанные слова: «И им тоже не сделать, никому не сделать. Из-за грязи, и воды, и непрочного настила, и высоты, и тонких опор. Это невозможно».

— Они тяжкое испытание для всех нас, сын мой. Я признаю это. Но мы должны терпеть. Ты же сам сказал мне как-то, что собор — твой дом. В твоих словах была греховная гордыня, но в то же время — верность и рвение. Пусть никогда не будет у тебя мысли, сын мой, что тебя здесь не понимают или не ценят. Скоро они уйдут. А у тебя, когда будет угодно Богу, родятся сыновья…

Рот Пэнголла уже не кривился.

— И храм, который им суждено хранить и оберегать, станет неизмеримо величественней, чем ныне. Подумай сам. Посередине вознесется к небу вот это, — он торжествующе поднял перед собой шпиль, — и они будут рассказывать своим детям: «Это сделано во времена нашего отца».

Пэнголл сгорбился. Метла, которую он держал на весу, задрожала. Его взгляд застыл, оскаленные зубы сверкали. Мгновение он стоял так, уставившись на шпиль, который в упоении протягивал

ему Джослин. Потом взглянул на настоятеля из-под насупленных бровей.

— Неужто и *вы* издеваетесь надо мной?

Он повернулся, быстро заковылял прочь через южный трансепт, дверь его царства захлопнулась, и по всему собору отдалось эхо.

На крыше бил молот: «бам, бам, бам». Стук двери, и удары молота, и запахи, и воспоминания, и поток невыразимых чувств — все разом вдруг обрушилось на Джослина, и он задохнулся. Он знал, где можно вздохнуть всей грудью, ноги, спотыкаясь, сами понесли его туда, и он упал на колени перед алтарем, осиянным неярким светом. Он смотрел на алтарь, жадно открыв рот.

— Я не знал…

Но чистота света оставалась недостижимой, она была как крошечная, бесконечно далекая дверца. Джослин стоял на коленях, мысли его кружились в бурном водовороте, и он не сразу понял, что смотрит на плиты пола, украшенные геральдическими зверями. А еще ближе, перед самыми глазами, стояли люди, четверо — и он снова содрогнулся, — Роджер и Рэчел, Пэнголл и его Гуди, словно четыре опоры средокрестия.

Потом, все еще содрогаясь, он поднял голову и увидел потускневшее великолепие витража, а

свет на алтаре раздвоился и теперь сиял отдельно в каждом глазу.

Он прошептал:

— И Ты послал ангела Твоего, дабы он укрепил меня.

Но ангела не было; только водоворот чувств, бурлящий, мучительный, жгучий, и ужас перед злом, которое зреет и разрастается всю жизнь, достигая жуткого, непостижимого могущества на полпути между рождением и старостью.

— Ты, Господи! Ты!

Два света слились в бесконечной дали, и ему захотелось уйти. Но вместо ангела за его спиной прыгали и вопили те четверо, и свет вновь раздвоился. А потом их осталось двое в шатре, он и она, но теперь Джослин, захлестнутый скорбью и негодованием, закрыл глаза и со стоном стал молить Бога о спасении возлюбленной своей дочери.

— Укрепи ее, Господи, по великой милости Твоей и ниспошли ей успокоение…

И тут в голове у него, как живая, забилась мысль. Она пронзила мозг острым копьем. Только что глаза его были закрыты, а сердце переполняла сладостная скорбь. Но теперь в душе не осталось чувств, ничего, кроме этой мысли, которая, ка-

залось, пребывала там с первого дня творения. Никаких чувств, ничего, только одна мысль, и он снова ощутил бремя своего тела. На груди, у самого сердца, лежала тяжесть, болели руки, болела правая щека. Открыв глаза, он понял, что судорожно прижимает к себе шпиль и острая грань впилась ему в щеку. Он снова увидел плиты пола, и на каждой было по два зверя — когтистые лапы занесены для удара, змееподобные шеи переплелись. Где-то, то ли над плитами, то ли за спиной, где являлся ангел, то ли в беспредельности, которая была у него в голове, возникла яркая картина: Роджер Каменщик, полуобернувшись, глядит с лесов, и невидимые веревки притягивают его к женщине, припавшей к стене. Это Гуди, она тоже стоит полуобернувшись и смотрит не мигая; она чувствует, как натягиваются веревки, качает головой, ее объемлет ужас и желание; Гуди и Роджер в шатре, который всегда пребудет вокруг них, куда бы они ни пошли. И тогда-то всплыла мысль, отчетливая, словно надпись поверх картины. Она была так чудовищна, что заглушила в нем все чувства, и теперь он читал ее с полной отрешенностью, а грань шпиля жгла ему щеку. Так чудовищна была эта мысль и так подавила она все остальные чувства, что ему

пришлось произнести ее вслух, а перед глазами его все стояли те двое, связанные меж собой.

— Она удержит его здесь.

Он встал с колен, не глядя на свет алтаря, и медленно пошел к опорам сквозь оглушительную тишину. Он приблизился к столику, где распластался макет, и втиснул шпиль в квадратное гнездо. Потом он вышел из собора и побрел к дому. Он с любопытством поглядывал на свои руки и сосредоточенно кивал. Лишь поздно ночью чувства вернулись к нему; и тогда он снова упал на колени, и слезы хлынули из глаз. И тут наконец явился ангел, который согрел ему душу, и он немного утешился и уже мог переносить эту картину и эту чудовищную мысль. Ангел не оставлял его, и он сказал, засыпая:

— Ты нужна мне. И только сегодня я по-настоящему понял зачем. Прости меня!

Ангел согревал его.

Но словно для того, чтобы он не забывал о смирении, диаволу была дана власть терзать его всю ночь нелепым и беспросветным кошмаром. Джослину снилось, будто он лежит навзничь в своей постели, а потом он лежал навзничь в болоте, распятый, и руки его были трансептами, и Пэнголлово царство прилепилось у него под

левым боком. Приходили люди, мучили его, осыпали насмешками: Рэчел, Роджер, Пэнголл — и все они знали, что у собора нет и не может быть шпиля. А сам диавол, который налетел с запада, облаченный в сверкающую шерсть, стоял над нефом и терзал его так, что он корчился в теплом болоте и громко кричал. Он проснулся в темноте, исполненный омерзения. Взяв бич, он нанес себе семь жестоких ударов по спине, которую недавно согревал лучезарный ангел, по удару за каждого беса. А потом уснул крепко, без сновидений.

Глава четвертая

С тех пор Джослин ревностно принялся за труды. Натянув кожаные ноговицы, он объезжал по глубокой грязи окрестные церкви, проверял своих викариев, произносил проповеди перед изможденными прихожанами. Он проповедовал и в городских церквах, где состоял архидиаконом. В соборе Святого Фомы, вещая с высот трифория, над серединой нефа, где полукружьем стояли люди, поднявши кверху лица, он вдруг поймал себя на том, что исступленно говорит о шпиле и постукивает кулаком по каменному пюпитру. Но люди стонали и били себя в грудь не от его слов, а потому, что он говорил с таким исступлением, и еще потому, что стояла пора дождей, наводнений, голода и смерти. Поутру ветер разогнал дождевые тучи, и когда Джослин вернулся в собор, то мог наконец снова окинуть взглядом весь храм. Но теперь это было самое обыкновенное здание — столько-то футов в длину, ширину и высоту, лишенное блеска и величия. Джослин взглянул в холодное небо, но там ничего не было. Он пошел к себе и стал смотреть в узкое оконце, потому что в оконной раме стены собора иногда

обретали особую четкость и значительность, как на картине. Но теперь перед ним был просто огромный сарай. И к тому же собор как будто стал ниже, хотя Джослин знал, что ему это только кажется. У канавы, под стеною, земля, поросшая жесткой травой, вспучилась от сырости, словно камень выдавливал землю, и теперь он ощущал не столько величие славы Божией, сколько тяжесть громады, сложенной людскими руками. А видение шпиля стало далеким, как сон, запомнившийся с детства. И тогда он думал о старом Ансельме, с которым было связано его детство, в голове всплывала мысль: у кого же он теперь будет исповедоваться? Но он с досадой встряхнулся и сказал в пустоту сквозь стиснутые зубы:

— Я творю волю моего Небесного Отца.

В эти дни он оставил без ответа еще одно письмо леди Элисон. И все же ветер принес перемены. Он разогнал тучи и, задувая в открытые двери, очистил собор от вони. Полые воды понемногу спадали, оставляя гниль и разрушение повсюду, кроме троп, которые уже подсыхали, и мощеных дорог, где могли проехать повозки. Теперь, подходя к западной двери, он видел, что каменные головы присмирели, замерли и ждут, напряженно разинув рты, что будет дальше. Он

останавливался и раздумывал о том, с каким тщанием и вдохновенностью могучие строители возводили собор, потому что эти головы словно выросли, вздулись на камне, как нарывы или прыщи, очищающие от недуга, жертвуя собою ради чистоты и здоровья всего тела. Теперь, когда дождя не было, он видел мхи и лишайники, зеленые и черные, отчего казалось, что некоторые из голов поражены болезнью, они бросали по ветру немые кощунства и злобные насмешки, бесшумные, как смерть, которая косит людей где-то далеко, в чужих землях. Святые и мученики, исповедники и праведники у западной стены бесстрастно перенесли зиму, а теперь обсохли и готовы были так же бесстрастно перенести летний зной.

Он чувствовал, что силы как будто понемногу возвращаются к нему. Вспоминая о Роджере Каменщике, который был орудием в его руках, и о женщинах, вращавшихся вокруг него, он говорил себе: «Она праведница!» — и верил, что этого довольно. Потому что все постепенно налаживалось. На собраниях капитула реже слышался кашель, и только один из каноников умер — дряхлый канцеллярий неверными ногами переступил последний порог; и поскольку смерть

его не была ни мучительной, ни скоропостижной и над ним успели совершить все положенные обряды, следовало скорее радоваться, чем скорбеть. Тем более что новый канцеллярий был молод и смиренен. Незаметно пришло время снять занавеси в аркадах, и мальчики из певческой школы теперь играли на воздухе, стараясь залезть на высокий кедр. А однажды утром, войдя в собор, он вдруг увидел, что храм снова полон мирской суеты. Люди глазели на яму у опор или на дыру в своде. Теперь, когда река вернулась в берега и на небе сквозь облака проглядывала синева, вода из ямы ушла, и Роджер Каменщик, спустив туда свечу, не увидел ее отражения. Его армия приободрилась, рабочие насвистывали, взбираясь по лесам к своду и по винтовой лестнице в трифорий. Возвращаясь оттуда с пустым лотком или с корзиной, они возвещали о своем приближении свистом или песней, столь же безразличные к строгости Великого поста, как каменные изваяния. Напрасно Джослин жаловался Роджеру Каменщику, что его армия слишком шумит. Под тростниковым навесом у северного трансепта все время что-то строгали, а с крыши беспрестанно доносились удары и топот. Но Джослин в эту пору Великого поста готовился к решительной битве

и, поглощенный приготовлениями, был бессилен перед веселой армией, как девчонка, которая пасет слишком много гусей. Он беспомощно слушал, как они распевают свои песни, беспомощно видел, как передразнивают Пэнголла, беспомощно смотрел на Роджера и Гуди в шатре.

И все твердил:

— Я творю волю моего Небесного Отца!

Однажды утром, войдя в собор («Поднимите, врата, верхи ваши!») и остановившись у ямы, которая больше уже не смердела, он уловил что-то новое в шуме, доносившемся сверху. Он запрокинул голову так, что заболела шея, и в глаза ему засиял клочок неба, звонкий, головокружительный, невероятный, чудесно голубой. И подобно тому как рама его узкого оконца порой придавала глубину и выразительность тому, что открывалось за нею, края маленького отверстия были словно оправой, в которой клочок неба сверкал как драгоценный камень. Наверху строители разбирали крышу, отгибали свинцовые пластины. Голубой просвет разрастался в длину и ширину, объединяя землю с небом как раз там, где скоро, очень скоро вознесутся стройные линии, воплощая собой бесконечность. Запрокинув голову и открыв рот, он смотрел вверх

прищуренными влажными глазами. Он видел, как там суетились люди, которые делали, что им велено, но не ведали, что творят: видел, как белая полоска вторглась в голубизну, потом исчезла; слышал, как подошла Рэчел, треща языком, но не обратил внимания на ее болтовню и не знал, долго ли она пробыла рядом и куда ушла; шея его болела, но он не замечал этого, радуясь, как радуется ребенок, бегающий по цветущему лугу, а голубое пятно, расширяясь, затуманилось в его глазах и превратилось в искрящийся каскад. Наконец он дал отдых шее и погрузился в паутину света, медовых полос, протянувшихся от окон, призрачных огней, которые плыли в его голове и старались затмить голубизну неба, еще дрожавшую перед глазами.

И отныне, всякий раз как армия Роджера работала на крыше, небо смотрело прямо в жадно разинутую пасть ямы. Вскоре стало видно сплетение балок; потом их убрали одну за другой. Рабочие на полозьях втащили в собор огромный кусок парусины, к которому с купола протянулись канаты. Парусину с пением вздернули кверху. Когда работы кончались, она закрывала небо, иногда на нее обрушивался ливень, и там, наверху, словно проходила процессия и слышал-

ся рев. А когда погода прояснялась, возвращались строители и снова открывали небо. Каждый день главный мастер осматривал яму. Один раз он сам спустился туда, но сразу же вылез, качая головой, и на ногах у него налипла грязь. Он молчал, зато Рэчел объясняла, как подвигается дело, всякому, кто хотел, а иногда и не хотел ее слушать.

Великий пост кончался, близилась Пасха, Джослину приходилось выслушивать жалобы, что шум с крыши слышен даже в капелле Пресвятой Девы, и он решил, что пора ему самому залезть наверх и все осмотреть. Он осторожно, с трудом поднялся по винтовой лесенке и наконец очутился над сводом, на высоте ста двадцати футов, откуда яма казалась крошечной черной точкой. Перед ним был огромный четырехугольник, огражденный зубцами, залитый светом и воздухом. Он пробрался среди таинственных деревянных и каменных сооружений и выглянул наружу; внизу был двор, посреди которого бугорком торчал кедр. Мальчики из певческой школы бегали по траве взапуски или сидели, склонясь над шашками, на парапете аркады. И Джослин вдруг почувствовал, что любит всех чистой и радостной любовью. Волнение переполняло его. Он отдернул голову — пролетавший ворон едва

не задел его крылом по лицу, — огляделся и вновь почувствовал волнение. Оказалось, он стоит у начала новой кладки — первый ряд камней уже обозначил четверик. Каменщик клал слой известкового раствора, тонкий, как пленка белка в яйце. Джослин стиснул руки, поднял голову и торжественно воззвал ко всем разом — и к мальчикам, и к немому, и к Роджеру Каменщику, и к Гуди: «Ликуйте, дщери иерусалимские!»

Наступила Пасха, и это особенно чувствовалось в капелле Пресвятой Девы, где праздник возвестил о себе покровом из небеленого холста на алтаре. Свечи тоже были как небеленый холст, прихожане валили толпой, и гроб ждал ангела, несущего благую весть, что Он воскрес. А у опор, куда свет легко проникал через узорные стекла, Пасха явила себя по-иному — шумом и сиянием солнца.

Каменная кладка стала быстро расти, и однажды Джослин, выглянув в окно своего дома, увидел, что белый камень уже поднялся выше зубцов. Вскоре четверик, в свою очередь, начал обрастать лесами, сперва появился один настил, потом второй. Бревна из леса Айво вползали в собор через пролом в северном трансепте. Со свода спускали канаты, и бревна уходили вверх

торчком, как стрелы, а люди сторонились их. Джослин захотел было посмотреть, что с ними делают потом, но мастер не пустил его. Когда же он наконец снова поднялся наверх, то увидел, что бревна из леса Айво — или его отца — образовали четырехугольную основу для перекрытия, которое должно было появиться на уровне прежней крыши. Но посредине оставалось квадратное отверстие, и небо все так же низвергалось сквозь него. Каменная кладка с четырех сторон стала расти неравномерно. Каменщики оставляли просветы, и Джослин понял, что здесь будут окна высотой в пятьдесят футов, освещающие башню.

Капелла Пресвятой Девы украсилась цветами, бледные лица прихожан ожили, нежные уста детей источали хвалу. Пришел Айво в полном облачении — его должны были рукоположить в каноники. Он предстал перед тремя священнослужителями и читал из толстой Библии, а может быть, просто повторял на память — определить было трудно, потому что читал он «Отче наш» и «Богородицу»; однако новый канцеллярий сказал, что теперь Айво читает неплохо. Последовало торжественное рукоположение, и солнце заглядывало в маленькие окна, озаряя на стеклах житие святого Альдхельма. Джослин сидел за пю-

питром и всем существом своим чувствовал, как растет башня. Он ждал Айво, который подошел с подобающим достоинством. И вот в капелле Пресвятой Девы Джослин взял его теплую руку в свою. Обычные вопросы, благословение, рука в пастырской руке, переносный алтарь и, наконец, среди свечей и цветов, поцелуй мира.

А потом Айво снова отправился на охоту.

Тем временем воздух и земля становились все суше, и вот снова появилась пыль. Джослин тщательно обдумал, как с ней справиться, но ему пришлось молча махнуть на все рукой, потому что Пэнголл и его помощники пали духом. Грязь, оставшаяся в нефах, высохла и повисла пыльным облаком. Кроме того, пыль летела через квадратное отверстие над опорами. Она лежала повсюду небольшими кучками и холмиками. Она сверкала в лучах солнца, расползалась и бугрилась по надгробиям. Крестоносцы, застывшие в геральдическом безмолвии на каменных плитах меж колонн нефа, уже не сверкали родовыми гербами, а оделись в грязные кольчуги или латы навозного цвета, словно здесь же и были повержены в кровавом побоище. По эту сторону дощатой перегородки храм стал мирским, как конюшня или пустой сарай для сбора десятины.

Весь его божественный смысл сосредоточился теперь наверху, в квадратной башне. Леса внутри башни поднимались все выше, и снизу казалось, будто смотришь в печную трубу, где усердно вьют гнездо птицы. Оттуда свисали канаты, подмостки суживали просвет, прямые стойки лесов словно сходились далеко вверху, наклонные стремянки были переброшены от настила к настилу. И повсюду неутомимо сновали строители. Они уже не шумели и не смеялись, как в первые дни весны, а стали молчаливыми и сосредоточенными. Прежде, работая внизу, они держались небрежно и самонадеянно. Но теперь, на высоте почти двухсот футов, они словно постигли какие-то тайны, не доступные никому другому, и оттуда почти всегда доносился лишь деловой шум: там стучали, строгали, тесали, скребли. Идя в капеллу Пресвятой Девы служить мессу или предаваться одиноким размышлениям у алтаря, Джослин иногда останавливался и, взглянув вверх, видел, как кто-нибудь из рабочих проходит на головокружительной высоте по шаткой доске, перекинутой наискось с бревна на бревно. Он смотрел, как очередной камень из Пэнголлова царства медленно поднимается кверху в деревянном лотке или раскачивается, повиснув

на канате. Он смотрел, как Роджер Каменщик тяжело и осторожно взбирается по стремянкам, и под мышкой у него угольник, а с пояса свисает свинцовый отвес. Кроме того, он носил при себе еще какой-то странный металлический снаряд с дырочкой для глаза. Роджер часами нацеливал это приспособление вдоль стен или из угла в угол. Проделав измерения угольником или металлическим снарядом, он повторял их в обратном порядке и всякий раз опускал отвес; при этом он отрывал от дела двоих, а то и больше рабочих. Видя, как они теряют время, Джослин задыхался от отчаяния и не уходил, пока неотложные обязанности или письма, принесенные отцом Безликим, не заставляли его опомниться. Но, улучив минуту, он снова возвращался к опорам, смотрел вверх, вскрикивал, и немому юноше, который ваял уже третью каменную голову настоятеля Джослина, было нелегко работать.

Однажды он увидел, что люди собрались на самом верху кучками и о чем-то спорят. Он видел, что Роджер Каменщик то старается их развеселить, то заискивает перед ними, притворно сердится или взывает к их благоразумию, но они потеряли понапрасну не один час и лишь потом нехотя вернулись к работе. Тогда мастер вместе с

Джеаном спустился вниз, и они занялись каким-то делом. Джослина Роджер со злобой отстранил. Он ставил на пол плошки с водой, подкладывал снизу дощечки, нацеливал свой снаряд. Он сделал зарубки на всех четырех опорах и поверх каждой зарубки поставил отметку мелом. Теперь он по два и по три раза в день возвращался к этим отметкам. Иногда он становился у входа в южный трансепт и смотрел на каждую отметку, а потом на их отражения в плошках с водой. Когда мел осыпался, он ставил новую отметку.

Но Джослин радовался и, проходя мимо него, со смехом качал головой. Время от времени он спрашивал Роджера:

— Как? Сын мой, неужели ты до сих пор не обрел веры?

Мастер не отвечал и только раз, казалось, хотел что-то сказать. Накануне ангел так укрепил Джослина, что он чувствовал в себе силы взвалить на плечи весь собор. Когда он шел через главный неф, по которому в тот миг пробегала Гуди, ему захотелось излить перед кем-нибудь свое торжество, и он крикнул Роджеру, который стоял над плошкой с водой:

— Видишь, сын мой! Я тебе говорил… Опоры не оседают!

Роджер открыл рот, но ничего не сказал, потому что увидел Гуди, которая теперь быстро шла через северный неф; и Джослин понял, что мастер сразу забыл о его существовании. Он продолжал свой путь, чувствуя, что его торжество как будто слегка потускнело.

К тому же Рэчел в эти дни особенно докучала ему. Когда Джослин смотрел вверх, она стояла рядом, но вверх не смотрела, а без конца болтала, трещала языком, не давала покоя, и у него оставалось только одно, уже испытанное средство — не обращать на нее внимания. Она говорила, что от высоты у нее как на грех кружится голова, а Роджер почти все время работает наверху, и это так опасно. Зато она всегда поджидала Роджера у лесов; и едва он спускался, оба снова начинали вращаться один вокруг другого, словно были одни и никого больше на свете не существовало. Видя это, Джослин всякий раз содрогался и думал, что они казались бы скорее братом и сестрой, чем супругами, если б он не знал о них этой грязной нелепости; он — смуглый, вспыльчивый, тяжеловесный, но ловкий; она — вспыльчивая, смуглая, крепкая, неугомонная. А Пэнголл тем временем одиноко жался к стене, или стоял в задумчивости, опершись на метлу, или ковылял

куда-то, преследуемый насмешками мастеровых; Гуди Пэнголл проходила мимо опор — хотя могла бы попасть домой и другой дорогой, — низко, к самой груди, склонив голову; Роджер Каменщик наводил свой снаряд на меловые отметки… Иногда Джослин сам себе удивлялся, или, вернее, его удивлял какой-то темный уголок в его душе, заставлявший губы произносить слова, которые представлялись бессмысленными, и, однако, эти слова выражали торжество или отчаянье:

— То ли еще будет!

Но потом, тщательно обо всем рассудив, он прозревал, как обернется дело, кивал головой, шел к себе и ждал ангела, у которого обретал утешение, но не совет.

Однажды в июне Джослин пришел в собор с головной болью. Накануне ангел, утешавший его, был особенно щедр, и теперь он то робко, то исполняясь гордости, то снова робко, без конца возвращаясь к одной мысли, сушившей его ум, повторял себе, что это — награда, ибо, несмотря ни на какое сопротивление, он заставил рабочих построить первый ярус башни. А потом он понял, что ангел приходил предостеречь его, ибо диаволу была дана власть терзать его ужасней прежнего, и последний час перед пробуждением

был отравлен чудовищными кошмарами. Ранним утром он пришел в собор помолиться. Уже рассвело, и он надеялся застать армию Роджера за работой. Но пыльный сарай был пуст и безмолвен. Он остановился возле высохшей ямы, посмотрел вверх и почувствовал, как в голове разгорается пламя, рождая новую боль, потому что птичьи гнезда в каменной трубе покинуты, канаты висят, колеблемые сквозняком, а вокруг все неподвижно, только розовое облачко потихоньку ползет над собором, застилая просвет сверкающим покрывалом. Он опустил голову и, повинуясь какой-то смутной тревоге, поспешил в Пэнголлово царство, но в домике было тихо, и стеклорезы куда-то исчезли. Он вернулся в собор, где шаги его отдавались громким эхом, бодро прошел в северный трансепт и выглянул через пролом, отыскивая мастеровых, и тут он увидел всю их армию. Они столпились под навесом, где с осени лежали бревна. С краю молча, не шевелясь, стояли женщины. Мужчины залезли на бревна, которые еще не были убраны. И в глубине виднелся Роджер Каменщик, его голова и плечи темнели в дальнем конце. Он что-то говорил, но Джослин не мог расслышать слов, потому что был далеко, и к тому же вся толпа шумела и волновалась.

Выглядывая из-за неровного края пролома, Джослин умудренно и скорбно кивнул в ответ на свои мысли, а голову его терзала жгучая боль.

«Они хотят, чтобы я прибавил им пенни в день».

Он ушел в капеллу Пресвятой Девы, где уже ожили восточные окна, и помолился за мастеровых. И словно вызванные молитвой, они пришли к опорам, он услышал их голоса и шум, еще не успев сосредоточиться. С омерзением обратился он мыслью к козням диавола, кляня свою окаянную плоть. Но шум в нефе и собственные его воспоминания мешали ему. Он понял, что не молится, а думает — преклонив колени, подперев рукой голову и глядя перед собой пустым взглядом. «Предстоит самое тяжкое испытание, — сказал он себе, — и надо собрать все силы».

А потом вдруг его вырвали из задумчивости. Рядом стоял немой без кожаного фартука и без обтесанного камня в руках, он что-то мычал пустым ртом. Он даже коснулся Джослина, зовя его за собой, и снова убежал в шум и суету, к опорам.

«Надо пойти к ним», — подумал Джослин, глядя вслед немому сквозь боль, от которой пылала его голова.

Он сказал вслух:

— Моя пища слишком скудна. Великий пост истощил меня. Разве смею я умерщвлять свою плоть, она ведь потребна для святого дела.

Возле опор раздались крики, и он в тревоге вскочил. Он быстро прошел через галерею и остановился у опор, мигая от яркого света. Солнце радужными нимбами сияло перед его глазами, и без того ослепленными пылающей болью, но он наморщил лоб и отчаянным усилием воли заставил глаза прозреть. Он не сразу понял, что происходит, потому что к нему бросилась Рэчел, она вертелась вокруг него, треща языком, и потребовалось еще одно усилие воли, чтобы перестать ее слышать. Вся армия собралась у опор, целая толпа. Женщины, кроме Рэчел, теснились в северном трансепте. И он сразу заметил, что толпа растет, подходят все новые люди и, пошептавшись, напряженно застывают на месте. Как будто труппа лицедеев готова начать игру и ждет лишь удара барабана. Тут была Гуди Пэнголл, и сам Пэнголл со своей метлой, и Джеан, и немой, и Роджер Каменщик; они напоминали фигуры на башенных часах, которые замерли в неживых позах и ждут, когда часы начнут бить. Они стояли неровным кругом, обступив яму. У края ямы — и как ни был Джослин обессилен и немощен,

он оценил хитроумное приспособление — была установлена на треножнике металлическая пластина, которая отражала солнечный свет, направляя его вниз, на дно. Джеан и Роджер присели на корточки по другую сторону и смотрели вниз.

Джослин быстро подошел к яме, и Рэчел не отставала от него, треща над самым ухом; но едва он приблизился, мастер поднял голову.

— Ну-ка, отойдите все подальше, живо! Прочь к трансептам!

Джослин только было открыл рот, но тут Роджер яростно зашипел на Рэчел:

— Эй ты, не засти света! Прочь во двор!

Рэчел исчезла. Роджер Каменщик снова склонился над краем ямы. Джослин встал рядом с ним на колени.

— В чем дело, сын мой? Скажи.

Роджер пристально всматривался вниз.

— Глядите на дно. Не двигайтесь и глядите.

Джослин оперся на руки, наклонился вперед, почувствовал, как через шею и затылок словно хлынул кипяток, и еле удержался от крика. Он зажмурил глаза и ждал, пока в них погаснут вспышки мучительной боли. Над ухом раздался шепот Роджера:

— Глядите на самое дно.

Он поднял веки, и отраженный солнечный свет мягко коснулся его глаз. В яме было тихо и пусто. Джослин видел все пласты сверху донизу. Сначала камень, те самые плиты толщиной в шесть дюймов, которые были под их коленями, потом, словно свисая с этой каменной губы, — щебень, сцементированный известкой. Дальше, слоем в несколько футов, какие-то волокна — быть может, обломанные и расщепленные концы бревен. Под ними темная земля вперемешку с галечником и еще более темное дно, тоже усыпанное галечником. Джослину казалось, что смотреть здесь не на что, но мягкий свет, отраженный металлическим зеркалом, давал отдых глазам; кругом все притихли.

И вдруг Джослин увидел, как вниз полетели камень и два комка земли, а потом прямо под ним обвалилась глыба не меньше квадратного ярда и с глухим стуком легла на дно. Она увлекла за собой камни, и они упали на свое новое ложе, тускло поблескивая в отраженном свете. Джослин ждал, пока они улягутся, и вдруг волосы дыбом встали у него на затылке, потому что камни не улеглись. Вот один дрогнул, словно забеспокоился; и Джослин увидел, что все они движутся, подергиваются как личинки. Сама

земля двигалась под ними, и от этого личинки копошились, словно каша закипала в горшке; они трепетали, как пыль над барабаном, когда на нем выбивают дробь.

Джослин быстро простер руку, словно хотел охранить дно. Он взглянул на Роджера Каменщика, который не сводил глаз с личинок, губы его были плотно сжаты, и лицо отливало прозрачной желтизной, особенно заметной в отраженном свете.

— Что это, Роджер? Что это?

Там было нечто живое, нечто запретное для глаз, неприкасаемое; сама подземная тьма кружилась, бурлила, закипала.

— Что это? Скажи!

Но мастер все смотрел вниз напряженным взглядом.

Судный день грядет из глубины, а может быть, там, внизу, крыша ада. Может быть, это корчатся грешники, осужденные на вечные муки, или безносые скелеты ворочаются в могилах и хотят восстать, или же просыпается освобожденная наконец от оков живая языческая земля — Dia Mater[26]. Джослин невольно зажал себе рот; и

---

[26] Примечания: 26
Dia Mater — Матерь богов (*лат.*).

вдруг судороги прошли по его телу, и он, повторяя все то же движение, раз за разом подносил руку к губам.

У юго-западной опоры всплеснулся пронзительный крик. Там стояла Гуди Пэнголл, и около ее ног перекатывалась упавшая корзина. Под ступенями, которые вели на хоры, отгороженные дощатой стенкой, раздался мощный удар; Джослин стремительно, рывком повернул голову и увидел, как брызнули во все стороны каменные осколки, словно кто-то разбил замерзшую лужу. Треугольный обломок величиной с его ладонь долетел до края ямы и упал на дно. И в то же мгновение возник звенящий, невыносимый, немыслимый звук. Он исходил неведомо откуда, его нельзя было проследить, потому что он всюду был одинаков; он острыми иглами впивался в уши. Еще камень упал, рассыпался, осколок звякнул о металлическое зеркало.

А вокруг уже бушевали человеческие голоса — крики, проклятия, визг. Все задвигалось, и это движение сразу стало яростным и безудержным. Люди бросились кто куда, не разбирая дороги, только бы выбраться наружу. Джослин вскочил, попятился, увидел руки, лица, ноги, волосы, блузы, кожаные робы — все это промелькнуло перед

ним, не задевая сознания. Зеркало с грохотом упало. Джослина отшвырнули к опоре, и кто-то — но кто? — взвизгнул совсем рядом:

— Земля оползает!

Он закрыл лицо руками и тут услышал голос мастера:

— Ни с места!

И словно чудом шум замер, осталось лишь пронзительное, безумное, звенящее напряжение. Тогда мастер крикнул снова:

— Ни с места! Слышите? Тащите камень, какой попадет под руку… заваливайте яму!

И снова шум, но теперь он звучал протяжным хором:

— Заваливайте яму! Яму! Яму!

Джослин прижался к опоре, а толпа бурлила, откатывалась. «Теперь я знаю, что мне делать, — подумал он. — Вот для чего я здесь!» Толпа уже возвращалась, чьи-то руки несли каменную голову настоятеля Джослина и швырнули ее в яму, а он тем временем скользнул за опору, в галерею. Он бросился не в капеллу Пресвятой Девы, а на хоры и упал на колени перед пюпитром, у самого престола. Камни пели, этот звук пронзал его, но он отбивался, стиснув зубы и кулаки. Его воля вспыхнула яростным пламенем, и он вогнал ее в

четыре опоры, втиснул в камень вместе с болью в затылке, в висках, в спине, возрадовался в помрачении чувств огненным кругам и вспышкам — пускай бьют прямо в открытые глаза, сильней, еще сильней! Стиснутые кулаки тяжело лежали перед ним на пюпитре, но он не замечал их. Смятенный, но упрямый, он чувствовал: это тоже молитва! И он стоял на коленях, недвижный, скорбный, терпеливый; и пение камней неумолчно звучало в его голове. Под конец он вообще перестал что-либо понимать и знал лишь одно: что держит на своих плечах весь собор. Он замер, время словно остановилось, и вокруг была пустота. Только когда он с недоумением увидел перед собой два бугра, пришло ощущение, что он вернулся издалека, неведомо откуда; вглядываясь в эти бугры сквозь огненные вспышки — они теперь были не такие яркие и не метались, а как бы плыли, — он понял, что это его кулаки, все так же вдавленные в пюпитр. Вдруг он спохватился, почувствовал, что ему чего-то не хватает, и чуть не вскрикнул от ужаса, но тут же понял, что просто камни перестали петь; наверное, они уже делали свое дело у него в голове. Он глянул поверх своих кулаков и увидел Роджера Каменщика, который стоял перед ним и чуть заметно улыбался.

— Преподобный отец…

Джослин сразу опомнился, хотя все еще был оглушен. Слишком многое переменилось, предстало в ином виде. Он облизал губы и заставил себя разжать кулаки, но над тем, что сжималось у него внутри, он не был властен.

— Что скажешь, Роджер, сын мой?

Роджер Каменщик улыбнулся — теперь уже открыто.

— Я смотрел на вас и ждал.

(«А видишь ли ты, как накалена моя воля, упрямец? Я боролся с ним, и он не одолел меня».)

— Я всегда рад тебе помочь, когда у тебя есть нужда во мне.

— Вы?…

Мастер сцепил руки на затылке и качнул головой, словно стряхивал что-то. «Вот оно что, — подумал Джослин. — Он почувствовал себя свободным. Он думает, что теперь свободен. Он не понимает. Не знает. У него сейчас легко на сердце».

Мастер опустил руки и задумчиво кивнул, как бы соглашаясь.

— Ваша правда, отец. Я не спорю, вы всегда принимали нашу работу близко к сердцу. Конечно, вы не могли предвидеть… Но ведь все решилось

само собой, верно? И отчасти я рад. Или нет. Я рад от души. Теперь все ясно.

— Что же именно?

Роджер Каменщик рассмеялся безмятежным смехом в полумраке хора.

— Да ведь тут и говорить не о чем. Строить дальше нельзя.

Губы Джослина скривились в улыбке. Роджер маячил где-то далеко, совсем крошечный. «Вот сейчас, — подумал он. — Сейчас посмотрим».

— Объясни мне.

Мастер пристально осмотрел свои ладони, отряхнул с них пыль.

— Вы сами все знаете не хуже меня, преподобный отец. Выше нам не подняться. — Он усмехнулся. — Как-никак первый ярус готов. Можно поставить башенки по углам, и над каждым окном будет по голове настоятеля Джослина — кстати, их придется ваять заново. Мы наведем крышу, и посередине можно установить флюгер. Если сделать больше, земля снова начнет оползать. Да, вы были правы. Это невероятно даже для тех времен, но у собора нет фундамента. Вообще никакого. Под ним просто земля.

Выдерживая страшную тяжесть собора и ожидая, что ангел вот-вот вернется, Джослин

выпрямился и сложил руки на коленях.

— Что нужно, Роджер, чтобы тебя успокоить? Я хочу знать, как сделать шпиль надежным по всем правилам твоего искусства и мастерства.

— Это невозможно. Или скажем так: мы тут не можем ничего поделать. Будь у нас сколько угодно времени и денег, я уж не говорю о мастерстве… Ну, тогда мы могли бы разобрать весь собор по камешку. Мы вырыли бы котлован сто на сто ярдов и, скажем, футов на сорок в глубину. А потом заполнили бы его камнем. Но конечно, сперва его залило бы водой. Подсчитайте: сколько потребуется людей с ведрами? И представьте себе, что неф все это время стоит на краю трясины! Вы меня понимаете, отец мой?

Джослин повернулся и сквозь пламя, пылавшее у него в голове, взглянул на престол. «Вот как это бывает, — подумал он, — вот как бывает, когда приносишь себя в жертву и жертва угодна Богу».

— Ты боишься дерзнуть.

— Я дерзал до последнего.

— Какое там. Где же твоя вера?

— Думайте что угодно, отец мой, но теперь — конец! И говорить больше не о чем.

«Вот что чувствуешь, когда твоя воля слита с великой, беспредельной Волей».

— Видно, Роджер, ты нашел наконец другую работу. Где же это — в Малмсбери?

Мастер равнодушно посмотрел на него:

— Пусть так, если хотите.

— Да я не хочу, я знаю, и ты тоже знаешь. Там ты думаешь перезимовать и получить работу для своей армии.

— Надо же людям жить.

У опор всколыхнулся шум, который пробудил в Джослине досаду. Он закрыл глаза и сказал сердито:

— Кто это там?

— Мои люди. Они ждут.

— Ждут нашего решения.

— Земля решила за нас!

Тяжелое дыхание мастера раздавалось совсем близко, у самых зажмуренных глаз Джослина.

— Отец, надо остановиться, пока не поздно.

— Пока есть другая работа для твоей армии!

Теперь и в голосе мастера зазвучала злоба.

— Ну что ж. Я спорить не стану.

Джослин почувствовал, что дыхание удаляется, и быстро простер руку:

— Подожди. Подожди минутку!

Он сложил руки на пюпитре и осторожно опустил на них голову. Он подумал: «Сейчас все тело

мое вспыхнет огнем, и сердце будет корчиться в пламени. Но это мое предназначение».

— Роджер, ты здесь?

— Ну?

— Выслушай меня. Что на свете ближе, чем брат брату, дитя — матери? Ближе, чем рот и рука, мозг и мысль? Видение, Роджер. Я знаю, этого ты понять не можешь…

— Нет, могу!

Джослин поднял голову и вдруг улыбнулся:

— Можешь, да?

— Но есть предел, за которым видение не более чем детская сказка.

— А! — Он медленно, осторожно покачал головой, и огни поплыли перед глазами. — Значит, ты ничего не понимаешь. Ничего.

Роджер снова подошел к нему по гладким плитам пола и остановился, глядя на него сверху вниз.

— Преподобный отец. Я… я восхищаюсь вами. Но против нас сама земля.

— Ближе, чем земля к ступне…

Роджер упер руки в бока, отбросив последние сомнения. Голос его зазвучал громче:

— Слушайте. Можете говорить что угодно. Я все решил.

— Ты, но не я.

— Конечно, я понимаю, что это для вас значит. Поэтому я и хочу вам все объяснить. Видите ли, тут есть еще помеха. Меня заманили.

— В шатер.

— В какой шатер?

— Нет, это не важно.

— Я чуть не попался, но теперь, когда строить дальше нельзя, я могу уйти, уйду и все забуду, чего бы это ни стоило.

— Порвешь путы.

— Ведь, в конце концов, это лишь тоненькая паутинка. Кто бы мог подумать!..

Осторожно, не спуская глаз с расставленной западни, Джослин поманил зверя.

— Да, всего только паутинка.

— И еще одно. То же, что для священника святость его сана. Вы должны понять, отец мой, что это такое. Честь мастера, если угодно.

— И выгодная работа для твоей армии в Малмсбери.

— Да поймите же вы!..

— Таким способом ты думаешь сберечь и честь, и свою армию. Но все не так просто. Цена огромна, Роджер.

— Ну что ж. Тогда — прощения просим.

В голове у Джослина среди пламени закружились Гуди Пэнголл и Рэчел. И лица всех каноников… «Мне было видение. Я защитил бы ее, если бы мог, — защитил бы их всех. Но каждый сам в ответе за свое спасение».

— Ты один можешь построить шпиль. Так говорят все. Ты, знаменитый Роджер Каменщик.

— Его никому не построить!

У опор раздался яростный вопль, потом взрыв смеха.

— Как знать, Роджер. А вдруг найдется человек смелее тебя.

Упрямое молчание.

— Ты просишь освободить тебя от подряда, скрепленного печатью. Это не в моей власти.

Роджер пробормотал:

— Ну и пусть. Будь что будет — я решился.

Решился бежать от паутины, от страха, от самого себя, которому не дано дерзать.

— Не торопись, сын мой.

У опор снова раздались крики, и шаги мастера стали удаляться по каменным плитам. Джослин снова простер руку:

— Постой.

Он услышал, как мастер остановился и повернулся к нему. «До чего я дошел? — подумал он

растерянно. — Что я делаю? Но иного пути нет!»

— Да, отец?

Джослин сказал с досадой, прикрыв глаза руками:

— Подожди. Подожди минуту!

Нет, ему не нужно было оттягивать время: решение уже пришло само. Где-то позади глаз всплыла мучительная тревога, но не потому, что шпилю грозила опасность, нет, именно потому, что шпилю ничто не грозило, — он будет построен, это предопределено и теперь еще более неизбежно, чем прежде. И он знал, что делать.

Он задрожал всем телом, как, наверное, дрожали камни, когда начали петь. А потом эта дрожь утихла так же внезапно, как пение камней, и он стал спокоен и холоден.

— Я написал в Малмсбери, Роджер. Аббату. Я знал о его намерениях. И известил его, что вы еще долго будете заняты. Он наймет других.

Он услышал быстрые приближающиеся шаги.

— *Вы!..*

Он поднял голову и осторожно открыл глаза. На хорах теперь было почти темно, но скупые блики света превратились в огненные вспышки и ореолы, озарившие все вокруг. Они окружали мастера, который обеими руками стиснул край

пюпитра. Его руки так сжимали доску, словно он хотел ее разломить. А Джослин, щурясь от сияния, заговорил тихо, потому что слова эхом отдавались в голове, причиняя ему боль:

— Сын мой. Когда столь великое дело предопределено, оно неизбежно должно быть вложено в душу… в душу человека. И это ужасно. Только теперь я начинаю понимать, как это ужасно. Это подобно горнилу. О цели человек, быть может, и знает кое-что, но не знает, какой ценой… Да отчего они там не помолчат? Отчего не подождут смирно? Нет, не знает. Мы с тобой избраны, чтобы свершить это вместе. Свершить великое и славное дело. Теперь я истинно знаю: оно погубит нас. Но в конце концов, кто мы такие? И я заверяю тебя, Роджер, всей душой своей: шпиль можно построить, и мы построим его, невзирая ни на какие козни диавола. Его построишь ты, потому что никому другому это не под силу. Я знаю, надо мной смеются. И над тобой, наверное, тоже будут смеяться. Пусть. Мы строим для них и для их детей. Но только я и ты, сын мой, друг мой, только мы, когда перестанем мучить самих себя и друг друга, будем знать, из какого камня, и бревен, и свинца, и известки он построен. Ты меня понимаешь?

Мастер смотрел на него. Он уже не сжимал пюпитр, а цеплялся за него, как за обломок доски в бушующем море.

— Отец, отец… ради Господа, отпустите меня!

«Я делаю то, что должен сделать. Этот человек уже никогда не будет прежним перед лицом моим. Никогда он не будет прежним. Я победил, теперь он мой, мой пленник, и он исполнит свой долг. Вот сейчас западня защелкнется».

Шепот:

— Отпустите меня.

Щелк!

И молчание, долгое молчание.

Мастер разжал руки и медленно попятился сквозь сияние в клокочущий шум за перегородкой. Голос его звучал хрипло:

— Вы не знаете, что будет, если мы станем строить дальше!

Он пятился, широко раскрыв глаза; у двери он остановился.

— Вы не знаете!

Ушел.

Шум у опор затих. Джослин подумал: «Нет, это не камни поют. Это у меня в голове». Но тут тишину рассек яростный рев, а потом он услышал крики Роджера Каменщика. «Надо идти, — поду-

мал он, — но к нему я не пойду. Я лягу. Только бы добраться до постели».

Ухватившись за пюпитр, он с трудом выпрямился. Он подумал: «Это уж его забота. Пускай все улаживает он, раб моего великого дела». Он осторожно вышел в галерею. На ступенях он помедлил, прижался спиной к стене, закинул голову и закрыл глаза, собираясь с силами. «Они в бешенстве, но все равно придется пройти через их толпу», — подумал он и неверными шагами спустился со ступеней.

Его встретили взрывом хохота, но смеялись не над ним. Звуки казались тусклыми, как огни, кружившие у него в голове. Повсюду были коричневые блузы, кожаные робы, синие куртки, ноги, обмотанные крест-накрест, кожаные котомки, бородатые лица, оскаленные зубы. Вся эта громада двигалась, бурлила и шумом своим оскверняла святость храма. Он взглянул на яму, по-прежнему черной пастью зиявшую в полу; сквозь лес ног он увидел, что яма засыпана не доверху. Он знал, что это кошмар: все, что он видел, запечатлевалось в глазах, как при вспышках молнии. Он увидел людей, которые насмехались над Пэнголлом, держась подальше от его метлы. Это было словно апокалипсическое видение: мастеровой,

приплясывая, приблизился к Пэнголлу, и макет шпиля бесстыдно торчал у него между ног… А потом вихрь, шум, звериные морды обрушились на Джослина, швырнули его о камень, и он уже ничего не видел, только услышал, как Пэнголл рухнул… Услышал протяжный волчий вой, с которым он побежал через галерею, услышал, как вся свора, улюлюкая, устремилась следом. Едва дыша, он чувствовал, что немой стоит над ним на коленях, а коричневые туши лезут, напирают, давят на него сзади. Он лежал, ожидая, что напряженные руки вот-вот не выдержат, дрогнут и страшная тяжесть раздавит их обоих, и в этот миг понял, что еще одна картина навеки запечатлелась в его глазах. Всякий раз, как он окажется в темноте, не занятый мыслями, эта картина будет представать перед ним. Это была… была и всегда будет Гуди Пэнголл, стоящая у каменной опоры, где ее накрыла людская волна. С нее сорвали платок. Пряди волос разметались, упали на грудь лохматым рыжим облаком; болталась спутанная, перекрученная коса с развязавшейся зеленой лентой. Гуди прижималась к опоре спиной, хваталась за камень, и сквозь дыру в разодранном платье сверкал белый живот с впадинкой пупка. Она повернула голову, и Джослин знал, что до

скончания времен не забудет, куда устремлен был ее взгляд. С того мгновения, как раскинулся шатер, ей больше некуда было смотреть, некуда повернуть лицо с побелевшим, стиснутым ртом, кроме как к Роджеру, который стоял по другую сторону ямы, простирая руки в терзаниях и мольбе, покоряясь и признавая свое поражение.

И тут руки немого дрогнули.

Глава пятая

Когда он очнулся у себя в спальне, пение зазвучало снова, но он не мог вспомнить, откуда оно исходит. От этого оно не давало ему покоя, он вертел головой и тревожился, тем более что сам был заперт, как в клетке, в собственной голове, где царила почти полная пустота. А то немногое, что там было, без конца кружилось, тщетно пытаясь найти свое место. Меж потоками событий образовался некий водораздел, связанный с каким-то разговором, и он помнил, что это был разговор с Роджером Каменщиком, кажется, на темных хорах. И еще были встрепанные рыжие волосы, разметавшиеся по зеленому платью, и каменная опора позади. Это мучило его невыносимо, потому что, несмотря ни на какие усилия, он не мог снова увидеть под этими волосами тихую женщину, ту самую, которая так тихо, с улыбкой, входила в собор, останавливалась и осеняла себя крестным знамением, когда он ее благословлял. Эти рыжие волосы, так неожиданно обнажившиеся из-под строгого платка, словно нанесли прошлому смертельную рану, или совсем стерли его, или же смешали череду дней. Он

старался вновь увидеть эту женщину, вернуться к прежним безмятежным временам, но не мог, потому что перед глазами стояли рыжие волосы. А пронзительное пение звучало неотступно, и все остальное было как бы ненужным привеском.

Отец Ансельм, молчаливый и отчужденный, пришел исповедать его, но он ничего не помнил, кроме того, что хотел сменить духовника, и отец Ансельм ушел. Тогда Джослин встревожился и несколько раз посылал узнать, что происходит; он боялся, что армия прекратила работу. Но отец Безликий принес удивительную весть:

— Они работают смирно и прилежно. Все тихо.

И Джослин понял, что великое дело по-прежнему не в людских руках.

И тогда он спросил о Роджере.

— Он бродил по собору. Говорят, ищет чего-то. Но чего, никто не знает.

— А она?

— Как всегда, ходит за ним следом.

— Я не об этой спрашиваю. Я о рыжеволосой. О жене Пэнголла.

— Ее почти не видно.

«Это от стыда, — подумал Джослин. — Другой причины нет. Она прорвала шатер, и эти люди видели ее полунагую, растрепанную».

И тут отец Безликий заговорил снова:

— А муж ее, Пэнголл, сбежал.

Тогда голова Джослина произнесла перед отцом Безликим проповедь о цене камня и бревен. У этой проповеди было странное свойство: после всех блужданий она, как планета, снова и снова возвращалась к исходной точке. В какой-то миг, посреди проповеди, голова, истерзанная болью, погрузилась в глубокий, здоровый сон. Пробудившись, она уже знала, где она и что происходит вокруг. Более того, во сне она обрела новую крепость, словно погружалась в него не для отдыха, а для исцеления. Она обрела пылающую уверенность, в сравнении с которой прежняя уверенность могла показаться лишь детским упрямством. «Я должен встать», — подумал он; пошатываясь и смеясь, он встал с постели. К нему бросился отец Безликий, но он обеими руками оттолкнул тщедушного священника:

— Нет, нет, отец Безликий! Пустите. У меня важное дело!

И эти слова исторгли у него визгливый смех, который прозвучал на двух высоких нотах. В этом смехе была некая неизбежность. Он спустился с лестницы, вышел во двор, под сентябрьское солнце, и поплелся к собору зигзагами, словно

брел через высокие хлеба. У западной двери он остановился, тяжело дыша, овладел собой и вошел, а в голове у него пылала новая уверенность, наполняя его мучительной радостью.

Увидев опоры, он сразу вспомнил, откуда исходило пение; и едва он вспомнил это, звук смолк и в голове воцарилось каменное безмолвие. Он постоял немного, наслаждаясь тишиной, сознавая, хоть и смутно, что все-таки он человек. Он понял, что теперь все ничтожное и мелкое отринуто — повседневные обязанности, молитвы, исповедь; осталось лишь его неизбежное — единение со шпилем. Джослин увидел Роджера, который разговаривал у лесов с кем-то из мастеровых, и побрел туда, часто дыша. Он с наслаждением присел у опоры и прислонился к ней спиной. Мастеровой ловко полез наверх, к свету, сиявшему в башне, и тогда Джослин крикнул Роджеру Каменщику:

— Ты видишь, Роджер, я вернулся!

И опять каждое слово рождало в нем тяжесть, которую мог облегчить лишь визгливый смех на двух нотах. Он услышал свой смех и понял, что ему не подобает так смеяться, но ничего не мог поделать, было уже поздно. Смех отзвучал, и башня поглотила его. «Плохо, — подумал он. — Так

больше нельзя». Он снова взглянул на Роджера Каменщика, но тот уже лез вслед за мастеровым, размеренно и тяжело взбираясь по стремянкам. Джослин вытянул шею, запрокинул голову и проводил его взглядом до самой квадратной трубы с правильным узором птичьих гнезд, которая устремлялась в поднебесную высь. Он видел, как отвесно поднимались вверх белые стены и высокие оконные проемы, куда уже вставляли цветные стекла. В небе появилось нечто новое, насквозь пронизанное солнцем, и Роджер Каменщик, который лез вверх неуклюже как медведь, был обвит солнечной спиралью. Джослин вдруг понял, что он в своей голове подгоняет мастера, подталкивает его все выше, выше и так будет до тех пор, пока Роджер, призвав на помощь все свое мастерство, не увенчает шпиль огромным крестом на высоте четырехсот футов. Сияние в каменной трубе, прикрытой шапкою облаков, ослепило его, он опустил голову, вытер слезящиеся глаза и, моргая, уставился в пол. Но пола словно не было. Осколки камня, щепки, стружки, обрезки, пыль, грязь, доски, что-то похожее на обломок метлы — весь этот хлам небрежно свалили у опор, очистив место вокруг ямы. Это рассердило его, и с языка уже готово было сорваться гневное

восклицание: «Да где же Пэнголл!» — но тут он вспомнил, что Пэнголл бросил ее. Потирая лоб, он сказал себе, что Пэнголл не сможет жить без собора, в котором был заключен весь его мир. «Он вернется, — подумал Джослин, — хотя, быть может, не раньше, чем уйдет армия. И надо позаботиться о Гуди». Он огляделся, почему-то надеясь увидеть ее где-нибудь поблизости. Но собор был пуст — только пыль, солнце, пронзительный шум из каменной трубы и отдаленное пение в капелле Пресвятой Девы. «Нужно позаботиться, чтобы она ни в чем не нуждалась», — подумал он, но тут же забыл, зачем это нужно. С кучи мусора ему на ногу упала веточка, и подгнившая ягода бесстыдно прильнула к башмаку. Он с досадой отшвырнул ее и, как это теперь часто с ним случалось, уже не мог забыть веточку с ягодой, и она потянула за собой целую цепочку воспоминаний, тревог и случайных сопоставлений. Он поймал себя на том, что думает о корабле, построенном из такого же вот непросушенного дерева, веточка в его трюме проросла зеленым листом. И тотчас перед его глазами мелькнул шпиль, искривленный, обросший побегами и сучьями: от ужаса он вскочил на ноги. «Надо все разузнать, — думал он, — надо проследить, чтобы не было ни дюйма

такого дерева». Но тут он вспомнил, что шпиль еще не начат и даже башня не готова; он сел и, моргая, стал смотреть вверх.

Отверстие, над которым строилась башня, стало меньше, потому что часть бревен нижнего перекрытия уже легла на место. Но посередине еще оставался широкий проем, через который наверх поднимали камни и бревна. И все же этот поднебесный мир, где кипела работа, был теперь как бы отделен, отгорожен бревнами и потому казался ярче, там сплетались солнечные лучи, косолапые людские фигуры, помосты, канаты и почти отвесные стремянки. На самом верху, в углу, была подвешена будка, словно ласточкино гнездо. Джослин видел, как мастер, пятясь, вылез оттуда и нацелил на что-то свой металлический снаряд. «Я и не знал, как все это сложно, — подумал он. — Я прочертил в небе простые линии, и вот теперь, чтобы достичь этого, моей воле приходится удерживать там, наверху, целый мир. А веточка могла отломиться от лесов — ведь леса, наверное, делают из непросушенного дерева, и, уж во всяком случае, их снимут, когда все будет кончено».

Он услышал знакомое постукивание и скрежет, повернул голову и увидел немого юношу; тот

сидел у опоры, и на коленях у него был новый камень. Джослин встал и медленно пошел к нему. Юноша поспешно положил камень рядом с собой и вскочил, улыбаясь, кивая, тихонько похлопывая в ладоши.

Джослин благословил его.

— Сын мой. Ведь я обязан тебе жизнью. — Он почувствовал, что следом уже рвется визгливый смех, и кое-как скрыл его под обычным смешком. Юноша развел руки и пожал плечами. — А тебя самого не ранили?

Юноша беззвучно засмеялся и коснулся своего носа, который распух и покраснел. Потом он вытянул правую руку, с улыбкой согнул ее в локте и тронул пальцем мускулы. Джослин, охваченный внезапным порывом любви, обнял юношу, прильнул к нему, как к каменному столбу или к стволу дерева.

— Сын мой, сын мой!

Немой улыбался, что-то мычал и робко похлопывал его по спине.

— Я отблагодарю тебя, сын мой.

Юноша затих в его объятиях и только легонько похлопывал настоятеля по спине: хлоп, хлоп, хлоп. «Он мой сын, — думал Джослин, — а она — дочь». Но рыжие волосы упали, застили свет; он

зажмурился и застонал. А потом он почувствовал бесконечную усталость, ушел к себе и лег. Ночью снова явился ангел, и после этого диавол терзал его, но не слишком долго.

Мало-помалу он окреп и радовался, что лето не спешит уходить, как бы в награду за весенние грозы и наводнения. Наконец листья облетели, они лежали на земле, жухлые и сухие. Жесткая трава у собора хрустела под ногами, она была бурая и ломкая, как старый веник, а каменные головы, осужденные на какие-то непостижимые и бесконечные муки, теперь разевали рты, словно ловили капли воды в сухом воздухе. Они никогда не знали покоя. Они были в аду и не могли надеяться на лучшее, вот и все. В этом сухом воздухе воля Джослина уже не пылала, а горела спокойным, ровным огнем, освещая и поддерживая одни только растущие стены башни. Немой тесал камни, строители лезли вверх по лесам, Рэчел кружила вокруг Роджера, а Гуди Пэнголл лишь изредка мелькала в дальнем конце собора — рыжие волосы покрыты платком, голова опущена: самая обыкновенная женщина, занятая своим делом. Джослина она обходила стороной, прибавляя шагу и отворачиваясь, словно перед ней был черный кот, или призрак, или

могила самоубийцы. Но он знал, что она просто стыдится — ведь ее бросил муж, — и от жалости у него щемило сердце. «Но я не могу ей помочь, моя воля нужна для другого, — думал он. — Моя воля сильна, она отринула все, кроме главного. Я как цветок, который несет в себе завязь плода. Когда завязь начинает расти, а лепестки увядают, цветок поглощен лишь судьбою плода, и все растение поглощено этим, листья осыпаются, все вянет, кроме наливающегося плода. Иначе и быть не может. Вся моя воля в опорах и растущей кладке. Я принес себя в жертву, и я из всего извлекаю урок».

Иногда он видел, как Рэчел кружит у опор и пристает ко всем со своей болтовней, а потом останавливается и глядит, как ее увалень взбирается на башню; эта болтливая Рэчел, завидев настоятеля, бросала все и устремлялась прямо к нему. Но однажды он понял, как легко с ней совладать. Он просто перестал обращать на нее внимание, научился не слышать ее голоса, раздававшегося над самым ухом. Она забегала вперед и о чем-то спрашивала, а он не слышал ни звука, и только в воздухе словно бы повисал вопросительный знак. Он стоял и смотрел на нее с высоты своего роста. Она постарела, осунулась, но это его

не интересовало. И даже заметив, как усердно она стала красить лицо, он не испытал ничего, кроме гадливого чувства, от которого по телу пробегала дрожь, и сдержал визгливый смех. И тогда он решил не смотреть больше на нее, стал смотреть сквозь нее, молча, без единого слова, и потому не видел удивления на ее нарумяненном лице.

Шли дни, и он убедился, что такое безразличие очень полезно. Он мог теперь вежливо разговаривать с канцеллярием, когда тот приходил к нему на дом, и понятия не иметь, о чем шла речь. Но иногда, прибегая к этому превосходному способу — так было однажды с регентом хора, — он видел на лицах людей странное выражение и, подумав, решил, что это ужас. А потом, в туманные осенние дни, когда огромный кусок парусины закрывал просвет под растущей башней, он убедился, что может заставить людей замолкать в любой миг, стоит ему только пожелать. Он просто говорил, как сказал отцу Безликому, который укорял его в том, что он не читает писем, если они не касаются шпиля: «Мне надо на башню».

Несмотря на парусину, туман просачивался в собор, но этот туман был бессилен перед его волей. И перед немым юношей, который все тесал и скреб камень. «Право, — подумал Джо-

слин, рассматривая вторую из четырех голов, которые ваялись заново, взамен сброшенных в яму, — право, мне кажется, лицо очень уж худое. И рот слишком широко раскрыт. И разве бывают такие большие глаза?» Но он не сказал ни слова, потому что любил своего сына во Христе, как и свою дочь во Христе; этот юноша не только спас ему жизнь, а стало быть, спас и его волю, которая поддерживает опоры, но смотрел на него преданно, по-собачьи, а вот Гуди никогда так не смотрела, даже если ему удавалось встретиться с нею лицом к лицу.

Она со своими рыжими волосами не давала ему покоя, но он теперь испытывал лишь сострадание к ее стыду и странную тревогу. В начале декабря все четыре головы, уже готовые, вместе с немым юношей были подняты на башню, где их ждали четыре ниши. С утра Джослин смотрел, как их поднимают, а Рэчел снова кружила возле него и трещала языком. Поскольку немого юноши не было рядом, им целиком завладели мысли о Гуди, брошенной Пэнголлом. «Как мог я пренебречь ею? Ведь я ей нужен!» И при этой мысли она словно явилась на зов, быстрым шагом прошла вдоль стены, увидела его и сразу свернула в сторону, мимо опор, в галерею, все прибавляя и

прибавляя шагу.

— Дитя мое…

Он подумал: «Я должен сделать это ради нее, пусть даже я на время отвлекусь от главного». И он быстро направился к галерее; она шла все тем же торопливым шагом и хотела прошмыгнуть мимо.

— Дитя мое!

Он вышел ей навстречу со смехом, хотя в душе была смутная досада, и расставил руки, преградив ей путь. Она прижалась к стене и отвернула голову. Волосы ее были скромно покрыты платком, она смотрела в сторону, и ему была видна лишь впалая щека.

— Дитя мое, я хотел сказать…

«Но что? Что я могу ей сказать? О чем спросить?»

А она уже молила его, подняв глаза:

— Отпустите меня, отец мой. Прошу вас, отпустите!

— Он вернется.

— Прошу вас!

— И потом… все эти годы… дитя мое, ты так мне дорога…

Он вдруг с ужасом увидел, как побелели и раздвинулись ее губы, открывая оскал зубов. И еще

он увидел, какими огромными, недвижными, темными могут быть глаза, словно и они оскалены, как зубы. Поднятая корзина дрогнула у ее груди, и он едва расслышал шепот:

— Неужели и вы тоже…

Она бросилась прочь, плача и задыхаясь, проскользнула мимо него и бегом пустилась по темной галерее, а ее тяжелый плащ трепыхался, и юбки, развеваясь, приоткрыли щиколотки.

Он обхватил голову руками и сказал сердито, в совершенном недоумении:

— Что все это значит?

Чувствуя, что мысли о ней опутывают его, он отбросил их прочь, потому что они могли повредить делу. «Надо отринуть все ничтожное, — решил он. — Какова бы ни была цена, я пожертвую всем. И что толку думать об этой женщине, если все равно нельзя ей помочь? Я должен свершить великое дело. Дело! Дело!»

И тут ему пришла в голову такая прекрасная мысль, что он сразу понял — это наитие свыше, озарение. «Надо подняться над всяческой суетой!» И вслед за этой мыслью снова вырвался неприятный, визгливый смех. «Я вознесу свою пламенеющую волю на башню». Он взглянул на свою рясу и понял, что так лезть наверх нельзя,

тогда он нагнулся, подхватил подол сзади, пропустил между ногами, скрутил жгутом и заткнул за пояс. Один из строителей, который встретился ему на нижней площадке, посторонился и постучал себя костяшками пальцев по лбу. А Джослин вдруг почувствовал легкость в голове. Наконец-то вокруг него сверкало солнце. Он упорно взбирался вверх; поднявшись в темный, неогороженный трифорий, он продолжал путь по винтовой лесенке, куда свет проникал лишь сквозь узкие, как стрельницы, окна, словно проделанные для лучников на случай осады. Лесенка кончилась, и теперь перед ним были бревна, недавно положенные над сводом. Дальше он поднимался по стремянкам, освещенным нижними окнами башни.

— Вот так! — воскликнул он. — Так!

Он почувствовал, как сердце колотится о ребра, и остановился передохнуть. Он присел на краю настила, словно ворон на скале. Строители, сновавшие вверх и вниз, поглядывали на него с любопытством, но молча. Он подвинулся на самый край и свесил ноги. Держась обеими руками за стойку, он наклонился и посмотрел вниз.

Устои, стены и окна башни уходили вниз и казались тонкими, едва способными выдержать

собственный вес. Все сверкало чистотой и новизной. Восьмидесятифутовые проемы, по два в каждой из четырех стен, помосты и стойки, стремянки и свежеоструганные бревна блестели на солнце. И он ощутил пугающий восторг, как мальчишка, который впервые в жизни вопреки запретам взобрался на верхушку дерева. Голова у него кружилась, дух захватывало, но он, радуясь этому, все смотрел вниз, вниз сквозь глубины и бездны, на бесконечно далекий мир там, внизу. Пол был темный, как дно ямы, обесцвеченный глубиной и полумраком. Головокружение прошло, остались ясность мысли и восторг.

— Вот так!

«Наверное, нечто подобное испытывает птица, когда вольно порхает среди ветвей или парит в небе. Глядя на нас, она видит только головы и плечи, мы кажемся ей вот такими же серыми, ползучими, прикованными к земле». Едва подумав об этом, он увидел Рэчел, которая ползла по полу через средокрестие, словно ее вдруг извергла сама потревоженная земля. Он почувствовал себя свободным от нее, отвернулся и стал смотреть на стремянки, уходившие вверх. Потом он встал и снова начал подниматься, не стесняясь непристойной белизны своих оголенных ног. На высоте

более двухсот футов она была пристойной. Он взбирался все выше и неотрывно глядел вверх, туда, где каменщики возводили кладку к самому небу. Шум работы теперь снова громко звучал вокруг него. Он остановился передохнуть подле ласточкина гнезда и увидел, что этот домик, висящий в углу башни, не меньше его спальни и свет проникает туда через незастекленное отверстие. Роджер Каменщик стоял, нацелив свой снаряд на камень у противоположной стены. Сияющий Джослин остановился около него на помосте в четыре доски и крикнул в восторге, покоренный высотой:

— Ты видишь, сын мой! Опоры не оседают!

Мастер отозвался угрюмо, не отнимая своего снаряда от глаза:

— Почем нам знать, что там творится? Может, у каждой опоры отдельный фундамент.

— Нет, Роджер, я же тебе объяснил. Они плавают!

Мастер сердито передернул плечами:

— Не кричите, я и так вас слышу.

— Роджер.

Он простер руку, но Роджер Каменщик отстранился, словно боясь прикосновения. Он отступил к самой стене и прижал свой инструмент к гру-

ди.

— Я вам давно сказал, отец мой... и сейчас повторю то же самое!

— Как ты можешь так говорить, Роджер, когда перед тобой чудо? Как ты не понимаешь этого? Здесь ты должен черпать силы, отсюда извлекать уроки, смотреть, как чудо преображает все.

Они помолчали, глядя друг на друга, а наверху стучали молотки каменотесов, Роджер медленно скользнул взглядом по башмакам Джослина, по его белым ногам, туловищу, лицу. Потом они посмотрели друг другу в глаза, и мастер хмуро усмехнулся:

— Да, это верно, оно преобразило все.

Он повернулся, открыл дверь ласточкина гнезда, потом вдруг глянул через плечо и крикнул в ярости:

— Не видите разве, что вы наделали?

И исчез, так хлопнув дверью, что домик закачался.

Джослин посмотрел на стены.

— Я все знаю! Все! Я знаю, поверь!

Его вдруг захлестнула волна радости, и он со смехом шагнул к стремянке, а когда он взобрался по ней, то забыл и о Роджере, и о каменных плитах пола далеко внизу.

Потому что теперь перед ним был самый верх, здесь росла башня. Ее опоясывали подмости в три доски, на которых работали каменщики. Здесь почти не разговаривали. Каменщики склонялись над стеной, которая была им по колени и росла ступенчато, камень за камнем. В одном месте лишь первый ряд кладки поднимался над досками, но раствор уже лежал поверх тонким слоем, и рабочие подтаскивали следующий камень; в другом — и так по всем четырем стенам — над досками вообще не было кладки, а только деревянное кружало. Дуги арки уже почти сомкнулись, оставалось лишь отверстие для замкового камня; и он знал, что под аркой будут два окна, она соединит их плавным полукружьем, так что сквозные проемы станут частью общего целого, единого свершения. Подле каждого кружала он видел каменную голову, и эти головы безмолвно кричали и ликовали в поднебесье среди света. Немой юноша стоял на коленях подле одной из голов, что-то подправлял резцом — он поднял глаза и засмеялся безмолвно, как и голова, над бездонной пропастью. И Джослин почувствовал, что сам смеется от души, радуясь обновлению и чуду. Вслед за смехом пришла мысль, и он, забыв о своем достоинстве, крикнул немому:

— Здесь мы свободны от всяческой суеты!

И верный пес засмеялся в ответ, а потом снова склонился над своей работой.

Джослин услышал какой-то новый звук. Это не был человеческий голос, стук по камню или удары молотка. Звук был беспрестанный, непохожий ни на глухое бормотание, ни на звонкое пение камней. Джослин чутко прислушался и понял, что это ветер бьет о камни. Он опустился на колени, потом сел, держась за стену, и стал слушать ветер. На время он обрел покой, и мысли свободно бродили в его голове, появлялись и исчезали сами собой.

Мир камня и дерева открылся ему во всей новизне. Там, внизу, стоял макет, такой тонкий и хрупкий, его ничего не стоило обхватить ладонями, и окна на нем были едва различимы; но здесь, наверху, тонкие, как бумага, стены обернулись каменными глыбами, а проволочки внутри — толстенными бревнами, по которым свободно могут пройти двое. И вдруг Джослин понял, какая невероятная тяжесть чудесным образом повисла здесь, и, несмотря на его умиротворение, мир словно опрокинулся. «Надо быть поласковей с Роджером, — подумал он. — Эта тяжесть, о которой я раньше и не подозревал, все время давила

на него. И к тому же у него нет веры».

Чтобы вернуть равновесие поколебленному миру, он снова сосредоточил мысли на макете, который стоял внизу, в темном нефе. Но едва он сосредоточился, как вместе со шпилем перед его глазами появилось то, чего он не хотел, что он отринул в тот самый день, когда поползла земля и запели камни. И он снова прислушался, затаив дыхание. Вот между коричневой и синей блузами мелькнул Пэнголл, один из рабочих, приплясывая, подкрадывается к нему, держась подальше от метлы, и шпиль бесстыдно торчит у него между ног. А потом упали, разметались рыжие волосы. И он почувствовал, что стискивает руками камень и глаза его зажмурены, рот разинут, а ребра давят, не дают дышать. В голове у него снова все смешалось. Он сказал невнятно: «Вот какой ценой… Мне следовало знать. И я не могу помолиться за них, потому что вся моя жизнь стала единой молитвой воли, вплавленной, влитой в камень.

Смилуйся! Или наставь меня».

Но ответа не было. Только ветер овевал камни.

Джослин открыл глаза и понял, что смотрит не на башню, а на мир с ее высоты, потому что мир вдруг переменился. Он изогнулся чашей,

которая была видна как на ладони, объемля голубыми краями всю ширь окоема. В удивлении и восторге Джослин ухватился за камень и, приподнявшись, встал на колени. «Вот что это такое — быть птицей», — подумал он, и, словно подтверждая его мысль, у самого его лица пролетел ворон, наперекор ветру, хрипло негодуя на людей, которые так нагло вторглись в его владения. А внизу — Джослин теперь отпустил камень и выпрямился, чтобы склоненные спины строителей не мешали смотреть, — были видны три реки, которые сливались у стен собора. Они стремили свое сверкание к башне, и места, такие далекие друг от друга, сопрягаемые лишь усилием разума, поистине воссоединились. На северо-востоке Джослин видел три мельницы, три отдельных каскада, словно водяные ступени, но их связывала длинная лента воды, которая, змеясь, тянулась к собору. И река в самом деле текла под гору. Он видел новый каменный мост, белевший у Стилбери, видел даже монахинь на монастырском дворе, по меньшей мере двух, хотя они были скрыты стеной, его взгляд как бы взламывал стену на расстоянии. Поняв это, он устремил взгляд на новый мост, прищурился и увидел цепочку навьюченных мулов, ослов,

ломовых лошадей, разносчиков и нищих, крестьян с овощами, которые тащили свой товар к торговым рядам у дальнего конца моста. Значит, в Стилбери базарный день, а здесь, в городе, никто не торгует, он и раньше это знал, но теперь охватил все взглядом и видел воочию, что это именно так. Радость билась в нем как птица. «Я хотел бы, чтобы шпиль был высотой в тысячу футов, — подумал он, — тогда я мог бы видеть все окрест». Он дивился самому себе, но потом вспомнил, во имя кого будет возведен шпиль. И словно в ответ на свое удивление он почувствовал у себя за спиной ангела, который согревал его на холодном ветру. «Значит, это правда, истинная правда, ибо здесь, наверху, среди стука, звяканья и треска, здесь, возносясь к облакам, я весел, как поющий ребенок. Я и не знал, что способен испытать такое блаженство!» Он стоял на ветру и ждал, что блаженство отрешит его от суетных мыслей. Он разглядывал полоски и квадратики полей, покатые склоны, поднимавшиеся к лесистому, зубчатому хребту. Они были мягкие, теплые и гладкие, как юное тело.

Он опустился на колени, суровый, непоколебимый, закрыл глаза и стал молиться, осеняя себя крестным знамением. «Даже сюда, в горние Твои

выси, я принес греховные помыслы. Ведь мир вовсе не таков, каким я его вижу. Земля — это скопище безносых, ощеренных скелетов; там виселицы, куда ни глянь, там дети рождаются среди крови и пахарь поливает борозду по`том, там притоны, там пьяные валяются в канавах. И нет ничего благого во всей этой юдоли, кроме великого дома, ковчега, прибежища, корабля, который один может спасти всех этих людей, и отныне у него будет мачта. Прости меня».

Он открыл глаза, встал, почувствовал, что блаженство вдруг покинуло его, и попытался понять, куда же оно исчезло, глядя в небо, в немыслимую высоту, куда вознесется верхняя часть башни и шпиль. Огромная птица парила там на распростертых крыльях, и он, вспомнив евангелиста Иоанна, сказал громко:

— Это орел.

Но немой юноша, который подправлял каменный рот, тоже поглядел вверх, улыбнулся и покачал головой. Джослин подошел к нему по доскам, наклонился и потянул за курчавые волосы.

— Ну что ж. А для меня это все-таки орел.

Но немой уже снова принялся за работу.

У ближней гряды из земли вставали бугры и

холмики, словно там по волшебству вырастали кусты. Они тянулись кверху и прямо на глазах оживали, превращались в людей. А за ними другие бугры превращались в лошадей, жеребых ослиц, навьюченных корзинами, — это был целый караван. Путники перевалили через хребет, синевший вдали, и миновали ближнюю гряду. Они теперь спускались по склону прямо к глазу Джослина, к башне, к собору, к городу. Они не взяли западнее, в обход Холодной бухты, по тропе, выбитой копытами за долгие годы. Они берегли время, не щадя сил. И ему вдруг открылось, что другие ноги протопчут прямую как стрела дорогу к городу, он понял, что башня овладела всей округой, преобразила ее и господствует над ней, одним своим существованием изменяя лик земли повсюду, откуда она видна. Он окинул взглядом горизонт и убедился, сколь истинным было его видение. Повсюду возникали новые дороги, люди кучками прокладывали себе путь меж кустов и вереска. Округа покорно обретала иной вид. Вскоре город, подняв кверху огромный палец, будет похож на ступицу колеса, появление которого предопределено, непреложно. Новая улица, Новая гостиница, Новая пристань, Новый мост, и вот по новым дорогам уже идут новые люди.

«Мне казалось, это будет просто. Мне казалось, шпиль завершит каменную Библию, станет каменным Апокалипсисом. В своем безумии я и не подозревал, что с каждым шагом мне будет дан новый урок и новая сила. И некому было наставить меня. Я должен был строить, повинуясь лишь своей вере, не слушая ничьих советов. Другого пути не было. Но при этом люди притупляются, как плохой резец, или срываются, как топор с топорища. Я слишком был поглощен своим видением, чтобы принять это в расчет, и, кроме видения, не нуждался ни в чем».

Он поглядел вниз, на узенький прямоугольник Пэнголлова царства, где кучи камней уже изрядно поредели; ему был виден маленький квадрат двора между аркадами. Он разглядел даже белые шашки, которые мальчики из певческой школы оставили на парапете. Он взглянул на дома, обступавшие собор. За красными островерхими крышами он увидел задние дворы, где пятнышками шевелились коровы и свиньи. Какой-то старик добрел до отхожего места и, уверенный, что за оградой его никто не видит, оставил дверь настежь. А через три дома женщина — белый кружок поменьше и коричневый побольше — готовилась разносить по домам свой товар. На

дворе, у ограды, стояли два деревянных ведра и лежало коромысло. Прищурившись, Джослин разглядел, что в ведрах молоко, и, увидев, как она долила в ведра воды, он невесело улыбнулся. Она подняла ведра, островерхая крыша скрыла ее, а потом она появилась уже на улице и перешла на другую сторону, обходя пьяного, который валялся в канаве, слабо дергая рукой, а над ним, задрав лапу, стояла собака.

— Слизняк.

Он вздрогнул и обернулся. Но Роджер Каменщик смотрел не на пьяного. Он смотрел на юго-восток, в сторону невидимого отсюда моря.

— Гнида.

За семью сверкающими излучинами на берегу реки стояла кучка домов.

— Что ты там увидел, Роджер?

— Поглядите на этого ворюгу! Он сейчас засядет в «Трех бочках». А барка с камнем, который нам позарез нужен, простоит всю ночь и весь завтрашний день, покуда он не накачается вином. Ему плевать, что мы будем сидеть без дела!

— Сын мой…

Мастер закричал на него:

— Да мне-то что! И вам горя мало! Все равно ваша взяла!

Сразу стало тихо. Тишина была оглушительная, как после удара грома. Строители подняли головы. Ни стука, ни скрежета.

— Спокойно, Роджер. Спокойно.

— Спокойно! Да я… — Роджер закрыл лицо руками. И не отнимая их, отрывисто бросил: — Эй, вы! Работать!

Стук сразу возобновился. Роджер опустил руки, но не смотрел на Джослина. Он отошел, не сказал больше ни слова и тяжело, по-медвежьи косолапо стал спускаться вниз.

Джослин проводил его взглядом, и в голову ему пришла новая мысль. «Я боюсь спуститься, — подумал он. — Мне бы остаться здесь на всю жизнь. Но делать нечего, надо спускаться, никто не может вечно жить среди орлов». И он заставил себя пройти по стремянкам, мимо ласточкина гнезда, с одной подмости на другую, а потом по темной внутристенной лестнице — в серый, плотный сумрак у опор. Ему надо было поговорить с мастером, но Рэчел вклинилась между ними, ее болтовня так и лезла в уши: ах, милорд теперь гораздо лучше выглядит, эти упражнения ему на пользу, как бы она хотела, ах, как бы хотела быть с Роджером на самом верху, но высота для нее страшней чистилища — и ее накрашенное

лицо дергалось, и все тело дергалось под напором слов, — вот и приходится торчать тут, среди мусора, а Пэнголл — настоящий преступник, забыл свой долг, мужчины все таковы, впрочем, нет, конечно, не все, есть и хорошие, она знает, но этот сбежал неизвестно куда, и о нем ни слуху ни духу, бросил Гуди, а она, на беду, наконец ждет ребенка, бедняжка, такая милая, славная, а он ее бросил…

Ярость захлестнула Джослина, отчаянная злоба на пьяницу, который валялся в канаве, и на второго пропойцу, который торчал в «Трех бочках». Он крикнул Роджеру, который стоял отвернувшись:

— Сын мой! Данною мне властью я приказываю тебе: пошли человека на хорошей лошади в «Три бочки». Вели ему захватить с собой хлыст и в случае нужды пустить его в ход!

Он шел через неф, прочь от мусора и болтовни, шел, и по щекам его катились слезы. «Сколь ужасны уроки, которые мне дано извлечь, — думал он, — сколь огромна высота, и власть, и цена…»

У двери он овладел собой. Повернувшись к престолу, он сказал хрипло:

— О Господи, Ты приклонил ухо Твое к моим молитвам. И на глазах у меня слезы радости, потому что Ты вспомнил рабу Твою.

Глава шестая

Когда он снова поднялся на башню, головы, изливающие изо ртов осанну, уже были вмурованы над каждым окном. Он перегнулся через край кладки и увидел их сверху: волосы разметаны, носы торчат, как клювы. Головы кричали, взывая к новым дорогам, которые обозначались по склонам холмов, и не замечали птиц, маравших их беловатыми подтеками. Заглянув внутрь башни, он увидел, как перестроили свод — там теперь осталось лишь круглое отверстие, сквозь которое глаза с трудом нащупывали пол, совсем смутный, почти невидимый. Через отверстие торчком втаскивали бревна, и люди подхватывали их наверху. Он и сам испытал, или, вернее, увидел со стороны, оттиснутый в угол, некое безумие, насыщенное скрежетом, грохотом и криками, когда бревна укладывали там, где они должны были образовать второе перекрытие. Ведь башне предстояло подняться еще на восемьдесят футов, и там опять будут окна и головы, изливающие изо рта осанну, и опять подмости и стремянки, и при мысли об этом у него захватывало дух; так было по крайней мере здесь, наверху, где эта

громада повисла в воздухе на высоте птичьего полета, и сердце трепетало при виде каменных четвериков, становившихся все меньше, а потом завершавшихся круглым отверстием, которое было дном и вершиной.

И, чувствуя в себе всепоглощающую, неколебимую волю, он знал, что великое дело благословенно. В декабре настали странные дни, когда в храм ни разу не заглянуло солнце и неф был похож на пещеру. В эти дни он приходил в темный храм и не мог приняться ни за какое занятие, только носил в себе свою волю, зная, что в конце концов все будет хорошо, хотя нижний ярус башни и растущий над ним верхний ярус тяжким гнетом давили на него, распирали голову. И он спешил наверх, как ребенок, который тянется к матери. Но о матери он не вспоминал. А если вспоминал, тотчас же Гуди со своими рыжими волосами врывалась в его мысли и исторгала слезы из глаз.

В один из таких дней он шел от своего дома к собору, едва видя собственные ноги в тумане; и хотя в неф туман не проникал, там царила почти непроглядная темнота. Он стал подниматься наверх, взобрался по винтовой лестнице до первого перекрытия и окунулся в яркий свет. Здесь, наверху, сияло солнце, но лучи, пронзавшие башню,

меркли перед тем светом, который сверкал выше, озаряя свинец, стекло, камень и бревна перекрытия, так что видны были даже следы топора. Когда он поднялся сквозь это лучистое сияние по стремянкам и подмостям туда, где работали люди, чьи руки казались голубыми, на самый верх башни, к ее неровной оконечности, его ослепило по-настоящему, до боли, и он невольно закрыл глаза руками. Вокруг видны были только вершины холмов, ничего больше. Туман сияющей, искристой пеленой покрыл долину и город, и, хотя пелену эту еще не пронзал шпиль, ее уже пронзала башня. И Джослин почувствовал странное успокоение, в эту минуту в душе его царил почти ничем не омраченный мир.

Но порой туман затоплял даже башню. И тогда работа еле шла или прекращалась вовсе, и он вынужден был оставаться внизу и платить всю цену сполна. Армия работала под навесами и в сараях, словно под скалами на морском дне. Там плотничали. Под навесом, у пролома, рубили восьмиугольные венцы, и каждый верхний венец делали поменьше нижнего. Эти венцы поднимались выше человеческого роста. Потом плотники ставили на каждом бревне какую-то метку и снова все разбирали, а Роджер Каменщик

в мрачной задумчивости рассматривал решетчатый деревянный макет, похожий на колпак. К Роджеру редко кто подходил, строители сторонились его. Он стал слишком угрюм, слишком груб, слишком часто давал волю своему бешенству, а потом уходил, и одна только Рэчел шла за ним следом, осунувшаяся, накрашенная Рэчел, которая трещала без умолку и кружила возле него. Джослин испытывал сострадание к этому рабу великого дела и удрученно смотрел, как он взбирается по лесам, медленно, упорно, или стоит, тщательно нацеливая свой снаряд то вверх, то вниз, или прислушивается у опор.

А там почти всегда можно было что-нибудь услышать. В конце декабря камни снова начали петь. Они пели не беспрерывно; иногда по целым неделям кряду ничто не мешало богослужениям в капелле Пресвятой Девы. Но потом люди начинали ощущать какое-то смутное беспокойство, старались понять, в чем дело, и решали, что воздух слишком сух или слишком холоден, но в конце концов они чувствовали по иголке в каждом ухе, и дыхание перехватывало без всякой причины. А потом вдруг иголки становились звуком, и тогда из груди вырывались тяжкие вздохи и в душу заползали ожесточение и страх.

Горожане и проезжие толпились у западной двери, внимая чуду — грозному пению камней, но теперь никто не заходил в собор, как раньше. Строители, заслышав это пение, бросали работу и переглядывались, потом снова брались за дело. Теперь они редко смеялись. Один лишь Джослин, распятый на кресте своей воли, с улыбкой говорил, почувствовав иголки в ушах:

— Это пройдет.

Но с приближением весны, по мере того как ростки тянулись к земной поверхности, а башня — к небу, камни стали петь чаще.

И в это самое время Джослин узнал о Роджере нечто новое. Он пристально следил за мастером, оценивая свое орудие, считал каждый его шаг по стремянкам, ждал того мгновения, когда орудие притупится и надо будет снова его наточить или покрепче загнать клин в рукоятку; и все-таки, сколько Джослин ни приглядывался, он ничего не мог рассмотреть под знакомой внешностью и привычными движениями Роджера. Но однажды он глядел вниз сквозь отверстие в своде, а Роджер в это время поднимался на башню; и Джослин с удивлением понял, что мастер боится высоты не меньше Рэчел. Он боялся, но преодолевал страх. Высота была неотделима от его работы,

она была его жизнью, но она, видно, никогда не доставляла ему радости, как Джослину, он не знал ликования, от которого захватывает дух, когда под ногами только шаткая доска и уже не слышно пения камней, а доска дрожит и колеблется над пустотой. И теперь, поняв это, Джослин с состраданием смотрел, как Роджер поднимается наверх. Он двигался размеренно, неторопливо, без той небрежности, которой щеголяли иные из его помощников, и всегда смотрел прямо перед собой; Джослин видел все до самого пола, где над ямой стлался полумрак, и понимал, почему Роджер держится поближе к стене, а не посреди стремянки. Мелкий дождик, подхлестываемый ветром, окроплял непокрытую голову Джослина, но он стоял, поджидая Роджера, и, когда его голова и плечи поднялись над верхним настилом, Джослин явственно увидел, что они опутаны сетью.

— Отчего ты боишься, сын мой?

Мастер стоял перед ним, тяжело дыша. Он ухватился одной рукой за поручень.

— Они опять поют.

— Ну и что? Так было уже не раз, а потом все кончалось.

Джослин поднял голову и сквозь завесу дождя

посмотрел вверх.

— Роджер, знаешь, о чем я думал? Крест… тот, что будет вон там, наверху…

— Да.

— Ведь он будет выше человеческого роста, верно? А на макете он такой крошечный, его мог бы носить на шее ребенок.

Мастер закрыл глаза и скрипнул зубами. Он застонал.

— Что с тобой, Роджер? Говори, я тебя слушаю.

Мастер посмотрел на Джослина, стоявшего перед ним на фоне неба, и пробормотал хрипло:

— Смилуйтесь.

— Опять?

— Преподобный отец…

— Ну?

— Я не могу больше…

Джослин улыбался, но теперь улыбка застыла у него на лице, как маска. Мастер протянул к нему свободную руку.

— Их ослепил блеск того, что вы… что мы…

Он отвернулся, облокотился на поручни и закрыл лицо ладонями; голос его был теперь едва слышен.

— Прошу вас, смилуйтесь.

— Кроме тебя, некому это сделать.

Мастер помолчал, не отнимая рук от лица. Потом он заговорил, но так и не поднял головы:

— Я попробую рассказать вам, в чем для меня загвоздка. Камни поют. Я не знаю почему и могу только догадываться. Понимаете, в этом моя беда. Я только и делаю, что строю догадки. Я ведь ничего не знаю. Не то что вы… — Он искоса взглянул на Джослина. — Не то что вы, когда говорите проповедь. Понимаете?

— Разумеется, понимаю.

— Да, мы вынуждены гадать. Мы решаем, что вот это или вон то выдержит, но, покуда нет всей нагрузки, не можем сказать наверняка. И даже ветер, тот самый ветер, который сейчас едва шевелит волосы у вас на голове… — Он со злобой посмотрел на Джослина. — Отец мой, есть у вас снасть, которой можно измерить напор ветра? Дайте мне ее, тогда я скажу, что устоит, а что обрушится.

— Но ведь опоры не оседают. Я же тебе говорил…

— Они запели.

— Разве ты не знал, что камни поют?

— Никогда! Здесь для нас все внове. Вот и приходится гадать и строить дальше.

Он запрокинул голову на мощной шее и по-

смотрел в небо.

— А еще этот шпиль, сто пятьдесят футов. Отец мой… я не могу больше.

В голове Джослина уверенно заговорила воля. Он услышал ее голос.

— Я понимаю тебя, сын мой. Ты по-прежнему не осмеливаешься дерзать. Объяснить тебе, в чем смысл нашей жизни? Подумай о мотыльке, который живет один только день. А вот тот ворон кое-что знает о вчерашнем и позавчерашнем дне. Ворон знает, что такое восход солнца. Быть может, он знает, что завтра солнце взойдет снова. А мотылек не знает. Ни один мотылек не знает, что такое восход! Вот так и мы с тобой! Нет, Роджер, я не собираюсь читать тебе проповедь о том, сколь кратка наша земная жизнь. Мы знаем, что она непереносимо длинна, и тем не менее ее надо перенести. Но в нашей жизни есть смысл, потому что мы оба — избранники. Мы как мотыльки. Мы не знаем, что нас ждет, когда поднимаемся вверх, фут за футом. Но мы должны прожить свой день с утра до вечера, прожить каждую его минуту, открывая что-то новое.

Роджер смотрел на него в упор, облизывая губы.

— Нет. Я не понимаю, о чем вы тут толкуете. Но

я знаю, каков будет вес шпиля, а какова будет его прочность — не знаю. Поглядите вниз, отец мой, вдоль окон и зубцов, вниз, до самой верхушки кедра, что растет во дворе.

— Я гляжу.

— Пускай взгляд ваш ползет вниз, как насекомое, фут за футом. Вы думаете, что стены прочны, потому что они каменные, но я-то знаю… Это всего лишь кожа из стекла и камня, распяленная на четырех каменных ребрах, по одному в каждом углу. Понимаете? Камень меж устоями не прочнее стекла, потому что на каждом дюйме я должен выгадывать прочность за счет веса или вес за счет прочности, ломать себе голову, прикидывать, отмеривать, взвешивать, и при одной мысли об этом у меня заходится сердце. Смотрите вниз, отец мой. Не на меня — вниз! Видите, как скреплены устои? Я скрепил камни, но не в моих силах сделать их прочней, чем они есть. Камень ломается, трескается, крошится. Но хотя опоры поют, есть надежда, что, если на этом остановиться, они выдержат. Я могу настлать крышу и, пожалуй, поставить флюгер, который будет виден за много миль.

Джослин замер, насторожился.

— Говори, сын мой.

— А построить шпиль попросту невозможно! Отец мой, верьте мне, уразуметь это можно только здесь, на такой высоте. Ведь это будет каменная кожа на каменных костях. А внутри сруб из таких вот восьмиугольных венцов, каждый верхний поменьше нижнего. Но не забудьте про ветер, отец мой! Мне нужно скрепить венцы и подвесить их на каменном яблоке, чтобы они своей тяжестью натягивали кожу. Тяжесть, тяжесть и тяжесть! Она все растет, все сильней давит на устои, на тонкую кожу стен, на поющие опоры…

Он коснулся рукава Джослина.

— Но и это еще не все. Как бы я ни старался, шпиль не будет давить отвесно. Он будет давить на эти четыре устоя и распирать их. Чтобы их укрепить, я мог бы, должен был бы поставить над каждым устоем башенки, но их нельзя поднять до нужной высоты, потому что это — лишняя тяжесть. Где та черта, которую мне нельзя переступить, не пожертвовав одним ради другого? Да, можно установить первый венец, и второй, и даже третий… — Он судорожно сжал руку Джослина. — Но рано или поздно мы услышим новый звук. Отец мой, смотрите вниз! Рано или поздно мы услышим удар, грохот, рев. Эти четыре устоя раздвинутся, как лепестки цветка, и все, что здесь

есть: камень, дерево, железо, стекло, люди, — все рухнет сверху прямо в собор, как горная лавина.

Он снова умолк. Потом послышался его шепот:

— Говорю вам… все прочее в моем ремесле сомнительно, но это несомненно. Я знаю. Я уже видел, как рухнуло здание.

Джослин стоял, закрыв глаза. В голове у него все выше и выше громоздились венцы из дубовых бревен, и каждое бревно было толщиной в фут. Он стиснул зубы, и на миг ему показалось, что камни под ним шевелятся, шатаются из стороны в сторону. Колпак высотой в полтораста футов затрещал, стал с грохотом расползаться и рушиться, среди пыли и дыма, все быстрей и быстрей, взметая пламя и искры, падал, сокрушая неф, и каменные плиты пола прыгали как щепки, пока развалины не погребли их под собой. Он ощутил все это так ясно, словно сам рухнул вместе с устоем, который навис над аркадой, согнувшись коленом, и разнес книгохранилище, словно гигантский цеп. Он открыл глаза — от стремительного падения его мутило. Он цеплялся за стену, а аркада внизу ходила ходуном.

— Что же нам делать?

— Остановиться.

Этот ответ был неизбежен, и, прежде чем про-

шла тошнота и аркада утвердилась на месте, Джослин своим настороженным нутром понял, как ловко мастер подвел его к такому ответу.

— Нет, нет, нет, нет.

Он бормотал это, качая головой, и постепенно понял все. Он понял, что приговор вынесен бесповоротно, что последнее средство, разговор на языке строителей, эта загвоздка, о которой ему ничего не сказали на земле, заставив с коварным умыслом подняться сюда, на башню, — это последнее средство наконец пущено в ход, словно рычаг повернулся на оси и привел в действие колесо головокружения; все было задумано так, чтобы в один миг сломить его волю.

— Нет!

Теперь голос его наконец прозвучал уверенно. Это был ответ клинком на клинок, бряцание стали.

— Роджер, говорю тебе: это можно исполнить!

Мастер в ярости отпрянул и остановился в углу башни, спиной к Джослину. Он смотрел сквозь дождь невидящим взглядом.

— Слушай, Роджер.

«Что сказать? Каких-нибудь десять минут назад я что-то говорил о мотыльках, но уже ничего не помню. Пусть же с ним говорит моя воля».

— Ты хотел запугать меня, как пугают ребенка привидениями. И все старательно рассчитал, ведь так? Но ты сам знаешь, что тебе не уйти. Не уйти. Не убежать. Твой сильный, пытливый ум все время искал пути, чтобы преодолеть невозможное. И ты нашел путь, потому что в этом твое назначение. Ты не знаешь, правильно ли это решение, и не находишь другого. И боишься. Все лучшее в тебе готово дерзать, а худшее хнычет и скулит.

Он подошел к Роджеру вплотную, остановился за его широкой спиной и сказал в дождь, в пустоту:

— Я открою тебе то, чего никому не дано знать. Наверное, люди считают меня сумасшедшим. Что ж, пускай. Они узнают это потом, когда я… Но ты услышишь сейчас, я скажу тебе это с глазу на глаз, здесь, на недостроенной башне, где мы одни, без соглядатаев и свидетелей. Сын мой. Наш собор — это чертеж молитвы. А шпиль — чертеж той из молитв, которая вознесется превыше всех прочих. Господь открыл это мне. Он явил видение недостойному служителю своему. Он избрал меня. И тебя Он тоже избрал, дабы ты претворил чертеж в стекло, железо и камень, потому что сынам человеческим нужно видеть это воочию.

И ты еще надеешься уйти? Ты не в моих сетях — поверь, Роджер, я понимаю, как это тяжко, мучительно, невыносимо, но ты не в моих сетях. Это Его сети. Ни я, ни ты не можем отринуть великое дело. Но и это еще не все. Теперь я вижу, нам не дано понять все до конца, потому что каждый новый фут открывает новую сущность, новую цель. На твой взгляд, шпиль — это нелепость. Он пугает и лишен смысла. Но с каких пор избранники Божии взыскуют смысла? Шпиль называют Джослиновым безумством, верно?

— Да, так я слышал.

— Но сеть не моя, Роджер, и замысел, который считают безумным, тоже не мой. Это Божий замысел. От века Бог не подвигал людей на дела, согласные со смыслом. Это Он предоставил им самим. Пускай покупают и продают, исцеляют и владычествуют. Но вот из сокровеннейших глубин доносится глас, который повелевает содеять нечто совершенно бессмысленное: построить корабль на суше, воссесть на гноище, жениться на блуднице, возложить сына на жертвенный алтарь. И тогда, если у людей есть вера, рождается нечто новое.

Он замолчал, глядя в спину Роджеру под колючим дождем. «Это был мой голос, — подумал

он. — Или нет. Не мой. То был голос всепоглощающей воли, моей владычицы».

— Роджер.

— Да?

— Ты достроишь шпиль. Ты думаешь, это дело твоих рук, но ты заблуждаешься. Ты думаешь, что твой ум работает, упорно ищет выхода, а потом втайне гордится успехом. Но и тут ты заблуждаешься. И не от меня исходят слова, которые сейчас произносят мои уста.

Вновь наступило молчание; и Джослин почувствовал, что они уже не одни, что ангел стоит под холодным дождем у него за спиной и согревает его.

Мастер сказал безучастно и покорно:

— Сталь. Может быть, сталь выдержит. Я не уверен. Попробуем опоясать башню стальной лентой и связать камни. Но я не знаю… В нашем деле никто еще не употреблял столько стали. Нет, я ничего не знаю. И потом, это будет стоить денег, много денег.

— О деньгах не беспокойся. — Джослин протянул руку и почти робко коснулся плеча мастера. — Роджер… Поверь, Он никогда не бывает бессмысленно жесток. В случае нужды Он даже посылает слабым утешителя, который стоит у

них за спиной! Он согревает их под ветром и дождем. А ты нужен. Подумай, как тяжко бывает резцу, который много часов подряд вколачивают, вонзают в твердое дерево. Зато потом его смажут, обернут тряпицей и положат на место. Хороший мастер никогда не пустит в ход орудие, непригодное для дела. Он бережет свой инструмент.

Он помолчал, задумавшись. «Кажется, это я не только о нем говорю, но и о себе. Раньше была радость. Но как странно — ее больше нет. Я жажду лишь покоя».

— И когда ты завершишь это, когда шпиль вознесется вот здесь, у всех на виду, — тогда сеть, быть может, порвется.

Мастер пробормотал:

— Ничего не пойму…

— Но надо строить быстрей, как можно быстрей! Иначе над тобой восторжествует зло, и сеть не порвется никогда…

Мастер повернулся к нему, еще ниже опустив голову:

— Оставьте свои проповеди при себе!

— …а я не хочу этого, потому что каждый из вас стал дорог моему сердцу… и ты, и другие… в вас теперь моя жизнь.

— О чем это вы?

«О чем я? — подумал он. — Кажется, о Гуди и о Рэчел — надо поговорить с ней вот так, как я сейчас говорил с ним, или нет, не я говорил с ним, а сама воля».

Он многозначительно кивнул мастеру.

— Мне пора, Роджер. Меня призывают дела.

Он начал спускаться вниз, и ангел не покидал его. Он слышал, как Роджер прошептал:

— Дьявол, вот ты кто. Сам дьявол.

А потом голоса Роджера не стало слышно, и опоры снова пели, и, спустившись в неф, он из-за этого пения забыл, что собирался сделать.

Почти целый месяц башня не росла вверх, но зато вокруг нее появилась целая рощица мелких башенок — всего их было двенадцать, по три с каждого угла, одна высокая и две пониже. Роджер Каменщик реже бывал наверху, поручив надзирать за работой Джеану, который весело покрикивал на строителей и сыпал шутками. Джослину пришлось заняться своими пастырскими обязанностями, но все дела были запутаны, и наверстать упущенное он не мог. А Роджер теперь почти все время проводил внизу, толковал с кузнецами, и Рэчел тут же перетолковывала каждое его слово. Из-за этого Джослин не мог к ним подступиться; на башне было тесно, и он

наблюдал ход работы лишь урывками, снизу, вытянув шею. Он видел, как на высоте двухсот пятидесяти футов Джеан весело отдавал беззвучные команды и каменщики делали борозды, чтобы стальная лента, которая обовьет стены, плотно прилегла к камню. В тех редких случаях, когда Джослин оказывался среди леса башенок на верху главной башни, он видел, как оживает длинный сарай у реки. Оттуда шел дым. С утра и до самой полуночи там, словно разноголосые колокола, били молоты; а когда темнело, он видел в реке отражения огней. Внутри башни в обоих перекрытиях оставались лишь узкие отверстия. По мере того как росли башенки, строители убирали ненужные леса. Они выдернули из стен крепления и почти все отверстия забили камнем. Оставшиеся дыры с бесстрастным интересом разглядывали голуби и вороны. Вскоре посреди башни висели только канаты да по стенам крутыми зигзагами поднимались стремянки. Из подсобных построек осталось лишь ласточкино гнездо, где каменщики держали свои инструменты, а мастер — измерительные приспособления; но, поскольку вскоре предстояло настлать просторную площадку в основании шпиля, эту будку тоже было решено убрать. Леса остались лишь на

самом верху башни, похожие на растрепанные волосы или на аистово гнездо над невероятными, высотой в восемьдесят футов проемами окон.

А потом было бурное собрание капитула, где известие о новых расходах встретили сначала недоверчиво, а потом с негодованием. Под конец Джослина вдруг осенило, что надо просто пустить в ход свою личную печать, и, придя к себе, он сделал это без дальнейших пререканий. Но после мучительной тяжести, испытанной в этот день, к нему вернулся визгливый смех; и ангел, хоть и был для него благословением, страшно его изнурял; собственная воля его ослабла, он утратил власть над мыслями и видениями, которые всплывали в голове — шпиль, рыжие волосы, волчий вой, — и его потянуло на башню, где он странным образом обретал умиротворение. Он вышел во двор и вдруг заметил, что там совсем тихо, словно весь мир затаил дыхание, потому что стук под навесом смолк. Он вошел в неф и, хотя был перерыв между богослужениями, услышал негромкий звук; это пели опоры: «и-и-и-и-и», — словно тяжесть стала для них невыносимой. Медленно, неслышно он поднялся по винтовой лестнице туда, где среди башенок его ждали умиротворение и радость. Он двигался

бесшумно, как призрак, и, когда поднялся по стремянке до середины башни, услышал стон. Этот стон заставил его остановиться, занеся ногу на ступеньку, сжимая поручни и сгорбившись под бременем ангела. Это был стон попавшего в капкан зверя, беспомощной косули, которая уже и не пытается вырваться, а лишь стенает в смертной тоске. Он повернул голову к ласточкину гнезду. Под крышей было оконце с поперечиной, не очищенной от коры. Но не кора бросилась ему в глаза. Чья-то рука стискивала поперечину, и Джослин, видевший много раз, как она касалась камня или дерева, или нацеливала металлический снаряд, или сжималась в кулак от злобы, или простиралась в отчаянье, знал эту смуглую, поросшую рыжеватыми волосами руку, как свою собственную, бледную и бескровную. Но едва он увидел ее и узнал грязновато-белые костяшки пальцев, не успев еще осознать, чья она — эта рука, так судорожно стиснувшая дерево, — другая рука, меньше, белей и нежней, скользнула сверху и крепко ее сжала.

Он стоял на стремянке, разинув рот, не двигаясь, не мигая, и тут он услышал голос, тот самый, что звучал как стон, голос молящий, по-детски наивный и нежный:

— Но ведь я-то не смеялась, правда?

Жесткие пальцы выпустили дерево, и руки сплелись, исчезли: а потом другой, еще более знакомый голос прозвучал с мучительным трудом, словно поднялся с самого дна ямы из-под серого каменного пола…

— О Господи!

Джослин быстро попятился, спустился со стремянки, все так же, с разинутым ртом. Теперь он стоял у стропил, опустив голову и зажав уши. Он раскачивался из стороны в сторону и бессмысленно шарил взглядом вокруг. Потом ощупью нашел винтовую лесенку, спотыкаясь, начал спускаться, и в темноте перед его немигающими глазами вихрем понеслись воспоминания: вот девочка в зеленом платье бежит по двору, но, увидев милорда настоятеля, своего духовного отца, благовоспитанно замедляет шаг, и вот он уже обратил внимание на ее застенчивую улыбку и веселую детскую песенку, сперва лишь благосклонно, а потом стал ждать ее, да, ждать, искать ее, любоваться ею, ощущая теплоту на сердце, восхищенный ее ангельской душой, и тогда он устроил ее брак с хромым, и ее рыжие волосы покрыл платок, а потом — этот шатер…

«Нет, нет, о Господи!»

Вот она, цена камня и бревен.

Наконец он спустился вниз, к поющим опорам, а там кружила Рэчел, она бросилась к нему бегом, и он визгливо засмеялся.

— Роджера нет ни в кузне, ни у плотников, может быть, он на башне или на подмостях, ведь он устал, и ему надо поесть…

Не умолкая, она шла за ним через весь неф, и так они вышли во двор, где уже темнело. У двери он обернулся и благословил ее, потому что ее боль была сродни его боли; а она стояла под гнетущей сенью исповедников, мучеников, святых, и ее красное непристойное платье колыхалось на коренастом теле, и теперь она молчала, зажав ладонью рот, и вытаращенные глаза смотрели с постаревшего накрашенного лица тоскливым, тяжелым взглядом. Он ушел к себе и встал на колени, и рот его все еще был раскрыт, и глаза все еще раскрыты и устремлены в пустоту.

А на другой вечер ласточкино гнездо убрали.

Глава седьмая

Он ушел к себе и встал на молитву, но даже молитва его была теперь иной. Он весь съежился в крошечный серый комок, трепещущий, терзаемый страхом, а когда возводил глаза кверху, где всегда обретал поддержку, там сверкал каскад рыжих спутанных волос, и он, ссутулясь, опускал голову. Он говорил себе: «Я должен все это принести в жертву!» А потом оказывалось, что в голове у него безмолвно помимо его воли встает только один вопрос: «Ради чего?». Когда он заставлял себя забыть о рыжих волосах, ему удавалось на время обрести некоторую свободу, но потом эти волосы, как будто возвращенные какой-то силой, снова повисали перед ним и колыхались, ослепительные, неотступные, и она сама появлялась снова, в рваном платье, с зелеными лентами, и смотрела черными впадинами глаз. Он вскакивал и шел, сам не зная куда. Иногда он, захлебываясь, твердил: «Работать! Работать!» — и донимал расспросами людей, занятых делом, но тотчас вспоминал, что они об этом ничего не знают. Однажды, когда он вошел в пустой собор и стоял у двери, а в душе у него бушевала буря,

он увидел ее: она шла по нефу тяжело, неловко, потому что ждала ребенка, и он почувствовал в душе нежную любовь и вместе с тем жадное любопытство, слюнявое желание узнать: как, где, когда, сколько? Слова, прозвучавшие в ласточкином гнезде, лишили его уверенности, повергли в хаос, где они вчетвером сочетались каким-то сатанинским браком. Когда вихрь на миг улегся в душе и Джослин пришел в себя, он понял, что громко кричал, так как в длинном каменном нефе еще отдавалось эхо, но не мог вспомнить слов.

«Надо пойти к ней, — подумал он, — надо спасти то, что еще можно спасти». Но, едва подумав это, он сразу почувствовал жадное любопытство, засевшее в нем, как проказа, и понял, что если застанет ее одну, то будет только спрашивать, доискиваться, выпытывать, сам не зная для чего. И вдруг он словно увидел себя со стороны: высокий, изможденный, в длинной рясе, он стоял у двери, уставившись на деревянную перегородку и стиснув руки. Он полез на опустевшую башню, и, когда поднимался мимо того места, где висело ласточкино гнездо, у него захватило дыхание и сердце сжалось от боли. Он заставил себя взглянуть с башни на мир, где люди занимались своими непостижимыми для него делами, и уви-

дел, что многие из них бросили все дела. Башня, возвышавшаяся среди леса маленьких башенок, притягивала их. В устьях улиц, стекавшихся к собору, никогда не было пусто. Там толпились, глядя вверх, мужчины и женщины, и лица их с высоты казались смутными пятнами. Когда одни уходили, на их месте тотчас появлялись другие. Это был бесконечный, неиссякаемый поток; Джослин почувствовал нестерпимую горечь и сказал в пустоту, где гулял ветер:

— Что вы знаете обо всем этом?

Башня была недвижна и безразлична. Он оглядел каменный лес, выросший вокруг того места, где должен был вознестись шпиль. «Это совсем не похоже на макет, — подумал он, — и на мое видение, но мы делаем все, что в наших силах. Быть может, это чертеж безумства, о котором они не знают».

И он крикнул:

— Работать! Работать! Работать! Почему никого нет?

Он бросился вниз искать мастера, и, пока он спускался с башни, озлобление перешло в неудержимую ярость. Но мастер не бездействовал. Он собрал свою армию под навесом у трансепта и что-то говорил хриплым голосом — мотылек, не

видящий дальше своего короткого века. Услышав его голос, Джослин успокоился, и нетерпеливое желание поскорей завершить дело овладело им. Роджер Каменщик уже отдавал распоряжения каждому из строителей. Джослин понял, что речь идет о стальной ленте; поглощенный мыслями об этом, он пошел к себе, но не мог молиться, и тогда его посетили ангел и диавол, и неистов был сатанинский брак, и он ждал рассвета. Он был уверен, что большой колокол на дальней колокольне зазвонил с опозданием: вокруг собора уже перекликались громкие голоса, стучали шаги. Он поднялся на башню, но Роджер прогнал его вниз так властно, что это удивило и испугало их обоих. И он долго кружил по двору, совсем как Рэчел, а потом вернулся к себе, вспомнив, что должен сделать. Он написал длинное письмо аббатисе в Стилбери, осторожное, полное недомолвок, в котором справлялся, согласится ли она на известных условиях принять в обитель несчастную, падшую женщину. Потом он пошел в собор, взглянул на опоры, и ему пришла мысль, что они, быть может, чувствуют то же, что и он, но они хотя бы свободны от этой ужасной тяжести на сердце, которую дано испытать только человеку. Он не мог видеть, как продвигается работа, и

пошел к старшему плотнику, под длинный навес, где были сложены бревенчатые венцы. Бревна казались такими прочными — их не одолеть самому лютому ветру, по крайней мере так сказал плотник, ударами тяжелого молотка разбирая на части шестой по счету венец, и было в его голосе нечто такое, что заставило Джослина продолжать расспросы, но плотник как воды в рот набрал.

Солнце стояло уже высоко, и тени от стен собора понемногу укорачивались. Среди них была новая тень, отбрасываемая башней; она ползла мимо дома канцеллярия, и Джослин заметил на ее конце какое-то неверное марево. Он быстро вышел во двор и остановился почти у самой толпы зевак. Взглянув вверх, он увидел над башней дым. Весь день он кружил подле собора, останавливался, вскидывал голову и отовсюду видел, как поднимается этот дым, равномерно, непрестанно, застилая небо дрожащей мглой. И когда тень собора поползла в другую сторону, дым все еще шел; а в сумерки он увидел зарево вокруг башни, и порой со свинцовой крыши до него доносились голоса каменщиков, которые отдыхали там, спали, ели или пили воду из ведер. Наконец он лег и уснул, но его поднял с постели странный звон, который зазвучал на башне, та-

кой же разноголосый, как и тот, что доносился из сарая на берегу реки. Джослин накинул плащ и вышел в толпу смеющихся, болтливых горожан. С башни каскадами низвергались искры. Они сыпались из зарева, сверкавшего над ней, и падали на крышу, не успев погаснуть. Один раз сверху донесся пронзительный вопль, потом крики, беспорядочный шум, и на время искры исчезли. В толпе принялись гадать, что случилось, но тут искры посыпались снова, а из трансепта, шатаясь, вышел человек, и рука его была обмотана промасленным лоскутом. Не отвечая на вопросы Джослина, он со стонами и проклятьями побрел в сторону Новой улицы. Но вокруг толпились люди, и было кому оказать ему помощь. Джослину казалось, что весь город не спит, все высыпали на улицы или на площадь или стоят у открытых окон, и все смотрят вверх. Башня светилась в тихой ночи, сыпала искрами, и дым таял, поднимаясь высоко к звездам. А за час до рассвета звон разноголосых колоколов смолк. Вместо искр башня теперь извергала струи пара, которые были бесцветны, как камни в предрассветных сумерках, и казались продолжением этих камней. На рассвете стал таять и пар. Горнила, недавно пылавшие в вышине, сползли, плюясь углями

и водой, вниз вдоль огромных окон, люди на крыше подхватили их и убрали внутрь собора. Когда взошло солнце, Джослин, измученный голодом и бессонной ночью, поспешил навстречу строителям, спустившимся с башни. Но они не замечали его. Они шли, пошатываясь, неверными шагами, и их широко открытые глаза смотрели сквозь него, уже видя вожделенные постели, а ноги сами собой брели прочь. Джослин стоял в сонном дурмане, ожидая Роджера Каменщика. Но Роджера не было. Тогда он робко вошел в неф и стал взбираться на башню, а поднявшись по винтовой лестнице, он забыл обо всем, кроме башни, которая была как живая. Потому что в то утро, на восходе, когда поднялся ветер, вся башня заговорила — она стонала, скрипела, возмущалась, то и дело вскрикивала: «Бам!» — и от этого у него заходилось сердце. Но он напомнил себе, во имя кого возведена башня, стиснул стучащие зубы и, взобравшись наверх по зигзагам стремянок, мимо того угла, где висело прежде ласточкино гнездо, очутился наконец на деревянном перекрытии среди каменного леса. Всюду валялись куски угля, стояли лужи. Схватившись за край стены, он глянул вниз и увидел, что весь мир смотрит на башню, со всех сторон смутными пят-

нами белеют лица, а башню охватила стальная лента шириной в фут и толщиной в два дюйма, вся в голубоватых точечках заклепок. И повсюду она плотно прилегала к камню, иссеченному рубцами и трещинами. Лента была живая, говорящая. Она вскрикивала: «Дон-дин-бам-бом!» — и протяжно звенела.

Он опустился на колени, глядя вдаль между двумя зубцами. «Вот я здесь, — подумал он. — И в этом смысл. Здесь мое место. Я не могу строить из дерева, стали и камня. Но я здесь, для этого я и существую».

Он пал ниц и хотел помолиться, но, не успев вымолвить и слова, заснул, скорчившись у каменной башенки, и тогда явился его ангел, незримый, шестикрылый, и встал над ним, согревая ему спину.

Его разбудил ветер, который трепал ему волосы, сны медленно уплыли и оставили его с ветром наедине. Он открыл глаза, голова у него сразу закружилась, и он понял, что смотрит почти отвесно вниз, на аркаду, с высоты двухсот пятидесяти футов. Он снова закрыл глаза, зажмурил их покрепче и стал смотреть в глубь себя, стараясь вновь обрести безмятежность снов. Но сны покинули его безвозвратно, и он знал,

что неотвратимо наступил новый день и надо держаться, как держатся опоры. «Моя вера не поколеблена, — подумал он. — И вот как высоко мы поднялись». Эта мысль принесла ему такое утешение, что он полежал еще, как будто кутаясь в нее, потом открыл глаза, но в голове уже было пусто, а ветер трепал его волосы вокруг скуфьи и сушил на глазах последние слезы сна.

Но все же что-то переменилось, и ему снова пришлось думать, доискиваться, в чем она, эта перемена. Она родилась в нем или же вошла в его тело из башенки, через касание бедра или щеки. «Бам!» — звякнула стальная лента, словно подтверждая его догадку; значит, сам камень обрел какое-то новое качество. Эта новизна была столь неуловима, что лишь здесь, в полнейшем одиночестве, лишь в столь близком соприкосновении со свежевытесанной каменной поверхностью можно было ее обнаружить. Да, в камне явилось нечто новое, в этом камне у правого его бока. Этот камень… его рука шарила, ощупывала… Этот камень… Он стал теперь более… или нет, менее?… или все-таки более?… твердым. На миг Джослину почудилось, будто камень мягок, как подушка, и он подумал: «Кажется, я еще не совсем проснулся!». Но тут у самых зубцов пролетел ворон,

испустив пронзительный крик, такой явственный, обыденный, привычный. Джослин лежал, рассеянно глядя вниз, на галерею, а там, под арками, которые отсюда казались прижатыми к земле, неторопливо прошли ноги в сандалиях и проплыл подол рясы.

Мальчики из певческой школы опять оставили на парапете свои шашки. Он не видел клеток, нацарапанных на камне, но различал на них белые костяные кружочки. Он видел их несколько, но не мог видеть все, потому что выступ между зубцами срезал угол. И он чувствовал себя беспечно, как ребенок, глядя на белые шашки — одна, две, три, четыре, пять…

Он лежал, прижавшись щекой к башенке, и не двигался, в этом не могло быть сомнений. Но вдруг он увидел шестую шашку, она появилась перед его глазами. Он знал, что даже не пошевельнулся, значит, шевельнулась башня и, хотя наверху ее движение было плавным и бесшумным, там, внизу, опоры, должно быть, взвизгнули: «и-и-и-и-и!». А белая шашка то появлялась, то исчезала, и он понял, что башня раскачивается под ним, как высокое дерево.

Он медленно отвел глаза, взглянул на кучи угля и высыхающие лужи. «Только бы не крикнуть,

не побежать, — подумал он. — Ведь это недостойно моего видения». Он медленно поднялся, твердо встал на ноги. Шаг за шагом он осторожно спустился с неумолкающей башни по крутым стремянкам, по винтовой лесенке в пустой собор. Опоры снова пели, и теперь он уловил в их пении некий ритм. Он заставил себя остановиться и слушать, словно исполнял покаяние. С минуту было тихо, но вот снова: «и-и-и-и-и!» — все выше, в полный голос, на верхней ноте, а потом обратно — через те же ступени к тишине.

Он посмотрел на то место, где раньше были плиты пола. «Вот здесь, на каменных плитах, мне было ниспослано видение, — подумал он. — Здесь много лет назад я пал ниц и принес себя в жертву делу. И вера моя не поколебалась. Все в руках твоих, Господи».

Медленно, не оглядываясь, он ушел.

Но день готовил ему новые неожиданности.

У дверей дома ждал нарочный с письмом. Он вернулся из Стилбери, проскакав верхом пять миль, и Джослин, получив так быстро ответ на письмо, первым делом подумал, что Стилбери слишком близко. Но следом появилась смутная мысль, что все же Стилбери достаточно далеко. Он взял письмо и, сломав печать, прочел. Да, в

Стилбери готовы принять падшую женщину, но не на предложенных им условиях, а лишь в случае, если в аббатство будет сделан изрядный вклад. Он открыл сундук, достал деньги. «Я знаю, что они скажут, — подумал он. — Сперва Джослиново безумство, а теперь — Джослинов грех. Что ж, пускай. Надо мной столько насмехались, что я давно перестал замечать. Это тоже…»

Он вернулся в собор, прошел через неф, меж поющими опорами, а потом через южный трансепт к Пэнголлову царству. Он остановился у порога, глядя на низенький домик, и сердце его сжалось в комок. Он стоял, чувствуя себя бесконечно несчастным. «Сейчас предстоит сделать самое худшее! — подумал он. — И тогда я обрету мир. Это нужно сделать ради меня, и ради него, и ради моей бедной дочери».

Он заставил себя пойти к домику, но, едва сделав первый шаг, он вздрогнул, пошатнулся. В правом глазу у него мелькнуло что-то ярко-красное — это Рэчел ринулась к домику через двор, распахнула дверь, ворвалась внутрь. И сразу там раздался грохот, пронзительный визг, крики: Рэчел выкрикивала слова, жгучие, как огонь. Дверь снова распахнулась, и оттуда неверными шагами вышел Роджер, прикрывая руками окровавлен-

ную голову. Вслед за ним выскочила Рэчел. Она осыпала его визгливыми проклятиями, била метлой по голове и по плечам, а в пальцах у нее был зажат клок рыжих волос, которые дрожали и прыгали при каждом взмахе метлы; Рэчел вопила, визжала, брызгала слюной, не сводя сверкающих глаз со своей жертвы. Они прошли, спотыкаясь, мимо Джослина и даже не заметили его: а в соборе бушевало праведное негодование, и он услышал, как хохотали мастеровые. Мгновение он стоял озираясь. Потом быстро пересек двор и остановился у открытой двери с деньгами в руках.

Гуди Пэнголл скорчилась у очага, где над угасающими углями медленно покачивался на цепи черный котелок. Она опиралась на правое бедро и на руки, поджав ноги под себя. Свет, вливаясь через открытую дверь, блестел на ее обнаженных плечах, голова поникла, рыжие волосы свисали клочьями. Она рыдала, хватая воздух ртом, и все тело сотрясалось, словно по нему пробегали волны. Длинная тень Джослина легла на нее. Она подняла голову, увидела его и взвизгнула. Он простер руку, чтобы остановить ее, но она умолкла сама, подобралась, села на корточки, прислушиваясь к тому, что происходило у нее

внутри. Ноги ее судорожно дернулись под юбкой. Она схватилась обеими руками за живот и снова завизжала, но этот визг был совсем иной. Короткий и пронзительный, он резал как нож. И снова этот визг, и снова…

Джослин выронил деньги. Он повернулся и побежал через двор к дверям трансепта, взывая:

— Женщин сюда! Скорей! Ради самого Господа! Ох, бедняжка! Повитуху!

Мастеровые в соборе забегали, поднялись споры, шум. Джослин снова выбежал во двор, а крик все резал и резал его как нож. Он упал на колени и молился бессвязно, горячо: «Смилуйся, смилуйся, я не знал, что так будет, только не это, о Господи, все, что угодно, только останови нож, мне этого не вынести», — а вокруг него раздавались топот, громкие голоса и споры. Он вскочил и побежал к двери ее домика — помочь, сделать что-нибудь, хоть что-нибудь, смилуйся!.. Мастеровые, приподняв, держали белые тонкие ноги, под ними дергался белый живот и бился крик, а деньги, рассыпанные по полу, были забрызганы кровью, и мир стремительно завертелся у него перед глазами. Когда он опомнился, надо было совершить ужасный обряд крещения, а потом пришли женщины и отец Ансельм с елеем и

святыми дарами, которые он поднес к белому, обескровленному лицу. Джослин шел через двор, вдоль стены, от устоя к устою, клонясь и припадая к камням, как тростник, ветром колеблемый. Он с трудом добрался до хоров и, упав на колени, хотел помолиться за нее, но рыжие волосы и кровь ослепляли его рассудок. «Это случилось, когда она меня увидела, — подумал он. — В ее глазах я был сама церковь, я предстал перед ней как грозный обвинитель, и она хотела убежать от меня. О Господи, спаси ее, и я посвящу остаток дней, которые ты мне ниспошлешь, чтобы дать ей мир, только пусть не будет этого шума, и крови, и пения камней у меня в голове. Я увидел их вдвоем больше года назад, и вокруг них был шатер, и шатер не выпускал их, куда бы они ни пошли, и я смирился пред волей Твоей. Больше года назад…»

Он стоял на коленях и не видел ничего — только эту женщину, сотрясаемую болью. Иногда он вздрагивал и стонал. Иногда бормотал невнятно: «Бог оборонил меня. Он уберег меня от женщины, этого исчадия ада».

А потом он забыл про боль в коленях, забыл про голод, забыл все, и перед ним замелькали картины, в которых не было ни последовательности,

ни связи, но он-то знал, что они связаны между собой. Брак, который он сам устроил, и ласточкино гнездо. Волосы и кровь, хромоногий с метлой, который ковылял через неф. Все спуталось, но он терпел, только стонал и содрогался. А потом пришли, словно сами собой родились, слова, объемля всю его жизнь, его грехи, его вынужденную жестокость и, главное, нестерпимый накал его священной воли. Эти таинственные слова иногда пел на Пасху детский хор, и теперь только они имели для него смысл.

«Вот что свершил я возлюбя».

Поздним вечером, когда он все еще стоял на коленях, скорчившись и дрожа, пришел отец Адам, ощупью пробрался на темные хоры и сказал, что Гуди Пэнголл умерла.

Глава восьмая

Ее тело опустили в сырую землю, и он побрел прочь как слепой. Он брел, разговаривая сам с собой, а может быть, с каким-то неведомым и незримым спутником. То он вдруг замечал, что идет через собор, прижимая стиснутый кулак к груди, то ему вспомнилось, что он много раз повторял одно и то же. Но даже когда ему удавалось припомнить, что именно, или поймать себя на полуслове, все равно смысла в его речах не было. Он подолгу стоял, задрав голову и сжав кулаки. Он мучительно старался опомниться, понять, что с ним происходит. Но со дна его души, как вода, поднималось какое-то темное чувство. Часто являлся ангел и стоял позади него; это изнуряло его, потому что ангел был великим и дивным бременем, под которым сгибалась спина. Но мало того, вслед за ангелом, словно напоминая о смирении, приходил диавол, которому была дана власть терзать его, и стискивал ему чресла, поистине становившиеся неудержимым злом.

А потом он снова слышал, что без конца твердит одно и то же: «Нет, нет, нет, нет» или «Так, так, так, так» — и при каждом слове похлопывает

ладонью по пюпитру. Это случалось всякий раз, когда черная вода поднималась из живота и заливала, давила грудь. Он становился лицом к стене, без конца хлопал по ней ладонью и слышал свой голос, который твердил: «Ничего, ничего, ничего, ничего». И шпиль тоже был здесь, вычерченный в его голове простыми, стройными линиями, но другие картины мелькали вокруг него. И все же иногда Джослин мысленно обращал к шпилю свой взор, и тогда он спешил к опорам, глядел вверх и как в бреду ободрял строителей.

Теперь он обрел прозорливость в отношении некоторых людей. (Это дала мне боль, боль, боль.) С ужасающей ясностью он видел, как Роджер вернулся к Рэчел, вернее сказать, все теперь видели, что он снова в ее власти. (Она праведница. Праведница. Праведница. Хлоп, хлоп, хлоп.) Между ними уже не вспыхивали ссоры. Они были вместе, но не кружились больше друг возле друга. Роджер Каменщик стоял, надзирая за работой, сгорбленный, мрачный, с застывшим взглядом. А она стояла позади и чуть сбоку, надзирая не за работой, а за ним. И, глядя на них новыми глазами, Джослин видел на шее у Роджера железный ошейник и длинную цепь, конец которой она держала в правой руке. Если Роджер поднимался

наверх, она оставалась внизу с цепью наготове, дожидаясь, когда снова можно будет пристегнуть ее к ошейнику.

И в голове у Джослина стучала лихорадочная мысль:

«Если я теперь велю ему построить шпиль даже в тысячу футов высотой, он сделает это. Я достиг цели».

(Нет, нет, нет, нет, нет, нет, руки сжимают и разжимают, сжимают и разжимают край надгробной плиты.)

Однажды ноги помимо воли привели его в Пэнголлово царство, и дверь домика была открыта. (Боже, Боже, Боже, руки хватают, скручивают, рвут высокую траву.) Он бросился назад к собору, подгоняя себя, и в неурочное время поспешил в капеллу Пресвятой Девы. Губы его шептали привычные слова, но перед глазами — нет, нет, нет, нет! — стояло белое тело и непоправимо пролившаяся кровь. Он вспомнил об отце Ансельме, но понял, что бесполезно и пытаться объяснить все это Ансельму с его благородной и пустой головой. (Мне нужен другой духовник, другой духовник, другой духовник.) Но, не успев подумать это, он все забыл, потому что она появилась снова, и он увидел скорченное страданиями тело и ужасное

крещение.

Он перевел дух, посмотрел на деревянную доску и сказал громко, но со смирением:

— Мой ум слаб.

И тут подоспела помощь, словно бы ангел шепнул ему на ухо: «Представляй ее себе такой, как прежде!».

И сразу же он радостно представил себе девушку, которая идет с рынка, неся корзину, и замирает перед ним в неловкой почтительности; он вскочил, засмеялся, бросился куда-то и чуть было не пробежал мимо канцеллярия. Но пришлось слушать его, улыбаться и кивать. В мыслях же Джослин перенесся на пять лет назад, в то счастливое время, когда он устроил ее брак, и, пока он вспоминал это, канцеллярий исчез. (Такой удачный, такой нужный брак, отцы обоих — верные прислужники в храме, каждый на своем месте.)

«Но ведь я-то не смеялась, правда?»

(Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, рука стискивает, стискивает, стискивает…)

Скорей к опорам — там самое важное дело, главная трудность, причина причин, бремя; и Рэчел, постаревшая, уже не такая болтливая, заглядывает ему в глаза, готовая принять осуждение,

но кто может ее осудить? Замужние женщины превозносят ее, и она в самом деле приложила все силы, чтобы вернуть своего мужа. А опоры снова пели, и, прислушиваясь, он забыл о ней и понял, что с пением пришел страх и последние прихожане покинули капеллу Пресвятой Девы.

(Помилуй малых сих, малых сих, малых сих…)

Он сказал вслух:

— Но остались большие сии — строители!

И словно в ответ на эти слова с башни спустился человек, бросив работу. Он нес мешок с инструментами и на ходу натягивал на голову синий капюшон. Он прошел мимо Джослина, как мимо пустого места, и быстро зашагал в трансепт.

— Вернись!

В трансепте на месте пролома теперь была дверь, и она с грохотом захлопнулась. А на месте мастерового появился регент хора и попросил уделить ему минуту с таким жутким спокойствием, что было ясно: он вне себя от ярости. Но перед глазами Джослина стояла умершая, он не мог молиться, был удручен отступничеством мастерового и потому только зажал уши и покачал головой.

— Это необходимо. Решительно необходимо, чтобы я бросил все и был со строителями. У них

нет веры, и я им нужен. Разделите все прочие обязанности между собой. А я всегда, каждое мгновение буду здесь, подле шпиля.

Он стал глядеть вверх, на башню, и не заметил, как регент ушел. Потом он поспешил к мастеру.

— Теперь я всегда буду с вами.

Роджер Каменщик стоял в своем ошейнике и взглянул на него тусклыми глазами:

— Это хорошо, милорд настоятель. Очень хорошо.

Джослин вспомнил о регенте и крикнул ему вслед:

— Вы слышали, милорд?

А опоры пели. Он подоткнул рясу и полез на башню, все выше, выше. Когда ему встречались строители, он весело заговаривал с ними, смеялся, и они смеялись в ответ — правда, не очень уверенно. Они рассказали ему про длинный канат, одержимый бесами, и он решил взглянуть сам. Да, канат в самом деле был одержим. Он свисал с башни через широкое отверстие, и конец его лежал на полу, как мертвая змея. Джослин видел, как на канате поднимали бревна, из которых наверху собирали венцы. Сверху подавали команду, снизу откликались, а потом в полном молчании бревно уплывало в воздух. Но как бы осторожно

ни подтягивали канат, в какой-то миг он вдруг начинал крутиться, извиваться, биться о края отверстия, и нужен был очень точный расчет, чтобы протащить бревно, не повредив камня.

Он увидел, как Роджер Каменщик стал подниматься на башню, услышал внизу голос Рэчел, которая тоже поднялась немного, но выше лезть боялась и выкрикивала ему вслед наставления. Он сразу вспомнил ласточкино гнездо и, не дыша, миновал то место, где оно висело. Он сказал вслух своему ангелу:

— Сюда она уже никогда не поднималась.

Мастеровые услышали это, истолковали по-своему и захохотали:

— Нет! Тут уж он от нее свободен.

Джеан взглянул сверху на мастера и сказал, а мастеровые при этом прыснули со смеху, как мальчишки из певческой школы:

— Скоро она и в нужник будет его провожать.

В тот день Джослин сделал еще одно открытие: Роджер Каменщик начал пить. Он стал пристально наблюдать за ним и заметил, что Роджер даже не пьян, а словно бы весь пропитан вином. Его дыхание было почти зримым. Он то и дело прикладывался к бутылке, когда поднимался наверх, или стоял на лесах, или сидел на корточках возле

растущего конуса, этой каменной кожи шпиля. Сначала Джослин пришел в ужас, как пассажир на корабле, которым командует пьяный капитан, но потом это прошло. И с тех пор он совсем перестал обращать внимание на тех, кто занимался внизу своим обычным делом.

А опоры все пели, и Джослин узнал, что только они одни и поют во всем соборе. Возмущенный причт перенес богослужения в дом епископа. Иногда Джослин, торопясь в собор, пересекал путь одному из церковников, но все обходилось благополучно. Его только провожали тяжелыми взглядами. И даже когда отец Адам сказал ему, что скоро прибудут Гвоздь и Визитатор, он только переспросил рассеянно: «Визитатор?» — и исчез на лестнице.

Хотя Джослин все время был на башне, это нисколько не помогало мастеру. Он пил — в этом теперь была какая-то неизбежность, словно в явлении природы. Порой он мрачнел и подгонял строителей грязной бранью. Когда Джослин был рядом, он изрыгал такие кощунства, что настоятель сразу забывал о белом обнаженном теле. И тогда он забивался в угол, зажимал уши, чтобы не слышать проклятий, и Гуди возвращалась, или он вспоминал, как под ее ножками сплеталась

золотая путаница следов на дворе, на рынке, в соборе, и он стонал, закрывая лицо руками:

— Она умерла. Умерла!

А порой Роджер, наоборот, становился притворно, нелепо веселым и норовил подпоить всех вокруг. Но чаще он бывал удручен, медлителен и тяжело лазил по стремянкам; а вечером, после работы, он покорно спускался вниз, где Рэчел пристегивала к ошейнику цепь и уводила его. Тогда Джослин кивал и говорил умудренно:

— Ему все равно — жить или умереть.

Но на другой день, когда она снова начала преследовать Джослина и он, чтобы от нее избавиться, стал ходить следом за Роджером, он увидел, что неверно судил о мастере. Роджеру было не все равно — жить или умереть, иначе им не владел бы столь явный страх. Невозможно было объяснить, почему страх этот такой явный. Джослин видел его так же ясно, как шатер и цепь, и он видел, что этот страх не от естества, как страх здорового зверя. Этот страх был подобен отраве, как прежний страх Роджера перед высотой. Но теперь страх толкал Роджера к людям, вызывал потребность видеть их рядом, потому что он поневоле вынужден был сносить высоту. «Он готов умереть, — думал Джослин, — он даже

рад бы умереть и все-таки боится упасть. Он рад бы надолго заснуть, но только не ценой падения с высоты. Вот еще причина, почему, лазая по лесам, он то и дело прикладывается к бутылке и от него несет винным перегаром».

Таковы были те люди, чьими трудами возводился шпиль: один пил запойно, другой избегал смотреть вниз, чтобы не видеть золотой путаницы следов, остальные более или менее сохраняли здравый рассудок. А на верху башни было перекрытие из бревен, одержимое нечистой силой; но эту одержимость можно было понять, и она влекла к себе Джослина, потому что под навесом во дворе он такого не видел. Это вызывало тревожные и мучительные раздумья. В венце, уложенном поверх перекрытия, на равных расстояниях были прорезаны пазы, и в каждый паз был загнан клин. Строители уже собрали второй венец, который лег на клинья; прочный канат, прочнее якорного, опоясывал нижний венец, удерживая клинья на местах. Джослин спросил мастера, для чего это, но в ответ услышал лишь ругань, и тогда он снова отошел в угол и погрузился в свои думы. А как-то вечером, когда Роджер с угрюмым ворчанием спустился вниз, Джослин отвел Джеана в сторону и указал на клинья:

— Объясни мне, зачем это?

Но Джеан засмеялся ему в лицо:

— Тут дело нечисто.

Джослин потряс его за плечи, силы вернулись к нему.

— Я должен знать. Это не только ваше дело, но и мое.

Джеан передернул плечами и стряхнул его руки.

— Все держится на клиньях. Он хочет подвесить деревянный сруб на каменном яблоке, которое будет на верху шпиля. Если до этого налетит гроза — трах-тарарах! А если нет, он помаленьку ослабит канат и венцы, или, верней, крепи, между ними вытянутся. Сруб повиснет внутри шпиля и придаст ему устойчивость против ветра. Так-то.

Он пнул ближайший клин.

— Он думает, сруб вытянется — вот настолько. Кто знает?

Может, он и прав.

— А ты уже видел где-нибудь такое?

Джеан рассмеялся:

— А разве кто-нибудь уже строил такой высоченный шпиль?

Джослин окинул взглядом каменную кожу.

— Кажется, где-то за морем… Люди рассказы-

вают…

— Если каменная оболочка не рассыплется, и яблоко не треснет, и сруб выдержит, и опоры не рухнут…

Он снова пнул клин, покачал головой и уныло присвистнул.

— Он один мог это придумать.

— Роджер?

— Он пьет без просыпу и давно уже спятил. Но только человек, который спятил, и возьмется выстроить этакий шпиль.

Он повернулся и стал спускаться. Немного погодя снизу послышалось:

– *Все* мы тут спятили.

Это помогло Джослину понять мастера. «Надо отдать ему всю силу, какая есть во мне», — подумал он. На другое утро он ходил за Роджером по пятам и все спрашивал:

— Как это называется, сын мой? А это?

Роджер не удостаивал его ответом. Но в конце концов не выдержал:

— Как, как! Куски камня и дерева никак не называются. Вот это будет держаться на том, а то — вот на этом, если не упадет. Оставьте меня в покое!

Он полез наверх, неуклюже, как медведь, и по

дороге приложился к бутылке. Джослин тоже поднялся наверх, но не к нему, а к мастеровым, которые всегда были ему рады, и присел возле них на корточки. Сначала он не понимал, почему они ему рады, но потом понял, что спасает их от страха; теперь он понял все до конца, потому что ангел уже не покидал его ни днем ни ночью, спасая от страха его самого, и это было великим благом, хотя под бременем ангела сгибалась спина. Теперь Джослин приходил в собор на заре, стоял там в одиночестве, ощущая, что и сейчас, на половине пути, он не властен над жизнью своей. Если мастеровых еще не было и ему удавалось ускользнуть от золотой путаницы следов, он пытался разобраться в тех необычных чувствах, которые обуревали его.

«Как это называется? А это?» Иногда в полумраке собора он рассуждал про себя, но шпиль, высившийся у него в голове, не давал довести рассуждения до конца.

«Когда это кончится, я буду свободен…»

Или: «Что ж, такова цена…»

Или: «Я знаю Ансельма. И вон того. И вот этого. Но ее я никогда не знал. Сколь драгоценно было бы для меня, если б я мог…»

«Как это называется? А это?» Однажды, серым

утром, он целый час был совершенно спокоен, а потом натолкнулся на мысль, которая сначала была как глухая стена, а потом она вдруг стала для него такой же важной, как день рождения для ребенка. Он смотрел на дощатую перегородку, за которой была капелла Пресвятой Девы. И ему вспоминались давние события, которые происходили словно в иной жизни.

– *Господь был там!*

Он стоял, глядя на серые опоры в сером свете верхних окон, с которых вещали патриархи. И он спросил у перегородки:

— И это тоже часть цены?

Но ответа не было; тогда он поспешил к лесам, поднялся наверх вместе со строителями, благословил их. И шпиль вытеснил все мысли из его головы.

Между тем шпиль все суживался и те, кто в нем работал, как бы поднялись над землей еще на одну ступень. Это был не конец, а начало. Линии башни сходились далеко внизу, и у своего основания она словно становилась совсем тонкой, казалось, это стрела, уходящая острием вниз, здесь же, наверху, был уродливый тупой конец. У людей, чья жизнь теперь протекала на высоте, от качания уже не заходилось сердце,

но в размеренном чередовании тяжести и легкости было что-то, изматывавшее не столько тело, сколько душу. Джослин испытал на себе, как постепенно растет гнетущая тяжесть, и вдруг перехватывает дыхание, и ты вцепился мертвой хваткой во что попало. И тогда быстро переводишь дух, и на время становится легче, но потом тяжесть возвращается. Одно было хорошо здесь, на высоте трехсот футов. Когда поднимался ветер, не слышно было пения опор, хотя мысли о них не покидали людей — ведь всего четыре тонкие иглы, воткнутые в землю, держали на себе весь этот мир из камня и дерева.

Спасти от этого могла только работа, которая требовала полнейшей сосредоточенности. Каменную оболочку конуса нужно было класть с предельным тщанием, лишь тогда она обретала наибольшую прочность. И все же в ветреные дни уровень, положенный на верхнее перекрытие башни, обнаруживал какое-то медленное безумие, дрожал, как душа в преддверии ада. И тогда мастер ни с кем не разговаривал, только хмурился и о чем-то размышлял, а потом вдруг набрасывался на кого-нибудь из помощников с неистовой руганью.

И вот появилось нечто такое, чему никто не

знал названия. Появилось постепенно, как порой подкрадываются холода. Быть может, это было сознание, что они теперь на такой высоте, на какую еще не поднимался ни один человек. Никто не мог уловить новую грозную неизбежность, но какие-то липкие предчувствия ползли по телу. Теперь наверху редко разговаривали спокойно: молчание нарушала только ворчливая брань или внезапные крики ярости. Порой слышался судорожный смех. Чаще — всхлипывания.

Некоторые даже бросали работу и уходили. Ушел Ранульф, маленький, сухой, морщинистый человечек. Он был молчалив, быть может, потому, что остальные едва понимали его неуклюжий английский язык. Медлительный, как улитка, он зато работал без передышки. Приступы безумного смеха или ярости ни разу не захватили его. О нем часто забывали, а потом, взглянув в его сторону, видели, что еще один камень с его меткой лег на место. Но как-то в июле, когда шпиль снова стал качаться, он попятился от каменной оболочки и начал складывать в сумку инструменты. Никто не сказал ни слова, но все, один за другим, тоже бросили работу и смотрели на него. Ранульф не обращал на них внимания и собирался неторопливо, как всегда. Обтерев ин-

струменты, он обернул их тряпицей и аккуратно сложил в мешок. Он осмотрел сумку, в которой носил еду, отряхнул руки. Потом взял сумку и мешок, медленно сошел вниз и исчез из виду. Все проводили его взглядом, а когда он скрылся, один за другим вернулись к работе, но было в неторопливом уходе этого человека что-то леденящее, отчего дрожь пробегала по телу.

И все же гораздо страшнее был уход другого.

Макет шпиля оканчивался шариком, на котором держался игрушечный крестик. Когда Джослин увидел на дворе самый шар, забранный деревянной решеткой, он почувствовал сомнение, которое вскоре перешло в ужас. Это каменное яблоко было больше мельничного жернова и, наверное, тяжелее лошади с повозкой, а ведь его предстояло поднять на самый верх, фут за футом. Джослин видел, как его втащили в собор, а потом оплели канатами и постепенно, с остановками, подняли сквозь отверстие в своде. Во время каждой остановки долго возились с клиньями и рычагами, придавая яблоку нужное положение; и вот оно неумолимо закрыло собой середину первого венца. Но это было еще не все: яблоко поднимали выше и выше, пока наконец не стало ясно, что через следующий венец оно не

пройдет. И пришлось на высоте трехсот пятидесяти футов перетащить его на леса, специально построенные вне конуса. Конус вырастал, и вместе с ним вырастали леса, по которым поднимали шар. Приходило время, и снизу леса убирали, чтобы надстроить их сверху, — так играют дети, перехватывая руками палку.

Джослин избегал смотреть на каменное яблоко. Привязанное к лесам, удерживаемое подпорками и клиньями, оно заслоняло целый квартал города. И при этом оно висело на стене, как священный камень в Мекке. Теплый летний ветер раскачивал конус, и хотя душа Джослина была полна веры, тело его превращалось в комок сжатых мускулов и трепещущих нервов, ему казалось, что эта махина вот-вот переломит четыре каменные иглы, как ольховые прутики. В такие минуты ему оставалось одно: отбросить эту мысль, думать только о конусе, который должен подняться еще на пятьдесят футов; это утомляло его, а потом, подняв глаза, он снова видел каменный шар, заслонявший целый квартал города. И когда он смотрел вниз, это уже не рождало в нем такого пугающего восторга, потому что, чем больше суживался конус, тем темнее становилось внутри. А если посмотреть на башенки, которые

торчали вокруг главной башни, где кружили птицы, становилось страшно, как бы одна из них не совместилась с какой-нибудь точкой на голубой чаше земли, и тогда сразу видно станет или покажется, что шпиль кренится. К тому же для рук Джослина здесь не было дела. Он мог только сидеть в уголке, черпая твердость в своей воле или в иной воле, которая была не его, и стараться поддержать ею шпиль и людей среди этих новых, неотступных предчувствий.

Может быть, поэтому ему было так трудно подниматься наверх. Он едва переводил дыхание после крутых стремянок, часто ложился потом на доски, тяжело дыша, и ждал, пока сердце успокоится, или, вернее, начнет стучать не громче обычного. Он ползал на четвереньках, неся на себе ангела-утешителя, но это было нелегко, потому что конус с каждым днем суживался. И все же никто его не гнал, он не мог понять почему, а когда спросил об этом Джеана, тот сказал просто:

— Вы нам приносите удачу.

Из-за Джеана и случилась новая беда. Однажды он поднялся наверх хмурый, с застывшим лицом, попросил у мастера отвес и шнур. И пока строители закусывали, укрывшись за каменной оболочкой, а мастер молча прикладывался к

бутылке, Джеан быстро спустился со шпиля.

После этого никто не проронил ни слова.

Вскоре Джеан вернулся, отдал мастеру отвес и моток шнура, потом взглянул на Джослина. Лицо у него было такое, что Джослин почувствовал: медлить нельзя. Он заговорил и услышал, как вместе со словами из его горла вырвался визгливый смех:

— Ну как? Оседают?

Тяжесть, пустота, легкость, пустота.

Джеан облизнул губы. Вокруг них была грязновато-зеленая кайма. Голос его походил на карканье:

— Гнутся.

Стало тихо, был слышен только шепот ветра над неровным краем конуса.

А потом раздался странный звук, словно еще кто-то новый, человек или зверь, поднялся к ним наверх. Раздалось мычание; мычал Роджер Каменщик. Он сидел у стены, уставившись прямо перед собой, словно мог видеть сквозь камень.

— Роджер!

Тяжесть, молчание.

— Сын мой!

Легкость, молчание.

Мастер боком, как краб, пополз по доскам и,

нашаривая руками путь, скрылся из виду. Было слышно, как он спускается все ниже и ниже; и по мере того как он удалялся, мычание становилось пронзительней, перешло в визг, потом в пение, похожее на пение камней. И снова стало тихо.

И вдруг все засмеялись, вереща, завывая, до крови колотя кулаками по камню и дереву; в полутемном конусе вспыхнуло яркое пламя любви, зажигая души. Сама воля отверзла уста Джослина среди этого пламени и пообещала рабочим прибавку, а они обнимали его тощее тело, которое было лишь сосудом воли.

Теперь ему еще легче стало пренебрегать тем, что происходило внизу, а это было необходимо, потому что, когда опоры начали гнуться, люди внизу попробовали вмешаться, и ему оставалось только смотреть сквозь них на шпиль и ждать, пока они уйдут. Скованный своей волей, он слышал, как горожане проклинают его за то, что богослужения в соборе прекратились. Его проклинали даже безбожники. Люди стояли у входа и смотрели через весь неф на опоры. Когда он проходил мимо, истерзанный борьбой ангела с диаволом, они не осмеливались проклинать его открыто, но что-то бормотали за его спиной. Он знал, о чем они говорят, потому что сам видел,

как согнулись опоры. Не было сомнения, что Джеан прав. Цельный камень не может гнуться, и все-таки он гнулся. Если смотреть вдоль нефа, то на фоне окон глаз явственно видел, как две соседние опоры выгнулись и сблизились едва заметно, хотя смотреть приходилось долго и внимательно. Одно было хорошо. Чем сильней гнулись опоры, тем меньше они пели. К середине лета они, казалось, вообще перестали и гнуться и петь, но Джеан сказал, что они просто дожидаются осенней непогоды и уж он-то постарается к тому времени убраться отсюда. А пока что это постарались сделать все, кроме строителей и человека, приносившего им удачу.

Работа наверху спорилась, словно каждый уже ощущал на своем лице дыхание осенних ветров. Никого еще Джослин не знал так хорошо, как этих людей, — он теперь знал их всех, от немого до Джеана. Он стал среди них своим. Он жался к стене, всегда ощущая за спиной своего ангела, а потом сам начал таскать камни и бревна, тянул вместе с другими канаты или наваливался на рычаг. Рабочие звали его «отец», но относились к нему снисходительно, как к ребенку. Когда стало совсем тесно и в этой тесноте бился исступленный смех, ему поручали металлическое зеркало,

которое отражало свет внутрь шпиля. Он гордился этим почти до слез, хотя сам не знал почему. Он сидел на корточках и держал зеркало, а старший плотник, лежа на спине, подгонял венцы.

— Чуть левей, отец!

— Так, сын мой?

— Еще. Еще. Хорош!

И он сидел на корточках, старательно направляя свет. «Они праведники, — думал он. — Они богохульствуют, ругаются, у них грубое ремесло, но они праведники. Я убедился в этом здесь, под солнцем, на высоте почти четырехсот футов. Наверное, все дело в том, что они избраны, как избран я».

Он рассказал им про своего ангела, и они не удивились, а заглянули ему за спину и серьезно кивнули. И тогда он решил открыться им еще кое в чем и рассказал про свое видение, потому что счел их достойными такой награды. Но этого они не могли понять. В конце концов он махнул рукой, покачал головой и пробормотал с досадой:

— У меня все это где-то записано.

Потом он вспомнил о проповеди, которую хотел произнести, когда шпиль будет построен и у опор поставят кафедру. Но тут их лица потемнели. Джеан заявил, что только дурак согласится

теперь работать у этих опор, а он сыт по горло. Но к Джеану подошел немой, он бил себя в грудь, кивал головой и мычал. И все снова стало легко и просто.

Однажды они прекратили работу раньше обычного и, несмотря на все уговоры Джослина, не хотели продолжать. Они попросту ушли, словно его и не было на свете. Он подождал немного и тоже спустился вниз, но люди, которые были в соборе, мешали ему, и шпиль грозил рухнуть у него в голове. Джослин посмотрел на согнувшиеся опоры и долго бродил по храму, а потом тишина и золотые следы заставили его вернуться к лесам. Он снова поднялся наверх, полез по шатким стремянкам, перекинутым между венцами. Он понимал, что теперь ему остается только ждать, и поднимался медленно, но все равно сердце отчаянно колотилось. Наконец он добрался доверху и присел там, в царстве воронов. Стояла мертвая тишина, солнце закатывалось, и шпиль, весь целиком, высился у него в голове.

Но еще прежде, чем солнце зашло, Джослин заметил, что, кроме него и ангела, на башне кто-то есть. Этот третий смотрел ему прямо в лицо. Он выглядывал, как из рамы, из металлической пластины, которая стояла напротив, заслоняя небо.

Джослин уже хотел произнести заклинание и поднял руку, но тот, другой, повторил его движение. Тогда он пополз на четвереньках по доскам, и другой пополз ему навстречу. Он преклонил колени и стал разглядывать всклокоченные волосы, тощие руки, ноги, торчащие из-под грязной, подоткнутой рясы. Он всматривался все пристальней, затуманил дыханием свое отражение и вытер зеркало рукавом. Потом снова преклонил колени и смотрел долго, не отрываясь. Он разглядывал свои ввалившиеся глаза, кожу, туго обтянувшую лоб и скулы, запавшие щеки. Разглядывал нос, похожий на клюв и почти такой же острый, глубокие морщины на лице, оскаленные зубы.

И, глядя на свое коленопреклоненное отражение, он почувствовал, что голова его прояснилась.

— Что ж, Джослин, — беззвучно сказал он отражению. — Что ж, Джослин, вот чего мы с тобой достигли. Все это началось, когда мы были повергнуты. Кажется, вскоре после того, как зашевелилась земля. Мы можем вспомнить, что произошло с тех пор, а все, что было раньше, подобно сну. Все, кроме видения.

Он встал и начал беспокойно топтаться на месте. Внизу вечер тронул зеленью края чаши. А

потом они почернели, бесшумные тени залили чашу, и он не заметил, как пришла ночь, зажигая на небе бледные звезды. Вдали он увидел огонь и решил, что это горит стог сена; но, обходя конус, он заметил, что по краям мира пылают еще костры. И его охватил ужас, он понял, что это костры Ивановой ночи, зажженные на холмах поклонниками сатаны. В долине Висячих Камней ярко пылал огромный костер. Джослин вскрикнул, но теперь им владел не страх, а скорбь. Он вспомнил своих праведников и понял, почему они бросили работу и куда ушли. И он закричал со злобой, неведомо кому:

— Они праведники! Я утверждаю это!

Но то был лишь порыв чувства. А в глубине души он знал все. «Вот еще один урок. Урок, достойный этой высоты. Кто мог знать, что и это предопределено? Кто подумал бы, что здесь, на этой высоте, мой каменный чертеж молитвы поднимет крест и вступит в единоборство с огнями диавола?»

И тут в его голове снова появились строители и та, чьи ноги оставляли золотые следы, и он горько заплакал, сам не зная о чем, быть может, о грехах всего мира. А потом слезы высохли, и он сидел, тоскливо глядя вдаль, где плясало пламя

зловещих костров.

Понемногу он снова обратился мыслью к собственной жизни. «Если Давид не мог построить храм, потому что руки его были обагрены кровью, что же сказать о нас, обо мне?» И перед глазами у него встало ужасное крещение, и он вскрикнул; а потом, едва он от этого избавился, целое воинство воспоминаний двинулось на него. Бессильный остановить их, он смотрел, как они множатся. Словно фразы, они складывались в повесть, и, хотя кое-что оставалось недосказанным, все же повесть говорила о многом. Это была повесть о ней, и о Роджере, и о Рэчел, и о Пэнголле, и о мастеровых. Он смотрел вниз, сквозь стремянки, сквозь перекрытия, сквозь свод, туда, где зияла яма, словно могила, вырытая для какого-нибудь именитого человека. Зловещие костры, на которые он уже не обращал внимания, плясали по всему горизонту, а его словно сковало льдом. Он вспоминал, как сидел там, внизу, глядя в пол, и среди пыли и мусора на ногу ему легла веточка с бурой бесстыдной ягодой.

И он прошептал в темной высоте:

— Омела!

Наконец он снова попытался молиться; но явилась она, оставляя за собой золотую путаницу

следов, голова ее упала на грудь, платье развевалось, а зловещие костры плясали вокруг них обоих. Он простонал в ужасе:

— Меня околдовали.

Он стал спускаться, то и дело останавливаясь, не видя стремянки под ногами; и недосказанная повесть пылала у него перед глазами, а каменные плиты пола, которые теперь снова лежали меж опорами, жгли ему ступни адским пламенем.

Глава девятая

Теперь он уже не смеялся вместе со строителями, а только увещевал их. Он заметил, что, хотя они не могли видеть ангела и не ощущали его присутствия, ангел все же нес утешение и для них; так наступил и минул август, и шпиль был почти готов. Теперь дули ветры, и в эти дни утешение, которое приносил ангел, стало необходимым для строителей. Однажды в августе с юго-запада налетела гроза, и под ее натиском шпиль качался, как мачта, но согнувшиеся опоры все же выдержали. Во время этой грозы отец Адам сказал Джослину, что леди Элисон больше не будет писать ему писем, а скоро приедет сама.

Гроза не прошла бесследно. Она оставила после себя переменчивую погоду, дождь, солнце и снова дождь, а в сентябре, когда нужна была всего неделя ясной погоды, чтобы закончить работу, открылось небо такой беспредельной глубины, что это казалось знамением: когда придет гроза, ярость ее будет столь же беспредельна. Мастеровые все время ссорились, проклинали каменный шар, и ветер рвал на них одежду; а Джослин устремлял взгляд вдоль унылых излучин реки

в сторону моря, надеясь увидеть Священный Гвоздь; ему уже чудилось, что Гвоздь, сияющий и всемогущий, явился из пышного Рима, где все еще пребывал епископ. Он подумал, что погода, видимо, знает об этом и торопится, потому что небо начало осыпать их дождем, словно побивая камнями, и вымокшие строители даже не мерзли — струи воды обжигали их. В эту непогоду, когда ветер трепал плащи, задирая полы выше голов, они поставили на место каменное яблоко. Шпиль весь содрогался, а люди два дня разбирали леса и оставили лишь несколько подмостей, чтобы водрузить крест и у подножия креста — ковчежец с Гвоздем. В первый из этих двух дней Джослин увидел Гвоздь в пятнадцати милях от собора — длинная процессия тянулась от деревни к деревне. Но еще до вечера облака окутали шпиль, и Джослин уже не видел процессии и Визитатора. Он не переставал увещевать строителей, а дождь хлестал по его голым ногам, и ветер трепал рясу. Когда все было готово, они толпой повалили по шатким стремянкам вниз, в теплоту башни. Джеан расставил всех по местам и каждому дал кувалду. Стало тихо, люди стояли у клиньев, держа кувалды наготове, а Джеан внимательно оглядел всю снасть.

Наконец он повернулся к Джослину:

— Нужны еще люди.

— Так бери их.

— Но откуда?

Они замолчали. Немой что-то мычал пустым ртом. Джеан посмотрел на ворот.

— Надо кончать, не то поздно будет.

Он подошел к вороту, убрал стопор, повернул рукоять на пол-оборота, потом остановил ворот и прислушался, обратив ухо к деревянному срубу внутри шпиля, уходившему вверх на сто пятьдесят футов. Канат, захлестнувший нижний венец, намертво скреплял клинья, которые несли на себе всю тяжесть сруба.

— Бейте по клиньям. Легонько!

Кроме стука кувалд, не слышалось ни звука. Джеан снова повернул рукоять на пол-оборота.

— Ну-ка, еще разок.

Он обошел башню, похлопывая рукой об руку.

— Не знаю. Право слово, не знаю. Почему его самого здесь нет, этого ублюдка?

И тут ворот загудел, канат сорвался. Деревянный сруб словно треснул, треск перешел в пронзительное верещание: венец подался вниз, и клинья разлетелись во все стороны, как сливовые косточки от щелчка. Бревна легли на приготов-

ленное для них основание с грохотом, который был оглушительней грома и больно ударил в уши; башня ходуном заходила под ногами. Джослин упал на колени, сквозь гул и грохот он слышал, как строители с ревом бросились вниз по стремянкам, давя друг друга. Конус весь корчился, летели щепки, пыль, каменные осколки. Деревянный сруб над головой извивался, растягивался, трещал. Джослин стоял на коленях, прикрываясь руками, а дерево уже только постанывало да изредка взвизгивало. И наконец остался лишь шум ветра, но теперь ветер мог играть на новых инструментах и настраивать их. Они отзывались не в лад на каждое колебание шпиля.

Он выпрямился, все так же стоя на коленях. «Еще совсем немного, и я обрету мир, — подумал он. — Надо принести Гвоздь».

Он отыскал стремянку и стал спускаться.

Но он не обрел мира, даже когда спустился с винтовой лестницы. Канат ослаб, и в то же время он почувствовал, как затянулась другая петля. Эта петля сдавила ему грудь. Он подумал: «Мне все ясно. Теперь надо опередить диавола. Мы оба бежим что есть мочи к последней черте. Но я буду первым».

Он постоял у опор. Прислушавшись, он по-

чувствовал, что петля туже стянулась на груди, потому что услышал, как зверь ощупывает лапами окна, пытаясь проникнуть в храм. И зверь уже не один. Имя им легион. Они окружили собор, пробовали двери и окна, словно готовились к решительному приступу. Джослин понял, что надо спешить, и бросился в аркаду. Но там беспорядочной толпой стояли каноники, они встретили его громкими возгласами.

— Где Он?

Но ему не дали святыню, его обступили, принялись теребить, говорили и даже кричали что-то бессмысленное. Кто-то одернул на нем рясу, так что она вновь прикрыла голые ноги. Он чувствовал, что ему приглаживают волосы, и понял, чего они хотят. Он закричал на них:

— Подайте мне Его, иначе я не скажу ни слова!

Сразу стало тише, лишь с другого конца аркады доносилось пение мальчиков, и теперь он оглядел высших духовных особ, викариальных певчих и священников. «Они такие же, как армия Роджера, — подумал он. — Только трусливей».

Бесы шептались на вершине кедра.

И тогда отец Безликий подал Джослину Его в серебряном ковчежце, и Джослин принял Его, преклонив колени, и вместе с ним преклонили

колени еще какие-то люди. А Джослин прижал Его к петле, стиснувшей грудь, поспешил на хоры и возложил Его на престол, где Он ярко воссиял в ковчежце, и вокруг Него зазвучало пение, хотя слов расслышать было нельзя. И он сказал Гвоздю: «О, поспеши!» — зная, что обретет мир в тот миг, когда Гвоздь будет вбит. И он вернулся назад, туда, где его ждали. Он оглядел их, чувствуя, как петля стискивает грудь, и увидел множество новых лиц, или нет, лица были те же, просто теперь он видел их по-иному. Весь этот год они копошились здесь, внизу. И новые чувства соединили их в пары и троицы. Их головы не были скорбны, как у него (а бесы скулили вокруг собора), они были полны жалких, крошечных мыслишек, с которыми им так легко жилось. Да и сами они тоже были крошечные и на глазах становились все меньше.

Он услышал тихий голос Ансельма.

— Пускай увидит его как есть.

Наступило молчание, и они стали меньше самых маленьких детей на хорах. А потом все эти малыши задвигались. Шаркая ногами, они расступались, но лица их все время были обращены к нему, словно они хотели заглянуть ему в голову. Они выстроились в два ряда, оставив перед ним

проход, и этот проход упирался в высокую дверь залы капитула. Джослин взглянул на дверь. Он подумал: «Визитатор поймет, что я стал мастеровым, каменщиком, плотником поневоле».

Они отворили перед ним одну створку двери, и он вошел. Переступив порог, он остановился и посмотрел на окна, по которым шарили бесовские лапы. Но он знал, что, если бесы и проникнут сюда, это не страшно. Теперь он мог оглядеться; за длинным столом, заваленным грамотами, восседал Визитатор и его помощники — семеро обычного человеческого роста. Джослин приблизился, встал на колени возле свидетельского места и назвал себя:

— Джослин. Настоятель кафедрального собора Пречистой Девы Марии.

Все семеро смотрели на него. Два писца с перьями наготове подняли головы. Сам Визитатор привстал и подался вперед, опершись руками о стол. Это был смуглый человек с резкими чертами лица, с косматыми бровями и глубоко посаженными глазами. На нем было просторное, черное с белым одеяние. С минуту он рассматривал Джослина, потом движением руки пригласил его сесть. Джослин встал с колен и поклонился, семеро тоже встали и поклонились все разом,

словно набежала волна. Потом все сели, и Джослин тоже сел; он сидел молча и видел, как их головы сдвинулись, как они кивают друг другу и переговариваются.

Наконец Визитатор снова повернулся к нему:

— Это не дознание, милорд. Но может быть, вы…

— Спрашивайте что угодно, я готов отвечать.

— Я был в этом уверен.

Визитатор вдруг улыбнулся. «Он все понимает, — подумал Джослин, а петля давила ему грудь. — Он на моей стороне, и притом он обыкновенного роста».

Визитатор заговорил снова:

— Этот предваряющий разговор, быть может, упростит дело.

«Упростит дело, — подумал Джослин. — Что ж, если он хочет этого, я готов».

— Меня считают сумасшедшим.

И снова наступило молчание, а он заглянул внутрь себя и не стал противиться. Он торжественно кивнул Визитатору:

— Может быть, так оно и есть.

Головы снова сдвинулись. «Нет, — подумал он, — ничего я не упростил, а только усложнил». Он застонал, ощупал свою голову и нашарил

что-то в волосах. Это была закрученная стружка, он растянул ее, порвал и отшвырнул прочь. За столом все бормотали, один из писцов кивнул, встал, слегка поклонился и вышел.

Визитатор сказал мягко:

— Мы составили перечень вопросов, которые извлечены из доношений и свидетельств.

— Из доношений? И свидетельств?

— Разве вы не знали? Некоторые получены еще два года назад!

Он мысленно оглянулся на два минувших года.

— Я был занят.

Теперь Визитатор уже не скрывал улыбки.

— Мне кажется, некоторые вопросы не совсем справедливы, скажем, вот этот — о свечах.

— О каких свечах?

Визитатору подали грамоту, и он принялся ее рассматривать. В голосе его зазвучало любопытство.

— Писавший это, надо полагать, считает, что Матери Церкви нанесен сокрушительный удар тем, что два года ее чада не возжигали свечей в нефе собора.

— Ансельм!

— Это ваш ризничий, не так ли? Надо полагать, немалую часть своих доходов он извлекает из

продажи свечей. Но разумеется, им руководило не это, а нечто более возвышенное, духовное. Да. Отец Ансельм, ризничий собора Пречистой Девы Марии. Обладатель личной печати.

— Ансельм!

(А он удалялся, становился все меньше, исчезал в длинном коридоре…)

— Милорд настоятель. Может быть, дело станет яснее, если вы признаете или отвергнете некоторые общие… обвинения.

— Я же сказал, что готов отвечать.

— Тогда приступим, милорд.

Визитатор стал переворачивать листы. Джослин ждал, прижав руки к груди, и смотрел на вереницу сандалий под столом. Визитатор поднял глаза:

— Признаете ли вы, что в этом храме без надобности перестали ткать, как здесь сказано, «великолепный узор хвалы Господу»?

Джослин с готовностью кивнул:

— Это правда. Сущая правда! Истинная правда!

— Объяснитесь же.

— Перед тем как начать строить шпиль, мы постарались отгородить восточную часть храма и совершали богослужения в капелле Пресвятой Девы.

— Так обыкновенно и поступают.

— И до времени богослужения не прерывались. Но только вскоре люди почуяли опасность. Когда опоры начали петь, а потом согнулись, никто из причта и из мирян уже не хотел там молиться.

— Значит, потом богослужения в храме не совершались?

Джослин быстро поднял глаза и простер вперед руки.

— Совершались. Если вы вникнете во все сложности, то поймете… Ведь я все время был там. И это как бы заменяло богослужения. Я был там, и они тоже, к вящей славе храма.

— Кто они?

— Строители. Конечно, их становилось все меньше, но некоторые остались до конца.

Визитатор ничего не сказал, но Джослин почувствовал, что его понимают, и продолжал поспешно:

— Я не знаю, чьи имена и печати, кроме одной, стоят на этих грамотах, и жалобы известны мне лишь в самом общем смысле. Знаю только, что я искал людей с неколебимой верой и звал их за собой, но не нашел ни одного.

Он видел, что Визитатор не ожидал такого ответа и доволен им. Глядя на его дружелюбное

лицо, Джослин вдруг почувствовал неудержимое желание объяснить все до конца.

— Люди поступали по-разному. Одни сбежали, другие остались, третьи были обращены в камень. Пэнголл…

— Да. Пэнголл…

— Она вплетена повсюду. Она умерла, а потом воскресла у меня в голове. Она и сейчас там. Я не могу от нее отделаться. Раньше она не жила, то есть жила, но не так, все было совсем по-другому. И о нем я должен был бы знать раньше, понимаете, извлечь это из-под свода, из подвалов моего ума. Но конечно, все это было неизбежно. Как и деньги…

— Да, поговорим о деньгах. Это ваша печать? И вот это?

— Кажется, моя. Да.

— Вы богаты?

— Нет.

— Как же все это будет оплачено?

— Точно так же, как Он укрепил опоры и ниспослал нам Гвоздь.

И снова потусторонняя песня, провал в памяти, давящая громада… Он равнодушно смотрел, как, бесшумно ступая, вернулся писец и к свидетельскому месту рядом с ним приблизился

отец Безликий. Он слышал, как бесы скребутся и стучат в окна. Лихорадочно напрягая мозг, он соображал, как бы поскорее подняться на шпиль и опередить их.

— Милорд, пока мы тут разговариваем, шпиль может рухнуть. Позвольте мне отнести Его и вбить!

Визитатор пристально смотрел на него из-под густых бровей.

— Вы думаете, если не будет гвоздя, шпиль может…

Джослин поспешно поднял руку и остановил Визитатора. Нахмурясь, он пытался уловить песню, которая дрожала так близко, на грани памяти, но она растаяла, и Ансельм тоже растаял. Джослин поднял глаза на Визитатора, который со странной улыбкой откинулся на спинку стула.

— Милорд настоятель, право, я восхищен вашей верой.

— Моей?

— Вы говорили о женщине. Кто она? Пресвятая Дева?

— Нет! Отнюдь! Никоим образом. Это жена его, Пэнголла. Понимаете, с тех пор как я нашел ягоду омелы…

— Когда это было?

Вопрос был острым и твердым, как грань камня. Он видел, что все семеро замерли и смотрят на него пристально, серьезно, словно судят его.

«Вот оно что, — подумал он. — И как это я сразу не понял? Меня судят».

— Не знаю. Забыл. Очень давно.

— Вы сказали, что некие люди были «обращены в камень». Как это понять?

Он обхватил голову руками, закрыл глаза и стал раскачиваться из стороны в сторону.

— Не знаю. Для этого нет слов. Столько сложностей…

Наступило долгое молчание. Наконец он открыл глаза и увидел, что Визитатор снова откинулся назад и дружелюбно улыбается.

— С вашего позволения, милорд настоятель, мы продолжим. Эти люди, которые остались с вами до конца… Вы утверждаете, что они праведники?

— О да!

– Праведники?

— Истинные праведники, уверяю вас!

Но на длинном столе уже переворачивались листы. Визитатор взял один и начал читать бесстрастным голосом:

— «Убийцы, головорезы, разбойники, смутья-

ны, насильники, явные прелюбодеи, содомиты, безбожники и гораздо худшие злодеи».

— Я… Нет, нет!

Визитатор смотрел на него поверх листа.

— И это праведники?

Джослин стукнул себя кулаком по левой ладони.

— Они отважные!

Визитатор вдруг недовольно засопел. Он бросил лист поверх кучи других.

— Милорд. Как все это понять?

Джослин благодарно ухватился за этот прямой вопрос.

— Сначала все было так просто. Люди способны видеть в этом лишь позор и безумие — они называют это «Джослиновым безумством». Но мне было видение, ясное и непреложное. Все было так просто. А дальше начались сложности. Сначала только зеленый росток, потом цепкие усики, побеги, ветки, и наконец все поглотила суета, и я не знал, что мне делать, хотя готов был принести себя в жертву. А потом он и она…

— Расскажите о видении.

— Оно записано у меня в книжке, эта книжка в сундуке, на самом дне, в левом углу. Если нужно, можете прочитать. Скоро я произнесу пропо-

ведь… в соборе, на средокрестии будет новая кафедра, и тогда все…

— Вы хотите сказать, что видение побудило вас строить шпиль, сделало это неотвратимым?

— Да, именно.

— И это видение… или, может быть, следует назвать его откровением?

— Я не учен. Простите.

— И это видение неизбежно повлекло за собой все остальное?

— Именно так, именно.

— Кому вы в этом исповедались?

— Своему духовнику, разумеется.

Бесы, хоть и незримые, были тут, за окнами. Джослин с нетерпением посмотрел на Визитатора.

— Милорд. Пока мы здесь…

Но Визитатор поднял руку. Писец на левом конце стола объяснил:

— Это Ансельм, милорд. Ризничий.

— Тот самый, который так печется о свечах? Это он ваш духовник?

— Он был моим духовником, милорд. И ее. Вы только представьте себе, как это тяжко — знать и не знать!

— Но потом вы сменили духовника? Когда?

— Я… Нет, милорд.

— Стало быть, он и сейчас ваш духовник, если только вы вообще исповедуетесь?

— Да. Пожалуй.

— Милорд настоятель, когда вы в последний раз были у исповеди?

— Не помню.

— Месяц назад? Год? Два?

— Я же говорю, не помню!

Вопросы давили и сковывали его, неправые вопросы, на которые не было ответа.

— И все это время вы чуждались равных вам по духу и жили среди людей, которые, сколько нам известно, погрязли в грехах?

Этот вопрос встал перед ним, как огромная гора. Он увидел, на какую высоту должен взобраться его ум по шатким стремянкам, чтобы дать ответ, и приготовился снова лезть наверх. Он встал, подхватил правой рукой подол рясы, пропустил его между ногами, скрутил жгутом и заткнул за пояс.

Все семеро тоже встали. Но они были недвижны в сравнении со святыми, которые с грохотом прыгали на окнах.

Визитатор медленно сел. Он снова дружелюбно улыбался.

— Вы измучены трудами, милорд. Мы продолжим наш разговор завтра.

— Но пока мы тут теряем время, там, за окнами, они…

— Властью, данною мне этой печатью, я приказываю вам удалиться к себе.

Он сказал это ласково и мягко, но, когда Джослин взглянул на печать, он сразу понял, что ответить нечего. Он повернулся, и семеро поклонились ему, но он сказал себе: «Теперь уж незачем кланяться!» Он шел по звонкому мозаичному полу, и отец Безликий не отставал от него ни на шаг. Дверь затворилась, а в аркаде стояли равные ему по духу. Они подросли немного, но все-таки были совсем маленькие. Он прошел через их ряды, провожаемый взглядами, и сразу забыл о них.

У западной двери он прислушался и вгляделся, стараясь понять, что творят бесы со стихиями. Бесы вырвались на волю или вот-вот вырвутся, но все равно они уже сделали свое дело. Ветер перешел с юго-востока на восток, и по эту сторону собора, у стены, было затишье. Струи дождя не хлестали здесь, вода падала лишь из водостоков, извергалась из каменных ртов и заливала мощеную дорожку у ступеней. Но несмотря на этот

потоп, небо было высокое и светлое, нити облаков словно переплетались друг с другом. Дождь шел не из видимых облаков. Он словно рождался из воздуха — как будто воздух был губкой, из которой во все стороны брызгала вода.

Отец Безликий был рядом.

— Пойдемте, милорд.

Плащ окутал плечи Джослина.

— Надвиньте капюшон, милорд. Вот так.

Локоть ему сжали, спокойно, уверенно.

— В эту сторону, милорд. Сюда.

Когда они отошли от стены, ветер набросился на них и погнал к дому. Они поднялись в спальню Джослина, он сбросил плащ на руки священнику и застыл на месте, глядя в пол. Петля все так же стягивала ему грудь.

— Я не засну, пока дело не завершено.

Он повернулся к окну и увидел, что дождь хлещет в стекло как из ведра. Он чувствовал, как за спиной его ангел борется с диаволом.

— Ступайте сию же минуту. Скажите им, что нужно вбить Гвоздь немедля, иначе будет поздно. Я должен опередить…

Он закрыл глаза и сразу почувствовал, что не может молиться. Снова открыв глаза, он увидел, что отец Безликий мешкает.

Он резко приказал ему идти.

— Вы пока еще обязаны мне повиноваться. Ступайте!

Когда он опять поднял глаза, маленький священник исчез. Он принялся шагать из угла в угол. «Как только я вобью Гвоздь, — подумал он, — шпиль и ведьма перестанут меня преследовать. Быть может, когда-нибудь я узнаю, как она была порочна, да, порочна. Но сейчас главное — шпиль!.. И Гвоздь».

Он подошел к окну, но ничего не увидел сквозь капли, которые прыгали, метались по стеклу и вдруг исчезали, словно чья-то рука срывала их оттуда. Он ждал известий, но никто не приходил. «Я назвал себя дураком, — подумал он, — и даже не подозревал, как я прав. Надо было пойти самому — зачем я здесь?» Но он все стоял у окна, стиснув руки, шевеля губами, а там, снаружи, ползли сумерки и ревел ветер. Когда прямоугольник окна потускнел, он почувствовал, что ноги уже не держат его; тогда он лег на кровать, не раздеваясь, и ждал. Вдруг он услышал грохот и треск где-то над крышей своего дома и подскочил. Больше он не мог лежать, а приподнялся на локте в густой темноте и вслушивался. Сто раз он видел, как шпиль рушится, сто раз слышал, как

он рушится, а потом гроза врывалась и начинала бушевать в нем, разламывая голову. Он пробовал задремать, но не мог отличить сон от яви — все было кошмаром. Он пробовал думать о другом, но лишь убедился, что шпиль прочно стоит у него в голове и ни о чем ином он думать не может. Иногда ветер ненадолго стихал, и сердце его вздрагивало от радости, но ветер налетал снова и бил в окно, как тяжелый молот, а потом рев его стал непрерывным.

Джослин задремывал и пробуждался. Среди ночи в окно ворвался ослепительный свет, и он весь сжался в комок, но гром потонул в реве ветра. А потом что-то снова грохотало над крышей и сыпалась черепица. Он подумал, что если будет смотреть в окно, то при вспышке молнии увидит, цел ли шпиль, сполз с постели и подошел к окну. Но когда снова вспыхнула молния, он увидел лишь, что окно выходит совсем не туда, куда надо; тогда он повернулся и наконец разглядел темный четырехугольник. Он придвинулся к окну вплотную, прижался к стеклу лицом, вслушиваясь в клокотание воды, и тут снова вспыхнула молния. Вспыхнула и мгновенно погасла. Она полоснула болью по глазам, и, даже когда он закрыл лицо руками, свет померк не сразу, переходя в зеленое

зарево. Он знал, что громада, которая высилась среди света, — это башня, но не мог сказать, какой она формы, накренилась ли она и есть ли на ней шпиль. Он ощупью добрался до кровати и лег. Он лежал ничком и, отгоняя все прочие мысли, старался думать о давних временах, когда он был счастлив, — о временах, проведенных на солнечном берегу моря с отцом Ансельмом, который наставлял послушников, или, вернее, одного послушника; а потом он снова встал и долго стоял у окна. Но теперь молния вспыхнула далеко за собором, и ему показалось, будто вся черная бесформенная громада устремилась прямо на него. Тогда он снова лег и сам не знал, забылся ли он сном или просто лишился чувств.

Он выбрался из глубокого колодца. Над колодцем, как пелена, висел глухой шум; но не это заставило его подняться наверх. Раздавались еще и другие звуки — пронзительные крики, похожие на птичьи. И он вдруг проснулся и понял, где он, а в комнате плавал невыразимо тусклый свет. Крики доносились с лестницы. Он скатился с кровати и бросился к дверям.

— Я здесь! Мужайтесь, дети мои!

Но голоса рыдали и взвизгивали:

— …ныне и в смертный час…

— Отец!..

Он крикнул с лестницы:

— Вам не будет вреда!

Какие-то руки хватали его за ноги, тянули за подол рясы.

— Город рушится!

— …всю крышу дома на кладбище, и разнесло вдребезги…

Он крикнул сверху:

— А шпиль?

Руки ползли все выше по его телу, чья-то борода ткнулась ему в лицо.

— Он рушится, преподобный отец. Еще с вечера от парапета отваливались камни…

Он попятился, метнулся к окну и стал бессмысленно скоблить пальцами тусклую муть, словно мог стереть ее, как краску. Потом он снова выбежал на лестницу.

— Сатана вырвался на волю! Но вам вреда не будет!

— Помоги нам, преподобный отец! Молись за нас!

И тогда в серой мгле, среди мелькания рук и рева ветра, он понял, что должен сделать. Он ринулся вперед, растолкал всех, вырвал подол рясы, стряхнул руку со своего локтя. И вот он

уже на свободе, а под ногами у него каменные ступени. Он добрался до прихожей, до двери со щеколдой. Он ощупью поднял щеколду, и дверь с грохотом распахнулась, отшвырнув его назад, к дальней стене. Тогда он пополз стороной, прячась от ветра, и с трудом встал на пороге. Ветер снова отшвырнул его, он ударился о стену и распластался на ней, тяжело дыша. А потом поднялся, шагнул вперед, но ветер снова набросился на него и снова выпустил, и тогда он упал на четвереньки; он промок до костей, словно окунулся в реку. Смутная мысль, что теперь он трудится точно так же, как строители, мелькнула у него, и он рванулся по дорожке к кладбищу. Горсть осколков ударила в лицо, обжигая, как крапива. Он укрылся за холмиком с деревянным крестом; ряса хлестала его по ногам, и он заткнул подол за пояс. Откуда-то сорвалась доска и ударила его в бедро, причинив жестокую боль.

Он приподнял голову над спасительным холмиком и вгляделся в серый туман: и в этот миг сатана в образе дикой кошки, огромной, как вселенная, припав у горизонта на все четыре лапы, прыгнул с северо-востока и с визгом обрушился на Джослина и на его безумство. Плащ лопнул у ворота и улетел прочь, трепеща черными кры-

льями, как ворон, но Джослин крепко держался за крест. Он решил перехитрить дикую кошку, подождать, пока она притомится. А потом он пополз от могилы к могиле, хватаясь за кресты и укрываясь за холмиками, добрался наконец до самого надежного укрытия — западной стены собора, скользнул за дверь и привалился к ней спиной, хватая ртом воздух. В первый миг ему показалось, что собор полон людей. Но потом он понял, что огоньки свечей плывут лишь у него в глазах, а пение — это голоса всех бесов, вырвавшихся из ада. Они кишели в темной вышине, стучали, гремели, бились в окна, одержимые неистовой яростью, и под их ударами большое окно над западной дверью трещало, как парус. Они кидались на Джослина, но он обращал на них не больше внимания, чем на простых птиц, потому что уже не был себе хозяином, а, повинуясь иной воле, бодрствовал и спал одновременно. «У-у! У-у! — завывали они. — А-а-а-а! А-а!» — и хлестали его чешуйчатыми крылами, а потом взмывали и бились о поющие опоры, об окна и свод, который весь содрогался; его ноги бежали через полутемный неф, и он слышал, как кто-то, быть может, он сам, вторит этим жутким крикам. Он слышал, как стонали аркады, напрягая свои

каменные плечи. Когда он добежал до покинутого престола, разъяренные бесы стали прыгать на него с купола. Он нашарил на престоле серебряный ковчежец и грубо схватил его, как будто там был самый обыкновенный гвоздь. В одном трансепте что-то грохнуло, загремели и задребезжали камни, а из другого трансепта донеслись удар и льдистый звон стекла. У винтовой лесенки бесы набросились на него, но он отбился от них Гвоздем. Он лез наверх, и сердце рвалось у него из груди, глаза же, пока он добрался до основания башни, почти ослепли от плясавших перед ними ярких огней. И уши оглохли, потому что тихие сетования шпиля превратились в крики, вопли и рев торжествующего сатаны, они, словно черный туман, поглотили весь мир. Камни и бревна уже не просто покачивались. Они кренились так, что его швыряло из стороны в сторону, и он цеплялся за стремянки, как моряк за мачту. Где-то рядом, сквозь рев, что-то непрерывно трещало и падало. В деревянной клетке на верху башни пол был густо усеян каменными обломками, и по этим обломкам он добрался до первой стремянки внутри шпиля. Слева от себя он увидел, как один из бесов медленно разевает и захлопывает серую пасть рассвета. А потом он в темноте, зигзагами, взби-

рался по стремянкам — конец одной был оторван и повис в воздухе, другая согнулась и гудела, как струна. Сквозь тьму сыпались осколки, они царапали и кололи его, ангел жег и давил ему спину, а он, завернув ковчег в подол рясы, лез все вверх, вверх, в тесноту каменной трубы, и чувствовал, как бревна бьются о каменную кожу, а потом наконец втиснулся в последнее пространство, где все кончалось, ощупью открыл ковчежец, сорвал покров, уперся локтем и коленом, зажал Гвоздь между пальцами по-плотницки и стал бить по нему непрочным серебряным ковчежцем, вгоняя его в дерево вслепую, на ощупь, и все бил, бил…

Грохот, который бушевал на шпиле, и самый шпиль исчезли из его головы. Джослин выронил ковчежец и не слышал, как он падал, прыгая из стороны в сторону. Он начал медленно спускаться со ступени на ступень. Хватаясь за перекладины, он чувствовал, как дрожит его рука, и, не в силах унять эту дрожь, припадал к стремянке всем телом. До винтовой лесенки он добрался уже ползком.

Неф по-прежнему был во власти бесов, зато шпиль стал теперь для них недоступен. Но сам Джослин чувствовал себя беззащитным. Ангел покинул его, и диавольское обольщение стиски-

вало его, словно горячая рука. Он чувствовал, что погружается в бездонные воды сна, и не в силах был этому противиться. Он сполз с лестницы в серую полутьму галереи, лег ничком на растресканные камни, и все вокруг словно осиял тихий свет. Бесы уже не визжали, а пели. Они пели тихо и не знали милосердия. И в его голове они обернулись людьми.

Он сказал растресканным камням:

— Я вбил Гвоздь. Если бы не было Гвоздя, вы могли бы обрушиться!

Но бесы потихоньку окружили его и явили ему видение, которое приближалось к нему со всех сторон. Он вдруг увидел залитый светом двор собора, где в тени вязов густо росли маргаритки. Там плясали бесы, три бесенка в образе маленьких, прелестных девочек. И он сам приблизился к ним, ступая по длинной полосе тени. Они плясали, хлопали в ладоши и пели:

Не было гвоздя – подкова пропала,
Не было подковы – лошадь захромала,
Лошадь захромала – командир убит,
Конница разбита – армия бежит,
Враг вступает в город, пленных не ща-

дя...[27]

И он услышал свой собственный веселый и еще молодой голос, который подхватил:

– *Потому что в кузнице не было гвоздя!* Поди сюда, дитя мое.

Она приблизилась к нему по зеленой траве, а остальные два бесенка исчезли, и он стоял, глядя на нее, восхищенный ее невинностью и красотой. Он услышал свои ласковые, робкие слова, полные недоумения, увидел, как она нетерпеливо переминается, прячет руки за спину, и ее рыжие волосы встрепаны, и она почесывает ногой тонкую ногу, услышал, как она ответила в своей беспредельной наивности:

— Да ведь мы же просто играем, отец мой!

Над этим неземным миром синело ясное небо, здесь царило смирение и не было греха. Она шла к нему, обнаженная, распустив рыжие волосы. Она улыбалась и мычала пустым ртом. И он знал, что это мычание объясняет все, исцеляет всякую боль и ничего не оставляет сокрытым, потому что в этом — сущность неземного. Он не видел бесовского лица, потому что и в этом тоже была сущность неземного, но он знал, что она здесь и

---

[27] Примечания: 27
Из детской песенки «Гвоздь и подкова». *Перевод С. Маршака.*

устремляется к нему всем своим существом, как и он к ней. Его захлестнула волна невыразимой нежности, и волны набегали одна на другую, и с ними пришло искупление.

А потом все исчезло.

Глава десятая

В себя он приходил медленно. Щека его лежала на растресканных камнях, и некуда было спрятаться от дневного света. Но даже открыв глаза, он долго не мог пошевельнуться, только взгляд не был скован. Он послал взгляд вдоль длинной галереи и отыскал знакомую могильную плиту. Он стал внимательно рассматривать ее дюйм за дюймом, словно хотел заполнить время, боясь, как бы его не заполнило что-нибудь худшее. Но это не помогло, и ничто не могло помочь. В конце концов, беспомощный и покинутый, он оказался во власти своего прозрения, как в тисках.

Только теперь он заговорил:

— Ну конечно. Я должен был знать. Должен был понять.

В соборе раздался шум — где-то стукнула дверь, послышались голоса. Он встал и заковылял к средокрестию. У опор он услышал крики. Подбежали два сторожа, за ними поспешал отец Адам. Джослин ждал священника, уронив голову и руки.

— Чего от меня хотят?

— Пойдемте. Она ждет.

— Она?

Но, спросив это, он сразу вспомнил, что она умерла; а ждет Элисон, которая во что бы то ни стало хочет покоиться в соборе.

— Я поговорю с ней. Наверное, она кое-что знает. В конце концов, в этом была ее жизнь.

Они вместе прошли через неф, и сторожа не отставали от них. В углу, где он обычно видел ее, кто-то стоял, и сердце его дрогнуло; но это был немой юноша, теперь он даже не мычал. Джослин знал, что позор покрыл и немого, поэтому он отвернулся к двери, куда его вели.

На дворике, перед своим домом, он остановился.

— Мне еще можно войти?

— Да, это разрешено. Пока.

Он кивнул и поднялся по знакомым ступеням. Но зала переменилась, как переменилось многое. В камине пылал огонь, повсюду горели восковые свечи, как на алтаре, у камина лежал ковер и стояли два стула. Джослин едва различал стулья, потому что свечи слепили ему глаза, и он подумал о том, как похожи эти свечи на яркие огни, которые иногда плыли перед его глазами. Но все равно у него не было времени рассмотреть все перемены, потому что на стуле, по другую сторону камина, сидела женщина и другие женщины

стояли у нее за спиной. Когда он подошел к ковру, она встала, преклонила колени и, поцеловав ему руку, тихо сказала:

— Преподобный отец! Джослин!

А потом вдруг вскочила, обернулась к остальным и затараторила:

— Горячую воду, полотенца, гребень…

Он поднял руку и остановил ее:

— Это ни к чему.

Помолчав, он взглянул на женщин.

— Пускай они нас оставят.

Тени женщин уползли прочь; когда они исчезли, она взяла руку Джослина, легонько сжала и усадила его на стул; он чувствовал левым боком приятное тепло камина. Она была маленькая, почти как ребенок, и, даже когда он сидел, ее лицо было лишь чуть выше его глаз. Она посмотрела куда-то поверх его плеча.

— Племянник, ты отошлешь своего священника?

— Нет, он останется. Я под его надзором. И все равно нам нельзя быть наедине.

Она засмеялась ему в лицо:

— Благодарю за любезность.

Но он не понял ее, да и не пытался понять. Она серьезно кивнула, словно знала это.

— Я и забыла, какой ты провинциал.

— Я?

Провинциал. Тот, кто живет в провинции, в глуши, и не видит дальше своего носа.

— Может быть.

Но он мог рассмотреть ее лицо, которое было совсем рядом, томное, почти такое же блестящее и гладкое, как жемчуга, украшавшие ее черные волосы. Ну конечно, волосы у нее черные или были когда-то черными. Он рассматривал ее тонкие выгнутые брови, заглядывал в выпуклые черные зрачки. Она засмеялась, но он с досадой остановил ее:

— Молчи, женщина!

Теперь она стояла перед ним с покорной улыбкой. Черное праздничное платье. На шее тоже жемчуга. Рука — она словно угадала его желание и поднесла руку к его глазам — пухлая и белая. Лицо, заслоненное рукой — и она, словно опять угадав его желание, убрала руку, — улыбающееся, пухлое, как и рука, чуть излишне полное. Крошечный рот, нос с горбинкой. Веки темные, блестящие, она их, наверное, красит, ресницы длинные, густые, на них повисли прозрачные капли.

— Сестра моей матери…

Улыбающееся лицо исказила гримаса, капли упали с ресниц. Но голос прозвучал легко и беспечно:

— Непутевая сестра…

Она сделала быстрое движение, и в руке у нее оказался белый лоскут.

— Пускай хоть так…

Она наклонилась к нему, и на него вдруг повеяло весной, и он зажмурился от этого дурманящего запаха. Сквозь сутолоку воспоминаний он почувствовал, как белый лоскут коснулся его лица и оставил следы на веках, почувствовал руку у себя на голове. И снова услышал ее тихий голос.

— В конце концов даже такие…

Он открыл глаза, ощущая весенний аромат, а она все возилась с ним. Теперь ее лицо было совсем близко, и он видел, какое оно изнеженное, холеное. Только вблизи можно было разглядеть на гладкой коже тоненькие лучики. Она не позволяла своему лицу ни полнеть, ни худеть сверх меры, это было видно по глубоко обозначенным бороздкам возле глаз и по спокойному лбу, который она отстояла от морщин. Она то и дело меняла выражение лица, отстаивая его, не давая ему одрябнуть, обвиснуть… Только глаза, маленький рот и нос были так несокрушимы, что

их не приходилось отстаивать. Он почувствовал смутную жалость к этому лицу, но не знал, как ее выразить, и пробормотал только:

— Спасибо, спасибо.

Наконец она оставила его в покое, перешла через ковер, унося с собой запах весны, повернулась и села лицом к нему.

— Ну, племянник?

И он вспомнил, что она приехала вовсе не для того, чтобы отвечать на его вопросы, ведь она добивается своего. Он потер висок.

— Вы писали мне насчет погребения в соборе, но я…

Она всплеснула руками и воскликнула:

— Нет, нет! Не надо об этом!

Но он уже заговорил деловым тоном:

— Теперь, вероятно, это будет зависеть не от меня, хотя пока еще ничего не известно. Отец Адам… — Он повысил голос: — Отец Адам!

— Да, преподобный отец? Я вас не слышу. Может быть, мне подойти ближе?

«Что я хотел спросить у него? Или у нее?»

— Нет, не надо.

Огонь плясал у него в глазах.

— Да нет же, Джослин! Я приехала потому, что беспокоилась… беспокоилась о тебе. Поверь!

— Обо мне? О провинциале?

— Тебя знают по всей стране. И даже по всему миру.

— Ваш прах может в некотором смысле, я прошу прощения, осквернить храм.

И тут он увидел, как мгновенно она может вспылить.

— А сам ты его не осквернил? А эти люди? Это запустение? И этот каменный молот, который висит над головой и ждет своего часа?

Он ответил кротко, глядя в огонь:

— Женщине это нелегко постигнуть. Поймите, я был избран. И с тех пор я всю жизнь искал свое предназначение, а потом исполнил его. Я принес себя в жертву. И надо судить очень, очень осторожно.

— Избран?

— Я уверен, вы получите здесь место для погребения. Но сам я едва ли согласился бы на это.

— Избран?

— Да, Богом. Ведь, в конце концов, избирает Бог. А я избрал Роджера Каменщика. Он один мог это исполнить… он — и никто другой. Остальное последовало неизбежно.

Услышав ее смех, он вздрогнул и поднял глаза.

— Слушай, племянник. Ведь это я тебя избрала.

Нет, ты послушай меня. Дело было не в Виндзоре, а в охотничьем замке. Мы с ним отдыхали в постели после трапезы…

— Но при чем здесь я?

— Я услаждала его, и он захотел сделать мне подарок, а у меня было все, чего желала душа…

— Я не хочу слушать.

— Но я была счастлива и поэтому великодушна, и в голову мне пришла мысль. Я сказала: «У моей сестры есть сын…» — Она снова улыбалась, но теперь уже печально. — Правда, я готова признать, что мною двигало не только великодушие. Она была такая набожная, постная и вечно меня… Ну ладно, пускай это было наполовину великодушие. Потому что ведь ты в нее, такой же упрямый, злой…

— Женщина… Что он на это сказал?

— Ах, Джослин, сядь, прошу тебя! Мне действует на нервы, когда ты стоишь, нахохлившись, как птица под дождем. Мне кажется, в ту минуту я немного злорадствовала.

– *Что он сказал?*

— Он сказал: «Мы сунем ему в рот лакомый кусочек». Так и сказал. Невзначай. Тогда я и говорю: «Он послушник в каком-то монастыре». И тут я захихикала, и он захохотал, и мы схватили друг

друга в объятия и стали кататься по постели — ну, скажи сам, разве это было не смешно? Мы оба были молоды. Нам это понравилось. Джослин…

Он увидел, что она стоит подле него на коленях.

— Джослин! Не все ли равно? Ведь в этом жизнь.

Он сказал хрипло:

— Все, что я сделал… — Он помолчал. — Я был уверен, что принес свою жизнь в жертву во имя великого дела. Быть может, это и есть неисповедимый путь свершения. Ведь Гвоздь у нас…

— Какой гвоздь, племянник? Ты говоришь так туманно!

— Наш епископ Вальтер прислал из Рима…

— Я знаю Рим. И епископа Вальтера.

— Ну вот, теперь вы сами видите. При чем тут я? Только шпиль имеет значение, потому что… потому что…

— Почему же?

— Это выше вашего понимания. Он прибил его к небу. Слепой глупец, я просил денег. А он сделал лучше.

«Ну вот, — подумал он. — Вот и все». Но нет, он снова услышал ее задыхающийся голос:

— Ты просил у него денег, а он прислал гвоздь!

— Именно так.

– *Вальтер!*

Она засмеялась, и смех кругами поплыл вверх, а потом у нее перехватило дыхание, и сквозь тишину в его ушах раздалось пение опор. Ни ясных мыслей, ни доводов не было в его голове; подступила дурнота, и все его тело содрогалось. А потом дурнота захлестнула его.

Он почувствовал, что она схватила его за руки.

— Джослин! Джослин! Ничего не надо принимать так близко к сердцу.

Он открыл глаза.

— Ты должен верить, Джослин!

— Верить?

— Да, да. Верь в свое… в свое призвание… и в гвоздь…

Она трясла его за плечи.

— Послушай меня. Послушай же! Я не сказала бы тебе, если б не…

— Это не важно.

— Ты что-то хотел спросить у меня. Подумай, соберись с мыслями. Что ты хотел спросить?

Он взглянул ей в глаза и прочел в них страх.

— Что может значить…

Тут он подумал, что оба они, как дети, загадывают друг другу загадки, и не мог удержать

визгливого смеха.

— Да, теперь я вспомнил. Что может значить, когда человек думает лишь об одном — и не о дозволенном, не о предписанном, но о запретном? Тоскуешь и вспоминаешь, радостно и в то же время с тайным мучением…

— Но о чем же?

— А когда они умирают… а они умирают, да, умирают… припоминаешь то, чего никогда не было с ней…

— С ней?

— Ясно видишь ее, каждую черточку, среди неземного… видишь только ее одну… и знаешь, что это неизбежно следует из той, что было прежде…

Она прошептала над самым его ухом:

— И это случилось с тобой?

— Мне нет ни минуты покоя. И в этом — неизбежность. — Он серьезно посмотрел на нее и сказал прямо ей в лицо: — Вы, конечно, это знаете. Скажите мне. Больше я ничего не хочу. Это колдовство, да? Это *непременно* должно быть колдовство!

Но она отодвинулась, отшатнулась от него, встала, перешла через ковер. И оставила за собою жуткий шепот:

— Да. Колдовство. Колдовство.

Она куда-то исчезла, а он все сидел и торжественно кивал огню.

— Это предопределено. И многое еще будет погублено. Да, многое.

Он вспомнил об отце Адаме, который стоял поодаль, в тени.

— А вы что скажете?

— Ее путь ведет прямо в ад.

Он выбросил ее из головы, и она исчезла навсегда, словно капля канула в реку.

— Повсюду суета.

Стало тихо, а потом отец Адам сказал:

— Вам надо уснуть.

— Мне теперь уж никогда не уснуть.

— Пойдемте, отец мой.

— Нет, я буду ждать здесь. Это предопределено, и не все еще кончено.

И он все сидел, глядя, как бесчисленные искры роятся над огнем. Иногда он говорил, но совсем не отцу Адаму:

— И все-таки он стоит.

Потом он начал стонать и раскачиваться. А много времени спустя вскочил и воскликнул:

— Какое кощунство!

Прошли часы, в камине остались лишь угли, и

тогда он снова заговорил:

— Есть родство меж людьми, которые хоть раз сидели подле угасающего огня и мерили по нему свою жизнь.

В окна просочился рассвет, бледнея вокруг оплывших свечей. А когда последняя искра в камине угасла, явился посланец. В нем была непоколебимость веры, он мычал и манил за собой. Джослин медленно встал.

— Отец мой, вы позволите мне пойти?

Страж тихонько покачал головой.

— Мы пойдем вместе.

Джослин потупился и уже не поднимал глаз, пока они под затихающими порывами ветра шли к дверям собора. В нефе все было без перемен, и Джослин сказал немому, не глядя ему в лицо:

— Покажи нам, сын мой.

Немой, осторожно ступая на носках, повел их к юго-восточной опоре, показал небольшое отверстие, которое пробил в ней, и так же на носках ушел. Джослин понял, что он должен сделать. Он вытащил из отверстия треугольное долото, взял с пола железный щуп и всадил его в опору. Щуп уходил все глубже, глубже и со скрежетом пронзил каменную труху, которую исполины, жившие на земле в далекие времена, засыпали

в опору.

И тут все слилось. Его душа ринулась вниз, в бездну, которая была внутри его, — туда, в бездну, отвергни или прими, уничтожь меня, обрати в камень вместе с остальными; в тот же миг тело его тоже ринулось вниз, и он коленями, лицом, грудью рухнул на камни.

И тогда его ангел простер крыла, которыми закрывал свои раздвоенные копыта, и вытянул его по всей спине раскаленным добела цепом. Жгучий огонь опалил ему хребет, и он вскрикнул, потому что не мог этого вынести и все же знал, что должен вынести. А потом чьи-то неловкие руки пытались его поднять, но он не мог сказать им про цеп, потому что всем телом обвился вокруг опор, как раздавленная змея. Тело кричало, руки силились поднять его, а Джослин лежал внизу под каменной грудой и знал теперь, что по крайней мере одна истовая молитва услышана.

Когда боль схлынула, он почувствовал, что его бережно уносят от жертвенника. Он лежал на спине, которой у него не было, и ждал. Ангел с цепом не в силах был сделать большего; нет, большего не могло принять тело, как ни жаждала этого душа. И теперь спины просто не было, пришло совершенное бесчувствие.

Его положили на кровать в спальне, и он видел над собой каменные ребра потолка. Иногда ангел покидал его, и он обретал способность думать.

«Я отдал спину великому делу.

Ему.

Ей.

Тебе, Господи».

Иногда он шептал с досадой:

— Неужели рухнул?

Человек, похожий на деревянную куклу, успокаивал его:

— Нет еще.

В один из дней голова его несколько прояснилась и пришла мысль:

— Сильно ли он поврежден?

— Я помогу вам сесть, отец мой, и вы сами увидите в окно.

Он завертел головой на подушке.

— Не хочу на него смотреть.

Стало темней, и Джослин понял, что отец Адам подошел к окну.

— На первый взгляд кажется, будто он невредим. Но он слегка накренился и угрожает аркадам. Он развалил парапет башни. Много камня разбито.

Он полежал тихо. Потом пробормотал:

— Когда снова поднимется ветер… Когда поднимется ветер…

Деревянная кукла подошла, склонилась над ним и тихо заговорила. Вблизи было видно, что у нее есть некое подобие лица.

— Не надо так тревожиться, отец мой. Конечно, вред немалый, но вы, хоть и заблуждались, строили с верой. Ваш грех невелик в сравнении с прочими грехами. Вся жизнь наша — шаткое здание.

Джослин снова завертел головой на подушке.

— Что вы знаете, отец Безликий? Вы видите только наружность вещей. Нет, вы не знаете и десятой доли.

И тут карающий ангел, который, наверное, стоял рядом с отцом Адамом, ударил снова. Когда Джослин пришел в себя, отец Адам по-прежнему был подле него и говорил так, словно никто их не прерывал:

— Вспомни о своей вере, сын мой.

«Моя вера, — подумал Джослин. — Что она такое?» Но он не сказал этого лицу, черты которого могли когда-нибудь проясниться. Он только глотнул воздуху и засмеялся.

— Хотите, я покажу вам свою веру? Она у меня здесь, в старом сундуке. Маленькая книжечка в

левом углу. — Он помолчал, перевел дух и засмеялся снова. — Возьмите. Прочитайте.

Послышался шорох, шелестение, стукнула крышка. Потом отец Адам заслонил окно и спросил:

— Вслух?

— Вслух.

«Чернила, наверное, поблекли, — подумал он. — Ансельм тогда был еще молодой, а Роджер Каменщик — совсем мальчишка. А она… И я был молодой или по крайней мере моложе».

В вечерних сумерках заскрипел голос отца Адама:

— «К тому времени я уже три года исполнял это служение, и однажды вечером я стоял на коленях у себя в молельне и изо всех своих слабых сил молил Бога избавить меня от гордыни. Потому что я был молод и преисполнен чудовищной гордыни, ослепленный блеском своего храма. Одна лишь гордыня и была во мне…»

— Это правда.

— «Мне было явлено беспредельное милосердие. В своем ничтожестве я стремился, сколько мог, возвыситься духом. Я пожелал воочию увидеть храм непреложно стоящим на моем пути; и это было тем легче, что его стены были видны

мне через окно…»

Джослин уже снова вертел головой на подушке. Он думал: «Что это объясняет? Ничего! Ничего!»

— Неужели ничего?

— «Я видел очертания крыши, стен, выступы трансептов, башенки, которые выстроились вдоль парапетов…»

— Неужели это ничего не означало, отец мой?

— «Теперь я знаю, кто и зачем направил туда мой взгляд. Но в то время я еще ничего не знал, я мог только стоять на коленях и смотреть, пока не исполнился равнодушия к тому, что видел. И вдруг сердце мое дрогнуло; должно быть, в нем поднялось некое чувство. Оно крепло, устремлялось все выше и у вершины вспыхнуло животворным огнем…»

— Это правда… верьте мне!

— «…и вдруг исчезло, а я остался, пригвожденный к месту. Потому что в синеве неба я увидел ближнюю башенку; это было истинное воплощение моей молитвы в камне. Оно вознеслось над хитросплетением суетных мыслей, и с ним вознеслось сердце, ввысь, все тоньше, острее, и на самой вершине вспыхнуло пламя, изваянное из камня, которое я только что созерцал».

— Да, так и было. Вам стоит только обернуться,

и вы увидите ту башенку.

— «Дети мои, если уже это поразило мой скудный ум, то как описать чудо, которое свершилось вслед за тем? Я смотрел и все более прозревал. Словно эта башенка открыла передо мной огромную книгу. Словно я обрел вдруг новый слух и новое зрение. Весь храм, — а я-то в безумии своей молодости хулил его за то, что он порождал во мне гордыню! — весь храм открылся мне. Весь он заговорил. „Мы труд“, — говорили стены. Стрельчатые окна складывали ладони и пели: „Мы молитва“. А треугольник крыши словно Троица… Но как это объяснить? Я хотел отречься от своего дома, но он возвратился мне тысячекратно».

— Воистину так.

— «Я бросился к дверям и вбежал в собор. А теперь я хочу, чтобы вы поняли меня до конца. Собор предстал передо мной в образе человека, возносящего молитву. А изнутри он был великолепной книгой, в которой начертано наставление для этого человека. Помню, уже наступил зимний вечер и в нефе темнело. Патриархи и святые сияли в окнах; и на всех алтарях в боковых нефах горели свечи, возженные вами. Еще пахло ладаном, и в часовнях звучали голоса священников, служивших мессу… но это вы знаете сами! Я шел

вперед — или нет, меня вел мой ликующий дух, и ликование росло с каждым шагом, и я был исполнен твердости и самоотречения. Когда я дошел до опор, мне оставалось лишь пасть на лицо свое…»

— У этих самых опор. Сколько раз с того дня я падал там ниц.

— «Потому что я как бы слился воедино с мудрыми и святыми… или нет — со святыми и мудрыми строителями…»

— Опоры гнутся!

— «Мне стал понятен их тайный язык, такой ясный, видимый всякому, имеющему глаза, чтобы видеть. В тот миг Его поучение о небе и аде лежало передо мной, и я понял то ничтожное место, которое отведено мне Его промыслом. Сердце мое снова устремилось ввысь и воздвигло во мне храм — стены, башенки, покатую крышу — во всей истинности и непреложности; и в этом новообретенном смирении и новообретенном знании во мне забил источник — вверх, в стороны, ввысь, сквозь внепространство, — пламенный, светлый, всеподчиняющий, непреоборимый (да и кто мог, кто посмел бы ему противоборствовать?), беспощадный, неудержимый, пылающий источник духа, безумное мое горение во имя Твое…»

— О Господи!

— «А вверху, если только слово „верх“ может что-нибудь тут значить, был некий образ, некий дар, в обладании которым несть гордыни. Тело мое покоилось на камнях, мягких как пух, и вмиг, в мгновение ока, оно преобразилось, воскресло, отринуло всяческую суету. Потом видение исчезло, но воспоминание о нем, которое было для меня подобно манне, обрело плоть, оно воплотилось в шпиль, в сердце каменной книги, в ее венец, в вершину молитвы!»

— А теперь это уродливая развалина. Ничего похожего… Ничего.

— «Наконец я встал. Свечи горели по-прежнему и ничуть не стали короче, священники служили мессу — ведь по жалкой людской мере протек лишь единый миг. Я шел через неф, и образ храма стоял у меня перед глазами. И вот что я скажу вам, дети мои. Духовное трижды вещественней земного! Только на полпути к своему дому я понял истинный смысл видения. Когда я обернулся, чтобы осенить себя крестом, я вдруг увидел, что собору чего-то не хватает. Он стоял, как всегда, но вершины молитвы, устремленной ввысь из его сердца, если говорить на языке вещей, не было вовсе. И в тот миг мне открылось, зачем Бог привел меня сюда, своего недостойного служителя…»

Скрипучий голос умолк. Джослин слышал, как отец Адам перелистывал чистые страницы. Потом стало тихо. Он закрыл глаза и в изнеможении провел рукой по лбу.

— Да, это мои слова. Когда я пал ниц и принес себя в жертву делу, я думал, что принести в жертву себя — то же самое, что принести в жертву все. Я был глуп.

Отец Адам заговорил снова. Теперь в его голосе появилось что-то новое, в нем звучало удивление и беспокойство.

— И только?

— Я считал себя избранником, сосудом духа и, главное — любви, я верил в свое предназначение.

— А за этим неизбежно последовало все остальное — долги, запустение в храме, раздоры?

— И еще многое, очень многое. Вы даже не знаете. И сам я не знаю. Криводушие, нечистая совесть. Во имя дела. И в него вплелась золотая нить… Или нет. Из него произросло древо со странными цветами и плодами, со множеством побегов, цепкое, хищное, вредоносное, пагубное.

И он сразу увидел это древо, буйство листвы и цветов, перезрелый, лопнувший плод. Невозможно было проследить все сплетение его побегов

до корня, освободить искаженные страданием лики, которые кричали из путаницы ветвей; он вскрикнул сам и умолк. Он лежал, оберегая спину, стараясь унять боль, которая проснулась во лбу, и неотрывно смотрел на каменное ребро потолка. Только одна мысль была у него, странная мысль:

«Я здесь, но здесь — это значит всюду и нигде».

Когда отец Адам снова заговорил, голос его уже не скрипел. Слова падали, как мелкие камни.

— Стало быть, это все.

Он отошел от окна, и в комнате стало светлее. Он приблизился к кровати и задал непонятный вопрос:

— А можете вы увидеть то, что слышите?

Джослин был нигде, он вертел головой, налитой болью, словно хотел ее стряхнуть. За окном раздались шаги, кто-то весело засвистел, выводя затейливые трели. И он смутно увидел, как этот свист, который звучал у него в голове, исчез за углом.

— Не все ли равно?

— Значит, вы ничему не научились? Раньше, много лет назад?

«Чему я научился? Орел слетел ко мне у моря. И этого было довольно. А потом…»

— Вы слышали, что она сказала. И теперь знае-

те, как все вышло.

Отец Адам горячо прошептал:

— Лучше было бы повесить им жернов на шею.

«Ну нет, — подумал он. — Слишком это просто, этим ничего не объяснишь. Так не добраться до корня».

А отец Адам сказал с нескрываемым удивлением:

— Значит, вас никогда не учили молиться?!

Волосы разметаны веянием духа. Рот раскрыт, но не дождевая вода изливается из него, а осанна. Джослин криво улыбнулся священнику:

— Теперь уже поздно.

Но отец Адам не улыбнулся. Он стоял боком, стиснув руки у груди. Он смотрел сверху вниз, искоса, и под взъерошенными волосами угадывались черты его лица. В голосе его зазвучал страх, словно он наконец увидел древо и цепкий усик скользнул по его щеке.

— Ваш духовник…

— Ансельм?…

«Опять Ансельм, — подумал он. — Получается, что он ни к чему не причастен. Ведь я скрепил все своей печатью». Он сказал в ребристый потолок:

— Послушайте меня, отец Адам. Я догадываюсь

о многом, и я любил их всех. Наверное, оттого она и преследует меня. Вы неизмеримо лучше их всех, потому что таких страшных, таких окаянных людей не найти больше нигде, но ведь вы не со мной, вы не запутались, как я, в ветвях древа. Колдовство. Конечно же, это колдовство. Как иначе могли бы она и он быть такой непреодолимой преградой между мною и небом?

Дыхание послышалось над самым его ухом. Он отвел глаза от потолка, от картин прошлого, и увидел, что отец Адам стоит у кровати на коленях. Священник закрыл лицо руками и дрожал всем телом. И слова тоже дрожали меж пальцами, вырывались прерывистым бормотанием:

— Господи, смилуйся надо всеми нами!

Он быстро отнял руки от лица и перекрестился. Потом стиснул край кровати, склонил голову и снова забормотал. Бормотание стало глуше, потом смолкло.

Отец Адам поднял голову. Он улыбался. Джослин сразу увидел, какое это было заблуждение — думать, что у него нет лица. Просто оно было очерчено тонкими, нежными штрихами, которые так легко ускользают от глаза и видны лишь долгому, пристальному взгляду или подневольному взору больного, прикованного к постели.

И неожиданно для себя он крикнул этому лицу:

— Помоги мне!

Эти слова как будто отомкнули замок. Он почувствовал, что дрожит, как дрожал отец Адам. Дрожь отдалась болью в спине и голове, но зато безбрежное море скорби словно простерло мягкую руку, накрыло его и обильно увлажнило глаза. Он дал слезам излиться, не замечая их, потому что это было так ничтожно в сравнении с морем. А потом появилась другая рука, она легла ему на грудь, пальцы сжали плечо. И еще рука ласково гладила его по лицу.

Понемногу дрожь унялась, слезы уже не текли больше. И голос, такой же нежный, как лицо, зашептал:

— Мы начнем сначала. Некогда вам была знакома каждая ступень молитвы, но вы все забыли. И это хорошо. Многие из ступеней не для простых смертных. Это даже вменится вам в заслугу. Низшую ступень составляет словесная молитва. С нее мы и начнем, потому что оба мы подобны детям, а дети начинают с этого…

— А моя молитва, отец? Мое… видение?

Стало тихо. «Черный ангел возвращается, — подумал он. — Я знаю, чувствую его приближение.

Скорей, скорей, пока не поздно!»

— А моя молитва? Мой шпиль? То, о чем вы прочли?

Теперь влага выступила у него на коже. Он почувствовал, как рука осторожно откинула волосы с его лба, но он был объят ужасом перед ангелом.

— Скорей!

— За словесной молитвой следует другая ступень, она невысока, и потому восхождение едва заметно. Здесь нам дается поддержка, утешение, отрада. Так мы даем ребенку лакомство за послушание или просто потому, что любим его. Ваша молитва, без сомнения, была хороша, но не очень.

Он вертел головой, пытаясь уйти от неотвратимого. Но из глубины, должно быть, от самых корней древа, что-то властно заставило его крикнуть в каменный потолок и в нежное, встревоженное лицо:

— Мой шпиль вознесся превыше всех ступеней, от земли до небес!

И черный ангел ударил его.

Глава одиннадцатая

Иногда боль стихала, и он снова мог думать. Первым делом он спрашивал у отца Адама:

— Еще не рухнул?

И ответ был всегда один:

— Нет еще, сын мой.

Он снова строил шпиль у себя в голове, доискивался, какой нужен фундамент, чтобы понять, что же ему самому нужно.

— Мне не узнать правды, пока весь собор не разберут, как детскую головоломку.

Но отец Адам, наверное, думал, что он бредит, и молчал. А Джослин, следуя по этой дороге внутри себя, добрался до второй мысли:

— И даже тогда не узнать.

Один раз он послал за Ансельмом и ждал бесконечно долго, глядя в темный потолок, а потом вспомнил, кем он теперь стал. Тогда он послал снова, умоляя Ансельма прийти во имя милосердия. Ансельм пришел, строгий и отчужденный. Вечерело, в комнате уже стояли сумерки, потому что единственное окно выходило на восток и собор заслонял свет. Он услышал, как отец Адам вышел и спустился по лестнице, услышал,

как заскрипел под Ансельмом стул. И тогда он посмотрел на него, на его благородную голову, на серебристые волосы над твердым лбом. Но Ансельм не ответил на его взгляд. Он упорно смотрел в окно и молчал.

— Ансельм. Вот я в пустыне.

Ансельм искоса посмотрел на него и сразу же отвел глаза, словно увидел нечто постыдное. Он сказал то, чего и следовало ожидать, но слова его были сухи и так же отчужденны, как его поза.

— Рано или поздно это удел всякого…

«Нет, — подумал Джослин. — Так не говорят с живыми людьми. Он просто не видит меня. Меня нет среди живых, но пусть и это послужит мне уроком…»

— В тяжких муках я возвратился в те далекие дни, когда жил у моря и вы были моим наставником.

Ансельм повернул к нему голову. Он был скован неловкостью; и прозвучали слова, понятные им обоим:

— В краткой жизни сей…

— Жизнь!

Он закрыл глаза, размышляя о жизни.

— Да, знаю. Я заблуждался, когда думал о своей жизни. Но было же это когда-то — я шел через

мыс и пришел к вам, своему пастырю, веря, что мы избраны Святым Духом.

Он снова взглянул в потолок. Там сияли песчаные берега и ослепительное море.

— Я прибежал к вам.

Ансельм пошевельнулся. На лице его появилась слабая улыбка, но улыбка была недобрая.

— Вы жались к моим ногам, как пес.

— Как же вам все это вспоминается, Ансельм?

Ансельм снова смотрел в окно. Его щеки покрылись красными пятнами. Голос прозвучал глухо.

— Почему вам, как глупой девчонке, непременно нужно перед кем-нибудь преклоняться?

— Мне?

— Почему вы обратили на меня это… юношеское обожание?

Мысли Джослина путались.

— Я? Разве?

Ансельм сказал очень тихо, очень тоскливо:

— Вы не знаете. Вы никогда не знали, как вы невыносимы. Да, невыносимы.

Джослин облизнул сухие губы.

— Я… я был… не властен в своих чувствах. И неловок.

Скорбь переполняла его, и он подождал, пока она утихнет, а потом сказал в потолок:

— Но вы, Ансельм… Вы-то сами…

Ансельм встал и принялся ходить по комнате. Потом он остановился над Джослином и застил ему свет. Он неловко повернул голову, посмотрел Джослину в глаза и отодвинулся.

— Это было давно. И едва ли что-нибудь значило. А потом… потом произошло все это! Нет. Я больше ничего не могу сказать. Мне было смешно и трогательно. И досадно. Вы все принимали так… близко к сердцу.

— Какое там, близко к сердцу. Вы не понимали, не видели.

Ансельм воскликнул:

— А сами вы что понимаете? Вы целую жизнь висели камнем на шее у меня, у всех нас.

— Мы были избраны для великого дела. Так я думал… А сейчас я не знаю сам…

— Там мне было хорошо, хоть устав и соблюдался не слишком строго. Но вот вы, словно огромная птица, слетели…

— К наставнику…

— «Я есмь то, что есмь». Но видеть, как легко вы прыгаете со ступени на ступень — служка, дьякон, священник, — видеть вас настоятелем этого собора, хотя вы едва умели прочитать «Отче наш»; подвергнуться искушению, да, искушению,

потому что куда голова, туда и хвост, а ведь все мы не святые, это надо признать, и не чужды тщеславия… и вот искушение привело меня на край погибели. Признаюсь в этом от чистого сердца. Я мог бы остаться на своем месте и по мере сил творить добро. Но вы искушали меня, и я ел от запретного плода.

— А потом?

— Потом? Вы сами знаете. Старый король умер, и ваше возвышение прекратилось.

— Да, конечно.

— И после всего я должен был выслушивать ваши исповеди, лицемерные, самовлюбленные исповеди…

Несмотря на слабость, Джослина охватило глубочайшее удивление.

— Но какой же вы тогда священник?

— Вам это должно быть известно. Если угодно, такой же, как вы. Ничтожный. И я сознаю свое ничтожество. А вы? Вспомните Айво, Джослин. Вы сделали мальчишку каноником. Потому только, что его отец дал бревна для шпиля. Вот видите. У него столько же прав в соборе, сколько у вас. Или у меня. Но от него хоть меньше вреда. Он все время на охоте. А вы душили нас, как проклятие. Когда я видел вас, облеченного властью

настоятеля, у меня порой сжималось сердце и перехватывало дыхание. И вот еще что я вам скажу. Хотя теперь над нами висит эта каменная глыба, среди каноников мир и согласие, словно бальзам пролился на наши души, потому что нет вас.

— Ансельм!

— Помните, как вы обошлись со мной перед капитулом, когда я возражал против шпиля? Я не забыл. И никогда не забуду. Вы приказали мне при всех: «Сядьте, Ансельм!» Помните? *«Сядьте, Ансельм…»*

— Не будем об этом. Теперь уже ничего не скажешь и ничего не поправишь.

— А потом эта история со свечами.

— Я знаю.

— И наконец, Джослин, если хотите услышать все до конца, — способы, которыми велась стройка…

— Уйдите, прошу вас.

— Согласитесь, это уж сверх всякой меры — принудить человека в мои годы и в моем сане быть подручным у каменщика.

— Что поделаешь… Простите меня.

— Разумеется, я вас прощаю. Прощаю.

— Я молю… Молю простить меня не за то или другое, не за эти свечи или за обиду. Простите

меня за то, что я таков, каков есть.

— Я же вам сказал.

— Но в душе, Ансельм?... Скажите, что прощаете в душе!

Шаги отзвучали и смолкли на лестнице; а потом надолго наступила тишина.

Тянулись минуты, и наконец вокруг что-то изменилось, какие-то люди заплясали перед глазами, нелепо приседая и кружась. В этой толпе он узнал только отца Адама и снова крикнул:

— Помогите мне, отец мой!

Отец Адам подошел и стал распутывать сплетение вещей. Он тянул и распутывал, но у него ничего не получалось, потому что все так тесно переплелось и посреди всего, над всем, возвышалось зловещее древо. И под конец Джослин ощущал только боль в спине (и опаляющий огонь, когда его переворачивали, чтобы обложить спину овечьей шерстью), да еще скорбь, плескавшуюся от горла до пупа. Отец Адам не заметил, что стало с его руками, но сказал Джослину, что он слаб и поврежден в уме и что надо собрать всю волю. Отец Адам не знал, как необходимо получить прощение от нехристей, как для этого необходимо их понять и как это невозможно.

И тогда Джослину стало ясно, что придется убе-

жать от отца Адама, и он прибег к хитрости. Он ждал ясного дня, а ясные дни, когда светлые блики солнца лежали на полу и Джослин отчетливо понимал, где он и что с ним, выпадали редко. Дождавшись такого дня, он притворился, будто изнемог и уснул, а сам прислушивался к шарканью отца Адама. Он украдкой открыл один глаз и увидел, как сухая спина священника исчезла на лестнице. Тогда он собрал все силы, спустил ноги с кровати, встал и выждал, пока пройдет слабость. Потом он дошел до двери, держась за стену, напялил скуфью на встрепанные волосы, накинул на плечи плащ. Колени у него дрожали от слабости, и когда он сполз с лестницы, то увидел, что внизу пусто. Там не было уже ни огня в камине, ни свечей, но в окна щедро вливался свет, на стеклах трепетали тени. И еще в воздухе веяло свежестью, которая всколыхнула скорбь в его груди. Среди дров в камине он отыскал палку и оперся на нее.

Он постоял, подумал. «Если выйти через заднюю дверь, он меня не увидит; а я не увижу этот каменный молот».

За дверью, среди высокой буйной травы, была поленница. Благоухание ошеломило его, он прислонился к поленнице, забыв о больной спине, и

ждал, пока скорбь, плескавшаяся в нем, не излилась из его глаз. А потом над головой у него что-то зашевелилось, и на миг в нем блеснула безумная надежда. Он закинул голову, выкручивая шею, и глянул вверх. Целый сонм ангелов сиял на солнце, они были розовые, золотистые, белые; они-то и благоухали, радуясь свету и воздуху. Они несли облако зеленых листьев, а среди листьев было что-то длинное, черное, струящееся. Мысль его воспарила с ангелами, и он вдруг понял, что от корня яблони произрастут новые ветви. Она была близко, за стеной, она распустила зеленое облако, завладела землей и воздухом — источник, чудо, яблоня; и он расплакался как ребенок, сам не зная, от радости или от печали. А потом там, где двор его дома спускался к реке и деревья склонялись над самой водой, он увидел, как блеснул и сразу исчез крылатый сапфир, вобравший в себя всю синеву неба.

Он крикнул:

— Вернись!

Но птица умчалась безвозвратно, как спущенная стрела. «Она не вернется никогда, — подумал он, — даже если я просижу тут весь день». Он стал утешать себя мыслью, что птица, может быть, все же вернется и сядет во всей своей красе на

ветку совсем близко, но в душе знал, что этого не будет.

— Нет, зимородок не вернется ко мне.

«Пускай, — сказал он себе. — Зато мне посчастливилось его увидеть. Только мне одному». Наконец он встал и боковой дорожкой пошел к площади. Он видел в пыли конец палки и свои едва волочащиеся ноги. «Наверное, я похож на старого ворона, — думал он, когда плелся по дорожке, сгибаясь чуть ли не до земли. — Зачем я иду искать то, чего нет? Но не так-то все просто! У меня много причин, и они перепутались. Отец Адам был прав. На свете есть яблони и птицы, а я поглощен суетой».

Дойдя до Королевских ворот, он присел на каменную приступку и стал рассматривать пыльную дорогу. Но какие бы ноги ни попирали эту пыль, она все равно оставалась просто пылью, и ему стало еще грустней. Он через силу встал и брел, волоча ноги по пыли, пока не увидел у себя под самым носом уличную канаву, в которой играла голенькая девочка.

Он спросил ее:

— Где найти Роджера Каменщика, дитя мое?

«Господи, — подумал он, — кто поверил бы, что у меня может быть такой старческий голос?»

Пока он думал это, девочка, разбрызгивая грязь, выбралась из канавы и убежала. Он не знал, как перейти канаву, и зашлепал прямо по воде. А потом он увидел мужские ноги и туловище и спросил:

— Где найти Роджера Каменщика, сын мой?

Сверху кто-то плюнул, и плевок повис на его плаще. Грубый голос сказал:

— На Новой улице.

Ноги ушли.

Он повернул направо, шаркая подошвами и палкой по булыжникам. «Новая улица такая длинная», — подумал он, и при этой мысли силы оставили его. Он поискал взглядом, где бы присесть, но не нашел подходящего камня. Тогда он сел на землю у глиняной стены и прикрылся плащом. Он опустил капюшон на лицо и был теперь как бы в шатре.

Но и под шатром он угадал их присутствие, выглянул и увидел босые детские ноги.

— Где Роджер Каменщик, дети мои?

Ноги ушли, разбрызгивая грязь в канаве. Камень ударил в землю возле него. «Надо идти, — подумал он. — Надо куда-то идти». Он с трудом поплелся вдоль стены и вдруг вспомнил, что Роджер Каменщик, должно быть, сейчас в «Звез-

де». Он брел, левой рукой опираясь на палку, а правой держась за стену; и наконец он увидел постоялый двор со звездой на вывеске, а у ворот была каменная приступка. Тяжело дыша, он сел и сказал себе: «Не все ли равно, ведь дальше я идти не могу».

— Роджер Каменщик…

Ноги ушли, но вскоре вернулись, теперь их стало много, а он все повторял:

— Роджер Каменщик… Роджер Каменщик…

Наконец появились женские ноги и красный подол платья. Женщина вскрикнула и быстро заговорила, но он, как всегда, легко пропускал ее слова мимо ушей. «Мне жаль ее, — думал он, — жаль, но не очень, чуть-чуть. Это мой изъян, что я не могу скорбеть и о ней тоже».

Чьи-то руки подхватили его под мышки и подняли с камня, а ноги и палка волочились по земле. Он видел, как приближалась дверь, потом увидел ступени, его ноги коснулись их, сперва одна, потом другая, и палка простучала: тук, тук, тук. А потом была еще дверь где-то в полутьме, и она отворилась. Руки опустили его на скамью, захлестнутого дурнотой, и исчезли, затворив дверь. Он зажмурился и ждал, когда исчезнувший мир вернется.

Первыми вернулись звуки. Он услышал хрип, кашель, клокотание мокроты, сопение, и в этих звуках была своя череда. Они заставили его открыть глаза; и он увидел напротив окна маленький очаг, а подле очага широкую кровать с валиком в изголовье, на которой белели смятые простыни. Там, приподнявшись на локте, лежал Роджер Каменщик, в одежде, но разутый. Его опухшее лицо непрерывно смеялось, а потом рот разинулся, смех перешел в вопль, и он упал навзничь. Джослин видел, как вздымается его грудь.

Роджер Каменщик, путаясь в простынях, повернулся на бок. Потом снова тяжело приподнялся на локте и поглядел на Джослина, ощерившись по-собачьи. Лицо его было в испарине. Джослин взглянул в налитые кровью глаза, и лицо Роджера исказилось. Он повернул голову и сплюнул мимо очага.

— От вас разит падалью.

Джослин подумал над этими словами, припомнил лица, которые склонялись над его постелью. «Может быть, — подумал он, — очень может быть». И услышал свой старческий голос, который бессмысленно повторял:

— Может быть, Роджер, может быть. Очень может быть.

Роджер Каменщик, опираясь на локоть, подался вперед. Он сказал с бесконечным удовлетворением:

— Стало быть, они и до вас добрались.

Он поперхнулся, и что-то красное потекло по его подбородку.

— Он еще не рухнул, Роджер. Так сказал мне отец Адам. И еще отец Адам сказал, что он все равно когда-нибудь упадет, будь он даже высечен из алмаза и утвержден на самых корнях земли.

Мастер медленно приподнялся. Он с трудом выпутал ноги из простыней и, шатаясь, пошел через комнату. Джослин слышал, как он выругался и ударил кулаком в окно. Раздался треск, звон стекла. Мастер крикнул в мертвую пустоту:

— Рухни хоть сию секунду, и хрен с тобой!

— Сегодня почти нет ветра, Роджер! Только цветы на яблоне колышутся.

Мастер побрел назад. Он тяжело упал на колени у кровати и начал шарить по ней руками. Потом перестал, навалился на нее боком и снова засмеялся.

— Это хорошо, что от вас воняет, Джослин. Мне от этого полегчало. А я-то думал, мне уж ни от чего не полегчает.

Но Джослин был далеко, он грезил и сказал

рассеянно:

— Я видел зимородка.

А потом перед ним опять были ноги, красное платье, и язык трещал, трещал, трещал. Роджера Каменщика уложили обратно в постель. Голос раздался над Джослином, потом снова метнулся к кровати:

— Разве ты не понимаешь, дурак ты этакий? Они же знают, что он здесь!

Платье и голос исчезли за дверью. Он посмотрел в сторону кровати, но увидел только, как вздымалась и опадала грудь, и услышал прерывистый хрип.

— Роджер! Роджер! Ты меня слышишь?

Только хрип в ответ.

— Ты подумай. Я считал, что совершаю великое дело, а оказалось, я лишь нес людям погибель и сеял ненависть. Роджер!

Он пристально вглядывался, но видел только вздымающуюся грудь да руку, которая слабо вздрагивала при каждом вздохе. Он отвернулся и стал смотреть на угли в очаге. Теперь они казались ярче, потому что сумерки уже ползли по углам.

— Любить всех людей священной любовью… И вот… Роджер, ты меня слышишь?

Но Роджер даже не пошевельнулся. Джослин больше не пытался заговорить с ним и ждал, а рука все вздрагивала при каждом вздохе, угли рдели в сумерках, и он созерцал бесформенную, необъяснимую груду, возникшую у него в голове.

Наконец тело на кровати вздрогнуло. Роджер лежал пластом, уйдя головой в подушку, и равнодушно смотрел на Джослина.

— Так. Вот, стало быть, мы оба тут.

— Это неправда, что старики не знают страданий. Они страдают, как и молодые, только им еще труднее.

— Похвальба!

— И вот, после всей ложной святости я околдован мертвой женщиной.

— Вы сумасшедший. Я всегда это говорил.

— Не знаю. Я был занят только этим исполинским шипом. А ее я совсем не знал. Может, поэтому она и явилась мне во сне и сказала… или нет, не сказала ничего, только мычала пустым ртом? Но даже в этом я не уверен. Элисон говорит, что она меня околдовала. Ведь это правда, Роджер? Как же иначе? А знаете, быть может, Гвоздь настоящий! Нам не дано знать.

Мастер крикнул:

— Будьте вы прокляты! Он рухнет, и я еще до-

живу до этого дня! Вы отняли у меня мое дело, моих подручных, все отняли, чтоб вам провалиться в самое пекло!

Он судорожно всхлипнул.

— Вместе с вашей сетью. Вы загнали меня слишком высоко.

— Но меня самого загнали. Я тоже попал в сеть.

Он слышал, как Роджер сморкался в простыню.

— Слишком, слишком высоко.

И вдруг голова у Джослина прояснилась. Он отчетливо понял, как быть с этой бесформенной, этой невыразимой грудой.

— Послушай. Вот для чего я пришел.

Он дергал пряжку до тех пор, пока плащ не упал с плеч, потом сдернул скуфью, снял с груди крест и положил на скамью.

— С тонзурой ничего не поделаешь. Знак священной чистоты на теле смердящего пса. Нет, тут ничего не поделаешь. Ересь? Я — средоточие…

Он встал и зашаркал по полу. Потом опустился на колени, но спина не выдержала, и он упал на четвереньки. «Что ж, — подумал он, — придется так».

— Ты сказал тогда, что я сам дьявол. Но я не

дьявол. Я просто глупец. И еще мне кажется, я как дом с огромным подвалом, где живут крысы. И на руках моих какое-то проклятье. К кому ни прикоснусь, всем причиняю горе, особенно тем, кого люблю. И теперь я, несчастный, опозоренный, пришел молить тебя о прощении.

Наступила долгая тишина. Гудел огонь, поскрипывали оконные петли, шелестели листья. Он смотрел на доски пола меж своих рук. «Я здесь, — подумал он. — Больше я ничего не могу сделать».

Колено глухо стукнулось об пол подле его правой руки. Его взяли за плечи и выпрямили. Роджер держал его, касаясь руками пламени, которое опаляло ему спину. Мастер ругался, плакал, голова его и все тело тряслись. Он не умел плакать, весь содрогался при каждом рыдании, и дрожь передавалась Джослину; а потом сквозь рыдания стали прорываться слова, и Джослин почувствовал, что сам прижимается к Роджеру, цепляется за него. Голова Роджера лежала у него на плече, и он глупо лепетал что-то про яблоню, утешал и гладил Роджера по широкой дрожащей спине. «Он праведник, — думал он, — истинный праведник, что бы это ни значило! Здесь, под намалеванной, качающейся вывеской, рождается что-то…»

Вдруг Роджер отстранился. Одна его рука еще лежала на плече Джослина, другой он размазывал слезы по лицу.

— Расхныкался, как младенец. А все потому, что я пьян. Чуть выпью, глаза сразу на мокром месте.

Джослин почувствовал, что шатается под его тяжелой рукой.

— Ты не поможешь мне встать, Роджер?

Мастер громко захохотал. Он оттащил Джослина на скамью, потом добрел до кровати и тяжело плюхнулся на ее край. А Джослин все объяснял ему:

— У меня теперь совсем нет спины. Ты мог меня сломать. Иногда мне кажется, это от тяжести каменного молота, но что поделаешь.

— Он там. Стоит. Пейте.

— Нет, нет, я не могу. Спасибо.

Кучка дров занялась с краю и вспыхнула желтым пламенем. По комнате заплясали тени. Мастер дотянулся до кувшина и отхлебнул из него.

— Мы сделали что могли.

— Там, на самом верху, ужас. Помрачение.

— Не надо об этом.

— Тяжесть, пустота. Легкость, пустота.

Мастер крикнул:

— Довольно! Довольно же!

Джослин снова взглянул на бесформенную груду у себя в голове.

— Но это, конечно, еще не все. Когда-нибудь он рухнет. И все же, хотя опоры согнулись, шпиль покосился и щебенка… я еще не знаю. У меня еще остается моя… как бы сказать… мое недоверие. Понимаешь, может быть, все-таки это то самое, для чего мы были предназначены, мы оба. Он сказал, что мне, как глупой девчонке, непременно нужно перед кем-нибудь преклоняться. Но ведь в этом нет ничего дурного, правда? Я отдал шпилю свое тело. Что же его держит, Роджер? Гвоздь? Я? Или она, или ты? Или бедняга Пэнголл, который лежит, скорчившись, под опорами и меж ребер у него проросла веточка омелы?

Роджер Каменщик присмирел, словно слился со стеной, и на нем дрожали отблески огня. Но иные твари витали по комнате, и Джослин чувствовал, как черные крыла трепещут вокруг него. Голос его тонул в этом вихре, и он сам едва слышал себя:

— Ты еще можешь кое-что сделать, Роджер, сын мой. Ты еще можешь кое-что сделать.

Лицо Роджера снова побагровело, налилось

кровью, и он прохрипел:

— Значит, вот для чего вы сюда пришли, Джослин? Око за око, зуб за зуб. И если я откажусь… вы все расскажете.

— Нет! Нет! Я и не думал…

— Я все понимаю, отец мой. Я чуял, к чему идет дело.

И тут, среди трепещущих черных крыл, Джослину стало страшно.

— Я совсем не думал…

— Говорю вам, я все понимаю.

— Я сам не знаю, как это у меня вырвалось… против воли.

Роджер Каменщик тяжело плюхнулся на кровать.

— Когда снова придет гроза, я это попомню. Око за око.

— Ты мог уйти. Ты еще молод.

— Кто взял бы меня? Кто пошел бы со мной работать? Ведь вы же отняли все.

— Бог всегда с нами. Это я знал… Но теперь я знаю и другое. А это все равно, что не знать ничего… Что такое человеческий ум, Роджер? Дом вместе с подвалом и всем прочим?

В комнате опять появилась женщина, она блестела черными глазами и трещала без умолку.

А когда она ушла, он услышал другие голоса и смех.

— Кто это там?

— Люди.

— Пойми… если она что-нибудь знала… Как тебе объяснить? Беда в том, Роджер, что подвал знал про него — знал, что у него нет силы в чреслах, — и устроил этот брак. Наверное, это из-за ее волос. Я видел эти рыжие волосы, растрепанные, вокруг узкого бледного лица. А потом, конечно, уже не видел. Но однажды, когда она стояла у опоры и смотрела на тебя, они опалили мне глаза. Тогда-то она меня и околдовала. Да, околдовала, ведь правда? Поэтому я должен все про нее узнать. Ведь если она знала… если она знала, что` с ее мужем, и даже, может быть, смирилась, это было бы не так ужасно… И конечно, она меня преследует!

— О чем вы толкуете?

— О ней, разумеется, о ней. Я всегда ждал ее. Она прибегала и вдруг останавливалась. Один раз я перевязал ей разбитое колено, оторвал кусок от своей… Но что с того? Позже, когда я понял, как она запуталась в моих сетях, я хотел поговорить с ней, заставить ее понять…

— *Вы?*

— Говорила она обо мне хоть раз? Впрочем, это все равно. Я и ее принес в жертву. Умышленно. И знаешь, Роджер, молитвы не остаются без ответа. Вот что ужасно! И когда она умерла, я стал одержим ею, потому что она меня околдовала. Молитву затмили волосы. Волосы мертвой женщины. Неплохая шутка, а?

— Шутка!

— Наверное, можно жить так, чтобы всякая любовь была благом, чтобы одна любовь не соперничала с другой, но пополняла ее. Что такое человеческий ум, Роджер?

— Вы достигли того, зачем пришли. Уходите.

— Но я должен знать…

— Не все ли нам теперь равно?

— Я совсем запутался. Пойми, перед тем как она меня околдовала, я любил ее как дочь. А в день ее смерти…

— Не надо. Уйдите.

— Мне быть бы о трех языках, чтобы сказать три вещи разом. Я пришел туда. Ты помнишь? Я ведь только хотел помочь. Быть может, я уже тогда кое-что понимал. Она была на полу. Она подняла голову и увидела меня на пороге в полном облачении настоятеля, священника, обвинителя. А я только хотел помочь, но это ее убило. Я убил ее,

все равно что перерезал ей глотку.

Он услышал шаги мастера у самых своих ног. Почувствовал на лице горячее дыхание, насыщенное винными парами.

— Вон отсюда.

— Неужели ты не можешь понять? Я должен знать все это, потому что я убил ее!

Мастер вдруг крикнул:

— Вон! Вон!

Его руки отбросили Джослина. Дверь с треском распахнулась, и эти руки вышвырнули его за порог. Он увидел, как прямо на него стремительно несутся ступени, а потом он привстал на коленях, цепляясь за лестничные перила.

— Падаль вонючая!

Кувшин просвистел у самой его головы и вдребезги разбился о стену. Он на четвереньках дополз до скользкой мостовой, а сзади его настиг крик Роджера:

— Чтоб с тебя кожу содрали заживо!

Но крик потонул в буре голосов, смеха и лая. Он встал, хватаясь за стену, но шум захлестнул его, и в глаза ему ворвались руки, ноги, смутные лица. Он вдруг увидел узкий темный проход, рванулся туда, и одежда лопнула у него на спине. Он слышал, как затрещала ткань. Руки держали

его, не давая лечь. Голоса ревели и визжали. Теперь у них были пасти, оскаленные, слюнявые. Он вскрикнул:

— Дети мои! Дети мои!

Вопли и неистовство не унимались, это было целое море проклятий и ненависти. Руки сжались в кулаки, замелькали ноги. И ему показалось, что сквозь весь этот шум он слышит, как Айво и его приятели науськивают псов:

— Ату! Ату! Ату!

Он лежал ничком и видел ноги и полосу света, которая падала из двери на грязь в канаве.

А потом вокруг разлилась тишина. Ноги постепенно отдалились. И в тишине он услышал женский голос:

— Матерь Божия! Да вы поглядите на его спину!

Ноги задвигались быстрей. Он уже не видел их, но слышал, как они идут, бегут, спотыкаются о булыжники. Освещенная дверь захлопнулась.

Он полежал немного, дрожа всем телом. Потом зашевелился, пополз к стене. «Я наг, — подумал он. — Так и должно было случиться». Он встал и поплелся на тусклый свет факелов, маячивший над Главной улицей. Порой он терял стену, оступался, попадал в канаву и выбирался оттуда, а

один раз упал прямо в грязь. «Теперь все могут видеть, что я такое», — подумал он, выбираясь обратно на мостовую. На углу Главной улицы он упал и уже не мог встать. Он не чувствовал, как ему прикрыли спину, не видел подола Рэчел и сандалий отца Адама. Какие-то руки осторожно коснулись его. Какой-то голос зажурчал, как вода в канаве зимой. А потом нахлынула тьма.

Глава двенадцатая

И снова над ним был ребристый потолок. Он ничуть не изменился, но сам Джослин как бы вступил в новое существование. У него было такое чувство, будто он висит над собственным телом, которое каждый миг захлестывала неотвратимая волна слабости, принося с собой бессмысленный страх. И всякий раз он проваливался в пустоту. Но вот сознание возвращалось, и он снова повисал над своим телом, пытаясь понять, что с ним произошло. Он висел и безмолвно разговаривал сам с собою.

– *Где же я был?*

И безмолвный ответ был всегда один:

– *Нигде.*

Его поили чем-то горьким, быть может, маковым отваром, и ему иногда казалось, что от этого он и может вот так плыть и парить над своим распростертым телом. Лица чередовались: то кто-то подавал ему питье, то появлялся отец Адам, чьи черты он теперь видел совершенно отчетливо. Он не знал, долго ли длились провалы и долго ли он висел и плыл над своим телом. Но от одного взгляда до другого он без удивления замечал, что

солнечный свет или тени отмерили на ребрах потолка не один час. Иногда он ближе ощущал эту оболочку, этот механизм, лежавший под ним. Главным делом механизма было растягивать и сжимать ребра, медленно, но беспрестанно, а внутри, как птица в клетке, трепыхалось сердце. Он бывал вынужден спускаться в свое тело лишь тогда, когда на него налагали руки прислужники, исполняя необходимые обязанности. Один раз он ясно услышал разговор, но понял лишь последние слова:

— Это губительный недуг у него в хребте…

Молчание. А потом еще:

— Нет. Ничего подобного. Сердце.

Но чаще всего в странном, зыбком времени он парил над своим телом или проваливался в пустоту. Приходили мысли, которые длились вечность или секунду. Возникали картины, которые теперь оставляли его равнодушным. Он почти не разговаривал, потому что это было невероятно трудно, даже когда он обретал доступ к собственному рту. Он избегал этого, потому что боялся своего распростертого тела, как западни, боялся пустоты, которая так часто подстерегала его. И все же иногда, в промежутках между вечностями, когда он то погружался в туман, то ясно видел

над собой потолок, он делал долгое усилие. Он заставлял себя спуститься к окаменевшему рту, взламывал камень и выдыхал со струей воздуха:

— Рухнул?

Лицо отца Адама, совсем отчетливое, с улыбкой низко склонялось над ним:

— Нет еще.

Он рассматривал голубые глаза, улыбку, которая слегка растягивала губы и морщила щеки. А когда лицо отодвигалось, он снова видел каменное ребро потолка да иногда — муху, сидевшую там вверх ногами и занятую своими заботами.

Потом он начал думать о своем надгробии и кое-как объяснил, чтобы позвали немого. Преодолевая бесконечную череду времени и пустоты, он растолковал юноше, чего хочет: никаких украшений, только он сам, мертвый, нагой, лишенный даже плоти, распростертый скелет, обтянутый кожей, голова запрокинута, рот открыт. Он хотел сдернуть простыни, и руки наконец поняли. Они открыли перед юношей его наготу, и тот сделал набросок с гримасой отвращения, а Джослин снова воспарил над своим телом. Минула вечность, юноша исчез, муха чистила лапки на потолке.

А потом свечи, бормотание, прикосновение елея. Он парил над миропомазаньем, которое

свершалось внизу, над тяжелым, как свинец, телом; и снова разверзлась пустота. Но когда он очнулся, явилось нечто новое. Он услышал, как шумит ветер и дождь стучится в окно. И тогда он вспомнил про подвал с крысами и в ужасе перед этой мыслью ринулся вниз, в свое задыхающееся тело.

— Каменщик. Роджер Каменщик.

Лица низко склонились над ним, удивленные, с поднятыми бровями, они говорили длинно и непонятно.

— Роджер Каменщик!

И сразу он задохнулся словами и мыслями. Грудь отказывалась подниматься, и он в страхе пытался ей помочь. Он почувствовал, как руки приподняли и посадили его.

А потом он снова лежал, глядя на каменное ребро потолка, по которому медленно ползли яркие полосы света.

– Где же я был?

Но тут чье-то лицо заслонило свет, склонилось над ним, дрожащее, с красными веками, и ее черные волосы зазмеились по его телу, а рот зиял, непрестанно открываясь и закрываясь. Она накинулась так неистово, что он мог лишь смотреть безучастно, не в силах уследить за смыслом

ее слов.

— В сарае, между кучей лука и мешком пшеницы…

Неужели когда-нибудь ей придется расстаться с жизнью, которой в ней такая бездна? Всепожирающий рот, праведница…

— …на четвереньках. С петлей на шее, и обломок стропила на другом конце веревки. Он всегда говорил, что в его деле самое трудное рассчитать прочность, но Бог знает…

«Бог, — подумал Джослин, и все показалось ему ничтожным. — Бог? Если бы я мог вернуть прошлое, я стал бы искать Бога среди людей. Но теперь колдовство сокрыло Его».

— Сидит у огня, голову свесил на плечо, ничего не видит и не слышит, я все должна делать для него, все! Понимаете? Ходить, как за малым ребенком!

Он равнодушно смотрел, как руки отца Адама увели ее, услышал, как ее пронзительный плач всплеснулся рядом, а потом затих на лестнице. И он каким-то образом увидел отрешенное лицо Роджера Каменщика, детей на траве, скорченного Пэнголла, охраняющего средокрестие. Он увидел неуклюжие перекрытия башни, громоздкие, расщепленные венцы. И тяжесть навалилась

на него.

«Я не могу больше, — подумал он. — Не могу. Я не в силах даже пожалеть их. И себя тоже».

В комнате слышалось бормотание, звяканье металла. Лицо отца Адама снова низко склонилось над ним. Он видел, как губы священника произнесли какое-то слово, но, обессиленный, не пытался его уловить.

Голубые глаза мигнули. Вокруг них появились морщинки. Губы снова пошевелились. И на этот раз его одурманенный маковым отваром слух поймал слово, прежде чем оно взлетело к потолку.

— Джослин!

И он понял, что его час пробил: и ему показалось, что умирать легко — так же, как есть, пить, спать, всему свое время.

И, поняв это, он словно обрел свободу, и мысли его понеслись вскачь, как лошадь, с которой сняли узду. Он поднял глаза, чтобы узнать, принес ли ему этот последний час избавление от колдовства: но там, среди звезд, сверкали спутанные волосы, и к ним возносилась громада шпиля. «Вот и все, — подумал он, — вот и объяснение, но только теперь уже поздно». И он шепнул отцу Адаму одно слово:

— Вероника.

Улыбка на лице стала растерянной и тревожной. Потом оно прояснилось.

— Святая?

И тело, измученное слабостью и борениями, попыталось выдавить из груди смех; но он тотчас унял этот смех, боясь выпасть из жизни, потерять равновесие, как канатоходец; он вдруг почувствовал любовь к отцу Адаму, захотел что-нибудь ему подарить и, когда обрел равновесие, шепнул еще одно слово:

— Святая.

А смерть не так нелепа, как жизнь, потому что нет ничего нелепей этого раздираемого ужасом комка, который, как язычок гаснущего огня, трепещет под ребрами.

— Джослин.

«Это он меня зовет», — подумал Джослин и посмотрел на отца Адама со спокойным любопытством, потому что отец Адам тоже умирал и завтра или в какой-нибудь другой день чей-то голос вот так же скажет ему: «Адам», — будто ребенку. Как бы высоко он ни вознесся, какое бы ни носил облачение, завтра или в другой день этого гладкого, как пергамент, лба трижды коснется серебряный молоточек. А потом мысли снова

понеслись вскачь, и он увидел, какой странный человек этот отец Адам, с головы до ног обтянутый пергаментом, то гладким, то морщинистым, и сверху так смешно торчат волосы, а внутри — чудовищный костяк, на котором распят пергамент. И тут же, словно во сне, который скрыл от него это лицо, он увидел весь род людской в его наготе — коричневатый пергамент, натянутый на костяные остовы и скелеты. Он увидел, как люди, прикрытые тканью, переступают ногами, вышагивают подошвами из звериных кож, и мучительным усилием, задыхаясь, попытался облечь это свое видение в слова, которые не прозвучали никогда:

«В своей гордыне они возмечтали об адском пламени. Ничто не совершается без греха. Лишь Богу ведомо, где Бог».

Руки уложили его, и он провалился в пустоту. Но страх заставил его снова вынырнуть и испить чашу до дна.

— Теперь, Джослин, мы облегчим тебе путь на небо.

«Небо, — подумал Джослин, охваченный страхом. — Ты, который сейчас держишь меня и умрешь не сегодня, что знаешь ты о небе? Небо, ад, чистилище — крошечные и блестящие, как

украшение, которое прячут и носят лишь по праздникам. А я умираю в серый, будничный день. И что мне небо, если мне невозможно подняться туда вместе с ними, держа за руку его и ее?

Смириться?

Я променял четверых людей на каменный молот».

Вдруг он почувствовал, что надо вцепиться в воздух зубами, мертвой хваткой. Руки приподняли его, посадили, и грудь сама, без его помощи, набрала воздуху. И страх покинул грудь, но витал вокруг.

Сквозь страх на него глядели два глаза. Кроме них, в мире не было ничего прочного, и под их взглядом он был как дом, готовый рухнуть. Они смотрели на него в упор, око в око, око за око. Он снова вцепился зубами в воздух и сам погрузился глазами в эти глаза, потому что, кроме них, в мире не было ничего прочного. Два глаза слились в один.

И теперь перед ним было окно, распахнутое, залитое светом. Что-то рассекало его. Какая-то черта, а вокруг была синева неба. Недвижная и неслышная, эта черта с безмолвным криком возносилась ввысь, куда-то в самое небо. Она

была тонкая, девически нежная и прозрачная. Ее взрастило семя, неведомое розовое вещество, искрившееся, как водопад, но водопад, устремленный снизу вверх. И лишь одно это вещество врывалось в саму беспредельность ликующими каскадами, которые ничто не могло удержать.

Страх кружил и рвался наружу, он вдребезги разбил окно, и осколки задрожали в каждом его глазу, но ни страх, ни слепота не могли затмить ужаса и удивления.

«Теперь… я ничего, ничего не знаю».

Но руки заставляли лечь вихрь ужаса и удивления, лечь, лечь. Мысли ослепительно вспыхивали во тьме. Самые камни вопиют.

«Верую, Джослин, верую!»

Что такое страх и радость, почему они смешались, слились воедино и сверкают, мчатся сквозь потрясенную ужасом тьму, как птица над водой?

— С кротостию приемлешь…

Захлестнутый волной, он летел птицей, рвался, кричал, вопил, стремясь оставить после себя волшебные и таинственные слова:

– *Как яблоня!..*

* * *

Отец Адам склонился над кроватью, но не услышал ничего. Он видел только, как дрогнули губы, и истолковал это как моление: «Господи! Господи! Господи!» И по милосердию, которое было ему дано творить, он положил на язык усопшего святые дары.

Пирамида

Моему сыну Дэвиду

Живя среди людей, усердствуйв любви,
Ибо любовь – начало и конец-сердца.

Из поучений Птахотепа

I

Было самое настоящее лето, но дождь зарядил с утра и все лил и лил. Погодка была вот именно что такая, когда хороший хозяин собаку не выгонит. То и дело вихрь обрушивался на деревья, и они стонали и с мольбой заламывали ветки, хоть, кажется, достаточно укоренились на нашей почве, чтобы избавиться от такой наивности. Стемнело рано — правда, день весь был тусклый, процесс потемнения шел медленно, незаметно. Зато когда тьма окончательно сгустилась, она плотно обложила фонари, и дождь все падал сквозь нее, падал. Я играл на пианино до тех пор, пока у меня не распухла голова, дико и бездарно выстукивая до-минорный этюд Шопена, который, когда играл его Моисеевич[28], выражал, кажется, всю глубину и силу моей собственной любви, мое собственное безнадежное безумство. Но Имоджен была обручена — и всему конец.

И вот теперь я лежал с пересохшим ртом и терпел. Меня выводил из себя только грохот во-

---

[28] Примечания: 28

Бенно Моисеевич (1890–1963) — английский пианист, родом из России. — *Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, — примеч. пер.*

ды, то и дело как гравием ударявший в стекла. Восемнадцать лет — самая удачная для страданий пора. Есть необходимые силы, и никаких защитных приспособлений. На церковной башне пробило полночь, и еще до двенадцатого удара погасили на Площади три газовых фонаря. Имоджен у меня в голове проезжала мимо по дюнам в его зеленой открытой «лагонде», и длинные рыжие волосы реяли за бледным лицом — она была всего на пять лет меня старше. Что-то мне надо было сделать. Я опоздал. Я смотрел на невидимый потолок, и она проезжала мимо. И его я видел, такого самоуверенного, старого, такого могущественного — владельца «Стилборнского вестника», — непроницаемого. Я слушал его комариный голос, и тут его поразила молния. Сверкнула, ударила — вместо него остался только дымок. Каким-то образом Имоджен в результате молнии потеряла сознание. Я нес ее на руках.

Я подскочил на постели, уставясь на окно и стискивая одеяло у подбородка. Такой громкий, такой резкий был этот звук. Окно чуть не треснуло от стука, кто-то будто палил из духового ружья. В моем уме смутно мелькнула сломанная ветка, сорванная черепица — но нет, не то, вот снова раздался стук! Я вынырнул из постели, весь

в мурашках от непонятности происходящего, метнулся к окну и глянул на Площадь. Возле самого моего лица снова стукнуло, я пригнулся, посмотрел прямо перед собой. Сразу за решеткой, отделявшей нас от булыжной мостовой Площади, мерцало белое лицо. Я приспустил раму, и ветер сразу охлестнул меня ситцевой занавеской.

— Оливер! Оливер!

От дикой надежды у меня покатилось сердце. Но нет, это не голос Имоджен.

— Что случилось?

— Тише ты!

Лицо пригнулось к нашей калитке и, оставя ее позади, вплыло по кирпичной тропке, остановилось у меня под окном.

— Кто тут?

— Это я. Эви. Эви Бабакумб. Что ли не видишь?

— Какого…

— Тише ты, еще разбудишь кого. Спускайся осторожно. Одевайся. Ох, ну поскорей! Я…

— Минуточку.

Я нырнул обратно в комнату, стал нашаривать свою одежку. Я довольно часто видел Эви, на протяжении многих лет. Но никогда с нею не разговаривал. Я видел, как она скользит по другую сторону Площади своей неповторимой походкой

— тело неподвижно, только ножки переступают ниже колен. Я знал, что она работает рядом, в приемной у доктора Юэна, что у нее сияющая черная грива до плеч и фигура, преображающая белое с синим ситцевое платьице, знал, что она дочь городского глашатая и живет в одной из развалюх Бакалейного тупика. Но конечно, мы с ней ни разу не разговаривали. И знакомы не были. Само собой.

Я на цыпочках спустился по лестнице, в темноте избегая третьей ступеньки, под звуки нежного храпа из родительской спальни. Снял с гвоздя плащ, с предосторожностями, как взломщик возле сейфа, поднял цепочку, щеколду, отпер ключом входную дверь. Эви дышала в нее с другой стороны.

— Сто лет копался!

Она как-то странно пропела это и скрипнула зубами. Сейчас, совсем рядом, я разглядел, что она накинула на голову шарф и обеими руками придерживает ворот плаща.

— Спешил изо всех сил. Чего тебе?

— Бобби Юэн с машиной в лесу. Не может ее сдвинуть.

Какие бы зыбкие допущения и надежды ни роились в моем мозгу, они тотчас лопнули. Бобби

Юэн был сын доктора Юэна. Мы были соседи, и я его не любил. Я завидовал его частной школе, предстоящему поступлению в Крануэлл[29] и главное — его красненькому мопеду.

— А мне какое дело? Почему он, например, Генри Уильямса не попросит?

— О Господи!

Она немного ссутулилась, качнулась ко мне. Может, из-за туч поднялась луна. А может, поднялись сами тучи. Так или иначе, все вдруг обтянуло светом, рассеянным, смутным, будто исходившим отовсюду сразу или присущим самой природе воздуха. При этом свете я мог подробней ее разглядеть. Лицо очень белое, рот и глаза — черными сливами, и по ним размазаны черные пряди. Ее обливала и стекала с нее ручьями вода. Она шмыгнула носом, вцепилась в мои плечи, ткнулась лбом мне в грудь.

— И еще у меня, это, каблук отлетел. Папка прям…

Дернула головой, одолевая чиханье, зажала ладошками рот. Молча содрогнулась. Пукнула.

— Извиняюсь.

Сливы глянули на меня поверх ладошек. Она

---

[29] Примечания: 29
Летное училище близ города Линкольна.

смущенно хихикнула.

— Послушай, Эви. Что я, по-твоему, должен сделать?

— Помоги ему машину из пруда вытащить.

— Из пруда!

— Ты знаешь, это где — лесом-лесом и на горку. Ох, ну, Олли! И чтоб никому. Прям жуть, что будет…

— Пусть сам со своим отцом разбирается. Недоумок малолетний!

Роберт был на три месяца старше меня, Эви — на три месяца младше.

— Как ты не соображаешь, Олли! Это не отца его машина!

— А, ну, значит, так ему и надо.

— Ох, Олли, а я на тебя понадеялась…

Она шагнула ко мне, подошла вплоть. Вжала в меня груди. И тут, будто она включила его своей волей, я почуял запах, от которого у меня зашлось дыхание. Плащ мокро свисал с нее, и под ним мало что было надето.

— Мне в двенадцать дома быть, кровь из носа.

— Уже первый час.

— Знаю. Если папка узнает…

При всем холоде и сырости ночи сердце мое забухало — бух, бух, бух. Руки обвились вокруг

нее. Она ровно дрожала.

— Ладно уж.

Она стиснула мои плечи.

— Ох, ну, Олли, ты мировой человек!

Нижняя из трех слив приподнялась, и я ощутил холодный клевок. Она меня отпихнула.

— Скорей. Ты лучше на велосипеде ехай.

— У меня фонарика нет. Я лучше бегом. И — Эви…

— Чего?

— Может, мы с тобой… Ну, может, мы…

Она, кажется, вздумала прихорашиваться — подняла руку, чтоб смахнуть с лица свисавшие пряди.

— Ну, это мы потом разберемся, да?

И — исчезла, ковыляя через Площадь и придумывая увертки.

Я удостоверился, что смогу попасть в дом, тихонько закрыл калитку и ушел на цыпочках. Отойдя на безопасное расстояние, я припустил трусцой, мимо ратуши, по Главной улице, к Старому мосту. Ветер, пожалуй, поутих, но дождь лил по-прежнему ливмя и, когда я пробегал, мимо гаража Генри Уильямса, уже ручьями натекал мне за ворот. Как ни противно мне было помогать Роберту Юэну, я был счастлив. Моему

умственному взору Эви предносилась не мокрой курицей — лицо, сведенное к трем сливам на белом пятне, — но в летнем платьице, и она переступала ножками, которые, хоть кое-кто счел бы их чуть коротковатыми для совершенства, тем не менее были в порядке, очень даже подходящие ножки. Для чего — подходящие? В случае Эви это было понятно само собой. Она была наша местная достопримечательность, и каждый представитель сильного пола во всей округе на себе это ощущал. Возможно, правда, вечная разомкнутость и вывороченность этих губ объяснялись не столько постоянно возбужденной чувственностью, сколько устройством носика, при всей своей задиристой наглости плохо оборудованного для скромных дыхательных целей. Она шла — бедра неподвижны, только ножки переступали ниже колен — в темном облачном колыхании гривы, женственная, чистенькая, в своей прогулочной униформе — ситцевое платье, белые носочки, сандалии. Мне покуда не посчастливилось подробно ее разглядывать при дневном свете, но беглый взгляд меня ознакомил с ее ресницами. Пробираясь сквозь дождь и тьму в сторону Старого моста, я вдруг вспомнил кисточки — не тонко заостренные орудия мастера,

но кисточки детства, так жадно теребившие краски, что во все стороны жестко торчали путаные волоски. Я вспомнил эти воровски отмеченные ресницы, эти кисточки, так мило дрожавшие вокруг ее глаз, и припустил быстрей. Я и не заметил, как добежал до Старого моста. В Эви не было ничего от сакральной прелести Имоджен. Исключительно мирская.

Крутой подъем к лесу заставил меня, однако, перейти на шаг и опомниться. В конце концов, существует ведь Бобби Юэн — со своим мопедом, престижной школой и фанаберией. Существует и сержант Бабакумб. Вспомнив о сержанте, я с разгону остановился. Если он узнает, что я целовался с его дочкой — ну, то есть она меня целовала — после полуночи, он свернет мне шею. Или пожелает поговорить с моими родителями. Неизвестно, что хуже. Сержант Бабакумб, блюститель ратуши, тюремный попечитель, церковный служка, городской глашатай и прочая, прочая, каких еще только должностей не резервировала для него наша выморочная история, — пусть сержант Бабакумб и смешон в наряде городского глашатая позапрошлого века, но при мысли о том, что он ее отец, мне представилась могучая грудь, мясистые кулаки и апоплексическая фи-

зиономия с воинственно выпученными глазами. Я вздрогнул, задавшись древним как мир вопросом. Зачем у таких отцов родятся такие дочери?

Потом — будто она стояла рядом — я втянул ноздрями пахучее веяние, и сержант обратился в нуль. Я затрусил в гору, мокрые брючины облепляли голени, с волос капало в глаза. Правда, ветер унялся, унялся и дождь. И перед тем как нырнуть в межкомельную глубь, я отметил наверху прочисть во тьме, которую силился прободать месяц. Церковные часы в долине пробили час.

Стало еще светлей, когда я вышел на прогалину подле Оковалочного пруда. Я различил очертания малолитражки, стоявшей у дальнего от дороги берега и обведенной водой. Роберт Юэн вышел из тьмы под деревом, стал на дороге, поджидая меня.

— Олли?

Подойдя ближе, я увидел и услышал, что он дрожит пострашней, чем Эви, но честно старается этого не замечать. Костистый, тощий, на семь сантиметров меня выше, он обладал копной рыжих волос и профилем герцога Веллингтона[30]. Он стягивал на себе плащ. Ниже торчали белые

[30] Примечания: 30

Артур Уэлсли Веллингтон (1769–1852) — победитель Наполеона при Ватерлоо. — *Примеч. ред.*

голые коленки, еще ниже — голени, все в черных разводах, и под разводами — мятые носки. Одна нога была без ботинка.

— Я. Господи. И как тебя угораздило?

— Что так долго? Ладно, раз уж ты наконец явился, давай действовать.

— Где твой ботинок? И брюки?

— Утонули, детка. — Роберт избрал беспечную интонацию, но его подвели вдруг застучавшие зубы. — Канули без следа.

— Я знаю эту машину! Это Пружинкина! Машина мисс Долиш.

Роберт обратил к ней герцогский профиль.

— Не важно. Лучше решим, что делать.

— Ну да, а почему?…

Роберт шагнул ближе, склонил ко мне лицо.

— А вот это не твое дело. Но если уж хочешь знать, я подбрасывал нашего юного друга Бабакумб на танцы в Бамстед. Не мог же я везти ее на мопеде в такую погоду, верно? Вот я и занял экипаж Пружинки на часок-другой. Что, собственно, она могла бы иметь против, верно? Только ты, разумеется, не должен ей ничего сообщать.

Я понял, что сын доктора Юэна не мог повезти на танцы в машине своего отца дочь сержанта Бабакумба. Мне не пришлось долго думать. Это

было естественно.

— Ясно.

— Ты удовлетворен?

Он стоял на дороге, ежась и приплясывая, пока я снимал ботинки и носки. Вода была жутко холодная, зато мелко. Роберт не догадался, конечно, что из пруда есть два пути, и выталкивал машину задом на горку, хотя, тратя вдвое меньше энергии, мог бы толкать ее вперед. Мы ее вытащили на дорогу, я сидел на подножке и обувался, Роберт бился над зажиганием и сражался с заводной ручкой.

Когда я уже завязывал шнурки, он сдался и встал, нарисовавшись герцогским профилем между мною и месяцем.

— Безнадежно, Оливер. Придется тебе ее толкать.

— Мне? Еще чего! А почему ты сам не можешь толкать эту дрянь?

— Пораскинь мозгами, детка. Кто-то должен сидеть за рулем. Ты что — умеешь править? И вдобавок ты тяжелей меня.

— Интересное кино!

Тем не менее это была правда. Роберт был на семь сантиметров меня выше, а уж держался так, будто на все тридцать, на целую голову, но он

был вдвое тоньше. Меня вдруг прорвало:

— Господи! Уж помалкивал бы! Загнал эту говенную телегу в этот говенный пруд!

Я вскочил в совершенном бешенстве.

— Спокойно, — сказал Роберт. — Поясняю. Я не правил.

— Так какого лешего…

— Ты намерен провести здесь остаток ночи? Собственно, нас занесло с дороги под это дерево ради легкой разминки. Да, кстати, вспомнил… Минуточку…

Он обежал пруд, взбежал к тому дереву на взгорке, вернулся, что-то неся в обеих руках.

— Настил.

— Это еще зачем?

Он открыл дверцу двухместной Пружинкиной малолитражки и стал запихивать настил. При этом он бросал мне через плечо, как офицер, вдохновляющий своих людей на безопасную, но сложную операцию:

— Маловато в этих марках места. Наша крошка сидела спереди, и я вытащил настил, чтоб стоять на земле. Схватываешь? Только дело, увы, сорвалось, верней, эта старая колымага. Очевидно, я задел задницей ручной тормоз. Итак, ухнем, юный Олли!

Действительно, навалясь на машину спиной и уперевшись обеими ногами, я, конечно, смог ее двинуть в гору. Она стронулась, я повернулся и стал ее толкать под углом сорок пять градусов вверх. Это было не так уж трудно. Но вдруг, без всяких прелюдий, машина стала, саданув меня багажником.

— Тьфу ты!

— Ножной тормоз несколько резковат, — сказал Роберт. — Погоди минуточку, Олли. Я чудовищно продрог. Что греха таить. Раз уж мы стали, я гляну, нет ли у старухи в багажнике пледа.

— Нет уж, рули давай! Если она опять станет, я иду домой!

Над дверцей показался его профиль — Роберт вылезал из машины.

— Я погибаю!

— И погибай!

Это был открытый мятеж. Не говоря ни слова, Роберт влез обратно, зубы у него стучали, плечи, даже руки тряслись. Мы снова стронулись с места.

Я ворчал:

— Говенная телега. Кретин говенный. Говенный ножной тормоз. И какого черта ты не нажал на него тогда, под своим этим деревом?

Тут уж Роберт вышел из терпения, он даже взвыл.

— А ты не пробовал бегать с горки задом со спущенными портками?

— Ну, тогда девка говенная. Она почему нажать не могла?

— Как, интересно, если ноги у нее были на ветровом стекле?

Я понял. Я продолжал толкать, крякая и ругаясь.

— Давай-давай, Олли! Так-то оно лучше. Мы почти наверху. И все же она дивная девочка, наша юная Бабакумб, надо отдать ей должное.

— Почему это?

— Она пыталась править.

Вдруг вес машины убавился. Я услышал, как Роберт потянул за ручной тормоз, и она остановилась.

— Какого лешего…

— Все. Влезай.

Мы были на верху горы, дорога сбегала из лесу вниз, к Стилборну. Я различал церковную башню, сумятицу домов, деревья темными призраками. Я влез к Роберту, уселся рядом. Я ворчал, он дрожал.

— Господи, как еще я ее по Главной улице

пропру!

— Этого от тебя и не требуется. — Роберт задрал к небу герцогский профиль. — Кстати, там нас копы засечь могут. Дунули!

Сто двадцать секунд спустя я вынужден был признать, что то ли в своей этой школе, то ли в семье, то ли даже из «Однокашников» и «Записок мальчика» Роберт поднабрался кой-каких качеств, не вполне, на мой взгляд, заслуживающих презрения. С выключенными фарами и мотором мы перемахнули горб Старого моста, как горнолыжники. Пронеслись по Главной улице, через бетонированную площадку гаража Уильямса, нырнули вправо между двумя сараями, влево, на открытый участок, где Роберт вечером обрел машину, — все исключительно на силе земного притяжения. И только тут остановились таким рывком, что меня кинуло носом на Пружинкино ветровое стекло. Очухавшись, я почувствовал к Роберту невольное уважение. Но мы так друг на друга злились, что прощание не могло не быть натянутым и ледяным. Молча, надутые, мы на цыпочках обходили Площадь. Роберт остановился у нашей калитки, повернулся ко мне и холодно шепнул с высоты своих лишних тридцати сантиметров:

— Ну вот. Спасибо за поддержку.

Я шепнул:

— Не стоит. На здоровье.

Мы расстались, озабоченные каждый тем, как бесшумно войти. На церковных часах пробило три.

Солнце вползло мне на лицо и разбудило меня. И сразу я вспомнил — машина, Роберт, три сливы, одна поднимается, пахучее дуновение. Юный оптимизм мне подсказывал: ничего не кончилось. Все только началось.

И что еще ожидало меня впереди! Из окна нашей ванной просматривался не только наш двор, но и двор Юэнов. Возможно, очень даже вероятно, я увижу Роберта за его тренировкой и смогу над ним поиздеваться. Я, осклабясь, кинулся в ванную. И действительно. Глянув в окно, я сразу увидел, как он трусит по тропке в шортах и майке и свирепо лупит воздух боксерскими перчатками. Дотрусил до конюшни, где пристроил подвесную грушу, ловко ее саданул.

— Р-раз!

Заплясал от нее, потом вокруг, потом снова к ней.

— Р-раз!

Груша не отвечала, только слегка вздрагивала

под каждым ударом. Он все дальше отплясывал, выбивая из груши ответ, потом двинулся прочь по тропке элегантной тренированной трусцой — коленки вверх, перчатки вверх, подбородок книзу. Вот повернул обратно, показывая плотные поножи из липкого пластыря на голенях. Вернулся к груше. Я открыл окно и, бодро орудуя помазком, громко расхохотался. Роберт вздрогнул, потом сделал новый свирепый выпад с ближней дистанции.

— Тренируем дух и тело?

На сей раз Роберт не вздрогнул. Сделал нырок, ударил. И опять. Я скреб щеку новой бритвой и хрипло орал:

— Мы во флот пошли-и-и, чтоб увидеть ми-и-р…

Роберт оставил в покое грушу. Я весело озирал бровку горы на севере от Стилборна, кроличий садок на склоне, заросли на вершине и пел дальше:

— Мы увидали пру-уд!

На нижней границе моего непосредственного поля зрения я увидел взгляд Роберта. Таким взглядом держат в границах империю, усмиряют по крайней мере. Когда белые вооружены таким взглядом, ну и плеткой в придачу, что против

них дубинки и копья? Он гордо прошествовал в дом, глядя прямо перед собой, задрав герцогский профиль. Я хохотал — громко, дико, надсадно.

Мама нежно мне пеняла за завтраком:

— Оливер, детка, конечно, ты сдал все экзамены и скоро поедешь в Оксфорд, и видит Бог, как я рада, что ты доволен, — но ты ужасно шумел в ванной! Что соседи подумают?

Я ответил невнятно:

— Младший Юэн. Смеялся над ним.

— Только не с набитым ртом, детка!

— Прошу прощенья.

— Бобби Юэн. Как жаль, что вы… Правда, он так долго отсутствовал из-за своей школы…

Этот телеграфный стиль не нуждался для меня в расшифровке. Мама сожалела о социальных различиях между нами и Юэнами. И еще она думала о несовместимости характеров, осложнявшей это различие и усугублявшей его. Детьми, так сказать, в пору социальной невинности, мы играли вместе. И я знал кое-что про эти игры, о чем ни моя мама, ни миссис Юэн не догадывались. Мы тогда едва вышли из пеленок.

— Ты мой раб.

— Ничего не раб.

— Нет, раб. Мой папа доктор, а твой у него ап-

текарь.

Вот почему я столкнул его с забора на огуречный парник Юэнов, и еще столько грохоту было, когда он упал. Естественно, после этого наши пути разошлись, а из-за школ, мопедов и нежных родителей наше общение сводилось к тому, что мы снайперски друг в друга стреляли из своих духовых ружей, правда, аккуратно норовя промахнуться. И вот я поцеловал Эви Бабакумб — ну, в общем-то, и Роберт выставил себя передо мной идиотом.

— Оливер, детка. Пожалуйста, не свисти с набитым ртом!

После завтрака я как можно непринужденней заглянул в аптеку, где папа — по старинке — скатывал пилюли. Стоя в дверях коридора, соединявшего наш флигель с аптекой, я впервые сообразил, насколько он больше похож на настоящего доктора, чем важный доктор Юэн или хлипкий доктор Джонс, младший компаньон. Подобные визиты не были у нас приняты, папа только хмуро глянул из-под насупленных бровей и промолчал. Прислонясь к косяку, я измышлял предлог, чтобы пройти в приемную, где сейчас, несомненно, работала Эви. Возможно, папа согласится с тем, думал я, что я нуждаюсь в тща-

тельном осмотре: у меня и правда что-то странное творилось с сердцем. Но я не успел еще выдавить из себя первое слово, а уж Эви — снабженная, очевидно, антенной, как моя мама, — показалась в конце коридора. В своем сине-белом ситцевом платьице, только в чинных чулочках под носками — за конторкой в приемной с голыми ногами она, разумеется, сидеть не могла. Приложив палец к губам, она отчаянно трясла головой. Лицо у нее изменилось. Левый глаз запух, и кисточки с левой стороны не трепыхались, застыли по струнке. Правая сторона была зато подвижна вдвойне. Мне, правда, некогда было детально ее разглядывать, поскольку она явно что-то хотела мне сообщить. Палец на губах, качание головой — это я мог понять. Никому, никогда, ничего! Тут все ясно, могла бы и не просить. Но эти вращения рук у горла, будто ей грозит удушение, этот указательный палец, свирепо тычущий куда-то в сторону Площади, — это зачем? И голова кивает, и разлетается грива…

Эви застыла. Вслушалась. Исчезла в приемной. Беззвучно закрылась дверь. Папа все скатывал свои пилюли. Я непринужденно побрел по коридору обратно в наш флигель и уселся за пианино. Я играл и думал. Меня всегда выручало это при-

крытие. Зачем ей понадобилась Площадь? Кто собирается ее душить? Самой вероятной кандидатурой был сержант Бабакумб, но едва ли он стал бы это делать в приемной у доктора. Или она вызывала меня на Площадь, чтоб потом что-то мне сообщить — ну, скажем, на Главной улице? Ей еще торчать и торчать в приемной. Но она, наверно, как-нибудь вывернется. Все восхитительней прояснялось одно — Эви Бабакумб назначала мне свидание. Не Роберту. Мне!

Я прошагал на Площадь и — руки в карманах — стоял и разглядывал небо. Оно сверкало услужливой синевой. Я ждал, что вот-вот она явится и я пойду за нею в какой-то подходящий тайник, но минуты тянулись, потом уже еле ползли, а она не являлась. Явился, наоборот, сержант Бабакумб. Вышагнул из-под колонн ратуши, вытянулся по стойке «смирно», окинул взглядом Площадь, церковь. С медным колокольцем в руке, в одежде городского глашатая — башмаки на пряжках, белые бумажные чулки, синий сюртук, плоеный бумажный воротник, красные бриджи, красный жилет и синяя треуголка. Встряхнул колокольцем, грозно оглядел церковную башню. И завопил:

— Эй! Эй! Утеря. На Бакалейной улице, между

часовней и Бакалейным тупиком. Крест золотой на цепочке. Выбиты буквы Э. и Б. И надпись «Амыр винзит оминыр»[31]. Харантировается вознахраждение.

Снова тряхнул колокольцем, взметнул треуголку к небу и верноподданно рявкнул:

— Хосподи, короля храни!

Надел свою шляпу, повернул направо и прошагал предписанным семидесятисантиметровым шагом на угол Мельничной, чтобы все повторить сначала. Э. Б.! Эви Бабакумб! Я понял все. Крестик должен быть найден и возвращен в глубочайшей тайне. Ни звука о лесах и прудах. О танцульках в Бамстеде, возможно, тоже ни звука. Я точно знал, что мне делать.

С моим талантом к долгим глубоким расчетам, который впоследствии столь пригодился Отечеству, я проанализировал ситуацию. Эви нужен ее золотой крестик. Мне нужна Эви. Возвращение на то место, где она оказалась столь доступной для Роберта, сулило решение проблемы нам обоим. Она, скрытница, могла тихой сапой отправиться туда сама. Мой тонкий замысел строился на том, чтобы оказаться там с нею одновременно.

---

[31] Примечания: 31

Amor vincit omnia — любовь побеждает все *(лат., искаж.).*

Я знал расписание доктора Юэна как свои пять пальцев. Знал, что Эви всегда может приврать, что задержалась якобы навести порядок, проверить картотеку. Вправе, между прочим, даже сослаться на чей-то тяжелый случай для прикрытия собственного. Ведь если кто-то, гуляя по лесу, ненароком наткнется на посверкивающий между сучьями крестик и преподнесет его сержанту Бабакумбу, она схлопочет такой фонарь, перед которым померкнут все звезды. Ей даже, если слухи не высосаны из пальца, грозит сержантский армейский ремень с пряжкой и в медных заклепках. При мысли об этом ремне и открывавшейся возможности спасти от него Эви меня, как я ни был натянут и возбужден, кольнуло благородное сочувствие.

Я прошел коридором к своему велику. Скатился по Главной улице и проехал по Старому мосту со всей осторожностью, потому что сержант Бабакумб теперь уже там оглашал свой текст. Я затолкал велик на горку, потом скатил к пруду.

Все было то же, да не то. Вода была тихая. Лес тоже тихий, только гудел и жужжал под солнцем. Зеленая рябь, сверканье стрекоз подергивали воду, кружила, выплясывала мошкара. Я втащил велик по изволоку от пруда и привалил к

гигантскому дубовому комлю. Осмотрел все кругом, потом обшарил взглядом ведущий к пруду след. Крестика я не обнаружил, только грязный ботинок. Я запустил этим ботинком в чистую траву перед цветущим кустом и стоял, глядя на темную воду. Делать было нечего. Оставался метод научного поиска, как, например, разделив на участки пустыню, ищут разбитый самолет. Крестик, наверное — скорее всего — в пруду. Но сперва логичнее было поискать в более доступных местах.

Я вернулся к дубу и проверил сантиметр за сантиметром все вокруг следа. Покончив с одним участком, я его обкладывал прутиками. Скоро я выложил ими всю площадь между дубом и кромкой воды. Крестика не обнаружилось. Делать было нечего. Я разулся и ступил в воду. При каждом движении я взбаламучивал грязь, выжидал, пока она снова осядет, но и тогда не мог поручиться, что ясно вижу дно. Наконец я стал слепо шарить руками. И все равно я втыкал прутики, чтоб они торчали из воды. Мне удалось обнаружить лишь пару глубоко зарывшихся в дно скрученных брюк.

Я прошлепал на берег, печально уселся под дубом и стал ждать, когда у меня высохнут ноги.

Я вернулся к своим расчетам, но не тут-то было. Будто грохот ракеты взлетел на холм со стороны Стилборна, понесся сквозь лес. Вот мопед достиг пруда, затормозил, потом задним ходом проурчал по траве к моему дубу. Закашлялся и стал за стволом.

— Ну, прыг-прыг, крошка!

Эви, истинная дочь солдата, мобилизовала все силы.

— О! — сказал Роберт. — О! Кого мы видим! Кого мы наблюдаем!

Эви следом за ним обежала дуб.

— Ну! Олли! Нашел?

— Нет. Увы!

Эви всплеснула руками. Заломила их.

— О Господи! Господи!

Кроме ситцевого платьица на ней, кажется, ничего не было, если не считать носочков и сандалий. Возможно, она боялась порвать чулки на заднем сиденье мопеда. Или вообще не любила чулок. Когда мне удалось отлепить взгляд от остальных ее статей, я увидел, что опухоль вокруг левого глаза расползлась по щеке вниз. Другой глаз, яркий, серый, широко распахнулся посреди застывших кисточек — широко распахнулся и был полон тревоги.

— Ну, как личико, Эви?

— Теперь-то уж ладно. Совсем не болит. Я в дверь, понимаешь, врезалась. Жуть как больно было. Господи! Нам же прям кровь из носа надо этот крестик найти. А вдруг кто-то уже нашел! Да папка же тогда…

Роберт положил руку ей на плечо. И сказал мягко, но решительно:

— Без паники, крошка. Просто надо поискать.

— Я уже искал.

— Поищем еще.

— Ты думаешь, эти прутики зачем? Я искал научным методом. Теперь только если пруд выкачивать. Твои брюки, кстати, сушатся там на кусте.

— Спасибо, — выдавил Роберт. Посмотрел на куст. — О Боже! Олли, Олли! Мог бы хоть слегка счистить грязь!

— Еще не хватало!

— Олли! Бобби! Мальчишки!

— Уж я старался для тебя изо всех сил.

— Кто-то его, получается, стибрил, — сказал Роберт. — Ха! Научный метод. Каждый сантиметр облазил и не нашел. Что ж, поверим тебе на слово, деточка!

— Интересно, на что это ты намекаешь?

— Научный метод. — Улыбка все не сходила с герцогского профиля. — Да чем умничать…

Роскошное оскорбление пришло мне в голову.

— Я карманы его вывернул, Эви. Крестика там не оказалось. Может, он в пиджак его сунул. Ты спроси.

— Олли! Бобби! Мне через полчаса на прием!

Роберт уже не смеялся. Стал сразу очень тихий, очень спокойный. Потрепал ее по плечу:

— Ну-ну, успокойся, моя радость.

Я сардонически расхохотался.

— Как шейка после вчерашнего — не ноет?

— У меня? Здрасте! С чего это?

Одна сторона ее лица подхихикнула и сразу стала опять серьезной. Роберт медленно прошел к кусту, повесил пиджак рядом с брюками. Вытащил из-за ворота шелковый шейный платок, сунул в пиджак. И так же медленно вернулся обратно.

— Не пройдешься ли ты за это дерево, юная Бабакумб?

— Ты чего? Что удумал?

— Я намерен преподать этому юному кретину урок, в котором он остро нуждается.

Повернулся ко мне, возвышаясь надо мною на добрых тридцать сантиметров, выгнул шею.

— А ну давай. Туда.

И зашел за куст. Я вопросительно глянул на Эви. Она устремила глаза ему вслед, стискивая руками шею, разинув рот. Я стал босиком пробираться по желудям и сучьям. За кустом была поляна, открытая полоса безупречного дерна между двумя стенами высоких зеленых папоротников. Роберт ждал, со зловещей услужливостью раздвигая для меня руками волчцы. Потом оглядел меня с расстояния нескольких метров, стиснув челюсти, вяло расставил ноги. Что-то он мне смутно напоминал — картинку из книжки, возможно. Он обратился ко мне, будто тоже припомнил книжку:

— Какая сторона для тебя предпочтительней?

Мы в нашей гимназии дрались, конечно, по-своему. Боксерские перчатки, груши и прочее нам были не по карману. Кроме того, я был староста и посвятил себя химии. Я был выше этих глупостей.

— Я не боксирую.

— Ничего. Научу. Может, извинишься?

— Вот уж этого ты не дождешься.

Роберт выпятил левое плечо, поднял кулаки, уткнул в них подбородок и стал приплясывать ко мне. Я тоже поднял кулаки, левый кулак вперед,

хотя у меня было то, что Роберт научно бы обозначил как левая стойка. Блистательная октавная техника моей левой руки на клавишах всегда впечатляла, пока не обнаруживалась жалкая немощность правой. Но Роберт был не пианино. Он во всю длину выбросил свою костлявую левую руку, и лес взорвался сплошной белой вспышкой. Я в ответ мазнул кулаком, но Роберт успел отскочить на три метра, тряс рыжей копной и пританцовывал, готовясь к новому наскоку. Я снова сделал выпад сквозь красные круги, расходившиеся и сплывавшиеся перед моим правым глазом, но Роберт уже опять куда-то делся. Вот он замахнулся правой, и мое левое ухо — да нет, весь лес — пронзил густой, тягучий звон. Руки еще ладно, но весь я скорей неуклюжий. И пока Роберт, недосягаемо танцуя, увертывался от моей правой стойки или как она там называется, мое раздражение перешло в злость, потом в ярость. Сами удары — из моего правого глаза опять сыпались искры — только раззадоривали меня — тык-тык-бах-бах! — я задыхался и обливался потом из-за этой его неуязвимости. Я отринул всякие поползновения ему подражать и сквозь красные круги, снова ощутив его рядом, в своей октавной технике — фортиссимо, сфорцандо! —

взял и врезал ему под дых. Прелестно! Он горячо на меня дохнул, обдал слюной. И повис на мне, бессильно стуча в меня длинными лапами, задыхаясь, безуспешно ловя воздух. Один его ботинок нестерпимо врезался в мою голую ногу. Я взвыл, дернулся и заехал ему коленкой прямо между ног. С неимоверной быстротой он скорчился, разинул рот и зажал кулаки в паху. Я размахнулся левой и снизу угодил ему по носу. Он отпрянул в папоротники на краю поляны и скрылся.

Красные круги понемногу таяли, стихал густой звон. Я стоял босиком на поляне, весь мокрый от пота. Я так сжал зубы, что стало больно челюстям. Сквозь шквал в моей голове снаружи в нее проникали только слабые стоны укрытого папоротниками Роберта. Вариации на тему «О-о-о». Первая начиналась с тоненькой долгой ноты и кончалась надломным подъемом голоса, будто он сам себе задавал стыдливый вопрос. Вторая была тоже долгая, очень нежная, будто ответ уже найден. А потом пошло что-то просто несусветное. У меня у самого сердце выпрыгивало из груди, хотелось бежать, обуться, а потом вернуться и на него наброситься.

— Олли! Бобби! Вы где?

Эви где-то металась в папоротниках. Все еще

сжимая кулаки, я надсаживаясь заорал:

— Тут мы! Где еще?

Она на секунду вынырнула:

— Где он? Ты чего ему сделал? Бобби!

И снова исчезла. Голова и плечи Роберта показались из папоротников. Одна рука зажимала лицо каплющим красным платком. Другая была не видна — наверно, все еще зажата в паху. Но и тут, сквозь окровавленный платок, он пытался пустить в ход свою элегантную небрежность.

— Еввундовое поввездение. В бойницу. Пвофу пвофенья.

И стал продираться прочь. Эви еще не появилась.

— Бобби-и! Ты где?

Она выгребла на поляну, побежала, мелькая сандалиями и носками. По ту сторону папоротников мопед буркнул и загрохотал — декрещендо — прочь. Эви застыла.

— Здрасте! Как же я-то теперь? Все ты! Ему завтра в Крануэлл. Мы бы в последний раз…

— В последний раз — что?

Она повернулась ко мне. Глаза у нее горели. Дышала она так же часто, как я. Она возмущенно хмыкнула.

— Все мальчишки — прям гады!

— Н-да, я ему немного подпортил вывеску.

— Рубашка у тебя — ну ой. Прилипла вся.

— Кадет Юэн, Безносое Чудо. Так его в цирке будут показывать.

Снова на меня пахнуло ею, сквозь едкий запах моего собственного пота. Я схватил ее за руку, притянул к себе. Зубы у меня разжались, но сердце бухало как бешеное.

— Эви…

Лес поплыл.

— Я… хочешь, я для тебя пруд выкачаю?

Кисточки дрогнули. Вытаращился один глаз. Губы округлялись все шире, пока я к ним склонялся.

— Ты послушай!

Я потянул ее к себе; но она была сильнее Роберта и меня отпихнула. И в ужасе дернулась. Я услышал из долины звон церковных часов.

— Третий раз на неделе опаздываю!

Она бросилась в папоротники, я сунулся было за нею, но напоролся голой ногой на чертополох, заплясал и взвыл.

— Эви! Подожди!

— Дак прием уже!

Я разгреб самые очевидные колючки и пробрался сквозь них туда, откуда пришли мы с

Робертом. Его брюки и пиджак по-прежнему висели на кусте, рядом валялся ботинок. Я закатал собственные брюки, впопыхах натянул носки, надел ботинки. Эви уже на пятьдесят метров ушла по дороге, когда я был готов рвануть ей вдогонку. Шла шагом, потом припускала бегом, колыхая гривой, потом снова шла. Максимум, решил я, что можно извлечь из нынешнего свидания, — это договориться о новой встрече, и я припустил побыстрей и эффектно затормозил перед нею.

— Вот правильно! Ой, не смотри!

Она подобрала юбку чуть не до пояса. На ней были белые трусики с белыми кружавчиками. Она села верхом на багажник моего велика, и багажник тяжко вздохнул.

— Ты лапка. Нет, правда! Скорей!

Всем своим весом я налег на одну педаль и кое-как столкнул велик с места. Мы завихляли по дороге.

— Я жуть как опаздываю.

Я напряг все оставшиеся силы, меня снова прошиб пот. Мы развили неплохую скорость.

— Оливер, а ведь он и пиджак оставил, не только эти… Чего миссис Юэн скажет, прям не знаю! Вот мы доедем, и, может, ты?…

— Что — я?

— Ну а кто ж ему принесет?

Я испустил нечто вроде рычанья, поднял руку, чтоб отвести волосы, вытереть слепивший глаза пот, и чуть не свалился с велосипеда.

— Осторожно!

Вдруг все облило светом, и, хоть я не отрывал глаз от текшей под переднее колесо дороги, я понял, что мы выехали из лесу и теперь на вершине холма. Я откинулся назад и положился на закон всемирного тяготения. Церковные часы прошли еще четверть часа.

— Не чересчур гонишь-то?

Я нажал на оба тормоза. Секунду мы буксовали, потом снова понеслись. Я жал на тормоза изо всех сил, но это не помогало. Сзади раздался визг, и горб Старого моста полетел на нас со скоростью ста километров в час. Когда мы достигли его, у меня за спиной дико грохнул багажник, хлопнула шина, взвыла Эви. Велик с разгону запнулся, и тяжестью Эви меня чуть не перебросило через руль. Она слезла с багажника и минуту постояла, охлопывая себя обеими руками пониже спины.

— Ой, платье порвала. Нет. Ничего.

— Погоди минуточку.

— Нет, мне бежать надо.

— А что, если нам…

— Может. Не знаю. Спасибо все равно, что подбросил.

Она метнулась через мост и скрылась. Я осмотрел свой велик. Багажник и брызговик смялись, сплющились, налипли на колесо. Шина лопнула. Я ругался и возился с изуродованными частями. Наконец мне удалось их расцепить, отодрав брызговик от рваной резины. Я пустил велик по мосту вскачь. Эви продвигалась по Главной улице тем же манером, как шла от пруда, — то и дело меняя шаг на побежку. Вдруг она припустила бегом, уже не сбавляя скорости, но было поздно. Маленькая птицевидная миссис Бабакумб в своей серой шляпке и со своей кошелкой уже ее засекла. Перебежала через дорогу и вцепилась ей в локоть. И они пошли по улице рядом, и миссис Бабакумб что-то бубнила у Эви над ухом. С низким злорадством я думал, что на сей раз Эви придется как следует пораскинуть мозгами, чтоб выкрутиться. Я прогремел дальше по улице и свернул к бетонной площадке гаража, чтоб поискать Генри. Но когда я его увидел, я, продолжая толкать велик, решил ретироваться, тактично описав дугу. Генри стоял в белой спецовке, руки в боки, и озирал малолитражку мисс Долиш.

— Мастер Оливер…

— А, привет, Генри. Я подумал, ты занят. Не хотел мешать.

Генри нагнулся и осмотрел мое заднее колесо. Я посмотрел — мимо него — на малолитражку, и ноги мои примерзли к бетону. Она как будто года два мокла в болоте.

— Мама родная, — сказал Генри. — Эко вы его шмякнули. Друга подвозили? Н-да. Теперь хоть выбрасывай.

Я услышал у себя за спиной легкий свист. Капитан Уилмот к нам подъезжал на своей электрической инвалидной коляске.

— Привет, Генри. Готов мой аккумулятор?

— С часок еще обождать, капитан, — сказал Генри. — Вот, посмотрите-ка.

И вернулся к малолитражке.

— Погоди, — сказал капитан Уилмот. — Сперва вылезти надо. А ты не уходи, Оливер. Хочу про команду порасспросить.

И стал маневрировать в своем кресле, покрякивая и скрипя зубами.

— Примкнуть штыки!

Капитан Уилмот был инвалид войны, за что и получил соответственную пенсию, экипаж и секретарскую службу в госпитале, которая, по собственному его выражению, вознаграждалась

гонораром. Снаряд, который его накрыл, в придачу наполнил его организм металлическими осколками в самых нераскапываемых местах. Злые языки из Бакалейного тупика, где он жил напротив сержанта Бабакумба, намекали, что он скрипит и трещит больше, чем его коляска. Из-за этого снаряда он оглох на одно ухо. Из него торчала вата. Он вечно пускал слюни и потел.

— Мне надо идти. Я…

— О Господи. Оставайся и не рыпайся.

Он злился. Это потому, что он вылезал из своей коляски. Когда вылезал или влезал, он всегда злился. Если вы смотрели на его лицо, пока он его не приаккуратит, вы могли иногда напороться взглядом прямо на звериную свирепость, будто его единственный двигатель — ненависть. Но он любил молодых и вообще юность, потому, может быть, что у него вырвали его собственную, прежде чем он успел ею попользоваться; юный канцелярист, в котором нуждалось Отечество. Он безвозмездно обслуживал нас на миниатюрном стрельбище нашей гимназии. После бесконечных маневров усаживался рядом, когда мы лежали против мишеней, подавал советы и ободрял.

— Не дергайся, парень! У тебя мушка, как бадья в колодце, ходуном ходит. Жми — вот так!

И далее ты чувствовал, как тебе долго жмут и мнут ягодицы.

— Ну вот, что скажете, капитан?

Капитан Уилмот подковылял на двух своих палках и пристально осмотрел машину.

— По виду судя — с плотины сверзилась.

Нет, ноги мои не примерзли к бетону. Они в него провалились.

— Это у них называется — покататься, — сказал Генри. — Хулиганье. Я бы им показал — покататься.

Открыл дверцу и заглянул.

— Вот! Полюбуйтесь!

Попятился и повернулся. В руке у него был золотой крестик на цепочке.

— Ну? Чего-чего, а крестика мисс Долиш сроду не нашивала, ни в коем разе!

Капитан Уилмот наклонился к руке Генри.

— Ты уверен, Генри? Где-то я его видел…

Генри поднял крестик к самым глазам.

— «И. Хэ. Сэ»[32]. И на другой стороне тоже чего-то есть, «Э. Б. Амор винсит омниа». Это еще чего?

Капитан Уилмот повернулся ко мне:

— Поди сюда, Оливер. Ты у нас грамотей.

---

[32] Примечания: 32

J.H.S. — Jesus Hominum Salvator — Иисус Спаситель человечества *(лат.)*.

Внутри я весь похолодел от страха, снаружи весь горел от стыда.

— По-моему, это значит — любовь побеждает все.

— Э. Б. — сказал Генри. — Эви Бабакумб!

Он поднял грустный карий взор на мое лицо и не опускал.

— То-то я говорю — где-то видел, — сказал капитан Уилмот. — Рядом живет. Ходит ко мне уроки брать, понимаете? Письма, карточки, ну всякое такое. Она его под низ надевает, вот сюда.

— Она раньше тут работала, — сказал Генри, все еще не сводя глаз с моего лица. — Пока к доктору не перешла. Тогда, значит, и потеряла.

— Вообще-то, — сказал капитан Уилмот, — она его не всегда под низом носит, когда бусы не надевает, он у нее снаружи висит, вот тут. Ну, я пошел.

И поковылял к своей коляске, больше не поминая ни команду, ни аккумулятор. Он нам улыбался, и улыбка стала зверской, когда он усаживался. Сложил обе палки, развернул коляску и засвистел прочь.

Генри все смотрел мне в лицо. Меня, поднимаясь от пяток, неудержимо захлестывала краска. Вот прилила к плечам, ударила в руки, так что

они взбухли на руле. Залила мне лицо, голову, даже волосы у меня горели.

— Н-да, — сказал наконец Генри. — Эви Бабакумб.

Двое перемазанных в бензине рабочих, возившихся с мотором грузовика, уставились на нас с улыбками, только что не такими зверскими, как у капитана. Генри к ним обернулся.

— Я вам деньги за что плачу? Чтоб вы весь день рты разиня стояли? Мне эти вентиля к полшестому нужны!

Я вякнул:

— Можешь ей сам передать. Или, хочешь, я…

Генри повернулся ко мне. Я отлепил от руля одну руку, протянул. Он раскачивал крестик, как маятник, и внимательно меня разглядывал.

— Вы ведь машину не водите, мастер Оливер?

— Нет. Нет. Не вожу.

Генри кивнул и уронил крестик в мою ладонь.

— С приветом от фирмы.

Отвернулся и опять сунул голову в машину. Ноги мои вновь обрели способность двигаться. Я повел прочь свой увечный велосипед, зажав в руке крестик. Когда я подходил к нашему флигелю, в голове стучало только: ух, пронесло.

Отведя велосипед, я прошел коридором в апте-

ку, где папа щурился у окна над микроскопом.

— Генри, — сказал я, небрежно раскачивая крестик. — Генри Уильямс. Мисс Бабакумб забыла эту вещицу, когда работала у него в гараже. — Я подбросил и ловко поймал крестик. — Попросил, чтоб я ей отдал, — сказал я. — Ведь она сейчас в приемной, нет? Я только зайду…

Я прошел коротеньким коридорчиком и открыл дверь. Эви сидела за конторкой, пытаясь рассмотреть правым глазом свой левый в круглом зеркальце. И увидела вместо него меня.

— Олли! Ну зачем ты…

— Здрасте. Я думал, ты обрадуешься.

Изо всех сил изображая небрежность Роберта, я бросил крестик на конторку. Эви в него вцепилась с ликующим воплем:

— Мой крестик!

Она положила зеркальце и стала прилаживать на шее цепочку. Лицо ее стало торжественным. Она нагнула голову, причитала, как-то странно поводила одной рукой вокруг своих грудей. В нашей местной взвеси англиканства, протестантства и чистого безверия я никогда не видывал ничего подобного. Она глянула на меня и вдруг рассиялась с открытым ртом, подмигивая одним глазом.

— Ну, Олли, ты даешь!

— Как это?

Она отпихнула стул, потом снова села, глянула на меня, тиская края конторки. Она меня разглядывала, будто в первый раз в жизни видит.

— Эви… когда же мы с тобой…

— Ишь шустрый какой, а?

Сомнений быть не могло. Эви Бабакумб, красотка Эви, спелая ягодка, смотрела на меня с одобрением, даже с восторгом!

Из глубин докторского дома хлынул голос:

— Мисс Бабакумб!

Она вскочила, откинула гриву, прошла в дверь кабинета. На пороге оглянулась. Хихикнула.

— Он же у тебя всю дорогу был!

Я понес оскорбление с собой в аптеку. Папа все еще склонялся над микроскопом, поддевая слайд ловкими крупными пальцами. Я беспрепятственно вышел и прошел во флигель, соображая, что мне теперь делать. Если сержант Бабакумб добьется ее показаний с помощью физического воздействия или как-то еще, он может и не разделить восторга дочери по поводу моей воображаемой роли. Дело не терпело отлагательства. Надо было ее увидеть, прежде чем она пойдет домой; но я не находил предлога, чтобы пройти

в приемную. Зато из окна моей комнаты вкось просматривалось все до самой Площади и видны ступеньки соседнего дома Юэнов. Как только она выйдет, я снова спущусь и пройду в наш двор. Если мама будет на кухне, можно очень просто объяснить свои передвижения («Пойду на велик взглянуть»). Во дворе я наберу скорость, перемахну через забор на Бакалейную, задами пробегу мимо Юэнов, священника и еще три двора до поворота к Бакалейному тупику, а там пройду назад между двором священника и церковью. Таким образом я выйду на Площадь с другой стороны и случайно наткнусь на Эви. Итак, я занял свою позицию и затаился за ситцевой занавеской. Ждать предстояло долго, но что мне еще оставалось? И вот, когда она уже должна была с минуты на минуту явиться, я услышал тяжкий державный шаг, приближавшийся к моему окну с другого направления. Сержант Бабакумб надвигался со стороны ратуши. Он не придерживался обычного своего маршрута — мимо адвокатской конторы Уэртуисля, Уэртуисля и Уэртуисля, эркера мисс Долиш и прочее. Он направлялся курсом, который неизбежно вел его прямо к нашей калитке. Нет, не из-за своих действий в течение последних двадцати четырех часов я пришел в ужас. Но

из-за своих намерений. Ибо на лице сержанта под трехцветной треуголкой отображался такой пышущий, такой родительский гнев, что у меня захватило дух. Мясистые кулаки низко раскачивались при каждом шаге, металлические подковы выбивали искры из мостовой. И тут, будто она тоже подглядывала из окна, — Эви выпорхнула из двери Юэнов. Она была в белой шелковой, завязанной под подбородком и хлопающей кончиками косынке. И конечно, в чулках. Она смеялась, улыбалась, обнимала себя за плечи, выворачивала икры и чуть вихляла задом. Подпорхнула к сержанту Бабакумбу вплотную, посылая улыбку ему в лицо, почти вертикально вверх.

— Папка! Смотри! Я его, оказывается, в женском туалете посеяла! Надо же, вот дура-то!

Он шел напролом. Она сошла у него с дороги, повернула и затрусила рядом. Она не поспевала за его размашистым шагом, то и дело припуская вскачь, и весело хохотала. Поравнявшись с ним, она нашаривала его руку, она льнула к нему боком, склоняла голову и вся тянулась вверх, овевая косынкой его плечо. Он ушагивал вперед, она снова припускала вскачь, снова нашаривала его руку. Наконец ухватила. Рука перестала рас-

качиваться. Не замедляя шага, сержант Бабакумб переместил пальцы от ее ладони к запястью. И теперь она уже не припускала вскачь, а ровно трусила рядом мелкой побежкой. Ей ничего другого не оставалось.

Я спустился, вышел во двор и стал кружить по нашему газону, сунув руки в карманы брюк. Между моей тягой к складным прелестям Эви и ужасом перед ее кровожадным родителем роился сонм других, менее насущных соображений. Генри мог где-нибудь проболтаться; хотя я почему-то необъяснимо и незыблемо верил в Генри. Капитан Уилмот мог проболтаться. Роберт — а теперь, когда улеглось мое бешенство, я беспокоился за него, — может быть, всерьез покалечен. Собственное мое левое ухо до сих пор горело, и правый глаз, хоть не такой жуткий, как у Эви, все-таки здорово заплыл. И немного слезился. И еще была Имоджен. Я с разгону запнулся на траве, уставясь на запоздалую пчелу, увлекшуюся колоском шпорника. Я изумленно сообразил, что часами не вспоминал про Имоджен. Она вернулась в мои мысли, вызвав привычное сжатие сердца, но на сей раз я сам не мог объяснить своих чувств. Она как-то-даже подхлестывала мою погоню за Эви. Тут было отчего прийти в отчаяние. Как-то такое

получалось — я даже тогда понимал всю свою глупость, — что раз она выходит замуж, я обязан тягаться с нею и с ним. Я снова принялся кружить по газону. На душе у меня было гадко.

Наутро, когда брился, я увидел, как Роберт выбежал в сад, чтоб последний раз перед Крануэллом сразиться со своей грушей. Мне стало не по себе. Наша драка была типичной дракой между мальчиком его сорта и мальчиком моего сорта из подростковой литературы. Он был стройный и собранный. Я — дюжий раззява. Одним словом, жлоб. И я победил. Причем именно так, как положено побеждать жлобу — единственным позволенным жлобу способом, — жульническим. Заехал ему коленкой по яйцам. И бесполезно было себя уговаривать, что это вышло случайно. Я же знал, что, когда он жалко согнулся пополам, я почувствовал черную злобу, гнусную радость и, конечно, намеренно съездил ему по носу кулаком. На душе у меня стало совсем уже гадко. Он там, внизу, гибко и стройно выплясывал вокруг безответной груши. А на носу был пластырь и на коленке. А я коварный, расчетливый, произношение у меня не то, и машину я водить не умею. Увидев, что он закончил свои упражнения и собрался бежать в дом, я сунул в окно недобритую

физиономию и помахал бритвой.

— Привет, Роберт! Отчаливаешь? Счастливо тебе!

Роберт меня отшил. Задрал свой профиль герцога Веллингтона и понес вместе с пластырем в дом. Я не смеялся. Я был раздавлен, был изничтожен.

Нелегко оказалось, как я ни изворачивался, как ни ловчил, повстречать и нашего общего друга, юную Бабакумб. Она была на крючке. Заточена, обложена, прикована. Каждый день сержант Бабакумб доставлял ее на работу и стоял, глядя, как она исчезает за дверью, и далее шел расставлять стулья в ратуше или укладывать их спать кверху ножками. Или вынимать мелочь из автоматов общественных уборных. Или поднимать государственный флаг. Или трясти медным колокольцем, возвещая карточное состязание в Рабочем клубе или праздник на церковном дворе. Забирала ее миссис Бабакумб. Миссис Бабакумб всегда излучала приветливость и радушие, неукротимые, хоть и редко встречавшие отклик. Она была маленькая, как воробушек, чистенькая, как Эви, только уже усохшая. Она двигалась быстро, задрав подбородок, то и дело кланяясь встречным, улыбаясь, вертя головой, метя своим любезным поклоном через Главную улицу в

кого-то совершенно вне ее социальной сферы. Естественно, этих ее поклонов не замечали, их даже не обсуждали. Потому что никто не мог с уверенностью сказать, то ли миссис Бабакумб спятила и сочла, что имеет на них право, то ли она заявилась из некой баснословной страны, где городской глашатай и начальник полиции дружат домами. Первое более вероятно. Вы могли, между прочим, увидеть, как она, воробушком почирикав у продовольственного прилавка, мило потом улыбалась (легонько склонив голову) леди Гамильтон-Смит, по всей видимости, не подозревавшей о ее существовании. Она была, можно сказать, единственная у нас католичка, миссис Бабакумб, — если не считать Эви, — и это, принимая во внимание прочие странности, делало ее особенно неудобоваримой. Поскольку со сбродом из Бакалейного тупика она не желала якшаться, а остальные с ней сами не разговаривали, было неясно, зачем ей эти кивки и улыбки. Правда, после эпизода с крестиком на несколько дней они прекратились. Сержант Бабакумб доставлял Эви как посылку, а маленькая миссис Бабакумб ее забирала, сморщенная и мрачная.

Через неделю Эви зашла в аптеку, жалуясь на головную боль, и папа чем-то таким ее пополь-

зовал. В тот же вечер, когда миссис Бабакумб пришла к ступеням дома Юэнов, обе дамы удалились, щебеча и смеясь, как две подружки. Перемена существенная — и дальше больше. Эви спустили с крючка, с нее сняли епитимью. Еще через несколько дней около девяти Эви наблюдалась одна по ту сторону Площади. В летнем ситцевом платьице, без чулок, в белых носках и сандалиях. Она плыла, запыхавшись, вывернув губы, околдовывая улыбкой вечерний воздух, блистая гривой, ярко сияя теперь уж обоими глазами, переступая ножками ниже колен. Все возвратилось на круги своя. И таинственно, как светляк, она излучала сияние и соблазн, почти зримые, как лучи света. Когда она поравнялась с эркером мисс Долиш против нашего флигеля, шажки замедлились, как бы сошли на нет. И мне вовсе не почудилось, что с такого расстояния я углядел сумасшедшую дрожь черных кисточек и блеск стрельнувшего в мою сторону глаза. Как по команде хозяина, я бросился вниз и шмыгнул за дверь.

Эви проплыла мимо ратуши по Главной улице. Народу почти не было, только девица в кассе кино и полицейский. Соблюдая табу, я следовал за нею на расстоянии пятидесяти метров. Это было

нелегко, потому что она, обладая, по-видимому, меньшей социальной чуткостью, плелась черепашьим шагом. Мне пришлось изучать витрину шорника, табачника и менее убедительные обольщения галантереи для сохранения должной дистанции. Она дошла до Старого моста и остановилась. В борьбе между зовом приличий и зовом соблазна победа была предрешена. К тому же и солнце село, близилась ночь, под аркой моста уже хозяйничала темнота. Над мостом густели сумерки. Эви расположилась наверху, налегши грудью на каменный парапет. Она устремила взор в ту сторону, где спряталось солнце. Я к ней поднялся. Мы удивились при виде друг друга.

— Как твой глаз, Эви?

— Порядок. Полный порядок. А у тебя?

О собственных ранах я и забыл. Я нажал пальцем на правое глазное яблоко:

— Вроде ничего.

— Бобби не пишет?

Я сперва просто опешил:

— Нет. С чего бы?

Эви некоторое время молчала. Откинула голову назад и искоса мне улыбнулась.

— У тебя навалом свободного времени, да, Олли?

— Ну, в школу ходить не надо.

Трудно было оторвать от нее взгляд, потому что она не только излучала свой собственный свет, от нее шел запах лугов и того хорошенького чего-то в кружавчиках, и девичий смех октавой выше мужского. Тем не менее мне удалось отвести глаза, и тут же по всей Главной улице задрожали, выдираясь из тьмы, фонари. Мы не были невидимками.

— Пройдемся?

— Куда это?

— На гору можно.

— Папка мне не велит в лес ходить. Когда темно.

Пара брюк, глубоко зарывшихся в грязь, мелькнула в моем мозгу и потом устроилась на ветке сушиться.

— Но ведь…

Это было невозможно, непереносимо. Она была сама уверенность, вежливость, спокойствие. Осадок заката мерцал в одном глазу, газовые фонари в другом. Я сделал шаг, второй, потом остановился, оглянулся.

— Ладно, Эви, пошли, можно ведь и по берегу.

Она тряхнула головой, грива взметнулась, опала.

— Не-а. Папка не велит.

Я сообразил сразу, долго не пришлось додумываться. Эта дорога вела через поля к Хоттону, где были конюшни. Сержанту Бабакумбу виделись, наверно, конюхи, похотливо затаившиеся под каждым кустом; и он, очень возможно, не ошибался.

— Ну, тогда… Давай в другую сторону, к Пилликоку.

Эви сомкнула рот, снова тряхнула головой, улыбнулась таинственно.

— Но почему?

Никакого ответа; только взгляд, улыбка, качание головой. И при каждом встряхивании волос этот ароматный посул. Я в смятении гадал, какова на сей раз причина географического ограничения. Заметнее прочего в той стороне была модная закрытая школа, очень и очень сама по себе, хоть всего ничего от нас. Может, сержант Бабакумб и насчет нее имел свои соображения? «Гляди, дочка, всыплю тебе, если с кем из этих фраеров накрою, знаю я их, козлов, как облупленных!» Так или иначе, местность вокруг нас сомкнулась. На юге — эротические леса, на западе — эти конюшни, на востоке — этот колледж, а на севере — лысая неподступность откоса. И так мы

стояли, парочкой, открытые взглядам, на гребне Старого моста.

Словно осчастливленная этим запретом, Эви замурлыкала, покачивая в такт головой:

— Тир-лир-лям-па-пам! Тир-лир-лям-па-пам!

Кровь мне кинулась в голову. Я что-то буркнул, сам не знаю что. Захотелось схватить дубинку, топор. Эви смотрела на меня с удивлением:

— Тебе они чего — не нравятся?

— Кто?

— Ну эти, по радио? Савойские сиротки. Я их всю дорогу слушаю.

Я уже весь трясся от злости:

— Ненавижу! Ненавижу! Пошлость, дешевка…

Мы оба молчали, пока ярость моя не улеглась, оставя по себе мелкую дрожь. Когда Эви наконец заговорила, голос был холодный, надменный:

— Ах, ну, значит, я извиняюсь!

Было ясно, что меня повело не туда. Но пока я раздумывал, что делать дальше, Эви осияла меня улыбкой:

— Вот ты вчера играл, Олли, ой, мне так понравилось. Ну, на пианино.

— Шопен. Этюд до минор, опус двадцать пятый, номер двенадцатый.

— У тебя и громко получается!

— Ну, не знаю…

Я призадумался. Когда я разучивал пассажи «Аппассионаты» шестнадцатыми или октавы в левой руке из ля-бемоль-мажорного полонеза, папа, если он оставил дверь аптеки открытой, иногда тихонько ее прикрывал. Папа сам был очень музыкален и не мог себе позволить рассеиваться, когда работа требовала от него особенной сосредоточенности.

— Я и не знал, что ты проходила мимо нашего дома, Эви!

— Я в приемной сидела, чудик!

Я немного удивился. Как-никак дверь приемной, коридор, дверь в аптеку, еще коридор и еще дверь отделяли приемную от наших желтеющих клавиш. Очевидно, у меня и правда выходило громко.

— Это я так. Для себя.

— Я с утреннего приема шла — ты играл. В вечер иду — опять играешь! Видно, жуть как музыку любишь. Долго играешь, Олли?

— Люблю. Целый день.

— Хорошо-то как! И для меня поиграешь, да? Доктору Юэну тоже нравится.

— Правда?

— Вчера пришел в приемную, как миссис Ми-

найвер ушла, и говорит, что опять он играет.

— Больше ничего не сказал?

— Вроде ничего. Только хорошо, говорит, что ты скоро в Оксфорд уедешь.

Я был глубоко тронут. Я и не знал, что доктор Юэн тоже музыкален. Я разучивал этот этюд Шопена, потому что его разбитые аккорды, нотный шквал в точности выражали и содержали собственную мою страсть к Имоджен, безнадежную, сушащую рот; но технические трудности были ужасны и меня изводили. Я объяснил:

— Там есть нота — соль чистое — мне надо на лету в него попасть вот этим пальцем, видишь…

Я поднес правый указательный палец к ее лицу, и она ухватила его обеими руками, дернула.

— Ой! Не надо! Больно же!

Эви громко хохотала, дергала и дергала мой палец. Лед вдруг тронулся, низвергнулся водопадом. С криками, хихиканьем мы боролись в газовом мерцании сумерек. Странным, непонятным для меня образом из дичи я превратился в ловца. Эви вырывалась:

— Нет, нет, Олли! Не надо…

Она была притиснута к моей груди. И уже не боролась.

— Пусти. Увидят.

Я схватил ее за руку и поволок с моста вниз, туда, где наполовину выступал в воду пирс. Скрылись газовые фонари. Она уже не смеялась, меня снова затрясло. Свет исходил теперь только от Эви, три сливы чернели совсем рядом, но их уже не занавешивали мокрые волосы и дождевые струи, и был настойчив этот сводящий с ума ее запах. Я вжимался в нее, все во мне напряглось, все горело. Я наполучал вдоволь поцелуев. Больше даже, чем мне бы надо. Кроме них я не получил ничего.

Ударили церковные часы. Из девушки, чьих сил едва хватало, чтобы защититься от атаки, если та не подкреплена нежной и кроткой мольбой, Эви разом преобразилась в силачку, рожденную рубить дрова и таскать уголь. У меня еще кружилась голова, я был не готов к такому обороту и, отброшенный обеими ее руками, отлетел на берег.

— Вот! И мамка говорила…

Она вскарабкалась на дорогу. Я вскарабкался за ней, разбрасывая комья грязи. Я догнал ее на мосту.

— Эви… Давай сюда придем завтра вечером. Или, может, пойдем погуляем и вообще, да?

Она продолжала свое продвижение в газовом

свете.

— Что я — запрещу тебе меня встречать? Мы живем в свободной стране.

— Значит, завтра.

— Дело хозяйское.

Она двигалась по Главной улице. Слегка оправясь, я вспомнил о ближних, о том, что мы входим в сферу их тонких влияний. Ближе к середине улицы, над лавкой — снимал комнату, что ли — жил один мой учитель. У ратуши начиналась область, просматриваемая моими родителями. За ратушей была наша Площадь, где они, вполне возможно, высматривали меня из окна. Я сбавил шаг. Скорость Эви замедлилась. Положение тупиковое. Мне остался единственный способ не быть застуканным в ее обществе.

— Ладно, — сказал я и остановился. — Ладно. До завтра.

Эви глянула через плечо:

— А ты не домой?

— Кто? Я? Я вот погулять хотел.

Эви улыбнулась своей косвенной улыбкой.

— Ну, тогда пока.

Я живо пошел к мосту, наверх, потом пригнулся, оглянулся под удобным углом. Платьице и носочки взошли по улице и скрылись между

ратушей и эркером мисс Долиш. Я пошел домой обходным путем и вошел на Площадь с северо-запада. Но в нашем флигеле было темно, родители легли. Я решил немного поиграть перед сном и вернулся к своему этюду. Он теперь содержал не только Имоджен, но и Эви — любовный крах по всем статьям.

Мама сунула голову в дверь, нежно мне улыбнулась:

— Олли, детка. Ужа-асно поздно.

На другой день правый указательный палец у меня болел, как зашибленный. Хочешь не хочешь, пришлось до завтра отложить музыку и пойти гулять. Я гулял долго, пообедал бутербродами и вернулся к вечеру. Времени до моей охоты на Эви оставалось немного, и я его употребил на то, чтобы выставить в самом выгодном свете свои скромные исходные данные. Я не мог соответствовать профилю Роберта, лишним семи сантиметрам роста и мопеду. Но я мог удалить всякий намек на щетину с уже выбритых утром щек и посоперничать с ароматом Эви посредством брильянтина. Я не пытался себя обманывать относительно своей внешности, но я слышал, что девушкам на нашу внешность плевать. Мне очень хотелось бы на это надеяться,

потому что, осмотрев в зеркале свое лицо, я пришел к печальному выводу, что оно не из тех, в какие лично я бы влюбился. В нем абсолютно не было тонкости. Я попробовал победно улыбнуться и в результате перекосился от омерзения.

— Сколько сегодня молочка, мэм? Спасибочки, мэм, да, мэм, нет, мэм, спасибочки, мэм, здрасте, мэм.

Я сам себе показал язык.

— Ето йя-а-а!

Сомнений не было. Мне оставалось быть хитрым, уклончивым, дипломатичным — одним словом, умным. Иначе я мог завоевать девушку только с помощью дубинки. Эви — девушка, да еще какая! Как она меня яростно отшвырнула на три метра, как ловко отстраняла мои жадные лапанья, как нежно, робко отводила мои руки. Сомнительно даже, что и дубинка бы помогла. Но с другой стороны, канувшая на дно пара брюк не допускала разночтений.

Эви была доступна.

— Ето йя-а-а!

Она прошла по южной стороне Площади, на сей раз не глянув на наш дом, и, наученный горьким опытом, я решил немного повременить. Она уже сидела на парапетном камне моста, когда я к ней

поднялся. Я не знал, с чего начать, не выработал никакой блестящей стратегии. Думал было изобразить интерес к птицам в надежде, что она согласится вместе со мной наблюдать, как наши меньшие братья клюют червячков или что там еще они делают. Но я не умел отличить сову от жаворонка и не знал, как про них говорить. Собирать полевые цветы, разыскивать следы древних развалин, выкапывать редкие минералы? Нет! Я ничего не мог придумать. И если она, как стяг, поднимет родительский запрет, мне придется толочься на мосту или на невозможном пути от него к Бакалейному тупику. Тем не менее, мелко приплясывая, я прошелся перед ней и встал, держа за оба конца поперек живота свою трость.

— Привет, Эви!

Эви склонила голову к плечу и улыбнулась:

— Долго ты.

— Занят был.

— Занят? Ты!

Подтекст меня оскорбил.

— Я в себя прихожу. Я очень много работал.

— Пианино — это работа, по-твоему?

— Нет, конечно.

Она ничего не сказала, только все улыбалась. Я туманно гадал о том, что такое пианино; но пока

я гадал, Эви начала мурлыкать. Ноты захлестнули меня, как всегда захлестывали ноты, я стал рыться в памяти.

— Доуленд![33]

Эви громко расхохоталась, еще похорошела и рассиялась вся. Она пела:

Мою овечку
веди на речку,
потом на луг,
потом на луг,
потом на луг!

— Да у тебя же отличный голос! Тебе бы…

— Ходила на уроки, ходила.

— К мисс Долиш? К Пружинке?

— Ла-ла-ла-ла-ла-ла!

И мы вместе хохотали в газовом свете, вспоминая нашу мрачную училку и нудные уроки.

— Ла-ла-ла-ла-ла-ла!

— Пела бы ты почаще!

— И не Доуленда, а другого кого, да, мистер Умник?

— Тебе бы дальше учиться, Эви.

---

[33] Примечания: 33

Джон Доуленд (1563–1626) — английский композитор, автор многих произведений для хора и голоса с оркестром.

— А я чего? Я ничего. Вот играл бы кто для меня…

— У тебя нет пианино?

Она тряхнула головой. Я посмотрел мимо этой головы, на реку, но вместо реки в глазах щелкнула моментальная фотография Бакалейного тупика. Дом сержанта Бабакумба стоял против дома капитана Уилмота — оба на порядок приличней прочих. За ними, неуклонно становясь все приземистей и невзрачней, все грязнея, ветшая, дома сбегали к развалинам мельницы. На дороге дрались и валялись в грязи ребятишки. Мальчики одевались в униформу Бедного Мальчика: отцовские подрубленные штаны, отцовская отставная рубашка. Все почти босиком. Я вдруг сообразил, что именно газеты называют трущобами. Если пианино нет у мистера Бабакумба, его, конечно, нет там ни у кого.

— А капитан Уилмот? Как он?

Снова она тряхнула головой.

— У него граммофон и радио. Раньше, когда я еще маленькая была, звал, бывало, послушать.

— Очень мило.

— Лимонаду стакан, булочка. Музыка все классическая. У него и машинка пишущая есть.

Мы помолчали.

— Так что я не стала дальше петь учиться, — наконец сказала Эви. — А на машинке учиться так и так надо…

Я понял. Печально кивнул. В самом деле, досадно.

— Ты сегодня не играл, да, Олли?

Я засмеялся и поднял свой пострадавший палец. Она схватила его белыми пальчиками, стала осматривать. И все повторилось с точностью репринта — смешки, хохот, превращение из дичи в ловца, рывок с моста вниз, в темноту, полупораженье лицом к лицу, да, нет, не надо, да, нельзя, поцелуи, борьба, запах, три сливы, мерцание кожи, трясучка…

— Я тебе не нравлюсь?

— Ну почему… нет, Олли, не надо…

— Ох, ну Эви, Эви…

— Не надо — это нехорошо!

Я без нее знал и был совершенно согласен, что это нехорошо; знал и то, что для меня лично быть хорошим сейчас — не главная цель.

— Пусти, Олли, а ну пусти!

Снова меня отбросили на три метра. На сей раз я одной ногой угодил в реку. А когда выкарабкался, Эви смотрела в небо.

— Ты слушай!

Что-то глухо урчало меж звездами. Она взбежала на мост, застыла. Красный огонек сорвавшейся красной звездой всплывал на оглоблю Большой Медведицы.

— Прямо над нами сейчас полетит.

— Королевский воздушный флот.

Радом с красным огоньком прорезался зеленый.

— Вдруг это Бобби?

— Бобби?

Эви смотрела вверх, открыв рот, все больше запрокидывая голову. Самолет проступил темной тенью между огнями.

— Он сказал, что сразу прилечу, как смогу. Сказал, над Стилборном буду фигуры показывать. Сказал, если место найдется, сяду и тебя возьму.

— Жди!

— Ой, смотри. Он сюда… Нет…

Она поворачивалась на пятках, когда самолет пролетал мимо, и постепенно опускала голову, пока темная тень не канула в лесу.

— Так его сразу и отпустили. Он всего-то там неделю…

Она топнула ногой.

— Хорошо вам, мальчишкам!

— Я тоже научусь летать, когда буду в Оксфорде.

Наверно. В общем-то я собирался.

Она рывком повернулась ко мне.

— Ой, как летать охота! Прям больше всего! И танцевать! Ну и петь! И ездить везде. Все-все делать охота!

Я ухмыльнулся при мысли о том, как Эви делает все-все. Потом вспомнил ту пару брюк и ту единственную вещь, которую мне хотелось, чтоб Эви делала — или мне позволила делать, — и перестал ухмыляться.

— Пошли вниз.

Она тряхнула головой.

— Не-а. Домой пойду.

И снова она заскользила туда, к фонарной луке. Я поплелся за нею, в душе кляня Королевский воздушный флот и, в частности, последнего его новобранца. С каждым фонарем я все острей ощущал воздействие среды и замедлял шаг. Эви тоже его замедляла.

— Ну ладно, пока. До завтра, Эви.

Она пошла дальше, бросив мне улыбку через плечо. Оглянулась, подняла левую руку, помахала расслабленной пятерней. Я сосредоточенно изучал черты Дугласа Фербенкса перед кино. Когда она скрылась на Площади, я тоже пошел домой, держась по другую сторону ратуши и не

выходя из ее тени, пока не убедился, что на Площади все спокойно.

Когда я вошел, мама чинила мои трусы. Сверкнула на меня очками, когда я садился, снова склонила седеющую голову над работой.

— Бобби приехал, знаешь?

— Бобби Юэн?

— На выходные.

— Господи — не на самолете?

Мама рассмеялась, поправила блеснувшим наперстком очки.

— Нет, конечно. Миссис Юэн ездила на машине в Барчестер[34] его поезд встречать.

Папа выбивал трубку о каминную решетку.

— Наверно, первым классом. Офицерам положено.

— Какой он офицер, папа! Кадет какой-то.

— А… Ну… Тогда не знаю.

Я встал, заметив, как мама глянула на меня и отвела взгляд. Метнулся в ванную, осмотрел рот, но следов помады не обнаружил. Я стоял перед зеркалом и укреплялся в прежней оценке своего лица. Мало того что не тонкое. Тоскливое и злое. Я старался представить себе, как в точности

---

[34] Примечания: 34

Ср. роман Энтони Троллопа (1815–1882) «Барчестерские башни». — *Примеч. ред.*

выглядит голая девушка — как выглядит Эви. Определенной картины не вырисовывалось, но я предполагал, что она выглядит очень ничего. Вдруг я спохватился, что в том же виде силюсь представить себе Имоджен Грантли. И ужаснулся, что — пусть невольно — поставил их на одну доску. Мне вообще не полагалось обо всем этом думать, об этом мечтать. В мои восемнадцать лет. Крикет, футбол, музыка, прогулки, химия — вот что мне полагалось. Имоджен выигрывала в несказанном, нежном соревновании. Я прижался к зеркалу лбом, закрыл глаза и так долго-долго стоял. Ни о чем не думая. Растворившись в чувствах.

Тем не менее с утра я уже снова отчаянно ломал себе голову. Я с дикой бравурностью терзал клавиатуру, твердо решившись затащить Эви куда-нибудь, где можно будет осуществить мое порочное намерение. Ну да, порочное. Да, я порочный. Я поклялся, что буду непреклонен, и мне полегчало. После чая я пошел в лес и обрыскал опушку в поисках укромного местечка для покоя и услад. Мест таких нашлось предостаточно. И от каждого у меня чуть подскакивала температура, так что в конце концов я задыхался и весь вспотел. Я снова вышел на дорогу, чтоб спуститься с

горки и поджидать ее на мосту, и тут услышал грохот. Пронесся веллингтоновский профиль. Мелькнула сидящая сзади раскорякой Эви, белые кружавчики, всхлестнувшие на ветру, блеск глаз, восторженно разинутый рот. Все исчезло, лес сомкнулся за ними.

Погодя я спустился с горки, перешел Старый мост, вышел на Главную улицу. Пришел домой. Мама подняла глаза от латаемых отцовских подштанников.

— Что-то сегодня ты рано, Олли?

Я кивнул и сел за пианино. Скоро мама тихонько вышла, затворив за собой дверь. Я играл для пустой комнаты, пустой приемной, пустой Площади и пустого города. Я снова зашиб себе палец.

Утром, войдя в ванную, я сразу выглянул в окно, ища глазами Роберта, чтобы отшить его самым подчеркнутым образом, когда он меня заприметит. Но его не было. В полной неподвижности повисла груша, мопед стоял на своем месте в углу. Он был весь белый от мела, и даже на таком расстоянии я видел глубокие вмятины на металле. И погнутый руль. Сердце у меня зашлось. Но я немного огорчился. Не из-за Роберта. Из-за себя. Мне самому стала противна моя радость при виде покалеченного мопеда. Я даже вслух проговорил,

чтоб вернуть себя на приличные человеческие позиции:

— Бедный Роберт! Надеюсь, он не пострадал…

Потом я вспомнил трепет белых кружавчиков, голую коленку и совершенно запутался в собственных чувствах. Поскорей побрился и сбежал вниз. Завтрак ждал меня на столе, хотя папа уже ушел в аптеку. Услышав мои шаги, мама вошла меня покормить.

— Видала мопед Роберта?

Мама поставила на стол горячую тарелку и вытирала руки чайным полотенцем.

— Слыхала. Я не сомневалась, что рано или поздно этим кончится. Надо бы запретить молодым людям гонять по дорогам на мотоциклах.

— Он не расшибся?

— Конечно, расшибся. А ты думал?

— Что-то серьезное?

— Пока неизвестно. В больницу увезли.

Я подлил себе острого соуса.

— Больше никто не пострадал?

Мама молчала. Мне в таких случаях всегда делалось не по себе. Она на пять метров под землей видела, моя мама. Я в смятении себя уговаривал, что под мостом ведь темно. И почему бы мне, собственно, случайно не встретиться на мосту с

Эви, не остановиться с ней поболтать? В конце концов, она почти в нашем доме работает.

— Больше никто не пострадал, а, мама?

— И не только бы мотоциклы я запретила…

Она убирала остатки папиного завтрака.

— Больше никто. А жаль!

Я исподлобья разглядывал маму, когда она уходила на кухню. Мама, безусловно, сегодня встала с левой ноги. Это с ней случалось нечасто, но уж когда случалось, лучше было не подвергать себя риску. Более точных сведений сегодня из нее все равно не вытянуть, какую дипломатию в ход ни пускай. Папу тоже не имело смысла расспрашивать. Верней, почему не спросить, но он наверняка уже все перезабыл. Так что оставалась сама Эви. И вот после завтрака я прошел в аптеку, где папа работал и молчал, как всегда. В приемной резво стрекотала машинка. Значит, правда, с Эви все в порядке. Не настолько расшиблась, чтобы работу пропускать, достаточно здорова, чтоб явиться. Вдруг меня захлестнула радость. Чего не смог сделать с Робертом мой кулак, то он сам с собой сделал, без всякой моей помощи.

— Пап, может, тебе чем-то помочь?

Папа рывком повернул ко мне свою тяжелую голову. За толстыми стеклами метнулось

изумление. Он дернул себя за седой ус, быстро тряхнул головой, снова отвернулся. Интуиция мне подсказывала, что сегодня у мамы скверное настроение с самого утра. Сев за наше пианино, я старался одновременно не повредить больной палец, не разозлить маму и напомнить о своем существовании Эви. Я побрел в город, видел, как миссис Бабакумб клюнула сержанта Бабакумба возле ратуши, переждал, чтоб она ушла. Когда я, в свою очередь, поравнялся с сержантом, он поднял взгляд от выбиваемого коврика и мне кивнул. Сомнений быть не могло. Никогда раньше не бывало такого, а тут он кивнул. Я слегка дернул головой, что могло истолковываться и как ответный приветственный жест, и как отмахивание от мухи, и прошел мимо. Я долго стоял в изумлении у букинистического прилавка, изучая его содержимое. Я не знал, что и думать. Я читал названия, какие еще можно было разобрать на потрепанных корешках, какую-то книжку вытащил и полистал. Я ее не видел. Я видел вместо нее поразительный кивок сержанта Бабакумба — будто я ему брат-солдат или собутыльник. Я положил книгу на прилавок, прошел мимо «Лучшей чайной», где шесть кумушек ели печенье, пили кофе и сплетничали, мимо Дугласа

Фербенкса перед бывшей товарной биржей и тут остановился, оглядывая с хвоста Главной улицы Старый мост. Можно было успокоиться. С Главной улицы, как ни вглядывайся, нельзя углядеть никого — никакую парочку — у пирса за Старым мостом. Слава тебе, Господи.

На другой стороне Главной улицы показалась миссис Бабакумб с кошелкой, набитой свертками. В своем дежурном сером костюме, в своей серой шляпке. Гигантская фальшивая жемчужина свисала с левого уха. Шла блеклая, улыбчивая, расточая безответные, безадресные кивки. Вот увидела меня. Не замедлила шага. Но склонила голову набок, сверкнула вставной челюстью. Этот кивок, этот оскал она несла добрых пять метров, пока ее не заслонил верзила у фонаря.

Меня вдруг как ошпарило. Я понял в ужасе, чем чревата моя похоть. Я понял и кое-что еще. Ни у сержанта Бабакумба, ни у его супруги не могло быть вспышек маминой дьявольской проницательности. Это все штучки самой Эви. Она меня использовала в качестве громоотвода. С механичностью и проворством, никогда еще мне не дававшимися на пианино, я пробежал в уме всю гамму людских возможностей. Эви в жизни не заполучить Роберта насовсем. Ей его не зацапать.

Она не станет и пробовать. Не то напоролась бы на гранитную стену. Но раз ей нравится его мопед и она за свои вылазки платит, — ведь платит! — ей нужны оправданья, почему опоздала, почему поздно пришла, почему… В моем случае стена из того же гранита, что и у Юэнов, но не такая высокая. Отнюдь не такая. Даже не такая высокая, например, как стена, отделяющая самое Эви от ошивающихся возле ратуши безработных голодранцев. Для Эви я громоотвод. Для ее родителей — завидный жених. Ох, как, небось, эти белые пальчики, этот воркующий голосок усмиряли воинственного сержанта, умасливали, убеждали, что у нас дело идет к помолвке. Я откинул волосы с глаз и тяжко вздохнул. Кроме посягательств ее родителей, меня еще терзали догадки, как именно использовала меня Эви. Может, это я задерживаю ее после двенадцати? Может, это я увел машину Пружинки? Так-так, что еще? Чего она еще понавывязывала, рукодельница? Я не сомневался, что в случае надобности она соврет — недорого возьмет. Я и сам могу соврать в случае надобности. И тут уж она нагородит такого! Мне представилось кошмарное видение: сержант Бабакумб у наших дверей тискает треуголку и выпытывает у папы, каковы мои намерения. Я-то

знал, каковы мои намерения, и Эви знала. Для семейной жизни они были слишком просты. Я пошел домой, обогнув ратушу с другой стороны, и стал очень тихо играть на пианино.

Относительно Роберта в тот вечер ходили самые разноречивые слухи. Одно было точно — он долго пробудет в больнице. Я загодя пошел на мост, рассчитав, что, если меня там будут видеть почаще, никто не заметит моих свиданий с Эви, во всяком случае, не станет о них трепаться. Снова уже темнело, когда она появилась на улице. И подошла ко мне с жалкой тенью своей улыбки.

— Совсем не расшиблась?

Улыбка просветлела, но чуть покосилась.

— Ты про чего это, Олли? Я не пойму.

— Про вчерашнее.

— Да я там…

— Я тебя видел, Эви. На мопеде.

Она вдруг дернулась, втянула голову в плечи.

— Что с тобой?

— Не знаю, озябла, наверно. Олли…

— Ну?

Она кинула взгляд вдоль улицы.

— Ты ведь не скажешь, правда?

— Зачем я буду говорить?

Она улыбнулась нежно. Глубоко вздохнула.

— Спасибо.

Я саркастически расхохотался.

— Как же! Ты ведь была со мной на мосту, да? Мы беседовали о музыке, о чем же еще! И потом гуляли по бережку, рыбок в банку ловили. Ты, случайно, своей матери полную банку рыбок не показывала, нет?

— Я сказала только…

— Ты сказала, что я возил тебя в Бамстед. Сказала, что я увел Пружинкину машину! Я тебя знаю! — Я смотрел ей в лицо, стараясь побольней уязвить. Это хоть было в моей власти. — Интересно, что еще ты сказала? Сколько нагородила вранья! Вытащила меня из постели среди ночи — такой милый мальчик этот Оливер, жаль, у него нет мопеда!

— Все совсем не так, Олли. Мне было надо — надо! Как ты не поймешь!

— Очень даже пойму! Да ты просто… — Я оглядывал реку, дорогу, мутную темень леса на горе. Ни с того ни с сего мне вспомнилась мелодия из радиопередачи, и я пропел, проревел:

— Ты как твои Савойские сиротки!

Эви разразилась хихиканьем, от которого меня мороз пробрал по коже, и я смолк.

— Ой, ну ты даешь, Олли! Смешной!

Она хихикала, она хохотала, давилась. Она перегнулась над парапетом, цеплялась за меня обеими руками, выгнув шею. Я чувствовал, как она дрожит.

— Смешной! Смешной!

— Хватит, Эви. Господи! Да замолчишь ты или нет!

Наконец она умолкла. Подтянулась, села торчком на парапет. Ароматно качнула гривой. Вынула что-то белое из-под браслетика под янтарь на левой руке, обмахнула лицо там и сям, сунула белый лоскутик обратно. Я против воли растрогался. И замаскировал этот свой недостаток мужественности, стараясь говорить как можно грубей:

— А ты ловко отделалась! И как это тебя совсем не помяло?

— Какая разница… А, да ладно — не было меня с ним.

— Так какого же…

— Я его подбила. На слабо взяла. Он говорит: «Эта штука со мной аж на дерево залазиет». Я и подбила… Я и сама хотела… Там яма меловая…

— Где это?

— Я и сама хотела, вот те крест. А он: «Нет уж, юная Бабакумб, только без тебя. Прыгай», — гово-

рит. Его прям прихлопнуло мопедом.

Что-то урчало под Большой Медведицей. Я поднял глаза, увидел красный наплывающий огонек. Ежедневные, значит, полеты какие-то, какие-то у них там ученья. Эви не поднимала глаз. Она разглядывала свои сандалии. Когда она заговорила, голос, странно хриплый, шел как из бочки, шел из самых глубин Бакалейного тупика.

— Может, он теперь калекой будет.

Самолет проурчал прочь, медленно падал, тонул за деревьями. Эви откашлялась.

— На всю, может, жисть.

Потом мы оба молчали, Эви — разглядывая дорогу между моими ногами, я — переваривая новость, соответственно своей природе. Конечно, я был должным образом потрясен. Но, с другой стороны, я чуть-чуть радовался по-стилборновски незадаче ближнего.

Она выпрямилась на парапете, улыбнулась мне.

— Ты сегодня не играл, да, Олли?

— Почему, играл. Только тихо.

Я поднял к ней свой больной палец в знак доказательства и в качестве приглашенья. Но она только глянула и сразу отвела глаза. Каким-то непостижимым образом она пресекла свое излу-

чение. Так обрывок фильма прокручивают назад: пламя втягивается, восстанавливает обугленную бумагу и потом исчезает, не оставя по себе ничего, кроме скуки. Даже газовый свет в ее правом глазу потускнел и почти не дрожал. Я сразу это почувствовал, но оптимистически постарался отринуть.

— Ладно, Эви! Пошли вниз.

Она качнула головой.

— Идем, юная Бабакумб!

Вспыхнул газовый фонарь.

— Не зови меня так!

Она вскочила на ноги.

— А Роберту можно?

— Ему все можно!

— Спокойно, спокойно!

Она хотела что-то сказать, передумала. Вывернула шею и стала отряхивать со своего зада мнимую пыль. Я вспыхнул, как газовый фонарь.

— Тогда, интересно, зачем ты на мост пришла?

Она перестала отряхиваться и смотрела на меня, вытаращив глаза, разинув рот.

— Зачем? А куда мне было идти-то?

Обтерла ладони одну о другую, бегло улыбнулась, отвернулась, пошла в сторону улицы.

— Эви…

Она не ответила, она шла дальше. В конце моста, там, где начиналась улица, глянула через левое плечо, подняла руку, помахала расслабленной пятерней. Я стоял, держал тросточку поперек живота и смотрел. Снова шла она своей походкой — местная достопримечательность, — не шевеля ничем, кроме голеней, по незримой черте, ежедневно патрулируемой сержантом Бабакумбом или его супругой. Шла от фонаря к фонарю, и с новой моей порочной страстью, я так и видел, как головы нищих мужских подобий у каждой пивной поворачиваются ей вслед с немой обреченной жадностью. Пройдет метров пять, и только тогда несется вдогонку едкий, похотливый смешок. Нет, мне бы самому такого не вынести. А ей хоть бы хны. Я пробирался домой окольным путем, чтоб не идти сквозь этот строй.

На другое утро за мрачным бритьем меня вдруг осенила мысль, от которой замерла на щеке бритва. Там, в конюшне Юэнов, стоял мопед Роберта. Я быстро глянул и увидел, что его и не думали чинить. Я поскорей добрился и бросился вниз, к завтраку, уговаривая себя действовать осмотрительно и дипломатично. Потихоньку-полегоньку в нужном направлении повернуть разговор.

Я так спешил, что застал маму с папой еще

за едой. Мама перестала есть и пошла за моим завтраком на кухню. Мне повезло.

— Мопед Роберта все в конюшне стоит, я смотрю.

— О?

— Да. Стоит.

Папа исподлобья глянул на меня сквозь толстые стекла.

— Самое подходящее место.

Я кивнул и подхватил мяч.

— Под дождичком не вымокнет.

— Ха-ха!

Мама вернулась и поставила мою тарелку на стол с некоторым грохотом, всегда предвещавшим дальнейшие сообщения.

— Не надейся, что тебе удастся кататься на этом мопеде, Оливер, или его купить!

У меня отвисла челюсть. Мама села.

— Помимо прочего, — сказал папа, — это нам не по карману.

— Да у меня…

— Они тебе пригодятся, — сказала мама. — Все до последнего.

— Если Роберт…

— Мне бы очень хотелось, чтоб ты прожевал еду, прежде чем говорить, — сказала мама. Она

сглотнула. — И ведь он ему самому еще понадобится. Если отец, конечно, разрешит ему гонять, в чем я сомневаюсь. Юэн не такой идиот.

— Как он ему понадобится, если он калека?

— Калека! — вскрикнула мама. — Кто это тебе сказал?

— Множественные ушибы, — сказал папа, — и несколько ребер сломаны. Ничего, оправится.

— Я думал… я мопед видел, он же весь покореженный…

— Через недельку-другую, — сказал папа. — Нет, с юным Юэном все в порядке. Будет ему, олуху, хороший урок.

— Чего только не увидишь каждую неделю в этом «Стилборнском вестнике». А потом чаще всего опровергают. А-а! Кстати, вспомнила, папочка, Имоджен Грантли венчается в Барчестерском соборе.

— Будет большая помпа, — сказал папа, отодвигая тарелку. — Когда?

— Двадцать седьмого июля. Всего несколько недель остается. Но если у людей есть деньги…

— Чушь, — сказал папа. — Позерство.

— Вспомни, папочка, ее двоюродный дедушка был настоятель. И женился на урожденной Тоттерфилд. Да-а, интересно вот, кто будут подружки

невесты?

— Определенно не я, — сказал папа. Сверкнул стеклами и встал. — Мне надо работать.

— Оливер, детка, скушай второе яичко!

— Выбрось ты из головы этот мопед, старина. Доживешь до моих лет — сам поймешь.

— Скушай.

— Оставь ты меня в покое!

— Не смей так разговаривать с матерью!

— Оставь меня в покое! Оставь меня в покое! Я… Не хочу я его!

Папа сел и пристально посмотрел на меня.

— Все время у него эти перепады настроения, — сказала мама и посмотрела на него. Он ответил ей взглядом. Она со значеньем кивнула. — Я вообще не уверена, что это была хорошая идея.

Паутина родительской нежной заботы плелась над столом.

— Четкий распорядок, — сказал папа. — Вот что ему снова требуется.

— Ох, даже не знаю. У него всегда были эти перепады. Я такая же была.

— Четкий, спокойный распорядок. Ему бы лучше вернуться в школу на эти три недели или сколько там еще осталось.

— Не хочу! Я вам не школьник!

— Покажи-ка нам язык, старина.

— Господи, да что же это такое!

— Не смей так разговаривать с отцом!

— Я уехать хочу.

— Оливер!

— Да, хочу. Куда глаза глядят!

— Хорошо, — сказала мама ласково. — Ты же едешь в Оксфорд, правда? Всего через несколько недель…

— Буря в стакане воды, — хмуро сказал папа. — Немного прочистить мозги — вот что мальчику требуется…

— У него всегда были эти перепады. Даже у грудного.

Папа снова встал и побрел в аптеку. Дверь прихлопнула его бормотанье:

— Сейчас я ему принесу…

Я тоже встал. У меня тряслись ноги.

— Куда же ты, детка?

Я изо всех сил хлопнул дверью столовой. Я стоял, все еще трясясь, глядя на наше обшарпанное пианино, дряхлеющий рядом диск стула. Я со всего размаха стукнул левым кулаком по сияющей ореховой панели между двумя медными подсвечниками, и она треснула пополам.

— Оливер!

Я сражался с цепочкой, замками, задвижками входной двери.

— Оливер! Вернись! Мне надо с тобой поговорить! Только из-за того, что мы не можем купить тебе этот…

Я хлопнул входной дверью, услышал мгновенный отклик с церковной башни. Распахнул калитку и стоял на булыжниках возле газонной ограды. И увидел, как миссис Бабакумб мимо забора мисс Долиш проносит свою склоненную улыбку — ко мне.

Чуть-чуть пришел в себя я уже только на парапете Старого моста. В горле у меня мучительно пересохло, левая рука выглядела боксерской перчаткой.

Я бесцельно таскался по городу. Я видел, очень издали, как Эви вышла после приема из дома Юэнов и шмыгнула в сторону Бакалейного тупика. И про себя усмехнулся. Но вот она пошла обратно, мимо дома священника, исчезла в проходе на Бакалейную у нас на задах. Все еще усмехаясь про себя, я сделал крюк, чтоб ее накрыть, но Бакалейная была пуста. Я ее обрыскивал без всякой надежды. Просто чтоб чем-то себя занять.

Власть условностей сильна даже в такой ды-

ре, как Стилборн, и в последний раз я бывал на этой окраине, когда меня еще возили в детской колясочке. На пустыре под откосом стояла деревянная лачуга. Я с любопытством ее разглядывал, потому что еще не видывал ничего подобного. Это была католическая церковь, и объявление снаружи гласило, что месса совершается при всякой возможности. Несмотря на свою ярость, я улыбнулся. Католическая церковь до сих пор мне встречалась только на книжных страницах. Увидеть ее, так сказать, вживе было все равно что вдруг наткнуться на улице на динозавра. Я расхохотался. Из лачуги вышла Эви. Она держала в руке пыльную тряпку и принялась ее с силой вытряхивать.

— Привет, Эви!

Она оглянулась, увидела меня, задохнулась.

— Некогда мне.

Я язвительно расхохотался.

— Можно и подождать. Делать-то нечего.

— А ну уходи, Олли! А то…

— Что — а то?

— Ничего.

И ушла внутрь. Я стоял, разглядывал объявление, резную фигуру у двери и усмехался. Усмешка прилипла к моему лицу.

Минут через двадцать Эви опять вышла, отряхивая руками подол. Она повязала голову своей шелковой косынкой. Пресловутый знакомый крестик болтался поверх ситцевого платьица. Не обращая на меня внимания, она заперла за собой дверь и направилась в сторону Бакалейного тупика, будто я куст какой-нибудь, что ли.

— Мессу служила, да, Эви?

Она усмехнулась, не сбавляя шага.

— Тебе не понять.

— Тогда пошли погуляем.

— Нет.

— Ха! Мопеда у нас, естественно, нет!

— Я помогаю ему, как могу.

— Не можешь ты ему помочь! Ты кто? Сиделка?

Эви ничего не сказала, только загадочно усмехнулась. И сунула крестик под платье. Проследив его исчезновение, я вдруг набрался абсолютной, твердой решимости.

— Да тебе и не надо ему помогать. Он в порядке. Только ушибы и сломано несколько ребер.

Эви остановилась, повернулась, посмотрела на меня. Я тоже остановился.

— Да ты что, Олли? Поправляется, значит, он?

Я горестно думал, как все несправедливо. Ро-

берт теперь герой, его обожают, а он палец о палец не ударил для этого. Эви смотрела на меня, сквозь меня, с небесно блаженным лицом.

Все с той же своей решимостью я сказал:

— Ты бы лучше мне помогла.

Я глянул на заросшую кустами тропу, вихлявшую вверх по откосу. Повернулся к Эви, кивнул со значением:

— Да. Ему хорошо. Мне — нет.

— И он не будет…

— Мне — нет.

Эви двинулась в сторону дома. Я схватил ее запястье, как тогда сержант Бабакумб, дернул книзу, она пошатнулась, потом выпрямилась и посмотрела на меня.

— Мне — нет. Ты думаешь, ты можешь делать что хочешь, да? — Я повернул к началу подъема, волоча за собой Эви.

— Олли! Ты чего?

Я все ее волок. Кусты и низкие деревца сомкнулись вокруг. Я проволок ее по крутизне, не оглядываясь.

— Крошка Олли тебе уже не младенец. Крошка Олли теперь главный. И если крошка Бобби вылечится и начнет выступать, Олли свернет ему шею.

— Олли, пусти!

— А заодно и крошке Эви.

Она возмущенно хмыкнула и вцепилась свободной рукой в мои распухшие костяшки. Я дернулся, высвободился. Тропа суживалась, нас все тесней зажимали деревья. Эви расслабила и бессильно свесила руку в моей руке. И уже не упиралась, покорно плелась за мной. Я громко расхохотался.

— Давно бы так!

— Олли! Слушай! Сейчас я объясню!

Я ответил изысканно:

— Никаких объяснений не требуется, моя радость.

— Нет, я что хочу сказать, все не так, ты, это, послушай…

— Так, приехали.

Я оглядывал группку деревьев, почти не слушая продолжавшую говорить Эви. Выступ откоса скрывал нас от города. И под деревьями была густая трава, вся усеянная цветами. Я выдернул Эви из-за своей спины, и теперь мы стояли лицом к лицу.

— Да ты не слушаешь!

Я обнял ее и сжал все с той же странной решимостью. Глаза у нее закрылись, откинулась

голова. Я нагнулся и ее поцеловал. Мгновенье она сопротивлялась, но только мгновенье. Возмущенно хихикнула, отстранила губы, попыталась вывернуться. К моему удивлению, сила, годная для тасканья угля и рубки дров, на сей раз явно ей изменила.

— Пусти, Олли! Мне мамке помогать надо!

Я снова ее схватил, прижал к дереву. Я вжимал в дерево это женское, тугое и не знал, что делать дальше. Наконец в первобытном наитии я вынул свой напряженный, пылающий корень зла и положил на него непротивящуюся руку Эви. Глаза у нее раскрылись, она глянула вниз. Рот перекосился и вместо улыбки выдавил гримаску, понимающую, жадную, презрительную — все сразу. Голос стал хриплым, задышливым бормотаньем. Грудь ходила ходуном.

— И все это мне?

Да, заверил я ее, тоже хрипло и задышливо, и лес качнулся и вместе с сердцем подпрыгнул, да, да, тебе. Ноги у нее подкосились, она заскользила по моей груди, животу вниз. И сквозь все это безумие я услышал шепот:

— Ну чего, тогда уж давай.

Деревья вернулись на место, когда вернулось на место мое сердце. Я лежал навзничь и видел

сквозь дымку ресниц, не в фокусе, шелестящие кроны. Каждый удар сердца их встряхивал, как ветер рушит отраженье в воде. Я чувствовал только покой. Покой в крови, в нервах, в костях, в голове, в глубоком дыханье, в угомонявшемся сердце. Добрый покой, и он все ширился. И листья были добрые, и доброе синее небо за ними. И добрая подо мной лежала земля, мягкая, как постель, с доброй тьмой по всей непроглядной глуби. Я повернул голову и увидел: белый носок, коричневую сандалию. Другая — на метр в стороне. Я перекатился на живот, оперся на локоть и стал, сантиметр за сантиметром, в глубоком покое осматривать эти ноги. Безвольно раскинутые, белые, нежные, в венах нежнейшей голубизны. Всползши на бедра, мой взгляд обшарил их с обеих сторон и перешел туда, к почти безволосому телу, где свидетельства моего рискованного онанизма были разбросаны вокруг розовых лепестков. Вобрав бессильные ладони, белые руки, он двинулся дальше, к дрожи пульса над сердцем; убедился, что она дышит быстрее, чем я, и мелко подрагивают при всей своей твердости розовые наконечники двух полусфер.

Во мне взбухал, наливался восторг. Я улыбался, оглядывая ситцевое платьице, сморщенное,

скомканное складкой от подмышки к подмышке. Я задрал подбородок и расхохотался ей в лицо. Ее голова была чуть приподнята кочкой, и в глубокой прорези среди дрожания кисточек текуче поблескивали глаза. Губы еще больше вывороти-лись и часто-часто дышали, будто старательно выталкивая из тела жар. Я сел, она быстро глянула на меня, очень изглубока, тут же отдернула взгляд.

Пробормотала:

— Ну вот, видать, и все.

Темные волосы рассыпались по примятым, поломанным колокольчикам. Я быстро нагнулся, поцеловал розовый наконечник, который по-ближе, и она вся вздрогнула с ног до головы. Я поцеловал другой, рассмеялся, сел, отвел волосы с глаз. Ощутив при этом некоторое затруднение, я поднял левую руку. Костяшки пальцев, оказыва-ется, превратились бог знает во что — взбухшее, жуткое. Я попробовал пошевелить пальцами, и боль прострелила руку до самого плеча.

— Господи. С чего это она? Раньше не болела.

Эви подняла голову и оглядела себя.

— Ну, ты вроде получил, чего хотел?

— На. Возьми мой платок.

— Спасибочки.

Я по-хозяйски сунулся к ее груди, но она смахнула мою руку.

— Отстань!

Вскочила, одернула платье, оно обвисло гармошкой.

— Ой, ну складочки. Жуть! На кого я похожа!

Топча темные листья, она подобрала косынку, трусики.

— У тебя листики в волосах. И прутик.

— Глянь лучше, складки какие!

Складки действительно были довольно изобличающие. У меня мелькнула мысль, что Эви уже, безусловно, сталкивалась с этой деликатной незадачей, из-за Роберта, например. Я попытался помочь Эви, с силой оттянув платье у нее на спине, но она вывернулась.

— Не цапай, что не твое, юный Оливер!

— Да я старше тебя!

Она глянула на меня не то что с презрением или с вызовом, а как смотрят на предмет неодушевленный. Странно, подумал я, какими темными могут быть серые глаза. Она открыла было рот, но закрыла и продолжала отряхивать и разглаживать складки. Все равно, думал я — и тут взбухавший во мне восторг вдруг распустился багряным цветком, — оно мое, это надутое, жен-

ственное, великолепное созданье!

— Погоди-ка, Эви. Я вытащу прутик.

Я разбирал ее волосы, нюхал, нюхал запах земли, тоненький запах примятых цветов. Вытащил прутик и обнял ее. Она обвисла в моих руках безответной сердитой массой.

Потом вырвалась и пошла через деревья, к тропе. Я двинулся за нею. Она ускорила шаг, выбралась из-за деревьев, перешла на неровную трусцу, замедляясь лишь там, где требовала осторожности густая колючая куманика. В нескольких метрах от Бакалейной я ее догнал.

— Эви…

Она недовольно смотрела на меня.

— Когда…

— Не знаю.

— Я буду ждать здесь, вечером.

На это она ответила косой, уже мне знакомой гримаской.

— Нет уж.

— А завтра?

— Почем я знаю?

— Завтра после приема. Вечером.

— Тебе прям все сразу сказать? Ишь разлетелся, мистер Умник.

Я уверенно сжал ее плечи.

— Завтра вечером, после приема. Я буду ждать. И мы с тобой снова…

Она ничего не ответила, только мрачно смотрела сквозь меня.

— Или нет, Эви?

Эви чуть обмякла в моих руках.

Я смотрел, как она скользит своей характерной походкой мимо дома священника, соседних домов, к Бакалейному тупику. С гордостью собственника я любовался этой гривой, кругленькой попкой, легкими взмахами милых рук. Я пошел домой расхлебывать кашу. Много чего накопилось, сейчас начнется… Папа встретил меня такой грустной озабоченностью, что лучше бы уж он на меня наорал. Разбитая панель не поминалась ни звуком. Мама думала, что мне, наверное, стыдно, но так отчаянно скрывала сомнения в здравости моего рассудка, что они были мне абсолютно ясны. Папа осмотрел мою руку, намазал порезы йодом, дал мне слабительное. Я, конечно, без конца извинялся, говорил, что просто не понимаю, что на меня нашло. Я сам починю пианино или заплачу за починку при первой возможности. Я больше не буду. И — вот именно — я был совершенно спокоен. Я извинялся снова и снова. Но на самом деле ничто меня не брало, ни разбитая

панель, ни папина глубокая озабоченность. Ни даже мамины слезы.

Когда я лег спать, левую руку стало ломать и дергать. Я положил ее поверх одеяла, чтоб остудить, но это не помогло, и я оперся локтем о подушку, так что рука была выше головы и от нее несколько отхлынула кровь. Поразительно, до чего изменилась жизнь. Даже мысль об Имоджен, хоть привычно кольнула сердце, но как-то смутно кольнула, затупленным острием. Я от нее загородился воспоминанием о белом душистом теле. Мне хотелось странных вещей, хотелось, чтоб Имоджен узнала, что Эви — моя; чтоб она поняла — но она же знала, конечно, — до чего хороша наша местная достопримечательность, моя чудная прелесть, благодаря которой я достиг такого покоя. Я представил себе Стилборн: пижоны из колледжа на востоке, конюхи на западе, жаркие эротические леса на юге и на севере — голый откос. От Бакалейного тупика до Старого моста — серебристая нить, безопасная, патрулируемая линия. Роберт на своем мопеде прошил эту линию с обходных путей. Я же перехватил самый важный участок между тупиком и нелепой лесной церквушкой. Я по всем правилам наставил сержанту Бабакумбу рога. Рога эти мне рисова-

лись довольно смутно, но выражение нравилось. Я думал и думал про ее тело, я с наслаждением перебирал все подробности. Я их знал теперь наизусть. Я разрабатывал планы новых побед. Завтра легко, играючи я оплету поцелуйной цепью сначала один розовый наконечник, потом другой, смеясь, наслаждаясь дрожью и трепетом своей добычи. Руку дергало, голову переполняла белая женственность, и только уже когда совсем рассвело, я заснул.

День начал тащиться еле-еле с самого завтрака — бесконечно растянулся в длину. Время было жаркое, яркое, я не знал, как его убить. Родители все еще были мрачны и озабочены. Стараясь к ним подлизаться, я был тише воды, ниже травы — даже помог мыть посуду. Я вызывался еще что-нибудь сделать, может, сбегать в лавку, но мама это отклонила. Я пошел в аптеку и спросил у папы, не надо ли разнести лекарства — я уже сто лет этим не занимался, — но папа только головой покачал. Пойти погулять я не мог. Папино слабительное оказалось таким сильнодействующим, что почти весь день мне пришлось держаться поближе к дому. И со своей распухшей левой рукой я не мог играть на пианино. Панель папа вынул и поставил к стене у себя в аптеке, чтобы

починить, когда выдастся свободное время. И, сев на музыкальный стул, я очутился лицом к лицу не с музыкой, а с каким-то хитрым узором. В общем, это было не так уж и важно, мне не очень хотелось играть. Я только попытал правой рукой хроматическую гамму и остался доволен ее исключительной беглостью. Пианино, кажется, не особенно пострадало. Вернее, последний удар мало что прибавил к бедствиям многострадального инструмента. И он скалил жуткие желтые клавиши, очевидно, решившись встретить гибель с улыбкой и быть мужественным до конца.

Прием еще не кончился, а я уже бродил взад-вперед по Бакалейной и нервничал. Я прошелся туда-сюда мимо изгороди из стриженой вероники, постоял, прислонясь к высокому забору у нас на задах. Я поглядывал вверх, на откос, на кручу кроличьего садка, ольшаник и за ними, выше — те, наши деревья. Пробили церковные часы, и сердце у меня бухнуло и покатилось — вот сейчас выйдет Эви. Но она не появилась. Я все больше злился, дошел почти до самого Бакалейного тупика — ее не было. Я вышагивал взад-вперед по серебряной ниточке, я не мог с нее сойти, я постепенно понял, что к ней прирос, увяз, не сдвинусь, останусь тут, пока не загаснет день, если понадо-

бится — всю ночь, если понадобится — останусь тут, пока брезжит хоть чутошная надежда.

И вот, когда мне стало казаться, что надежда свелась на нет, я увидел Эви. Она снова была наша местная достопримечательность и лучилась даже больше обычного. Она плыла, она улыбалась, открыв рот. Она явно обрадовалась при виде меня, потому что, когда я помахал ей рукой, она засмеялась, тряхнула черными волосами, сменила шаг на побежку. И опять поплыла, и с нею вместе плыл ее запах.

— Привет, Эви! Как ты долго!

— На уроке занималась.

— На уроке?

— Ну, ты знаешь. Секретарское дело.

— А-а! Старый Уилмот…

Эви хихикнула и вполне добровольно свернула на нашу тропу. Она сверкнула — или нет, осияла меня, так будет верней сказать — взглядом через плечо, и я пошел за нею.

— Стенография.

— И как у вас пишется «пневмония»?

— Еще чего!

Эви расхохоталась и припустила бегом, пока не запнулась на крутизне.

Деревья сомкнулись. Ветер протиснулся между

мной и ее платьем, и нас обоих тучей накрыл запах жимолости. Я шел за нею, шаг в шаг.

— В каком смысле — «еще чего»?

— Ну, там не медицина. Вообще.

Она снова расхохоталась.

— Просто он возьмет книгу какую и…

Нам преградила путь куманика. Мой нос был всего в нескольких сантиметрах от ее гривы. Я уже не знал, то ли это путаные привады лета, догоравшего в обступивших нас кустах, то ли запах ее тела. Насчет запаха неясно, но видеть я видел, как это тело шевелится под сине-белым ситцевым платьицем. И собственное мое тело напряглось. Я дернул ее за руку, повернул к себе и крепко поцеловал. Она, хохоча, отдернула губы.

— Нет! Нет! Нет!

Оттолкнула меня, хохоча, сверкая, сияя, благоухая, снова метнулась козочкой по тропе.

— Говорит, наподдаст мне, если не стану лучше стараться.

Я покатился со смеху, вообразив капитана Уилмота, с волчьим оскалом выбирающегося из своего электрического стула.

— Если только он тебя поймает. «Примкнуть штыки!»

— Говорит, мне самой даже понравится.

— Старый педрила! Ты бы сказала отцу!

Эви опять захохотала, тоном выше. Мы сошли с тропы в заросли. Я схватил ее, но, все хохоча, она увернулась и скрылась в кустах.

— Эви? Ты где?

Молчание. Только городские звуки из долины под нами. Я вслепую продрался сквозь кусты, и там она меня ждала — запыхавшись, сверкая. Я обнял ее, она меня оттолкнула обеими руками.

— Нет! Нет! Нет!

Из города летели очень отчетливый звон медного колокольца и сиплые контуры крика:

— Эй! Эй! Эй!

Эви затаила дыхание. Прямо у меня на глазах под тонким платьицем выскочили на груди две пуговки. Она прижалась ко мне, вцепилась мне в плечи, закрыла глаза.

— Возьми меня, Олли! Сейчас! Возьми!

И — через миг — распластана среди цветов, задрано платье, глаза дрожат, лицо искажено, смеха ни следа…

— Олли! Олли! Сделай мне больно…

Я не знал, как сделать ей больно. Выбивая частую дробь в своем мальчишьем усердии, я тонул, я терялся в сжатиях и растяжениях дыбящегося и опадающего тела. Она не принимала мой быст-

рый ритм, только долгие, глубокие океанские раскаты, в которых ее муж, ее мальчик колыхался щепкой, не более. И эти океанские раскаты как бы бескостного тела сопровождались метаниями головы — глаза закрыты, наморщен лоб, — будто в мучительном плаванье к дальней, темной, злой и запретной цели. Я был лодчонкой в глубоком море, а море само было стонущей, вражеской, скрытной стихией, требующей, но не жаждущей соучастника. И вот я потерял направление, лодчонку накрыло, поволокло на утес, и тут раздался крик, громкий, пыточный, и я лежал среди бурунов, потерпев кораблекрушение…

Деревья встали на место. Все затихло, кроме моего сердца. Цветы были тихие, далекие — как нарисованные. Я быстро отошел от нее и лег, зарывшись лицом в мертвые листья.

Холодящее опасение закралось мне в душу, постепенно переходя в кое-что похуже. Я слышал, как она поднялась на ноги и занялась платьем. Я присел на корточки и смотрел на нее, она меня не замечала. Потом двинулась к тропе. Я бросился ей наперерез:

— Эви!

Она метнулась в кусты, я за ней, схватил за руку:

— Ладно тебе, Эви!

Потом мы стояли лицом к лицу и — я орал, она визжала — выясняли, кто виноват, как и почему, будто криками можно что-то отменить и поправить. И — так же вдруг, как разорались, — мы смолкли. И холодной, немой угрозой непоправимо навис факт.

Эви повернулась и ринулась сквозь заросли к краю откоса, будто жаждала глотнуть воздуха. Я двинулся за ней, глупо стараясь производить как можно меньше шума. Я прочистил горло и шепнул:

— По-твоему, у тебя будет?…

Она раздраженно дернулась, с ненужной яростью махнула по горизонтальным складкам.

— Почем я знаю?

— Я думал…

— Придется, значит, тебе погодить и посмотреть, как и мне, а?

И глянула на меня с этой своей неприятной кривой ухмылкой.

— Думал, можно одни пирожки да пышки без шишек поиметь?

Я смотрел на нее, стиснув зубы и ненавидя весь женский пол. Словно прочитав мои мысли, она буркнула:

— Мужиков — ненавижу!

Мутный, медный звон взлетел с долины. Мы оба посмотрели туда. Сержант Бабакумб достиг своей второй остановки. Я даже различил его между стволами ольхи — крошечное красно-синее пятнышко на гребне Старого моста. Эви отвела от него глаза. Она стояла против меня, несколько сдвинутая к моему правому боку. Сложив под грудями руки, раскорячив ноги, уронив голову. Никакая не местная достопримечательность. Просто прачка. Очень медленно она шарила взглядом по городу, от церкви до моста, от Бакалейной до самых лесов. Когда наконец она заговорила, это был грубый голос Бакалейного тупика, голос оборвышей, хриплый, злой:

— И город этот весь ненавижу — ненавижу! Ненавижу! Ненавижу!

Я глянул вниз, мимо темной ступенчатости кроличьего садка, мимо зеленого склона — на город. Осмотрел высокий забор у нас на задах, наш лужок, окно ванной… Глянул поверх нашей крыши на дом мисс Долиш, послушал будничный, деловитый автомобильный рожок. Там выяснится вся глубина моего преступления. Я отпрянул за стволы ольхи, Эви с усмешкой на меня оглянулась:

— Чего боишься? Никто тебя не узнает аж с такой дали.

— Эви. Что же нам делать?

— А чего тут сделаешь.

— Может, ты…

Я имел весьма смутное представление о вовлеченных биологических факторах и совершенно не знал, как тут быть. Я грустно присвистнул и отвел с глаз волосы.

— Когда ты будешь знать?

— В понедельник, может, во вторник.

Она отвернулась от города и стала продираться к тропе. Я пошел за нею. Мы оба молчали. Вечер был светлый, еще тепло. Я глядел на ее спину, такую узкую, беззащитную, такие слабые голые руки, и впервые, кажется, понял, какой это ужас — быть девушкой.

— Эви…

Она остановилась, не оглядываясь.

— Не горюй. Может, все еще и обойдется.

Она как-то странно всхлипнула и пустилась бегом по тропе. Я шел медленней, раздумывая, как мне быть. Когда я свернул с тропы на Бакалейную, Эви ушла далеко вперед. И снова плыла, сдержанно, уверенно.

Я шел домой, пронзенный этим видом, сам

не свой от невыносимых опасений. Я с ужасом вспомнил про Оксфорд. Если — если — если у нее будет ребенок — прости-прощай, Оксфорд! Какие пойдут разговоры! В восемнадцать лет бросить учебу из-за женитьбы. Пришлось. Иначе — семь фунтов в неделю, алименты. Про эти семь фунтов я знал. Мы щегольски запускали их в разговор, как месячные, как девять месяцев и целый словарь подобных понятий.

— Может, все еще и обойдется…

Потом меня как громом поразила мысль о родителях. Папа, такой добрый, медленный, такой серьезный папа, мама, хоть она, конечно, штучка, но так меня любит, так гордится мной… Это их убьет. Стать родственниками, пусть даже свойственниками, сержанта Бабакумба! Их общественное положение, столь хрупко уравновешенное, столь тонко блюстимое, полетит из-за меня в тартарары! Я поволоку их вниз, вниз, вниз, по тем крошечным ступенькам, по которым так трудно карабкаться, а сверзиться так легко. Да, я их убью.

Я пытался незаметно юркнуть наверх, но не тут-то было.

— Оливер! Это ты, детка?

— Я, мама.

— Скорей иди ужинать.

Я вошел в столовую. Они оба там сидели. Я оглядел холодную свинину. Я забыл про еду, есть мне совершенно не хотелось.

— Можно я не буду?

— Глупости! — Мама сверкнула очками. — Ты же растешь! Садись-садись, будь умницей. К тому же папочка хотел тебе что-то сказать.

Я покорно сел и уткнулся взглядом в холодную свинину у себя на тарелке.

— Чего же ты дожидаешься, папочка? Скажи ему.

Папа завершал пережевывание. Глаза у него были задумчивые, нежно ходили ходуном вверх-вниз моржовые седые усы. Потом он медленно повернул ко мне свою лысую голову.

— Это по поводу пианино, Олли.

— Я же просил прощенья уже.

— Хватит об этом! — Мама весело рассмеялась. — Все прощено и забыто. Ты слушай!

— Мы вот подумали. Чинить его будет долгое дело. Пока клей застынет и прочее. А с этой своей рукой ты еще несколько недель не сможешь к нему подойти, так я полагаю.

— Не тяни, папочка! Вечно ты тянешь!

— Ну вот, а мы тебе пока не сделали подарка,

достойного твоих упорных трудов. И мы решили — мама и я: мы отправим пианино в Барчестер, и там его подновят. Одним махом — двух зайцев. Конечно, встает вопрос денег — правда, мама?

— Он всегда встает — деньги есть деньги!

— Но я все прикинул и думаю, мы…

— А если рука у тебя раньше заживет, ты всегда сможешь играть на скрипке, Оливер, ты же так дивно играл, пока не помешался на своем пианино!

— И когда ты приедешь из Оксфорда на каникулы, у тебя будет настоящий инструмент.

Он повернулся к своей тарелке и снова принялся за еду.

— Конечно, — сказала мама, — ты сам понимаешь, оно не превратится в концертный рояль!

— Но лучше оно сделается, — сказал папа. — Там много чего могут. Вряд ли станут делать деревянную раму. Дерево всегда портится. Не знаю, кому оно нужно.

— Может, даже клавиши отбелят.

— Дерево всегда портится. Это из-за климата.

— И подсвечники нам не нужны. Пусть их снимут.

— Металл для звука лучше. У нас металл.

— Ну чего ты, детка? Ну-ну, перестань! Все ведь

прощено и забыто!

— Успокойся, старина!

— Это наследственное, знаешь, папочка.

— Покажи-ка нам язык, старина.

— Не надо его дразнить. Скушай свининки, Оливер. Это тебе полезно.

Папа тяжко поднялся и пошлепал в аптеку.

— Ну чего ты, ревушка-коровушка, — сказала мама ласково. — Я же все понимаю, детка. Расти трудно — даже и мальчику. Это наследственное. Характер. Скушай, скушай свининки, детка, тебе сразу полегчает. Знаешь, я помню… Ты не поверишь, Олли… Мы так тобой гордимся, детка, но не можем же мы без конца тебе про это твердить. Вот горчичка.

Папа молча вернулся и поставил возле моей тарелки рюмочку. Опять со слабительным.

Кое-как тянулись дни. Миссис Бабакумб по-прежнему одаряла меня своим косым кивком с любого расстояния, вплоть до ста метров. Эви уже не ходила патрулируемой дорогой. Я слонялся по Бакалейной, и надежда моя таяла. Иногда я слышал, как она стучит на машинке в приемной, иногда видел, как она пробегает с работы домой, — и все. Эви меня избегала. Настал понедельник, вторник, среда — она не появлялась

на моем горизонте. Мой ужас перешел в стадию непрестанной тревоги. В снах фигурировал новый кошмар, повторяясь из ночи в ночь. Будто я иду по Стилборну, но приговоренный к смерти. И родители тут же, все знакомые тут же, и все согласны со смертным приговором, ибо моя вина, хоть она в сновиденье не проясняется, непростительна. Просыпался я с радостью, что это был сон. А потом вспоминал Эви.

Через неделю я снова увидел ее, но не смог с ней поговорить. Я был в ванной и оттуда увидел Эви с тощим партнером доктора Юэна — доктором Джойсом, они ходили взад-вперед по большей из двух юэновских лужаек. Я опасливо пронзил ее взглядом, будто рентгеновским лучом. Но ничего особенного не заметил. Точно такая же, ни на йоту не изменилась. Ножки переступают ниже колен, буйно подрагивают мохнатые ресницы, рот открыт, на губах загадочная усмешка. Я ощутил разом облегченье и ярость. Конечно, девушка в таком положении — если она в таком положении… Но тощий доктор Джонс вел себя при этом странно. Сжимал руки за своей хлипкой спиной. Вертел коленками, поглядывал искоса и хихикал. Ничуть на доктора не похож. Просто старый дурак. Как пить дать, лет сорока, не меньше.

Потом я сообразил, что он, однако же, именно доктор. А известно, зачем ходят девушки к докторам. Я провожал исчезавшую в доме счастливую парочку, как каких-то чудищ. Ясно было одно. Мне необходимо ее увидеть. А у меня не было ровно никакого предлога, чтоб пройти в приемную. Поскольку я не мог предъявить таких явственных признаков недомогания, как, скажем, сломанная рука или сыпь, любое мое посягательство на медицинскую помощь папа встретит новой дозой слабительного. Или, учитывая блестящий успех предыдущих двух доз, это будет, возможно, противопоносное средство. Даже моя левая рука зажила и обрела прежнее свое проворство, будто раскокать панель было для нее просто эксцентрическое фортиссимо, просто упражнение такое. В тоске и печали я проанализировал свое состояние и заключил, что абсолютно здоров. Тут не могло быть сомнений. Вдобавок я питал благоговение к докторам, особенно удивительное при таком близком соседстве. Я безотчетно опасался, как бы доктор Юэн, внимательно меня осмотрев, авторитетно не объявил, что я жду ребенка. Но мне надо было ее видеть — и я решился. Я сбегал к себе, схватил с полки книжку, сбежал вниз и прошел прямо в аптеку. Папа разглядывал сквозь

свои толстые стекла рецепт.

— Книга для мисс Бабакумб, — сказал я непринужденно. — Лучше я сейчас ей занесу. А то потом…

Зря я, однако, старался, папа все разглядывал рецепт, бормотал, не замечая меня, нашаривая правой рукой шпатель. Я прошагал коридором и открыл дверь в приемную. Доктор Джонс отскочил от Эви так, будто она всаживала в него шприц. И уставился на меня. Возле рта у него краснел мазок помады. Он сказал с облегчением:

— А-а, это ты!

И тут стукнула входная дверь, и ввалилась толстая миссис Данс, вопя так, как только ей позволяли тучность и одышка. На руках у нее был крошка Дагги. Весь красный и дергался. Доктор Джонс мигом преобразился:

— Спокойствие, миссис Данс! Дайте мне ребенка. Мисс Бабакумб — вы мне нужны.

И повалили в кабинет, все четверо или, может быть, пятеро… Я так и остался у двери с «Сельскими комедиями» мисс Ситуэлл[35] в протянутой руке. По-прежнему терзаемый мучительной неизвестностью о том, жду ли я ребенка, я про-

---

[35] Примечания: 35

См. роман Энтони Троллопа (1815–1882) «Барчестерские башни». — *Примеч. ред.*

шел обратно через аптеку, где все так же парили над чем-то медленные, четкие пальцы моего тихого папы.

И снова пошли слежка, подглядывание, патрулирование, и, как ни завлекала меня мама вкусностями, у меня начисто пропал аппетит. Наконец настало воскресное утро, и я опять увидел Эви. Я мрачно стоял у забора на задворках у Юэнов, на Бакалейной. Я даже порыскал у деревянной лачуги в дальнем конце на случай, если они служат — или что там с ней делают — свою мессу. Но там было тихо и пусто. Я пошел другой дорогой, мимо задворок священника, мимо обнесенных вероникой домиков, пока не дошел до места, откуда открывался вид на Бакалейный тупик. Послонялся там в надежде увидеть, как она выходит из крайнего дома. В конце концов я поплелся обратно и, злой и несчастный, встал, привалясь к кирпичному забору Юэнов. И вот из-за поворота выплыло спервa колыханье подола. Я мгновенно опознал ситцевое платьице Эви, белое, в дымно-синих цветочках и веточках. Отскочил от забора и почти побежал ей навстречу. Она шла тоже быстро, ровно переступала ножками, и ветер сгонял назад ее волосы, облеплял ситцем груди и бедра. Я подошел к ней вплотную,

схватил за плечи:

— Эви! Скажи мне!

Она смотрела на меня угрюмо, как на врага. Раскрашенная — старательно, густо. Мохнатые ресницы расчесаны, склеены чем-то черным, как пластины. Глаза обведены голубым, и будто вырезаны из багровой бумаги ярко намазанные губы.

— Отстань, Олли. Я с тобой больше не буду встречаться.

Она выворачивалась, я держал ее крепко. И надсадно шептал:

— Будет у тебя ребенок?

— Пошел ты…

Я ее встряхнул.

— Ребенок! Будет у тебя?…

Она вырвалась. Глянула на меня злобно.

— Тебе надо знать, да?

— Я должен знать!

Она раздраженно дернула головой и хотела уйти. Я загородил ей дорогу, вытянув руки. Она попробовала под них поднырнуть, отчаялась и кинулась на ту тропку, ведущую к ольшанику. Увидела, куда попала, повернула назад. Но я загородил отступление. Она побежала наверх, я за ней. Сгреб ее за голые локти, повернул к себе.

— Эви!

Она отвернулась, что-то выплюнула в кусты.

— Эви! Что с тобой?

Она распрямилась и смотрела на меня из-под черных щелкающих пластин.

— Мошку заглотнула!

— Последний раз спрашиваю! Будет у тебя ребенок?

— Нет. Не будет. А то тебе больно надо знать. Или еще кому.

— Слава Богу!

Вся перекосясь, она передразнила меня:

— Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу!

И, спотыкаясь, стала взбегать по тропе, напарываясь на ветки, попадая в крапиву, шарахаясь, петляя. Я затрусил следом. В сердце у меня распустились великая радость и покой. Я ускорил шаг, я был уже в метре от нее, а она все взбиралась вверх какой-то сразу дерганой и расслабленной побежкой. И бросала при этом такие же дерганые слова:

— Пусть бы мне завтра помереть — и то бы тебе ничего. И никому ничего. Вам всем одно надо — тело мое поганое, а не я. Хоть бы мне пропасть, хоть бы тебе пропасть вместе с хреном твоим поганым и с химией твоей поганой, умник выискался… Только тело мое поганое, только…

Мы вырвались в солнечный круг. Смеясь от радости, от облегчения, я снова повернул ее к себе, мне хотелось, чтобы она разделила мою радость, чтобы все разделили. Держа ее одной рукой за спину, вжимая в себя эти круглые груди, я другой рукой поднял ее лицо, чтобы поцеловать. Она поморщилась, вывернулась, зашипела как кошка.

— Ну Эви, ну миленькая! Ну давай! Успокойся! Успокойся, юная Бабакумб!

Тут она прижалась ко мне, руки на моих плечах, голова у меня на груди. И заговорила, всхлипывая, давясь слезами:

— Ты меня никогда не любил, меня никто никогда не любил. Я любви хотела, хотела, чтоб кто пожалел… я хотела…

Она хотела нежности. Я тоже. Но не от нее. Мои возвышенные фантазии, обожание и безнадежная ревность не имели к ней никакого касательства. Она была — доступная вещь. Я с улыбкой пережидал, когда отполыхают летние молнии, отбушует гром, уймутся ливни, чтобы нам снова приступить к разумным отношениям. В конце концов, Эви — это дикое, нужное, вожделенное существо — была еще и девушка. И естественно, слезы немного погодя иссякли. Я ждал, не без легкой иронии, что сейчас проступит

игривая, таинственная усмешка. Но Эви, наоборот, медленно оторвалась от меня, смахнула с лица волосы. И медленно побрела сквозь кусты к ольшанику над кроличьим садком, прикладывая к глазам и к носу платочек. Бросилась на землю в тени, оперлась на локоть и уныло разглядывала Стилборн в лиственной раме. Через минуту-другую я подошел, встал на коленки сзади нее, рядышком, беспечный и радостный, как пчела над цветком. Я погладил ее голое плечо. Она отшвырнула мою руку, будто отмахнулась от мухи. Хохоча, я раблезианским жестом задрал ей подол. Хихикая, схватил резинку трусов. Ощутив на себе мои пальцы, она дернулась от меня, и трусы скользнули к коленкам. Как током ударенная, она поддернула их и глянула на меня через плечо мертвым, белым под размазанной краской лицом.

Есть вещи, которые не надо анализировать, раскапывать, затверживать и воскрешать усилием памяти. Они просто вспыхивают перед глазами, и можно детально разглядывать их. А вдобавок такова их природа — ни одна ведь мысль не мелькнет, не оставя зарубок где-то в космосе, — что они сразу же влекут и неизбежное истолкование. Я стоял на коленках, смотрел на

нее и не видел, видел только свое открытие, и из клочков с естественной неотвратимостью складывалась картинка.

Капитан Уилмот со своим волчьим оскалом и грудой невыкопанной шрапнели! Примкнуть штыки! Капитан Уилмот, добрый соседушка, гоняющийся за призраком юности, вышибленной из него снарядом, нежно преданный учитель от природы одаренной ученицы.

Она вставала перед ним на коленки, я так и видел. А он, пригнувшись, наверное, к креслу, тянулся над ее свешенной головой и правой рукой выбивал эти красные шрамы, в такт, что ли, глубоким океанским раскатам, а потом, утомясь — много ли сил у развалющей, слюноточащей горгульи, — отпускал удары уже послабее, уже левой рукой по другим, тем рубцам.

Не знаю, сколько времени я так смотрел на нее не видя, и мы оба, застыв, молчали. Мне было восемнадцать, ей тоже, и первый звук, наверно, какой я издал, был смех — от чистейшего изумления. Потом я снова увидел ее — глаза и губы, вклеенные в белое лицо, Стилборн не в фокусе под нею, за нею. Я засмеялся снова, от беспомощности, потерянности, будто я напоролся на проруху, ноль, пустоту, где не то что нарушаются правила,

а просто правил — нет. Такой срез жизни.

Не отводя от меня глаз, глядя на меня из-под своих неподвижных пластин, Эви подняла руку к волосам и хихикнула, но это не навело в ее лице порядка. Она затихла, глядя на меня — глаза в глаза, — и вдруг в лицо ей кинулась краска. Она не то что покраснела, вспыхнула, нет, все лицо разладилось, вздулось, и блестящая от натяжения кожа будто не давала закрыться рту. Хрипло, надсадно, так же неудержимо, как она покраснела, у нее вырвалось:

— Пожалела я его.

Я отвел от нее глаза и смотрел на город. Высветленный тенью ольшаника, он лежал разноцветный, мирный. Я смотрел на наш забор, окно ванной, окно аптеки, на наш дворик — там стояли бок о бок на травке мои родители. Я так и видел, как папа смотрит на клумбу, а неугомонная мама нагнулась и что-то перебирает в цветах. Они были слишком далеко, я их узнавал только по фону и жестам, папа был темно-серым пятном, мама — светло-серым. И вдруг я остро ощутил: там и здесь — два разделенных мира. Там — они с Имоджен, чистые на разноцветной картинке. Здесь — она, эта, предмет, вещь, на земле, провонявшей прелью, обглоданными ко-

стями, жестокостью, — отхожее место природы.

Вещь все смотрела на меня. Лицо опять стало белым. Мы вели себя так тихо, что дрозд спокойно поклевывал рядышком перегной. Хроменькому, об одной лапке, ему приходилось отставлять хвостик вбок, чтоб сохранять равновесие.

Эви встала на коленки, и дрозд сразу упорхнул.

— Олли.

— А?

— Хочешь?

— Что?

Она ссутулилась, уставилась в землю. Потом подняла глаза, так закусив нижнюю губу, что на обоих резцах осталось по красному пятнышку.

— Я все сделаю. Все, что ты скажешь.

Сердце у меня оборвалось, плоть взыграла. Они там, далеко, два серых пятна, а здесь оно — неизбежное, нужное, неопровержимое. Я с любопытством вглядывался в свою рабу.

— Когда? Я хочу сказать — когда это началось?

— С пятнадцати лет.

Непостижимо — но смутное подобие улыбки пробилось под слоем косметики, приподняв белые щеки, будто она вспомнила что-то стыдное и все же приятное.

— …и всю дорогу.

Я протянул руку, она отпрянула.

— Нет. Не сегодня. Сегодня… не могу я!

И осторожно поднялась на ноги. Я сказал твердо:

— Тогда завтра, после приема. Я буду ждать. Тут.

Она встряхнулась, взяла себя в руки. И стала прежней Эви. На секунду спроворила даже легкое излучение, косую ухмылку. Потом пошла по тропе в кустах и скрылась из глаз.

Я остался где был, среди произрастаний и запахов, и смотрел на Стилборн, картинкой в лиственной раме висящий на какой-то стене.

Вечером за ужином мама объявила свой план:

— Сможешь ты заварить чай, папочка? Для себя и для Олли? Или Олли, может быть?…

Папа поднял взгляд.

— Что? Почему? Когда?

Мама сверкнула очками.

— Здрасте! Кому я все это рассказываю? Вы, оказывается, оба ни звука не слышали!

Папа робко изобразил глубочайшую заинтересованность.

— Действительно, мама. Я задумался. Да. Так о чем ты?

— А этот вообще ничего не видит и не слышит.

Да, скажу я вам…

— Так о чем ты говорила, мама?

— Как я уже сказала, — объявила мама с достоинством, — я еду в Барчестер. В субботу.

Папа почесал голову, прикидывая, что такое Барчестер.

— А-а, да.

— На автобусе в час дня. Свадьба не раньше трех.

— Свадьба?

Папа прикидывал, что такое свадьба.

— Чья свадьба?

Мама с шумом поставила чашку. У нее сегодня определенно был приступ раздражительности.

— Как ты думаешь — чья? Папы Римского? Имоджен Грантли, естественно!

Через какое-то время я снова стал слышать, что говорили за столом. Мама оканчивала долгий период:

— …а чаю попью в Кадене.

— Да, самое хорошее место, я полагаю.

— Что ты в этом понимаешь, папочка? Ты ни разу там не был! А потом я, наверно, схожу в кино.

— В Стилборне тоже есть кинематограф, мама, — вставил папа услужливо. — Только я не знаю, что там идет.

— Ты много чего не знаешь, — сказала мама вредным голосом. — Даже кое-чего, что творится у тебя под носом.

Папа подхалимски кивнул.

— Я знаю. Может, Оливер тоже хочет…

— Он! — Обо мне говорилось, как о некоем презренном предмете в далекой Австралии. — Он хочет по округе все время шататься, уж можешь мне поверить!

Некоторое время мы все трое молчали. Я слышал, как мама стучит туфелькой по ножке стола.

— Вот я и не прошу никого из моих милых мужчин меня сопровождать…

Стук прекратился. Помолчав, она заключила фразу тоном, не допускающим возражений.

— …потому что не сомневаюсь, что только зря бы старалась…

Мы с папой уставились в свои тарелки, молча по разным причинам.

Даже на другой день к чаю мама еще не остыла. Мне было что скрывать, и меня томили нехорошие мысли, обернувшиеся просто грозным предчувствием, когда она нарушила наше молчание.

— А эта девица долго торчала в аптеке, папочка!

— Да. Да. Долго.

— Что ж, надеюсь, ты дал ей полезный совет. Пора уж кому-то на себя это взять!

Папа утер седые усы и мирно кивнул. К нему ходили за советом. Наверно, потому что он был больше похож на доктора, чем доктор Юэн, притом не будучи окружен устрашающим ореолом докторского статуса. Люди считали, что с ним можно поговорить. Что правда, то правда — он довольно редко прерывал их своими соображениями. Пережевывая жвачку какой-то идеи, покуда она не выпустит последнего сока, с виду он будто слушал изливаемый на него речевой поток. И пациент ценил его мудрость. Да и в самом деле — добрый, отзывчивый, тщательный и медленный, он был, наверное, мудрым. Мне, с моей особой сыновней позиции, трудновато судить.

— Ну и чего ей было надо, папочка?

Циничная часть моего существа на секунду возликовала, вообразив, как папа предлагает Эви слабительное. Но он пристально разглядывал чайник, поджав губы. Я ждал.

— Она… разуверилась в людях.

Я спрашивал себя, не продемонстрирует ли мой вопрос о том, кто эта девица, мое полное безразличие. Но разумно решил воздержаться.

Зато мама полыхнула очками и со значением кивнула.

— Меня это не удивляет! Нисколько не удивляет!

— Твари, — сказал папа. — Все мужчины животные, твари. Вот что она сказала.

— Та-ак, — сказала мама. — А чего ты ждал от такой девицы? Мужчины таковы, какими ты…

Я прыснул чаем на скатерть. Эта мелкая неприятность подоспела весьма кстати. Пока меня стукали по спине, я очень рассчитывал на перемену темы. Но мне бы следовало понимать, что мама в своем странно затяжном приступе раздражительности не ограничится двумя-тремя репликами. И папе придется сдаться.

— Продолжай, продолжай, папочка. Что же ты ей на это сказал?

Папа вытер усы, провел ладонью по лысине, поправил очки, снова взглянул на чайник. Я услышал стук маминой туфельки.

— Я сказал: нет.

Стук продолжался, и папа его услышал. Он уточнил:

— Я сказал: нет, они не животные. Сказал: я не животное. Сказал: наш Олли…

Стук прекратился. Папа мерцал и сверкал на

меня искоса.

— Я сказал: конечно, у него есть свои недостатки, много недостатков, но он не животное.

Наступила пауза. Мама заглянула ему в глаза и спросила едва слышно:

— И что же она сказала?

Папа отвернулся от меня и смотрел в свою тарелку. Он ответил уклончиво:

— Ну, сама знаешь, как это бывает, мама… Я начинаю думать, а они… не помню.

Мама встала, взяла чайник и ушла с ним на кухню, хлопнув дверью. Снова наступила пауза. Потом папа тихонько сказал:

— Знаешь, все из-за этой свадьбы. Вот вернется она с этой свадьбы и… успокоится.

К концу приема я ждал в наших зарослях. Эви запаздывала, но все же она пришла. Ситцевое платьице и все такое прочее всплывало по тропе. Моя распаленная похоть предвкушала ее кротость, униженность, осознание своей новой роли. Но Эви улыбалась, глядела даже, пожалуй, победоносно и опять излучалась. Она прошла мимо меня, уверенно двинулась сквозь кусты, сквозь ольшаник и села посреди морковных огрызков кроличьего садка. Я мялся рядом, переводил взгляд с нее на город и обратно.

— Пошли, Эви!

Она душисто тряхнула сияющей гривой, легла на солнышке. Широко раскинула руки, вытянула ноги, куполом опало платьице.

— Пошли, Эви!

Снова она тряхнула головой, громко захохотала. Я подошел, присел на корточки рядом.

— Слушай — в чем дело?

Эви включила все что положено, и глядела на меня искоса, помахивая лохматыми ресницами. Уперла подбородок в шею, еще подтянулась, отделив верхнюю часть тела от земли, и у меня перехватило дыхание. От знакомого запаха.

— Пошли на наше местечко — нам будет хорошо!

Эви закрыла глаза, рухнула. И так лежала не улыбаясь.

— Здесь или нигде!

— Но… ведь город!

Подняла голову, глянула туда, косо усмехнулась.

— Я сказала. Все, мистер Умник.

Я приказывал, уговаривал, умолял. Эви не шелохнулась. Лежала, растянувшись, раскинув руки, и отвечала все той же фразой:

— Здесь или нигде.

В конце концов я смолк и уныло уткнулся взглядом в темную землю и сухие кроличьи катышки. Эви встала и отряхивала разную гадость с платья.

— Эви. Завтра.

Завтра — то есть в день свадьбы. Я уже знал, чем можно, как пластырем, залепить мысли про это.

— Ну пока. До завтра. Здесь.

Эви косо усмехнулась.

— Ладненько, Олли. А чего?

И ушла, уверенная, прямая, как ни в чем не бывало.

Только когда уже мы сели втроем обедать пораньше, чтобы маме успеть на барчестерский автобус, — только тогда я понял. Мама, благодушная, оживленная, вообще не закрывала рта — когда умолкала, ела.

— …Ты можешь больше не беспокоиться за эту девицу, папочка. Она уезжает!

— А?

— Едет к тетке в Эктон. Ей работу обещали в одной фирме. Экспортируют, кажется, лес. Тоже неплохо!

— Неплохо?

— Ну, для нее.

Папа жевал, глядя прямо перед собой. Намор-

щил лоб, покачивал головой.

— Лондон. Не знаю. Такая даль. Юная девушка…

И продолжал жевать, зловеще покачивая головой, будто перед его умственным взором сонмы юных девушек проходили кидаться с Лондонского моста.

— Ерунда, папочка! — сказала мама, смеясь и сверкая. — Она же у тетки поселится!

Папа сменил покачивания на кивки, продолжая мерно жевать — тридцать два раза или, может быть, шестьдесят четыре? Мама перестала сверкать и смеяться и уставилась в стену. Когда она заговорила, голос у нее был тот, каким она сообщала обычно о своих волнующих, немыслимых предчувствиях и озарениях. Не допускающий возражений, железный, безличный, не мамин голос. Сейчас в нем звучали вдобавок бравурные, даже веселые ноты:

— Если она только побережется, она будет жить припеваючи!

Я мыл посуду с необъяснимой яростью. Покончив с этим, я вышел и зашагал через Стилборн, прочь от откоса. Нырнул в эротические леса, повернул, снова попал в поля. Считается, что с гребня Буфетной горы виден самый кончик

Барчестерского шпиля, и я всю ее исходил и потом взобрался на гребень. Но Барчестер вместе с предполагаемым шпилем тонул в непроглядной сини. Я повернулся и мрачно обшарил взглядом весь откос до наших зарослей. Там, наверху, выше темного садка, белело крошечное пятно.

Не волноваться! Только не волноваться!

Я пошел мимо сенокосцев, мимо конюшен, напрямик полями Малой фермы, снова взобрался. Белое пятно тут как тут. Видно с любого конца округи. Я, спотыкаясь, побежал вдоль откоса — ров, взгорье, железные ворота. Чертов лог. Задыхаясь, вломился в наши заросли, пот тек у меня по лицу ручьями, склеивал волосы. Церковные часы внизу пробили три.

— Эви!

Я рухнул с нею рядом, сердце колотилось о сырую землю. Она сидела скрестив ноги, опираясь на обе руки. Стилборн и вся широкая округа ходуном ходили за ее спиной, будто тоже задыхались от бега.

— Эви — ну, пожалуйста!

— Здесь или нигде.

Я чувствовал уставленные в меня глаза Стилборна. Но они были далеко, были в толстых очках, а мы — два неопознаваемых пятна. Меня

сковывал необъяснимый, неразумный страх, но сковывал не на шутку. Эви это понимала, победно хмыкала исподтишка и сама, наверно, удивилась и испугалась, когда я, обняв ее за спину одной рукой, схватил за грудь другой и запер отчаянными губами ее всполошенный ропот. Она не противилась и не помогала. И когда я уже лежал, задыхаясь, ничком, встала и ушла — вся красная, без единого слова.

Я остался лежать, как был, потом наконец глянул вниз из-под локтя, стараясь опознать фигурки, двигающиеся где-то там, по самой грани моего зрения. Я встал, пригнувшись, пошел через ольшаник и выпрямился, только уже когда спустился на Бакалейную. Открыл нашу входную дверь осторожно, как вор. Подумал, не взяться ли за скрипку, не сыграть ли, скажем, цыганский романс, на который меня со странной настойчивостью науськивала мама. Можно начать, например, тихо-тихо, потом погромче, еще громче, и папа не сможет определить, когда я вернулся — да и вообще, выходил ли я из дому. Но мне надо было успокоиться поскорей, и потому я пошел в аптеку и непринужденно открыл дверь. Папа стоял возле верстака у окна. Верхняя часть окна была открыта и смотрела на наши заросли.

Он даже не потрудился спрятать бинокль в кожаный чехол, висевший за дверью. Бинокль лежал перед ним на верстаке, потрепанный, но годный к употреблению. Я подсчитал в уме. Десятикратное увеличение. Шестьсот шагов разделить на десять. Шестьдесят шагов.

На верстаке перед папой лежала книга. Он медленно закрыл ее, прошел мимо, не взглянув на меня. Взял с гвоздя белый халат, надел, медленно вернулся к верстаку. Высвободил из-под скрепки один рецепт, близко поднес к глазам. Потом вдруг скомкал рецепт, оперся на сжатые кулаки, свесил голову. И стояла тишина.

Наконец он распрямился, осторожно разгладил рецепт, снял с полки пузырек. Я уже знал — сейчас начнется, уже чувствовал — подступает, неотвратимо, как секс. Чувствовал по тому, как меня трясло, и смешались Имоджен с Эви, пианино с Робертом и с мамой, и нестерпимые усилия воли не могли остудить глаз. Я выдохнул задушенно:

— К черту все! О! К черту! К черту!

Беспомощно, бешено, жалко. А слезы не лились — хлестали мне на ботинки, на скамейку, на руки…

— К черту! К черту! К черту!

Голова запрокинута, кулаки сжаты, растянулось, мутясь, окно, и темные подземные хляби разверзлись во мне, и текло, текло…

— К черту! К черту!

Папа водил из стороны в сторону головой, будто ее дергают за резинку, а сам он — недоуменный, угодивший в силки зверек.

— Я должен был знать, понимаешь ли, должен. После всего, что она мне… — Он поставил пузырек, глянул в окно, потом на свои руки. Провел одной по лысине. — Смеется и смеется. Я сначала думал — истерика. Смеется и смеется и… или издевается.

Я стоял — несчастный, гадкий, пропащий, уже мечтая провалиться сквозь землю. Папа откашлялся и продолжал странным напряженным голосом:

— Молодежь… не думает. Я… Ты не знаешь про это место… Бакалейный… Да… Одним словом… Там — болезнь, понимаешь ли. Я не утверждаю, что каждый непременно должен заразиться… но если так себя вести…

Снял очки, протер с хирургической тщательностью. И вдруг сквозь спокойный, устоявшийся агностицизм прорвался голос пуританских поколений:

— ...этот господин, как я там, по-твоему, должен его называть... эти книги... кино... газеты... этот секс — это зло, зло, зло!

Я стоял как куча дерьма, мечтая только о сточной канаве, по которой я мог бы проползти к моим родителям, упасть к их ногам, чтоб они простили меня, чтоб вернулась наша былая невинность. Я стоял и смотрел, как он готовит лекарства против всех недугов Стилборна.

Я не выходил из дому, играл на дешевой скрипочке вместо моего пианино в надежде хоть как-то подлизаться к родителям. Я избегал Эви, как болезнь, которую расписывал папа. И действительно, видел ее всего один раз до ее отъезда. Я стоял у окна гостиной со скрипкой в руке. Я выложился на страстном цыганском романсе. И теперь стоял, уставясь на дом Пружинки напротив, с тоской представляя себе, как бы ее потешило мое прилежание. И тут по другую сторону Площади появилась Эви. У меня медленно отвисла челюсть. Эта познанная, разгаданная, эта падшая женщина ни чуточки не изменилась. Вывернутые губы, таинственная усмешка, наглый носик, сияющая грива, недвижные коленки. Она плыла, как всегда овеянная почти осязаемой аурой секса. Я провожал ее глазами, пока она не

уплыла за ратушу. Она была — зло, зло, зло. Я тоже. Я вернулся к моей скрипке, к гортанным вибрато моей цыганщины.

Так исчезла Эви. Но только годы спустя я узнал — почему. Причиной был не я, хоть я так полагал, стыдясь и одновременно тщеславясь. И не Роберт со своим мопедом, и не капитан Уилмот со своей пишущей машинкой и плеткой. Как ни бился Дагги Данс в конвульсиях, которые его доконали, как ни билась миссис Данс в материнском горе и в истерике, у нее не отнялась пара стилборнских глаз, не отнялся стилборнский язык. Из нашей среды в сторону Лондонского моста Эви исторг крошечный мазок помады возле губ доктора Джонса. Это было уж слишком. Эви уехала, и снова тихо разгладилась разноцветная картинка Стилборна.

* * *

Эви, однако, избежала Лондонского моста, потому что я ее увидел еще раз, притом в Стилборне. Случилось это два года спустя, осенью, я был на пороге моего третьего года в Оксфорде и дергался, как все, потому что и ежу было ясно, что война на носу. Я сомневался, что удастся закончить курс, и довольно мрачно рисовал себе собственную

участь под огнем нового западного фронта. У нас бушевала большая городская ярмарка — мероприятие, ежегодно намертво пресекавшее и без того хилую деловую жизнь Стилборна. Но она, эта ярмарка, уходила, как видно, корнями в такую англосаксонскую глубь, что только особым указом парламента можно было ее отменить. Бедственность положения усугублялась тем, что торговые ряды, некогда прораставшие между Старым мостом и Площадью по кривой Главной улице, заместил теперь блеск и грохот каруселей, качелей, чертовых колес, зеркал смеха и прочего, призванного торговать исключительно удовольствиями. Был субботний вечер. Небо холодное, легкое, лунное. Но от несчетных приспособлений, соревновавшихся в бесчинном разладе, над ярмаркой дым стоял коромыслом и пар взвихрялся столбами, опадал грибами и осыпался искрами так, будто война началась уже. На три сотни метров выстроились тиры, карусели, балаганы — битье горшков, метание дротиков, три броска за шесть пенсов, призы в бадье с отрубями. Нити, целые аляповатые клумбы мигающих электрических лампочек были заодно с лигроиновыми вспышками заведений поплоше, и все вокруг из-за них мелькало, дрожало, ходуном

ходило. Свободным оставался один проход, единственный путь к бегству от этого обморочного, облачного грохота. Я ушел было, но вернулся, бравируя и убеждая себя, что едва ли уже меня могут пронять удовольствия моего детства, и, злясь, хотя не теряя чувства юмора, убеждался, что очень даже могут. Руки в карманах серых широких фланелевых брюк, в длинном, свисающем на грудь и на спину шарфе, я вышагивал по проходу. Треск, вспышки, заводная музыка, взвизги, выкрики, уханье деревянного мяча о брезент, стоны пуль на листе железа слегка отодвинулись, стали фоном, от меня отделились. Проход был пуст: еще рано обжиматься за палатками парочкам, пьяные еще не загадили его блевотой. Из-под потускневших от конкуренции огней кинотеатра ко мне по тротуару двигалась девушка. Грива, недвижные коленки, чинно переступающие ножки — нет, я не мог обознаться. Да и ничего удивительного, что я ее встретил. Совсем недавно сержант Бабакумб вышел из ратуши в своем живописном наряде, звякнул медным колокольцем, воззвал «Эй! Эй!» и, широко разинув рот на третьем «Эй!», испустил дух. На узком месте нам было не разойтись. Она остановилась против меня, улыбаясь в отсветах дымных столбов.

— Привет, Олли! Чего делаешь в таком ди-иком месте?

— Гуляю. Просто гуляю. А ты?

— Я на выходные тут. Встретить кой-кого надо.

— А, ну тогда пока.

Я двинулся было, хоть мне уходить не хотелось. Она не шелохнулась.

— Ты теперь куда?

— Домой. Тут просто чудовищный грохот!

— Я с тобой.

— Ты ведь встретить кого-то хотела!

Она подняла руку к волосам.

— Для слова сказала. Мало ли.

Мы умолкли и смущенно оглядывали друг друга. Лондон пошел ей на пользу. Несколько миллиметриков там, складочки сям, вопрос покроя и ткани, наверно. Кое-чего она поднабралась, поднаторела. Строгий темно-зеленый костюм, полуботинки без каблуков. Прическа небрежная, но в небрежности — обдуманность, ловкость. Уж кое в чем я по крайней мере разбирался, и кое-что я увидел. Эви забралась на несколько ступенек вверх по нашей проклятой лестнице.

— Вот узнал про твоего отца. Прими, как говорится.

Эви важно кивнула.

— А теперь-то машина есть у вас, Олли?

Про сержанта — все.

— У нас? Нет. — Я сверху вниз широко улыбнулся. — Ты на меня погляди! Я сам дорогой очень!

Эви меня овеяла ароматным смешком.

— Ой, важный какой в этих очках!

Ловко подняла обе руки и сдернула с меня очки. Ночь помутилась.

— Эй! Ну тебя!

— Я так моему боссу делаю, когда… Здрасте, опять прежний Олли.

— Отдай, слышишь? Я же…

— Ладно. Не пыли.

Подошла вплотную, душистая, уверенная, закрепила у меня за ушами дужки. Душа, посвященная химии, зашлась от чего-то знакомого, забытого ради инертных газов и вовсе на них не похожего. Эви легко откачнулась.

— Бобби Пружинкину машину брал.

— Что ж. Я не Бобби, верно?

— Нет. Оно и видно.

Дрогнули кисточки. Она повернулась и двинулась к Площади, я — за нею.

— Все на пианино играешь, да, Олли?

— Так, иногда. Времени нет, знаешь. А ты все

поешь?

— Кто? Я? Больно надо!

Мы дошли до Площади. Эви заглянула туда, потом остановилась, повернулась ко мне.

— Ну а вообще-то ты чего делаешь, Олли?

— Моя дорогая Эви. Слишком долго и нудно было бы объяснять…

Тем не менее я за это взялся. Я заговорил о занимавшей меня идее как об уже доказанной. Криптон — то, что называется инертный газ. Но если его как следует раззадорить посредством давления и температуры, пропустить через него электрический разряд — искра пробьет весьма плотное облако криптона вместе с еще одним элементом. И получится совершенно неестественная субстанция, если допустимо такое определение. Так что криптон…

Эви на меня смотрела квадратными глазами.

— Ой-ей-ей, Олли! Ну ты и умный!

Я был приятно удивлен. Лондон определенно пошел на пользу Эви. У меня мелькнула бредовая идея повести ее в лабораторию, но я ее тут же отринул, ибо статус мой там несколько не соответствовал планке, на которую я намекал. Бред нарастал, однако, и, завидя наш флигель рядом с докторским домом, я ее чуть было не пригласил.

Но тотчас возобладал здравый смысл.

— О, не знаю! А вот ты, Эви, — ты изумительно выглядишь!

Она вся лучилась под газовым фонарем.

— Олли. А у тебя девушка есть?

Я, улыбаясь, покачал головой и зажал ладонью щеку там, где, кажется, назревал прыщик. Ответ Эви меня озадачил. Она кивнула значительно.

— Да ты и молодой еще чересчур, правда?

— Я старше тебя!

Я призадумался на секунду, нащупал деньги в кармане и остановился на компромиссе, единственно возможном, если я не хотел сразу терять Эви, ее излучение и восхищение. Пока я раздумывал, Эви повернулась на пятках и обшарила взглядом Площадь. Снова приблизила ко мне лицо.

— Но кто-то должен быть рядом!

— В каком смысле, Эви?

— Скучно же одному на свете!

Смелое выступление, учитывая грохочущую возле нас ярмарку.

— Можно зайти куда-нибудь выпить.

Эви открыла кошелек, заглянула. Я ее успокоил. Я уже получил деньги за следующий семестр. Я был богач, притом не постигший покуда ба-

нальной истины, что те же деньги не потратишь дважды. Мы двинулись вместе в «Корону». Я придержал для Эви дверь, и она захлопнулась с тугим стуком, отрезав нас от ярмарочного гама. Тут не было запахов снеди, смазки и пота, вспышек, мигания ламп. И хозяйничал добропорядочный, тусклый, но всепроникающий дух линолеума и пыли. По псевдоручной работы ковру мы прошли во второй зал и уселись у стойки на высоких лакированных табуретах. Миссис Минайвер, скрючившись, уронив на стойку руки, разглядывала смутный вид Эдинбургского замка. Моментально раскрюченная порывом профессионального гостеприимства, она выдала Эви ее виски с содовой, бледное пиво мне и скрючилась вновь. Я огляделся. Последний раз я был в «Короне» тогда, почти два года назад, с мистером де Трейси — памятный случай. Сейчас четверо членов муниципалитета, зажав креслами низенький столик в дальнем углу, что-то обсуждали по поводу предстоящего заседания. В другом углу молчала, уныло созерцая свои стаканы, какая-то пара.

— Ну, давай, Олли!

— Поехали.

Один из членов муниципалитета медленно

прошаркал в мужскую уборную.

Да, прыщик действительно назревал. Я теребил его в долгом молчании.

Член муниципалитета медленно пришаркал обратно. Минуя миссис Минайвер, что-то бормотнул, касающееся погоды. Она с бодрым смехом раскрючилась и скрючилась вновь.

Эви схватила и залпом осушила стакан.

— Еще, пожалуйста, миссис Минайвер!

— Стой, Эви, давай я…

— Нет.

Пришаркавший из уборной откинулся в кресле, ладонь рупором к уху:

— А? Громче, Джим!

— …пока мы не упустили контракт!

— А-а. Да.

Эви уперла подбородок в ладони, тряхнула гривой, повернулась ко мне:

— А неплохо мы жили, да, Олли?

Я механически хохотнул. Эви выпила еще виски с содовой и сказала, как бы набравшись храбрости:

— Да. Неплохо. Хорошо жили. И теперь вот… Как вспомнишь…

Я допил свое бледное пиво и оглядел ножки Эви в чулках. Очень ничего себе ножки. Я протянул

пустой стакан миссис Минайвер, она мне опять налила. Бледное пиво было очень ничего себе.

Эви продолжала:

— Все же, кто вместе рос — мальчишки, девчонки…

И послала в мою сторону луч — лукавый и томный одновременно. Я засмеялся и хлебнул как следует бледного пламени. Я тоже кое-что вспомнил и зябко почувствовал, что нельзя пускать события на самотек.

— А Роберт, Эви! Про Роберта не забудь.

Томность утонула в лукавстве.

— Бобби! Моя первая любовь!

Я хлебнул еще, вспомнил малолитражку мисс Долиш и поперхнулся.

— Еще, миссис Минайвер, пожалуйста!

— И мне.

Эви примолкла, глядясь в зеркало за стойкой. Она была очень ничего себе.

— Во вторник.

— Что, Эви?

— Во вторник уезжаю. — Искоса сверкнула на меня улыбкой. — Пока что — передышка. — Схватила стакан, опрокинула. — Еще, пожалуйста!

— Поехали!

— Сперва надо кой-кого повидать, конечно.

— Тебе?! Кого это?

Меня осенила блистательная идея. Я осклабился.

— Кстати, а как Фредди Уилмот?

Эви некоторое время молчала, глядя в стакан. Потом выпила, поставила стакан со стуком.

— Я только из Швейцарии, с боссом своим туда ездила.

Я сверхзначительно осклабился.

— Ну, а этот — как?

— Патрик — лапочка. Все говорят. Я его обожаю.

Она вдруг захихикала. Десять секунд — и куда подевалось томное лукавство. Передо мной сидел бесенок. Эви Старого моста.

— Он — все отдать, да мало. Ну прям замечательный!

Высокий табурет качнулся, она уцепилась за стойку.

— Поехали!

— Вздрогнем!

— Пошли заглянем к твоим родителям.

— Ты это брось, Эви.

— Или к доктору Джонсу. Вот мужчина! Надо к ним заглянуть.

— Не думаю.

— Оно и понятно, что в Стилборне столько баров. А то как бы… Жалко, тут Патрика нет. Еще, пожалуйста!

— Прям замечательного.

Эви хихикнула громко.

— Он в постели замечательный. Все говорят.

Разгоряченный жидким бледным пламенем, я не мог уступить ей пальму первенства в нашем состязании остроумия:

— А на самом деле?

Но я, оказывается, плохо знал Эви.

— И на самом деле, — сказала она. — Получше тебя будет.

Урчанье беседы смолкло в углу. Все стихло. Я привстал с табурета и сделал несколько нелепых па возле стойки.

— Мы в постели никогда не лежали, — сказал я с хохотом, естественным, как дерматин. — Никогда! Ты это брось, Эви!

— В постели никогда не лежали, — подхватила она, кивая. — И без постели позже полвосьмого никогда. Ни разу, ни-ни! Ну, давай!

Я с хохотом поднял стакан. И совершил свою грубейшую стилборнскую ошибку.

— Опрокинули — жопки вверх!

Эви — очень осторожно — поставила на стойку

пустой стакан. Заглянула в него, будто ожидала увидеть там муху или что похуже. Мрачная пара, обменявшись кивками, быстро поднялась и удалилась без единого слова. Эви подняла было руку, будто хотела откинуть волосы, но опять уронила. Посмотрела на меня искоса через стойку, оглядела молчащий бар, глянула сквозь стены на город. Выступила кривая усмешка.

— Все началось, — сказала Эви, — когда ты меня ссильничал.

В ушах у меня невыносимо звенело. Все было как в страшном сне. Что тут можно сказать? Простое, решительное, неопровержимое? В самом деле: что я сделал — мы сделали? Четверо членов муниципалитета встали как один и направились к двери мимо раскрючившейся и скрючившейся миссис Минайвер.

— Наверху, на горе, — пояснила Эви громко и обстоятельно. — В зарослях!

— Неправда!

— Добром бы я ни в жисть, — сказала Эви. — Я тебя не хотела. Мне всего пятнадцать было.

Дверь захлопнулась. Мы были одни. Снова меня подхватило теченье Стилборна, но на сей раз не шепоток-хохоток. Воды взревели над самой моей головой. Я бухнул стакан, бросился вон и

встал под газовым фонарем на углу ратуши. Эви с хохотом встала рядом. Я еле сдерживался, чтоб не вцепиться ей в шею руками.

— Олли, лапочка!

— Уделала меня, да? Хорошо уделала!

— А то.

— И себя уделала.

Она хихикнула.

— Чего? Сразу обоих?

— Только и умеешь, что смеяться, смеяться, смеяться и…

— Крошка Одри. Вот я кто[36].

И качнулась ко мне, лучась. Но молодая луна и газовые фонари — вот и все, что ее освещало. Белая как мертвец, глаза и рот черные как лакрица.

— А пошла ты знаешь куда!

Она на мгновенье застыла. Потом стала серьезно кивать.

— А-а, — сказала. — Так. Хорошо.

Повернулась, пошла, все кивая, остановилась. Повернула обратно.

— Олли!

— Что?

---

[36] Примечания: 36

«Крошка Одри смеялась, смеялась, смеялась» — расхожая фраза 1930-х г., пущенная в обращение благодаря не очень приличному анекдоту.

— Ты уж прости. Только…

— Опоздала немного.

И сразу, вдруг, она опять стала прачкой, голова выдвинута вперед, сжаты кулачки.

— Ты! Станешь ты когда взрослым, нет? Это место. Ты. Ты и мамка твоя, папка твой. Вы для нас благородные чересчур, да? У вас ванная. «Я еду в Оксфорд!» А про… про тараканов слыхал, и…? Нет? Ладно! Во вторник. И ноги моей больше… Ни за что! Так что болтай себе, смейся. Ясно? Болтай и смейся!

— Черт! Про что мне болтать?

— Болтай-болтай.

— Да про что?

Она с ненавистью выдохнула мне в лицо:

— Про нас с папкой.

Повернулась и нестойко двинулась через Площадь. Только после эркера мисс Долиш снова овладела походкой. Я стоял, смятенный, пристыженный, впервые, несмотря на злость, по-иному увидев Эви в ее ежечасной битве за опрятность и красоту. Будто этот объект разочарования и страсти вдруг принял атрибуты личности, а не вещи. Будто я — будто мы могли бы заняться чем-то, музыкой например, вместо неотвратимых, неизбежных сражений. Чувство это было так

сильно, несмотря на мою ярость, что я крикнул пустой Площади:

— Эви!

Она опять ровно переступала ножками. И поскольку из-за шума ярмарки она могла не услышать меня, секунду меня подмывало броситься за нею, аж в темную пасть Бакалейного тупика. Но я увидел, как засветилось папино окно, как мамина тень прошла по занавескам. И еще я увидел — или мне показалось — взгляд Эви и взмах расслабленной пятерни над левым плечом. И она ушла. Я потерянно поплелся домой — думать про эту неоткрытую личность и про странную ее оговорку.

II

После окончания своего первого оксфордского семестра я поездом поехал в Барчестер, а там сел в автобус до Стилборна. Я проторчал в Барчестере, сам не знаю зачем — бродил вокруг собора, пасся в книжных лавках, пока не спохватился, глянув на часы, что, если не потороплюсь, пропущу последний автобус. Я на него успел и зарылся в книжку. Будто пытаясь таким способом что-то продлить. Это «что-то» был никак не Оксфорд. Химия проглотила музыку и оказалась, к моей досаде и удивлению, отнимавшей все время работой. Я еле выкраивал небольшой досуг для тайного порока музыки, правда, весьма увлекательного. Вдобавок я рвался поскорей увидеть родителей, продемонстрировать модную ширину серых брюк, все про все рассказать. Эви уехала, Имоджен вышла замуж. Я был настоящий студент с соответственным пониманием долга и ценностей, без забот и печалей.

И — вот поди ж ты — углубился в книжку.

После старых обвалов
Новый идет водопад.

Протяженность без шири.
Место без меры,
Молитва без слез.

Нет, увольте, это не для меня, как он ни прекрасен. Я был ученый с одним тайным пороком. Зря я замахнулся на второй — он был мне уже не по зубам. Я отложил книжку, приготовившись ко всему, а меж тем автобус, по-коровьи качаясь, одолевал в темноте Старый мост. Я пронес два своих чемодана от остановки к нашему флигелю и обнаружил, что там темно. Нашаривая под ковриком ключ, я услышал несущийся через Площадь от ратуши мамин голос. Она меня крепко и нежно расцеловала. Мы не успели еще расположиться, а я уже понимал, что происходит, ибо увидел папу со скрипкой в черном деревянном футляре. Я как бы разом снова вступил в ту область, где все ясно без слов, и когда папа включил свет, на маме действительно оказались парадное серое платье, золотая брошка и легкие розовые пятна под каждой скулой. Она смеялась, сверкала, сияла. И без папиной скрипки и темно-серого костюма я мог догадаться, что Стилборнский оперный союз СОС — переживает свое ежедвух-, не то трехлетнее воскрешение. Для мамы, по-мое-

му, это был всегда звездный час. Она завладевала пианино. И с капельмейстером офицерского колледжа на тромбоне, бамстедским приходским священником на контрабасе, наборщиком на альте и папой в качестве первой (и единственной) скрипки она задавала тон в театральном оркестре. Скудость этого оркестра не объяснялась просто такими понятиями, как талант — не талант. Будь в Стилборне куда больше людей, владеющих инструментами, для них не нашлось бы места. Та же незадача скрывалась за масштабами труппы. И «Сельская девчонка», «Веселая Англия», «Сирень цветет» и «Чу Чин Чо» исполнялись в весьма стесненных условиях. Но будь у нас, предположим, бездна талантов, гигантская сцена, оркестровая яма и зрительный зал — все равно оставалось бы всепобеждающее ограничение — социальное. Замкнутая среда колледжа была для нас недостижима. И старшина О'Донован помогал нам исключительно потому, что там он был сбоку припека. В свою очередь, многие — добрая половина населения Стилборна — отсеивались механически, обитая в таких местах, как Бакалейный тупик и Мельничная, и будучи оборванцами. Хоть Эви пела и могла любого свести с ума, она не имела ни малейшего шанса даже

постоять в хоре. Искусство объединяет. Но не до такой же степени. Так что все делалось горсткой людей, обведенных незримой чертой. Никто и не заикался об этой черте, но помнили все.

Наш СОС родился из подспудно бродившего в обществе духа. У нас не было ритуалов, кроме ежегодной процессии мэра. Ни речей, ни парадов. Сами себе трагедия, мы и не подозревали, что нуждаемся в катарсисе. Шоковую терапию нам заменяли «Международные новости». Но время от времени беспокойный дух воспламенялся от сжатия, и мы беспокойно ворочались во сне. СОС, мирно почивший после очередного сезона, пробуждался и зализывал раны. Их было предостаточно. После профессиональных встреч лишь немногие члены труппы не прерывали отношений. С роковой неизбежностью желание играть, увлекать, впечатлять порождало пышно цветущую зависть, ненависть, склоки и обиды, которые приходится таить в обыденной жизни. Постановка изящной оперы уничтожала половину нашего потенциала одним махом, потому что всегда находились двое-трое, столь оскорбленных неполучением роли героя или героини, что категорически просили их более не беспокоить. Или — еще того хуже — мрачно

мирились с второсортным жребием и вступали на путь театрального саботажа. К концу длившихся у нас три вечера выступлений добрая половина труппы чувствовала себя столь смертельно обиженной, что клялась в жизни более не подвергать себя подобным унижениям. Вот почему СОС не мог функционировать ежегодно. Какой-то период требовался, чтоб затянулись шрамы. Распри затихали, враги снова раскланивались при встрече. И тогда уж — однако отнюдь не в соответствии с графиком — снова начиналось брожение. Собирался комитет, возрождался союз, анализировался понесенный в прошлый раз урон, а затем объявлялось, что в поддержку такой-то и такой-то благотворительной акции, скажем доктора Барнардо[37], СОС представит в ратуше такой-то и такой-то мюзикл. И, завидев на маминых скулах эти красные пятна, я сразу понял, что не об Оксфорде сейчас будет речь. Возбужденная мама сама хотела поговорить.

— Ну и что же у нас на сей раз, мама?

— Можно, наверное, чайку попить, — сказала мама. — Поставишь чайник, папочка, да? Господи, я совершенно… Это такая прелесть, знаешь,

[37] Примечания: 37

Томас Джон Барнардо (1845–1905) — известный филантроп, основавший множество детских приютов, так называемых Домов Барнардо.

Оливер. У нас никогда еще такой прелести не бывало!

Она напела несколько тактов, расхохоталась.

— Я спрашиваю, как это на сей раз называется?

— «Червонный король». Местами упоительная музыка. Ты оценишь.

— Я не пойду. Не волнуйся.

— Ну, мы это еще обсудим, — сказала мама. — Знаешь, детка, у нас ведь сейчас профессиональный режиссер. Ты, наверное, слышал про него в Оксфорде. Мистер де Трейси. Мистер Ивлин де Трейси. Я уверена, ты про него слышал.

— Ни сном ни духом.

— Он очарователен. Сразу преодолел все сложности. Подумай — профессиональный…

— Сложности?

— Ну, с приемной мэра. Мистер де Трейси взял и сказал: «Ребятки, нам просто придется изменить маршрут. Вот и все». Папочка, ты ситечко забыл!

— Так что там с этой приемной?

— Ты не поверишь. Он заявил: «Нет». И с тех пор она стоит запертая.

— Но не можете же вы…

— Мистер де Трейси повесил циклораму на полметра дальше и устроил так, чтоб труппа ходила там.

— Но почему же?…

— Вот-вот, ты спрашиваешь. Естественно. Папочка, я надеюсь, ты поставил чайник? Понимаешь, Оливер. Это из-за дочки. Ее просто оставили с носом.

— Не может быть!

— Представь!

— Нет!

— А я тебе говорю, Оливер. Так что ты понимаешь.

Я понял. Без дочери мэра миссис Андерхилл труппа была непредставима. Много лет назад она сезон продержалась на профессиональной сцене, и у нее был поставлен голос. С тех пор она сделалась нашей бессменной инженю, что многое упрощало. Я видывал ее в персидских шальварах, японском кимоно, елизаветинских фижмах. Голос ее был создан для «Друри-лейн», а нашу бедную ратушу сотрясал как обувную коробку. Выйдя как-то из лесу, спускаясь к Стилборну и услышав ее верхнее *до,* я даже погрешил на пациента из соседней больницы. Если комитет отверг услуги миссис Андерхилл — логично, что престарелый родитель запретил СОС пользоваться приемной и, естественно, тянул с этим извещением, пока оно не сделалось роковым.

— И как же вы?...

— С черного хода, конечно. Мне говорили — жуткая теснота. На арьерсцену слева, — сказала мама, гордо смакуя терминологию. — Только так. Каждый, кто зайдет справа, задевает циклораму. Даже видно иногда, как она колышется.

— Какое — иногда, — сказал папа. — Младший Джонсон сегодня чуть ее локтем не проткнул.

— Но как же... То есть?

Мама поняла.

— Ну, ей уже под шестьдесят, детка, а все на свете имеет конец, правда? Пришлось уступить место кой-кому помоложе.

— И какую же она теперь играет роль? Ведьмы?

— Уж не думаешь ли ты, что Элси Андерхилл станет играть кого-то, кроме героини? Мой дорогой Оливер! Она просто хлопнула дверью! Да, скажу тебе, это было нечто! Некоторые считают, что Клеймор был не совсем тактичен...

— Клеймор? Так он еще в героях?

Норман Клеймор, владелец и издатель «Стилборнского вестника». И теперь муж Имоджен. Сердце у меня екнуло, когда я понял, кто сменил миссис Андерхилл в качестве инженю.

— Они — прелестная пара, детка, пусть даже

голос у мистера Клеймора чуточку слабоват…

— Абсолютнейший комар.

— Ну и можно, наверное, согласиться, что внешне он не вполне Айвор. Но миссис Клеймор, то есть Имоджен Грантли, — вот уж кто действительно настоящая принцесса.

Это я мог себе представить. И устремился мыслью обратно в Оксфорд.

— У нее голос, — сказал папа, — как у…

— Да-да, папочка! Выпей еще чашечку.

Имоджен еще и пела. Природа явно перестаралась. И я решил завтра отправиться на долгую-долгую прогулку, чтоб не услышать ее и снова не влипнуть.

— Воображаю, какая давка на этом вашем черном ходе!

— О, мы в оркестре, конечно, не очень знаем, что там происходит. Но ты нам расскажешь, детка. — Я рассеянно кивнул, думая про Имоджен. Потом.

— Что ты сказала, мама? Я? Расскажу?

— Это в самом начале, детка. Одна сценка…

— Постой! Минуточку!

— Ты бы хоть дослушал, что я хочу сказать!

— Послушай, мама…

— Одна сценка. По-моему, в Венгрии или в Ру-

ритании — словом, где-то такое. Ресторан. Она не знает, что он переодетый король, он не знает, что она переодетая принцесса Пафлагонская. Очень остроумная идея. И как он додумался!

— Нет, мама, нет! Я тебя предупреждаю, мама…

— И цыган, конечно, им играет, и тут они влюбляются…

— Нет!

Я заметил, что папа не смотрит ни на меня, ни на маму и так смотрит в чашку, будто читает в ней свою судьбу.

— Только представь, — сказала мама. — Он играет, а у них такой трогательный разговор, и король ему дает набитый золотом кошелек, и он уходит, и тут оркестр тихо-тихо подхватывает тему цыгана, и он — то есть это уже король — начинает петь, сидя с нею рядом… — И моя вдохновенная мама запела на пределе страсти: «В сердце моем, о дитя, расцветает заря!»

— Не хочу!

— Послушай, Оливер, — сказала мама, слегка отрезвев. — Не изводи меня! У нас младший Смит изображает цыгана, а папочка за него играет. Но что толку. Он просто смычком в такт музыке не умеет водить. И я вчера предложила мистеру де

Трейси. Завтра на заключительном представлении, сказала я, мой сын Оливер с удовольствием нам поможет…

Я в отчаянии ухватился за соломинку:

— Пойми же, мама! Я давно не играю на этой проклятой скрипке! Да и как ты себе представляешь — могу я, по-твоему, до завтра разучить музыку?

— Но этого и не требуется, детка.

— Так что же тогда делает этот ваш цыган? Пюпитр за собой таскает и «Цыганские романсы»?

— Это та музыка, которую ты играл перед тем, как уехать в Оксфорд, — сказала мама. — Помнишь, как она тебе нравилась, детка, ведь ты играл с утра до вечера, ежедневно, три недели! И по-моему, ты дивно играл.

Я разинул рот, потом закрыл. С упреком глянул на папу, но он продолжал изучать свою чашку. С упреком глянул на маму. Но она, снова безмятежная, ликующе улыбалась.

Назавтра, в субботу утром, я покорно поплелся с мамой в ратушу. Мы вошли в большую дверь с западной стороны, и там нас ждали трое. Мистер Клеймор с Имоджен сидели на сцене за столиком. Я был милосердно избавлен от официальной церемонии знакомства, потому что, когда я следо-

вал за деловито устремившейся через зал мамой, футляр моей скрипки расстегнулся и содержимое вывалилось на пол. Я водворял его на место, потом стоял со смычком в одной руке и скрипкой в другой, пока меня наконец заметили. Я смотрел на Имоджен, и она улыбнулась мне своей чудной, морщащей губы улыбкой, но ничего не сказала, потому что говорил мистер Клеймор, и голос его, как всегда, мне напомнил скрежет ногтя по стеклу.

— Вот и он, Ивлин. Нам ведь требуется всего-навсего пробежать этот кусочек диалога, не так ли?

Сперва в голове у меня пронеслось, что это уже текст пьесы, потому что появившаяся из-за кулис слева от меня фигура была костюмирована.

— Мистер де Трейси, — сказала мама, — это мой сын Оливер. Оливер, детка, это мистер Ивлин де Трейси.

Мистер де Трейси отвесил низкий поклон, но не сказал ни слова. Только улыбался мне со сцены сверху вниз и ждал. Очень длинный и тощий. В узких клетчатых панталонах и длиннющем, чуть не до колен, пиджаке. Плюс отложной воротник и черный фуляр над расшитым жилетом. Странно: и что было делать такой фигуре в Венгрии или Руритании? Очень мило с его стороны, что

он не только поставил пьесу, но еще согласился играть.

Мистер Клеймор, однако, начинал нервничать, что было непонятно в субботу утром. Номер в типографию отправляли вечером в четверг. Мама повернулась ко мне:

— Ты настроился, детка?

Я нырнул под зеленый суконный занавес, отделявший оркестр от зала, и взял на пианино *ля.* Пока я настраивал скрипку, мистер Клеймор беседовал с мистером де Трейси.

— Кто этим займется, Ивлин, я или вы?

Тут я заметил любопытную вещь относительно мистера де Трейси. Он сотрясался. Он ничуть не изменил выражения на своем длинном лице с туманной улыбкой, неизменной улыбкой, чуть размыкающей губы, но длинное тело сотряслось — три-четыре раза — и стихло. Сотрясение включало и ноги, имевшие тенденцию выворачиваться в коленках.

— Вы, Норман, я полагаю. В вас пропадает такой профессионал!

Мистер Клеймор надул щеки.

— Что вы, Ивлин, старина, просто я хочу вас избавить от лишних трудов.

— А старый спец вроде меня всегда рад по-

учиться, Норман. У вас бесподобный нюх.

Мистер Клеймор удовлетворенно рассиялся.

— Не скрою, я даже сам иногда удивляюсь… Однако. Дайте-ка мне сообразить.

Он соображал, склонив подбородок на белую руку. Мистер де Трейси продолжал меня озирать со своей туманной улыбкой. Глаза — огромные, два старых пожелтелых бильярдных шара, и на каждом очко — зрачок. Волосы на макушке все вылезли, кроме скромного черного хохолка, натренированного склоняться к затылку. Улыбка была загадочна и дружелюбна.

Мистер Клеймор выпрямился на стуле.

— Тэк-с! Давай сюда, мальчик!

Я взобрался на возвышение и очутился в метре от Имоджен.

— Сцена такова, — сказал комариный голос. — Вы видите богатых посетителей и подбираетесь со своей музыкой — играя, играя — все ближе, сюда. Играйте себе на здоровье, пока не заговорю я. Тут вы резко сокращаетесь — стихаете, стихаете, — пока я не брошу вам этот кошель с золотом. Вы кланяетесь низко, оч-ч-чень низко и ретируетесь задом. Ясно?

На Имоджен был оранжевый пуловер и светло-зеленая юбка. Я разглядел золотистый ободок под

искрящимся обручальным кольцом.

— О Боже! Он не слушает! Смотрите, Олли…

— Очень трудно так вводиться, — сказал мистер де Трейси тихо из-за моей спины. — Он, полагаю, робеет. Я бы непременно робел.

— Вы слышали все, что я сказал?

— Да, мистер Клеймор.

— Норман, мне кажется… не знаю, как вам? Он должен знать, откуда выходить. Это бы облегчило задачу, не так ли?

— Он выйдет оттуда же, откуда выходил этот кретин Смит, естественно.

Голос у мистера де Трейси был прелестно чист и нежен, и он отпускал его мелкими дозами, по каплям, сознавая, очевидно, всю его драгоценность.

— Может быть, мо-о-ожет быть, он не знает, что Смит выходил на сцену в центре, вот тут.

Мистер Клеймор приложил кулак ко лбу и закрыл глаза.

— Значит, он не сидел вчера вечером в зале!

Мама заговорила из темноты:

— Он очень поздно приехал из Оксфорда. Сдавал коллоквиум, знаете! Им остались очень довольны, правда, Оливер?

Мистер Клеймор переместил кулак на стол и открыл глаза.

— Меня уверяли, что он будет сидеть в зале, чтоб почу-у-увствовать вещь!

Мистер де Трейси посодрогался и стих.

— Мы уж постараемся, Норман, старина.

— Тэк-с. Значит, юный Оливер. Вы начинаете играть, когда я говорю: «Мне уже кажется, что это место самое очаровательное на всем белом свете». Ясно?

— Да, мистер Клеймор.

— А когда я говорю: «Музыка говорит вам про то, о чем я не в силах, о чем я не смею сказать», — тут вы сокращаетесь.

— Да, мистер Клеймор.

Я отступил за холщовый задник. Между ним и висевшим в качестве циклорамы сукном было примерно полметра. Имоджен сказала своим чудным голосом:

— Какое странное, очарованное место. Оно пугает меня!

— Мне уже кажется, что это место самое очаровательное… нет, погодите. Мне уже кажется, что это место самое очарова-а-ательное на всем белом свете!

Я вышел на сцену и начал играть, но тут же и перестал, потому что мистер Клеймор вскочил и махал руками:

— Стоп! Стоп! Стоп!

Мистер де Трейси обнял меня за плечи и похлопывал ладонью по правому локтю.

— Норман, старина. Лучше, пожалуй, им займусь я. Исключительно для того, чтобы вы поберегли ваш голос и ваши силы для спектакля. Мм?

Мистер Клеймор рухнул на стул и саркастически расхохотался.

— Как скажете, Ивлин!

Он барабанил пальцами по столу, пока Имоджен не прикрыла его руку своей ладонью, взглянув на него с пониманием. Мистер де Трейси ронял свои чистые, нежные слова мне в ухо.

— Вы так дивно играете, милый мальчик, что все у вас прекрасно получится. Не правда ли? Мм? Но если — если! — вы выходите этим великолепным размашистым шагом, вы оказываетесь здесь, у самой оркестровой ямы, пока не успели еще сыграть ни единой ноты для короля и принцессы, которые сидят — там. С другой стороны, если вы делаете даже единственный свой великолепный размашистый шаг (рука его нежно меня похлопывала) — вы уже не выглядите подобострастным, раболепным, заискивающим скрипачом-цыганом, не правда ли? Мм?

— Да, сэр.

— Зовите меня Ивлин, милый мальчик. Все зовут. А я буду звать вас Оливер. Мм? Итак, пробуем разок-другой войти. Вы делаете много малюсеньких шажков, понимаете, почти стоя на месте. И сцена сразу кажется зрителям больше — как ни странно! Великолепно! Так!

Тем временем я был так пригнут долу, что хорошо видел коленки мистера де Трейси и поражался проворству и свободе, с какими двигались вбок его суставы.

— Оливер, мой милый, и не спорьте! Вы уже играли на сцене! Мм?

— Нет. Честное слово.

— Даже в школе?

— Меня пробовали, но я провалился.

— Сударыня, поздравляю вас с таким сыном.

В зале незримо хохотала мама.

— О, мистер де Трейси! Уж я-то…

— Природный талант плюс великоле-епное исполнение на скрипке. Нда-с. Мы готовы?

Мистер Клеймор снова саркастически расхохотался.

— Мы давно готовы!

— Так, Оливер, мой мальчик.

— Мне уже кажется, что это место самое очаро-

вательное на всем белом свете!

Я переступал крошечными шажками и играл в ожидании сигнала для пианиссимо, но его не последовало. Зато мистер Клеймор вскочил и размахивал руками. Я перестал играть.

— Но это невозможно! Абсолютно невозможно! О, мой Бог!

— Я ждал, когда вы скажете…

— Я все сказал! Я про-кри-чал!

На сей раз рука мистера де Трейси обвила плечо мистера Клеймора.

— Норман, старина, мне придется вас приструнить. И призываю вас смириться, мм?

— Мой Бог! Мой Бог!

— Это все темперамент. Успокойтесь, старина. Ну?

— Мой Бог!

Наступила долгая пауза. Мистер де Трейси похлопывал ладонью. Мистер Клеймор отнял кулак ото лба и открыл глаза. Имоджен улыбнулась ему своей чудной, морщащей губы улыбкой. Мистер Клеймор уронил голову на плечо мистеру де Трейси, схватил его за левый бицепс и крепко стиснул.

— Простите, Ивлин, старина.

— Ну-ну, Норман, старина. Я вот думаю. Может

быть, нам прерваться?

— Нет-нет.

— Вы уверены, что вы…

— Да-да.

Мистер Клеймор откинул голову, встряхнул волосами и проследовал к своему месту.

И опять Имоджен положила на его руку свою ладонь. Мистер де Трейси, улыбаясь, повернулся ко мне.

— Так или иначе, юноша, нам надо — убавиться. Нам требуется — ну, как это?

Он взялся рукой за подбородок, вперив оба очка на желтых бильярдных шарах во тьму зала.

— Нам требуется… — он отнял руку от подбородка и, отведя наотлет, очертил ею полукруг, что-то незримое держа между большим и указательным пальцами, — убавить звук!

Комариный голос пропел за столиком:

— У его отца есть ну-как-его-там в скрипке.

Мистер де Трейси распростер руки.

— Да! О чем я думаю! Сурдинка! Именно!

— Вот еще! — крикнула мама из темноты. — С какой стати Оливеру пользоваться сурдинкой! В жизни не слышала такой чуши!

— Мама, послушай…

— Спокойно, Норман, спокойно. Предоставьте

это мне. Поберегите силы для спектакля. А вы, сударыня, — мистер де Трейси, склонив лицо, туманно улыбался темноте, — объясните, почему бы вашему сыну не воспользоваться сурдинкой.

На сцену взлетел вредный мамин голос:

— Да потому что это все увидят!

— Резонно, Норман, старина.

— Никто ничего не увидит, Ивлин, все будут смотреть на короля и принцессу. Он абсолютно эпизодичен.

— Все — безусловно! — будут смотреть на Оливера, мистер Клеймор! И слушать его! Знаете, если у вас такой голос, что вас не расслышать из-за одной-единственной скрипки в самом дальнем углу сцены…

— Единственной скрипки! — пропел мистер Клеймор. — Мальчишка гремит как целый духовой оркестр!

— Он любезно согласился для вас сыграть, и я не желаю…

— Спокойно, Норман, старина. Сядьте. И вы тоже, Имоджен, моя радость. Сударыня…

— В этой постановке вообще не чувствуется никакого уважения к музыкантам!

Мистер Клеймор стукнул себя по лбу, потом тяжко навалился грудью на стол.

— Я так устал. О Боже! Так устал.

Мы все молчали. Потупясь в смущении, я увидел быстро и широко распахивавшиеся и смыкавшиеся колени мистера де Трейси и испугался, как бы он не рухнул. Я проблеял не очень уверенно:

— Я вот думал… есть такой… фокус, что ли…

Мистер де Трейси, не прерывая улыбки, слегка приоткрыл рот и глубоко запустил в меня свои меченые шары.

— Да-да, мальчуган? Оливер?

— Именно что фокус. Только мне пенс нужен. Лучше старый. Ага, вот этот пойдет. Между грифом и порожком. Понимаете, если я… придется чуть приспустить колки. Значит, если я — вот так. Сую пенс сюда, под струну *ля*, потом под *ре* и потом под *соль*. Так. Потом, конечно, я снова настроюсь. К *ми* это почти не относится, но *ми* не очень и нужна для… этой штуки. Вот. Погодите секундочку, я настроюсь.

— Никто ничего не увидит, мистер Клеймор! Надеюсь, вы довольны! И ни один человек вообще не услышит Оливера.

Мистер де Трейси молитвенно смотрел на меня:

— Гений. Истинный гений.

— Так устал. О Боже.

— Ивлин, мне кажется, с Нормана хватит…

— Имоджен, дражайшая, милый друг, скрипка цыгана — это важно. Норман, старина, я вынужден снова вас приструнить. Ну! Еще разок. И потом — мило выпьем. Готовы, Оливер, мой мальчик?

— Мне уже кажется, что это место самое очаровательное на всем белом свете.

Выворачивая голову до упора и практически зарыв ухо между струн, я кое-как ухитрялся производить некоторый писк. Другое ухо, таким образом, успешно улавливало мистера Клеймора. Два комара. Меня уже начинал затягивать феномен этой призрачной игры, но я не успел еще войти во вкус, как мистер Клеймор вытащил из кармана мешочек и высоко подбросил в моем направлении.

— Вам надо ловить это, мальчуган, — сказал мистер де Трейси, и его обычный голос, мягкий и тихий, громом прогудел среди комарья. — Если упустите, ползать придется.

— Да, сэр. Ну как?

— Дивно. Прелестно.

— Я его совершенно не слышала, — кричала мама из глубины зала. — Ни единой ноты!

Мистер Клеймор сверкнул взором во тьму.

— Это интимная сцена, — пропел он. — Вы еще будете говорить, что и меня не слышали!

Мама весело расхохоталась.

— Ну, честно говоря…

— Ивлин, старина! Идея! Мы же его можем ис-по-о-ользовать! Чтоб оживить ту большую сцену — перед самым Великим Дуэтом! Помните?

— Да-да, старина. Но едва ли он может быть цыганом, верно? То есть во дворце!

Я молча стоял со смычком и скрипкой, покуда решалась моя участь.

— Ведь так и просится! В конце концов, по крайней мере двенадцать пар придворных, лордов и леди, участвовали в первоначальной постановке…

— Это идея, старина, это, бесспорно, идея.

— Он может, например, быть стражником. Встанет по стойке «смирно», обнажит меч. Отсалютует и уйдет.

— Где вы его хотите поставить?

— Здесь? Нет — там! Или в центре, в глубине сцены, против окна?

— Я думаю — справа, на авансцене. Станьте тут, пожалуйста, мальчуган.

— Ивлин, старина, когда я видел в этой роли Ай-

вора, он отпускал придворных жестом — вот так. Но при единственном стражнике я, пожалуй, лучше скажу что-нибудь, верно? Как вы считаете?

— Мы это еще обсудим, Норман. В рабочем порядке. В каком он будет костюме?

— Пусть он будет гвардейцем, — сказала мама. — Он будет дивно выглядеть в шлеме или что там они носят.

— Безусловно, сударыня. Но — увы! Все пять мундиров заняты в хоре. И выстроятся с дамами, ожидая финала.

Мистер де Трейси снова распростер руки, склонил к плечу голову, по очереди нам улыбнулся. И содрогнулся слегка.

— Ничего не попишешь.

Я облегченно вздохнул. Но тут же услышал, как мама спешит через зал к зеленому занавесу.

— Мистер де Трейси, мы что-нибудь, безусловно, придумаем!

— Мама, мама…

— Ах, сударыня, мы бы и сами рады…

Мистер Клеймор стукнул себя по лбу.

— Идея. Мысль.

— Да, Норман, старина?

— У меня ведь… Я вам показывал заметку о моем Эссексе?

— Показывали, старина.

— Это на Барчестерском карнавале, — сказала Имоджен, несколько оживляясь. — Тысяча лет истории. Норман был изумителен.

— Ну так вот! Я ему это одолжу, и мы сделаем из него бифитера[38].

— Согласен, камзол и лосины — для бифитера в самый раз. Но у него же еще и шляпа, старина.

— У меня есть именно то, что надо, мистер де Трейси. Моя старая черная широкополая шляпа!

— Послушай, мама, по-моему, мне…

— Минуточку, Оливер. Я сегодня же сделаю ей бумажную оторочку и помпончик пришью.

— Прелестно. Великолепно!

Мистер Клеймор барабанил пальцами по столу.

— Может быть, мы это провентилируем в гардеробной?

— Но есть еще и цвет, старина. Бифитер же должен быть красный с черным, правда?

Мистер Клеймор расхохотался.

— Мы, между прочим, в Венгрии. И венгерский стражник вовсе не обязан быть тех же цветов, что английский бифитер, не так ли?

---

[38] Примечания: 38

Дословно «пожиратель мяса» (Beef Eater), прозвище английских королевских гвардейцев. — *Примеч. ред.*

— Обо всем-то вы подумаете, Норман. Хотя — погодите. Он же должен держать алебарду. Эссекс, мне кажется, не носил алебарду?

— Ну конечно же нет, Ивлин, — пропел мистер Клеймор. — Вы просто издеваетесь надо мной! У меня был меч, конь, целый отряд слуг!

Мистер де Трейси туманно ему улыбнулся.

— Семеро моих слуг с покорной готовностью[39]…

— Даже больше. Но — действительно загвоздка. Алебарды у нас нет.

Я начал ненавязчиво ретироваться.

— Значит, ясно. Я только…

— Погодите, Олли. Генри Уильямс. Вот кто нас выручит. Да. Я поговорю с ним по дороге домой. Он нам мигом соорудит алебарду.

— По-моему, — сказала мама из-за зеленого сукна, — по-моему, у бифитера на туфлях тоже помпончики…

— У вас будет картинка, сударыня, я уверен.

— Ах да! — заходясь веселым смехом, вскрикнула мама. — Есть, есть — у Оливера в Детской энциклопедии!

— Мама!!! О Господи…

---

[39] Примечания: 39
Шекспир У. Двенадцатая ночь, II, 5.

— Тэк-с, — пропел мистер Клеймор. — Вы можете после обеда взять у меня костюм, Оливер, и заберете алебарду у Генри, как только она будет готова. А теперь разработаем сцену.

Я слез вниз и оставил там свою скрипку, смычок и свой пенс. Хотел пронзить маму свирепым, пасмурным взором, но в зале было слишком темно. Когда я вернулся, мистер Клеймор и Имоджен сидели посреди сцены друг против друга, так задрав головы, будто переглядываются через забор. Мистер де Трейси изучал швабру. Потом подал мне.

— Вот вам алебарда, мальчуган. Справа, на авансцене. И так будете стоять всю последнюю сцену за исключением финала.

— Ивлин, старина, я же должен что-то сказать! Пожалуйста, дайте мне слова!

— А вы не хотели бы ограничиться жестом, как Айвор?

— Ага, знаю, Ивлин! Как там? Но погодите, ваше королевское высочество, мы не одни… — Повернулся и выбросил мне в лицо руку.

— Как величаво, дивно, старина. Редкое понимание театра. Ливер сам не придумал бы лучших слов!

— И тут он, конечно, должен отдать честь.

— Интересно, как вы будете отдавать честь алебардой?

— Пусть лучше опустит ее концом к полу. Попробуйте, юный Оливер! Осторожно! Господи! Вы мне чуть глаз не вышибли!

— Я думаю, — не дрогнув коленками, сказал мистер де Трейси, — я думаю, лучше ее не опускать, потому что тогда она пересечет всю сцену. Может быть… позвольте мне, Оливер, мой мальчик. Стойте — вот так. И когда король к вам подходит — так величаво, дивно — и говорит, вы стойте та-ак и делайте та-ак. Да? А далее вы повернетесь и удалитесь, — вот тут — и мы еще раз увидим ваш великолепный размашистый шаг, да? Ну, начнем!

— Оставь нас, любезный!

— Ах нет, нет, нет! — крикнула мама, посмеиваясь. — Не может он сказать «любезный»! Король! Бифитеру!

— Какое вы звание предпочли бы, сударыня?

— Может быть, генерал? — Мама еще смеялась. — Чем плохо? А?

— Я не собираюсь называть генералом какого-то мальчишку!

— Он в самом деле для генерала, пожалуй, несколько юн, старина. Оливер, мальчуган. Какое

вы предпочли бы звание? Мм?

— Не знаю. Я бы…

— Я назову его — сержант. Вас это устроит, сударыня? Сообщите нам свое мнение!

— Ах, при чем тут я, мистер Клеймор! Мое дело — исключительно музыка. Но если вы меня спрашиваете, мне кажется, уж скорее полковник.

— Полковник! Ха! Это он — полковник?

— Осторожно, Норман, старина.

— Полковник!

— Как насчет майора, старина, мм? Подойдет вам майор, мальчуган?

— Пусть майор, очень хорошо — майор, да, Оливер?

Мистер Клеймор прошел три шага к краю сцены. Уперев в бока кулаки. Бледный, потный, трясущийся.

— Сударыня, — пропел он. — Вы только что изволили заметить, что ваше дело исключительно музыка. Вот и ограничьтесь ее пределами!

Мама зашлась звонким серебристым смехом.

— Я-то музыку хоть умею читать, — сказала мама, — и не нуждаюсь в том, чтоб мне ее разобъясняли ноту за нотой!

Молчание было зловещим. Мистер Клеймор повернулся на пятках и медленно проследовал

в глубь сцены налево, пока, оказавшись в углу, чуть не проткнул носом рисованный задник. Я в тоске разглядывал мою швабру. Имоджен все сидела, все улыбалась какой-то своей тайне вечной улыбкой сивиллы. И длилось молчание.

Вдруг мама бросилась к пианино, откинула крышку, громыхнула по клавишам. Даже в таком тусклом свете я видел, что она вся трясется, как мистер Клеймор.

— Пошли, Оливер!

— Куда?

— Домой, конечно. Куда же еще? В зоопарк?

Мистер де Трейси вышел на середину сцены. Он обнимал нас всех, от маминой прыгающей брошки до кудряшек на затылке мистера Клеймора, улыбкой и жестом бесконечной нежности и сочувствия. Но он ни слова не успел сказать, а мистер Клеймор уже пел рисованному заднику:

— Больше никогда! Нет! В жизни! Клянусь, никогда-никогда!

Мама бухнула крышку на клавиши.

— И я вам клянусь, мистер Клеймор, — никогда! Ни за что! Идем, Оливер!

Мистер де Трейси качал головой, улыбаясь нежно.

— Артисты — артисты до мозга костей! Мм?

Ну, ну же, ребятки! Имоджен, дражайшая! Мм? Как часто я видел такое! Перенапряжение, малая искра и — мм?

Мама стояла, обеими руками вцепившись в пюпитр, искоса глядя на сцену.

Мистер Клеймор пел:

— Никогда! О, никогда-никогда!

— Послушай, мама, может, хватит?

— Имоджен, дражайшая…

— Я хочу есть, Норман. Ну пожа-а-алуйста, милый!

— Артисты до мозга костей…

Опять была долгая пауза. Мама вдруг расхохоталась, иначе, тоном ниже, и снова смолкла, глядя на пианино.

— Ну, мама, пусть называет меня хоть теткой Чарлея[40], если ему от этого легче!

Мистер де Трейси расхохотался раскатисто, обеими руками и веселым лицом призывая нас всех присоединиться.

— Придется мне еще раз вас всех приструнить. Мм? Я настаиваю! Кто у нас режиссер? Мм? Сударыня? Оливер? Имоджен, дражайшая, очаровательная? Норман, старый воитель? Вы не

---

[40] Примечания: 40

См. фильм «Здравствуйте, я ваша тетя!». — *Примеч. ред.*

можете вынести все — все! — на этих широких плечах!

Пауза была уже короче. Мистер Клеймор слегка отвернулся от задника и проговорил, задыхаясь:

— Капитан. Я назову его «капитан». «Оставьте нас, капитан». Так я скажу.

Мистер де Трейси обернул меченые шары к залу и послал туда улыбку.

— Мм?

— Мне это совершенно безразлично, мистер де Трейси. Я ограничиваюсь пределами музыки. Поступайте как знаете. Больше я ни слова не скажу.

Мистер Клеймор повернулся на пятках, сжал кулаки, открыл рот. И закрыл. Стоял и смотрел. Мистер де Трейси продолжал улыбаться, ласково, нежно.

— Чудно! Великолепно! Договорились! А теперь — немножечко выпьем! Норман? Оливер? Дамы?

— Благодарю вас, мистер де Трейси. Но я до таких ме-ест не охотница…

Пристраивая швабру к двери приемной мэра и предвкушая стаканчик пивка или сидра, я услышал мамино звонкое, непререкаемое:

— …как и мой сын!

* * *

После обеда я взял свой костюм цыгана и свой бифитерский камзол с лосинами у мистера Клеймора. Принес домой и примерил. И то и другое было маловато. Хотя мистер Клеймор ростом был примерно с меня, камзол зверски жал в груди, зато, правда, был так широк в талии, что маме пришлось его присборить, чтоб как-то приладить на меня. Костюм же цыгана был сооружен для кого-то вдвое меня короче, а тоньше прямо-таки вчетверо. По этой причине нечто вроде малиновой атласной жилетки лишь кое-как прикрывало мне спину, и единственное, что оказалось впору, был красный вязаный колпак, который мог растягиваться по мере потребности. Он был обшит золочеными бусинами, и треньканье их при каждом повороте моей головы было погромче, пожалуй, думал я не без горечи, чем пение мистера Клеймора и моя придушенная скрипка. Но мама сказала, что все это мне безумно идет. Покончив с примеркой, я пошел в гараж за алебардой. Генри был там, но в офисе, облаченный в костюм.

— Привет, Генри. Сделал алебарду?

Генри повернулся от конторки.

— Ведь как, мастер Оливер. Суббота, время

после обеда. Не все всю дорогу отдыхают, верно? Нет?

— А-а…

— Ладно. Сейчас глянем. Минутку.

Он выбрал из связки ключ, слез с высокого табурета и прошел бетонированной площадкой. В главном строении открыл деревянную дверь и ввел меня внутрь. Моя алебарда лежала на скамье, подпертая двумя деревянными чурками.

— Мама родная. Надо же, вот ведь уродский инструмент! И зачем такое?

— Я отдаю ею честь мистеру Клеймору.

Генри ничего не сказал, и мы, стоя рядом, разглядывали алебарду.

Клинок из листового железа, выкрашенного под серебро. Потом кисточки, кисточки, потом выкрашенная красной краской деревянная рукоять. Я протянул руку.

— Осторожно, ххосподи! Не подсохло! Когда представление? В полвосьмого вроде?

— Что же мне делать? У тебя будет открыто, нет?

— Только для заправки. Мы ее где-нибудь оставим, а вы потом заберете. Несите ту чурку, а эту — я.

С величайшими предосторожностями мы вы-

тащили алебарду на волю и проследовали с нею к открытому гаражу, не содержавшему ничего, кроме малолитражки мисс Долиш. И пристроили ее на бетоне у стенки.

— Вот, — сказал Генри. — До последней минуты ее оставляйте, мастер Оливер.

— Она мне раньше десяти и не понадобится. Ну, до полдесятого. Это для последней сцены, понимаешь?

— Подсохнет. Обещать, конечно, ничего не обещаю. Но так думаю — подсохнет. Брюки у вас не в краске?

— Нет. По-моему, нет.

— Ххосподи. Эти, что ли, оксфордские брюки называются?

— Модные.

— Ботинки зато чистить не надо. Экономия труда как-никак. Ладно, мастер Оливер. Значит, попозже-попозже ее заберете.

— Спасибо.

Я побежал домой и застал маму за созданием моей шляпы. Она все еще пребывала в состоянии сдерживаемого восторга. Скандал с мистером Клеймором его только, как ни странно, усугубил.

— Поди-ка сюда, детка. Примерь.

Шляпа блином сидела у меня на макушке.

— Отцовская голова, — сказала счастливая мама. — Ленту вынуть придется.

— Где я переоденусь, мама?

— Здесь, конечно! Где же еще?

— Я думал…

— Скажи спасибо, что мы совсем рядом живем. Младшему Смиту приходилось, бедняжке, тащиться из такой дали! И в совершенно мокром костюме! Уэртуисли отдали дамам свою приемную. Конечно, до прошлой недели они могли рассчитывать на приемную мэра. Только бы снова дождь не полил! Какая жалость, что у нас нет настоящего театра!

— И по-твоему, я в этом виде выйду на у-улицу!

— Прекрати, Оливер!

— Цыганом? Бифитером?

— Примерь-ка еще. Не напяливай так, я же ленту вынула, оцарапаешься. Господи, нет! Придется сзади разрезать. Ты успеешь постричься?

— Нет!

— Ты не очень-то идешь навстречу, детка. Да, кстати, я принесла тебе из мясной изумительное жабо. Мистер Дэнфорд такая прелесть.

— На у-улицу!!

— Не понимаю, почему вы оба так не хотите

пойти навстречу. Твой отец, например… ну да ладно… Подумай, как мистер Харви, например, проделывает весь этот путь от Бамстедской церкви на своей крошечной машинке, со своим контрабасом сзади и своей, между прочим, завтрашней проповедью впереди! Стыдись, Оливер! Тебе должно быть стыдно, ведь когда мистер Харви был еще молодым человеком, он волок свой контрабас за велосипедом! У меня дух, бывало, перехватывало, когда он катил с горы из лесу и то и дело чуть не попадал под свой контрабас. И когда он влетал на Старый мост — о, это, я тебе скажу, было такое облегчение! Ка-аждый раз, когда в Стилборне исполнялась музыка, он крутил педали через весь лес — хотя на годик-другой ему, конечно, пришлось прерваться, когда на него свалился этот воз сена. Старик Воробей был пьян, и я все думаю, какое счастье, что его сын сразу стал перекидывать этот воз вилами и, обнаружив контрабас, моментально, конечно, понял, кто там лежит.

— Послушай, мама…

— К сожалению, нам, наверно, придется еще чуть-чуть разрезать. Ах, детка, надеюсь, там столько мозгов! Нет. Есть люди, с которыми просто что-то вечно случается. Ты, например.

Помнишь, детка, как ты упал в пианино? Конечно, теперь-то он постарел и, между нами, стал глуховат. Такая жалость. В четверг спутал номера на пюпитре и сыграл не тот. Хорошо еще, оба были на три четверти…

— Они все на три четверти. Всегда.

— …так что все сошло, потому что одно ум-па-па не слишком отличается от другого ум-па-па, правда? Только он, к сожалению, продолжал свои ум-па-па, когда все остальные уже кончили, — и довольно долго. В результате, как ты мо-ожешь себе представить, детка, зал решил, что так надо, и не стал хлопать. Мистер Клеймор просто позеленел от злости.

— Да. Могу себе представить.

— А ты не обращай внимания на мистера Клеймора, Оливер! Наш режиссер мистер де Трейси. Делай все, как он тебе скажет.

— А кого он играет?

— Никого он не играет!

— Почему же он тогда так одет?

— Он профессионал. Из Лондона. И чему только вас учат в Оксфорде?

— Кончила?

— Имей терпение, детка.

— На-до-е-ло!

— И не уподобляйся мистеру Клеймору, детка. Ты слышал, что он сказал в заключение? — И мама, сверкнув очками, задрала нос и состроила мину Клеймора. — «Ивлин, старина, я до самого вечера буду лежать как труп!» Но, — и она сверкнула очками на меня поверх шляпы, — мистера де Трейси на мякине не проведешь, о, не сомневайся! Он этого человека раскусил! Он понял, что единственный верный подход к этому человеку — да и ко всей этой братии — лесть. Ты заметил, как он ее подпускает?

— Да, заметил.

— Конечно, мы все для него жалкие любители. Но он всегда любезен и мил и, главное, понимает в музыке. При мне говорил репортеру, что оркестр, по его мнению, заслуживает особого упоминания. Ничего подобного, сказал, никогда не слышал. Только когда распоряжается этот Клеймор, дождешься от них чего-то, кроме дежурного «Оркестр честно внес свою скромную лепту под управлением…» Надеюсь, хоть фамилию нашу в виде исключения не переврут!

— По-моему, готово, да?

— Придется тут сзади вставить резиночку, а то слишком распахивается разрез. Ты же не хочешь, чтоб с тебя шляпа свалилась, детка! Между нами

говоря, я твердо решила, что мистеру Клеймору больше не к чему будет придраться. Пусть ссорится сколько ему угодно, я буду как скала! Для всякой ссоры, в конце концов, нужны двое. Вдобавок хочется, чтоб у мистера де Трейси осталось о нас хорошее впечатление.

— У него коленки смешные, да?

— Коленки? О! Поняла, что ты хочешь сказать! Когда я была девочкой, мы называли это «кавалерийские колени». Ты, конечно, был еще маленький, когда лорд Кромер открывал институт. Ты, конечно, не помнишь. Интересно, был мистер де Трейси когда-нибудь в кавалерии?

— Маловероятно, по-моему.

— Почему, я уверена, он дивно бы выглядел!

Мама весело вскочила, сама примерила мою шляпу, потом передала ее мне.

— Сзади что-то не очень, мама. Как-то съезжает.

— Господи. Может быть, ты ее будешь придерживать? Одной рукой?

— Я же должен отдавать честь этой дерь…

— Оливер!

— …ревянной жуткой алебардой!

— Я шнурочек пришью. Будет под подбородком держаться, как у тебя, помнишь, была матрос-

ская шапочка. Ты был в ней такое очарованье! На ленте «Британский лев». Мы тогда отдыхали две недели в Уэймуте, и ты подошел к каким-то матросам и говоришь: «А я тоже моряк!»

— Господи.

— Поставь чайник, ладно, детка? У нас будет нечто вроде раннего ужина. А если ты придешь после спектакля голодный, ты сможешь что-ни-будь перехватить. Там, конечно, будет потом кофе с пирожными, но кто же их ест? Все всегда сли-ишком возбуждены. Хорошо, детка! А сейчас лучше поупражняйся на скрипке.

— Зачем это?

— Ты хочешь дать мистеру Клеймору повод придраться?

— Ну ладно, ладно.

— И вынь этот пенс!

— Да мистер Клеймор…

— Я не про спектакль, глупыш, — сказала мама и опять расхохоталась. — Я про сейчас. И не надо было оставлять его в скрипке, Оливер. Это для нее вредно.

— Я и не оставлял.

— Положи его в футляр!

— Он у меня будет в кармане.

— Если у тебя будет карман! То есть в твоем

костюме цыгана, я имею в виду.

— Лучше я сбегаю в гараж, на алебарду взгляну.

— Только недолго, да?

Я вернулся к своей алебарде, нагнулся, пощупал. Она была еще липкая, и я не стал ее трогать. Генри — на то он и Генри — был еще в офисе. Но когда я к нему обратился, он ничего мне не смог посоветовать. Это меня слегка удивило, я привык считать, что Генри может все.

Я медленно побрел домой, и там мама заварила мне чай и довела до совершенства шляпу. Папа был тут же и скучно пережевывал пирог с мясом. Мама не проглотила ни кусочка, все время разговаривала и будто порхала над землей.

Я остро ощущал нашу с папой кровную связь.

— Пап, ну как? Работа идет?

Папа повернул голову и задумчиво на меня посмотрел. Потом отвернулся и продолжал есть.

— Ответил бы мальчику, папочка!

— Бах, — сказал папа. — Гендель. Тонкий помол — вот это я люблю!

— Кое-что в «Червонном короле» очень мелодично, — сказала мама. — Ты сам говорил!

Папа посмотрел на нее затравленным взглядом.

— Да. Говорил. Когда слышал его в первый раз.

Мама заведовала моим переоблачением в костюм цыгана и руководила гримировкой. Особенно разили наповал усы. И потом папа с мамой пошли занимать свои места в оркестре. Улицы возле ратуши являли странное зрелище. Дамы в неохватных и непостижимых кринолинах, стражи в шлемах и перьях, двое-трое пейзан, перепорхнув с одной стороны Площади на другую, юркали под навес на лестницу перед ратушей. Я приободрился, решив, что в таком обществе спокойно останусь неопознанным, и, сжимая свой футляр, пустился через Площадь. Но, дойдя до ступеней, убедился, что они так забиты шлемами и кринолинами, что мне не успеть вовремя пробиться. Я решил попытать счастья у главного входа, потому что едва ли туда уже подоспела какая-то публика. Прокрался через рынок, вынырнул на Главной улице и — сердце мое бухнуло прямо в пряжки на туфлях, а оттуда подпрыгнуло к горлу.

У главного входа в ратушу стояла очередь. В абстракции я понимал, что люди придут на спектакль. Но вот они были передо мной — живые, из плоти и крови. Я всех их знал в лицо и, призвав на помощь все свое самообладание и осмотри-

тельность, мог с ними разминуться на улице, не покраснев как рак и не растянувшись плашмя. Обычно я надеялся и порой убеждался, что я, на худой конец, незаметен, а в лучшем случае и невидим. И вот не метафизически, а с беспощадностью факта мне открылось, что сейчас придется себя подавать этим реальным, выстроившимся хвостом людям; оскорблять их слух беспомощностью своих двойных флажолетов. У меня даже руки затряслись от этого кошмара, и я отпрянул под укрытие ратуши, под временную сень ее колонн. Очередь молча втекала в двери. Вдруг тромбон старшины О'Донована грянул над моей головой. Увертюра, поехали. Я кинулся к лестнице, но там все еще было битком, и меня ужалила новая забота. Я не видел, куда бы приткнуть футляр. Я побежал домой, подумал, как спокойно и мило в нашей гостиной, и бросил его там. Кинулся обратно, со смычком в одной руке и скрипкой в другой, услышал, что увертюра кончилась, и стал продираться вверх по лестнице. Она была забита нервным, свирепым народом, не имевшим ни малейшего снисхождения ни ко мне, ни к моему инструменту. Я протиснулся до первой площадки, был вынесен людским прибоем на вторую и брошен к самой сцене. Тут

я сообразил, что забыл свой пенс, и попытался снова протиснуться вниз. Это повело к ряду страстных обвинений, произносимых таким шипящим шепотом, что я не расслышал ни одного. Я мог бы, конечно, грубой силой проложить себе путь, но отчасти его заграждали сравнительно нежные девы, и я вдобавок нес скрипку. Я взял себя в руки и призвал на помощь свой ум. Когда гримированное лицо кидалось на меня и шипело, я говорил ему, что мне нужен пенс. Не найдется ли у вас пенса? Но у всей толпы, по-видимому, не было ни единого пенса, а иные были настолько бездушны, что смеялись надо мной. Потом у меня отстали усы, и я был так стиснут, что не мог водворить их на место. Последняя моя надежда — на полную неузнаваемость — рухнула. Я сдался, я покорился судьбе и стоял за рисованным задником в ожидании знака мистера Клеймора. Меня беззвучно и страшно давили уже не актеры на лестнице, а незримая публика в зале. Я начал дрожать, руки примерзли к скрипке. Все указания вылетели из головы.

— Мне уже кажется, что это место са-амое очарова-ательное на всем белом свете!

Великолепным размашистым шагом я ступил за рисованный задник и очутился на слепящей

сцене.

Я стоял, щурясь от блеска, примерзнув к скрипке, и вот раздался первый одинокий хлопок, второй — и хлынули теплым потоком аплодисменты. В них слышалась ласка. Ясно было, что меня узнали, признали аптекарского сынка; ясно было, что да, я парень что надо. Я вдруг понял, что все мои шапочные знакомцы одобряли мое поведение, во всяком случае, извиняли его. От страха, даже ужаса меня непоследовательно кинуло сразу к самонадеянности. Прямой, музыкант до кончиков ногтей, скрипач не только с дипломом, но еще и смычком владеющий, я взял свой первый аккорд. Пальцы были жаркими, нежными, рука со смычком — вольной, гибкой. Меня не мучили никакие сомнения, я играл так же громко, как пела миссис Андерхилл. Я кончил — я заранее знал, как точны, как ликующе тонки будут три моих последних эффектных двойных флажолета, — и каскадом обрушились аплодисменты. Самоуверенность и самообладание не покинули меня. Я пригляделся к свету и видел маму за пианино, она кивала, смеялась, аплодировала. С великолепным хладнокровием я поклонился. И когда выпрямился, кошель с деньгами, просвистев мимо моего лица, шмякнулся

о циклораму. Пятясь со сцены, я снова кланялся. В зале топали:

— Бис! Бис!

Скромность мне подсказала, что, пожалуй, довольно. В конце концов, это была сцена мистера Клеймора, и я не хотел ему ее омрачать. Пот застывал у меня на лбу и, вжимаясь в лестничную давильню, я нежно, учтиво улыбался всем и каждому с высоты своего нового роста. Времени у меня было полно, в сущности, целый вечер оставался до перевоплощения в бифитера, и я предвидел, что это, конечно, будет некоторый спад. Зато — как легко. Не играть на скрипке, вообще — ничего. Только оживлять сцену. Я спустился вниз, и вечер обдал меня внезапной свежестью. Я стоял, наслаждаясь простотою действительности и воспоминаниями о своем триумфе.

В нескольких метрах от меня опирался о колонну мистер де Трейси. На лице его была та же нежная улыбка.

— Поспешаем прочь, мальчуган?

— Мне переодеться надо. Значит, вас не было за сценой, сэр?

— Я понял, что, стоя здесь, можно полней сосредоточиться на музыке. Были у вас какие-нибудь

затруднения?

— Вообще-то я эти деньги не успел поймать. И усы отстали.

Мистер де Трейси улыбнулся и сверху овеял меня сладостью.

— Прелестно! Прелестно!

Он пошарил в полах плаща, вынул бутылку, осмотрел на свет, убедился, что она пуста, и сунул обратно.

— Не пойти ли нам тихохонько вместе выпить, Оливер?

— Я же в костюме!

— Я тоже. Можно мне отбросить притворное и глупое «мальчуган»?

— Вы слышали, как я играл?

— О да. И что-то мне подсказало, что вашего пенса не было с вами.

— Ради Бога, простите!

Мистер де Трейси подрожал коленками.

— Едва ли вы угодили своему ненавистному сопернику.

— Моему?

— Нашему великолепному герою-любовнику.

Я переглотнул и поднял на него глаза. В ответ он улыбнулся, обдав меня призрачным веяньем джина.

— Но как?

— Мужественные ноги чуть-чуть носками внутрь. Взгляд… щенячьей преданности. Прелесть, прелесть!

— Но я не…

— Я соблюду ваш секрет.

— Она не…

Он обвил мое плечо своей длинной рукой. Странная приятность, ощущение защиты.

— Она ничего не знает, да? По-моему, пора исцелиться.

— Пока я жив…

Он потрепал меня по плечу.

— Шоковая терапия.

— Да нет же, я ничего. Честно.

— Десять гиней — и билет туда-обратно третьим классом. Кажется, грех жаловаться. А жалуешься, и еще как! И до того хочется удрать, что под конец почти все эти десять гиней… Тем не менее. Пошли в мавзолей.

— Где это?

Я увидел, что он смотрит на «Корону», и разразился пылкими протестами.

— Ой! Мне, во-первых, переодеться надо! Ведь я как-никак тут живу!

— Единственное утешение, какое я могу

предложить вам в столь горестной участи, Оливер, — хороший стаканчик джина. У вас еще уйма времени до того, как вы будете оживлять сцену для мистера Клеймора.

— Я думал, вы его Норманом зовете.

Мистер де Трейси кротко кивнул.

— Да-да, в самом деле?

— Но разве вам не надо сидеть за сценой, сэр?

— А я и сижу. — Он сверху дохнул на меня. — Ты же знаешь, что я там сижу, правда, Оливер? Ты будешь моим свидетелем, правда?

Я радостно рассмеялся.

— Уж будьте уверены!

— И называй меня Ивлин.

— Как Норман?

— Нет, не как Норман, дитя мое. Как мои друзья.

— Ага!

У самой «Короны» он легонько меня отстранил и постоял, глядя на ратушу, несколько набок склонив голову.

— Судя по совершеннейшему отсутствию звука, поет мистер Клеймор.

Я хихикал, я его обожал.

— Да! Да! Господи!

— Я с ними работал, видишь ли, — за мои гре-

хи! — так что я все про них знаю. Особенно про нее.

— Почему это?

— Бернард Шоу называет такое «Женщина во мне самом». Во мне много женского, Оливер. Так что уж я-то знаю.

— Она красивая.

Мистер де Трейси улыбался. И каждое его слово было как осиный укус.

— Она — пустая, бесчувственная, суетная женщина. У нее недурное личико и хватает ума вечно улыбаться. Да что там! Ты в сто раз… Никогда не открывай ей своей телячьей любви. Это только потешит ее суетность. И как спесивы оба! Нет, тут не то что десяти гиней, тут тысячи…

Я открыл рот, но не находил слов. Мистер де Трейси отпустил мое плечо, с живостью распрямился.

— Ну вот. Мы у цели.

Ввинтился во вращающуюся дверь, оглядел первый зал.

— Если ты принесешь мне то кресло, Оливер, и сядешь вот сюда, мы очень уютно разместимся между камином и пальмой.

И пошел во второй зал. Менять этот незыблемый интерьер было отважное предприятие.

Однако чувствуя, что все теперь вдруг изменилось, я радостно приволок кресло. Мистер де Трейси принес два бокала с прозрачной жидкостью.

— Превосходно исполнено. Твоя бы мама, и та… Нет. Это низко с моей стороны. Прости меня, Оливер, но, видишь ли, я, — пошарил глазами, будто рассчитывал прочесть где-то в воздухе нужное слово, — я… истерзан. — Протянул мне бокал и сложился в кресле. — И даже нельзя ведь сказать, что во имя искусства. Все во имя десяти гиней, и ты — первое, буквально первое человеческое существо, которое я встречаю в связи с этими возмутительными упражнениями в буколических глупостях. Н-да. За исключением, разумеется, твоей достойнейшей мамы.

— Она вас без конца превозносит.

— Вот как? Весьма польщен. Ну, а твой отец?

— Он вообще мало разговаривает.

— Это ведь тот обширный господин в сером, который играет на скрипке с каким-то тлеющим жаром?

— Верно.

— Он пользуется методом Станиславского. Я никогда не видел, чтоб так явственно выказывалось яростное презрение. Ни единого слова.

Взгляд устремлен в ноты. Каждая нота на месте. Тлеет, тлеет, тлеет. О Боже — зачем?

— Так маме хочется.

Я хлебнул из бокала и задохнулся.

— Пей медленнее, Оливер. Ты почувствуешь такое освобождение! Господи. Уж я-то попил на своем веку.

— Освобождение? От чего?

— Вообще. От чего хочется удрать. Освободиться.

Я помолчал, прикидывая тесные пределы собственного существования. И вдруг меня прорвало, хлынуло горлом:

— Верно. Точно. Все — зло! Ложь! Все. Нет ни правды, ни совести. Боже! Не может ведь жизнь… ну, где-то глянешь на небо, и… а для Стилборна же это — крыша! Крыша! Как… И как надо прятать тело, о чем-то не говорить, о чем-то даже не заикаться, с кем-то не кланяться… и эта штука, которую они выдают за музыку, — все ложь! Неужели они не видят? Ложь, ложь! Похабщина какая-то.

— Весьма прославленная. Огромные сборы.

Я сделал быстрый глоток.

— Знаете, Ивлин? Когда я был маленький, я думал, что дело во мне, и, конечно, так оно и было

отчасти…

— Прелестно! Прелестно!

— Все так запутано. А знаете? Всего несколько месяцев назад я… брал девушку, там, на горе. Можно сказать, публично. А почему бы и нет? Почему? Кто в этом… этом… кто делал что-то более… более…

— Вас кто-нибудь видел, Оливер?

— Мой отец.

Коленки мистера де Трейси раз-другой распахнулись, сомкнулись.

— Знаете, Ивлин. Как в химии. Можно видеть в ней — то, можно — это.

— Что — как в химии?

— Ну. Жизнь.

— Жизнь — чудовищный фарс, Оливер, с неумелым режиссером. Эта девушка. Она была хорошенькая?

— Очень даже.

Мистер де Трейси смотрел на меня над краем бокала, улыбался нежно при полной недвижности меченых бильярдных шаров, и тощее вытянутое лицо слегка лоснилось.

— Завидую.

— Да вы бы на нее и не посмотрели. Ивлин, там у вас такие актрисы, а она — ну, деревенская

девушка из Бакалейного тупика. Но как подумаю — зачем мы… зачем…

Я осекся, припоминая, что я еще хотел сказать — про Эви, про Стилборн, про папин бинокль и про небо, — что-то, что легко было сказать Ивлину, потому что ему все легко было сказать. Я глядел на него и преданно улыбался. Вокруг него всклубился легкий туман, а сам он, четкий и милый, оставался в середке. Наконец-то я понял, почему у него такие точечные зрачки. Желтизна глазных яблок хлопьями и кристалликами выпала на радужке, и стало трудно их во всем этом различить.

— Ивлин. Я хочу правды. И нигде ее нет.

Мистер де Трейси испустил долгий, прерывистый вздох, и еще шире стала его улыбка.

— Правды, Оливер? Ну…

— Жизнь должна быть…

— Проникновенной.

Он сунул руку в нагрудный карман, вынул небольшой кожаный бумажник. Не отрывая от меня глаз, вытащил пачку фотографий и верхнюю протянул мне. Туман сомкнулся, я уже видел только ее. Или я так сосредоточился, хмурясь над фотографией, что прочее все застлало туманом. Мистер де Трейси совал мне в другую руку осталь-

ные, но я уже приковался к этой. На фотографии, бесспорно, был мистер де Трейси. Помоложе. Но длинный нос и подбородок в профиль не оставляли сомнений. Как и тощая фигура. Распущенные темные волосы парика не доставали до плеч, открывая взору часть жилистой шеи. Правая голая рука лебедино выгибалась вперед и вверх, левая — назад и вниз, и вместе они составляли диагональ. Балетный костюм туго его обтягивал, а из-под белой пены кружев струились, смыкаясь, тощие ноги и завершались неимоверного размера балетными тапочками. Женский маскарад только еще подчеркивал его маскулинистость.

— Господи, что это?

— Просто к вопросу, Оливер. О проникновенности. Отдай, пожалуйста.

Но я перелистал всю пачку. Везде тот же костюм, тот же мистер де Трейси. На некоторых его поддерживал пухлый молодой человек. И они неизменно глубоко заглядывали друг другу в глаза. Я так хохотал, что мне стало больно.

— Ну отдай же, Оливер.

— Да что это?

— Фарс, только и всего. Отдай, пожалуйста.

— Я, по-моему, в жизни не видел…

— Оливер. Отдай. И беги.

— Давайте еще по одной…

— Не забудь, тебе выходить бифитером.

— А ну его!

— Тем не менее.

Я поднял глаза на мистера де Трейси и удивился, как он отодвинулся далеко-далеко, оставаясь на том же месте.

— По-моему…

— Мы не станем ведь огорчать твою маму.

И тут я вспомнил:

— Да! Вы же что-то хотели мне сказать!

— Не припоминаю.

— Насчет правды. И честности, кажется.

— Решительно не помню.

— Я вам рассказывал — про этот город и вообще.

— По-моему, тебе пора переодеваться.

— Разве?

— Ну — беги.

— А, вспомнил! — Я снова рассмеялся от этой мысли. — Вы же хотели меня исцелить!

Лицо мистера де Трейси вплыло в фокус.

— В самом деле, Оливер. Прощальный дар. Ну так вот. После того как ты отдашь честь и уйдешь со сцены, послушай Великий Дуэт.

— Да? Ну — и?

— И все. Просто послушай.
— Ладно. А потом прибегу рассказать…
— Меня не будет.
— А, так вы за сценой будете?
— Я — удеру.

Вдруг он придвинулся совсем близко, поднял руку и указательным пальцем постучал по часам. Я увидел время и в ужасе метнулся прочь. Нацепил костюм бифитера, пустился через Площадь к гаражу. Алебарда была совсем сухая, только безумно тяжелая. Я взвалил ее на плечо и сунулся черным ходом, но в таком положении она в дверь не пролезала. Я взял ее на изготовку и так двинулся наверх. Но на лестнице выстроились артисты, и через несколько секунд то, что замышлялось как выход на сцену, превратилось в рукопашную гримированных борцов, осыпавших бранью меня и красную рукоять моего оружия. Мелькали полуголые груди, карминные губы, яркие платья и ноги, ноги. Я, однако, оставался верен своей алебарде, движимый жаждой скорее отделаться и бежать к Ивлину. Первую площадку я одолел, но на второй мне открылась беспощадная истина. Алебарда моя тут пройти не могла.

Спуск вообще-то занял у меня даже больше времени, чем подъем. Ибо каждый артист жался

поближе к магическому квадрату, на котором разворачивался «Червонный король», и не желал ни на пядь отступать в сторону холодной ночи. Наконец я все-таки вырвался и, стоя возле ратуши, думал, что же еще теперь делать. Прислонив к колонне алебарду, я побежал в «Корону», но Ивлина там не было. Я сунул свою голову и шляпу во второй зал.

— Вы не видали мистера де Трейси, миссис Минайвер?

— Ушел он.

— Вернется?

— Жди. Задолжал мне за выпивку. Артист! Знаю я их.

— А куда он пошел?

— В кабак небось.

— Мне надо его найти!

— И зачем он тебе сдался, Оливер? Старый…

— Да это насчет представления. Там не ладится кое-что.

— А-а. Ладно, тогда загляни в «Беговую лошадь», куда конюхи ходят. Да скажи ему, пусть лучше по-хорошему деньги отдаст, которые за выпивку задолжал!

— Ладно!

— А если уедет последним автобусом, не пла-

тивши…

— Ладно!

Я бросился по Главной улице к Старому мосту. В «Беговой лошади» было почти пусто, но мистер де Трейси уютно устроился в уголке. Спиной упираясь в стойку, положив на нее локоть. Когда я ворвался, он бросил на меня взгляд и стал сотрясаться от колен и выше.

— Ивлин! Что мне делать?

Поразительно, как он сохранял это бледное, неизменное, улыбающееся лицо, весь ниже пояса содрогаясь и корчась.

— Ивлин! Алебарда! При выходе с лестницы. Не пролезает!

Из сплошной тряски пролился мягкий, певучий голос:

— Он не может протащить алебарду с черного хода! Кто поверит?

— Что мне делать?

— Значит, надо зайти спереди, не так ли?

Это повело к новому пароксизму тряски. Прилизанный хохолок на самой макушке вдруг отклеился и встал, как рог.

— Меня же увидят!

Но Ивлин только знай себе трясся. Локоть соскользнул, он утвердил его вновь. Я выскочил из

«Беговой лошади», зашлепал по Главной улице. Взял алебарду и пошел к главному входу. Мне удалось без особого грохота проволочить ее в дверь, через темный зад, и левой стороной я прокрался к зеленому сукну за пианино.

Осторожно, предусмотрительно я поднял край занавеса клинком и вслед ему выбросил рукоять. Сперва я встретил легкое сопротивление, унявшееся после глухого стука, и, сунув голову под занавес, толкнул вперед алебарду. Сразу за занавесом были включенный фонарик, складной перевернутый стульчик и партитура «Червонного короля» в синеве чернильных помет. Я встал на четвереньки и пополз. С этой стороны сцены оставался очень узкий проход между стеной и циклорамой. И в конце его была запертая дверь — верней, часть запертой двери — в приемную мэра. Посмотрев туда, я сообразил, почему сопротивление, встречаемое моей алебардой, так и не прекратилось и после того первого стука снова заставило ее прыгать и плясать в моей руке. В дальнем конце темного прохода спиной к мэрской двери, вжимаясь в нее головой и плечами, лежал молодой человек и обеими руками удерживал клинок моего оружия в нескольких сантиметрах от своей груди. Когда я попытался

отдернуть алебарду, он, весьма неразумно, возобновил борьбу с нею, строя мне рожи.

— Но, — пел комариный голос, — погодите, ваше королевское высочество, мы не одни!

Итак, я опоздал, и я дернул алебарду у молодого человека, и он — крайне неудачно — в тот же самый миг ее выпустил. Я радовался, что не шлепнулся навзничь на сцену, и был благодарен судьбе, что оплошно высунул клинок всего на каких-то полметра. Я повернулся, шагнул, вытянулся. Я оказался рядом с Имоджен и что-то нигде не видел мистера Клеймора. Поискав глазами, я обнаружил его прямо перед собой, только он как-то странно согнулся надвое и будто разглядывал пряжки на моих туфлях. Имоджен выбросила вперед руку, ожгла меня взором:

— Оставьте нас!

Я был так смущен ее гневом и напуган жестом, что с горящими ушами поспешил прочь со сцены. Даже не слышал, что творилось в зале. Стоял, прислонив за циклорамой к стене свою алебарду, и клял себя за то, что забыл отдать честь.

Началась музыка.

Сердце мое не обрывалось, как бывало, познавая одно из совершенств Имоджен. Как будто рядом стоял Ивлин. И будто все еще обнимал

меня за плечо. Пот просыхал у меня на лбу. Она равнодушно вступила в ту землю, куда мне открыли доступ, в землю, где я был свой. Этот ландшафт, где музыкальные ноты, где все звуки — зримы и разноцветны, она наобум топтала тупой стопой. И дело даже не в том, что петь она не умела. Так нет же, наплевав на то, что не умеет петь, она преспокойно выставляла себя на посмешище. Она так ужасно фальшивила, что мотив, зубчатый, как горный кряж, грядой меловых холмов опадал в ее исполнении. Я слушал, а рука Ивлина все лежала неосязаемо у меня на плече, и сквозь звуки Великого Дуэта — комариный писк сплетался теперь со шмелиным жужжаньем — я слышал голос:

— Пустая, бесчувственная, суетная женщина.

Эти двое, невежественные, суетные, были созданы друг для друга и больше никому на свете не нужны. Я подсмотрел за ними в замочную скважину, мне на душу пролился мерзкий бальзам. Я их дослушал. Я освободился. И снова бросился против течения вниз по лестнице к человеку, которому я был теперь столь многим обязан. Но в «Беговой лошади» его не оказалось, как и в остальных четырех пивных по эту сторону Главной улицы. Я вернулся к ратуше, решив,

что, вполне возможно, он за сценой дожидается финального занавеса.

Но я ошибся, он был на Площади. Я увидел его еще издали, он был почти прямо под фонарем. Он обеими руками держался за прутья железной ограды, повиснув на ней. Паучьи ноги были соответственно сложены, и так, словно вибрация, пульсация жизни только в них и осталась, они одни еще двигались. Лицо, профилем над оградой, не изменилось и, все такое же бледное, нежно улыбалось. Ноги пытались сами собой сделать несколько шажков, потом, как бы спохватившись, что кого-то оставили сзади, возвращались восвояси.

Я нагляделся на этот специфический феномен в Оксфорде и сразу понял, в чем дело. Выходить на поклоны он, по-видимому, не мог. Оставалось одно.

— Пойдемте, Ивлин!

Он меня не узнал, он меня не увидел. Я обхватил его за плечи и поднял. Вся энергия сосредоточилась у него в кистях, и мне пришлось их отдирать от ограды. Почти волоком я потащил его по Главной улице. Барчестерский автобус, последний, дожидался пустым.

Мы не очень понравились кондуктору в наших

костюмах.

— Кабы не вытошнило его.

— Не вытошнит, — сказал я и рассмеялся. — Не из таковских мистер де Трейси, правда, Ивлин?

Ивлин не ответил. Я внес его в автобус, он теперь меня слушался и был как перышко. Нежно, бережно я усадил его на длинное сиденье прямо за дверью.

— Ну вот!

Как будто он держался на воде или, скажем, всю свою жизнь только так и укладывался, Ивлин легко и готовно подложил обе ладони под правую щеку, подтянул к подбородку колени и одновременно повалился на девяносто градусов вправо. Так он и лежал, свернувшись калачиком, и лицо, улыбка, меченые шары не изменились ничуть, будто смотреть на мир под таким углом — самое натуральное дело. Но тут мотор, взревев, бросил в дрожь тело мистера де Трейси, будто он на прощанье по-своему отдал должное забавному ракурсу Стилборна.

Кондуктор засомневался:

— Ой, не знаю я…

— Да все обойдется. Пока он до Барчестера доедет…

И только когда звякнул звоночек, меня вдруг

стукнуло, что я ведь взял с потолка, что ему надо в Барчестер, никто мне такого не говорил.

Я побежал за автобусом, я кричал:

— Ивлин! Эй! Вы едете в Барчестер!..

Но автобус уходил от меня, качался по Старому мосту, тяжко взбирался к лесу. Я повернул, прикидывая, не забежать ли домой, взять деньги для миссис Минайвер. Но, увидев, что в «Беговой лошади» гасят свет, я решил, что миссис Минайвер придется обойтись до завтра. А если сумма окажется для меня разорительной, я всегда смогу ее вернуть, когда увижусь с Ивлином или он мне напишет. И я пошел к черному ходу ратуши, но там было пусто. Я поднялся по лестнице. Сцена тоже была пуста, хотя приглушенный гул голосов тек из-за занавеса. Я приладился к глазку и увидел, что артисты, рабочие сцены, музыканты со своими знакомыми стоят и пьют кофе. Стоят группками, между собой не сообщающимися. И я с облегчением понял, что еще года три по крайней мере СОС не сможет функционировать. Я отдернул занавес и пошел получать поздравления.

III

«Стилборн». Но как поражало взгляд это виданное-перевиданное имя. Раньше надтреснутые, уныло-черные буквы «Стилборн» бежали по стрелке навек накренившегося столба, иногда совсем не в ту сторону. Бузина, терновник и низкорослые клены заслоняли их, оставляя ненужную информацию подстригателям изгородей да землекопам. И столб ветшал в пустом ожидании канувших в вечность почтовых карет.

Нынешний «Стилборн» прочитывался с расстояния полумили. При автостраде, белым по сини. И вдруг меня осенило, что и Стилборн такое же место, как всякое другое. Которое может засечь на пути бог весть откуда к Барчестеру и сфотографировать спутник. Место и место. Столпившиеся у жалкой речушки дома, пункт, застигнутый автострадой, как застигает пахаря с его лошадками вертолет. Руки сами крутили руль, и я механически скатывался к своему прошлому. Старый мост честь-честью горбатился, серый и непрактичный, как и положено красоте. Никто не расширил его, не сровнял горб, меня подбросило, как на качелях, и понесло по вихляющему спуску к нашей

маленькой Площади, и там я остановил машину. Я поискал у себя в душе эмоции, но не нашел. Моя решимость в жизни не возвращаться, чтобы давно умершее ненароком не разбило мне сердце, заместилась прохладным любопытством. Я, конечно, был начеку и готов вовремя смыться, если ностальгия сделается непереносимо острой, но окна машины цветными открытками отпечатывали пейзажи. Я мог их листать, пролетая под защитой стали, резины, кожи, стекла.

Правда, нельзя сказать, что Главная улица уж вовсе не переменилась. Правая сторона почти от самого Старого моста до Площади была схвачена бетоном, зеркальным стеклом и хромом. Все это, разумеется, Генри. Аршинные буквы кричали: «Гараж Уильямса», «Выставочный зал Уильямса», «Сельскохозяйственный инструментарий Уильямса»; а там, в парке, жадно припавшем теперь к реке, демонстрировались эти предметы, с помощью которых Генри преобразовывал наше существование, — комбайны, тракторы, сенокосилки, столь пронзительно синие и оранжевые, что ясно было, как он процветает. Гигантские бетонные трубы лежали вдоль реки, собираясь ее сглотнуть, чтоб Генри вышел прямо на автостраду. Я проехал вперед, к бетонной площадке

возле заправки. То, что Марку и Софи угодно было означить как «бензинная леди», двинулось мне навстречу. Пухлая блондинка в белом халате с «Гаражом Уильямса», вышитым над левой грудью.

— Можно видеть мистера Уильямса?

Выяснилось, что молодой мистер Уильямс в Лондоне, а старший мистер Уильямс у себя в кабинете. Я вышел из машины. И, едва ступив на этот бетон, я почувствовал себя растерянным гонцом. Я вдруг понял, что зря сюда явился. Но не успел вернуться под защиту стали и стекла, потому что услышал сзади голос:

— Мастер Оливер!

Он крепко, тепло и долго жал мою руку. Не тряс, но нежно водил ею вверх-вниз, словно мы причащались вместе печали мира. Я успел заметить, как мало изменилось его худое лицо, подсвеченное, возможно, зимним солнцем Египта или Марокко, — столь печально обрамляло оно карие глаза, вечно готовые как будто налиться слезами. Только волосы стали другие. Совершенно белые.

— Милый Генри. Время тебя не берет!

— Стараемся.

— А какими машинами торгуешь! Высший класс!

— Ну-ну, может, со мной поменяться желаете, сэр?

Но он увидел мою машину через мое плечо. И выпустил мою руку.

— Ну-ну, сэр! Извини меня!

Тут оно прорвалось, всегда призрачно отдававшееся в прихрамывании валких гласных, — почти пародийное его валлийство. Как квохчущий на склоне горы ручей.

— Да, исключительного качества вещь, сэр, извини меня!

Я стал чуть выше ростом. Впервые в жизни я почувствовал, что произвел впечатление на Генри. Сказалось то, что лежало у него на самой глубине и рождало все эти стекла, гудрон, бетон, механизмы, — тяга, не дававшая радости и покоя, ощущаемая как неизбежность, как не знающее снисхождения божество. Его отношение ко мне чуточку изменилось. Он отдавал дань успеху, не вникая в его природу. И я, окончательно овладев собой, эту дань принимал. Я ходил с ним по его владеньям, не обращая внимания на вибрацию наших социальных антенн, и только в самом конце экскурсии, в старой части здания, я замер перед чем-то смутно знакомым, еще не успев сообразить почему. Тут были пальмы, еще ка-

кие-то растения в кадках, приглушенный свет и — вращающийся помост. На помосте, в сверкании радиатора и сиянии фар, в новых шинах на допотопных колесах, откинув верх, помещалась отставная малолитражка. И вращалась с гонором неуемной вдовицы, демонстрируя мне то правый свой бок, то номер под радиатором.

Я крикнул:

— Пружинка!

— Уступила нам, как поняла, что уж сама не поездит. Мы, само собой, мелочиться не стали.

— Значит, она умерла…

— Мисс Долиш скончалась — ох, уж скоро три года будет. Лежит, где бы самой ей понравилось — где слышно орган. Добрая, милая леди!

Я слушал вполуха. И не рассматривал пристально малолитражку, только делал вид. Я пристально рассматривал самого себя. Эти чувства, эти эмоции, вдруг неуместно расцветшие среди роскоши пальм и растений в кадках…

— В южной стороне от церкви лежит, к трансепту поближе. Мы так понимаем — отдать дань уваженья, почтить — это святое. Сами увидите.

— Значит, Пружинка умерла…

— Вы всегда ее обожали, ведь правда? Я же ж помню! И ясное дело, уважите память.

Я отвернулся от малолитражки и посмотрел на Генри. Взгляд его, как всегда, был непроницаем в своей открытости. Генри был из тех, к кому не подъедешь, кого не объедешь на козе. Вдруг я почувствовал, что, как ни странно, сам заливаюсь краской, опять превращаясь в ребенка. Я ощущал его взрослую власть.

— Да-да, — бормотнул я. — Конечно.

* * *

Я направил покорные стопы прочь, по гнутой Главной улице, к Площади. Было много новой краски. Колонны ратуши отмыли, и выкрасили лоснисто-белым балкон. Газон посреди Площади, между ратушей и церковью, шумно стригли особой косилкой Генри, укрощая одну половину и тесня мятежный прямоугольник ромашки в другой. Старые цепи вокруг газона пошли на лом, столбы тоже. Исчезли и старые ограды перед каждым домом, оставя в камне пеньки. Знакомые дома, вспученные, покосившиеся, осевшие, слегка нестойкие, обернулись эдаким Челси[41], млечно-голубые, с пронзительной желтизною дверей. Не без сарказма я подумал, что Стилборн

[41] Примечания: 41
Артистический район в юго-западной части Лондона. — *Примеч. ред.*

принарядили, как дряхлую даму, чтоб не стыдно показать гостям. Между домами и газоном машины стояли, сверкая капотами, в ряд, как коровы на водопое. Родительский флигель привалился к дому доктора, похожий скорей не на жилье, а на музейный экспонат, живописный и выхолощенный. Ситец, лениво заигрывавший с окном моей комнаты, знать ничего не знал обо мне. Только церковь осталась прежней в своей нерушимой серости. Кто-то играл на органе. Его звук, подмешавшись к стрекоту газонокосилки, напомнил мне, зачем я сюда пришел. Я толкнул кладбищенскую калитку и по стриженой траве побрел между серых надгробий. Я без труда обнаружил дань уважения Генри: она была из белого мрамора, фирма не пощадила затрат.

Во-первых, она впечатляла весом. В прямоугольном бордюре, среди белой мраморной крошки, под стеклянным куполом — иммортели. И все это венчал мраморный ромбоид чуть не в тонну весом. Но самое трогательное — его украшала арфа, столь натуральная, что, казалось, мраморные струны вот-вот затрепещут, отзываясь органу.

Я озирался, гадая, что мне полагается делать. Знать бы принятые формулы. Может, надо по-

молиться? Как еще уважить память? Как отдают дань уважения стрижке дерна, мраморной стружке, гулу органа? По правде сказать, я радовался, что я жив, и немного от этого угрызался. Я раскорякой сел на другой камень, поскромней, и сосредоточенно разглядывал надпись под арфой, стараясь выудить из начертаний имени знак о том, как себя вести.

КЛАРА СЕСИЛИЯ ДОЛИШ

1890–1960

Семьдесят лет. Ничего особенного. Все совершенно естественно. Я читал и читал и ничего такого не вычитывал. Я опустил глаза на мраморную крошку, тщательно осмотрел иммортели, к сожалению, напоминавшие деталь свадебного торта. И, только оглядев ближний край бордюра — буквально у меня под ногами, — я оценил всю тонкость замысла Генри. Там были три слова, мелкими буквами. Он поместил их в ногах, скромно сознавая свое место, твердо понимая, где чему быть и кому что положено. Сидя на замшелом камне перед беломраморным ромбоидом, я впал в некое оцепенение. Я вспомнил. Слова были не Генри и не Пружинкины слова, хоть она

любила их повторять. Слова ее отца. Я сидел на солнце, криво усмехался, рылся в памяти и его вспоминал.

Старый мистер Долиш. Чудак, каких в детстве считаешь неотъемлемой принадлежностью быта. У нас их было много таких в Стилборне. Например, одного, полоумного инвалида в коляске, я нисколько не жалел, потому что он был — предмет, как свиное корыто, как невнятный камень у входа в ратушу. Еще была старая дама, которая напяливала на себя множество юбок и громадную шляпу с вялой охапкой листвы, превращавшую ее в старенькую, сморщенную Офелию. Пружинкин отец, старый мистер Долиш, был, конечно, не такой, как они. Но тоже примечателен в своем роде. Неудавшийся музыкант, композитор, как говорили, на самом деле он держал музыкальную лавку и настраивал пианино. По какой-то линии запутанного местного родства он, кроме лавки, унаследовал еще и дом по другую сторону площади, напротив нашего флигеля. Унаследовал и немного денег, и это, в придачу к лавке, придавало ему весу. Он играл на органе в церкви, пока Пружинка не подросла и не сменила его. Но большую часть времени, оставя лавку на томную девицу, он ходил, верней, носился по

улицам. Легкий, в темно-серой крылатке, с седой копной, вздымавшейся и подпрыгивающей над неистово вдохновенным лицом. Смотрел он всегда несколько снизу и вбок, как бы поглощенный столь возвышенными материями, пред которыми все смертные — прах и суета. Он носился по улицам, и время от времени вы могли слышать, как в порыве бетховенской ярости он кричит, верней, каркает громко:

— А-а-ах!

Не исключено, что, распознав в себе совершенное отсутствие таланта, он решился по крайней мере явить первоклассную иллюстрацию к «Жизни Замечательных Людей» или вжиться в портрет романтического музыканта кисти Делакруа. Он верил, как мне стало известно, в эмансипацию женщин, Вагнера и Стерндейла Беннета[42] и не верил в Бернарда Шоу и юного Холста[43]. Он имел состояние, а потому, как ни носился по улицам, в Стилборне прощали его, ощущая благодаря ему причастность к высокому искусству. В первый раз я его заметил, когда был еще совсем малень-

---

[42] Примечания: 42

Уильям Стерндейл Беннет (1816–1875) — английский пианист и композитор.

[43] Примечания: 43

Густав Теодор Холст (1874–1934) — английский композитор.

кий и няня везла меня в креслице на колесах по Главной улице от Старого моста к Площади. Мое внимание привлек Бедный Человек, стоявший на углу с обшарпанной коляской. В коляске помещалось кое-что поинтересней грудного младенца — гнутый зеленый рог, завершавшийся широким раструбом. Одной рукой он вертел ручку под рогом, другой протягивал шапку. Мы приблизились, и я услышал пленительнейшие звуки на свете: «Тарлям-па-пам! Па-пам!» Я громко расхохотался и потребовал, чтоб меня высвободили и пустили к плясавшим вокруг Бедного Человека детям. Это, разумеется, было немыслимо, потому что действие происходило в общественном месте и дети были оборвыши. Но я не успел еще разреветься как следует, а уж события громоздились одно на другое. Мистер Долиш летел через Площадь от церкви с тростью в руке, в белом облаке артистической гривы. Он надвигался на пляшущих, и Бедный Человек, отпрянув от няни, протянул шапку в этом новом направлении. Мистер Долиш, гракнув, как разъяренный грач, обрушил трость на пластинку, и черные осколки разлетелись во все стороны. Дети орали, хохотали, хлопали, продолжали плясать. Мое креслице запнулось. И снова метнулось вперед, потому

что няня спешила прочь, держась края тротуара. Я, разумеется, извертелся в своих постромках, стараясь подольше насладиться зрелищем, и за несколько остававшихся мне секунд успел уловить, как солнечную, сонную улицу оживляли марокканец из скобяной лавки, мисс Димл из галантерейной, миссис Патрик из кондитерской, трое из матрасной, кузнец, с дымной подковой выглядывающий из своих дверей. И посреди всего этого реяла белая грива. Смолкнувший тарлям-пампам сменился грачиным граканьем и граем оборванцев.

Вы спросите, как — трехлетним — я мог знать всех этих людей, их имена и занятия. Но такова уж сетчатка детского глаза, что под воздействием любви или волнения на ней отпечатывается несмываемый снимок. Я, конечно, не знал тогда ни имен, ни откуда кто взялся. Но я несчетное количество раз видел потом их всех и сопоставлял со снимком, который лежал у меня в голове, да и теперь там лежит. Я вынимаю снимок из ящика и сортирую свои впечатления по двум стопкам — в одну идут первоначальные, невинные образы; в другую — постепенно усложняемые, проясняющие, что подкова остывала, мои собственные беленькие сапожки были из телячьей кожи,

а мистер Долиш — неудачник, бешено демонстрирующий на житейских подмостках свои бесплодные амбиции и обиды.

Есть у меня и ранние «снимки» Пружинки. Я привык видеть, как по ту сторону Площади дама в странном наряде пружинистым шагом движется к церкви. Было неизбежно, что я немножко поучусь у нее музыке.

Я нарочно сказал «немножко», потому что папа был глубоко убежден, что профессия музыканта — опасная и, предавшись ей, я, пройдя через невозможный водоворот богемы, кончу тем, что буду таскать по улицам граммофон и протягивать шапку.

Я только видел Пружинку, а познакомился с нею, когда уж мне было шесть лет. Я перешел с мамой через Площадь, где Пружинка жила одна и учила одна в ста пятидесяти метрах от музыкальной лавки своего отца. Мама оделась тщательно — шляпка, перчатки, пальто с высоким воротом. Открыла нашу входную дверь, выпустила меня, открыла калитку и меня вывела. Мы прошли по булыжникам, и она нагнулась, отстегнула цепь и снова ее пристегнула, когда мы вошли на газон. Нетоптаная трава мне показалась просторной, как полночная прерия: была поздняя осень, а свет

газовых фонарей вокруг Площади до ее середины не достигал. По ту сторону газона мама опять отстегнула цепь и застегнула за нами. Опять мы прошли по булыжникам, открыли железную калитку, подошли к двери, и мама нажала на сиплый звонок. В левой руке я держал маленькую скрипку в футляре с бархатным подбоем и не отрывал от нее глаз, пока отворялась дверь. Сперва я ничего не увидел, кроме Пружинкиных ног, потому что стеснялся, и немногим больше увидел, когда мы вошли в дом, потому что там было темно. Туфли у нее были самые обыкновенные, просто тяжелые, и я разглядывал их некоторое время, пока над моей головой шла взрослая болтовня. Когда мои глаза привыкли к относительной тьме прихожей, я слегка осмелел, медленно поднял взгляд и впервые увидел Пружинку вблизи. Я обследовал суровую серую юбку с подчеркнутой кожаным ремешком талией. Над ней была блузка в черно-белую полоску с тесными обшлагами и воротом. Спереди висел темный галстук, защепленный огромной брошкой с жутковатым полудрагоценным бурым камнем.

Посреди правой стены темно-бурой прихожей была темно-бурая дверь, и возле нее темно-бурый ларь. Я сложил варежки и башлык на этот ларь,

и мы втроем проследовали в темно-бурую дверь в уже совершенно лишенную бурости тьму. Я смог различить только два несоразмерных глазка смутного света: один — тускло-красным пятном совсем внизу, другой — синей почкой высоко наверху. Лицо Пружинки приблизилось к почке, та распустилась белым калением, озарив, но не рассеяв мрак. В самом лице не было ничего белого, ничего розового, и блеклая желтизна в сочетании с высокими скулами, голыми веками и лысыми надбровными дугами делала ее скорее похожей на китаянку, чем на европейку, и мало похожей на женщину. В то время я различал мужчин и женщин только по платью, и единственно неоспоримо женским в Пружинке была юбка. Даже мышиные волосы, зачесанные назад и стянутые в пучок, не рассеивали сомнений, потому что пучок был плоский и с высоты моего роста почти не виден. Но пока я молчаливо и сосредоточенно ее разглядывал, у меня за спиной тихонько закрылась дверь. Я взглянул на мерцающий эркер и услышал, как мамины шаги удаляются по булыжникам. Когда я опять перевел глаза на Пружинку, она уже пристально изучала что-то на подвесной полке, и я стал осматривать комнату. За шипящим газом по-прежнему пря-

тался сумрак. Но — как мне предстояло понять с годами — даже и белый день мог только скупо сочиться сквозь пожухлую кисею. И даже не будь занавесок, и тогда бы ему не пробиться на середину комнаты. Потому что тут его стерег гигантский рояль, ощерясь на занавески свирепой клавиатурой, готовой заглотнуть их при случае. Зато у него была такая оснастка, какой я нигде больше не видывал, — полный набор органных педалей и соответственно широкое сиденье. На крышке чуть не до потолка громоздились мятые ноты, порванные струны, скрипка, книги, пыль, странные неопознаваемые предметы и качающийся бюст бородатого господина, как потом оказалось, Брамса. Во тьме за роялем было красное пятно камина, дымившего не хуже самой Пружинки. Пока я изучал комнату, она выбрала и набила одну из дюжины трубок. Уселась на органное сиденье и закурила. Затягивалась, дымила, пускала длинные дымные кольца в затхлость и пыль. Я опять перевел взгляд на ту полку и над полкой увидел большую коричневую фотографию дамы в пальто и шляпе и большую коричневую фотографию мужчины, мрачно озиравшего комнату поверх моей головы. Я снова посмотрел на Пружинку, потому что между затяжками она заговорила:

— Ничего… нет… прекрасней… трубки.

И, не успев это произнести, она положила трубку обратно на полку и закурила сигарету. Вынула из футляра мою скрипку и смычок и показала, каких мест я не должен касаться грязными пальцами. И стала — моргая и слезясь от дыма — усаживать меня в правильную позицию для игры на скрипке.

С музыкантами приходится обращаться жестоко, если они сами не понимают, что музыка — дело жестокое. А ничего нет более жестокого, чем позиция для игры на скрипке. Выгнутая левая рука, неподатливым локтем прижатая к телу, запястье, вывернутое так, чтоб мизинец свободно захватывал четыре струны, — только поющий голос инструмента может все это искупить. Обнаружа скрюченный таким манером скелет, вы бы, конечно, решили, что это жертва опытного дзюдоиста, загубленная его роковым броском. До всякого поющего звука моей ли, ее ли скрипки Пружинка использовала мое детское тело как манекен, резко, по-мужски толкая, дергая и подпихивая мои суставы, — как манекен, которому, поразмыслив, она вручила мой безгласный пока инструмент.

Не успели меня закрепить в позе жертвы

страшного дзюдоиста (музыки, музыки), как меня уже распрямили, а моя скрипка — прелестная вещица, так сиявшая, когда мы ее покупали в Бристольском пассаже, — была уложена в гроб. Пружинка надела мужской пиджак и пронзала булавкой плоскую шляпу, пока я бился над предметами моего облачения. И сквозь все щеколды, затворы и цепи она отвела меня к родительскому флигелю. Дамы пришли к соглашению, что впредь я буду сам отважно преодолевать этот путь. Мне оставили задание на дом: ежедневное возвращение к позиции дзюдо — вывернутая левая рука, опущенный подбородок, поднятое плечо — в надежде на дальнейшее воссоединение с покуда немым инструментом.

В пятницу, юркнув под цепи, проскакав по газону, я вернулся к темной прихожей и, как мне было велено, постучался в дверь музыкальной комнаты. Пружинка выпустила большую девочку и впустила меня. На сей раз после упражнений в дзюдо она настроила мой инструмент и велела пилить беззащитные струны. В награду она взяла свою скрипку и сыграла гамму, иногда попадая пальцами не туда, так что я не мог удержаться от смеха. Пружинка смотрела на меня сверху вниз, суровая, как ее юбка, покуда не улеглась моя ве-

селость. И заставила меня в точности повторить все за нею.

— Снова, Оливер, снова! Неужели ты сам не слышишь! Слушать надо!

И она хватала меня за пальцы. Наконец, сбежав по щеке, на темный лак моей скрипки упала слеза.

— Что такое? Тебе нехорошо?

Дернулась прочь, остановилась от меня в двух шагах. И уронила голос до негодующего шепота:

— Может быть, тебе надо *выйти*?

Да, мне хотелось выйти. Но я только и мог, что молча кивнуть. Пружинка засуетилась. Быстро отложила в сторону мою скрипку. Нырнула во тьму, извлекла подсвечник, зажгла от газа свечу.

— Идем.

Я пошел за нею. Но она не стала надевать на меня пальто и башлык и не повела к входной двери. Нет, она прошла через прихожую, потом по темным расхлябанным ступенькам, и свет свечи их пятнал грязными лужицами. Потом был длинный коридор, и по обеим сторонам двери, двери, и некоторые, распахнутые, казали голый пол и мерцающее окно. В конце коридор взбегал одной ступенькой вверх и утыкался в стеклянную дверь. Пружинка ее открыла.

— Сюда.

Отдала мне подсвечник и закрыла дверь за мною. Я со страхом шагнул и увидел коричневый фаянсовый стульчак. Сбоку была ручка, и железная труба убегала вверх-вверх, в дальнюю даль, сквозь потолок. Я слышал, как мужские башмаки Пружинки удаляются по коридору. Я прижался спиной к стене и сосредоточился изо всех сил на свече. Я уже сообразил, почему я не понял ее, а она меня. Но я не в силах был ничего поправить, оставалось только терпеть. Так я и стоял, прижавшись к стене, и холод этой тьмы, этого одиночества леденил мне спину и студил волосы. И оплывал огарок.

Наконец очень издали накатил раздраженный вопль:

— Оливер!

Я подскочил к ручке, дернул. Прошло несколько пустых секунд. Потом высоко на крыше, щелкнуло, заурчало, обрушилось. Невидимые трубы жужжали, гремели, рокотали, вспенивались. Я кинулся к двери, споткнулся на ступеньке, бросился по коридору. Пружинка стояла в прихожей, только что впустив большого мальчика. Выхватила у меня свечу.

— На сегодня — все, Оливер. Задаю тебе эту

гамму. До вторника.

И, отойдя на два шага, нагнулась ко мне, а большой мальчик бессовестно слушал:

— В следующий раз не забудь *выйти* перед тем, как ко мне пойдешь.

Так началась моя карьера музыканта-любителя. По вторникам и пятницам, по пятницам и вторникам. Мама ловко ввертывала мой новый статус в разговоры с немногими нашими знакомыми.

— Оливер делает такие успехи, — говорила она. — Он просто обожает мисс Долиш, правда, детка?

Я робко соглашался. Не было приличного мальчика или девочки в нашем окружении, чьи родители бы не считали, что мы обожаем Пружинку. Такая это была скала в нашей жизни, твердыня, утес. Когда я ловил себя на том, что подсчитываю: тридцать помножить на шестьдесят будет тысяча восемьсот секунд, я раскаивался в своей испорченности. Я начинал смотреть на часы за час до урока и никогда не забывал перед уходом «выйти».

Итак, я теперь знал Пружинку и смотрел через Площадь, как она пружинит к церкви и потом пружинит обратно домой. Если она не была в

церкви, каждые полчаса мальчик или девочка входили в дверь возле эркерного окна музыкальной комнаты. Да, она трудилась в поте лица, наша Пружинка. Возможно, это служило причиной странности, которую я в ней случайно открыл и заботливо потом лелеял. Вопиющие твои ляпы она с негодованием поправляла. Но если ты оставался в поразительно зыбких границах простительного греха, веки у нее опускались, поднимался подбородок, и, сидя на органном сиденье подле рояля, она крепко засыпала. Сигарета свисала из полуоткрытого рта, и она покачивалась или медленно кружила, как угомоняющийся волчок, покуда из-за потери равновесия или чудовищной ошибки своего обожающего ученика вдруг не вскидывалась, проснувшись. Это, возможно, и побуждало меня к большей точности, но — увы — не могло излечить мою растущую ненависть к бедной маленькой скрипке и скуку моих упражнений. Так шли месяцы, и я терзался, и Пружинка корила меня, сопоставляя мое привольное житье с тяжкой юностью истинного музыканта, выпавшей ей на долю. Раз она даже прогнала меня раньше времени за то, что я неверно переписал гамму.

— Мне с тобой нечего делать, — сказала она, су-

ровая, как ее юбка, — если ты трудишься только во время урока. Между прочим, Оливер. Когда я была маленькая, папа мне велел переписывать фуги, каждый голос другими чернилами. И если я путала партии — р-раз! — он хлопал меня линейкой по пальцам.

И я ушел, и убивал мои законные полчаса, болтаясь следом за фонарщиком, который с помощью длинного шеста оживлял четыре газовых фонаря по углам нашей Площади. Время шло, и промельки быта Долишей сливались в зловещую картину: р-раз! — линейкой по пальцам, бах! — нотным рулоном на органных хорах, джик! — смычком под ребра. Я живо себе представлял носящегося в крылатке мистера Долиша со скорой на расправу рукой и глазами, устремленными к абсолюту. Иногда, одолевая железные заслоны на пути от нашего дома к Пружинке, я опасался, как бы она не призвала его на помощь, если мои пороки и злодеяния, одним словом моя мерзостность, окажутся ей не под силу. Слава Богу, до такого ни разу не дошло.

Первая пауза в моем ровном продвижении от урока к уроку возникла, когда я сдавал экзамен по начаткам скрипичной игры. Нам предстоял целый ряд экзаменов, потому что иначе бы никто

не узнал, умеем мы играть или нет. В случае успеха нам — то есть нашим родителям — полагалось приобрести аттестат, который можно в рамке вывесить на стене или припрятать в ящик, как амуницию для грядущих жизненных битв. Но этот экзамен стал поворотным пунктом и, как я теперь вижу, все собою затмил.

Для начала: я тогда в первый раз ездил на автомобиле. Автомобиль был огромный, чуть не с автобус. Он стоял на булыжниках за железной цепью напротив дома Пружинки, и мы, дети, обступили его. Прошла черная зима, светило солнце. Мы радостно болтали. Возле автомобиля стоял человек, и хотя тогда я увидел в нем просто незнакомого взрослого, я, снова доверясь детской сетчатке, могу вытащить и рассмотреть снимок. Он был молодой, тощий, среднего роста, с худым смуглым лицом, и глаза будто залиты глицерином. На нем был лоснящийся синий костюм, и он ознакомил меня с методом говорить лицом одно, а словами — другое. Он посмотрел на бумажку, которую держал в руке. Сказал, что номер-то верный, но он звонил-обзвонился. Ему нужна мисс Долиш, а непохоже, что кто-то из нас мисс Долиш. Лицо было очень печальное, а слова были шуткой. Он сразу имел успех. Мы-то все знали, кто

такая Пружинка. И от неуместности его грусти, от нашей нашести и пружинности Пружинки мы чуть не лопнули со смеху. Тема, однако, не получила развития, пресеченная упругим шагом Пружинки по мостовой. Молодой человек надел фуражку и отдал честь. Пружинка заняла позицию в двух шагах от него, ноги вместе, локти назад, ладони чуть вверх, и объяснила, что ее задержал священник. Молодой человек открыл дверцу, и она нам велела влезать. Все уселись, она взгромоздилась на сиденье рядом с водителем, и мы поехали. Сзади не раздавалось ни звука, и молчали впереди оба взрослых. Но километрах в полутора от Стилборна одну девочку затошнило, и совместное участие в ее беде растопило лед. Пролетая между Дикой Морковью и Собачьим Шиповником, мы слушали увлекательнейший разговор впереди. У молодого человека был певучий, текучий голос, каких мы не слыхали в Стилборне, голос под стать его переливчатой мимике. То и дело меняясь в регистре, он был мягок и нежен, как скрипка. Да, он из Уэльса, из Кардиффа, да, мисс, он немножко поет, тенором, значит, они с ребятами вечно, бывало, пели, как сойдутся. Сейчас я диву даюсь, как мы про него все сразу узнали: что он беден, много работает,

хочет в жизни чего-то добиться, любитель музыки и первоклассный механик. От неожиданно говорливой Пружинки мы узнали то, о чем давно знали, но не задумывались: что в Стилборне нет гаража, только велосипедная лавка и кузница, что приходится нанимать автомобиль, чтоб поехать в Барчестер, потому что, хоть вернуться можно на четырехчасовом автобусе, в ту сторону автобусы не ходят до двух, кроме базарных дней. Молодому человеку хотелось бы научиться читать ноты как следует, «ну вот как вы, мисс». И тогда бы он поступил в Барчестерский городской хор, который скоро исполнит «Святого Павла»[44] в соборе. После чего он пропел, истекая елеем: «Итак, мы — посланники от имени Христова!»[45]

Пружинка склонила голову, глянула искоса, улыбнулась. Пошлепала одной замшевой перчаткой о другую.

— Ну, мистер…

— Генри, мисс.

— У вас же прекрасный лирический тенор!

— Спасибо, мисс, — сказал Генри. — Такой комплимент, и еще от настоящего музыканта! Так и

---

[44] Примечания: 44
Оратория Якоба Мендельсона-Бартольди (1809–1847).

[45] Примечания: 45
2 Кор. 5, 20.

передам в Барчестере кому следует, и придется им взять меня в хор, куда они денутся! Да уж, что наша жизнь без музыки…

— Музыка, — сказала Пружинка. — Ах…

Это «Ах» было не грачиное граканье мистера Долиша — гораздо нежней. И она прибавила так, будто мы не в автомобиле, а в церкви:

— Мой отец всегда говорит: «Рай — это музыка».

Генри убежденно тряхнул фуражкой.

— Анекдот про Дая Эванса[46] знаете, мисс? Попадает он, значит, в рай, а там хор. Сопран пятьдесят тысяч, пятьдесят тысяч контральт, пятьдесят тысяч басов, а тенор только Дай Эванс один. Вот заводят они аллилуйю, а дирижер палочкой постучал и говорит: «Минуточку, — говорит, — тенор все заглушает. Дай Эванс, поубавь-ка, будь настолько любезен».

Анекдот поразил Пружинку, как нас поразил тот первый вопрос Генри. Она тряслась, каркала и, подняв замшевую перчатку, хлопала себя по пучку. Но вот она затихла, и я увидел, что Генри тоже начал трястись, подавляя кашель: кх-кх-кх.

— Извиняюсь, мисс, — сказал он, наконец пере-

---

[46] Примечания: 46

Нарицательное имя жителя Уэльса; ср.: ирландец — «пэдди».

став кашлять. — Видно, это от газа последствия. А теперь послушайте, мисс, что я вам скажу. У меня сегодня короткий день. Так что вы дайте мне, во сколько бы вам встали билеты — ну там, на бензин, — а я отвезу вас с детишками обратно в Стилборн, как в Барчестере освободитесь.

Тут уж с молчанием на заднем сиденье было покончено. Мы заорали хором, чтоб она соглашалась. И она согласилась — ради нас, и смеялась, и мы по пригороду Барчестера катили к снятому в «Золотом шаре» для такого случая залу.

Этот мой первый экзамен навеки определил наши взаимоотношения с Пружинкой. Ибо, сыграв наконец свой дикий отрывок из Баха — да диди да да диди да, — я разревелся от унизительного уродства извлекаемых мною созвучий. Потом, хлюпая, я сыграл гамму, ставя пальцы на сверкающие места, чтоб удержать скрежещущие тона от разлада. Завывая, я со скучливой уверенностью определял интервалы и даже называл экзаменатору его первую ноту сразу до всякого интервала, ужасно торопясь поскорее отделаться.

— И нечего плакать, — сказал он. — И между прочим, по-моему, у вас абсолютный слух.

Я ушел, все еще всхлипывая. Когда я иссяк, мы уже готовы были снова тронуться в путь.

На сей раз Генри говорил об автомобилях.

— Вам бы маленькое авто заиметь, мисс. Сейчас леди многие сами на авто разъезжают.

Нас отвлекали дорожные впечатления — а меня вдобавок скромная гордость, что единственный из экзаменуемых я вызвал переполох, — и, только проскочив Старый мост и покатив по Главной улице к Площади, я наконец услышал, что говорит молодой человек.

— Какое тут беспокойство, мисс. Я, значит, погляжу, что да как, и вам в случае чего сигнализирую. А водить — это я вас в два счета выучу, мисс. Да чего там, мисс, я ж с удовольствием.

Мы остановились у цепей перед эркерным окном. Генри выскочил и, покашливая, помог выбраться Пружинке. Она нас оглядела.

— Милли. Тебе далеко идти. Зайди, выпей молока с печеньем. Мистер…

— Генри, мисс.

— Вы были так любезны. Вам не мешало бы подкрепиться чашечкой чая, прежде чем пускаться в обратный путь.

Я поспешил по газону в родительский дом не оглядываясь, и потому не знаю, принял Генри ее приглашение или нет. Зато когда я рассказал родителям, что я единственный из всех плакал, они

решили, что музыкальные экзамены не для моих тонких нервов и Бог с ним совсем, с аттестатом. Я буду, решили они, заниматься музыкой для собственного удовольствия, пусть это кому-то и покажется странным. О совершенном прекращении моих музыкальных занятий не могло быть и речи. В результате наши встречи с Пружинкой отчасти лишились своей напряженности. Она не могла, разумеется, всерьез относиться к урокам, не ведущим к разумной цели. Она спала теперь чаще и дольше. Если она не спала — она говорила, иногда по десять безмузыкальных минут подряд. Почему-то я всегда ей поддакивал. Я не мог не поддакивать — просто не мог. Мое раболепное соглашательство было как смирительная рубашка.

Генри Уильямс опять объявился, когда еще было в разгаре лето. Он подкатил к эркеру в двухместной малолитражке с холщовым откидным верхом и увез с собой Пружинку. Через неделю после ряда уроков автовождения, когда я со своей скрипкой перепрыгивал через цепи на выстриженную траву и поверх розоватых крыш млечно голубел вечер, — на мостовой стояла малолитражка, а рядом покорный Генри. Мистер Долиш вылетел из парадного в облаке белых волос, рывком распахнул калитку.

— Швыряние денег на ветер!

Я стоял, прижимая к груди футляр, и смотрел. Уйдя по мостовой шагов на двадцать, мистер Долиш оглянулся и крикнул эркеру, будто тот был живой:

— Музыки твоей тебе мало?

Вышла Пружинка.

— Заходи, Оливер, и начинай играть.

И, задыхаясь, вошла за мною.

Мне бы еще гадать и гадать насчет Пружинки, и старого мистера Долиша, и Генри, если бы не бесподобная мамина проницательность. Как все женщины на нашей Площади, она была прирожденный детектив. Они, женщины, не довольствовались ограждениями перед каждым домом и засовами на дверях. Они непроницаемо занавешивали окна. Отступя на шаг от занавесок в глубь комнаты, они посылали наружу то, что теперь я назвал бы радарными лучами. Любопытная деталь: лучи проникали сквозь занавески так, что ближние были женщине смутно видны, сама же она оставалась надежно укрыта. Мужчины располагали большей свободой при отнюдь не столь тонкой проницательности. Зато они приносили ценные сведения для опытного разведчика, окопавшегося в тайнике. И каждая трапеза пре-

вращалась в своего рода перекрестный допрос, позволявший выстроить целостную картину. Моя субтильная мама по полчаса простаивала за кисейной занавеской, гадая, что могла означать новая шляпка, встреча, движение руки, даже выражение лица.

— Идет дочка Элиотов. К мосту, конечно, идет на свидание со своим Томасом, а мать у нее, между прочим, еще в больнице.

Кроме радара, у мамы было еще одно тайное оружие. Я. Я не только дважды в неделю проникал в дом Пружинки, меня использовали и в более широкой сфере. Совершенно естественно, помогая папе, я нес то пузырек с лекарством, то коробочку пилюль в какой-нибудь дом. Я и представить себе не мог, сколь ценную информацию извлекала для себя мама по моем приходе домой. Я был как межпланетная научно-исследовательская ракета и ничуть не более, чем она, пекся о своем назначении. Помню, в те дни, когда Генри учил Пружинку водить машину, я что-то носил в соседний с ней дом — Уэртуисль, Уэртуисль, Уэртуисль, юрисконсульты, — не постигая, что означает его длинное наименование. Я вошел в прихожую, там не было ни души. И пока я раздумывал, куда сунуться, меня накрыло бар-

ственным басом:

— Войдите!

Я толкнул дверь и увидел старое венозное лицо над столом, заваленным пыльными папками.

— Ну-с? Что угодно? Вступить в брак? Составить завещание?

Я протянул коробочку.

— А-а. Это для моего сынка говенного. Нет. Я возьму. Вот.

Он порылся в кармане и выбросил на стол два пенса. Я знал, однако, что я не Бедный Мальчик. Я попятился, затряс головой и закрыл за собой дверь. Мама была довольна моим отказом от чаевых и выдала мне трехпенсовик на расходы. Ободренный, я шепнул, что мистер Уэртуисль сказал плохое слово, очень плохое. И она кивнула, будто так и знала, что он его скажет и почему.

А еще по ту сторону, где жила Пружинка, был большой дом, в котором жили две дамы, сами по себе. В них была какая-то недоступная для радара тайна. Когда обе давно уже умерли, я спросил про них маму, но она мало что могла сказать.

— Они очень странно держались. Очень, очень странно.

Я один раз ходил в этот дом. Будто подстерегала у входа, младшая дама вышагнула мне навстречу

и плотно прикрыла за собой дверь.

— Скажи своей матери, Оливер, — произнесла она ледяным голосом, — что это номер семь, а не номер одиннадцать.

Чем по всем правилам, очевидно, закончился некий раунд. И с грустью я вспоминаю, как Юэны неукоснительно мне что-нибудь дарили на Рождество. Тоже вибрировали строго в такт с хрустальной пирамидой.

И нет ничего удивительного, если мама интересовалась Пружинкой. Я описал ей расхлябанные ступени, длинный коридор, пустые комнаты. И часто за столом она заводила развернутый монолог, в который папа время от времени вставлял уклончивые замечания.

— Жить одной в таком огромном доме…

Огромный дом? Так вот как они назывались, мои неотвязные сны, — Пружинка в пустующей тьме, и нет в пустоте никого, только ощеренный рояль. Мистер Долиш жил над своей лавкой, может быть, он не любил этот дом, или звук музыкальных уроков, или просто считал, что дочери нужна независимость.

— Сдавала бы комнаты, — сказала мама. — По-моему, нехорошо женщине жить так вот одной. Да и деньги…

— Ну, будет тебе, мама, — сказал папа. — У Долиша солидные средства. Вполне солидные. С ним все в порядке.

Как-то Генри подъехал на автомобиле, когда мы сидели за столом. Мама вскочила, едва услыхала рожок, глянула сквозь занавески.

— Опять урок, — сказала она. — Третий раз на этой неделе.

Папа утер седые усы и снова задумчиво склонился над супом.

— Это ей обойдется недешево.

— Глупости, — сказала мама запальчиво. — Она ему ничего не платит.

— Да ну? — сказал папа. — Что ж, очень благородно. Если бы все…

— Благородно! — крикнула мама с тем страстным презрением, которое держала в своем арсенале для людей, не снабженных радаром. — Благородно! Да! Пожалеешь червячка — не поймаешь окунька!

Вскоре после этого я наблюдал, как машина впервые поступила в единовластное распоряжение Пружинки. Было время чая. Пружинка и Генри подъехали к дому, и он потом пешком пошел на барчестерский автобус. Пружинка скрылась за дверью, оставив машину на мосто-

вой. Мы стояли за занавеской. Там и сям вокруг Площади занавески подрагивали, кое-где даже съезжали чуть на сторону. Пружинка снова вышла, села в машину, произвела какие-то движения руками, бросив машину в дрожь. Сзади всклубилось густое облако дыма, рев мотора перешел в негодующий визг. Машина дернулась метра на три вперед и намертво стала. Пружинка вылезла и вернулась в дом. А наутро Генри был тут как тут, лежал на булыжниках в лоснящемся синем костюме, и на радиаторе висела фуражка. И в следующий раз, когда я пришел на урок, я успел десять раз сосчитать до шестидесяти, прежде чем Пружинка вкатила на мостовую и пропружинила в дом, хриплая по-мужски, запыхавшаяся.

— Я за самые дюны проехала — чуть не до Легатов, сама, Оливер! Можешь себе представить? Оказывается, это так просто!

Она металась туда-сюда, воздевала руки. Восклицала, какой благородный Генри.

— Сколько же он на меня времени тратит! И знаешь, Оливер, я ведь никакими силами не могу заставить его принять деньги. Он уверяет, будто ему это ничего не стоит!

Я объяснил веско, не только из желанья поддакнуть, но чтобы вдобавок ввернуть фразу, которая

меня восхитила, что он «не жалеет червячка, чтоб поймать окунька». Пружинка постояла — неподвижная, стихшая. Потом стала с пристрастием меня допрашивать, все напористей, и наконец ужасно рассердилась. Я не мог понять, что я такого сделал. И наконец она меня прогнала, а дома дело обстояло не лучше, потому что, когда я отчитался о нашей беседе маме, мама рассердилась еще больше Пружинки. Я так и не понял причины гнева обеих, но межпланетные сообщения всегда чреваты — увы — непредвиденными опасностями.

Вот тогда я заметил кое-что странное в лице Пружинки, и странность эта потом все усугублялась. Анатом бы, наверное, заговорил тут о сильно развитых мышцах сфинктера вокруг рта. Когда она гневалась или что-то порицала, рот сжимался, губы сперва взбухали пучком, потом втягивались внутрь. Вокруг собирались складки и сходились к центру. Год за годом складки сфинктера углублялись, пока не стали видны постоянно, сердилась она или нет. Когда сердилась, складки делались траншеями, рот становился воронкой.

Не успела Пружинка освоить водительское искусство, как ее отец окончательно вылетел из

нашего круга и был погребен на церковном погосте недалеко от калитки. Помню, вскоре после этого события, пересекши Площадь, я не застал Пружинки, мне сделалось не по себе в темной прихожей, и я толкнул дверь музыкальной комнаты, навстречу теням, тяжким формам, оскалу рояля. Красно тлел камин, и я двинулся к нему, ища защиты. От щелчка в догорающих углях у меня встали дыбом волосы, и, будь в прихожей хоть какой-нибудь свет, я бы сбежал. Но я остался где был, и вот уже различал очерки предметов. Особенно заинтересовал меня предмет на каминной полке, в котором, постепенно яснея, проступило лицо; и наконец я понял, что это Бетховен в бронзовой гриве, сжав губы, глубоко запавшими глазами сверлит хвост рояля. Явно похожий на Пружинку и на ее отца, он определенно меня порицал. Пока я над этим раздумывал, эркер ощупали автомобильные фары. Пружинка вошла в прихожую, постояла, открыла дверь музыкальной комнаты. Двинулась к газовой горелке, и я, с облегчением ринувшись ей навстречу, стукнул футляром рояль. Пружинка вскрикнула, обернулась — и глянула на меня ужасно выпученными, как-то окончательно облысевшими глазами. Прижала руку к груди, рухнула на органное сиденье.

— Никогда, никогда не смей сюда входить, пока я не позову!

Я смиренно просил прощения. Я до того натерпелся страха в темноте и одиночестве, что меня даже не очень пронимал ее гнев. И потом у нас был урок. А на той же неделе Генри Уильямс переехал в Стилборн. Точно не помню, как именно это произошло, просто началась новая фаза, когда он стал жителем нашего города. Наверху горбатой Главной улицы, там, где она впадает в нашу Площадь у ратуши, располагалась кузня, маленьким проулком отрезанная от дома Пружинки. В нескольких метрах дальше по проулку калитка вела во двор за кузней. В этом дворе стояло нечто вроде хлева с голубятней. Генри, как голубь, жил на голубятне. Иногда помогал кузнецу, иногда мыл машину доктора Юэна, а то накачивал ее шины ножным насосом. Когда возле ратуши открывался базар, Генри был тут как тут, сновал между прилавками, расторопный, всегда готовый к услугам. Пружинка ставила свою машину на том дворе, верней, Генри для нее ставил, потому что Пружинка не могла развернуться в узком проулке. Генри и ухаживал за машиной, полировал, как жемчужину короны, и она вся мерцала и светилась. Я, не вникая,

привык считать Генри Пружинкиной собственностью, так уж она с ним обращалась. Станет во дворе между ржавой грудой железа и зарослями крапивы и громко говорит о машине, пока он ее моет, — кричит хрипло, с расстояния двух шагов, но и ласково, весело, будто машина — живая и она ее гладит. Генри знай себе трудится и кивает, пока Пружинка, вдруг ни с того ни с сего отвернувшись, не запружинит домой.

Я не мог понять маминых жалостливых насмешек. Почему бы мисс Долиш не любить свою машину? Я бы, например, тоже любил. Но — и уж это было совершенно непостижимо — маме, кажется, не нравился Генри. Мне он, наоборот, исключительно нравился, и в конце концов я стал даже думать, что это один из моих недостатков. Он со мной разговаривал своим текучим голосом, когда я смотрел, как он моет машину, и он обращался ко мне почтительно-вежливо. Приходя в аптеку за микстурой от кашля, при виде меня неизменно адресовался ко мне: «мастер Оливер».

Когда буквально за одну неделю двор за кузней преобразился — рассверкавшись инструментами, цистернами и канистрами, — и я с восторгом описывал маме новый триумф Генри, она меня оборвала:

— Тьфу! Просто слушать противно!

Несмотря на смерть отца, владение машиной заметно оживило Пружинку. Она теперь дольше и слаще спала на органном сиденье, по-младенчески распустив губы, и даже изобрела шутку, которой мы наслаждались из урока в урок. У меня был сборник упражнений такого Ктотэма. Впервые я принес зеленую папку, опоздав на урок, и с этого совпадения все и пошло.

— Кто там? А-а, наконец! — крикнула она. — Оливер с Ктотэмом! Ты теперь сам будешь Ктотэм.

И тряслась и каркала на органном сиденье. С тех пор она меня иначе не называла, и вместе мы от души хохотали. Как-то, когда у цепей перед эркерным окном на нас наткнулся священник, она пригласила его разделить нашу радость:

— Я его называю Ктотэм, потому что…

Тогда же она меня удивила, как никогда еще в жизни не удивляла. Мне было десять лет, я только поступил в местную гимназию. Я таскал теперь скрипку побольше, на которой играл так же скверно, как и на первой. Входя в парадную дверь, я слышал со двора треньканье и звяканье Генри, хоть кузнец уже закрылся до утра и отправился в «Гребешки». Я постучал в дверь

музыкальной комнаты, и Пружинка, видно, меня поджидала, потому что откликнулась сразу, хоть и тихонько:

— Кто там? Ктотэм?

Я вошел и чуть не уперся носом в ее блузку. На уровне моих глаз была одна из перламутровых пуговиц, сбегавших по оторочке, по планке, или, как это называлось, к поясу. Что само по себе было новостью, ибо я привык видеть здесь бурый галстук. Но это еще не все. С обеих сторон этой планки пенилось белое кружевное жабо. Руки у нее были подняты. И те же кисейные кружева торчали из-под каждого рукава. Пройдя по декорированной планке до шеи, мой взгляд обнаружил, что знакомая брошь покоится в кисейном гнезде, там, где исконно располагался галстучный узел. Я с изумлением глянул Пружинке в лицо. Оно как бы чудом размягчилось и просияло — не то что молодое лицо, но с намеком, с напоминанием о юном, о девичьем. Даже волосы были не такие суровые, скучные, стали ярче и распушились. Глаза — но очень скоро они прочли изумленье в моих. Губы сжались в сборках морщин, сразу обтянулись скулы, щеки впали, и в первый и последний раз на моей памяти круглые красные пятна вспыхнули на обеих. Я смотрел, и

краска разливалась по лицу Пружинки, пока вся она не потемнела от шеи до лба. Резко шагнула к роялю, чтоб я мог настроить скрипку, оставила меня с моей гаммой и — пряча лицо — буквально выскочила вон. Когда вернулась, лицо, как всегда, было желтое и в разительном несоответствии с кружевами. Она была чрезвычайно строга и ко мне придиралась. Больше я этих кружев не видел.

А вскоре потом переменилась вся наша жизнь. Я возвращался с Главной улицы, купив конфет, и, как всегда, завернул во двор кузни, поглядеть, у себя ли Генри. При этом я, как всегда, волновался, потому что мама считала, что мне не следует к нему приставать. От привкуса запретного плода, как водится, мои визиты делались еще слаще. Генри, охорашивая машину, иногда болтал со мной, пока я смотрел, объяснял, например, что такое грязевик и зачем на шинах узоры. Но сейчас Генри был не один. Длинная белобрысая женщина, бледная, одышливая и тупая, стояла под приставной лестницей с грудным ребенком на руках. Она препиралась с Генри.

— Ну, как я полезу? Это не дело, Генри. Мне настоящую лестницу надо.

Я уносил свои конфеты под текучие увещания

Генри. Блондинка и младенец оказались его абсолютно непредвиденными женой и ребенком. Я страшно завидовал им, считая необыкновенным везеньем не иметь дома и жить по-цыгански на голубятне. Что касается Пружинки, я не могу описать, в какую пропасть унижения и тоски она была брошена или бросилась.

— Бедняжка, — смеясь и жалостно покачивая головой, говорила мама. — Кто бы мог подумать, правда?

— Что подумать, мама?

Но мама только покачивала головой и смеялась.

Для всех наступила веселая пора. Я разделял общее веселье, не очень понимая его источник, очевидно, невольно исходя из предпосылки, что, если все вокруг развлекаются, должно быть весело и мне. Но когда возбуждение достигло высшей точки, я обнаружил, что радуюсь только я один. Дело в том, что не прошло и нескольких недель после появления Мери Уильямс с младенцем, а уж все трое вселились в большой дом и стали там жить вместе с Пружинкой. Я был просто счастлив, я наслаждался чувством освобождения и покоя. Мне уже не снился длинный коридор, пустые комнаты, я знал, что там живет Генри.

Теперь, неся пузырек с лекарством малокровной Мери, я поворачивал не сразу направо, к музыкальной комнате, а налево, во двор за кухней с промельком заглохшего длинного сада. Там стояла на плитках коляска с вопящим Джеки, и невидимая Мери гремела тарелками. Мама, однако, не разделяла моих чувств. Почему-то она сердилась, когда говорила о Генри, и выходила из себя, говоря о Пружинке. Я затруднялся выбором собственной линии поведения. За спиной у Пружинки я подражал маме, и вот не кто-нибудь, а Генри резко меня осадил. Как-то, завезя свой велик к нему во двор, чтобы он укрепил мне руль, я завел речь о Пружинке так, как если бы он, я, мы все были по одну сторону баррикад, а она по другую, вместе с чудиками Стилборна. С перепачканного смазкой лица на меня глянули глаза, как никогда затопленные глицерином.

— Мисс Долиш, — сказал Генри, — вот уж добрая, благородная леди.

Я заткнулся, слегка покраснев.

Папа купил простейший приемничек, а потом граммофон. Я начал догадываться о том, что такое музыка, что такое исполнение. Крейслер,

Падеревский, Корто, Казальс[47] — сквозь неповоротливое шипенье пластинок, сквозь вечный мучительный треск и взрывы морзянки прорывалась музыка. Но Пружинка, когда я пытался с ней поделиться своей новой радостью, с диким негодованием обрушилась на папу, обрушилась на меня.

— И зачем это понадобилось твоему отцу, Оливер? Ведь якобы он любит музыку! Я бы в жизни, в жизни не стала слушать такую дешевку, гадость, вульгарщину, такое кощунство!

Я стоял, кивал, улыбался — сконфуженно, подхалимски — и мечтал, чтоб она поскорей умолкла. В дверь музыкальной комнаты постучали. И когда она вышла, я услышал крик:

— Нельзя меня прерывать во время урока, Мери! Очень хорошо. Разогрейте мне бифштекс с почками.

Да, действительно, мы менялись, менялись все. Пружинка становилась мужеподобней и резче, уже не так пружинила при ходьбе и понемногу тучнела. С Генри и Мери она обращалась грубо,

---

[47] Примечания: 47

Фриц Крейслер (1875–1962) — австрийский скрипач и композитор; Игнацы Ян Падеревский (1860–1941) — польский пианист и композитор; Альфред Корто (1877–1962) — французский пианист и дирижер; Пабло Казальс (Касальс; 1876–1973) — испанский виолончелист и композитор.

по-хозяйски. Иногда про них говорила: «моя семья». Генри тоже переменился. Посолиднел. Выступал иногда уже не в лоснящейся синей сарже, а в пальто и фетровой шляпе, как прочие бизнесмены нашего города. Ну а я — я стал неискренним, скрытным, циничным. Только уж через много лет, оглядываясь назад, я понял, откуда было во мне это чувство лживости и вины. Мери — та сделалась еще более блеклой, одышливой. И совсем уж кислой и злой. Однажды, выйдя во двор с лекарством, я застал там Пружинку и Мери, подбоченившуюся в кухонных дверях. Обе орали, перебивая друг друга. Но вот голос Мери, поднявшись до вопля, отчетливо донес до меня каждое слово:

— А я говорю, тетя Сис, мне нужна моя кухня!

Вдруг они увидели в дверях прихожей меня с пузырьком в руке. Все примолкли, за исключением Джеки, который выбросил из коляски погремушку, громко заметив:

— Бах! Бах!

Без единого слова я вручил пузырек и ушел.

Как-то я сидел на откидном стульчике — мы ехали в Калне играть и петь «Илию»[48], — а сперe-

[48] Примечания: 48
Оратория Якоба Мендельсона-Бартольди (1809–1847).

ди сидели Генри с Пружинкой. Верх был опущен, и я смутно слышал, как тихие голоса бубнили, постепенно нарастая, пока Генри не взорвало:

— Да нет же, тетя Сис! Все не так, не так, не так!

Опять забубнили, опять отчетливо прорвалось:

— Сами же говорите, что у вас есть ваша музыка!

— Тс-с, сзади Ктотэм…

Покрутила шеей, крикнула:

— А ты как считаешь, Ктотэм?

— Что-что, мисс Долиш?

— Тебе не слышно, что мы говорим?

— Что вы сказали, мисс Долиш? Я не слышу! Дикий ветер…

Неискреннее дитя. Но у меня тоже была моя музыка. Звуки поддерживают, раскрепощают, это была для меня уже не теория, но реальность. И все еще терпя скрипку, я влюбился в фортепиано и выколачивал последние силы из нашего звякающего инструмента. Я уже слышал больше музыки, чем Пружинка, и перешагнул границы ее музыкального мира. Стоит очертить эти границы. Событиями в ее жизни были нечистые и нудные исполнения «Святого Павла», «Илии», «Мес-

сии»[49], кое-что из Станфорда[50] и «Распятие» Штайнера[51] ежегодно на Пасху. А так — Хеллер, Ктотэм, «Вольные упражнения» Маттея[52] плюс «Гимны старинные и современные»[53] по воскресеньям. Ну а я, я с трудом выносил — куда денешься? — противоречие своего подхалимского экстерьера с неартикулируемыми мыслями и невнятицей чувств, всуе порхающих под его прикрытием дважды в неделю по полчаса.

— Не знаю, что бы Оливер делал без мисс Долиш. Он так ее обожает…

И, прячась на следующем уроке за улыбками и кивками, внимая диатрибе, посвященной Стравинскому, которого она никогда не слышала, я смутно думал: «Значит, это называется — обожать».

---

[49] Примечания: 49

Оратория Георга Фридриха Генделя (1685–1759).

[50] Примечания: 50

Чарльз Вильерс Станфорд (1852–1924) — английский композитор, дирижер, музыковед, обрабатывал народные песни, издавал сборники народных песен и баллад.

[51] Примечания: 51

Якоб Штайнер (1617–1683) — австрийский скрипичный мастер, придворный музыкант.

[52] Примечания: 52

Тобайес Маттей (1858–1945) — английский пианист, педагог, теоретик фортепианного искусства.

[53] Примечания: 53
Известный сборник церковных гимнов. Впервые издан в 1861 г.

Она теперь раздалась, волосы, отшпиленные от пучка, мотались под плоской шляпкой. Она обрела два золотых зуба с одной стороны и сияла ими, разражаясь угрюмым смехом при наших доверительных шуточках. Коляску Джеки заняла его сестренка.

— Пойдем, ты взглянешь на мою маленькую племянницу. Тю-тю-тю! Пусенька! Это Ктотэм, Ди. Я его называю Ктотэм, потому что…

Но был страшный случай, когда, дожидаясь урока в темной прихожей, я услышал с лестницы голос, не грубый, а проникновенный и нелепо молящий:

— Я одного хочу, чтоб я тебе была нужна, нужна!

Да, мои вянущие скрипичные уроки все чаще и чаще срывались. Не из-за скандалов, которые вспыхивали, кажется, ежедневно, даже не из-за тщательных примирений. Они не мешали урокам, только задерживали их. Главное бедствие был шум — иногда ритмично надсадный, иногда сокрушительный, — идущий снаружи. Оттуда, где раньше были двор и соседняя кузня, теперь по дешевке обернувшаяся мастерской и гаражом

Генри. Там были рекламы «Данлопа»[54] и старые шланги на беленых стенах, как осьминоги, развешанные для просушки. Были канистры, цилиндры, компрессор, верстак и какие-то таинственные инструменты, необходимые Генри для хирургического лечения машин. Все лоснилось от неизбывной маслянистой грязи.

Помнится, я демонстрировал свою спорную способность совладать со второй позицией. Пружинка сидела на органном сиденье, тупоносые туфли на органных педалях. Твидовая юбка и пиджак шершавились в газовом свете. Я играл, и вот обширная грудь качнулась, свесилась голова, закрылись глаза. Я наяривал, с чувством признательности услаждая эти закрытые глаза и сокращаемый сфинктером рот.

Вдруг грянули пушечные раскаты. Меня накрыл грохот. Пружинка очнулась, уставилась в мои ноты, будто канонада — часть партитуры.

— Это Генри, — по-дурацки крикнул я. — Генри работает допоздна!

— Я тоже работаю допоздна!

Оторвала ноги от педалей, вскочила, распахнула дверь.

---

[54] Примечания: 54

Концерн по производству технических резиновых изделий, в частности автопокрышек.

— Мери! Мери!

Ответа не было, шум продолжался.

— Мери! Ну как я могу слушать музыку под этот мерзкий грохот? Пусть немедленно прекратит!

Мери что-то проблеяла в ответ, я не разобрал слов. Голос Пружинки, не раз укрощавший хор, перекрыл канонаду:

— Сейчас же идите и скажите ему! — Затем аппассионата: — Я этого не потерплю! — Краткий, рваный дуэт в прихожей окончился сдвоенным хлопаньем дверями, и Мери, блея, бросилась домывать младенца, а Пружинка протопала на плитки двора с финальным фортиссимо: «Не потерплю!»

Я стоял, ждал, цифры росли — шестьдесят, сто двадцать, триста, — и наконец тихий вечер вернулся в Стилборн. Шестьсот секунд. Пружинка вошла запыхавшаяся, лицо лоснилось, пучок рассыпался космами. Снова началась канонада, и ей пришлось проорать объяснение:

— Машина Юэна. У него срочный вызов, а свою Генри отдал внаймы. Моя в ремонте. Ничего не поделаешь. Тебе придется уйти, Ктотэм. Я не могу преподавать при таком грохоте.

И я ушел, преследуемый пушечными раскатами.

Все чаще и чаще Генри работал допоздна. И не мог не шуметь. А почти все ученики приходили к Пружинке по вечерам и натыкались на лобовую атаку. Я брал уроки в доме, раздираемом распрями, переполненном трудовым грохотом, накаленном обидой. Я замечал, как морщины на лбу у Пружинки становились глубокими бороздами. И хриплую грубость и сон на органном сиденье оттеняла теперь отчаянная усталость. Потом ни с того ни с сего шум прекратился, и Мэри стала сахар-медович и сплошное «миленькая тетя Сис».

Причина прояснилась дома за чаем. Мама нарушила наше жвачное молчание, как всегда, в знак того, что у нее есть для нас новость.

— Вот он своего и добился.

Я поднял взгляд.

— Кто?

— Генри Уильямс. Просто топать и кричать хочется!

Папа глянул поверх чашки.

— И чего же добился Генри Уильямс?

— Да всего, чего хотел. Берет лавку, которая ей от отца досталась, и флигель рядом и будет строить гараж!

Я прикинул в уме. Никакой канонады. В резуль-

тате нерушимые тридцать на шестьдесят.

— Пружинка-то будет рада.

Мама нервно погремела чашкой.

— Сам не знаешь, что говоришь. За ее же денежки он перестраивает ее же собственность. Он ее обдерет как липку!

Папа глянул на нее сквозь толстые очки и обтер седые усы обеими руками.

— Уильямс упорно работает. Она сможет вернуть свои деньги.

Мама рассмеялась с горькой иронией, как ни странно, относившейся скорее к папе.

— Не очень верится!

— Ну будет тебе, мама. Она не ребенок. Конечно, они все это оформили как полагается.

— Да ну их в Европу! — От мамы, боюсь, ускользала эвфемистическая подоплека ее заявления. — Надоело! И сам же ты знаешь, старый Уэртуисль вечно подшофе.

— Ну я не знаю, мама…

Мама окончательно рассердилась:

— Зато я знаю!

Мы оба трусливо умолкли, и он-то, возможно, знал, почему она сердится, шаркая под ее взором обратно в аптеку.

Да, теперь можно было наблюдать кое-что но-

венькое на полпути по Главной улице от Старого моста к Площади. Там, где жил и носился старый мистер Долиш, были теперь бетонированная площадка, гараж и ремонтная яма для осмотра машинных внутренностей. Было высокое, тощее сооружение при дороге, с помощью которого Генри перекачивал бензин. Тут же я впервые увидел самое удивительное и поистине знаменательное объявление двадцатого века: «Воздух отпускается бесплатно». Повадившись накачивать шины своего велика от этого механизма, я не ухватывал тонкой экономической подоплеки. Но Генри, снисходя к моей невинности, не возражал, да и вообще, кажется, уже мог себе позволить известную широту. Облачась на работе в костюм, он заточался в своем маленьком офисе. И был тогда не Генри, а мистером Уильямсом. Вскоре после переезда он поставил на бетонированной площадке первый в нашей округе комбайн, предлагая внаймы недоверчивым фермерам. Скоро те были обращены. А сады, сбегавшие в тылу гаража к реке, залил теперь бетон.

Но когда еще свежа была на гараже краска, я получил некоторое представление о том, как отнеслась к этим преобразованиям Пружинка. Я метался по нашей крошечной лужайке, раздумы-

вая и мечтая. Пройдя между яблонь на огород, я уперся взглядом в угол забора. Место всегда мне казалось самым укромным. В этой укромности, подальше от людского давления, там, где на меня могли повлиять одни пауки, я рассчитывал найти выход. Кое-что уже брезжило в тумане. Я изо всех сил сосредоточился. Имена пианистов я знал лучше, чем имена футбольных звезд. В этом углу меня уже не мучило ощущение собственной наглости оттого, что я вознамерился играть на рояле серьезно, по-настоящему, как Майра Хесс[55] и Соломон[56], например. Я уже познал восторг открытия, что мои пальцы справляются с музыкой так, как я и думать не смел. Но со следующего года предстояло зарабатывать стипендию в Оксфорд. Физика и химия — солидные, серьезные вещи. Родители намекали, что блестящее будущее мне уготовано физикой и химией. Из этого своего укромного угла я шел с колотящимся сердцем к Пружинке. Я сам завел разговор! Заговорил о карьере. В самоироническом тоне, к которому всегда прибегал, говоря с ней о чем-то для ме-

[55] Примечания: 55

Майра Хесс (1890–1965) — одна из виднейших английских пианисток.

[56] Примечания: 56

Соломон Катнер (1902–1988) — английский пианист. Дебютировал в возрасте 8 лет, исполнив Первый концерт Чайковского.

ня важном, — чтоб перемахнуть на ее сторону баррикад и все обернуть шуткой, едва уловлю насмешку. Ерничая, спросил, почему бы мне не стать музыкантом, пианистом, что ли.

К моему удивлению, Пружинка не стала смеяться. Откинула голову, сделала заключительную затяжку, долго давила окурок. Не отрывала важного взгляда от клавиш.

— Твой отец ни за что не согласится.

Разумеется. Вне укромности огорода, при дневном беспощадном свете его согласие было абсолютно необходимо.

— Ой, даже не знаю, мисс Долиш…

Она молчала.

— А что думает по этому поводу твоя мать?

Тотчас мне открылось все неприличие блудной, неоплачиваемой музыки.

— Ей-богу, мисс Долиш, я же это так, в общем, и не думаю, мисс Долиш!

Пружинка сложила руки на коленях. Когда заговорила, в голосе была странная, тусклая горечь, какой я в нем раньше не слышал.

— Нет, не делайся ты музыкантом, Ктотэм. Лучше иди в гараж, если хочешь зарабатывать деньги. Ну а я — я останусь рабою музыки до конца моих дней.

Я как ни в чем не бывало подхалимски кивал. Пружинка качнулась, заснула, легонько пожевывая губами. Потом лицо исказилось, втянулся рот, она открыла глаза.

— Этот обормот до сих пор спит в одной комнате с сестрой! Какая гадость! А ей ведь не скажешь! Ей ничего не скажешь! И чего они дожидаются?

Озноб, как живой, прополз по моей коже. Я молчал, ждал, смотрел на темную фотографию молодого человека, вечно глядевшего мимо меня, переводил взгляд на темную даму в пальто и шляпе. Но вот Пружинка увидела мои ноги. Поднимала, поднимала глаза, пока не добралась до лица. Вдруг узнала меня.

— А-а, Ктотэм, старина! Чего же ты ждешь? Начинай играть!

В следующий раз неся Мери лекарство и против всякой вероятности надеясь прошмыгнуть во двор мимо музыкальной комнаты незаметно для Пружинки, я на цыпочках одолел прихожую, открыл дверь во двор и угодил прямо в семейный ураган. Мери, стоя против Пружинки, обороняла кухонную дверь. Генри стоял ко мне спиной — очень широкой в пальто.

Вдруг Пружинка заорала:

— Я не желаю терпеть его в своем доме!

Генри, сохраняя спокойствие, поднял обе руки — утишая, увещевая.

— Понимаете, тетя Сис, у Мери болит голова…

— А у меня что — голова не болит?

— Джеки мой сын, мой, я ему хозяйка! Вам-то какое дело?

— Мери, ты так не разговаривай с тетей Сис!

— Убирайтесь все вон — слышите! Вон из моего дома!

Тут они заметили меня. Я подошел, спотыкаясь на плитках, отдал пузырек. Мери, одной рукой поправляя рассыпавшиеся волосы, другой потянулась к лекарству.

— Спасибочки.

Я побежал прочь, как маленький, не чуя под собою ног.

Никуда они, конечно, не убрались. Через неделю отношения Мери с Пружинкой опять стали сахарными. Потом был еще скандал, и еще. Они все не уезжали. В путанице ли моих снов или когда спала на органном сиденье, она стонала: «О Генри, Генри, милый! Я-то, как же я-то теперь?»

Собственная моя музыкальная будущность решилась сама, при моем весьма вялом сопротивлении. Профессионалом мне, положим, не стать, но почему бы не подготовиться к экза-

менам по фортепиано. Когда я наконец решил изложить эти соображенья Пружинке, она посидела немного, потом расхохоталась, просияв золотыми зубами.

— Смотри, Ктотэм, ой, смотри!

— Нет, но я правда хочу, мисс Долиш.

Пружинка тряслась на органном сиденье.

— А нервы у тебя выдержат?

— Я хочу получить диплом.

— Что говорит твой отец?

— Он — за, если это не помешает моим основным занятиям.

— Начинать придется с азов. Ты бренчишь понемножку, ведь правда?

— Да, мисс Долиш.

Пружинка склонилась к роялю. Вытянула пыльные потрепанные ноты из груды, полистала, поставила на пюпитр и начала играть. Кончив, зажгла сигарету.

— Ну вот. Теперь ты знаешь, на что идешь.

Очень хочется думать, что мою нечленораздельность она приписала восторгу. На самом деле я был изумлен. То, что она играла, было экспромтом Шопена. Я слушал его накануне в исполненье Корто.

— Уж я буду стараться.

— Придется. Существует ведь еще и теория. И проверки слуха. Мы давным-давно не проверяли твой слух, а? С тех пор, как ты был во-от такой. Отвернись-ка, Ктотэм.

Я отвернулся от рояля и разглядывал жухлую кисею занавесок. Она брала интервалы, потом все более и более сложные диссонансы. Я так и видел, куда тычется каждый толстый палец. Будто читал крупный-крупный шрифт. Она кончила, я повернулся.

И тут она сказала странную вещь:

— Твой отец должен гордиться тобой.

На это мне нечего было ответить. Вдруг ее понесло:

— Мой отец вечно волновался из-за этих проверок слуха. Как не угадаю среднюю ноту из… ну из такой вот массы — бах! — линейкой по рукам!

Она не отрывала глаз от стены, я посмотрел туда же. И увидел блекло-коричневую фотографию молодого человека, который провисел все эти годы рядом с дамой в пальто и шляпе надзирателем музыкальной комнаты. Я был так ошарашен, что не слушал продолжавшую говорить Пружинку. Эти лысые веки и брови, высокие скулы! Я их узнал. Молодой человек — теперь я видел, что он не старше меня, — был старый мистер Долиш,

в реянье гривы, с глазами, устремленными к абсолюту.

— …иногда очень холодно по утрам. Но он-то все понимал. Говорил: «Продолжай упражнения, девочка, вот и согреешься». Ведь рай — это музыка, правда, Ктотэм?

— Да, мисс Долиш.

И началась для меня блаженная, восхитительная пора, и небо над Стилборном ушло в бесконечные выси. Музыка, музыка, музыка уже не жалкая, стыдная — абсолютно легальная, то, чем, по общему мнению, мне следовало заниматься. Скандалы в старом доме были теперь досадной помехой, а не поводом проволынить урок. Я злился в прихожей, гадал, куда подевалась Пружинка и достанутся ли мне законные тридцать минут. И слышал бешеный крик со двора:

— Что же вы не уезжаете? Уезжайте!

Дикие отношения шли, спотыкаясь. Генри поддерживал какой-то баланс, понимая обеих противниц и атакуемый с обеих сторон. Пружинка вваливалась в музыкальную комнату, рукой унимая колыханье обширной груди, и мне доставался остаток урока. Конец моей музыке пришел, тем не менее, раньше, чем я ожидал. Я слишком ретиво, слишком подолгу терзал наше отжившее

пианино. Неодобрительные замечания физика и химика, прежде столь мною довольных, насторожили родителей.

— Да, завтра тебе идти на музыку. Но у тебя и химия завтра!

— Ну, пап. Сам-то ты ведь учился на скрипке?

— Скрипка никогда не вставала между мной и Materia Medica[57]. Оливер, ты, кажется, не хочешь учиться в Оксфорде?

— Хочу, конечно.

— Эти последние месяцы — такие важные, детка, — заклинающе вставила мама. — Ты же знаешь, мы только хотим, как тебе лучше.

Годами вколачиваемая мысль насчет постыдности моей мечты о музыкальной карьере заставила меня прикусить язык. Будто прочитав мои мысли, папа ласково глянул на меня через стол. Если бы он хоть сердился, я бы мог за себя постоять. Но голос его звучал сочувственно, проникновенно, будто мы оба столкнулись с железной необходимостью:

— Оставь это в качестве хобби, вот как я, например. И вообще — граммофон и радио скоро многих профессиональных музыкантов пустят

---

[57] Примечания: 57
Фармакология *(лат.). — Примеч. ред.*

по миру. Господи Боже, ну как ты сам не понимаешь, Оливер? С твоими способностями ты мог бы доктором стать!

Нелегко было мне признаться Пружинке, что к диплому готовиться больше не надо. Но она почти ничего не сказала, только тряхнула головой, будто другого и не ждала. Уроки наши снова стали пустой тратой времени. Времени впустую тратилось теперь даже больше, потому что скандалы достигли критической точки. Генри мягко, но решительно ускользал из прихожей, в темном двубортном костюме с двумя самописками в нагрудном кармане, оставляя за собой разбушевавшийся костер.

— И вы, получается, мне ничего не должны!

— Сколько брали, все отдали!

И все равно они не съезжали.

— Не желаю терпеть его в своем доме! Отвратительный, мерзкий мальчишка! Он же над ней издевался…

Наступил и окончился последний урок. И вот после нервного лета я наконец, счастливо замирая, складывал вещи для Оксфорда. Только уже вечером перед самым отъездом я вспомнил Пружинку, потому что большой фургон стоял на мостовой у ее ограды.

— Мама, а что с Пружинкой?

Мама брезгливо тряхнула головой.

— Они уехали.

— Кто?

— Уильямсы. Кто же еще? Папа Римский? — Мама почти шипела. — Так я и знала — уехали, как только она стала им не нужна. Сняли пока какую-то одноэтажку. Говорят, Генри Уильямс собирается строить дом. Я никогда не верила этому типу.

Я не припоминал, чтобы мама имела какие-нибудь сношения с Генри, и подивился ее категоричности. Я смотрел, как открылись двери напротив, как рабочие выносят мебель, коврики, посуду, постели. Мама стояла рядом и тоже смотрела.

— Все дешевка, подержанный хлам. Он зря не потратится.

Фургон тронулся, мама вернулась к шитью. Ученик с нотной папкой вошел в Пружинкину дверь.

— Ты бы попозже, когда она кончит уроки, пошел попрощался, — сказала мама. — Это твой долг.

— Ой, нет. Ну мама!

— Глупости, — сказала мама спокойно. — Сам знаешь, ты обожаешь ее.

Так что вечером, когда дрожь газовых фонарей вокруг Площади унялась в ядовитой яркости, я, лоснясь брильянтином и мечтая поскорей отделаться, прошел по газону к старому дому. В эркере было темно, и мне ужасно хотелось думать, что она ушла или легла, потому что приманки Оксфорда — огни, концерты, театры и люди, которые будут к моим услугам в свободное от химии время, — вытеснили все остальное. Но я оглянулся на наш флигель, увидел, как дрогнула занавеска, сдвинулась, оставила треугольничек, в котором чуялся мамин глаз. И, глубоко вздохнув, перешагнул цепи и ступил на булыжники. Открыл входную дверь. Меня уколола холодная мысль, что вот опять коридор и комнаты наверху потемнели и опустели. Даже в прихожей опять стало страшно. Несмотря на свои восемнадцать лет, я — для отступления — оставил входную дверь открытой. Газовый фонарь начертил на полу окно и вертикалью налег на дверь музыкальной комнаты. Со стесненным сердцем — и с фантомной детской скрипочкой в левой руке — я поднял правую, чтоб постучать. И опустил.

Звуки, доносившиеся из-за темной филенки, были своего рода проверкой слуха. Но что было делать грачу там, налево, на коврике перед

тусклым красным глазком камина? И не мог он перемежать свое тихое граканье этой странной, задушливой нотой, как струной под неловкими пальцами. Я окаменел, с опущенной левой рукой, приподнятой правой, и слушал, как задыханья и граканья множились, длились. Проверка слуха давала картину такую отчетливую, будто нас не разделяла филенка. Она сидела в темноте, слева, скорчившись перед тусклым огнем, под хмурым бюстом. Безуспешно пытаясь без учителя научиться, как избыть сердце в слезах.

Волосы у меня, несмотря на брильянтин, встали дыбом. Я закрыл входную дверь так осторожно, будто обчистил дом. Поскорей прошел по газону и хотел прокрасться наверх, пока мама не заметила. Но хотя она еще шила, она слышала все.

— Что-то разговор был короткий, Оливер?

Я хмыкнул, изо всех сил подражая папе.

— Иди сюда и рассказывай.

Тяжело вздыхая и, как ни странно, покраснев, будто меня поймали на подлости, я вошел в гостиную.

— Ну, так что она тебе сказала, детка?

— …Ее не было.

— Глупости! Она не выходила из дому.

— Я тебе говорю — не было ее. Может, спать

легла.

Мама посмотрела на меня поверх очков и слегка улыбнулась.

— Может, и легла.

Так я избавился от Стилборна и думал, что навсегда. А мне бы знать, что, пока не порвана пуповина, расстояние не отменяет закона всеобщего нашего тяготения. Первый же номер «Стилборнского вестника», переправленный мамой, сообщал не только о моем великолепном возвышении в статус студента, но и кое-что о Пружинке. Я прочел, что мисс Долиш («известная жительница нашего города») попала в аварию на пересечении Королевской тропы и Портовой улицы. Повреждения незначительны, но мисс Долиш перенесла шок. Новость не показалась мне существенной, но когда я приехал домой на пасхальные каникулы, кое-что прояснилось. Я долгими часами бродил по округе. Как-то перешел Старый мост и взобрался на гору в сторону леса, чтоб удрать подальше от Площади. Глубоко задумался над тем, как бы провести летние каникулы где-нибудь за границей, и поэтому чуть не налетел на Пружинку. Малолитражка стояла поперек дороги. Передние колеса, зайдя за травяную обочину, завязли в грязном кювете. Тут

же, вяло озирая лес, стояла Пружинка. Деваться было некуда.

— А-а! Мисс Долиш! Какие-то неполадки?

Сначала она повернула глаза, потом голову. Плотно стиснутый рот в глубоких бороздах.

— Вы не ушиблись, мисс Долиш?

Вдруг лицо разгладилось и просияло:

— А-а, старина Ктотэм!

— Вам помочь?

— Помочь?

Снова рот сжался, лицо потемнело. Вернулись борозды. Она затрясла головой, медленно, хмуро:

— Нет. Нет, нет, нет.

— Я могу подтолкнуть…

— Нет, нет.

Молочный фургон, подпрыгивая и грохоча, выехал из лесу.

— Может, я…

— Нет.

И все трясла головой, супилась и говорила «нет», будто билась над ускользавшей от решенья задачей.

— Ну, тогда я…

Вдруг тьма рассеялась. Поразительно, жутковато — такая резкость перемены, как в радио с неисправными лампами: звук — вот он, только

что был и — р-раз — щелк — ущелкивает куда-то. Взгляд сосредоточился на мне, улыбка открыла золотое сверканье.

— А-а, старина Ктотэм! Что? Девочку высматриваешь в лесу?

Я вспомнил всю историю с Эви Бабакумб и почувствовал, что багрово краснею. И отшатнулся, как мечом обороняясь тростью.

— Ну а как фортепьяно, дитя мое?

— Никак.

— Есть кое-что поинтересней, а?

Я чувствовал, как лоб у меня покрылся испариной…

— Химия, физика. Знаете что? Я сейчас иду в Стилборн. К сожалению, это довольно долго. Может, меня кто-то подбросит. Может, за вами прислать Генри?

Она запрокинула голову и расхохоталась.

— А знаешь, Ктотэм? Он ведь всегда сам возится с моей машиной, бензин накачивает и меняет все эти штуки внутри, ну, как их, не знаю. И сам всегда ее чистит, моет. Наденет спецовку и лезет под нее, как тогда, когда он…

— Так я пришлю его, мисс Долиш. Или мне лучше остаться? Нет? Вы уверены? Вы не боитесь одна тут?…

— Тут, в лесу?

Она снова расхохоталась. Потом сразу лицо потемнело, потухли, застыли глаза.

— Мне ничего не грозит. Кому нужна такая старуха? Мне ничего не грозит.

— Я постараюсь поскорей.

Я зашагал по проселку кратчайшим путем к Стилборну. Не доходя до поворота, я оглянулся и помахал, чтоб ее подбодрить, но она не видела меня. Стояла возле машины и смотрела в лес. Добравшись до плавной дуги шоссе, я метров за сто увидел приближающийся драндулет Генри. Я кричал и махал Пружинке, тщась изобразить семафор. Я кричал и махал драндулету. Генри проехал мимо, не заметив меня, в темном двубортном костюме и фетровой шляпе — проехал мимо, скорбно уставясь вперед сквозь ветровое стекло. Я постоял, пока не увидел, как он притормозил рядом с Пружинкой.

За ужином, когда меня расспрашивали о прогулке, мама была вся внимание. Когда я отчитывался о встрече с Пружинкой, кивала и мрачно усмехалась. Папа глянул на нее сквозь очки.

— Ухудшение.

Я смотрел на него, на нее.

— Ухудшение? О чем ты? В чем дело?

Мама отмахнулась от моего вопроса.

— Я знала, что этим кончится, когда он своего добьется.

— Будет тебе, — сказал папа веско, налегая на пирог с мясом. — Будет. Чем ей плохо? Десять раз вернула все сполна. Надо отдать должное Генри Уильямсу. У него отлично идут дела.

— Не то что у некоторых, — сказала мама вредным голосом. — Погодите, он еще полгорода скупит, за него я как раз не беспокоюсь.

Я принял это за тонкую ссылку на небогатый итог моего первого экзамена по химии и молчал. Папа молчал тоже. Мама завладела площадкой — но она к этому привыкла.

— Джеки Уильямс в Оксфорд не поедет, даже если окажется, что у него есть мозги, в чем я очень сомневаюсь. Сразу пойдет в бизнес. Так у них водится. Денег-то у него хватит его отправить, да зачем ему? А бедная мисс Долиш надрывается…

Тут папу прорвало.

— И вовсе ей это не нужно, — сказал он резко. — Да на одни проценты с того, что она вложила в его дело, она могла бы жить, как… в Борнмуте[58] могла бы жить, если бы хотела.

---

[58] Примечания: 58
Фешенебельный курорт на юге Англии.

Мне стало скучно.

— Зато сегодня ей повезло. И на том спасибо. Правда, непонятно, почему молочник не остановился…

— Повезло? — сказал папа. — Повезло?

И мама — эхом:

— Повезло?

Они переглянулись, потом посмотрели на меня.

— Но она могла же застрять. У меня час заняла дорога. И если б не подоспел Генри… Да что такое?

Они снова смотрели друг на друга, мама с хитрой усмешкой.

— Оливер, детка, — сказала мама нежно. — Ты, конечно… Но тебя ведь давно не было. Все про нее знают — в том числе и молочник. Она была в ста метрах от перекрестка в лесу, да?

— Там телефон-автомат, — буркнул папа. — Она ему звонила.

Я отпихнул стул.

— Господи! Ну и ну!

— И никакого везения.

— Почему же она мне не могла сказать! То есть я-то, я же…

Мама громко расхохоталась. Потом стихла.

— Бедняжка, — вздохнула она. — Она от него хочет единственного — хоть капли внимания.

У меня все оборвалось внутри. Поздно, позже, чем у всех по соседству, кусочки — старые, новые — сложились в картинку у меня в голове. Я так и стоял с открытым ртом. Мне нечего было сказать. Но что-то они увидели в моем застывшем лице, потому что папа протянул руку — неловко — и положил на мой рукав.

— Мы совсем забыли, как много она для тебя значит, Оливер. Но понимаешь, сынок, с этими телефонами — это у нее уже было.

Папин жест так не вязался с принятой у нас сдержанностью, что я перекосился и встал. Буркнул:

— Ну, если у нее хватает денег…

— Ах, — сказала мама загадочно. — Не в деньгах счастье. Когда-нибудь ты поймешь, Оливер.

Я остался в недоумении. При всей запутанности моих чувств в последних маминых словах я смутно уловил некоторое противоречие с тем, что она говорила сначала. И впервые я понял, что она не только моя мама. Но еще и женщина. Это открытие совершенно сбивало меня с толку. Я стоял посреди прихожей, в перчатках, в шарфе, одним концом заброшенном на спину, и терзался

от униженья, обиды, от какой-то боязни рампы: все мы выставлены на всеобщее обозрение, все друг на друге паразитируем, все мы ряженые и стесняемся своего маскарада. Я открыл входную дверь, убегая от маминой проницательности. А когда закрывал, услышал ее недодушенный смешок:

— Интересно, что она еще сочинит после телефонов-автоматов?

И теперь, когда мама мне присылала «Стилборнский вестник», я прилежно его изучал. И действительно, я узнал не только, что за органом была мисс К. С. Долиш, но на другой странице мисс К. С. Долиш облагалась штрафом в размере пяти фунтов, а потом и в размере десяти. Приезжая домой на каникулы, я видел иногда — но стараясь держаться подальше, — как она идет от гаража к дому походкой, бледно напоминающей о былой пружинистости. Я видел мрачность лица, сведенный рот, застывший взгляд.

— Бедняжка, — механически приговаривала мама. Очевидно, потеряв к ней всякий интерес. Как та давно умершая Офелия с полной шляпой листвы, Пружинка стала стилборнской чудачкой, с которой сжились и смирились. В конце концов я прочитал, что мисс К. С. Долиш вызва-

на ответчицей по делу о несоблюдении правил дорожного движения. Сама она не пострадала, но кто-то пострадал. Я читал речь судьи: он учитывает то-то и то-то; «но все мы не молодеем, и в собственных же интересах мисс Долиш» и т. д. и т. п. Он вынужден лишить ее водительских прав сроком на пять лет.

Я читал, сидя на подоконнике, шпиль университетской церкви вытянулся передо мной. Помню, как цинично я усмехался. Кажется, идея телефона-автомата себя исчерпала? Пришлось придумать что-то новенькое? Но тут она, пожалуй, перестаралась. В последний раз привлекла к себе внимание, думал я в своей невинности. Я был химик, не биолог. Только уже собираясь в Оксфорд перед последним курсом, я наконец понял все.

Осень стояла жаркая, в кои-то веки у нас бабье лето. Догорали штокрозы. Охраняя наш вход, они свешивали с почти черных стеблей красно тлеющие головки. Газон посреди Площади тоже весь почернел, и некоторые травинки вскидывались и потрескивали, когда на них наступали. Мама суетилась на кухне, собирая ужин. А так в доме не раздавалось ни звука. Папа задерживался в аптеке, и гостиная была в моем полном распо-

ряжении. Я слышал, как Пружинка наяривает в церкви безупречно скучное соло на органе. Я стоял посреди наших кресел и чашечек, слушал, смотрел. Вот орган умолк, и почти тотчас Пружинка прошла по ту сторону Площади, вошла к себе. Я радовался, что она благополучно исчезла и я не рискую на нее напороться. Площадь свободна. Можно спокойно выйти.

Дверь ее дома открылась. Пружинка вышла, держась особенно прямо. В вельветовой шляпе набекрень на жидких волосах. Прикрыла за собой дверь, не глядя натянула перчатки. Лицо спокойное, улыбающееся. Повернула налево, пошла по мостовой к гаражу Генри. Не глядя ни направо, ни налево. Было так тихо, что я слышал цоканье туфель по камню. Я смотрел, смотрел, пока она не скрылась за ратушей.

Меня ломало, корежило, подмывало бежать — тем не менее я захлопнул дверь гостиной, потом прокрался обратно, мимо кухни, в сад, между яблонь — в свой укромный уголок. Я смотрел, смотрел — я старался на чем-нибудь сосредоточить взгляд, чтоб не видеть того, что отпечаталось на сетчатке. Во мне бушевал шквал, и казалось, что он снаружи, везде, что засохшая паутина и пауки среди кирпичей дрожат из-за

него, из-за нее, из-за меня. Я слушал собственный, чужой голос:

— Нет. Нет. Ох, нет. Нет. Нет…

А сам уже знал, что это выжжется во мне навсегда, пожизненным невытравимым тавром: шагающая по мостовой Пружинка, мощные груди, жирный живот, неуклюже перекатывающиеся ляжки. Пружинка со спокойной улыбкой, в шляпе, перчатках, плоских туфлях, и больше на ней — ничего.

После этого Пружинка исчезла. Дом стоял себе как всегда, малолитражка стояла у гаража Генри — мытая, сверкающая. О Пружинке не упоминали. Она стала одной из тех, от кого дружно отворачивался Стилборн. Так бы мне толком и не узнать, что с ней происходило все эти годы, если б я не задал прямой — наглый — вопрос. Было это в конце последнего ежегодного визита родителей ко мне в Оксфорд. После чая, когда мы мучительно добивали время, медлившее между этой процедурой и отходом поезда. Как всегда — хотя очень им радовался, — я впал в немоту, и мы все трое не знали, что бы еще сказать. Мы поглядывали друг на друга через пропасть лет и несхожего опыта. Конечно, только неловкость тягучей паузы и побудила меня завести этот

разговор.

— Да, кстати, мама, а как Пружинка? Я в последний раз ее что-то не видел.

Снова повисло молчание. Папа старательно набивал трубку, вплотную приблизя к ней толстые очки.

— Она заболела, — мама выразилась деликатно и сдержанно, — ну, знаешь. Ей пришлось уехать.

Они быстро переглянулись.

— Неприятная история. — Папа сосредоточенно зажигал спичку. — Очень неприятная история.

Мама прихлопнула рот кружевным платочком.

— Бедняжка, — сказала она.

Молчанье тянулось, сгущалось. Да и что тут скажешь?

И однако мне суждено было еще раз увидеть Пружинку, правда, уже через много лет. Наступила война, потом мир. И вот после долгих мирных лет я поехал с семьей уговаривать маму не жить одной во флигеле, а перебраться к нам. Но ни мне, ни жене не удавалось сладить с ее истериками и слезами. Я чувствовал, как тяжело это детям, и старался ее успокоить.

— Все эти кошки, — сказала мама, утирая глаза. — Ты же знаешь, я не выношу кошек.

— Ну, не обращай внимания.

— Тебе легко говорить. Нет, надо ей сказать. Столько их развела. Всю ночь торчит на улице: «Кис-кис-кис, поди сюда, к мамочке! А где молочко?...» Я глаз не смыкаю...

— Кто это развел столько кошек, мама?

— Она. Мисс Долиш, — рассердилась мама. — Просто сил нет терпеть эту женщину.

— Пружинка!

— Поди скажи ей насчет кошек, Оливер! Я просто больше не могу!

— Пружинка! Так она вернулась? Я думал... я думал, она...

— Конечно, вернулась. Давно уже. Ты бы сказал ей, Оливер.

— Но мы же уезжаем буквально на днях...

Мама разразилась слезами.

— Нет, ты должен с ней поговорить! Отца не успели похоронить... Все вокруг ими кишит! А если они сюда повадятся...

Я потрепал ее по плечу — неуклюже и так похоже на папу, что поскорей отдернул руку.

— Ладно, мама. Я пойду с ней поговорю.

— И вообще. Ты же всегда так...

— Знаю, мамочка, милая. Я ее обожаю.

Я вышел и стоял на Площади, собираясь с духом.

Марк обстреливал из пулемета Софи, занятую разбрасыванием маргариток и не обращавшую на него никакого внимания. Но при виде меня они бегом бросились ко мне. Я обоих взял за руки и прошел к двери рядом с эркером. Она была открыта, мы вошли и стояли в прихожей. Я постучал в дверь музыкальной комнаты и не дождался ответа. Но дверь во двор тоже была открыта. Мы вошли туда, и я жадно глотнул вольного воздуха. Из-за кошек, попугайчиков и канареек и без того затхлый дом провонял уж совсем невозможно. Злонамеренного вида котяра скользнул мимо нас в дом, и сразу же я услышал шипенье и шерстистое шмяканье битвы.

Пружинка медленно брела по садовой тропе, она казалась шире, чем эта тропа, — стала совсем квадратная. Вельветовая шляпа по-прежнему кренилась на жидких волосах, галстук надвое рассек необозримый простор. Остановилась в двух шагах и разглядывала нас, всех троих.

— Здравствуйте, мисс Долиш. Вы меня не узнаете?

— Старина Ктотэм. Твои?

— Да, это Марк, это Софи. Ну как вы, мисс Долиш?

— Пойдем в дом.

И пошла в прихожую. Мы двинулись следом, дети жались ко мне. Меня уже точило, что зря я это затеял. Пружинка уставилась на попугайчика, который не обращал на нее внимания, занятый собственным обольстительным образом в зеркале. Она причмокнула:

— Тце-тце-тце!

— Марк, Господи Боже, детка! При всех! Беги скорей домой.

Пружинка оглядела его с порога.

— А его этот мальчишка отличился на войне. Кто бы мог подумать, а?

— Да уж.

— Ну а ты, Ктотэм?

Я прикинул в уме.

— Мне, признаться, досталась очень мирная война. Приходилось, конечно, держать газ наготове. Но в ход пустить не пришлось.

Она вернулась к попугайчику.

— Тце-тце-тце!

— Вы очень полюбили животных, правда?

— А я и всегда любила, когда еще маленькая была, как твоя дочка. Знаешь, Ктотэм? Я строила из себя мальчишку, чтоб строить из себя ветеринара! Но конечно, куда мне было с моей музыкой время находить на зверюшек. Да и с

этим жутким мальчишкой — как бы я их в доме стала держать?

Меня кольнула мысль, что время для нее спрессовалось. Но я рта не успел открыть. Она снова заговорила. В глазах мелькнул вызов.

— Я ведь долго болела. Серьезно болела. Ты знал, да?

Снова я сделался маленьким мальчиком с детской скрипочкой. И молча затряс головой. Вдруг рыхлые щеки дрогнули, просияло золото, она разразилась хохотом.

— Но сейчас-то мне лучше, гораздо, гораздо лучше!

Дочкина щека вжалась в мою ладонь. Но Пружинка уже перестала смеяться, нагнулась и погрозила паре свирепых глаз, горевших из темноты под лестницей.

— Гадкий, гадкий!

Кот скользнул мимо нас за дверь. Пружинка распрямилась.

— Можешь себе представить? С ним хлопот как с ребенком. Всю ночь мне спать не дает, на улицу просится!

— А вы устройтесь, как Исаак Ньютон со своими кошками. Он им вырезал в двери дыры с откидной дощечкой — побольше для большой

кошки и поменьше для маленькой.

Через несколько секунд до Пружинки дошло. Она колыхалась и завывала.

— И не надо будет вставать, чтоб его впустить.

Пружинка перестала смеяться.

— Генри сделает, — сказала она. — Он прекрасно вырежет дырку. Я попрошу Генри. Он придет и сам все сделает или кого-то из своих людей пришлет.

Я кивал, продвигаясь к двери.

— Ну ладно…

— А знаешь, он ведь до сих пор сам моет мою машину. В спецовке. Больше никого к ней не подпускает. — Она кивнула мне со значением. — Такая епитимья, понимаешь? И эта женщина — тоже епитимья. Генри понимает. Он все понимает, правда?

— Да. Да, конечно.

— Ну а другие… — Она глянула на дверь музыкальной комнаты, потом на Софи. — Дочь твоя уже начала играть?

— Нет еще пока. Но она очень любит музыку, да, Софи?

Дочь уткнулась в мою брючину, прячась от квадратной тети с рыхлыми щеками. Я зарылся пальцами в ее волосы, чувствуя хрупкость этой

головы, этой шеи, задыхаясь от любви, твердо решаясь охранить, защитить, не отдать ее этой гиблой надутости, и чтоб была у меня настоящей женщиной, женой, матерью.

— Я называю твоего отца Ктотэм, потому что есть упражнения такие.

Я потоптался неловко.

— Ладно… Нам, наверно, пора…

— Ну тогда прощай, Ктотэм.

— Спасибо вам за все…

— Не стоит. Подумаешь, дело большое.

Она повернулась к саду. Остановилась, посмотрела на меня.

— А знаешь, Ктотэм? Если бы мне пришлось спасать из огня ребенка или попугайчика, я бы выбрала попугайчика.

— Я…

— Прощай. Думаю, мы больше никогда не увидимся.

Тяжко спустилась на две ступеньки. Я услышал, как плоские туфли шаркают по саду.

Никогда.

Тонна мрамора, арфа, каменная крошка, иммортели, беломраморный бордюр, громыхание органа в южном трансепте -

КЛАРА СЕСИЛИЯ ДОЛИШ

1890–1960

— и посреди органного грохота три слова мелкими буквами прямо у меня под ногами:

Рай – это музыка

Я ужаснулся, поймав себя на неприличном смехе в таком месте. И, будто гигантский палец зацепил во мне важный нерв, я каждой жилкой почувствовал, откуда идет эта жуть. Тут, под землей, совсем рядом, как всегда, в двух шагах — это жалкое, жуткое, неиспользованное тело, с блеклыми кружевами и китайским лицом. Как проверка слуха такая, в результате которой все померкло, оставя только омерзение, оторопь ребячества и атавизма. Тени меня обступали и застили солнце. Я услышал собственный голос — как чужой, независимый от меня в своей попытке искренности:

— Я никогда тебя не любил! Никогда!

Но я стоял уже за церковной оградой, на газоне посреди Площади. И даже не сразу сообразил, как я сюда попал. Немолодой господин дал деру,

будто опять испугался длинной пустоты между пустыми комнатами.

Хрустальный девичий хохоток выпорхнул из дома Уилсонов, снабженного теперь вывеской «Биржа труда». Тележка мороженщика прогрохотала мимо родительского флигеля, призывая к себе внимание с помощью мегафона. За колоннами ратуши двенадцать белых телевизионных теннисистов одинаково подавали двенадцать мячей. Оторопь моя прошла понемногу. И в уютно защищенном нутре проступало:

Я боялся тебя, я тебя ненавидел. Вот и все. Я обрадовался, когда узнал, что ты умерла.

Я прошел вперед, к ее дому. Входная дверь была не просто открыта, но, снятая с петель, прислонена к стене. Снизу вырезан четкий квадратик, прикрытый откидной дощечкой. Между входной дверью и ступеньками в сад рабочие густо запутали свои меловые следы. Я прошел к музыкальной комнате, поднял руку, чтобы постучать, спохватился. Распахнул дверь, она, громыхнув, прянула назад от стены. На грохот отозвался резкий бумажный постук на окне, за кисейной занавеской, — верней, где она раньше была. Я оторопело стоял, подняв руки. В паутине бессмысленно

бились потертые крылья. Я кинулся сражаться с рамой. Но увечное созданье трепеща рухнуло на пол и застыло в неподвижности. Тень клавиатуры витала в пустой комнате, под органными педалями — участок нестертого пола. Мой взгляд вернул восвояси, на высветленные пятна обоев, две коричневые фотографии. Дальше любоваться музыкальной комнатой мне не хотелось.

Я помешкал в прихожей, воображая длинный коридор наверху. Нет, нет. Хорошенького понемножку. Я быстро спустился по двум ступенькам и двором прошел в сад, под добрую защиту солнца.

Работники Генри уже начали разбирать длинную стену, отделявшую лавровые кусты и ракитник от его разрастающегося бизнеса. Складывали ценный старый кирпич. Но в двух местах стена обвалилась от собственной тяжести, похоронив сорняки под грудами желтого цемента и красных осколков. Меня потянуло в глубь сада, где я никогда не был. И я пошел гаревой тропкой, теснимой подорожником и одуванчиками. Протиснулся между лаврами и очутился у речки. Эта часть сада оказалась прибрежной выгородкой с каменными ступеньками, незабудками, еще не зацветшей желтофиолью и медленной, плоской водой. На

верхней ступеньке стояло виндзорское кресло. Хоть пауки оплели ножки, птицы изгадили сиденье, хоть порыжел и потрескался лак, кресло молча, неопровержимо свидетельствовало, что она тут сидела — может быть, каждый вечер — в последнее свое лето и осень, среди комаров и стрижей. Возле длинной стены против кресла были сложены кирпичи. И над ними стена вся закоптилась. Я оглядел кирпичи и понял, что это не просто невинный костер. Уже несколько зим поливало дождями обрывки, клочки, корешки; целые подгнившие переплеты все же позволяли прочесть: Брайткопф и Хартель, Аугенер, Макмиллан[59], Бузи и Хокс… и почти не горючие стопки «Мьюзикл таймс»…

Генри этого никогда бы не сделал. Эта музыка стоила хороших денег. Я заметил металлический блик, подцепил стальную планку, и моя догадка подтвердилась. Свинцовый грузик расплавился, но этот клинышек, обеспечивавший непереносимо точное тиканье, был опознаваем. Никогда бы Генри не стал сжигать метроном старого мистера

---

[59] Примечания: 59

Имеются в виду музыкальные пособия, издаваемые лейпцигской фирмой «Брайткопф и Хартель», лондонской «Аугенер Лимитед»; упоминается также известный канадский композитор сэр Эрнест Кемпбелл Макмиллан (1893–1973). — *Примеч. ред.*

Долиша, ценную антикварную вещь в лакированном футляре. Так же, подумал я, поймав на себе сверлящий сумрачный взгляд из травы, как не стал бы он расколошмачивать молотком на гипсовые обломки Бетховена. А трухлявый деревянный угол — видно, все, что осталось от фотографий и рамок…

Я сидел в ее кресле, уткнувшись локтями в колени, подбородком в ладони. Я не мог разобраться — к чему, к кому относятся мои чувства, да и в самих чувствах.

— Ну как, все осмотрели?

Генри стоял по ту сторону пролома — смуглое лицо, влажный взгляд, седые волосы, собранность, аккуратность. Я поднялся и начал неловко карабкаться по кирпичам.

— Вам помочь?

— Я сам, спасибо.

Бок о бок мы побрели обратно. Склоненные головы, руки стиснуты за спиной, медленный, траурный шаг.

— Это ты хорошо придумал, Генри, — насчет надписи.

Он не отвечал. Я посмотрел на него искоса.

— Почувствовать — это да, а пока до пониманья дойдет… Я такой.

Мы остановились и посмотрели друг другу в лицо.

— Можно сказать, Генри… можно сказать…

Можно сказать, что когда наконец она была спокойна и счастлива, когда у нее расправилось и улыбалось лицо, ее увезли и лечили до тех пор, пока хорошенько не вылечили и не сделали снова несчастной. Можно и так, например, сказать. А вообще — что тут скажешь.

— …А-а, не важно.

Мы молча пошли дальше, сошли с бетона на мостовую. Я вынул деньги — уплатить за бензин — и поискал глазами бензинную леди. Она явилась, но Генри от нее отмахнулся.

— Разрешите, сэр. Нет, нет, ну что вы. Это же мне в удовольствие. Через столько лет с вами увиделся.

Взял деньги и пошел разменивать. Я стоял, разглядывал стертую мостовую, исписанную так мелко, так неразборчиво; я видел: ступни, мои в том числе, ступают, проходят. Вытянув ногу, я постучал своим живым носком, прислушался — топ, топ, топ, — и вдруг на меня нашло: да если бы я мог ссудить этот звук, собственное мое тело, мою возможность избирать будущее этим невидимым ступням, да я бы все отдал — все. И в ту

же секунду я понял, что, как Генри, всегда за все плачу только по сходной цене.

— ...и девять пенсов, итого три фунта. Спасибо, сэр.

Я посмотрел ему в глаза, увидел в них собственное лицо.

— Прощай, Генри.

Он поднял руку, без слов. Я сел в свою машину исключительного качества, взял с места, проехал по Старому мосту и выехал на автостраду. Я старательно сосредоточился на руле.